

СУМЕРКИ ЛИНГВИСТИКИ

*Из истории
отечественного
языкознания*



антология

Книги издательства «Academia» (1992—2001)



Основано в 1922 г., возобновлено в 1991 г., специализируется на выпуске научных книг и журналов, справочной литературы, учебных пособий на русском и иностранных языках.

Тел./факс: 238-25-10. Тел.: 238-21-23, 238-21-44
117810, Москва, Крымский вал,
Мароновский пер., 26. E-mail: apriori@oss.ru

- ⇒ ПУШКИН А. С. Избранные сочинения. 1992. 496 с. Илл.
- ⇒ ПОПОВА Т. Д. *Materia medica*. Гомеопатические лекарства. 1992. 196 с.
- ⇒ Венок Карамзину. 1992. 112 с. Илл.
- ⇒ ЛИНДЕР В. и ЛИНДЕР И. Алехин. 1992. 320 с. Илл.
- ⇒ Красная книга языков народов России. Энциклопедический словарь-справочник. 1994. 120 с. Илл.
- ⇒ ОРЕШКИНА М. В. Тюркские слова в современном русском языке. 1994. 160 с.
- ⇒ Реформирование России: мифы и реальность. 1994. 384 с. Табл., рис.
- ⇒ АГРАНОВСКИЙ В. А. Последний долг. 1994. 336 с. Илл.
- ⇒ Сравнительная социология. Избранные переводы. 1995. 208 с.
- ⇒ ПОЛЯНЧЕВ В. И. Зарайская энциклопедия. 1995. 240 с. Илл.
- ⇒ Государственные языки в Российской Федерации. 1995. 400 с.
- ⇒ Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. В 2-х т. 1995.
- ⇒ Россия-95: накануне выборов. 1995. 304 с. Табл.
- ⇒ Социальная и социально-политическая ситуация в России: анализ и прогноз (первое полугодие 1995 года). 1995. 288.
- ⇒ Проблемы акушерства и гинекологии в исследованиях Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Сборник научных статей. 1995. 152 с.
- ⇒ Новый курс России: предпосылки и ориентиры. 1996. 330 с.
- ⇒ РОКИТЯНСКИЙ Я. и МЮЛЛЕР Р. Красный диссидент. Академик Рызанов — оппонент Ленина, жертва — Сталина. 1996. 464 с. Илл.
- ⇒ Портрет экспериментатора: Н. Е. Алексеевский. 1996. 216 с. Илл.
- ⇒ ТОЩЕНКО Ж. Т. и ХАРЧЕНКО С. В. Социальное настроение. 1996. 196 с.
- ⇒ ЛОКОСОВ В. В. и ОРЛОВА И. Б. Пятилетка № 13. Взлеты и падения. 1996. 124 с. Табл.
- ⇒ Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. Год 1995-й. 1996. 68 с. Табл.; ...Год 1996-й. 1997. 72 с. Табл. (На рус. и англ. яз.).
- ⇒ Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии. 1997. 344 с.
- ⇒ ФУРАСОВ В. Д. Моделирование плохоформализуемых процессов. Протомодели. Индексы развития. Орбитальные числа. 1997. 222 с.
- ⇒ МОРОЗ А. И. Математические основы менеджмента. 1997. 256 с.
- ⇒ Социология и власть. Сборник 1. Документы. 1953—1996. 1997. 168 с. (Сборник 2 сдан в производство. План выпуска — 1-й кв. 2001 г.).
- ⇒ В серии «Языки народов России» изданы: Лезгинский язык (1997), Аварский язык (1997) и Чеченский язык (1999).
- ⇒ ОМАРОВА С. И. Материалы к словарю дагестанской лингвистической терминологии. 1997. 88 с.
- ⇒ ИРБЕНЕК В. С. Медвежья озера. Стихи. 1998. 192 с.
- ⇒ МАКАРОВ А. А. Стихотворения и пародии. 1998. 96 с.

- ⇒ ПУХАЛЬСКИЙ А. Л. и КУЗЬМЕНКО Л. Г. Основы общей иммунологии. Методическое пособие по курсу клинической иммунологии. 1998. 54 с.
- ⇒ БИРАМУКОВ С. Х. Оценка надежности железобетонных конструкций со смешанным армированием. 1998. 168 с. Табл., рис.
- ⇒ МИХАЙЛОВА Т. М. Труд как историко-философская проблема. 1998. 96 с.
- ⇒ Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. 1998. 326 с.
- ⇒ ТИХОНОВ А. Н. Русский глагол: проблемы теории и лексикографирования. 1998. 280 с.
- ⇒ ПЕТРОВ Ю. Д. Малочисленные народы Севера: государственная политика и региональная практика. 1998. 200 с.
- ⇒ Тайваньский пролив в азиатско-тихоокеанском стратегическом контексте. Материалы научной конференции. 1998. 86 с.
- ⇒ ПОРТНЯГИН И. С. Этнопедагогика «кут-сюр»: педагогические воззрения народа саха. 1998. 184 с.
- ⇒ ИНОЗЕМЦЕВ В. Л. За десять лет. К концепции постэкономического общества. 1998. 528 с.
- ⇒ ИНОЗЕМЦЕВ В. Л. За пределами экономического общества. 1998. 640 с.
- ⇒ ИНОЗЕМЦЕВ В. Л. Расколота цивилизация. 1999. 704 с.
- ⇒ БЕЛЛ Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 1999. 958 с.
- ⇒ Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. 1999. 640 с.
- ⇒ МОРОЗ А. И. Управление экономическим процессом. 1999. 128 с.
- ⇒ Проблемы политического развития современной России в условиях «неконсолидированной демократии». 1999. 112 с.
- ⇒ ТАРАСОВ Б. Н. Непрочитанный

- Чаадаев, не услышанный Достоевский. 1999. 288 с. Илл.
- ⇒ Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. Очерк. Документы. 1999. 552 с. Илл.
- ⇒ В серии «Языки мира» изданы: Кавказские языки (1999), Германские языки. Кельтские языки (2000), готовится к печати монография Романские языки (1 кв. 2001 г.).
- ⇒ ХАЛИЛОВ М. Ш. Цезско-русский словарь. 1999. 456 с.
- ⇒ МИХАЙЛОВА Т. М. Труд: опыт социально-философского изучения. 1999. 184 с.
- ⇒ ПОПОВ Б. Н. Этика. Курс лекций. 1999. 202 с.
- ⇒ Солнечное подполье. Антология литературного рок-кабаре. 1999. 656 с. Илл.
- ⇒ РИМАШЕВСКАЯ Н., ВАННОЙ Д., МАЛЫШЕВА М. и др. Окно в русскую частную жизнь. 1999. 272 с.
- ⇒ ЯНОВСКИЙ Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. 1999. 358 с.
- ⇒ ЦЫГАНОВ Ю. В. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной Азии. 1999. 152 с. Табл. Резюме на кит. яз.
- ⇒ АБРАМОВА М. А. Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе ознакомления с изобразительным искусством. 1999. 202 с.
- ⇒ БЕКЕТОВ Н. В. Методологические проблемы формирования и развития научно-инновационных систем регионов. 1999. 100 с.
- ⇒ БЕШЕНКОВСКИЙ В. Л. и др. Разработка инвестиционных программ в сфере инноваций. 1999. 96 с.
- ⇒ БЕШЕНКОВСКИЙ В. Л. и др. Экономическое обоснование научно-технической деятельности: инновационный аспект. 1999. 96 с.
- ⇒ ТРОШИН В. В. Сестра милосердия. Стихи. 1999. 64 с.

(Продолжение на следующем форзаце)

Отделение
литературы
и языка
Российской
академии
наук

Общество
любителей
русской
словесности

СУМЕРКИ ЛИНГВИСТИКИ

Из истории
отечественного языкознания

АНТОЛОГИЯ

Составители
В. Н. Базьлев
и В. П. Нерознак

Под общей редакцией
д-ра филол. наук проф.
В. П. Нерознака

Academia
Москва
2001



ББК-80
С 89

Редакционный совет издательства «Academia»:

**С. С. Аверинцев, В. И. Васильев, В. Л. Гинзбург, В. Л. Иноземцев,
И. М. Макаров (*председатель*), В. П. Нерознак,
А. М. Панченко, Н. Я. Петраков, Р. В. Петров, Н. А. Платэ,
В. А. Попов (*зам. председателя*), К. А. Свасьян,
В. П. Скулачев, С. О. Шмидт, Е. П. Чельшев, О. Г. Юрин, В. Л. Янин**

Издание осуществлено при участии ведущей научной школы
проф. В. П. Нерознака «Языки народов России» (96-15-98600)
и финансовой поддержке НОУ «Высшие молодежные курсы»

Рецензенты

член-корреспондент РАН

Ю. Л. Воротников

доктор филологических наук, профессор

В. М. Алпатов

СУМЕРКИ ЛИНГВИСТИКИ. Из истории отечественного языкознания. Антология. Составление и комментарии В. Н. Базылева и В. П. Нерознака. Под общей редакцией проф. В. П. Нерознака. М.: Academia, 2001. 576 с.

Антология представляет собой совокупность работ, отражающих один из самых сложных, противоречивых, но одновременно плодотворных периодов отечественного языковедения. Она составлена по хронологическому принципу, что позволяет проследить историю языкознания в СССР с 1917 по 1960 г. Здесь отображен целый пласт интеллектуальной жизни, для многих наверняка неизвестный.

Книга адресована лингвистам, философам, историкам науки и культуры, просто любознательным читателям.

ISBN 5-87444-126-3

© Составители, 2001 г.

© Издательство «Academia», 2001 г.

В. Н. Базылев, В. П. Нерознак

ТРАДИЦИЯ, МЕРЦАЮЩАЯ В ТОЛЩЕ ИСТОРИИ

Если раскрыть «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, то о сумерках можно прочесть следующее:

«Сумерки, заря, полусвет: на востоке, до восхода солнца, а на западе, по закате, утренние и вечерние сумерки; вообще полусвет, ни свет, ни тьма; время от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угасания последнего солнечного света. Сумрак»¹.

В четырехтомном академическом «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой слово «сумерки» толкуется как «полумрак между заходом солнца и наступлением ночи, а также предрасветный полумрак».

Тем самым название нашей книги «Сумерки лингвистики» должно удовлетворить как оптимистов (сумерки — это полусвет), так и пессимистов (сумерки — это полумрак).

Не будем чрезмерно пессимистичны в оценке состояния лингвистики 20—50-х годов. В науке не бывает полной стагнации, в ней, даже при самых неблагоприятных условиях, есть всегда внутренняя готовность к смене парадигм. Постоянно накапливается достаточно много проблем, которые не решаются в рамках господствующих парадигм-доминант² и наши сегодняшние проблемы в языкознании, наши методы, наши научные понятия являются, по крайней мере отчасти, результатами развития научной традиции. Ведь любая новация может существовать только как инновация, т. е. когда она уже втянута в традицию, адаптирована ею, функционирует в ее составе. Действительно, новое знание появляется не иначе, как питаясь определенными традициями и отталкиваясь от других, — в противном случае история познания оказывается паноптикумом заблуждений и необъяснимых инсайтов. Традиция в науке есть некое связующее звено между научным наследием и творчеством, осуществляющее не

¹ *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1892. С. 233.

² *Брейдо Е. М.* Между старым и новым // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996. С. 229.

только преемственность в науке, но и диалог развивающихся в ней направлений. Нередко этот диалог выливается в конкурентную борьбу между его участниками.

Для появления новых концепций и парадигм необходимы две вещи: новые задачи и новая генерация исследователей, способных преодолеть старые теоретические подходы. Но преодолеть, развивая, а не отменяя. И, кроме того, учитывая имеющиеся традиции отечественного — российского и советского — языкознания. Иначе мы опять можем оказаться в ситуации полного забвения целой научной эпохи, которая для многих молодых лингвистов уже кажется белым пятном в истории отечественного языковедения, в особенности это касается временного промежутка 20—50-х годов. Отношение к тому, что происходило в науке о языке той поры, прошло все три этапа отношения к традиции: конформистски-националистический (И. В. Сталин с его представлением о проблемах языкознания), конформистско-монистический (50—70-е годы), наконец, плюралистически-пессимистический (80—90-е годы), когда, при общем интересе к этому периоду, при его оценке преобладали мрачные или полумрачные тона.

Но традиции, заложенные в языковедении 20—50-х годов, мерцают в истории науки, и не всегда можно с уверенностью сказать, то ли это время предзакатное, то ли предрассветное. Сознание стремится обнаружить в традиции не просто устаревшие нормы деятельности, мировосприятия, но концентрацию исторически конкретного опыта, необходимую ступень в развитии научной мысли. Наконец, само познание, даже рефлекслирующее, критическое и отвергающее традицию как таковую, в практике своего объективного функционирования все же частично воспроизводит или пользуется фрагментами традиций³.

Основная задача, которую мы ставили перед собой, состоит в том, чтобы определить в издании текстов 20—50-х годов ту традицию, без которой связь времен, идей, поколений, задач современной лингвистики оказывается распавшейся.

Нам необходимо ответить на вопрос: откуда следует начинать историю советского языкознания, каковы ее хронологические рамки?⁴ Этот вопрос является принципиальным и для нашей антологии. Почему мы ограничим себя периодом 1918—1957 гг.?

Первая дата более или менее обоснована. «Великая Октябрьская социалистическая революция определила особые пути развития языкознания в нашей стране, что определялось следующими факторами:

³ Теория познания. М., 1991; Касавин И. Т. Познание в мире традиций. М., 1990.

⁴ Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. М., 1996. С. 306.

а) утверждением и развитием в нашей стране социалистического общественного строя и марксистской теории;

б) многонациональным составом Советского государства и коренными изменениями в нем положений народов и отношений между ними, открытием новых путей для политического и культурного развития этих народов и формированием социалистических наций;

в) особой культурной ролью русского языка как языка мировой по значению русской литературы, культуры и науки, дальнейшим повышением его международного и межнационального значения, фактом, что его изучение стало кровным делом всех народов Советского Союза и всё шире распространяется за рубежом»⁵.

Последняя дата бесспорной представляется меньше. Хотя можно говорить о некотором hiatus второй половины 50-х годов, возникшем в первые пять-шесть лет, последовавших за дискуссией 1950 г. «Да, Сталин не сказал о языке ничего нового. А если и сказал, то оно было неверным. Однако он самым фактом своего выступления освободил советское языкознание, пребывавшее в многолетнем застое, от догм марризма, от административного террора марристов. Он прямо сказал об установленном ими аракчеевском режиме в языкознании». Жизнь в советской лингвистике закипела⁶.

Сходную оценку этого периода мы находим у известного специалиста по истории советского языкознания проф. В. М. Алпатова:

«Лингвисты, ранее противостоявшие марризму, включая и структуралистов по идеям, получили возможность нормально работать... Новый этап в развитии советской лингвистики начался во второй половине 50-х гг., когда развернулось активное освоение идей и методов зарубежной науки»⁷.

Отметим, что цитированный нами Библиографический указатель ограничивает себя 57-м годом; может быть, таким образом рефлектируя установку составителей на самоограничение данного периода истории. С этого времени в журнале «Вопросы языкознания», а с 1958 г. в «Филологических науках» вводится в научный обиход обсуждение широкого круга лингвистических проблем, снимается табу на ранее запретные темы⁸. В 1960 г. вышел в свет первый выпуск

⁵ Предисловие к Библиографическому указателю литературы по языкознанию, изданной в СССР с 1918 по 1957 год. М., 1958. С. 3.

⁶ Такова одна из возможных оценок того времени, данная в книге М. В. Горбаневского «В начале было слово... Малоизвестные страницы истории советской лингвистики». М., 1991. С. 210.

⁷ Алпатов В. М. История лингвистических учений. М., 1998. С. 229.

⁸ Николаев П. А. Предисловие к Библиографическому указателю к публикациям журнала «Филологические науки» за период с 1958 по 1995 год // ФН. 1996. № 4. С. 3—4.

непериодического издания «Новое в лингвистике», сыгравшего огромную роль в ознакомлении широких лингвистических кругов с новыми и новейшими направлениями мировой западноевропейской и в особенности американской науки о языке. Всего в серии «Новое в лингвистике», затем «Новое в зарубежной лингвистике» вышло 25 выпусков.

В наши дни, когда пишется это предисловие к антологии, можно лишь снова процитировать слова Р. А. Будагова: «До сих пор мы не располагаем историей советского теоретического языкознания. В общих учебных курсах по истории языкознания о советском языкознании сообщается лишь вскользь. Правда, имеются полезные хрестоматии по советскому языкознанию, но они, естественно, не могут заменить систематического курса, отсутствие которого давно уже ощущается» (1988 г.)^{9,10}.

Действительно, в вышедшем в свет в 1998 г. учебном пособии В. М. Алпатова «История лингвистических учений» история советского языкознания 20—50-х годов уместилась на трех страницах (с. 227—229), основное же внимание уделяется в пособии нескольким персоналиям (А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, Г. О. Винокур, Е. Д. Поливанов, Н. Ф. Яковлев и И. И. Мещанинов).

При всей специфике общественной и научной ситуации в нашей стране отечественное языкознание не было в стороне от общего развития мировой науки о языке. Хотя термин «структурализм» в СССР до 50-х годов не был принят, советские лингвисты объективно шли тем же путем, что и ученые Запада, обратившись к синхронным методам и стремясь системно рассматривать явления языка. В советской науке тех лет не получили распространения идеи глоссемантики, или дескриптивизма, в то же время многие из советских лингвистов были достаточно близки к Пражской школе. Связь советских лингвистов с пражцами (среди последних были и эмигранты из России) была не только идейной: Г. О. Винокур, Н. Ф. Яковлев, отчасти Е. Д. Поливанов, находились в тесном контакте через переписку, а иногда и личные встречи с некоторыми пражцами, прежде всего с Р. Якобсоном; живший в 1924—1928 гг. в Чехословакии Н. Н. Дурново стал связующим звеном между Пражской и Московской лингвистическими школами. До определенной степени можно говорить, что Пражская школа и ряд направлений советской лингвистики тех лет составляли единую ветвь структурализма.

⁹ Будагов Р. А. Портреты языковедов XIX—XX вв. Из истории лингвистических учений. М., 1988. С. 6

¹⁰ Отметим, что хрестоматий, объективно репрезентирующих эпоху языкознания в СССР с 1918 по 1960 г., как раз и нет.

В то же время Е. Д. Поливанов и Л. В. Щерба, высказывали и весьма оригинальные идеи, не имевшие параллелей в западной науке. На деятельность близких к структурализму советских ученых оказывали влияние и особые задачи, которые им приходилось решать, прежде всего разработка письменностей для языков народов СССР. Наряду с учеными, искавшими новые пути, работали и языковеды, придерживавшиеся старых, младограмматических идей. Особое место в истории советской науки о языке занимал марризм, которому удалось с конца 20-х годов надолго занять в ней монопольное положение, что нанесло большой ущерб развитию советской лингвистики, хотя и не прекратило его совсем.

Еще в предреволюционные годы в отечественном языкознании сложились две крупные школы: Московская, основанная Ф. Ф. Фортунатовым, и Петербургская во главе с И. А. Бодуэном де Куртенэ. После революции по разным причинам покинули страну многие выдающиеся ученые: И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. К. Поржезинский, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др. Обе школы, однако, сохранились. Традиции Московской школы поддерживались в МГУ и других московских вузах Д. Н. Ушаковым и М. Н. Петерсоном. Большинство ученых, о которых дальше будет идти речь, в той или иной степени относились к этой школе: А. М. Пешковский, Г. О. Винокур, Н. Ф. Яковлев, П. С. Кузнецов, Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский. Петербургская школа оказалась менее однородной. После отъезда И. А. Бодуэна де Куртенэ ее возглавил Л. В. Щерба, по ряду вопросов, как будет показано ниже, значительно отошедший от взглядов своего учителя. Более верен бодуэновской традиции был Е. Д. Поливанов, но он с начала 20-х годов уехал из Петрограда и в силу обстоятельств не смог создать научной школы. Из школы И. А. Бодуэна де Куртенэ вышел и В. В. Виноградов, по взглядам в целом близкий к Л. В. Щербе; переехав в конце 20-х годов в Москву, он создал собственную школу языковедов (С. И. Ожегов и др.), конкурировавшую с Московской. Ученики Л. В. Щербы преимущественно занимались фонетикой и фонологией, ученики В. В. Виноградова — грамматикой и лексикой русского языка.

В 20-е годы основную роль в развитии языкознания продолжали играть Московский и Петроградский (Ленинградский) университеты. Резко упало значение периферийных вузов, хотя в провинции работали крупные ученые, например В. А. Богородицкий в Казани. Позже в связи с общей реорганизацией научной деятельности в СССР упала роль вузовской науки; в 30-е годы в МГУ вообще не преподавали языкознание, кадры специалистов готовили в это время в педагогических вузах, среди которых выделялся Московский городской

педагогический институт, где работали Г. О. Винокур и ученые Московской фонологической школы; лишь в годы войны в МГУ был восстановлен филологический факультет. В то же время создаются ранее не существовавшие в нашей стране научно-исследовательские лингвистические институты. Самым крупным и жизнеспособным из них оказался, созданный в 1922 г. академиком Н. Я. Марром в Петрограде Яфетический институт Академии наук, первоначально для разработки его «нового учения о языках». Очень скоро, однако, Яфетический институт перерос рамки марризма, в нем сконцентрировались многие ведущие советские языковеды разных специальностей. В 30—40-е годы институт функционировал как Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР, в 1950 г. он был преобразован в Институт языкознания АН СССР с переводом основной его части в Москву. В 1944 г. от него отделился Институт русского языка АН СССР.

В 20-е годы учение Н. Я. Марра хотя и было популярно, особенно среди ленинградских языковедов, но существовало лишь наряду с другими. Однако к концу 20-х гг. Н. Я. Марр, объявив свое учение «марксизмом в языкознании» (хотя его сходство с марксизмом было достаточно внешним), добился поддержки партийно-государственного руководства и установил монопольное господство в советском языкознании. Многие ученые, в том числе споривший с марризмом Е. Д. Поливанов, лишились возможности нормально работать. Целые направления были объявлены «буржуазными», в первую очередь сравнительно-историческое языкознание; компаративистика на многие годы в СССР была свернута. В то же время даже в самый тяжелый период господства марризма, в первой половине 30-х годов, научные исследования продолжались. На те же годы пришелся пик деятельности специалистов по языковому строительству, разрабатывавших письменности и литературные языки для народов СССР. Для решения практических проблем языкового строительства требовалось научное описание конкретных языков. А это означало, что необходимо было развивать описательную (дескриптивную) лингвистику. Она же, как известно, предоставляет лингвистам языковые факты.

30-е годы стали трагическим временем для отечественного языкознания. Погибли Е. Д. Поливанов, Г. Д. Дурново, Г. А. Ильинский и др. В лагере или ссылке находились А. М. Селищев, В. В. Виноградов, В. Н. Сидоров и др., впоследствии вернувшиеся к научной деятельности.

Господство марризма закончилось в июне 1950 г., когда против него выступил И. В. Сталин. Его серия статей была затем объединена

в брошюру «Марксизм и вопросы языкознания». Брошюра в основном написана с позиций языкознания конца XIX в., прежде всего в его младограмматическом варианте. Сравнительно-исторический метод был реабилитирован и объявлен приоритетным. Лингвистам велено было вернуться к традициям русской дореволюционной науки. Ведущую роль в советской лингвистике начала 50-х годов играли упоминавшийся выше В. В. Виноградов, к тому времени академик, возглавивший Институт языкознания, а позже Институт русского языка, и последовательный младограмматик по взглядам, грузинский кавказовед А. С. Чикобава. Лингвисты, ранее противостоявшие марризму, включая и структуралистов по идеям, получили в 1950 г. возможность нормально работать, однако им первоначально приходилось вести исследования в полном отрыве от лингвистики за рубежом. Если наука XIX в. могла оцениваться объективно, то современная западная лингвистика, как и во времена марризма, продолжала замалчиваться или же резко критиковаться. Новый этап в развитии советской лингвистики начался со второй половины 50-х гг., когда развернулось активное освоение идей и методов зарубежной науки¹¹.

Тем не менее позволим себе высказать мнение о большой значимости той эпохи (1918—1957) для эволюции знания о языке как в рамках доминирующих языковедческих парадигм, так и в рамках парадигм маргинальных. И, может быть, не только для отечественного языкознания, но и зарубежного.

Обратимся вначале к самооценке той эпохи:

«...мы даем сырой материал для будущих лингвистических исследований; им воспользуется историк языкознания, а может быть и историк идеологий. Но и это еще не все. Какие бы узкие пределы мы ни ставили этому сырому материалу, он уводит мысль к сравнению с буржуазной идеалистической лингвистикой и теорией художественной речи, называемой на Западе поэтикой и риторикой. <...>

...показать истоки индоевропеистики и тем самым разоблачить ее мнимую самостоятельность. То, что в условиях рабовладения являлось прогрессивнейшим достижением классового сознания и было единственно возможным по предельности прогресса, — то бальзамируется буржуазной лингвистикой и становится реакционным ору-

¹¹ Алпатов В. М. История лингвистических учений. М., 1998. С. 227—229. При всем том следует отметить, что отечественная историография по языкознанию обладает весьма полными и объективными исследованиями той эпохи, носящими, однако, отраслевой характер; см. В. М. Алпатов. Изучение японского языка в России и СССР. М., 1988.

дием, направленным против материалистического объяснения происхождения и сущности языка и его истории.

Стоит вспомнить всю огромную борьбу акад. Н. Я. Марра против индоевропейского формализма, чтобы понять и борьбу за преодоление культурного наследия, за строго критическое его использование для будущего науки, а не мертвое и застывшее подражание ради реакционных целей... любопытнейшие связи между новым учением о языке и высказываниями Демокрита, одного из основоположников научного материализма, хотя в силу исторических причин еще примитивного и механистического. Здесь, у истоков лингвистики, уже намечаются два будущих пути языковой теории: материалистический и идеалистический. Сравнивая эту научную лингвистическую стадию, одну из самых первых, с современным состоянием советского языкознания, мы можем указать на два крупнейших, самых основных достижения нового учения о языке. В то время как античные лингвисты и философы имеют дело только с одним узко понятым, изолированным эллинским или римским языком (ср. расовые теории индоевропейцев), Н. Я. Марр ставил проблему языка в мировом масштабе и каждый отдельный язык рассматривал как определенную стадию в едином языкотворческом процессе; античное (а вслед за тем и буржуазное) учение о формальных сторонах языка и художественной речи вытеснено учением Н. Я. Марра о семантике, о первенстве идеологического содержания над формой, о решающей роли мышления, зависящего от материальной базы и общественных отношений»¹².

Самооценка эпохи безусловно ориентируется на научно-исследовательскую парадигму, которая представляется большинству научного сообщества доминантной. Описывая эту сторону советской научной действительности, В. А. Звегинцев скажет:

«В первые десятилетия после Октябрьской революции в советском языкознании можно выделить несколько направлений, осуществлявших исследовательскую работу на разных теоретических принципах. Все они, однако, в большей или меньшей степени были объединены общей задачей построения марксистского языкознания, хотя само понимание путей его построения было у них неоднородным. По сути говоря, вопрос о сущности методологических основ марксистского языкознания был основным в многочисленных и часто горячих дискуссиях первых двух десятилетий советского языкознания. В качестве основных участников этой дискуссии, стремившихся отстоять свои теоретические положения не столько голословными

¹² Античные теории языка и стиля. М. — Л., 1936. С. 5—6.

декларациями, сколько конкретной исследовательской практикой, следует назвать следующие направления:

Во-первых, большую группу крупных языковедов, иногда весь-ма последовательно, а иногда с некоторыми индивидуальными видоизменениями продолжавших традиции Московской и Казанской школ (Д. Н. Ушаков, В. А. Богородицкий, Г. А. Ильинский, М. М. Покровский, С. П. Обнорский, А. М. Селищев, Е. Д. Поливанов, М. Н. Петерсон, М. В. Сергиевский, А. М. Пешковский и др.). В области методической они в основном отстаивали принципы традиционного сравнительно-исторического языкознания.

Во-вторых, создателя “нового учения” о языке, или яфетидологии, Н. Я. Марра и его последователей. Это направление резко порвало с научной традицией науки о языке, объявив ее “буржуазной”, и на основе вульгарно трактуемых “материалистических” положений сделало попытку создать совершенно оригинальную лингвистическую концепцию.

В-третьих, ученика Н. Я. Марра и продолжателя его работы по выработке теоретических принципов “нового учения” о языке — И. И. Мещанинова, деятельность которого (а также и примыкающих к нему лингвистов) характеризуется отказом от крайних выводов Н. Я. Марра; отходом от многих его принципиальных положений и стремлением найти пути примирения с некоторыми направлениями советского и зарубежного языкознания.

В-четвертых, концепцию Л. В. Щербы. Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ в петроградский период его деятельности, Л. В. Щерба в послеоктябрьское время своей научной деятельности развивает ряд интересных и плодотворных идей, обеспечивающих ему самостоятельное положение в советской науке о языке. Школа Л. В. Щербы, имеющая большое количество последователей, оказала значительное влияние на последующее формирование советского языкознания.

Наряду с этими главными направлениями существовали также и иные, деятельность которых либо была очень непродолжительна и малопродуктивна, либо была представлена весьма тесным кругом языковедов. Промежуточное в теоретическом отношении (между традиционным языкознанием и яфетидологией) положение занимала чрезвычайно воинственная, но быстро распавшаяся группа “Языкофронт” или “Языковедный фронт” (Г. Д. Данилов, Я. В. Лоя, Рамазанов и др.). Положения социологической школы нашли отражение в деятельности Р. О. Шор (см., в частности, ее книгу “Язык и общество”, Москва, 1926). Заслуживает упоминания также Опояз (Общество изучения теории поэтического языка, существовавшее с 1914 по 1923 г.). Само по себе оно не оказало сколько-нибудь замет-

ного влияния на формирование советского языкознания. Но некоторые его члены, переселившиеся в Чехословакию, способствовали созданию Пражского лингвистического кружка и возникновению функциональной лингвистики.

Первое из названных направлений, несомненно, было наиболее плодотворным в данный период и дало значительное количество основательных исследовательских работ. В этих работах дело не сводится лишь к простому приложению принципов Московской и Казанской школ к изучению вновь вовлекаемого материала (в первую очередь русского языка); в них осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие этих принципов. Вместе с тем выдвигались новые проблемы (в этой связи, в частности, следует упомянуть дискуссию об описательном языкознании и о внедрении его в качестве особой дисциплины в вузовское преподавание) и происходило творческое осмысление тех вопросов, которые находились в центре внимания мировой науки о языке того времени. Первое (дискуссия об описательном языкознании) находит свое отражение в статье А. М. Пешковского "Объективная и нормативная точка зрения на язык", а второе (проблемы общего языкознания в истолковании рассматриваемого периода) — в статье Г. О. Винокура "О задачах истории языка" (данная работа была опубликована в 1941 г., но фактически отражает положение в советском языкознании 30-х годов). Наконец, представители этого направления вели острую борьбу за принципы сравнительно-исторического языкознания с "яфетической теорией". Эта сторона их деятельности, пожалуй, наиболее яркое выражение находит в полемических статьях Е. Д. Поливанова»¹³.

Мы сегодня вряд ли можем согласиться с такой оценкой научно-исследовательских парадигм, занимавших в те годы маргинальные позиции. Скорее, следует говорить об отсроченной востребованности идей, касавшихся методологии, метода и методики в исследовательских подходах к языку.

Разумеется, нельзя не упомянуть в первую очередь о работе М. М. Бахтина — В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка». В советской России книга вышла в январе 1929 г. «В этой книге, — так начнет свое предисловие к ее французскому изданию 1977 г. Р. О. Якобсон, — все, что следует за титульной страницей, поразительно». Оценка сегодняшнего дня: «То, что в книге является темой — теоретической, лингвистической темой, — в ней же самой является

¹³ Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. В 2 ч. Ч. II. М., 1960. С. 225—226.

практикой, “поступком” темы; следовательно, “Марксизм и философия языка” есть не что иное, как перформативное высказывание о том, что такое “высказывание”, опыт “металингвистики”, проблематизирующий лингвистику с помощью “социологического метода”, то есть посредством господствующего языка времени — “чужой речи”. Это первое по-настоящему новое открытие в марксизме в плане теории идеологии»¹⁴.

Маргинальные парадигмы в советском языкознании 1918—1957 гг., конечно же, находились вне магистральных путей эволюции не только мировой науки о языке, но и собственно советской. Но они содержали оригинальные идеи, которые впоследствии в том или ином виде оказались востребованы наукой.

В первую очередь стоит упомянуть проблему языка в феноменологических философских исследованиях в постреволюционной России. Г. Г. Шпет посвятил специальную работу «Язык и смысл» феноменологии слова¹⁵.

Не менее ценным для истории дня нынешнего лингвистики предстает наука о языке в свете идеала цельного знания, как она разрабатывалась в «школе всеединства», представленной С. Л. Франком, В. Ф. Эрном, Л. П. Карсавиным, П. А. Флоренским, С. Н. Булгаковым и А. Ф. Лосевым. Программа цельного знания включала и теoантропокосмическую парадигму изучения языка. В нее входило признание центрального характера лингвистического компонента всеединства — трактовка имени и слова как универсальной основы «всего» и попытка описывать имя и слово (язык) на той же универсальной основе парадигмы всеединства, что и другие области бытия, и даже внутреннее устройство самого Абсолютного; стремление распространить на трактовку языка осмысления духовного опыта имяславия и т. д. Окончательное оформление парадигма приобретет в энергийно-ономатической модели А. Ф. Лосева¹⁶.

Среди парадигм-маргиналий следует особо выделить совершенно не затронутый исследователями пласт лингвистических штудий тех, кого мы сейчас рискуем объединить под условным названием авангарда 20—30-х годов, причислив к нему А. Крученых, В. Хлебникова, А. Туфанова, Я. Друскина и Л. Липавского. Может быть, вслед за Я. В. Лоя, эти маргинальные парадигмы объединяются под

¹⁴ Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Комментарии. М., 1993. С. 176—177. Ср. также В. М. Алпатов. Указ. соч. С. 267—272.

¹⁵ Антология феноменологической философии в России. М., 1998; Шпет Г. Г. Язык и смысл // Логос. 1996. № 7.

¹⁶ Постовалова В. М. Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука в конце 20 века. М., 1995. С. 342—420.

общим условным названием лингвистического модернизма, или, точнее, языковедного андерграунда.

В этих парадигмах слово как бы получает самостоятельную жизнь и весомость и даже диктует события (А. Крученых). В дискуссиях тех лет можно выделить два периода. Первый восходит к началу 20-х годов и ориентируется на лингвистические и поэтические аспекты, в то время как второй разворачивается примерно с 25-го года и, отвечая идеологическим требованиям, направлен на философию языка.

В этих парадигмах-маргиналиях исследовался практически весь спектр проблем, характерных для парадигмы-доминанты: политический дискурс и алфавит, словотворчество, даже «советизмы» (у А. Крученых), происхождение языка, онтогенез речи и соотношения звукового языка и жестового языка (напр. у А. Туфанова). В ГИН-ХУКе было даже создано отделение по фонологии: в протоколе заседания об этом говорилось так: музей постановил открыть Отделение по фонологии (фонетике) и пригласил организовать Отделение языковеда И. Г. Терентьева.

Парадоксальным образом в 20—30-е годы наиболее периферийные парадигмы стыкуются с доминирующими разработками школы Н. Я. Марра. Так, Д. Хармса очень интересовало слово «яфер», что возможно, связано с его интересом к яфетической теории Н. Я. Марра. А. Туфанов напишет в своих декларациях: «Вот почему нас вдохновляют уже на завитушки гороха, не любовь и тому подобная амброзия, а больше всего, о! неизмеримо больше наш родной, русский православный язык, — “Иоанн Златоуст”, как скажет поэт Марков, и палеонтологические раскопки в праславянском, в древнерусском, санскрите, древнееврейском и прочих языках, в том числе и яфетических». Интерес к палеонтологии речи был не меньшим, чем интерес, испытываемый публикой той эпохи к археологическим изысканиям на том же Кавказе.

Интерес в этих парадигмах был обращен на слово в контексте, что вело к феномену «столкновения смыслов» (И. Левин) или же к «расщеплению значений» (Л. Липавский).

«Для чего нужен язык? — спрашивает он. — Он разрезает мир на куски и, значит, подчиняет его. Но он, как и жестикуляция, естественный вывод природы, ее дыхание, жизнь или пение... Но разрезание мира с помощью языка — ложная приманка. Реальность не становится вследствие этого процесса более понятной. Напротив, она угрожающе разбивается на множество мельчайших единиц, являющихся теми самыми смыслами, против которых нужно бороться»¹⁷.

¹⁷ Цит. по Жаккар Ж. -Ф. Д. Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. С. 170.

Борьба со смыслами скатывается в бессмысленность, но бессмысленность даст импульс исследованию того, что затем получит наименование коммуникативных неудач. Сумерки лингвистики именно потому и сумерки, что в научной и общественной среде велись диалоги, в которых нарушались постулаты нормальной коммуникации.

Все же чувствуется нечто общее во всех этих доминирующих и маргинальных парадигмах 20—50-х годов. Все они направлены на будущее: заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше (В. Хлебников); мы живем в чудесное, удивительное время; вы слышите и видите, что человек повсюду карабкается по кругам социальных экспериментов, испытывая как бы головокружение, когда все предметы теряют для него обычный рельеф и очертания (А. Туфанов); вскрытое лингвистически, непримиримое противоречие старого, индоевропейского, и нового, яфетического, языкознаний есть лишь отображение материально-жизненной антитезы современных социально-экономических противоречий, сигнализирует в настоящем, как языкотворчество в прошлом, классовую борьбу, вскрытую марксизмом, частью которого становится новое учение об языке, и является детищем современности и не может не призывать к неослабленному научному творчеству, созиданию новых научных ценностей и новой бесклассовой общечеловеческой культуры (Н. Марр). Общим было и неприятие прошлого, и «чужого», «буржуазного языкознания», и эпатаж, и, как это ни странно, верность традициям: тот же А. Туфанов в исследованиях метрики, ритмики и инструментовке народных частушек параллелен с Н. Трубецким и наследует Ф. Коршу и Л. Якубинскому; но самое главное, апелляция и верность марксизму. Перевел Маркса на заумный язык и заумь утвердил на осязаемом фундаменте марксизма ...марксизм (ленинский исключительно, а не плехановский, богдановский и да-же не бухаринский) есть заумно-осязаемая материя, из чего делается: пища, дом, одежда, т. е. все предметы... Коммунизм выше всего, хотя бы по остроте своей парадоксальности и простоты (И. Терентьев); Как не сказать, что новое учение о языке начинается с Маркса—Энгельса... Работы Маркса и неразлучного с ним двойника Энгельса над языком и мышлением неразличимы по преемству с работой по развитию идеологии Маркса—Энгельса Лениным по языку—мышлению и Сталиным по языку—нации, сочетавшими в себе дальнейшую разработку марксистско-ленинской теории с практикой и опытом революционного творчества... Этот опыт довел до четкого осознания материальной культуры, вслед за художественной, как необходимой части всех без исключения национальных культур, понимаемых диалектически в известной формулировке Сталина (Н. Марр).

Но еще более парадоксально сближение этих парадигм в советской истории за счет общих обвинений, предъявленных перед их «разгромом» и «уничтожением»: ГИЗ культивирует бессмысличку — реакционное жонглерство — псевдо-детские выражения, обломочки домашне-мещанского быта, бедная незначительность и вместе с тем претенциозная обиходная речь среднего довоенного гимназиста — очередной беспочвенный «бум», льющий воду на мельницу театральной реакции (это все о лингвистическом авангарде) — а вот о Н. Я. Марре и его «новом учении о языке» — трудо-магическая тарабарщина (И. Сталин) — фантастическая картина возникновения языка (Р. Будагов) — Марр запутал себя, запутал языкознание (И. Сталин) — четырехэлементный анализ толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов (И. Сталин) — нелишне отметить, что принцип элементного анализа заимствовали турецкие расисты (А. Чикобава).

Но не все в истории научного знания настолько сумеречно и бессмысленно. И если парадигмы-маргиналии пока еще остаются востребованными, то этого нельзя сказать о такой доминанте, какой явилась парадигма «нового учения о языке» Н. Я. Марра. Посмотрим, как же она оценивается-переоценивается с позиции дня нынешнего.

При всех ныне ясных коренных недостатках Н. Я. Марру и его сотрудникам, прежде всего И. Г. Франк-Каменецкому и О. М. Фрейденберг, удалось нащупать некоторые интересные закономерности древнего мышления (при этом они справедливо отказывались считать первобытное, «мифологическое» мышление качественно отличным от мышления современного человека, т. е. «дологическим»); такой закономерностью было построение мыслительных ассоциаций древним человеком не как абстрагирующих обобщений, а по «семантическим рядам» и «семантическим пучкам», т. е. рядам образно-метафорических связей. Понятие «семантического ряда» было впоследствии отброшено историками мифологий, и совершенно напрасно. Не все «семантические ряды» реконструировались Н. Я. Марром и его сотрудниками убедительно, но в самом их существовании не приходится сомневаться, и они явственно прослеживаются при современных праязыковых реконструкциях. Так считает И. М. Дьяконов¹⁸.

¹⁸ Дьяконов И. М. По поводу воспоминаний О. М. Фрейденберг о Н. Я. Марре // Восток—Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 3. М., 1988. С. 180. Ср. Юдакин А. П. Развитие структуры предложения в связи с развитием структуры мысли. М., 1984; Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. В 2 т. — Тбилиси, 1984.

Работы Н. Я. Марра и его последователей в области «палеонтологии языка» основывались на выявлении так называемых первоэлементов. Постулировалось определенное число (четыре) этих первоэлементов, состоявших из фонетических триплетов. В этой связи Т. В. Гамкрелидзе отмечает: «...уместно вспомнить о теории глоттогонического процесса крупнейшего ученого-лингвиста и филолога Н. Я. Марра, обладавшего своеобразной научной интуицией, позволявшей ему порой приходиться к совершенно неожиданным с логической точки зрения научным решениям. Так, например, Н. Я. Марр сводит исторически возникшее многообразие языков именно к четырем (sic!) исходным элементам, состоящим, как это ни странно, из своеобразных звуковых “троек” — бессмысленных последовательностей — сал, бер, йон, рош. Любой текст произвольной длины на любом языке мира есть в конечном счете результат фонетического преобразования только этих исходных четырех, самих по себе ничего не значащих элементов, скомбинированных в определенной линейной последовательности. Этим, по мнению Н. Я. Марра, и определяется единство глоттогонического процесса.

Глоттогоническая теория Н. Я. Марра не имеет под собой никаких рациональных оснований. Она противоречит и логике современной теоретической лингвистики, и языковой эмпирии, и в этом смысле она иррациональна. Но теория эта, представляющая своеобразную структурную модель языка, весьма близкую к генетическому коду, не иррелевантна для науки и может служить иллюстрацией проявления в ученом интуитивных и неосознанных представлений о структуре генетического кода, очевидно, подсознательно скопированных им при создании оригинальной модели языка»¹⁹.

К этому следует добавить, что такой подход в последнее время находит продолжение в работах по лингвистической генетике²⁰.

Швейцарский лингвист П. Серио подчеркивает преемственность идеи связи лингвистики и биологии в ходе, как он ее называет, биологической дискуссии в России. Идея языкового смешения в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ находит отражение (и переосмысление) в теории скрещения языков Н. Я. Марра; а это характерное для атмосферы того времени понятие нашло свое крайнее выражение в докладе Н. С. Трубецкого, сделанном им в 1937 г. на заседании Пражского лингвистического кружка и озаглавленного «Мысли об индоевро-

¹⁹ Гамкрелидзе Т. В. Р. Якобсон и проблемы изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // *Вопр. языкознания*. 1988. № 3. С. 7.

²⁰ Маковский М. М. Лингвистическая генетика. М., 1992.

пейской проблеме»²¹, в котором он выдвинул теорию аллогенетического родства²².

В. М. Жирмунский незадолго до кончины подготовил предисловие к сборнику избранных трудов, в котором он — это был уже 1967 г. — позволил себе более или менее объективно оценить ситуацию 20—40-х годов:

«Реакция против младограмматической школы была в полном ходу. Диссидентом был прежде всего наш учитель по общему языкознанию И. А. Бодуэн де Куртене (психолингвистика — теория фонемы — теория альтернатив). Его ученик Л. В. Щерба (тогда еще начинающий доцент) с высокомерием говорил о “бругмановском сравнительном языкознании” и, став профессором, никогда курса сравнительного языкознания не читал.... Добавлю еще, что Н. Я. Марр, не получивший на Восточном факультете того времени в строгом смысле лингвистического образования, воспитался как лингвист в этой атмосфере критики традиционных концепций младограмматиков или, по его позднейшей терминологии, “буржуазных индоевропеистов”. Мне приходилось говорить неоднократно, что вся конкретная лингвистическая работа Марра в пору создания им т. н. “нового учения о языке” должна быть полностью и бесповоротно отвергнута, поскольку она целиком построена на фантастической идее палеонтологического анализа всех языков мира по четырем первоэлементам. Однако это не значит, что в теоретических идеях и отдельных высказываниях Марра, в большинстве случаев научно не разработанных и хаотических, не содержались творческие и плодотворные мысли, которым большинство из нас (в особенности ленинградских лингвистов) обязано общей перспективой наших работ. К таким общим установкам я отношу прежде всего борьбу Марра против узкого европоцентризма традиционной лингвистической теории, стадияльно-типологическую точку зрения на развитие языков и их сравнение независимо от общности их происхождения, поиски в области взаимоотношения языка и мышления и то, что можно назвать семантическим подходом к грамматическим явлениям...»²³.

Говоря о типологических исследованиях в СССР в 20—40-х годах, Г. А. Климов также отметит, что «особенно в 40-х г. континентно-типологические исследования составили магистральную линию

²¹ Серю П. Лингвистика и биология // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 321—341; Об «аллогенетическом родстве» см. напр.: Церетели Г. В. О языковом родстве и языковых союзах // Вопросы языкознания. 1968. № 3. С. 3—18.

²² Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 44—59.

²³ Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976. С. 8—9.

развития типологии в СССР, в то время как итоги формально-типологических оказались весьма скромными. Следует заметить, что именно первым принадлежала ведущая роль в борьбе с безраздельно господствовавшим в ту эпоху евроцентризмом лингвистического описания разнотипных языков мира (в последнем плане далеко не все резервы контентивной типологии использованы и современным языкознанием)²⁴.

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что имя Н. Я. Марра ставится в один ряд с именами Дж. Фрэзера и Л. Леви-Брюля²⁵. Ему же отводится одна из ведущих ролей в становлении семиотики в СССР: формулировка законов функциональной семиотики²⁶, например, Вяч. Вс. Иванов в своих работах отмечает, что в новейших исследованиях о языках активного строя подтверждена мысль Марра о древности оборотов 'у него есть' в значении 'он имеет'; что к числу замечательных идей Марра, высказанных еще в 1931 г., принадлежит различение двух типов языков, связанных с синтаксисом (VSO и OSV). Школа Н. Я. Марра в лице его учеников и соратников (Н. Ф. Яковлев, О. М. Фрейденберг и др.) положила начало реконструкции древнейших типов знаковых систем коммуникации, изучению соотношения звуковых и жестовых систем знаков, табу²⁷.

Примечательно и то, что с начала 90-х годов имя Н. Я. Марра возвращаются на страницы учебных пособий для студентов наравне с именами А. Шлейхера, Г. Пауля и Ф. де Соссюра²⁸.

Безусловно, не только «новое учение о языке» в качестве доминирующей парадигмы тех лет получает в настоящее время свое переосмысление. Ведущие школы в российском—советском языкознании и выдающиеся ученые никогда не прерывали своей творческой деятельности. Необрывающаяся цепочка имен и научных работ связывает воедино российских—советских—постсоветских лингвистов: Л. П. Якубинский и С. И. Бернштейн, Л. В. Щерба и Н. Ф. Яковлев, М. М. Гухман и В. Н. Ярцева, Л. С. Выготский и С. Д. Кацнельсон, И. Е. Аничков и А. В. Десницкая и др. Отдельно необходимо вычлениить традицию московско-тартуской семиотической школы во главе с Ю. М. Лотманом, наследовавшей традиции российско-советской семиотической парадигмы (В. Э. Мейерхольда и Я. Линцбаха,

²⁴ Климов Г. А. Типологические исследования в СССР: 20—40-е годы. М., 1981. С. 107.

²⁵ Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. М., 1997. С. 82; Вассоевич А. Л. Духовный мир народов классического Востока. СПб., 1998. С. 64—71.

²⁶ Степанов Ю. С. Язык и метод. М., 1998. С. 85—86.

²⁷ Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. С. 5—56.

²⁸ Зубкова Л. Г. Из истории языкознания: Учебное пособие. М., 1992. С. 73—102.

Н. Евреинова и Д. Поливанова, О. Мандельштама и В. Розанова, П. Бицилли и Л. Карсавина, Г. Шпета, П. Флоренского, Н. Трубецкого и др.

Связь времен не распадается. Хотя, если внять современным пессимистическим оценкам, современная лингвистика находится между старым и новым. Нам хотелось бы помочь молодому поколению лингвистов преодолеть этот пессимизм. Ведь новое — это хорошо забытое старое. Наша антология призвана напомнить об этих забытых и потому недостаточно изученных страницах истории отечественного языкознания.

Раздел 1

Перед заходом солнца ***(1917–1929)***

И. Г. Терентьев

17 ЕРУНДОВЫХ ОРУДИЙ

Когда нет ошибки, ничего нет

Дети часто спотыкаются; они же превосходно танцуют. А н-т и о х.

Ум заставляет отдельные чувства уступать друг другу и тем он добивается решения всех вопросов по большинству голосов; но когда от этого подымает тошнить, — выходит произвол уха (в поэзии), глаза (в живописи) и начинается искусство, где все возможные противоречия имеют почетное место:

сыр бледный покойник
на зелени съедобен и пахуч!

Кто может сомневаться, что нелепость, чепуха, голое чудо, последствия творчества!

Но не так легко обмануть самого себя и ускорить случай ошибки: только механические (а не идеологические) способы во власти художника и тут мастерство, т. е. умение ошибаться, для поэта означает — думать ухом, а не головой. Не правда ли!

Антиномии звука и мысли в поэзии не существует: слово означает то, что оно звучит.

Фауст пытался в Евангелии заменить «слово» — «разумом»; здесь, кроме нахальства, обычное невежество людей, которые на язык смотрят как на лопату...

Впрочем, практический язык действительно самая небрежливая лохань, но законы его обратны законам поэзии. Вот они раз навсегда:

Законы практического языка

- 1) Похожезвучающие слова могут иметь непохожий смысл.
- 2) Разнозвучающие — один смысл.
- 3) Любое слово может иметь какой угодно смысл.
- 4) Любое слово не имеет никакого смысла.

Примеры: 1) Бисмарк (собачья кличка). 2) Полдень и 12 час. дня.
3) Осел или мама (по грузински значит — папа). 4) Любое слово, которого не знает говорящий или слушающий.

Закон поэтической речи

Слова похожие по звуку имеют в поэзии похожий смысл.

Примеры: город — гордый, горшок — гершуни, запах — папаха, творчество — творог.

У Пушкина Татьяна в начале говорит о своей влюбленности так:

Мне тошно милая моя

Я плакать, я рыдать готова,

а в конце романа, говоря о том же, она повторяет ту же звучащую суть влюбленной:

Всю эту ветошь маскарада.

(Мой приятель уверял, что, когда он влюблен, его поташнивает).

Если вслушаться в слова: гений, снег, нега, странность, постоянство, приволье, лень, вдохновение..., слова, которыми восклицаются, желая характеризовать «настроение» «Евгенина», станет несомненно, что они вызваны звуковым гипнозом: Евгений Онегин, Татьяна, Ольга, Ленский!

На этом же построены русские загадки:

Всех одеваю, сама голая (иголка).

Черный конь прыгает в огонь (кочерка).

Предчувствуя значение звука в поэзии, многие любители потрудились над составлением словаря рифм Пушкина, Тютчева и друг. Они не знали, что может быть открыт словарь не только рифмующихся, но и всех вообще слов, которые встречаются у поэта:

(Евг. Онег. гл. I, стр. XIX)

Все те же ль вы, иные девы,
сменив, не заменили вас...

А дальше поэт, слуховое воображение которого поражено словом «львы», рыкает и ворчит: «узрюли русской Терпсихоры...», «устремив разочарованный лорнет...», «безмолвно буду я зевать»...

А в то время, как представляется этот «светский лев», вся XX стр. изображает зверинец, где балерина Истомина, после слов «партер... кипит», — неизбежно превращена в пантеру:

И вдруг прыжок, и вдруг летит...

.....

И быстрой ножкой ножку бьет...

Мало того: отдельные буквы, — не только слова, — говорят о поэте более откровенно, чем всякая биография. Буква «Б» у Пушкина:

Я был от балов без ума!

Первая глава переполнена словом «блистать»: обожатель, боги-ни, балет, бокалов, бобровый, боливар, хлебник, в бумажном колпаке, — весь «бум» бального Петербурга,

Где, может быть, родились вы

Или блистали мой читатель...»

Я не буду настаивать на том, что «узрюли» означает — «ноздри льва» — может быть это «глазища».., но произносительный пафос этого слова, одинаковый почти у всех чтецов, доказывает основную правильность догадки: торжественный зверь смотрит, раздувая ноздри...

Поэтический словарь (внешний вид которого может быть тот же, что у практического словаря, изданного академией наук) есть работа творческая, т. е. малоубедительная для глухих...

Это не ключ к пониманию поэзии: это отмычка, потому что всякая красота есть красота со взломом... В этой же книге, говоря о «17-ти ерундовых орудиях» я дам краткое описание набора творческих закорюк. <...>.

Зная закон поэтического языка, никто не усомнится, что всякий поэт есть поэт «заумный».

Пользуясь обычными словами, Пушкин превращает «ветошь» в «тошноту», «партер» в «пантеру», создает «заумные» слова вроде «узрюли», «мокужон» (Евг. Онег. гл. I, стр. XI, стрч. I: «как рано мог уж он тревожить...»)... И если бы этого не делал, то не только для футуристов, но и вообще не существовал!..

Стихи Крученых, Ильи Зданевича и мои производят странное впечатление: они до крайности непонятны! Это ничего: обойдется!

Заумь переходит в зауряд и зауряд в заумь, все меняется на свете, а то, что мы ежеминутно теперь повторяем в простом разговоре, построено хуже самой тухлой маяковины: «не могу оторвать глаз», «потрясать душу», «сойти с ума» или «пьян как зюзя», «тарабарщина», «трын трава»... Кто знает, что такое — «зюзя».

Все это в свое время было сделано каким-нибудь Каменским и вошло в обиход так прочно потому, что дурные примеры заразительны.

Круг влияния заумной поэзии растет медленно и тем лучше для всех!

Наша поэзия отлична как:

1. Упражнение голоса.
2. Материал для языкопытов.
3. Возможность случайного, механического, ошибочного (т. е. творческого) обретения новых слов.
4. Отдых утомленного мудреца, заумная поэзия чувственна, как все бессловесное.
5. Способ отмежеваться от прошляков.
6. Сгущенный вывод всей новейшей теотики стиха.
7. Удобрение языка (заумь — гниение звука — лучшее условие для произрастания мысли).

Новая школа для художника — только неиспытанный наркоз. Но не следует бояться такого слова: самое «естественное» дело — удобрение земли, унаваживание — тот же наркоз (кстати, и слова похоже...)

Культурное воздвигание поэзии требует перегиба теории.

Каждый художник принужден учиться до полного невежества: открытия бывают там, где начинается дуракаваляние! Ритм! Ритм! Ритм!

Обрубленные носилки, старая карета, колесница — арба или еще гекзаметрическая кобыла Пегас, доскакавшаяся до ям — ба... совсем не похожи на трамвай!

Средства передвижения много влияют на ритмическую природу стиха.

И не только в быстроте дело: абсолютной быстроты еще не найдено. Дело в остановках ежеминутных (трам.), замедлениях порывных (аэроплан)... дело в размеренности по секундам!

Только в прозе было возможно такое головокружительное разнообразие ритма, которое дает хотя бы... Илья Зданевич!

Равное или симметрическое распределение слогов по строчкам — психология пешехода.

Пушкинский ямб вприпрыжку, конечно, лучше еле волочащего ноги «свободного» стиха наших цымбалистов, но знаменитые «ускорения» и «замедления» ямба (Андрей Белый) теперь такое же мальчишество, как раньше был еще более знаменитый «рубленный» ямб.

Размышления С. Боброва, почерпнутые из превосходной книжки Божидара, вносят паразитный дух в новую поэзию, которая совсем не ищет «метрического видительства»... Все эти «трехдольные паузники», сосущие мраморную муху Брюсова к делу не относятся.

Чем проза отличается от стихов!

Созвучия? «Я вышла замуж, вы должны»?

Уже 6 лет поэзия уходит от классического жужжания к разнообразному построению букв по контрасту звука.

Все Маяковские, например, тоскуют по словам: «борщ» и «сволочь»! Вот вам созвучия!

Безграмотно?

Тропы? Т. е. попросту называние вещей не своими именами? Старо, как «кошечка»! Уитмен делал стихи из одного перечисления предметов и это была поэзия без единого эпитета, без метафор, без желания символизироваться перед зеркальным шкафом!

Довольно! Пошел к черту!

Примите за единицу счета не слог, а целое слово, т. е. ряд букв, написанных слитно, и тогда все недоразумения пропадают...

Вот простейший пример:

1 1 1 1

Приду в четыре сказала Мария.

1

1. Восемь. 2.

1

Девять. 1.

1

Десять. 3.

(Это же стихотворение можно прочесть иначе).

На каждую строчку приходится по 4 секундных удара и на каждое слово (это не всегда) по одному. В первой строчке нет пауз; во второй на паузу приходится один удар вначале и два в конце; в третьей строке — 0—1, в четвертой — 0—3, потому что пауза в конце предыдущей строки естественно заслушивается как пауза перед началом следующей и тем убыстряет ее движение.

Так слова соединяются в строчки, которые в стихе — на положении музыкального такта.

Строчки могут и не быть уравнены по числу ударов (у Маяковского они почти везде одинаковы): тогда соотношение цифр делается более сложным, но все же закон секундного уравнивания остается в силе.

Разбор более сложных примеров потом!

Разработанная теория музыкального счета приложима к стихам во многих подробностях.

Все сказанное здесь об ошибке, мастерстве, звуке, ритме и проч. ляжет в основу будущей школы поэзии, уже пришедшей под 41° (Тифлис) на смену футуризма.

Название этой школы **ТАБАК** (т. е. — Табу, цветная легенда, популярный наркоз, предмет первой необходимости и яд. Сравни: «твое дело табак» и «не по носу табак»).

Футуризм подготовил возможность импровизации: он требовал очень много от читателя и ничего от писателя: ограничения возрастом («дети пишут лучше»), умом («безумец — учитель»), образованием («дикарство — благодать») — все опровергнуто футуристами! Но они еще не опровергли самих себя: так и стоят за-я-канные и за-все-канные.

(1919)

А. В. Туфанов

К ЗАУМИ. СТИХИ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

**(фоническая музыка и функции согласных фонем
таблица речезвуков Б. Эндера)**

I

Есть два вида лиризма: прикладной и непосредственный. Прикладной лиризм проявляется в усилении или ослаблении аффектов в поэзии, живописи и в прочих видах «образного мышления». В прикладной лирике, имеющей «литературное значение», поэты и художники ставят себе «задачи»: и «познание Платоновых идей», и «вычерпывание образа» и проч., а иные «твердят молитвы» «просто», чтоб вызывать любовные и т. п. томления; прикладной характер их лирики довольно точно выражен словами их критика Оскара Уайльда: «Найдите выражение для вашей печали, она станет вам дорога, найдите выражение для вашей радости, и экстаз усилится. Вам хочется полюбить, твердите молитвы любви, и они в вас вызовут любовное томление».

Правда, многие из них выдвигают на первый план звуковую сторону слов, с целью «выведения вещей из автоматизма их восприятия», но все же это — «цель», а сам по себе «звук» не служит у них материалом поэзии; искусство все-таки остается у них прикладным.

Но есть и другого рода лиризм, иногда бурный, иногда спокой-

ный, всегда непосредственный, исходящий всегда от жизненного порыва; он не прикладной, а своего рода лиризм для лиризма. Сюда следует отнести бешеную пляску дикарей вокруг костров (корробо-ри), «радения» русских хлыстов, пение частушек под «тальянку», исполнение «Ой, гуляй, гуляй, казак» в опере Римского-Корсакова «Майская ночь» и наконец «Заумие», «Расширенное Смотрение» у поэтов и художников.

Кроме того, и сама природа проявляет себя только «Заумным» лиризмом. Она не думает, а поет себе просто: цветами, сосновой пылью, журчанием ручья, птичьим гамом и прочими жестами. Материалом ее искусства служит само движение, как в орхестике Duncan. К такому же простому материалу за последние десятилетия идут и многие художники, которые, освободившись от предметности и образности, считают краску и звук (фонему) материалом нового искусства. Все эти течения рождены «гигиеной мира» — войной, которая пробудила в человеке: идеал *бродячей жизни* и стремление *уйти к недумаящей природе*.

Художник тоже ищет себя, т. е. тоже бродит, подобно Пушкиным и Лермонтовым после войны 1812 года, но упирается в тупик прикладного лиризма.

А между тем, сама природа и наш народ, никогда не порывающий связи с нею, указывают выход. Этот выход в лиризме непосредственным, заумным. Нашему народу свойственно ощущение жизни *в движении*, поэтому в стиле его песен господствовал прием психологического параллелизма, по признаку движения, и в эволюции приема у него, на смену параллелизму, идут аккорды согласных и гласных звуков (фонем) — при песенном произнесении частушек.

Вот почему, уходя к недумаящей природе, с самоощущением жизни в движении, я не могу оставить *слово* и «предметность» в качестве материала искусства. Слово — застывший ярлык на отношениях между вещами, и ни один художественный прием не вернет ему силы движения; не вернет он силы движения и предметности в живописи. Предметность и слово бессильны. Наши предшественники — Елена Гуро, Крученых и Хлебников через «воскрешение слова» шли к заумию, поэтому они не столько будетляне, сколько *становляне*. Они становились, делались поэтами заумными, но не успели справиться с «накипиями родного языка», по выражению Хлебникова. Морфемы слов «родного языка» и других языков флексирующей группы — переплелись, срослись, утратили равновесие, и в этих языках появилось «замирание морфологической делимости слов», акустические ощущения от них не вызывают определенных ощущений движения. Велемир Хлебников называл это *накипиями*.

При уходе к недумаящей природе, после смерти Велемира Хлебникова, я пришел к наиболее простому материалу искусства. Материалом моего искусства служат произносительно-слуховые единицы языка, *фонемы*, состоящие из психически-живых элементов — *кинем* и *акусм*.

«Звук» речи сам по себе есть движение кинем и акусм, с параллельным им движением акустического ощущения; он также близок к природе, как музыкальный звук и как жест в орхестике Isedora Duncan, где материалом искусства служит *само движение*, наполняющее время музыкального ритма.

После Хлебникова мне стало ясно, что при одних только лингвистических намеках о значении звуковой речи, вопрос остается неразрешимым; уже и у Хлебникова назревала мысль, что каждая из согласных фонем должна иметь определенную функцию, свою внутреннюю телеологическую структуру.

Вот почему в течение последних 4-х лет я задался целью — установить имманентный телеологизм фонем, т. е. определенную функцию для каждого «звука»: *вызывать определенные ощущения движений*.

Не «воскрешение слов», а воскрешение функций фонем — вот моя задача, завершившаяся открытием 20-ти неполных законов, названных мною «Конституцией Государства Времени». Эти мои законы о «звуковых лучах» вводят заумие уже в историю литературы, как бы канонизируют заумие, а сами мы из поэтов становимся уже композиторами фонической музыки.

II

Первым объектом для наблюдений я избрал основные, английские и китайские, морфемы.

Языкознание учит нас, что развитие звуковой формы идет от сложности к сокращению и упрощению звукового состава слов: утрачены, например, аспираты — kh, gh, th, dh, ph, bh тяжелые в артикуляционном отношении и резкие в акустическом. Человечество идет к упрощению и облегчению артикуляции, путем смягчения, ассимиляции, выпадения согласных, превращения дифтонгов в простые гласные; оно идет к минимуму морфологических элементов, к упрощению окончаний, исчезновению архаических форм; оно перешло от музыкального ударения к выдыхательному и к утрате долготы и краткости слогов.

Вот почему, при установлении телеологизма согласных фонем, я обратился к английскому языку, который, благодаря изолирующе-

му строю, характеризуется утратой большинства падежных и глагольных окончаний, обнажением основны морфем с основными фонемами, тогда как звуковые комплексы индоевропейского пра-языка, санскрита и древнегреческого изобиловали сложными kh, th, которых уже не было в иранских, латинском, славянских и германских языках, где kh перешло или в к или в х, rh в ф, а, к и з переходили в Г и Ж; где ai превратилось в Е, ou в О и т. д.

Я не обратился и к языкам дикарей, потому что после работ В. Гумбольдта, Боппа, Як. Гримма, Г. Пауля, В. Вундта, Томсона и Бодуэн-де-Куртенэ, скажу я словами профессора Овсяннико-Куликовского: «Мы не имеем научных оснований предполагать, что в самых отдаленных фазисах первобытного языка действовали и творили какие-то особые силы и совершались процессы, нам неизвестные, исчезнувшие на позднейших ступенях».

Установив 20 упомянутых законов, путем наблюдения над 1200 основными морфемами, главным образом, английского языка, я поверял их: 1) на фонетических явлениях семитских языков (как языков другой лингвистической семьи), 2) на звуковых жестах японского языка, 3) на некоторых английских предлогах и 4) на звуковых аккордах русских частушек. Словарь из 1200 морфем, с присоединением китайских и русских, я назвал «Палитрой морфем», так как композиторы заумия могут пользоваться ими, как художники красками с своих палитр.

Собрав 1200 слов, не имеющих формальных морфем (флексий, суффиксов, приставок), я стал сосредоточиваться на основном согласном звуке (фонеме) каждого из них. Например: rang — обозначает томить, тоска, мучить, мука и т. д. Слово это односложное, с ударной гласной и основной согласной р; наблюдая и другие слова с этой фонемой, я постепенно подошел к определению основного психического сцепления этого звука с ощущением движения. Законы свои, из которых некоторые подтвердили законы Хлебникова, искавшего их только в языковых явлениях русского языка, я назвал законами неполными: иными они и быть не могут в текущем Государстве Времени у меня, ставшего Велемиром II-ым после смерти Велемира.

В процессе работы все звуки человеческой речи за период в 250.000 лет со времени 1-го оледенения на земном шаре через преломление в бушующем смятении моей жизни, силой творческого солнца, разбились и слились с недвижимым образом радуги. В семь цветов солнечного спектра упали все времена развития звуков речи, семь категорий двигательных процессов совпали с семью цветами и с семью музыкальными тонами. Наиболее древнее происхождение

имеют звуки *m* и *n*, соответствующие самому примитивному развитию органов артикуляции.

Привожу перечень *семи* времен, в порядке генетического происхождения согласных звуков.

1. Замкнутые движения (при звуковых жестах *m* и *n*).

2. Свободные около прикрытия: *h*, *g*.

3. Преграды (встречные движения): *t*, *d*.

4. Свободные около преград, [*k*], *p*, *b*.

5. Круговые *f*, *v*.

6. Волновые: у неподвижной точки — *r*.

к подвижной — *l*.

7. Рассеянно-лучевые: *z*, *s*, *ts*, *st* — дифтонги и пр.).

Теперь уже нет сомнения, что на заре зарождения языка, неандерталец, например, произносил звук *b* и передавал этим свое ощущение кругового движения вокруг огня (костра), при определенном радиусе приближения к нему. А затем во время гроз, ливней, когда он лишался огня, с большим трудом добываемого, делясь своим горем с другими людьми, он произносил это *b*, вызывая представление движения огня, грозы, ветра и т. д., т. е. звук *b* имел функцию вызывать ощущение кругового движения вокруг костра. Но с развитием производственных отношений, человек научился впоследствии сравнивать, сопоставлять предметы и схватывать отношения между вещами; эти отношения между вещами вне двигательных процессов положили начало слову, которое стерло в веках все функции отдельных согласных звуков (фонем).

Воскрешение этих функций наиболее легко удастся при наблюдении языковых явлений английского языка. Для примера беру страницы из своей Палитры:

take — держать, схватить.

tail — хватать за хвост, косу, виньетка, заставка.

tarn — топь.

tenet — правило.

tew — мешать, железная цепь.

Вся сила этих слов, состоящих из основных морфем без окончаний (формальных морфем), в звуке. Затормозив воспринимательный процесс при восприятии значений этих слов, — *нетрудно* понять, что все они имеют психическое сцепление с ощущением усиления преграды, вызывающей изменение направления.

В процессе заузного творчества и эти простые морфемы разрушаются и получают простые звуковые комплексы, осколки английских, китайских, русских и др. слов. Происходит, именно, своего рода «сошествие св. духа» (природы) на нас, и мы получаем дар

говорить на всех языках. Вот образец музыкального произведения из английских морфем. Так как фоническая музыка равно «понятна» всем народам, я пользуюсь при творчестве транскрипционным научным письмом:

Весна

s'iin' soon	s'ii selle	soong s'e
siing s'eelf	s'iik signal	seel' s'in'
l'ii l'evis	l'aak l'ajs'iin'l'uk	
l'aa luglet	l'aa vlil'iinled	
saas'iin'	soo sajl'ens	saajset
suut siik	soon rosin	saablen
l'aadl'ubson	l'iil'i l'aasl'ub	
sool'onse	seerve seelib	

Чтобы облегчить восприятие «музыки» своим последователям, передам ее русскими графемами.

Весна

Сиинь соон сийй селле соонг се
Сиинг сеельф сиййк сигналъ сеель синь

Лийй левиш ляак льяйсиньлюк
Ляай луглет ляав лилийн лед

Соасиинь соо сайленс саайсед
Суут сийк соон росин сааблен

Ляадлюбсон лиилиляаслюб
Сооленсе сеервеселиб.

Как видит читатель, в данном музыкальном произведении вполне ясна связь и порядок в организации материала, т. е. оно художественное. Слов нет, а потому нет выдыхательных ударений; поэтому творческий акт вводит *долготу* (но долготу подвижную) слов для музыкальноо ударения; вводятся слоги в 2 *chronos protos* и в один. Стихи логоэдические, причем первые 2 с базой впереди (2 долгих слога) — Ферекратов стих: из дактиля и трохея; а следующие два стиха — Аристофановские (дактиль и два трохея).

Несомненно, усмотреть здесь *возврата* к 28-ми размерам древних греков все-таки нельзя, так как мы обогащены тысячелетним опытом, даем «стихи» заумные, а не «аристофановские». Перед читате-

лем возникает тот же вопрос, как и перед композицией художника Матюшина и его группы: *как* подойти для восприятия? Чтобы ответить на этот вопрос, привожу свои 20 законов.

1. *m* имеет психическое сцепление с ощущением пространственно-замкнутого движения, свободного под покровом.

Прямь — седьмой луч.

2. *n* — с ощущением преграды в замкнутом движении.

3. *h* имеет психическое сцепление с ощущением прикрытия и свободного движения: а) к центру и б) к прикрытию.

Скрут прями — пятый луч.

4. *g* — с ощущением хаотического вне прикрытия.

5. *t* имеет психическое сцепление с ощущением усиления преграды, вызывающей изменение направления.

Встречь — первый (средний) луч.

6. *d* — с ощущением ослабления преграды и перехода в линейное направление, по закону инерции (*b*).

7. *p* имеет психическое сцепление с ощущением движения из сжатого в рассеянное.

Встречь — первый (средний) луч.

8. *b* — с ощущением линейного направления по закону инерции после рассеянного, при ослаблении преграды (*t...d*).

9. *f* имеет психическое сцепление с ощущением кругового движения при неопределенном радиусе.

Кривь — шестой луч.

10. *v* — с ощущением кругового движения при определенном радиусе.

11. *r* имеет психическое сцепление с ощущением волнового движения у неподвижной точки.

Волнь криви — четвертый луч.

12. *l* — с ощущением волнового линейного направления к подвижной точке.

13. *s* имеет психическое сцепление с ощущением лучевого двойного волнообразного движения.

Скрут криви — второй луч.

14. *s* — с ощущением прекращения лучевого уменьшением длины и поглощения встречным движением.

15. *z* имеет психическое сцепление с ощущением лучевых движений из многих точек.

Волнь-прями — третий луч.

16. *z* — с ощущением прекращения лучевых из многих точек и поглощения встречным движением.

17. *ts* (ц) имеет психическое сцепление с ощущением усиления преграды (*t*) к лучевому (*s*).

18. *ts* (с) (ч) — с ощущением нарастающей преграды (*t*) к прекращению лучевого (*s*).

19. *k* имеет психическое сцепление с ощущением движения из хаотического (*g*) в сжатое.

20. *sts* (щ) — с ощущением перехода в сжатое состояние.

Слом — вне радуги.

Сгиб — вне радуги.

Выступая с воскрешением функций фонем, я делаю то же самое, что делали импрессионисты, символисты и др.: я объясняю прием творчества, чтобы подвести слушателя к восприятию. Из психологии известно, что ощущение — неразложимый элемент сознания (наприм., удар метронома). Сочетание этих простых ощущений дает представление, т. е. то, что мы ставим пред собой, проецируем вне нас, например, 1-ое чувство голода у дикаря и у ребенка.

На заре рождения языка, в качестве рефлекса, происходит движение органов артикуляции, возникает уподобительный жест, «звук-овая метафора» (по Вундту), локализованная в полости рта и исполняемая с опущением мягкого нёба и пропуском в нос текущего из легких воздуха. Человек произносил *m* и передавал свое ощущение пространственно-замкнутого движения, а при ощущении преграды в этом замкнутом произносил *n*, локализованное в передней части языка, прижимающейся или к верхним деснам или к передней части твердого нёба.

mew — заточать, запира́ть, огороженное место.

mute — немой.

mesh — поймать сетью.

must — долженствовать, покрываться плесенью.

(См. 5 лист «Палитры морфем», отдел англ. м.).

min' — печалиться, осень.

m'an' — мука, погрязнуть.

(9 лист, китайск. морфемы)

мысль, мямлить, мышь, мель, мать и пр. русск.

nip — монахиня.

gnome — подземный дух.

not, no, noп — нет, не.

need — нужда.

(Англ.).

in' — немота.

p'in' — застыть, сгуститься, замерзнуть.

(Кит.).

немой, няня, нож, никнуть и пр. русск.

Эти звуковые жесты, производные движения, были основаны на уподоблении (сравнении); и в то время как в позднейшие века, сравнение предметов привело к комплексам звуков для выражения отношений между вещами, — сравнение *движений* привело к закреплению за фонемой прямого значения, с утратой значения звуковой метафоры. Подобное явление наблюдается и в области слов, например, санскритское *mush* — *mushaka* — мышь, *mos* (греческ.), *mus* (латинск.), *Maus* (немецк.), *mouse* (англ.), — имело первоначальное значение «вор», утраченное впоследствии.

Ощущение основных движений первобытный человек передавал звуковыми жёстами органов артикуляции, а сочетание жестов-рефлексов на однородные ощущения движений принимало форму представления. Условия общественной жизни закрепили за звуковыми жёстами функцию передачи ощущений двигательных процессов. И если бы человечество на дальнейших ступенях своего развития не перешло от уподобительных жестов к сравнению предметов (абстракции) с сопутствующим ему словом (после изобретения первого топора), а передавало бы при общении, с развитием производственной техники, только самые двигательные процессы и само движение, тогда, надо полагать, на земном шаре была бы только одна Заумь — страна, с особой культурой, богатой миром ощущений при многообразном проявлении формы (ритма) на материи (ритмичном сознании), но без признаков ума, без представлений о смерти, без развернутых при пространственном восприятии времени, идей и эмоций. Было бы царство без-умия с искусством за-умия. Если ошибок земного шара не повторили обитатели Марса, там, несомненно, должно быть такое «Государство».

После первого пояса Зауми на земном шаре наступил второй: *h* и *g*.

Для *h* — уподобительный жест ассоциируется с представлением глухого неносового заднеязычного щелинного спираанта; для *g* — в прижатии задней части языка к твердому (или мягкому) нёбу, с внезапным раскрытием (взрывом) и с музыкальной вибрацией.

haunt — убежище.

hau — хоровод.

head — голова.

home — дом.

hao — небо.

ho — огонь.

хата, хижина, хоробрый, холить.

Звук вызывает ощущение прикрытия и свободного движения к центру и к прикрытию.

gas — газ.

gay — веселый, хмельный.

gad — неряха.

game — игра.

гул, гули, гам, огонь и пр.

Звук g — вызывает ощущение хаотического над прикрытием.

Из психологии еще известно, что ощущения и представления сопровождаются чувствованиями, которых три пары: удовольствие и неудовольствие, напряжение и разрешение, возбуждение и успокоение.

Протекающий во времени процесс сменяющихся и соединенных, переплетающихся, взаимно-проникающих чувствований и представлений дает начало аффектам: радости, веселости, надежде, с преобладанием чувствований удовольствия; гневу, печали, заботе, боязни — с преобладанием неудовольствия; печаль, страх — угнетающие аффекты; радость и гнев — возбуждающие; надежда, забота, страх связаны с напряжением.

К аффектам примыкают волевые процессы — течение чувствований.

Все двигательные процессы во внешнем мире протекают при напряжении и разрешении, создаваемых усилением и ослаблением преград, что делает сознание ритмичным и дает начало 3-му поясу Зауми — *t, d*, которыми в силу рефлекса человек передавал эти усиления и ослабления преград.

Английские: tew — мешать, железн. цепь.

tin — покрывать оловом.

tenet — правило и т. д.

Китайские: t'e — железо.

ten — заграждать, противиться.

t'i — остановить и т. д.

Русские: тын, темь, тина, топь и пр.

Английские: demit — уступать.

door — дверь.

die — терять силу, умереть.

Китайские: d'an — молния.

dao — воровать и др.

Для *l* звуковой уподобительный жест ассоциируется с представлением преграды переднеязычной, дающей сжатый или смычный, и вместе с тем взрывной глухой звук, без музыкального дрожания голосовых связок, а при ослаблении преграды, дающей возможность движения по инерции, — звуковой уподобительный жест переднеязычный (*d*) с музыкальным дрожанием связок.

По законам притяжения и сцепления элементы хаотического группируются около центров — преследование зверя, врага, танцы вокруг костров. Человек передавал ощущение звуком *K*, тем же жестом, как при *g*, но без вибрации голосовых связок. При усилении же преграды (*l*), лучи энергии, по законам падения и отражения, рассеиваются. Это рассеяние передается фонемой *P*, локализованной в быстроразмыкающихся губах без дрожания голосовых связок.

28-й лист Палитры:

cool — охлаждать.

cow — умирять.

cash — касса.

cabal — ковы.

cull — собирать.

(англ.).

kou — бить (кит.) и пр.

ковы, комкать, каша, кипа и др. русск.

реер — распускаться.

raunch — пузо.

sprite — пена (англ.).

rep — пузо (кит.).

rap' — таять (кит.) и др.

пар, пыль, пир, пить, и др. русск.

А рассеянные лучи *p*, при ослаблении преграды *l...d*, переходят по закону инерции в лучи *b*, жест которых локализован в быстро размыкающихся губах, при дрожании голосовых связок (3-й пояс).

41-й лист Палитры:

be — быть, being — бытие.

bare — нагой, голый.

boll — наливаться (англ.).

bo — волна.

bin — лед (кит.).

быть, битва, буря и др. русск.

Это *b* — жест могучего потока жизни; не даром мы говорим: быть, бытие; англичане: *be, being, body, bend*; китайцы: *bin, bo* и т. д.

Таким образом, внешний мир, с его вещественными преградами двигательным процессам, усложняет свободное лучевое движение во времени, в 3-х цветной полосе Радуги бытия. Сознание вступает в широкий объем (перцепция) и в фокусы повышения внимания (апперцепция). Сами по себе состояния сознания неотделимы, неотличимы и не могут дать количества. Фокусы повышения внимания придают двигательным процессам *характер круговых*, при определенном радиусе (*v*) и неопределенном (*f*). Человечество вступило на путь четвертого пояса Зауми.

53-й лист Палитры:

fit — приспособлять.

fill — наполнять.

fade — увядать (англ.).

fin — ветер.

faj — летать.

fu — мужчина (кит.).

факел, фалда и пр. русск.

vane — флюгер.

van — веер.

view — обозревать.

vortex — вихрь (англ.).

vo — красив. женщина.

vej — окружить (кит.).

волос, ворот, ветка, верба и др. русск.

При усилении преграды (*i*) предшествующим лучам — *b, v, f* — фокус внимания человека сосредоточивался у неподвижной точки; он локализовал жест в волновом дрожании конца языка, прикрепляя его как бы у неподвижной точки. Так произошел звук *r*, докатившийся до нас в словах: рать — *troops*, рев — *roar, river* — река, *retreet, crowd*, крик, руль, гром (72 лист Палитры морфем). Несмотря на то, что назначение этих слов — передавать отношения между вещами, приведенными абстракцией к статике, тем не менее даже слова, не говоря уже о самом *R*, имеют психическое сцепление с ощущением волнового движения у неподвижной точки.

Но в бушующем смятении жизни, кидающем в пространство текучий образ Радуги времен, нет остановки и для преград: усиление (*i*) их переходит в ослабление (*d*) — фокус внимания становится подвижным, и волновое хаотическое переходит в линейное *k* подвиж-

ной точке. Так родилось, *при смещении* фокусов внимания, — *l*, локализованное в конце языка, перемещаемом от верхних десен по твердому нёбу. Недаром мы говорим: любить, лодка, лить, лада, лужа; англичане: love, leak, lewd, lava, light; китайцы: lan' (разливать-ся), l'u (течь), lao (влюбить-ся) и т. д. (5-й пояс).

И как только у человека в фокусе внимания, рядом с войной, охотой, удовлетворением чувства голода, встал половой инстинкт, лучевое движение по отношению к полу разделилось на мужское и женское начало. Наступил 6-ой период — рассеянно-лучевых движений. Линейное волновое *l* по законам притяжения распалось на двойное лучевое *s*, сопровождаемое движением лучей *z* (7-ой пояс).

Развитие органов артикуляции дало возможность человеку обогатиться последним, самым сложным и ярким жестом — *s*, локализованным в плоском и продольном удлинении языка, без колебаний голосовых связок, для передачи двойного лучевого волнообразного движения.

Солнце, сын, семя, сам, сестра, сердце, семья, сеять; sun, son, seed, seek, seem, sail, sang, soul, sow, sally (англ.); s'in' (сердце), s'e (герой), s'an' (любить, подняться); su (зелень), s'ao (смеяться, пение птиц) — кит. — везде лучистость, кинутая в беспредельность.

Если бы лучевое движение солнца и жизнь сознания человека не подвергались влиянию других сил, они двигались бы беспредельно в прямолинейном направлении, с одинаковой скоростью, по закону инерции; но, при уменьшении длины и поглощении встречным движением, лучи *s* превращаются в лучи *š*: she (она, самка, женщина), shade, sall и пр. (См. 89 лист Палитры) — англ.; san; (умереть в юности), si (труп) — кит.; шар, шить, ширь, шамшура — русск.; и уподобительный жест локализован в укорочении языка. Наша шамшура (чепец под кокошником в Архангельской губ.) дважды говорит об укорочении волос, о причёске во всю длину волос, замененной причёской только в толщину.

Для *z* жест локализован в плоском и продольном удлинении языка, с музыкальным дрожанием голосовых связок. Этим жестом человек приветствовал зарю и все лучевые движения из многих точек: зеркало, зелень, зов, зыбь, зерно; zone, zeel (англ.); tsz'an (зеркало), tsz'ao (звать) — китайск.

Но встречное движение (земной шар) поглощало и прекращало эти лучевые из многих точек; человек передавал это жестом, локализуя его в *укорочении* языка при дрожании голосовых связок (*z*). Вот почему согласный звук *z* (ж) даже в *словах* до сих пор говорит об этом прекращении и поглощении: gemma, gew, gill, jam, jew, join; czan' (казнить), czun (могила), zan' (жена) — кит., и наконец zi — китай-

ское — перенесло это ощущение на само солнце, которое является источником прекращения лучевых движений из многих точек — зари.

В заключение главы прибавлю еще о жестах, происшедших при слиянии *s* и *š* (ш) с *i*.

ts (ц) — усиление преграды к лучевому: ts'u (узник), tsou (скопиться, стекаться, собираться).

ts (с=ч) — усиление преграды к прекращению лучевого: šap (делать трещины), čime (согласоваться), child (чадо); череп, чадо, чары, чад.

sts (ш) ощущение перехода в сжатое состояние: щит, щель, пощада, щебень, щепя.

IV

Для проверки своих законов я предлагаю обратить внимание на следующие языковые явления.

1. В языках другой лингвистической семьи — арабском, древне-еврейском и ассирийском *согласные* имеют вещественное значение, а гласные лишь формальное (для образования частей речи, залогов и пр. путем чередования). Так, например, в арабском понятие о власти выражалось сочетанием согласных *m-l-k*, причем *malaka* значит — он владел, *malakun* — царь, *mulkun* — царство, *milkun* — захваченная вещь и т. д.

В древне-еврейском:

paга — развязывать.

paгаd — разделять.

paгаs — рассеивать.

paгаk — ломать.

paгаr — расщеплять и т. д.,

т. е. с приставкой к слову *пага* в конце *согласного* меняется значение в полном соответствии с моими законами: *d* вносит ослабление преграды, и развязывание превращается в разделение; *s* превращает развязывание в рассеяние; *k* говорит о переходе в сжатое состояние (см. 19 закон «конституции»), и развязывание переходит в ломание; *r* — говорит о расщеплении (см. 11), происходит волновое движение у неподвижной преграды.

2. Звуковые жесты японского языка: *gogo-gogo* (о грохоте, громе), *sava-sava* (о свисте ветра) и другие комплексы, сопровождающие слуховые, зрительные, осязательные и моторные впечатления; а также образования на *gi* и *to*, имеющие тенденцию *k* вне-языковым представлениям: *pirari* (о блеске, сверкании), *possori* (о движении улитки, о неуклюжем), *pattiri* (о больших ясных глазах) и пр. — дают те же значения и по «конституции», но, разумеется, схематизированные.

3. Предлоги английского языка:

at — обозначает преграду, около которой движение или деятельность начинается, происходит или заканчивается *покоем*: to remain at (остаться при, у, в); to rest at (покоиться. отдыхать в, при) и т. д.

in — пребывание предмета в *окружающем* его со всех сторон месте: to join in (принять участие в), faith in (вера в) и т. д.

of — разъединение при круговом движении во времени: to tire of (утомиться чем), to seek of (искать у) и пр.

to — направление к преграде: to come to (дойти до), to chain to (приковать к), to bring to (доставить до), to answer to (отвечать на), to take ship to (отправиться на корабле в), to tie to (привязать к) и т. д.

4. Записи русских частушек без слов:

1)	— — <i>m</i> —		— — <i>s</i> <i>l</i> <i>a</i>
	— — <i>p</i> —		— — <i>z</i> <i>l</i> <i>a</i>
	— — <i>k</i> —		— — <i>k</i> <i>l</i> <i>i</i>
	— — <i>b</i> —		— — <i>k</i> <i>l</i> <i>i</i>

2)	— — <i>d</i> —		— — <i>d</i> —
	— — <i>t</i> —		— — <i>d</i> <i>l</i> <i>o</i>
	— — <i>d</i> —		— — <i>l</i> —
	— — <i>l</i> —		— — <i>d</i> <i>l</i> <i>o</i>

По «конституции» аккорды согласных по вертикальной линии должны иметь следующее значение:

1. *m—p—k—b*. Замкнутое движение (например, сердца) переходит в рассеянное, сжатое и в линейное по закону инерции.

s—z—k—k. Двойное лучевое из одной точки переходит в лучевое из многих точек, в сжатое, на фоне гласных *i* (для усиления сцепления) и *a* (для усиления ощущения лучевого взгляда на жизнь).

Слова, записанные после фонического воспроизведения:

«Купи, маменька, на сак
Сорок пуговиц назад;
По бокам карманчики
Чтоб любили мальчики». (Арх. губ.),

т. е. желание сосредоточения любви мальчиков в соответствии с сосредоточением сорока пуговиц в одном саке; то же переход из рассеянного в сжатое.

2. *d—t—d—l*. Преобладает ослабление преграды (*d*) к волновому при подвижной точке (*l*).

d—d—l—d. При ослаблении преграды, волновое линейное к подвижной точке (*l*), на фоне гласной *o*.

«Речка долга, речка долга
На ней тоненький ледок,
Парень девушку целует,
Губки сладки, как медок». (Арх. губ.).

Я изложил в сжатом виде всю теорию зауmia.

(1924)

Р. О. Шор

КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

В ожесточенной полемике, загоревшейся вокруг выдвинутой акад. Марром яфетической теории, индо-европеисты и яфетидологи обмениваются упреками в ненаучности и догматизме. Кто прав в этой полемике? Те ли, кто указывает, что новая теория пользуется методами научного рассмотрения, уже проверенными и отвергнутыми в индо-европеистике? Те ли, кто отвергает «единоспасительность» методов, созданных на материале замкнутого круга индо-европейских языков — этих *idola of philology* (филологических кумиров), на которые так горько сетовал уже Сейс (Sayce)?

Разумеется, предлагаемые очерки отнюдь не претендуют на разрешение этого спора. Их цель другая — путем объективной информации внести некоторый новый материал для освещения этого спора. Их цель — показать, как в настоящий момент в самой индо-европеистике колеблются те положения, которые так недавно еще представлялись догматами. Их цель — указать, с другой стороны, на ряд новых достижений теоретической лингвистики, которые, как кажется, имеют право претендовать на общность. Словом, цель предлагаемых очерков — в кратких чертах охарактеризовать тот огромный сдвиг в методологии и философии лингвистики, который, начавшись на переломе двух веков, приводит в настоящее время виднейших ее теоретиков к решительному отказу от индивидуалистической философии языкознания XIX-го века и возвращает их — *mutatis mutandis* — к социальным теориям языка XVIII в.

Ибо — и это становится все более очевидным — перестроить в

научную систему колоссальный запас конкретных языковых фактов, накопленных лингвистикой за последние столетия, может только отказ от господствовавшей до недавнего времени психологистической концепции языка, как новотворчества индивида, и возвращение к социологическому понятию языка, как над-индивидуального факта, существующего в традиции коллектива и определяющего деятельность индивида. И только этот отказ способен вывести лингвистику из того теоретического тупика, в который роковым образом приводят все направления лингвистической философии языкознания прошлого века.

I

Подводя итоги на рубеже двух веков, современная лингвистика могла с гордостью указать на ряд достижений, утверждавших за ней право на название точной науки.

В области индо-европейских языков соотношения между фонетическими (и отчасти морфологическими) системами отдельных языков и отдельных стадий развития того же языка установлены были с такою точностью, что порой оказывалось достаточным запомнить несколько так называемых «фонетических законов», чтобы свободно переводить звуковую форму слова одной стадии языка в другую, одного диалекта в другой. Эта система, объединяющая фонемы (звуковые типы) всех индо-европейских языков в легко запоминаемые формулы, под названием «фонетического состава индо-европейского пра-языка» преподавалась со всех кафедр сравнительного языковедения. За пределами индо-европеистики намечались те же достижения может быть менее точные, менее достоверные, устанавливались аналогические соотношения между фонетическими и морфологическими системами родственных языков. Эта систематизация бесчисленного множества конкретных фактов, на приобретение которых понадобилась работа не одного столетия, и строго логическое, ясное и легко запоминаемое их изложение — и составляли главное достижение языковедения в начале текущего столетия. Благодаря этому бесценному научному аппарату, которым располагает современная лингвистика, для нее становится возможным, овладевая новым неисследованным еще языком (как раскрытые в новейшее время языки тохарский, согдийский и др.), немедленно устанавливать весь ряд соотношений между его фонетической системой и системами всех исследованных языков той же группы.

Но наряду с этими блестящими достижениями, уже в конце прошлого века, в системе современной лингвистики начинал замечаться

ряд существенных недомолвок и порой обмолвок. Так, несмотря на теоретически почти единогласное признание гипотетического характера реконструируемых фактов пра-языка, исторические грамматики оперировали и оперируют с ними до сих пор, как с реальностью. Как с реальностью оперируют они и с гипотетической единицей диалекта, и все снова воскресает, подорванное «теорией волн» уже полвека тому назад, представление об изолированном развитии «ответвившихся» от общего «ствола» замкнутых языковых единств.

Более существенные проблемы в построении современной лингвистики выступали при попытках описания системы языка в целом; как раз при анализе элементов, особенно важных для установления структуры языка, методология господствующего лингвистического течения прошлого века — младограмматиков — оказывалась бесполезной.

Система синтаксиса зачастую строится на традиционных понятиях античной грамматики, или, что еще хуже, на понятиях, совершенно пренебрегающих формами языка (теория психологического субъекта и предиката).

В области семасиологии, благодаря эквивокации термина «значение», долгое время остается неопределенным самый предмет исследования; взамен научной систематизации наблюдаемых фактов, работы по семантике, популярные в конце прошлого и начале настоящего века «*Vie des mots*» и «*Leben der Wörter*» преподносят читателю собрание более или менее занимательных лингвистических анекдотов.

«Граматики с преобладающей лингвистической тенденцией, выходящие в настоящее время сериями, все еще оканчиваются там, где начинается синтаксис. Правда, в морфологии проскальзывают кой-какие синтаксические добавления; но в общем подобные программные работы как будто стремятся доказать, что понимание и владение языком не принадлежат к числу предметов, которым обучает грамматика», — так иронически характеризует в конце прошлого века состояние современного ему научного языковедения лингвист Г. фон-дер Габеленц.

Причины всех этих недомолвок, все более ощутимых по мере приближения к настоящему моменту, легко раскрываются, если обратиться к истории теоретической лингвистики, философии языкознания. В своем увлечении накоплением эмпирических фактов, научное языковедение второй половины прошлого века оставило без внимания обе основные проблемы лингвистики, сформулированные с достаточной точностью наукой двух предшествующих веков, — *проблему слова* в его специфичности знака и *проблему языка*, как соци-

ально-исторического факта. В особенности, на разрешении последней проблемы губительно сказался отказ от выдвинутых XVIII в. социальных теорий языка, как создания коллектива, и утверждение воззрения на язык, как новотворчество индивида, которым лингвистика обязана романтической философии XIX века.

Приняв Гердерово определение языка, как дара слова, как способности, присущей человеку от природы, выдвинув значение слова, как «формирующего органа мысли» в «вечно возобновляющейся деятельности», последний крупный представитель философской грамматики, стоящий у начальной грани XIX ст., гениальный романтик В. фон Гумбольдт предначертал пути развития лингвистики в течение всего прошлого века.

Из этих положений, интерпретируемых как отнесение языка к психофизиологическим проявлениям человеческого организма, делается вывод о необходимости обращения к физиологии (Рапи) и психологии (Штейнталь), как основополагающим для лингвистики дисциплинам. Укреплению последней точки зрения, ярким защитником которой является наиболее влиятельный теоретик в лингвистике прошлого века — Штейнталь, — способствует, с одной стороны, отпугивавшее лингвистов своими погрешностями против конкретных фактов языка воспоминание о применении к лингвистике традиционной логики, с другой — выдвинутое господствовавшей в эту эпоху ассоциативной психологией учение о суждении, как о соединении представлений. Правда, на протяжении XIX века делается несколько попыток заменить ассоциативную психологию Гербарта, на которую опирается в своих построениях Штейнталь, другими системами, напр., волюнтаристической психологией Вундта. Но все время остается в силе основная концепция слова, как деятельности, как новотворчества индивида, несвязанного с воздействием коллектива, с традицией.

Поэтому-то всякое объяснение языкового факта в рассматриваемую эпоху обычно дается в аспекте глоттогоническом, т. е. оно интерпретирует, исходя из данных индивидуальной психологии, соответствующий языковой факт, как если бы он заново создавался говорящим субъектом, а не был усвоен им путем традиции от коллектива.

Поэтому-то всякая попытка лингвистов XIX века сохранить в объекте исследования общий, традиционный момент путем введения понятий и методов «этнической психологии» или истории терпит неудачу и приводит их снова и снова к изучению индивидуального говорения.

Действительно, общий над-индивидуальный момент в языке

настолько очевиден, подчинение в нем деятельности индивида внеиндивидуальным формам, приобретаемым посредством обучения, настолько явно, что очень рано возникает сомнение в возможности построения лингвистики на данных индивидуальной психологии. Так создается новая дисциплина, претендующая на то, чтобы стать основополагающей для лингвистики — «этническая психология». Ее задачей является изучение тех над-индивидуальных форм, которые предопределяют языковую деятельность индивида, поскольку он принадлежит к некоторому этническому единству, является членом известной языковой общины. И однако, индивидуалистический подход к языку настолько силен, что опять ищут и находят индивидуального носителя языковой деятельности, именуемого «народным духом» (Лацарус и Штейнталь); а когда это романтическое представление рушится, влиятельнейший представитель «этнической психологии» конца прошлого века — Вундт опять возвращается (пользуясь употребленным в полемике с ним выражением Н. Paul'я) «к точке зрения говорящего индивида». Только новейшие представители этнической психологии (Dittrich) пытаются выйти из этого заколдованного круга; но вводимое Диттрихом понятие воспринимающего субъекта речи (наряду с говорящим) приводит уже к социальной теории языка.

Более продуктивной для лингвистики могла оказаться другая попытка выйти за пределы языка, как деятельности индивида: в основе построения исторической грамматики Гримма, изучающей «изменения языковых обычаев во времени», лежит учение основателя исторической школы права Savigny о традиции коллектива, определяющей деятельность существующего в нем индивида.

К сожалению, уже очень рано в построение истории языка вкладываются черты естественно-научного метода. «Грамматика в высшем значении слова», пишет Бопп в 1827 г. в рецензии на труд Гримма, «должна быть в одно и то же время историей и естественной историей языка. Она должна как можно дальше проследить исторические пути, по которым язык возвысился до своего совершенства или разложился до своего упадка; но в особенности должна она, по образцу естественных наук, исследовать законы, согласно которым происходило это развитие, будет ли оно упадком или возрождением».

Попытки применения к лингвистике дарвинизма, пресловутая теория трехфазного развития, утверждение не допускающих отклонения физиологических законов фонетического развития языка (Шлейхер) — все это основано на поддержанном авторитетом Боппа буквальном понимании метафорического выражения Гумбольдта: «орга-

низм языка». По мере того, как раскрывается чисто образный характер этих аналогий, этого представления о рождающихся, дряхлеющих, умирающих языках-организмах — лингвистика в лице выступившей в 70-ых годах так называемой «младограмматической» школы снова возвращается к представлению о языке, как о психофизической деятельности индивида.

Из этой деятельности — так гласит манифест младограмматиков — путем общих недопускающих исключения физиологических (*ausnahmslose Lautgesetze*) и психологических (новообразования по аналогии) законов — т. е. опять-таки по методам естественных наук — должно быть объяснено историческое развитие языка. Множественность языковых форм должна быть сведена к строгому единству путем нескольких формул, подобных физическим законам. Быть может бессознательно, все лингвистическое мышление эпохи направлено в сторону моногенетической концепции языкового творчества. На почве стремления возможно более точно изучить эту деятельность индивида и управляющие ею законы, возникает применение психологического эксперимента в лингвистике (работы Тумба и Марбе), расцветает новая дисциплина — экспериментальная фонетика.

И, однако, не говоря уже о том, что в наблюдениях экспериментальной фонетики индивидуальные моменты произношения грозят заслонить предмет исследования — фонему (принятый за норму в пределах языкового коллектива звуковой тип), самое точное изучение законов, управляющих языковой деятельностью индивида и объясняющих происходящие в ней изменения, оставляет необъясненным момент перехода от индивидуального факта к факту общному; все попытки свести этот переход к единой причине — этнической или временной — оказываются очевидными абстракциями, тогда как наблюдения над живыми диалектами открывают множественность переплетающихся причин, среди которых снова и снова выдвигается чисто социологическое понятие скрещивания.

С другой стороны, в учении младограмматиков понятие ненарушимого физиологически фонетического закона вскоре уступает место понятию закона исторического; в последнем случае характеристика ненарушимости может быть спасена только введением понятия диалекта — «исторический фонетический закон действует без исключений в пределах, ограниченных диалектом и эпохой». Но при индивидуалистическом подходе к языку, диалект, поскольку у каждого члена этого единства существуют индивидуальные отклонения речи, превращается в сумму индивидуальных диалектов, и понятие исторического фонетического закона становится понятием «закона, действующего в данный момент в речи данного индивида».

Так в теоретическом тупике заканчивается блестящее развитие претендующего на исключительную научность языковедения второй половины прошлого века. И ощущение этого тупика начинает сказываться все яснее на протяжении последнего десятилетия.

II

В тяжкие годы войны и революции, совершенно отрезавшие нашу научную мысль от Запада, русская лингвистика вплотную подходит к разрешению вышеназванных проблем, постепенно отрываясь от младограмматической традиции. Прежнее единообразие сменяется пестротой методов — в своих поисках выхода русская лингвистическая мысль то возвращается вспять к Шлейхеровским и до-Шлейхеровским приемам описания и объяснения языковых фактов, то устремляется в сторону чистой логики, подвергая проверке все основные предпосылки теоретической грамматики. Укрепляется основная концепция языка, как культурно-социального факта, как над-индивидуальной системы знаков; выдвигается проблема актуальности и статики в языке; моменты индивидуальный и над-индивидуальный начинают различаться и в комплексе чувственных дат, образующих внешнюю сторону слова-знака, благодаря введению понятия фонемы (звукового типа) и т. д. и т. д. Лишь очень немного из того, что было сделано за эти годы, стало достоянием широких кругов читателей; большая часть погребена навеки в архивах различных научных обществ.

Все эти тонкости в определении объекта, системы, методов лингвистики, все эти подробности лингвистических дебатов могли показаться стороннему наблюдателю китайщиной, порожденной замкнутостью и оторванностью русской научной мысли. Но уже достаточно полное в настоящее время ознакомление с развитием западной науки показывает, что и там лингвистическая мысль переживает тот же кризис, следует теми же путями, ищет тех же выходов, что и у нас. Это тем более интересно, что на Западе лингвистика, в гораздо большей степени, чем в России, стремится стать доступной широким кругам читателей. Популярные работы по языковедению охотно идут навстречу запросам политики дня: перетасовка политической карты Европы, борьба национальных меньшинств в малых государствах, засилие англо-американской культуры во Франции, русская революция — все это находит отклик в лингвистике. Следует отметить, что за разработку подобных тем берутся не только бойкие журналисты, как Therive, но и заслуженные лингвисты и филологи — Setala, Mazon, а на заглавном листе «*Les langues dans l'Europe nouvelle*»,

книги, которая, по признанию самого автора, «не была бы написана без современных событий», красуется имя величайшего из современных лингвистов Франции — А. Meillet.

И все же эти «уступки» современности не препятствуют тому, что в центре лингвистических интересов, становясь зачастую предметом самой ожесточенной полемики, стоят совершенно отвлеченные вопросы философской грамматики. Разумеется, младограмматическая традиция, гораздо более крепкая здесь, чем у нас (где с ней с самого начала повела борьбу казанская школа лингвистов в лице Крушевского и Бодуэна де Куртенэ), продолжает господствовать в значительной части появляющихся работ по языковедению, и прежде всего, в бесчисленных *Inaugural-Dissertationen*, которые, заполняя страницы толстых лингвистических журналов, довольно часто приводят на память злые слова одного из современных теоретиков языкознания: «Zu solcher Arbeit genügt es, wenn man fünf oder vielleicht auch nur vier Sinne und eine gehörige Portion Geduld hat».

Это господство младограмматической традиции проявляется и в других отношениях. Помимо того, что снова и снова переиздаются основные труды младограмматиков общего теоретического характера; помимо того, что перепечатываются трудно доступные работы классиков младограмматического языкознания, — основные положения этого течения часто повторяются и во вновь выходящих компендиумах и пособиях общего характера, предназначенных для слушателей высших учебных заведений. Старая концепция языка, как деятельности индивида, определяемой психологическими процессами, продолжает господствовать в известной части работ по синтаксису. «Подобно тому, как фонетика есть учение о звуке», пишет Naas, «так синтаксис есть учение о сочетании языковых высказываний. Последнее же определяется формами протекания процесса представления». На психологической концепции языка настаивает и Lorck. «Только тогда, когда мы воспринимаем язык, как *snrgeia*, как среду (*medium*), в которой и посредством которой человеческая душа осознает самое себя и все свои побуждения, и сообщает себя, каждую свою способность ей соответствующим и только ей понятным способом выражения — только тогда лишь части языка слагаются в живое единство, и раскрывается духовная связь между различными формами явления». По-прежнему в трудах по общему языковедению описание языков строится на понятии родословного древа. «Единственной лингвистической классификацией, представляющей известную ценность и полезность, является классификация генеалогическая», пишет величайший индо-европеист современности А. Meillet.

И все же сильнее и сильнее начинает ощущаться изживание мла-

дограмматической традиции. Прежде всего, в наиболее развитой части современного научного языковедения, — в учении о звуковой стороне слова. Все более и более шатким становится основное и важнейшее положение, выдвинутое младограмматическим течением — положение о ненарушимости и безысключительности фонетических законов. «Медленно и незаметно, на протяжении последних 20—30 лет», пишет известный французский диалектолог Terrachier в своей полемике с представителем младограмматического течения Millardet, «в наших наиболее ортодоксальных исторических фонетиках французского языка происходит то, что грозит привести к весьма странному результату: “законы” 1875—1880 г. остаются непоколебленными, но слова, на основании которых они устанавливаются, становятся все более и более редкими»... «Мы начинаем тяготеть к новому закону: *для каждого слова — свой закон*».

Действительно: два момента являются основополагающими для понятия недопускающего исключений фонетического закона — представление о диалекте, как о замкнутой единице, и представление об изолированном его развитии, как основном процессе языковой дифференциации. Без этих основных предпосылок сравнительного языковедения теряет смысл самое понятие ненарушимого фонетического закона; ибо понятие это выдвигалось не столько, как реальность (достаточно напомнить отказ младограмматиков от индуктивного доказательства этого положения), сколько как логически необходимая предпосылка сравнительного метода, делающая общеобязательными устанавливаемые фонетические соответствия и реконструируемые формы пра-языков.

Но наблюдения над живыми языками разбивают представление о замкнутом и изолированном развитии диалекта; они выдвигают обратный принцип — указывают на фактор скрещения, фактор языкового взаимодействия связанных общностью культуры этнических и общественных групп, как на основной фактор языковой эволюции. «С бесконечным дроблением языка (*Sprachspaltung*) идет рука об руку бесконечное языковое смешение (*Sprachmischung*)» — так писал Н. Schuchardt в полемике с младограмматиками и ту же мысль развивает он через тридцать лет своей научной деятельности: «Все языковое развитие проникнуто смешением... Понятие языковой семьи не включает признаков предельности (*Begrenztheit*) и самости (*Selbigkeit*), представляющих характеристику индивидуума». И даже А. Meillet, этот гениальный защитник младограмматической догмы, принужден признать условность понятия диалекта: «Понятие естественного диалекта (*dialecte naturel*) лишено той точности, которой обладает понятие изоглоссы», ибо «линии различных языко-

вых факторов могут пересекаться в различных направлениях, и совпадение их не является обязательным». Более того, в статье «Convergence des developments linguistiques» он указывает на «тождество или сходство условий существования языковых коллективов», как на основную причину общности тенденций их языкового развития.

И, действительно, сходство развития европейских языков, в частности, их синтаксиса, объясняется в значительной степени общностью европейской культуры; тогда как родственные им, но культурно несвязанные языки индо-иранские обнаруживают в развитии своего синтаксиса тенденции, общие с другими языками Азии, неродственными им, но связанными единством культуры.

Если наблюдения над живыми языками разрушают представление о замкнутом и изолированном диалектическом единстве, то огромный фактический материал, открывшийся лингвистике за последние десятилетия, устраняет основные предпосылки — цель и смысл сравнительного языковедения.

Действительно, «всякое установление языковой семьи», как справедливо замечает Meillet, «предполагает один и тот же тип исторического развития: распространение общего языка по обширному пространству, и позднейшую дифференциацию этого языка после исчезновения необходимых предпосылок унификации. Распространение же языка предполагает существование нации, обладающей своей культурой и сознающей свою силу, свою самобытность. Оно отражает господство этой нации».

В эпоху, когда создавалось сравнительное языковедение, подобной нацией — созидательницей мировой культуры — почитались индо-европейцы. И поскольку древне-письменные языки их легко допускали сведение к исконному единству, казалось, анализ индо-европейского пра-языка раскроет формы и законы культурного творчества, позволит прочесть древнейшую страницу истории человечества. Отсюда — исключительная устремленность лингвистической работы XIX в. в сторону индо-европеистики.

Но открытия последних десятилетий окончательно разбивают уже пошатнувшееся с первыми достижениями до-истории представление об индо-европейцах, как о творцах древнейшей из великих культур — культуры Средиземноморья. А вновь открывшиеся языки подлинных строителей Средиземноморской культуры заставляют лингвистику от индо-европейских обратиться в сторону иных часто бесписьменных языков. Но при изучении языков бесписьменных (как признают и поборники генеалогической классификации), классический метод фонетических корреспонденций оказывается бессильным и малополезным.

И отсутствие единого точного метода сказывается все сильнее в новейших работах по фонетике; последние, поскольку они не оказываются повторением или популяризацией старого, уклоняются в сторону акустически-артикуляционной интерпретации древних текстов на основании субъективнейших данных индивидуального произношения.

Изживание младограмматической традиции сказывается, далее, в обращении к методам, господствовавшим в лингвистике до выступления младограмматиков. Среди последних лингвистических работ можно встретить и применение методов этимологизации, напоминающих ономастические теории младенчества языковедения, и попытки воскресить шлейхеровскую концепцию слова, как живого организма, и повторение старого отвергнутого младограмматиками утверждения о влиянии значения слова на его фонетическое развитие, на судьбу его частей. Все это — воззрения, возрождение которых четверть века назад вряд ли показалось бы возможным. Так же мало возможным, как беспощадная критика младограмматических тенденций в романской филологии, которую мы находим, например, у Terrachier, и которая заканчивается страстной тирадой: «S'il naît encore sur ce domaine des Comparatistes, la philologie les étouffe au berceau ou elle les étranglera un beau jour d'autant plus impitoyablement qu'ils l'auront méprisé d'avantage»...

Разумеется почтенный диалектолог, в пылу ожесточенной полемики, заходит слишком далеко. Развитие науки возможно всегда только диалектическим путем; и отбросить без рассмотрения *все* достижения младограмматиков — это значило бы повторять лишний раз *все* ошибки их предшественников. Но с другой стороны, становится все более очевидно, что старые теоретические «леса», положения о языке, как о деятельности индивида, определяемой в своих изменениях психофизическими фонетическими законами и психологическими явлениями «аналогии», положения о слове, как о представлении звукового жеста (Lautgebarde), связанном ассоциациями с представлением предмета и замещающем его в мышлении, что положения эти не удовлетворяют, не охватывают больше мощного здания современного языковедения.

III

В современной западно-европейской лингвистике можно отметить два направления, выдвигающих положение о языке, как вещи мира культурно-социального. Одно из этих направлений представлено французской лингвистической школой де-Соссюра, историче-

ски связанной через Whitney'я с *социальной теорией* происхождения языка, как условного знака (Monboddo, Rousseau и др.) в противоположность оноματοпоэтической нативистической теории Штейнтала—Гумбольдта, восходящей к Гердеру.

Правда, основополагающая для этого направления книга де-Соссюра «Cours de linguistique générale», запись его лекций, опубликованная после смерти автора в 1916 году, — дошла до нас далеко не в совершенном виде. Недостатки в построении книги, неточности и колебания в определениях, элементарность психологического и философского аппарата, излишний схематизм, — все это легко объясняется популярным характером лекций. Но с другой стороны, нельзя не признать, что излишний схематизм де-Соссюра, сказавшийся в его определении слова-знака, структурность внутренних форм которого оставлена им не отмеченной; что элементарность его философского аппарата, благодаря которому он, автор социальной теории языка, продолжает оперировать избитыми индивидуально-психологическими схемами (теория ассоциаций); что такие неточности, как смешение фонологии и статистической фонетики или диахронической лингвистики и истории языка — что все эти недочеты заставляют подвергнуть систему де-Соссюра значительной переинтерпретации.

Далее, необходимо отметить, что в значительной своей части книга де-Соссюра лишь подводит итоги предшествовавшему исследованию. Так, еще Гумбольдт отмечал *артикулированность*, как непременное условие осмысленной речи; уже у Whitney'я выдвинуто, хотя и не доведено до логического конца, учение о *произвольности* языкового знака и об общем и традиционном характере языка; о *над-индивидуальном* характере языка говорит Paul в полемическом выпад против Wundt'a (предисловие к «Prinzipien»); наконец, отмечу, что понятие *системы* (намеченное уже у Whitney) выдвигалось в русской лингвистической литературе, в применении к фонетике — в трудах Бодуэна де Куртенэ (учение о фонеме) и в применении к морфологии — в трудах московской школы Фортунатова (учение об отрицательной принадлежности).

Частью же книга де-Соссюра формулирует положения, выдвинутые в современных учениях по теории лингвистики. Так, учение о слове, как о *произвольном знаке*, мы находим у A. Marty, который выступает с резкой критикой Штейнталевского нативизма; учение о языке, как о *над-индивидуальном*, общем факте, подробно развито у Dittrich'a; наконец, новейшие учения о языке, как о «внутренней *форме*», настаивают на формальном характере языка, на том, что язык есть лишь некоторое *отношение*. Но именно то, что книга де-

Соссюра представляет до известной степени итог новейших исканий в лингвистике, то, что эти воззрения нашли в ней систематическое и легко понятное выражение, делает ее особенно ценной. Аналогия с *Mémoire sur le système primitif des voyelles* напрашивается невольно: как первый, так и последний труд гениального ученого подводит итоги одной научной эпохе и открывает другую.

В чем же главная заслуга де-Соссюра?

Система теоретической лингвистики, выдвинутая де-Соссюром, полагает предел *представлению о языке, как о психо-физиологическом процессе, протекающем в пределах индивидуального сознания*. Де-Соссюр признает, что в многообразном явлении речи можно выделить и момент индивидуально-психологический (совокупность ощущений, представлений и волений, связанных с процессом говорения) и момент физиологический (артикуляция звуков) и даже момент чисто физический (звучание); но он раскрывает, что отличие осмысленной речи от бессмысленного крика заключается именно в том, что в ней процессы эти направлены на осуществление некоторой социальной цели — на создание словесного знака, существующего в пределах данной языковой общины в качестве носителя известного смысла. Связь этого знака со смыслом, связь условная и традиционная, определяемая лишь из системы языка в целом, не творится индивидом заново, но приобретает им по традиции от коллектива, путем длительного обучения. Этот-то условный традиционный, над-индивидуальный момент в речи, момент, делающий индивида членом определенного культурно-социального единства, связывая его взаимопониманием с членами последнего, — и выделяется де-Соссюром в качестве *языка (langue)*, предмета особой дисциплины — *лингвистики*, противопоставляясь индивидуальному процессу речи — *говорению (parole)*.

Это понятие языка не обосновывается де-Соссюром теоретически, но берется в качестве простого постулата, в качестве предпосылки, необходимой для обоснования всей дисциплины.

Но возвращаясь к нему несколько раз на протяжении книги, он все более прецизирует это понятие, раскрывая в нем уже чисто дедуктивным путем ряд существенно важных характеристик.

Так, признав в языке основной объект лингвистики и принцип ее построения, де-Соссюр раскрывает примат языка в каждом индивидуальном акте речи. Ибо, предполагая по крайней мере двух индивидов, связанных взаимопониманием, акт речи позволяет выделить в себе индивидуальный момент психо-физиологического акта говорения и социальный момент, который сведется к тому, что все члены данной языковой общины воспроизведут те же знаки (*signifiants*) в

связи с теми же значениями (signifies). Поскольку последний момент исключает творческий акт индивида, вновь подтверждается основное положение, что язык не есть действие говорящего субъекта, но продукт общества (*du corps social*), пассивно усваиваемый индивидом. Вместе с тем, изучение языка — то есть существующей в коллективе совокупности языковых знаков, естественно вливается в *семиологию* — намечаемую де-Соссюром дисциплину, предметом которой явилось бы *изучение знака в социальной жизни*.

С другой стороны, утверждаемый де-Соссюром *примат языка над речью* заключает в себе очень важное различие, а именно, различие в речи элемента природного, *естественного крика*, и элемента традиционно-общного, языка, как *продукта культуры*. Только последний является объектом лингвистики, ибо только он присущей ему специфической связью значимого и значущего (см. ниже) дает возможность ясно отграничить область лингвистики от области смежных дисциплин, и понятие речи — от крика животного.

Поэтому-то де-Соссюр считает необходимым рассматривать акт речи в общем проявлении; поэтому-то он выделяет проблему происхождения языка, как чуждую, из лингвистики, отводя тем самым за пределы лингвистики столь излюбленные в конце прошлого и начале настоящего века наблюдения и эксперименты «над психологическими основами лингвистических явлений». Ибо все эти наблюдения оперируют со словом, как с естественным явлением, а не как с предметом культуры.

Точно также с точки зрения де-Соссюра не могут претендовать на название лингвистических и наблюдения над такими актами речи, где понимание происходит помимо языка; ибо коммуникация говорящих происходит здесь по другим ассоциациям, чем те, которые соединяют значущее и значимое в их специфичности знака.

О том, что названное различие, не подчеркнутое достаточно де-Соссюром, дано *implicite* в рассматриваемых положениях, свидетельствует работа его ученика Sechehaye, положившего в основу всего своего построения различие «*langage pregrammatical*» и «*langage organiser*», и выдвигающего это различие в качестве главного аргумента в своей полемике с Вундтом.

Наконец, в третий раз определение понятия языка выводится де-Соссюром из анализа языкового знака в его специфической характеристике — *произвольности*. «Связь значущего», говорит де-Соссюр, «со значимым произвольна».

Как понимать эту произвольность?

Это значит, прежде всего, что языковой знак не есть *символ*. Символ

вол никогда не бывает вполне произвольным; он не является пустым, в нем всегда есть элемент естественной связи между значущим и значимым. Напротив, употребление того или иного знака в языковой общине, в принципе, основано на коллективной привычке, на условности, на общепринятом правиле; только это правило и заставляет употреблять один знак, а не другой, а отнюдь не их внутренняя значимость (*valeur*).

Следует отметить, что понятие произвольности не включает в себе представления о зависимости значущего от свободного выбора говорящего; произвольность говорит лишь о том, что значущее *немотивировано* в его отношении к значимому, с которым оно не связано никакой естественной связью.

Таким образом, де-Соссюр здесь снова подчеркивает *традиционный, культурно-социальный*, а не *естественный* характер языка.

Из принципа произвольности языкового знака объясняется одна из основных лингвистических антиномий: «*возможность изменений языка при невозможности для говорящего изменить его*».

Действительно, произвольность знака предполагает над-индивидуальное его существование. «Являясь свободно (немотивированно) выбранным по отношению к представляемой им идее, значущее по отношению к употребляющей его лингвистической общине не является свободным, оно дается извне, без возможности замены одного значущего другим». Поэтому-то, при всей невозможности понимания языка, как договора, исследователи опять и опять приходят к этой мысли. «Эту мысль», замечает де-Соссюр, «внушает нам необычайно живое ощущение произвольности языкового знака».

«Действительно, ни один коллектив не знает и никогда не знал другого языка, кроме унаследованного от предшествующих поколений, — кроме языка *воспринятого извне, в готовом виде*. Поэтому-то проблема происхождения языка лишена в действительности той важности, которую ей обычно приписывают; это даже не есть проблема лингвистики. Ибо единственным реальным объектом лингвистики является жизнь *уже установленного языка*».

Таким образом, из произвольности языкового знака вытекает необходимость его *традиционного* характера. Правда, традиционность не включает в себя понятия неизменяемости (и в других традиционных социальных учреждениях наблюдаются различные степени изменяемости). Но эта изменяемость находится в прямой зависимости от степени произвольности избранных знаков; и «абсолютная произвольность языкового знака защищает язык от всякой попытки изменить его».

«Коллектив, бессознательно усваивая сложную и многообразную систему языковых знаков, не в состоянии обсуждать ее. Ибо — обсуждать можно только то, что строится на рациональной основе... Можно обсуждать систему символов, т. к. между символом и значимым есть рациональная связь; но эта рациональная основа отсутствует в языке, системе произвольных знаков».

Кроме того, неизменяемости языкового знака способствует *инертность* коллектива. Из всех социальных учреждений только язык является достоянием не части, но всех индивидов данной общины. Отсюда — невозможность революции в языке. «Из всех социальных учреждений язык дает наименьшее место инициативе. Он сливается с жизнью общественного коллектива, который, будучи по природе своей инертным, является прежде всего консервативным фактором для языка».

«Но окончательно неизменяемость языка, как продукта общественных сил, следует из того, что эти общественные силы действуют *во времени*... Единство с прошлым лишает настоящее свободы выбора; мы говорим *так*, потому что до нас говорили *так*. Между произвольностью знака и неизменяемостью его во времени существует тесная связь: “будучи произвольным, знак не знает другого закона, кроме традиции, а произвольным он может быть только благодаря тому, что он основан на традиции”».

Произвольность языкового знака, делая его неизменяемым, допускает в нем, вместе с тем, любое изменение. Сущность всякого изменения языкового знака в *смещении* отношений значущего (акустический материал) и значимого (идеи). Будучи по существу произвольным, языковой знак допускает влияние всех факторов, способных изменить как звук, так и значение; ибо он не включает никакой необходимой связи между значущим и значимым.

Поэтому время, создавая непрерывность (*continuité*) языка, вместе с тем вызывает изменение языкового знака. Эта антиномия разрешается очень просто: «языковой знак потому и способен изменяться, что он традиционен; изменение возможно лишь благодаря сохранению первоначальной сущности».

Анализ акта речи позволил выделить в общем явлении речи — язык, «как совокупность языковых навыков, которые позволяют говорящему понимать других и заставлять других понять себя»; из этого определения вытекает утверждение языка как *над-индивидуального и общего факта, существующего только в коллективе*.

К тому же выводу приводит и анализ языкового знака в его основном свойстве — *произвольности* связи значущего и значимого. Этот анализ подтверждает *над-индивидуальность* и *общность* языкового

знака, и путем введения понятия *традиционности* вводит понятие *времени* в определение языка.

Анализ этот приводит, однако, еще к другому выводу: поскольку связь значущего и значимого совершенно произвольна, значимость (*valeur*) *каждого языкового знака* может определяться из *соотношения* этого знака со всеми другими в некоторой ограниченной предельности. Другими словами, язык раскрывается перед нами как *система*, устанавливающая соотношения между предметами различного порядка, т. е. как *система значимостей*, притом значимостей чистых, т. е. *не определяемых никакими естественными отношениями за пределами самой системы*. Необходимость введения слова в некоторую систему для полного его понимания, раскрывается и из указанного выше общего и традиционного характера языка, как *продукта культуры*.

Как всякая вещь, слово непонятно, будучи вырвано из своего культурно-исторического окружения. Обломок камня с углублением, осколок глиняного сосуда той или иной формы, найденный при раскопках, сам по себе ничего не говорит. Но для исследователя он говорит много уже тем, что является показателем той или иной степени культурного развития, другими словами, что он является частью определенного *комплекса вещей*. И еще больше он может сказать, если он упоминается в старинных преданиях, если изображение его встречается на древней фреске. Так и слово: случайно сохранившиеся, искаленные традицией названия народов «пелазги», «иберы» исследователю говорят не больше, чем одинокий черепок или каменный обломок, найденный неизвестно где. Но вот анализ раскрывает принадлежность этих слов к определенной группе языков, существующих еще и поныне, — включает их в определенную *языковую систему*. И еще больше скажут эти обломки языка, если результаты лингвистического анализа совпадут с данными других наук, напр., с результатами археологических или исторических изысканий.

Итак, выделение в общем явлении *речи* (*langage*) двух моментов, момента над-индивидуального, общего, определяющего индивидуальную деятельность — *языка* (*langue*) и момента индивидуально-осуществления этой нормы — *говорения* (*parole*); отнесение науки о языке, лингвистики в собственном смысле слова, в отдел *семиологии*, науки о функциях знака в социальной жизни; раскрытие традиционного, обязательного и вневременного характера языка (*langue*) для говорящего индивида; произвольность традиционной связи значения со знаком; вытекающее отсюда понятие языка, как системы, и необходимость культурно-исторической интерпретации слова-вещи — таковы выводы де-Соссюра.

IV

Если социальная теория де-Соссюра приводит через понятие системы к необходимости культурно-исторической интерпретации слова-вещи, то достижения немецкой философской школы определяют методы анализа этого слова-вещи. Именно здесь — в области этимологического и морфологического анализа — выдвигаются наиболее тяжкие обвинения против яфетидологии. Последняя, якобы, в своих методах нарушает принципы лингвистического анализа, проверенные и твердо установленные на фактах наилучше разработанных языков — языков индо-европейских.

Эти обвинения в гиперанализе так же, как и возражения против понятия скрещения и нарушения устанавливаемых «раз навсегда» фонетических соответствий, несостоятельность которых была раскрыта выше, коренятся в известном догматическом подходе к данным индо-европеистики. Между тем, современная теоретическая лингвистика в лице виднейших своих представителей — а именно, немецкой философской школы — раскрывает путем логического анализа ряд элементов в слове, которые делают недопустимым перенесение методов анализа этих элементов из пределов одного языка в другой.

Мы видели выше, какую роль сыграло в построении исторической фонетики (и морфологии) положение о языке, как о деятельности — положение, высказанное Гумбольдтом, как кажется, в аспекте глоттогоническом. Напротив, на построении исторической семантики (и синтаксиса) губительно отозвался отказ от предложенного тем же ученым разрешения проблемы слова, как знака.

Анализ структуры слова проведен Гумбольдтом необычайно тонко, хотя, быть может, его определения страдают романтической затемненностью. Действительно, Гумбольдт не только устанавливает факт существования «внутренней формы слова», в которой различает элементы образный и формальный, но отмечает оформленность и в комплексе чувственных дат, составляющих внешнюю сторону слова-знака. Но между этим анализом и приложением его в лингвистике встала узко-психологическая интерпретация Штейнталя (хорошо известная у нас по популяризациям Потевни), по которой «внутренняя форма» слова оказывалась «представлением представления предмета»; на долю семасиологии выпадала мало продуктивная задача: согласовать в пределах того же языка две системы значений слов — историческую и этимологическую.

Младограмматики сделали единственно, что им оставалось сделать — они отбросили этот ненужный балласт, который сохранился,

впрочем, у Вундта (учение о доминирующем признаке). Тем самым, структура слова сводится для них к значению и звуковой стороне, связанных (как и всякий акт мышления), согласно господствующей в то время психологической теории, путем «ассоциаций». На классификации этих ассоциаций и пытаются некоторые лингвисты строить систему семантики (Вундт).

В других случаях понятия «значение» и «выражение» простодушно интерпретируются, как «предмет» и его «название», — так создается крайне наивный по своему методологическому подходу девиз: «Wort^{er} und Sachen».

Между тем, еще в 90-х годах начинают появляться статьи А. Марти, подвергающие резкой критике «лингвистическое папство» Штейнталь; вместе с тем, статьи эти пересматривают те основные проблемы, в разрешении которых психологистическая грамматика потерпела решительную неудачу — проблемы общего синтаксиса и общей семасиологии.

В своих статьях и особенно в своем большом труде «*Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie*», Марти воскрешает учение Гумбольдта о «внутренней форме» слова. Но, исходя из концепции слова, как над-индивидуального общего знака, исходя из концепции языка, как средства общения, как орудия коммуникации, он уточняет положения Гумбольдта в другом направлении, чем Штейнталь. А именно: он определяет «внутреннюю форму» слова, как «сопредставление» (*Mitvorstellung*), «созначение» (*Mitbedeutung*) слова: сопредставление это не входит в предмет сообщения, но образует посредствующее звено между звуком и значением, облегчая коммуникативную функцию речи.

«Для обозначения понятия “понимать” римлянин употреблял слово “*apprehendere*” (буквально “охватить рукой”); несомненно, что в то время, когда возникло это переносное значение, представление “охватыванья рукой” существовало в сознании того, кто употребил это выражение. Подобные представления и теперь существуют там, где еще не потускла так называемая образность выражения. Но как теперь, так и прежде, подобные представления или служат эстетическим заданиям или — и таково их исконное значение — исполняют функцию средства, вызывающего представление о том психическом состоянии, которое составляет собственное значение слова. И с последним его ни в коем случае не должно идентифицировать... Коренной ошибкой было бы предположить за этим образным способом выражения, что говоривший, действительно, принимал «понимание» за «охватывание рукой», классифицировал или

апперцепировал его, как таковое, или что «внутренняя форма» слова составляла все, что было воспринято сознанием из названного предмета».

С другой стороны, выбор той или иной «внутренней формы» обусловлен *всегда* психологически и культурно-исторически; поэтому-то ознакомление с первобытной техникой производства, с древними общественными, религиозными и бытовыми учреждениями так много открывает в этимологии слов. Но действенная, откуда она опирается на историю и археологию, этимология, предоставленная самой себе, становится бессильной. Этимологическое объяснение, как справедливо указывает де-Соссюр, «есть только сведение слова к слову же и ничего более»: ибо не существует необходимой связи между избранной формой и значением слова.

Действительно, значение этимологии слова отнюдь не раскрывает его значения, не делает это значение «образным», наглядным. «Этимология», говорит Эрдман в своей книге, посвященной вопросу о многозначности слов, «не имеет ничего общего с дефиницией (определением понятия)». Разъяснение слова (Worterkларung) не есть разъяснение предмета (Sacherkarung).

Такие явления, как утрата или переосмысление «этимона» при сохранении значения, как создание новой «внутренней» формы при народных этимологиях, позволяют отчетливо осознать, что «внутренняя форма» слова, его «этимон» есть нечто существенно отличное от его значения. И главная заслуга Марти и заключается в подведении теоретического фундамента под изучение значений слов, в точном выяснении отношений семасиологии (науки о значениях слов) и этимологии (науки о фигурной «внутренней форме» слов).

Не менее существенное значение имеет введение понятия «внутренней формы» для построения синтаксиса. Действительно, слишком часто психологическая грамматика склонна была от тех или иных особенностей в словообразовании или словосочетании данного языка непосредственно заключать об особенностях мышления носителей этого языка. Особенно грешили этим по отношению к языкам так называемых первобытных и малокультурных народностей; подчеркивая грубым подстрочным переводом особенности таких языков, начинали непосредственно трактовать о «лежащей в их основе совокупности психологических особенностей». Так, например, Вундт, которому и принадлежат последние слова, различает следующие типы «языкового мышления»: по отношению к связи (Zusammenhang) — тип фрагментарный и дискурсивный, синтетический и аналитический; по отношению к направленности (Rich-

tung) — типы объективный и субъективный, мышление предметное и мышление состояний (zustandlich); по отношению к содержанию (Inhalt) — типы конкретный и абстрактный, классифицирующий и анализирующий. Разумеется, при этом, что фрагментарность и прочие мало лестные качества приписывались «языковому мышлению» не-индо-европейских темнокожих народностей.

Еще более грубую ошибку делали представители психологистической грамматики, когда от использованных синтаксических форм непосредственно переходили к психике говорящего индивида, когда, напр., от особого расположения слов в фразе заключали о взволнованном умонастроении говорящего (теория эмфатического выдвигания слов), о важности для него того или иного слова (теория психологического субъекта). Характерно, что представители последней теории так и не могли установить, где помещается это важнейшее для говорящего слово: одни (v. d. Gabelentz) утверждают, что оно помещается в начале, другие (Wegener) — в конце фразы.

Впрочем, на практике все эти теории сводятся к примышляемым *ad hoc* объяснениям, избавляющим от необходимости трудных статистических подсчетов.

Введение понятия «конструктивной внутренней формы» в синтаксис, т. е. рассмотрение синтаксических и морфологических особенностей языка, как формы, отнюдь *несвязанной с индивидуальными переживаниями говорящего, но усваиваемой им от коллектива*, — устраняет самую возможность подобных произвольных психологических реконструкций.

С другой стороны, автономность «конструктивной внутренней формы» языка требует имманентного ее рассмотрения — рассмотрения, опирающегося только на факты соответствующего языка, а отнюдь не на общие психологические законы, одинаковые для всех языков. Отвод тех или иных приемов анализа языковой структуры (напр., применимых в яфетидологии принципов префигирования, деления слов — синтагм на открытые слоги-лексемы и пр.) на том основании, что приемы эти оказались неприменимыми к другой группе языков (индо-европейских), столь же незакономерен, как перенесение принципов конструктивной внутренней формы индо-европейских языков (выделение в многосложных, являющих формы чередования гласных базах — закрытых слогов-корней и синсемантик, корневых определителей, принцип суффигирования и пр.) на языки не-индоевропейские.

Точно так же, поскольку конструктивная внутренняя форма языка доступна рассмотрению независимо от прочих его элементов, ее анализ отнюдь не связан с фикцией родства, сопоставление и класси-

фикация языков по внутренней их форме может (как это предлагал уже Гумбольдт) происходить совершенно независимо от установления их генеалогии или, точнее, соотношения их фонетических систем.

В раскрытии автономности внутренней конструктивной формы языка — другая заслуга Марти.

V

Проблема внутренней формы как-будто выводит лингвистическое исследование за пределы социальной теории языка в сторону психологической его интерпретации. Но уклонение это только кажущееся. Ибо различие внутренней формы и значения, как и ряд других различий, устанавливаемых в самом значении слова новейшими исследованиями, исходит из предпосылки и ведет в свою очередь к утверждению *социального характера слова-знака*.

При всей важности положений Марти, он все же отдает дань времени, настаивая на психологии, как на основополагающей для лингвистики дисциплине. Позднейшие исследователи делают еще шаг в сторону логики: они отказываются от построения лингвистики на данных психологии и физиологии, и, настаивая на специфичности применимых здесь методов (раскрытие значения слов, анализ осмысляющих слов актов сознания, выделение в структуре слова логических и собственно языковых форм), возвращаются к «старой идее общей грамматики, философской грамматики XVII—XVIII в.». Обоснованию этих положений посвящена, напр., работа Поса «Zur Logik der Sprachwissenschaft». К сожалению, невозможная туманность изложения этой книги вызвала резкую критику Meillet (рецензия Meillet в Bulletin de la Société de Linguistique de Paris), дискредитирующую эту книгу в глазах лингвистов.

Между тем, путем подобного анализа, действительно, удастся установить еще ряд существенных различий в том, что лингвистика прошлого века склонна была называть одним термином «значение слова».

А именно: выясняется, что необходимо различать прежде всего между *значением* слова, общим у говорящего и воспринимающего (направленность значения — *Bedeutungsintention*) и иллюстрирующими это значение сопутствующими ему *представлениями*, всегда индивидуальными и часто случайными (осуществление значения — *Bedeutungserfullung*). Это различие, подтверждаемое множеством собранных психологией фактов, особенно важно, поскольку оно позволяет установить в языке тот момент общего, над-индивиду-

ального, который характеризует слово как социальный, а не индивидуальный факт.

Во внешней (звуковой) стороне слова этому соответствует различие существующего в языковой общине идеального звукового *типа* (фонемы) и множественности *приблизительных осуществлений* его в индивидуальном говоре каждого члена этой общины. Действительно, наблюдения свидетельствуют о том, что два произнесения одного и того же звука одним и тем же индивидом уже отличаются друг от друга; а между тем самый факт понимания так же несомненно доказывает, что существует нечто общее между всеми этими произнесениями. Выделить эту общую форму (фонему), определяющую деятельность индивида и являющуюся достоянием коллектива, и позволяет «теория фонем», выдвинутая, независимо друг от друга, Бодуэном де Куртенэ и некоторыми французскими исследователями.

Не менее существенно другое различие, раскрывающееся в анализе структуры слова — различие между *значением* слова (его смыслом, содержанием) и его «*предметной отнесенностью*» (*gegenstandliche Beziehung*). Доказать факт несовпадения значения слова и называемого этим словом предмета не представляет затруднения; легко указать слова и словосочетания, обладающие различным значением, но обозначающие один объект, и обратно: слова, обозначающие множественность предметов, но обладающие одним значением. Отсюда ясно, что необходимо также отличать значение слова от обозначаемого им предмета, как и от «внутренней формы» слова.

Действительно, различие значения слова и его предметной отнесенности позволяет, наряду с функцией слова, как *знака* мысли, — выделить особую его функцию — слова, как *названия*. От изменения значения слова необходимо отличать, таким образом, перенесение названия. И если еще можно попытаться установить законы изменения и развития значений, то перенесение названия обычно происходит по разнообразным ассоциациям, реконструировать которые невозможно без точного знания исторической обстановки акта переноса названия.

Наконец, анализ акта понимания открывает еще одно и, быть может, самое важное различие в том, что обычно называлось «значением слова». А именно: в понимании слово функционирует не только как *знак* (*Zeichen*) мысли говорящего, оно не только обладает определенным *значением* (*Bedeutung*); но оно истолковывается слушающим и как *признак* (*Anzeige*) всех прочих психических актов, протекающих в говорящем, но не входящих собственно в предмет

коммуникации, сообщения, оно обладает известной *экспрессией* (Kundgabe).

Действительно, слова очень редко — пожалуй, только в одиночном мышлении — функционируют только как знаки мысли; обычно же, слушая чужую речь, воспринимающий «догадывается» — по выбору слов, по характеру их расположения — о психическом состоянии говорящего, напр., об его отношении к сообщаемому, далее, квалифицирует его, как представителя той или иной общественной группы. И то же истолкование переносится на самые слова в зависимости от того контекста, от того умонастроения, от той общественной группы, в которой слова обычно употребляются, они становятся грубыми или изящными, разговорными или книжными, высокопарными или вульгарными.

Порой экспрессивная сторона слова настолько выдвигается вперед, что она заслоняет его коммуникативную сторону: слово обесмысливается, оно уподобляется междометию, но эмоциональная окраска, экспрессивность слова не изменяется от уничтожения его смысла, — и слово продолжает сохранять свою функцию — «приметы» особого умонастроения говорящего, — и соответственно «истолковываться» воспринимающим.

Именно на этом факте экспрессивности слова (*effet par évocation* в терминологии Балли) основано то явление языка, все значение которого впервые начинают осознавать только теперь — социальная дифференциация языка, *социальная диалектология*. Явление это заслуживает тем большего внимания, что в наблюдениях над конкретными фактами живых языков все отчетливее раскрывается необходимость исходить из социальной диалектологии при изучении истории не только значений, но даже звуков языка. Теоретическое же обоснование наблюдаемых фактов мы находим в указанном выше выделении *экспрессивной* стороны слова, лежащей за пределами собственно языкового общения.

Так, путем логического анализа структуры слова раскрывается ряд различий в том, что лингвистика прошлого века объединяла под общим названием «значения слова». Эти различия особенно важны для построения общей семасиологии и теоретического обоснования эмпирических изысканий о значениях слов в конкретных исторически засвидетельствованных языках. Не менее важными явились бы для построения синтаксиса открываемые тем же анализом законы сочетания слов-знаков и лежащие в их основе логические формы. Но, к сожалению, эта часть логической грамматики — «*reine Formenlehre der Bedeutungen*» (учение о формах чистых значений) не разработана вполне. И новейшие грамматики с логическим укло-

ном принуждены опираться на традиционную формальную логику, мало пригодную для лингвиста.

Но вместе с тем, логический анализ структуры слова, произведенный немецкой философской школой, дает научное обоснование и тому положению о языке, как социальном факте, которое было принято в качестве постулата французской школой де-Соссюра.

Действительно, достаточно припомнить среди установленных выше различий — различие функции слова, как *признака* умонстроения говорящего, и функции слова, как *знака* некоторого объективного смысла, сообщаемого говорящим слушающему.

В первом случае, «понимание» слова ничем не отличалось от «понимания» всякого другого жеста или звука, произвольно или же непроизвольно издаваемого человеком или животным. Воспринимающий «понимал» его, вернее, истолковывал его, как признак, как симптом известного психофизического состояния говорящего, не потому, чтобы жест этот *значил* что-нибудь, а потому, что воспринимающий, симпатически сопереживая его, восстанавливал весь комплекс сопутствующих ему психофизиологических актов. Основой «понимания» служил здесь психологический опыт *индивида*: слово выступало в качестве выражения *индивидуальных* переживаний, в качестве *естественного* крика.

Иначе, когда слово функционирует в качестве *знака* известного смысла, передаваемого говорящим слушающему, т. е. когда говорящий и слушающий *говорят* друг с другом. В первом случае, слушающий мог и не знать языка говорящего и все же *догадываться* о его переживаниях по его мимике, жестам, тону и т. д. Во втором случае, *понимание* возможно только при одном условии — при условии, что говорящий и слушающий будут членами одного и того же культурно-языкового *единства*.

Ибо связь знака (звукового комплекса) со смыслом не создается, не творится индивидом заново. Иначе было бы невозможно понимание. Связь знака со смыслом усвоена индивидом от *коллектива*, членом которого он и становится, благодаря устанавливающейся связи взаимопонимания между ним и другими членами того же коллектива. Связь эта, таким образом, является объективной, внешне данной для индивида; она принуждает его избирать именно те, а не иные звуковые комплексы для выражения тех, а не иных значений, и связывать те, а не иные значения с восприятием этих звуковых комплексов. Не личный психологический опыт индивида, а *традиция коллектива* определяет эту связь. И в этом-то объективном, над индивидуальном характере связи знака и значения заключается специфичность функции слова-знака.

Но ведь функция слова, как знака, есть его *основная*, его обычная функция. Так логический анализ слова приводит исследователей к утверждению его социального характера: *слово (в его основной функции знака смысла) есть факт, вещь мира культурно-социального, передаваемая по традиции определенным коллективом его отдельным членам и имеющая в коллективе независимое от каждого отдельного члена языковой общины объективное бытие.*

Итак, идя различными путями, современная теоретическая лингвистика приходит к изменению основного определения своего объекта — языка. Место представления о языке, как о сумме доступных рационализации символов, воспроизводимых языковым творчеством говорящего индивида; место представления о слове, как о психофизиологическом акте, — занимает представление о языке, как о системе чистых значимостей, существующей в традиции коллектива и определяющей языковую деятельность индивида, представление о слове, как о вещи мира культурно-социального; место генерализующих естественно-научных методов занимают методы исторические и филологические, методы введения в культурно-исторический контекст, методы культурно-исторической интерпретации.

«Язык не есть вещь (εἶρον), но естественная природная деятельность человека (ἐνέργεια)» — сказала романтическое языковедение XIX века. Иное говорит современная теоретическая лингвистика: «Язык не есть деятельность индивидуальная (ἐνέργεια), но культурно-историческое достояние человечества (εἶρον)».

(1926)

Я. В. Лоя

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЯЗЫКОВЕДЕНИИ

Современный кризис языковедения характеризуется весьма энергичными молекулярными процессами, сводящимися к разрушению старых догм и нарастанию новых точек зрения.

Основных направлений в современном языковедении три: 1) старое; 2) на пути к новому и 3) новое (марксистское).

I. *Старое.* Это — определенно буржуазное, реакционное направление, активные враги нового.

Объединяемые общим ретроградством своих идеологических и политических взглядов приверженцы этого направления представляют весьма пеструю картину по своим лингвистическим взглядам и методам. Тут есть и узкие формалисты, и субъективисты, и др.

Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь перечислить персонажей этого направления: фонетик Л. В. Щерба, санскритолог Ф.И. Щербатской, иранист А. А. Фрейман, русисты В. В. Виноградов, Б. М. Ляпунов, В. М. Истрин, фонетик С. И. Бернштейн, санскритолог Б. А. Ларин и др.

Под напором новых методов ряды этого направления все более редеют, особенно в части научного молодняка. Однако борьба предстоит еще упорная. Год тому назад языковедные мракобесы организовались в особое «Лингвистическое общество» во главе с Л. В. Щербой. С направлением языковедного обскурантизма и формами их организованности у нас может быть только борьба.

II. *На пути к новому.* В это — несомненно прогрессивное — направление входит ряд более мелких подразделений, из которых каждое на свой лад честно трудится над созданием отдельных элементов нового, диалектически-материалистического, языковедения.

Основные подразделения этого направления следующие: 1) яфетидология, 2) языковеды-физиологи, 3) сравнительники, растущие к новому, и 4) техника публичной речи.

1. *Яфетидология.* Это — направление, руководимое акад. Н. Я. Марром, до сих пор более других известно советской общественности.

Из приверженцев теорий Н. Я. Марра можно назвать следующих: К. Дондуа, И. И. Мещанинов, А. П. Рифтин, И. Г. Франк-Каменецкий, С. Л. Быховская, А. А. Холодович. Из них языковеды лишь: Дондуа, Рифтин, Холодович.

Яфетидология имеет некоторые хорошие стороны:

- 1) разработка вопросов семантики;
- 2) общая материалистическая направленность и
- 3) увязывание вопросов языка с фактами истории культуры.

Но яфетидология имеет и свои теневые стороны:

- 1) игра алхимическими четырьмя элементами (сал, бер, ион, рош);
- 2) вульгаризация марксистского метода, когда в каждом предложении склоняется по всем падежам слово «класс», и т. д.;

3) авторитарное преклонение учеников перед учителем, вследствие чего совершенно теряется столь необходимый для науки критический подход;

4) ограничение научного кругозора почти единственно вопроса происхождения, до-истории, палеонтологии речи;

5) самовлюбленность, доходящая порой уже до нападок на языковедов-марксистов, не желающих «заменять» или «дополнять» марксизм — марризмом.

2. *Языковеды-физиологи*, под руководством С. М. Доброгаева, составляют небольшой, но сплоченный и полный научного энтузиазма кружок, куда входят: М. Е. Хватцев, Ю. А. Коновалова, Н. В. Пясецкая, А. М. Креслинг и др.

Что это молодое направление лингвистики может быть весьма ценным, показывает работа Фр. Энгельса — «Роль труда в процессе очеловечения обезьяны», рассматривающая язык как явление, находящееся в своем генезисе на грани естественных и общественных наук.

Руководитель направления языковедов-физиологов вышел из материалистической школы физиолога акад. И. П. Павлова, но, имея дело с таким сложным явлением, как язык, оперирует не слюнной железой, а всей анатомией и физиологией человека, в особенности же нервной системой.

Из проблем, подведомственных физиологии речи, назовем следующие:

1) работа анализаторов («органов чувств») слухового и зрительного при восприятии речевых сигналов;

2) работа органов речи при образовании тех или других звуков речи;

3) работа нервной системы;

4) образование значений слов — выработка условных рефлексов на известный звуковой элемент для тех или других внеязыковых данностей;

5) исправление и лечение речевых недостатков и

6) изучение звукопроизношения высших животных (в особенности обезьян), важное для установления филогенеза речи.

Если уже психолог В. Вундт в языковедении мог найти некоторое поле работы, то тем более это возможно для материалистического естествознания.

Нужно только пожелать молодому направлению следующее:

1) ближе ознакомиться с методологией материалистической диалектики и таким образом превратиться из языковедов-биомеханистов в языковедов-биодialeктиков;

2) еще более глубоко ознакомиться с проблемами общего языковедения;

3) теснее связаться с инструментальной фонетикой (для этой связи имеется уже работник из научного молодняка: В. К. Орфинская) и

4) остерегаться надеяться исчерпывающе объяснить своими физи-

ологическими методами явления области действия сложных социальных законов (например, фонему).

3. *Сравнительники, растущие к новому*, представляют солидную, и притом изо дня в день растущую, весьма прогрессивную группу работников. Это направление особенно ценно тем, что приверженцы его, не присягая каждой гипотезе Н. Я. Марра, решительно отходят от рутины и, критически озираясь, ищут новых путей.

К этому направлению относятся ученые: Л. П. Якубинский, проявляющий интерес к марксистской методологии, и финнолог Д. В. Бубрих, стремящийся к социологическому и материалистическому объяснению языковых явлений (вспомним хотя бы его объяснение германского перебоя согласных напластованием языка индо-европейской системы на финскую основу — в «Язык и литература», т. I). В настоящее время Бубрих живо интересуется проблемами марксистской методологии и палеонтологии речи на основании финно-угорских и — самых примитивных на земном шаре языков — австралийских. В мордовской экспедиции Д. В. Бубрихом собраны богатейшие лингвистические материалы, опубликование которых потребует десятилетия. В настоящее время он, по просьбе Вотобласти, организовал новую языковедную экспедицию — в Вотобласть, которой предстоит решать такие вопросы, как установление диалекта, наиболее подходящего в качестве основы для удмуртского (вотского) литературного языка. Называть этого в высшей мере ценного, прогрессивного и научно-активного ученого «формалистом» и тем подрывать его ценную работу могут только сумасшедшие или научные вредители.

К тому же направлению сравнительников, растущих к новому, относятся следующие ученые: русист С. П. Обнорский, германист В. А. Брим, слависты М. Г. Долобоко, Р. О. Шор, Г. Винокур, арабист Н. В. Юшманов, специалистка по эстонскому языку Э. А. Лемберг, славистка Л. В. Матвеева-Исаева и др.

Для всего направления сравнительников, растущих к новому, характерны три ценных качества: 1) искание новых путей; 2) критический подход и 3) строгие методы.

4. *Техника публичной речи*, которой занимается превосходно поставленная ленинградская лаборатория публичной речи (ул. Ракова, 17), руководимая марксистом и коммунистом В. М. Кренсом, ставит всестороннее изучение живой речи и имеет большое значение как научное, так и общественное.

Является совершенно необходимым введение изучения техники речи по всестороннему методу лаборатории (а не по допотопному звуковому методу) во все вузы.

III. *Новое (марксистское) направление.* Весьма ценные высказывания о языке встречаются у всех классиков марксизма: К. Маркса, Фр. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, Поля Лафарга и др.

У Фр. Энгельса имеется даже целая брошюра о языке (уже упомянутая работа: «Роль труда в процессе очеловечения обезьяны»), у П. Лафарга статья: «Французский язык до и после революции» (1894).

Ленинградским научно-исследовательским институтом языка и литературы (ИЛЯЗВ) проведена большая работа по выборке высказываний классиков марксизма о вопросах языка. Закончена выборка высказываний В. И. Ленина о вопросах языка, и собран значительный материал по Марксу, Энгельсу, Плеханову и др. При большом интересе наших издательств к этой ценной работе, она может быть в ближайшее время подготовлена к печати (хотя бы в виде в высшей мере ценных материалов).

Старым марксистом (кружка Ленина—Красина, с начала 90-х гг. прошлого века) является скончавшийся в 1920 г. известный языковед проф. Д. Н. Кудрявский, рукопись которого «Введение в языковедение» (3 изд.), законченную к печати в год его смерти, необходимо выпустить в ближайшее время, учитывая большой спрос на эту книгу при полном отсутствии на книжном рынке соответствующих работ. (Кроме указанной работы у этого превосходного марксиста и языковеда имеется целый ряд интереснейших печатных трудов.)

Из заграничных языковедов можно назвать старого шведского марксиста и коммуниста Ханнес Шельд (Лундский университет).

Марксисты-языковеды, руководствуясь единственно методологией диалектического материализма, не примыкают строго ни к одному из вышеперечисленных языковедных направлений, а берут проверенный материал отовсюду, прорабатывая его по-своему.

Марксисты-языковеды понимают все великое значение строго-сравнительного метода, против которого за последнее время разными фантастами наговорено столько благоглупостей.

В настоящее время самой важной задачей является сплочение марксистов-языковедов под самостоятельным знаменем для борьбы как с реакционным крылом лингвистики, так и с некоторыми ненормальными явлениями у других направлений как в области теоретической (упрощение или вульгаризация марксизма и материализма, непроверенные строгим методом гипотезы и т. д.), так и в области практической (использование некоторыми левыми языковедами своего личного положения в целях очернения работы ценных и прогрессивных ученых вроде Д. В. Бубриха) и т. д.

С каждым днем интерес к марксистской методологии растет у всех прогрессивных направлений языковедения. Все большее количество языковедов убеждается, что марксизм и для языковедения есть знамя: «Сим победиши!»

(1929)

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

КРАТКИЙ ОЧЕРК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

За время существования Института языка и литературы, с 1921 года, его Лингвистическая секция пережила коренную реорганизацию. До весны 1923 г. в состав ее входили только специалисты по общему сравнительному языкознанию, языковеды же русисты, слависты, романисты и германисты работали в других секциях совместно с историками соответствующих литератур: в секции русского языка и литературы и в секции романо-германской. В эту пору председателем Лингвистической секции состоял (недолго) В. К. Поржезинский, а затем М. Н. Петерсон, и заседания ее частью были соединенными с заседаниями существовавшего тогда Лингвистического общества при Московском университете. В этот период в секции сделали доклады:

М. Н. Петерсон (д. чл. секции). 1) Семасиологические этюды (Вундт и Развадовский). 2) Об одной предложной конструкции (словосочетания с предлогом «из»). 3) О книге Е. Otto. *Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft*. 1919.

Р. О. Шор (сотр. I разряда). 1) Обзор литературы по изучению порядка слов в индоевропейских языках. 2) Психические факторы порядка слов по Ван-Гиннекену. 3) О методе описания порядка слов по Блюмелю. 4) Перфектирующее значение приставки «ge» в средневерхнемецком языке. 5) Проблема реконструкции фактов индоевропейского праязыка в связи с современным состоянием вопроса об индоевропейских *k* и *g* задненёбных. 6) К вопросу о внутренней

форме слова. 7) Переводы из Панчатантры. 8) Актуальность и статика в языке (по поводу книги De Saussure, Cours de linguistique générale. 1916).

А. А. Грушка (д. чл. античной секции). Из области латинского словообразования.

М. В. Сергиевский (д. чл. романо-германской секции). 1) О некоторых романских элементах в папирусах VI—VII вв. 2) Новые данные в области германо-финских отношений (по поводу труда Karsten, Germanisch-finnische Lehnwortstudien. 1915).

Н. Н. Дурново (чл. Лингвистич. о-ва). Вопросы языка в трудах русских историков.

А. М. Пешковский (чл. Лингвистич. о-ва). О понятии отдельного слова.

Весною 1923 г. Лингвистическая секция была преобразована, к ней были причислены состоявшие до того в секциях русской и романо-германской, и несколько позже были назначены три новых действительных члена и один сотрудник I разряда. Председателем преобразованной секции был избран Д. Н. Ушаков, секретарем — М. В. Сергиевский. К концу 1925 г. в секции состояли действительные члены: Г. А. Ильинский, Н. М. Каринский, Л. З. Мсерьянц, М. Н. Петерсон, А. М. Селищев, М. В. Сергиевский, А. И. Соболевский, Д. Н. Ушаков (председатель) и Б. И. Ярхо; сотрудники I разряда: А. Н. Гвоздев, И. Г. Голанов, Е. А. Мейер, Н. Ф. Яковлев и Р. О. Шор (секретарь); сотрудники II разряда: И. Я. Бондяков, Г. К. Данилов, Е. Н. Каринская, А. И. Павлович, А. А. Реформатский, Д. С. Розенталь, И. И. Свешников и А. И. Смирницкий.

В 1923-24 г. было 13 заседаний, на которых сделали доклады:

Н. М. Каринский. К вопросу о древнейших источниках русского языка (по данным палеографии).

М. Н. Петерсон. Синтаксис Лермонтова, очерк первый (словосочетания типа «птица летит»).

А. М. Селищев. 1) К изучению культурно-языковых отношений на Балканах (один из ранних балканизмов в болгарском языке). 2) К изучению процесса языковых взаимодействий (из наблюдений автора над двуязычием и переходом к одноязычию).

М. В. Сергиевский. 1) Яфетидология и ее новейшие успехи. 2) К вопросу о древнейших славяно-германских отношениях по данным языка (славянские заимствования из германских языков).

Д. Н. Ушаков. Фонетика русского языка в нормативном освещении (о московском «литературном» произношении) — два доклада.

Р. О. Шор. 1) О некоторых стилистических фигурах в Риг-Веде. 2) О сборнике статей под ред. Л. В. Щербы «Русская речь».

Б. И. Ярхо. К вопросу средневековой латинской метрики. 1) Риф-

мованные секвенции X в. 2) Синтаксис и рифмы в драмах Хротсвиты. Два доклада.

Кроме того, *М. Н. Петерсон* сделал доклад в Методологической секции на тему «Язык, как социальное явление».

В 1924-25 г. было 13 заседаний, на которых сделали доклады:

Л. З. Мсерьянц. 1) К пребыванию Расмуса Кристиана Раска в России, по архивным данным Азиатского музея Академии Наук СССР (из истории языковедения). 2) По поводу новой работы А. Meillet по древнеперсидскому языку (*Grammaire du vieux perse*, 1915).

М. П. Петерсон. Синтаксические взгляды Карла Бюлера (по его работам: *Vom Wesen der Syntax*, 1923 и *Kritische Musterung der neueren Theorien des Satzes*, 1920).

М. В. Сергеевский. Проблемы социальной диалектологии во французском языке в XVI и XVII вв.

Р. О. Шор. 1) К вопросу о многозначности слова (по поводу книги Эрдмана *Die Bedeutung des Wortes*, 1921). 2) Логистическое направление в современной грамматике, очерк первый (значение и выражение).

Б. И. Ярхо. Рифмы у Хротсвиты.

26 октября 1924 г. по инициативе Лингвистической секции было организовано заседание Института языка и литературы, посвященное памяти выдающегося русского лингвиста академика Ф. Ф. Fortunatova по случаю десятилетия со дня его кончины (20 сентября 1914 г. ст. ст.). Вступительное слово произнес председательствовавший Д. Н. Ушаков. Затем М. Н. Петерсон сделал доклад о трудах Ф. Ф. Fortunatova в области общего языкознания и М. М. Покровский (председатель античной секции и один из ближайших учеников покойного) — доклад, посвященный личным воспоминаниям о Ф. Ф. Fortunatove.

Кроме заслушания и обсуждения докладов, заседания секции посвящались обсуждению вопросов, связанных с установлением коллективной работы секции, и вопросов, связанных с занятиями сотрудников II разряда.

В качестве общих работ секцией намечены следующие.

1) Обследование и изучение, преимущественно с точки зрения социальной диалектологии, великорусских говоров, в первую очередь Московской губернии, а также изучение речи национальных меньшинств романского и германского происхождения (главным образом румын и немцев-колонистов), до сего времени остающихся вне всякого научного внимания, кроме немцев поволжских, где работа ведется силами кафедры германской филологии Саратовского университета.

Намеченная работа, с одной стороны, требует рабочей силы большей, чем располагает Секция, и потому предложено выполнять ее в части, касающейся русской диалектологии, совместно с Московской Диалектологической Комиссией, состоящей при Всесоюзной Академии Наук и насчитывающей среди своих членов и сотрудников несколько молодых начинающих ученых, готовых выполнять эту работу. С другой стороны, эта работа требует материальных средств для организации диалектологических и этнографических экскурсий; поэтому Секция сделала в 1924 г. попытку исходатайствовать в Госплане соответствующую ассигновку из сумм, определенных на научно-исследовательские работы по секции «человека», но эта попытка не увенчалась успехом.

Тем не менее, в исполнение намеченной задачи, летом 1925 г. д. чл. М. В. Сергиевский был командирован Институтом и совершил поездку (на свои средства) в автономную Молдавскую республику для обследования и изучения живых молдавских говоров и для собирания соответствующих диалектологических и этнографических материалов. Результаты поездки изложены в статье М. В. Сергиевского. «Материалы для изучения живых молдавских говоров на территории СССР»,

2) В связи с заданиями, поставленными Методологической секцией Института, Лингвистическая секция приняла ее предложение взять на себя изучение языка Ленина. По поручению секции Д. Н. Ушаков сделал 9 февраля 1925 г. доклад о возможном плане коллективной работы по языку Ленина. По мнению докладчика, работа могла бы состоять или в составлении полного словаря языка Ленина, что могло бы послужить фундаментом для всякого дальнейшего изучения этого языка, или же в описании различных сторон Ленинского языка и стиля; составление словаря — работа громоздкая, кропотливая и дорого стоящая; кроме того, она не смогла бы сослужить практической службы, которой от анализа языка Ленина может ждать политический оратор и писатель. Секция остановилась на изучении отдельных сторон языка Ленина и наметила несколько тем, которые и были взяты для обработки: Д. Н. Ушаковым — Элементы разговорной речи в языке Ленина, М. В. Сергиевским — Неологизмы, А. М. Селищевым — Архаизмы, М. Н. Петерсоном и Р. О. Шор — Этюды по синтаксису Ленина.

3) По докладу Д. Н. Ушакова Лингвистическая секция выразила готовность заняться еще одной работой, связанной также с именем В. И. Ленина. В 1921 г. по мысли Владимира Ильича, выраженной им в записке покойному т. Литкенсу, Главнаукой была организована работа по составлению общественного словаря русского литературного языка. На эту работу были ассигнованы крупные средства,

она велась десятками сотрудников, составившими до 200.000 карточек, но к осени 1923 г. по постановлению коллегии Наркомпроса она была прекращена. Намерение Госиздата, возникшее было вскоре после смерти Владимира Ильича, закончить и издать этот словарь, не приводится в исполнение. Лингвистическая секция признала желательным взяться за работу по завершению такого важного предприятия, если на осуществление его будут изысканы средства для покрытия расходов на оплату технической работы, и, во всяком случае, ходатайствовала перед Ассоциацией о принятии мер к сохранению от гибели изготовленных материалов.

Что касается занятий сотрудников II разряда, то по предложениям Коллегии Института и в связи с предубаждениями Президиума Ассоциации Лингвистической секцией 1) был установлен объем требований, которые должны предъявляться аспирантом в научные сотрудники II разряда по лингвистической секции для производства коллоквиумов по разным специальностям; 2) выработаны общие программы по отдельным специальностям (утвержденные потом Коллегией Института) для тех же сотрудников, с примерным распределением занятий, по предложению Коллегии, на три года; 3) составлялись планы семинарских занятий и заслушивались отчеты о занятиях сотрудников II разряда.

Требования для аспирантов установлены следующие.

Три работы Поржезинского: Введение в языковедение, Очерк сравнительной фонетики индо-европейских языков, Очерк сравнительной морфологии индо-евр. языков, ч. I, склонение.

Кроме того, в зависимости от специальности: по русскому языку: Соболевский — Лекции по истории русского языка, Поржезинский — Краткое пособие к лекциям по исторической грамматике русского языка, Дурново — Очерк истории русского языка; Дурново, Соколов и Ушаков — Опыт диалектологической карты русского языка; по романским языкам: Meyer-Lubke — Einführung in d. Studium der romanischen Sprachwissenschaft, Bourciez — Elements de linguistique romane, Zauner — Romanische Sprachwissenschaft, Teil I и II; по германским языкам: Streitberg — Urgermanische Grammatik, Kluge — Urgermanisch. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte, Loewe, R. — Germanische Sprachwissenschaft, Teil I-III; по общему и сравнительному языкознанию: Лескин — Грамматика старославянского языка, Кульбакин — Древнецерковнославянский язык, Нидерман — Историческая фонетика латинского языка; по славянским языкам: две только что названные книги (Лескина и Кульбакина) и умение читать и понимать литературные тексты на четырех славянских языках: польском, чешском, сербском и болгарском.

Программы занятий сотрудников II разряда установлены следующие.

I. По специальности *общего и сравнительного языкознания* должны быть изучены в историческом освещении языки: 1) древне-индийский, 2) греческий, 3) латинский, 4) старославянский, 5) литовский, 6) один из германских (готский, древневерхненемецкий или древне-исландский) и разработаны три отдельных вопроса по общему языкознанию и три по сравнительному языкознанию, причем по годам программа может быть разбита примерно следующим образом:

1-й год. Древне-индийский язык (основы грамматики, классический санскрит), латинский яз., старо-славянский яз., греческий яз. (основы грамматики, классический автор), один вопрос из общего и один — из сравнительного языкознания.

2-й год. Древне-индийский яз. (классический санскрит, пракрит), литовский яз., греческий яз. (чтение автора, Гомер), два вопроса из общего и два — из сравнительного языкознания.

3-й год. Древне-индийский яз. (ведийское наречие), греческий яз. (Гомер и диалектические надписи), работа над специальной темой.

II. По специальности *романо-германской* должны быть изучены в историческом освещении четыре романских или германских языка, из них обязательно старофранцузский для романистов и готский для германистов, далее латинский яз. (вульгарная латынь или историческая грамматика) для романистов и прагерманский (или праскандинавский) для германистов и проработаны: один вопрос по общему языкознанию и один по общему романскому или германскому языкознанию. Применительно к избранной теме должны быть сверх того разработаны два вопроса из области истории романских или германских литератур, романской или германской этнографии, метрики, стилистики, диалектологии др., при чем по годам программа может быть распределена следующим образом:

1-й год. Старофранцузский (готский) яз., второй романский (германский) яз., латинский (прагерманский) яз., вопрос по общему языкознанию.

2-й год. Третий романский (германский) яз., четвертый романский (германский) яз., вопрос по сравнительному романскому (германскому) языкознанию, первый дополнительный вопрос.

3-й год. Второй дополнительный вопрос, работа над специальной темой.

III. По специальности *русского языка* должны быть изучены история русского яз., старославянский яз., один южнославянский, один западнославянский яз., русский литературный яз., современный русский яз. (великорусский, белорусский и украинский) с диалекто-

логией и проработаны один вопрос по общему языкознанию и один по сравнительному славянскому. Применительно к избранной теме должны быть изучены два дополнительных вопроса из области русской литературы (древней или новой), палеографии, этнографии, фольклору; по годам программа может распределиться следующим образом:

1-й год. История русского языка, старославянский яз., южный слав. язык, западный слав. язык.

2-й год. Современный русский язык, литературный русский язык, вопрос по общему языкознанию, вопрос по сравнительному славянскому языкознанию.

3-й год. Первый дополнительный вопрос, второй дополнительный вопрос, работа над специальной темой.

Примечание. Занятия по истории русского языка должны состоять в разработке нескольких вопросов по памятникам и во всестороннем изучении двух избранных памятников языка; по литературному языку — в изучении языка отдельных писателей или отдельных литературных произведений.

IV. По специальности *славяноведения* должны быть изучены в историческом освещении три южнославянских языка (сербский, болгарский, словенский), три западных (польский, чешский, лужицкий), старославянский и русский языки и проработаны вопросы: один по общему, один по сравнительному славянскому языкознанию и четыре — по славянским литературам, при чем по годам программа может быть распределена так:

1-й год. Старославянский яз., русский яз., три славянских языка с соответствующей литературой.

2-й год. Вопрос по общему языкознанию, три славянских языка с соответствующей литературой.

3-й год. Вопрос по сравнительному славянскому языкознанию, работа над специальной темой.

Наконец, что касается семинариев для сотрудников II разряда, то велись семинарии М. Н. Петерсоном по санскриту в 1923-24 и 1924-25 гг. и по синтаксису в 1923-24 г., М. В. Сергиевским — по старофранцузскому языку в 1923-24 г. и по румынскому языку в 1925 г., Р. О. Шор — по ведийскому наречию в 1922-23 г., по общей лингвистике в 1923-24 г., М. Н. Петерсоном и Р. О. Шор — по синтаксису языка произведений В. И. Ленина (участники — преподаватели русского языка в Коммунистическом Университете национальных меньшинств Запада) в 1924-25 г.

Раздел 2

На «языковедном фронте» [1929—1932]

Т. П. Ломтев

ЗА МАРКСИСТСКУЮ ЛИНГВИСТИКУ

Широкая общественность мало осведомлена о той роли, которую играет наука о языке. А между тем эта роль исключительна. Миллионы людей из национальных меньшинств только благодаря созданию литературного национального языка и письменности приобщаются к советской, пролетарской культуре. А между тем подрастающее поколение, начиная от учеников первой ступени, кончая студентами наших вузов, обучается языку и науке о нем под руководством формалистического, метафизико-идеалистического индоевропеизма. Все рычаги в деле распространения языковой культуры и грамотности находятся на «ученом» поводе у представителей псевдо-науки — Петерсонов, Ушаковых и проч.

Новое материалистическое учение о языке, яфетическая теория, возникшая на советской почве, встречена повсеместным бойкотом так называемых ученых. Яфетическая теории либо тихо замалчивается, либо открыто опровергается. Таково положение на научном фронте по ту сторону идеологических баррикад.

Обращаясь теперь к положению материалистической лингвистики, мы должны констатировать отсутствие надлежащего единства в рядах ее работников. Так называемая яфетическая теория, сыгравшая крупнейшую роль в разоблачении идеалистического и метафизического характера индоевропейской лингвистики, на самом деле еще далека от марксистско-ленинского учения о языке. Яфетическая теория еще не представляет собою развернутого теоретического построения, единодушно признанного в кругу яфетидологов, но в том виде, как она представлена своими главными работниками, она содержит в себе определенные тенденции механистического направления.

Дальнейшее движение науки о языке и действительная идеология, победа над формализмом и идеализмом в языковедении возможны только путем развернутого наступления на механистические тенденции, засвидетельствованные в современном языковедении.

Поэтому, как действительный лозунг настоящего момента, необходимо выдвинуть непримиримую борьбу против формалистического и метафизико-идеалистического индоевропеизма и широко развернутое наступление на механические тенденции в современном материалистическом языковедении.

Индоевропейская лингвистика — метафизическое учение, ибо она устанавливает принципиальную необходимость изолированного изучения отдельных групп языков, отрицает единство процесса языкового развития.

В языковедении господствовала, и до сих пор продолжает господствовать, наука, именуемая индоевропейской лингвистикой, которая, принципиально отрицая единство процесса языкового развития т. е. единство глоттогонического процесса, провозглашает своим исходным пунктом необходимость изолированного представления отдельных языковых групп и их генетической исключительности и независимости. Она узаконивает незаполнимый прорыв в действительно едином процессе языкового развития, в процессе единого глоттогонического развития; утверждением генетической независимости языковых семей она устанавливает принципиально несводимость высших стадий языка к низшим.

Таково исходное и первоначальное положение индоевропейской лингвистики.

Все дальнейшие положения индоевропеистики, как теоретической концепции, являются лишь дальнейшим развитием этого начала. К их числу относятся: 1) утверждение, что сравнивать следует только однозначные, однокачественные факты, и 2) утверждение, что при определении различия в самой природе фактов бесспорно сходных языков следует предполагать объективное существование так называемого *праязыка* с его общими определениями. При этом исторически засвидетельствованные языки той или другой группы со всеми характеристиками их конкретного материала являются лишь позднейшими разветвлениями. Не следует, однако, думать, что второе утверждение с необходимостью вытекает из первого. В теоретической концепции индоевропейской лингвистики они равноправны. Логика развертывания первого утверждения может установить только черты сходства и различия сравниваемых фактов, но она не заключает в себе никакой необходимости провозглашения второго утверждения. Если и есть какая-нибудь необходимость его установления,

то она находит свое основание не в сравнительном методе, т. е. не в факте сравнения, а в некотором ином, в том, что в действительности является общим основанием первого и второго утверждений, т. е. в вышеформулированном начале индоевропейской лингвистики; сравнительный же метод, напротив, сам является лишь конкретным осуществлением указанного начала.

Вскрытие дальнейшего содержания, которое вытекает из утверждения, что сравнению подлежат только однокачественные факты, приводит к материальному оправданию формулированного нами теоретического начала индоевропеистики. В самом деле, если сравнению подлежат только однокачественные факты так же однокачественных, т. е. родственных, языков, то познающая деятельность сознания не имеет возможности выйти за пределы качественной характеристики сравниваемых фактов и таким образом за пределы качественной характеристики сравниваемых языков, она может только установить те или другие количественные различия в сфере одного качества, т. е. в сфере одной системы языков; она не может найти какую-либо другую систему языков, качественные определения которой в своем отрицании, т. е. в своем переходе в иное, дали бы ту языковую систему, в пределах которой факты языков подлежат сравнению. Таким образом, с точки зрения индоевропеистики, нет никаких оснований говорить о единстве глоттогонического процесса, и генетическая независимость языковых систем находит свое надлежащее оправдание. Метафизическое заменяет собою диалектическое.

Теоретическим оформлением того же метафизического начала является также и идея объективного существования праязыков, поскольку уже установлено, что сравнение однокачественных, т. е. родственных языков, не может привести к установлению языка качественно новой системы, если бы даже первые и восходили к последнему. И действительно: конструируемый индоевропейский праязык однокачественен с языками, вытекающими, по мнению индоевропеистов, из него.

Если таким образом все языки той или другой группы восходят в прошлом к одному языку, если весь разнообразный материальный состав изучаемых языков объясняется единством материального состава того языка, к которому они восходят (за исключением разве факта влияния), то очевидно, что мысль о существовании в составе языков изучаемой стадии материального содержания более древней стадии лишается всякой основы. Это значит, что идея о единстве глоттогонического процесса принципиально исключается идеей праязыка, это значит, что идея праязыка исключает диалектическое начало в языковедении и предполагает метафизическое. Итак, все опре-

деления индоевропейской лингвистики, как единой теоретической концепции, предполагают такое начало, которое может быть характеризуемо, как метафизическое. Оно состоит в утверждении того, что всякая система языков достаточна сама по себе и не нуждается для объяснения своих фактов в материалах других систем, герр. стадий, поскольку каждая такая система генетически обособлена и не связана с другими и поскольку определение каждой из них не заключает в себе необходимости перехода одной в другую и сохранения первой во второй.

Представленная теоретическая схема, индоевропейской лингвистики должна рассматриваться как такое единство, принципы которого взаимообусловлены и находят свое основание в общем начале. Так что, провозгласив один какой-либо из этих принципов, теоретически нельзя не признать других, т. е. всю теоретическую концепцию индоевропеистики; и если могут быть такие представители языкознания, взгляды которых не включают некоторых пунктов представленной схемы индоевропеистики, то они должны рассматриваться как теоретические путаники. Поэтому ссылка на то, что некоторые лингвисты-индоевропеисты не признают, например, праязыка, должна быть отставлена как лишенная доказательной силы, если этой ссылкой пожелают представить изложенную схему индоевропеистики, как не соответствующую действительности.

Диалектико-материалистический метод не может быть методом сравнения. Никто не отрицает необходимости сравнения в научном познании, но отсюда нельзя делать выводы, что результаты сравнения есть подлинная действительность.

Но сравнительное рассмотрение не может охватить подлинную диалектику развития языка, оно может установить только внешние черты сходства и разности. Что касается учения о праязыке, то оно является лишь утверждением, которое вообще не нуждается в обосновании сравнивающей деятельностью познания.

В предыдущем изложении мы старались вскрыть метафизический характер индоевропейской лингвистики как теоретической концепции; теперь мы должны показать ее идеалистический характер. Само собою разумеется, что некоторые индоевропеисты могут быть в общем своем мировоззрении и даже в определении отдельных конкретных вопросов языка материалистами, но сама индоевропеистика как теоретическое построение есть построение идеалистическое. Такое определение индоевропеистики положено уже в тех характеристиках ее, которые даны выше. Если индоевропеистика утверждает, что все факты (за исключением случаев влияния) исторически засвидетельствованных языков той или другой группы есть не что

иное, как те или другие рефлексy соответствующих фактов единого праязыка с его единым *этническим* носителем, то все движение языка она ставит в зависимость от движения этого *этнического* единства. В этом состоит расовый характер индоевропеистики, в котором ее справедливо обвиняет яфетидология.

Индоевропеисты приходят в недоумение, когда их науку квалифицируют как науку, провозглашающую органическую связь языков с расами. При этом они ссылаются на то, что главные и второстепенные представители индоевропеистики давно уже отрицают этот взгляд, и приписывание его последним есть лишь результат невежества яфетидологов. Полагать, будто такой взгляд приписывается им по случаю невежества яфетидологов, — детская забава. Ни один серьезный человек не поверит, чтобы яфетидологи не могли прочесть, например, соответствующего места из «Введения в сравнительную грамматику индоевропейских языков». А. Мейе. Все знают, что индоевропеисты отказываются от признания связи языков с расами, но этот отказ есть только словесный отказ. Если утверждение, что все исторически засвидетельствованные языки является лишь результатом «различных эволюций одного и того же языка, бывшего в употреблении раньше, в зависимости от различных эволюций этнического единства, носителя праязыка, не является расовым определением языка, то что же тогда называется расовой характеристикой языка?» Неужели в самом деле индоевропеисты думают, что, отказавшись от того положения, что люди одной расы не могут выучиться языкам другой расы, они тем самым отказались от утверждения связи языков с расами?

Расовый характер индоевропеистики в том и состоит, что развитие языков она представляет, как разветвление единого праязыка в связи с расщеплением его носителя, этнического единства. В этом же состоит и идеалистический характер индоевропеистики, от которого не может отказаться ни один индоевропеист, кем бы он ни считал себя — материалистом или идеалистом.

Далее, утверждение большинством индоевропеистов необходимости спонтанного развития языка (и звуков) путем смены поколений дополняет собою характеристику индоевропеистики как идеалистической теории.

Полную противоположность индоевропейской лингвистики представляет яфетическая теория. Она впервые с достаточной силой установила идею единства языкового развития. Правда, уже Гумбольдт выдвигал идею единства глоттогонического процесса, и это единство в теоретической концепции развития языка предполагается у Гумбольдта как данное. На каждый язык он смотрел как на ту или дру-

гую степень осуществления идеального принципа построения языка, а все языки вытягивал в одну цепь развития, располагая их по степени совершенства строения. Начальным пунктом этой цепи оказывался китайский язык, а последним — санскритский.

Яфетическая теория выдвинула то основное положение, что все языки мира находятся в генетической связи, что каждая система языков представляет собою лишь стадию в едином процессе языкового развития, что каждая такая стадия не представляет собой чего-либо монолитного и абсолютно замкнутого, а есть такая совокупность, которая содержит в себе материал предшествующих стадий в переложном виде.

Таким образом, если индоевропейская лингвистика покоилась на утверждении абсолютной изолированности отдельных языковых групп, то яфетическая теория покоится на противоположном принципе — на утверждении единства глоттогонического процесса. Дальнейшие построения яфетической теории являются лишь раскрытием этого основного ее положения.

Установление единства глоттогонического процесса (т. е. связь всех языков мира в их развитии, начиная от низших, кончая высшими пунктами этого развития), очевидно, возможно только посредством топологического сравнения. Индоевропейская лингвистика, провозглашая принцип сравнения однокачественных фактов, может в данном случае сравнивать синтаксические конструкции только одной эпохи и одной стадии. Она таким образом лишена возможности определить типологическую трансформацию языков, и хотя в лингвистической литературе ставят напр., Потебне в большую заслугу то, что он показал изменяемость синтаксических конструкций и, следовательно, изменяемость типологической структуры языков, однако, легко заметить, что характер указанной изменяемости чисто количественный; изменения прослеживаются в пределах одной системы, напр., флективной, не затрагивая ее коренных характеристик. Чтобы выйти за пределы типологической характеристики одной системы, чтобы установить единство в типологической структуре глоттогонического процесса, необходимо вместо принципа сравнения однокачественных фактов провозгласить принцип сравнения разнокачественных фактов, в данной плоскости — принцип типологического сравнения. Только при условии, когда сравнению подлежат синтаксические конструкции всех языковых систем единого глоттогонического процесса, можно проследить развитие типологии последнего и трансформацию его систем. Таков первый принцип основного начала яфетической теории, являющейся одним из определений этого начала, — принцип типологического сравнения.

Следующим принципом того же начала является принцип семантического сравнения, задача которого состоит в том, чтобы вскрыть семантическую структуру единого глоттогонического процесса в его стадиях, т. е. наметить характеристику единого процесса словосложения на различных его этапах. Эта задача не могла быть включена в систему проблем индоевропеистики, так как вся ее теоретическая система базировалась на иных началах. Сравнение однокачественных фактов языков одной группы, в данном случае сравнение целых слов, может установить только наличие того или другого слова в тех или других родственных языках. Но оно нисколько не может свидетельствовать о тех условиях, в которых создано это слово, как единство артикулированного звука и определенной семантической единицы. И действительно, нахождение, положим, слова «дом» в решающих индоевропейских языках (снк. — *damah*, лат. — *domus*, греч. — *δομος*, ст.-сл. — дом) нисколько не раскрывает процесса своего образования. Индоевропейская лингвистика лишена возможности усмотреть в лексическом составе языков одной стадии лексические элементы, т. е. пережитки состава семантических единиц предшествовавшей стадии, поскольку принцип праязыка при сравнении однокачественных фактов закрывает выход в другие системы языков; она оперирует только закрепившимися и, по существу, неизменными семантическими единицами, объективирующимися в звуках, и таким образом не имеет возможности установить процесс постепенного образования всей суммы этих семантических единиц в единой глоттогонии. Выдвигая принцип сравнения разнокачественных фактов, мы тем самым устанавливаем по линии интересующей нас сейчас проблемы 1) то положение, что сравнению могут подлежать все известные и могущие быть известными лексические единицы, и 2) то, что в процессе сравнения они (по крайней мере те из них, которые относятся к доисторическому периоду) подлежат делению на элементы, ибо сколько мы бы ни сравнивали слова различных языков, мы не приходим ни к каким выводам, за исключением только того, что слово *x* общее для одних языков, а слово *y* — для других, если мы при этом не учитываем внутренней, исторически сложившейся структуры слова. Только лишив слова языков одной стадии качественной единичности и целостности значения и сравнив их особым образом с так же препарированными словами языков низшей стадии, мы получим возможность усмотреть в лексико-семантическом материале первой элементы соответствующего материала второй в пережиточном виде, элементы, которые в ней могли быть самостоятельными единичностями. Таким образом мы получаем возможность установить единство глоттогонического процесса по семантической линии.

Вскрытие элементов в составе слова, т. е. разложение его исторически сложившейся структуры, полагается единством глоттогонического процесса не только по линии обнаружения единства, но и по линии обнаружения социальной природы. Последнее заставляет нас с самого начала решительным образом отмежеваться от того предрассудка, что человеческая мысль при своем возникновении должна объективироваться в артикулированном звуке. Эта точка зрения на возникновение человеческого языка предполагает определение языка как природного дара слова.

Те звуки, которые мог произносить человек в период своего отделения от обезьяны, были природными звуками и являлись, как и окружавшие его предметы, такою же объективной вещью. Чтобы природный звук стал звуком языка, необходимо было его осмысление, открытие для сознания общественного человека. Но познание мира развивается и углубляется в процессе развития трудовой деятельности общественного человека. Звук языка — не просто звук, а такой звук, который вырабатывался в процессе первобытного труда и одновременно, познаваясь, использовался как средство общения. Труд, общественные отношения и выросшее на их основе сознание предшествуют звуковому языку, определяют его возникновение и дальнейшее развитие. С этой точки зрения соответствующие взгляды Гумбольдта, Нуаре и некоторых других оказываются неприемлемыми. Мы не можем допустить, что человечество начинало пользоваться звуками как средством общения в таком огромном количестве, которым оно располагает теперь. Отсюда возникает необходимость предположить ограниченность звуковых средств, отсюда возникает необходимость предположить небольшое число фонематических единиц в первобытном сознании человека и, следовательно, их объективное соответствие вообще действительному звуковому составу, так как артикулированный звук — социально-отработанный, социально-созданный факт. Единство такой первобытной фонемы и такого звука может быть названо языковым комплексом первобытной речи. Здесь же надо оговориться, что понятие фонемы современных языков не может быть отождествлено с фонемой первоначального языка; этот термин остается постольку, поскольку не найдено более удовлетворительного термина. Таким образом, если мы предположим, что языковых комплексов вначале было ограниченное количество (по Марру — четыре), то, очевидно, необходимость их сложения для последующего образования новых слов в процессе начального периода единого словотворчества явствует с несомненностью. При признании зависимости нарекательной деятельности человечества от постепенного появления предметов объек-

тивного мира в поле первобытного общественного сознания, так называемые семантические пучки яфетической теории находят полное логическое основание, поскольку нельзя не признать первоначальной нерасчлененности, т. е. объективной диффузности человеческих понятий и представлений, и поскольку дальнейшее выкристаллизовывание новых семантических единиц может происходить только в процессе последующего расчленения предыдущего состава в зависимости от общего развития социально-экономической формации. Это значит, что словотворчество, протекавшее преимущественно в процессе так называемого скрещения, не могло быть случайным и хаотическим, оно было подчинено определенной закономерности, находящей свое основание в семантической структуре общественного сознания той или другой экономической формации.

Семантическое сравнение и основано на учете указанной закономерности; процесс раскрытия ее и является характеристикой единого глоттогонического процесса по семантической линии. Семантическое сравнение является вторым принципом основного начала яфетической теории.

Метод яфетической теории называется палеонтологическим методом. Последний по существу своему есть, собственно, сравнительный метод, основывающийся на признании единства глоттогонического процесса, тогда как сравнительно-исторический метод индоевропеистики основывается на принципиальном признании изолированности языковых групп.

Поэтому те результаты, которые могут быть достигнуты этим методом, должны рассматриваться как хотя и необходимые, но все-таки подготовительные работы для подлинно диалектико-материалистической науки о языке.

Палеонтологический метод не может вскрыть специфичность языковых строений, он может только установить между ними генетическую связь, что является, собственно, отрицательной задачей; положительной задачей является вскрытие специфических закономерностей отдельных языковых формаций. Палеонтологический метод вообще непригоден к решению таких задач; они могут быть решены только диалектико-материалистическим методом, в теоретической системе которого палеонтологический метод явится только одним из моментов.

Яфетическая теория впервые раскрыла в языковедении идею развития, воплотив ее в понятие единого глоттогонического процесса.

Она на многочисленных примерах показала генетическую связь языков мира и сделала ее своим исходным пунктом.

Но, отдавая должное яфетической теории, необходимо отметить, что она по своему существу есть своеобразный примитивный материализм в области языковедения. Этот примитивизм заключается в утверждении, что морфология языка (по словам основоположника яфетической теории — акад. Н. Я. Марра) есть лишь отражение морфологии общественного строя, что в самих формах грамматических категорий язык отражает строй общности.

Оказывается, что аморфный или синтетический строй языка связан с первобытным коммунизмом. Эта связь ближайшим образом выражается в том, что отсутствие социальных группировок внутри первобытного общества, отсутствие господствующих групп, социальное равноправие его членов, их самостоятельность — отразились в языке в виде самостоятельности слов, в виде отсутствия различия в словах по их «основному и функциональному смыслу». Когда же образуется общество, состоящее из различных профессиональных групп, хозяйственное значение которых основано на разделении труда, тогда и в языке получается отражение этого общества в виде выделения слов с «основным и функциональным смыслом», основных и придаточных предложений и т. д.

Дальнейшее расслоение общества и закрепление его различных социальных группировок, каковы, по Марру, сословия или классы, отражается в языке в виде закрепления одних слов с функциональным смыслом (элементы морфологии), других слов с основным, т. е. в виде возникновения флективного строя.

Такова пресловутая увязка языка с историей материальной культуры и с так называемой общественностью. Таково, так сказать, материалистическое объяснение языка.

Совершенно ясно как из рассмотрения приведенной цитаты, так и из всей теоретической концепции яфетидологии, что яфетическая теория связывает непосредственно формацию языка с формацией экономической. Утверждение того, что каждый строй языка есть не что иное, как отражение того или иного общественного строя, предполагает необходимость непосредственной связи между первым и вторым. Яфетидологи утверждают, что флективный строй является прямым порождением хозяйства, в котором укрепилось производство и употребление металла. Между тем, флективный строй может рассматриваться и не как прямое порождение распространения металлов в хозяйстве.

Само собой разумеется, что между развитием языка и развитием общественных формаций имеется определенная связь, что развитие языка определяется общим движением развития экономической формации. Но утверждать, что язык на каждой стадии развития есть не

что иное, как простое отражение морфологии общества — это значит становиться на соответствующую точку зрения Переверзева.

Точка зрения марксизма в этом пункте далеко не столь примитивна. Обратимся к Марксу:

Относительно искусства, — говорит Маркс, — известно, что определенные периоды его расцвета не состоят ни в каком соответствии с общим развитием общества, а, следовательно, также и с развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации. Например, греки в сравнении с современными народами или также Шекспир.

Энгельс в одной из своих работ говорит, что:

Всякая идеология, раз она возникла, развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений и подвергается еще дальнейшей обработке.

Энгельс также, следовательно, подтверждает необходимость признания внутренней структуры этой идеологии, поскольку последняя способна к самостоятельной переработке представлений. Между тем и язык, являясь надстроечным институтом, очевидно, должен иметь свою собственную структуру со свойственными ей закономерностями. А утверждение того, что морфология языка есть не что иное, как простое отражение морфологии общества, есть отрицание специфической структуры языка со свойственными ей закономерностями, и утверждение того, что язык в виде известной ленты наслаивается на развитие экономического процесса и пассивно отражает собой этот процесс, не содержат в себе никаких внутри себя необходимых закономерностей, свойственных языку, как особой надстройке.

Яфетическая теория, как было указано выше, устанавливает генетическую связь всех языков мира, но, устанавливая единство глоттогонического процесса, яфетическая теория стирает все типологические развития и все, напр., элементы флективных форм отождествляет с соответствующими элементами низших типов строения языка.

Так, например, в древне-литературном армянском (как и в древне-литературном грузинском) во множественном числе известны всего два падежа: прямой и косвенный.

Между тем, — говорит акад. Н. Я. Марр, — обнаружилось, что в обеих формах мн. ч. нет ничего падежного, падежного окончания на самом деле, лишь показатели множественного, и вот эти мнимые окончания именительного и косвенного падежей, те именно, что в армянском древне-литературном (им. *д* косв.), наличны еще в роли лишь окончаний мн. ч. в языке более древнего типа, абхазском, где нет вовсе склонения: в нем из двух окончаний мн. ч. то, что во флективных языках, служит для образования пассивного падежа, именительного, является множественной формой имен неразумных, а то мн. число, что во флективных языках,

служит для образования активного падежа, косвенного, в том же типологически более древнем языке, абхазском, служит окончанием имен разумных (Пэрят, Л.—М., 1926, стр. 305).

Неоспоримо, что флексии произошли от самостоятельных слов, но, исходя из этого, еще нельзя утверждать, будто во флексиях нет ничего флексивного. Флексия есть новое качество, которое нельзя целиком свести ни к какому элементу языка низшего строения. Если бы под флексией мы разумели тот язык, который во флексивных языках имеет значение флексии, а в других какое-либо материальное значение, то мы, собственно, не имели бы понятия флексии.

То обстоятельство, что грамматические факты флексивного типа, как знакомые элементы, могут иметь значение нефлексивного типа в языках низшего строения, не лишает качественного отличия флексивного строя.

Один из учеников акад. Н. Я. Марра утверждает, что «склонение первоначально сводилось к указанию субъекта и объекта действия».

Сведение всех специфических особенностей флексивного строя к простейшим фактам языков низшего строения и усматривание в последних категорий флексивного строя, — такова отличительная черта яфетической теории данного этапа развития.

Между тем эта существенная черта яфетической теории находится в очевидном противоречии с основами марксизма.

Мы поэтому склонны отрицать сведение флексивного склонения к указанию субъекта и объекта действия, — намек не есть развившаяся категория.

Труд — простейшая категория, свойственная всем историческим эпохам. Но труд, как категория капиталистического общества, есть специфическая категория, не сводимая к труду вообще, поскольку он есть порождение всей структуры капиталистического общества.

Деньги также существовали, по словам К. Маркса, раньше капитала, раньше банков, раньше наемного труда и т. д. Но деньги, как категория капиталистического общества, суть специфическая современная категория, как и тот строй, выражением которого она является.

Эти факты говорят лишь о том, что конкретные категории, выражающие развившееся целое в полноте ему свойственного существования, могут существовать как простейшие категории ранее своего развившегося целого. Они выражают тогда лишь тенденцию неустановившихся отношений, находящихся в системе иного целого.

Поэтому отождествление первого целого со вторым на том основании, что в совокупности их элементов есть по внешней роли идентичные категории, с теоретической точки зрения не представляется возможным.

Сведение «склонения к указанию субъекта и объекта действия», т. е. «к делению на классы, классы активных и пассивных», есть отождествление флективного строя с агглютинативным и даже с аморфным.

Против этой точки зрения яфетической теории можно было бы привести то соображение Гёте, согласно которому нельзя считать две горы за одну на том основании, что они соединены долиной. Равным образом вершины царств природы решительно отделены друг от друга и должны быть строго различаемы. Камень — не растение, растение — не животное; здесь мы должны вбить столбы, ибо здесь качественные переходы. Определив специфичность этих вершин, мы можем спокойно и надежно спускаться в их общие долины и исследовать их.

Это основное положение диалектики о качественных переходах в системе яфетической теории оказывается неразвитым, несмотря на усиленное склонение ее представителями слова «диалектика».

Теми же недостатками страдает яфетическая теория и в области анализа словаря. Среди индоевропейцев раздаются вопли негодования по поводу тех связей, которые устанавливаются яфетической теорией; они никак не могут уложить в голове семантическое гнездо: напр. «рука—женщина—вода»; они никак не могут понять законности и логичности элементного анализа словаря. Между тем только элементный анализ слова (не обязательно посредством А, В, С и D) вскрывает действительную историю сложения структуры слова.

Тот, кто стоит на точке зрения развития, тот должен разлагать современную структуру слова и находить в ней элементы творчества прошлых эпох, как не просто по своему оформлению русское слово «мяч», однако, совершенно очевидно, что оно как-то сложилось в настоящее фонематическое единство и слагалось из каких-то отдельных самостоятельных элементов, поскольку мы не можем допустить, чтобы человечество начало с широкого богатства использованных звуковых единиц, а в дальнейшем росте звукового языка заново творило звуковые обозначения для новых, возникающих семантических единиц. Скрещенный характер слов, таким образом, должен быть признан по преимуществу.

Но при всем том необходимо отметить, что яфетическая теория не способна схватить специфичность слова флективного строя; она делает большое дело, устанавливая генетическую связь между словарем различных языков, но эта задача по существу есть первоначальная и примитивная; подлинная теория охватывает различия и устанавливает связь различаемых моментов.

Элементный анализ необходим в известных пределах, но он не-

достаточен; он вскрывает только историческое сложение фонематического состава слова и устанавливает семантическую связь со словами предшествовавших эпох развития языка, но он принципиально не может вскрыть типологическую структуру слова флективного строя, ибо эта структура столь же совершенна и специфична, как и тот строй, конкретной категорией которого она является. Эта структура вскрывается диалектическим методом, и только познание ее дает возможность познать соответствующие элементы низших стадий развития языка.

В тесной связи с предыдущим находится утверждение яфетической теории о том, что каждый язык не представляет собою вещественно-необходимого единства, а, напротив, есть тот или другой состав из различных наслоений, отложений, получившийся или в результате скрещения различных социальных группировок, впоследствии этнических образований, с их у каждого особой, уже сложившейся звуковой речью, или в результате отложения стадиальных трансформаций, произведенных внутренней жизнью народа—языка, в зависимости, разумеется, от всех языкотворческих факторов. Такой осложненный состав присущ всем языкам...

В соответствии с этим главнейшая задача исследования с точки зрения яфетической теории сводится к вскрытию различных пластов в языке, каждый из которых относится к той или другой эпохе или стадии единого глоттогонического процесса. При этом единство языка, данное во взаимной необходимости его существенных моментов, безвозвратно утрачивается.

Методологическое отождествление природы языка с природой геологических напластований разрушает специфику языка и ставит яфетическую теорию в противоречивое отношение с марксизмом, поскольку учение диалектики о целом должно быть учением о языке, как о целостном единстве, существенные пункты которого взаимно необходимы в системе целого. Понятно, что этим не отрицается сохранение высшими стадиями языка обломков низших стадий языка, еще не успевших перевариться. Но этим утверждается, что язык должен рассматриваться, прежде всего, как строй, как формация, а не как простая сумма обломков и пережитков. Между тем яфетическая теория занимает противоположную позицию.

Если в языкознании квалификация всей совокупности категорий флективного строя, как пережитка совокупности категорий аморфного строя речи, называется марксизмом, тогда остается непонятным, почему, напр., в политической экономии соответствующие воззрения не пользуются репутацией марксистского взгляда. Если бы в наше время был вскрыт палеонтологическим методом такой

теоретический «пережиток», который заявил бы, что в категориях капиталистического общества нет ничего специфически капиталистического и что они представляют собою простые пережитки предшествовавших общественных строев, то антимарксистский характер высказываний такого «пережитка» доказывать не пришлось бы.

Подведем итоги. Яфетическая теория выдвинула: 1) идею единства глоттогонического процесса и 2) идею материалистического объяснения фактов языка. В этом ее бесспорные исторические заслуги. Но яфетическая теория, поскольку она опирается на палеонтологический метод, не могла не выдвинуть ряда положений: 1) о непосредственной сводимости типологии языка к типологии общества, 2) о сводимости всех специфических особенностей, напр., флективного строя, к особенностям низших строев речи и квалификации первых, как пережитков последних и 3) о составном характере языков, заключающемся во внешней сумме различных напластований.

Названные особенности яфетической теории дают нам право квалифицировать последнюю, как механическое построение. Вследствие этого мы должны заявить, что яфетидология, бывшая на известной ступени революционным и прогрессивным явлением, в данный момент представляет собою в известном смысле преграду для создания подлинной марксистско-ленинской науки о языке. Это особенно важно подчеркнуть теперь, когда метод яфетической теории, т. е. палеонтологический метод, являющийся по существу сравнительным абстрактно-аналитическим методом, объявляется подлинным диалектико-материалистическим методом в науке о языке.

(1931)

Г. К. Данилов

ЯФЕТИДОЛОГИЯ В НАШИ ДНИ

Противоречит ли та оценка, которая дана мною яфетической теории в 1928 и затем в 1930 гг., моим теперешним взглядам? Я полагаю, что ни в какой мере не противоречит: в 1928 г. я писал о достижениях яфетической теории. Понятно, что тогда яфетическая теория представляла собой безусловно колоссальный шаг вперед, антитезу по сравнению с индоевропеистикой, и вся обстановка заставляла каж-

дого лингвиста-марксиста всячески поддерживать яфетическую теорию, используя ее в качестве тарана против индоевропеистики.

В начале 1930 г. в статье «Лингвистика и современность» я писал об отдельных механистических и идеалистических ошибках академика Марра. Я полагал, что в связи с новым этапом реконструкции и новыми задачами нашего политического «сегодня» пора было пересмотреть все то, что мы имели в яфетической теории, и поэтому говорил не только о положительных ее сторонах (о них я тоже упоминал), но и вскрывал отдельные механистические и идеалистические положения, которые мне казались совершенно очевидными.

Наконец, в докладе на дискуссии, когда для меня стал совершенно ясным тормозящий характер яфетидологии, я охарактеризовал яфетическую теорию в основных ее положениях как механистическую теорию, которая только путем преодоления этого механицизма сможет превратиться в диалектико-материалистическое учение о языке. Именно самая обстановка, положение на языковедном фронте обуславливали ту или иную оценку. Поэтому никакого противоречия между моими высказываниями в 1928 г. и теперешними я не вижу.

Наши противники утверждали, что за три месяца дискуссии наша оценка яфетидологии изменилась: вы, мол, стали находить в ней известные диалектические моменты, стали говорить не о концепции, а об отдельных ошибках и т. д. Я утверждаю, что наша оценка яфетической теории за три месяца дискуссии в основном не изменилась. Прорабатывая яфетидологию в современном ее состоянии, мы, конечно, учитываем все ее достижения, учитываем, что эта теория материалистична, что она интернационалистична (взять хотя бы тезис о равноправии языков!). Но мы по-прежнему утверждаем, что в яфетической теории имеется ряд основных механистических положений, не отдельные ошибки, а именно ряд основных механистических положений, образующих определенную концепцию, угрожающую в своем развитии превратиться в законченную механистическую систему.

Таким образом, вы видите, что если может быть мы и отказываемся от некоторой полемической заостренности, которая была хотя бы в докладе т. Ломтева «Или марксизм, или марризм», то все же в основном наша характеристика яфетидологии осталась прежней.

Но почему в таком случае, спрашивают нас, мы не отбрасываем, не гоним яфетидологию, а наоборот, используем ее, констатируя, что эта теория — завоевание Октября, что это шаг вперед? Здесь находят противоречие. Мы считаем, что никакого противоречия в этом нет, потому что яфетическая теория как теория могла действи-

тельно родиться только на советской почве. Как учение об яфетических языках она существовала и раньше, но как общее, и при том материалистическое учение о языке, она родилась именно в условиях Октябрьской революции.

С другой стороны, мы говорим, что яфетическая теория представляет собой шаг вперед, но не абсолютный шаг (последнее может утверждать только механист), а относительный шаг вперед по сравнению с индоевропеистикой.

Наконец мы говорим, что яфетическую теорию надо использовать потому, что у нас чрезвычайно своеобразное положение на языковедном фронте, когда материалистическая теория, механистическая хотя бы в основных своих положениях, является все же прогрессивным фактом. Теория материалистическая, но не диалектическая не может быть отброшена, если мы учтем эту своеобразную обстановку на нашем фронте.

Мы даже согласны с тем, что яфетидология является решающей высотой, но только как понимать эту высоту? Нельзя же представлять себе дело так вульгарно механистически: забрали эту самую высоту, обосновались на ней и иди дальше. Каждый военный знает, что, заняв решающую высоту, надо тут же перестроиться и использовать ее таким образом, чтобы при всякой дислокации войск можно было действительно одержать победу. Занимая высоту, мы в то же время ее перестраиваем, т. е., овладевая материализмом в яфетидологии, мы преодолеваем ее механистические тенденции.

Вот наша, как я убежден, совершенно правильная и четкая позиция, совершенно ясная оценка яфетидологии. Но для того, чтобы эта оценка не была голословной, мне придется остановиться более подробно на методологических основах яфетической теории. Начну со специфики языка.

Для Марра характерно то, что он не выясняет и не определяет этой специфики. Когда речь идет о литературоведении, политэкономии или о другой науке, то прежде всего ставится вопрос, каков предмет этой дисциплины, каков ее объект? В лингвистике же наиболее передовая теория — яфетидология — этого вопроса не поставила, специфики языка, объекта языкознания не выяснила, и вполне понятно, что для нее не существуют проблемы качества. В «Бакинском курсе» Марр пишет: «Сам по себе язык еще не существует, но язык есть отложение». В брошюре «Язык и письмо» на вопрос, что такое язык, исследователь отвечает: «Трудно дать определение, ибо, будучи созданием изменчивой материальной базы, производства и с нею неразлучного или к ней ближайше примыкающего надстроечного фактора социальной структуры, язык также есть историческая цен-

ность, т. е. изменчивая категория, и без допущения чудовищного анахронизма нельзя дать его единое определение».

И дальше: «Но то, что не меняется, то это сугубо, втроекратно социальный характер речи» («Язык и письмо», с. 7—9).

Итак, что же такое язык по Марру? Язык — социальная надстройка и только. Легко заметить, что сюда могут подойти и литература, и право, и всякая другая надстройка. Специфика языка исследователем ни в какой мере не выясняется, хотя эта специфика и дана уже в выражении Маркса «язык есть реальное сознание». И конечно при такой концепции, когда в яфетидологии обнаруживается явно механистическое отождествление морфологии языка и морфологии общества, и не только для первобытной эпохи, — ничего другого и не могло получиться.

В подтверждение последней мысли приведу несколько цитат из последних сочинений Марра: «Это отражение различных, так называемых племенных, собственно говоря, социальных группировок, когда вы в греческом языке имеете различные прилагательные в различных степенях» («Труды конференции историков-марксистов», т. II, с. 311).

Дальше: «Слова-элементы успели за это время обрести надбавочными оформляющими частями, сигнализирующими соответственное нарастание и осложнение техники производства и социальной структуры» («Бретонская речь», с. 29).

Синтаксис отличается именно тем, что «в нем идеология и техника неделимы, еще не расчлененно слиты, диффузны, не дифференцированы, так же, как неделимо и недифференцировано было еще общество без разделения труда и без социальной дифференциации в строе, собственно без осознания такого разделения труда и такой социальной дифференциации» («Первая выдвигенческая экспедиция», Ленинград, 1930 г.). Грамматический род есть лишь отражение форм общественного строя («Родная речь как фактор культурного строительства», с. 43, 1930). Наконец, вслед за Павловым, язык, а следовательно и слово рассматривается Марром как условный рефлекс.

Какой методологический прием представлен здесь у автора? Этот прием сводится к следующему: на основе языковых стадий Марр механически предполагает такие же стадии в мышлении и экономике, полагая, что все процессы, происходящие в обществе, непосредственно воспроизводятся в языке. Он забывает слова Энгельса, что «всякая идеология, раз она возникла, развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений и подвергает их дальнейшей обработке». Отождествление типологических отношений в языке и производственных общественных отношений является не-

сомненно механистическим моментом, который и приводит к невозможности выяснения специфики языка со всеми свойственными ему закономерностями.

Интересуясь лишь общим потоком глоттогонического процесса, но оставляя в стороне особенное, не разрешая таким образом принципа единства противоположностей, с подчеркиванием ведущей противоположности, Марр поневоле должен идти по пути сведения. И действительно, в исследовательских работах Марра нигде не показано, как путем различного опосредствования связываются те или иные языковые формации с тем или иным укладом общественного порядка.

В частности Марр забывает о том факторе, который имеет существеннейшее значение в обществе, а именно — политическом факторе. В конце концов язык сводится им непосредственно или же к производительным силам или к социальной структуре вообще. Политический фактор как таковой выпадает из его анализа.

Второе, что требуется от каждого научного построения, претендующего быть марксистским, — это владение методом диалектического материализма, принимающим разумеется особую форму в применении к данной области знания. Мы утверждаем, — и опять-таки это никем не опровергнуто, — что основным методом яфетической теории, и притом самодовлеющим методом, является палеонтологизм. Тов. Шор пыталась в своем выступлении в Комакадемии отвести это положение, утверждая, что палеонтологизм является лишь частью яфетидологии, но тем не менее наше утверждение остается незаблемым хотя бы потому, что сам Марр в своей последней работе указывает, что без применения палеонтологического метода нельзя понять движения языка. Когда мне пришлось выступить в Ленинграде, то яфетидологи говорили мне о том, что они со всем могут согласиться, но за палеонтологизм будут бороться до последней капли крови, потому что именно в палеонтологизме существо яфетидологии. И мне кажется, что ленинградские яфетидологи, как и сам Марр (не в пример т. Шор), последовательны, потому-то от яфетической теории действительно ничего не останется, если исключить из нее метод палеонтологизма. А палеонтологизм сам по себе механистичен.

В исследовательском плане Марр рассматривает языки не с точки зрения диалектического их единства, а с точки зрения распределения их по стадиям глоттогонического процесса. Возьмем «Выдвиженческую яфетидологическую экспедицию». Что интересует Марра в языке мариев? Его интересует, на какой стадии находится данный язык, место этого языка в общем глоттогоническом процессе. То же и с

украинским языком («Яфетические зори на украинском хуторе»), и со всяким другим. «Необходимо, — говорит Марр, — подойти к языку не как к однородному массиву, а как к *составу* (подчеркнуто мною — Г. Д.) из различных наслоений и отложений» («Орудивный и исходный падежи», 1928 г., с. 219). Значит, язык рассматривается прежде всего не с точки зрения диалектического единства, в котором он дан, а с точки зрения механических, случайных несущественных связей. Конечно, скажем мы, в каждом языке в известной мере сохраняются остатки языка прошлых поколений. Однако сводить к ним, к этим более простым элементам специфическую и сложную совокупность закономерностей языков определенной стадии — значит отказаться от понимания сложного, специфического, значит свести синтетические образования к элементам, все равно будут ли это языковые комплексы (sal, ber, jon, rout), или группы АБСД, или они получают идеологическое обоснование, увязанное с производством, — принцип от этого не изменится. Если с языком производится такая операция, то исследователь в конце концов ограничивается пониманием простейших форм движения, не понимая закономерности, особого качества синтеза, т. е. впадает в явно механистическое упрощение.

Мне возражали, указывая, что Ленин в советской экономике находит пять укладов и в том числе явно пережиточные. Это верно, но Ленин никогда не ставил эти пять укладов в механическую связь, но представлял их как единство, в котором патриархальное хозяйство, мелкотоварное и другие являются подчиненными укладами в отношении к ведущему социалистическому сектору нашего хозяйства. У Ленина диалектическая постановка вопроса, у яфетидологов — в отношении к элементам — механистическая постановка вопроса.

Когда яфетидологи указывают на то, что Марр написал, например, грузинскую грамматику и тем самым учитывает специфику данного языка, то это замечание конечно не является существенным, так как речь идет ведь не о непосредственном чувственном восприятии, а о методологическом осмыслении языковой действительности. И когда исследователь начинает осмысливать языковую действительность, он осмысливает ее, сводя например все особенности флексивного строя к особенностям низшего строя языка, в конце концов к пресловутым четырем элементам, т. е. палеонтологически. Палеонтологизм таким образом антиисторичен по самому своему существу. Индоевропейская стадия языков, например у Марра, охватывает всю историю языка европейского человечества, несмотря на то, что оно пережило ряд революций и смен общественных формаций.

Таким образом нельзя добиться реальных научных результатов

с помощью палеонтологического метода, нельзя и понять не только нашу современность, но и предшествующие этапы человеческой истории. Здесь могут возникнуть иногда такие возражения: нельзя же конечно все слова существующих языков сводить к элементам — «телефон», «радио», «самовар», — вы ведь не будете сводить. Почему? Вопрос закономерен. Потому что, если к языку подходит яфетидолог, то он прежде всего старается свести. Это основная методологическая установка: включить в общую цепь языкового развития единого глоттогонического процесса данный язык или данное слово. Яфетидолог неизбежно должен этим заниматься, а если он этим не занимается, он перестает быть яфетидологом. В этом вся суть. Когда речь заходит о «телефоне» или о «радио», яфетидологи пасуют, они ничего не могут сказать: раз данные слова не сводятся к элементам — значит капут, надо звать на помощь тех, кто занимается современным языком. Мы же, говорят они, не в состоянии тут что-нибудь сказать — «телефон» не сводится к первичным элементам. В этом вся порочность палеонтологического метода как антиисторического метода, который может только сводить к своего рода первоматерии или к трем началам в мифологии, но не может понять исторического процесса в его развитии, во всех сложных его закономерностях. Другими словами, яфетидологи вместо того, чтобы пить чай из самовара или кипятить кофе на примусе, предпочитают пользоваться котелком, нагретым на дымящем костре.

Я стою на той точке зрения, что первичные элементы были, и что нет ничего еретического в признании этих элементов, но вскрывать их во всем, значит предполагать их неизменными. И здесь разговоры о качественном изменении элементов не помогут, потому что палеонтологизм отрицает и должен отрицать качество.

Два слова относительно четырех элементов. На дискуссии яфетидологи сняли запрет, заявляя, что можно говорить и не четыре, а хотя бы — тысяча четыре. Год тому назад, когда Марр уезжал за границу, т. Аптекарь говорил: «Мы не знаем, почему четыре, но вернется Марр из Франции и скажет почему». Марр вернулся, но ничего не сказал. Так и осталось загадкой, почему именно *четыре*. Теперь яфетидологи отделяются шуточками: «А почему два глаза? Почему у человека одна голова?» и т. д. Можно конечно заниматься всякими разговорами, интересоваться например, почему люди бьют без головы, но это не будет методологическим решением вопроса. От четырех элементов яфетидологи вынуждены будут отказаться, как должны они будут отказаться и от понимания палеонтологического метода как самодовлеющего. Порочность работы тех товарищей, которые идут за Марром, заключается в том, что они вынуж-

дены все время отставать от учителя. Марр сказал: «Четыре элемента», — значит четыре. А на завтра у Марра является новая мысль, и надо спешно перестраиваться.

Получается страшная неразбериха.

Но как же в конце концов решается вопрос о палеонтологизме? Снятие палеонтологизма есть его отрицание, но не отбрасывание, т. е. такое отрицание, которое вместе с тем является и сохранением отрицаемого, но как подчиненного, а не самодовлеющего элемента в высшем синтезе, как момента этого синтеза. Следовательно, речь должна идти о диалектическом снятии. Палеонтологический метод отрицается не вообще, а отрицается как метод всеобщий и самодовлеющий. Известную подчиненную роль он играет, но и только. Палеонтологизм снимается в диалектическом процессе мышления так же, как снимается всякий другой сравнительный метод.

Понятно, если Марр не учитывает специфики языка, если он пользуется в значительной мере примитивным палеонтологическим методом, он не может дать картину диалектического развития языка, хотя в его методе и есть движение. Марр ищет импульса для возникновения языка в обществе, как в чем-то обособленном от языка, как в какой-то внешней среде по отношению к языку. Марр помещает язык в общество. Общество — это внешняя среда по отношению к языку. Короче говоря, диалектическое развитие языка не находит себе места в системе Марра. К этому в частности сводится и то, что Марр рассматривает движение языка раньше всего и прежде всего как скрещение. «Музем» в коми языке «земля» образовалось например, по его мнению, из скрещения русского корня «зем» и финского «му», в результате скрещения двух социально-этнических группировок. Скрещение — это основной путь движения языка. Марр говорит и о самодвижении, но оно не обладает каким-нибудь удельным весом в его системе и ни теоретически, ни фактически им не прослежено и палеонтологическим методом конечно прослежено быть не может. О самодвижении языка, безусловно, говорить можно и нужно, если понимать, что в этом самодвижении отражается диалектика общественного бытия со всеми присущими ему противоречиями. Самодвижение языка найдет себе место и в изменении звуковой стороны языка, которая не может быть понята, если только оперировать скрещением и в изменении значений слова, и в развитии из «готового» по Марксу материала. Так что мы имеем целый ряд конкретных форм самодвижения. Яфетидологи пытаются спасти положение таким образом. Они говорят, что само скрещение меняет свои формы. Так например Марр в «Яфетической теории» (с. 118) пишет: «Скрещение имеет этапы своего развития в любой среде, начинаясь

парным употреблением двух самостоятельных слов, и лишь в конечном результате оно завершилось не только полным как бы физическим сращением, но и химическим слиянием». Однако и эта формулировка несколько не меняет дела, потому что, берете ли вы физическое или химическое влияние, в конце концов остается тот же путь механистического движения, а не диалектического развития языка. Плохо собственно не само скрещение, но использование его как единственного принципа движения на разных этапах человеческой истории, т. е. замена внутреннего противоречия механическим столкновением, что приводит в сущности к теории равновесия, хотя сам Марр как будто бы и возражает против такого тезиса. Исследователь говорит, что наоборот он против того, что внешние силы воздействуют на язык. Но самый метод Марра приводит исследователя к этому положению. На самом же деле, скрещивание есть лишь одна из форм самодвижения языка, и этим движением, в котором отражается сама диалектика общественного бытия, определяется. Таким образом самодвижение языка, в котором отражается диалектика классовой борьбы, имеет разные формы на разных этапах человеческой истории и скрещение есть одна из этих форм. Только такое диалектическое понимание языкового процесса позволит яфетидологам использовать и скрещение как подчиненный элемент лингвистического анализа, в частности понять фонетический процесс.

Все эти моменты — неспособность понять специфику языка, сведение и наконец скрещение, как единственный путь движения языка — приводят яфетидологов к ошибкам политического свойства, к объективному затушевыванию классовой борьбы, которая может быть понята только тогда, когда мы поймем язык в борьбе противоречий, развертывающихся между общественным сознанием и оформлением его в языковом материале, борьбе, отражающей классовую борьбу. Принцип классовой борьбы в языке у яфетидологов не прослежен, этот принцип выпадает у них каждый раз. Правда т. Аптекар в статье «На забытом участке» («Лит. и искусство» № 1—2, 1930 г.), указывал, что Марр в Ленинградском университете, заканчивая доклад, через каждую строку говорит «классовая борьба», но ведь этим же вопрос не решается, нужно показать отражение этой борьбы в языке. Этого же нигде не показано. У Марра не прослежен переход количества в качество, у него лишь скачки, мутации, революции, притом лишь декларируемые, а не диалектическое развитие, у кого нет взаимного проникновения противоположностей, нет нарастания количества, переходящего в новое качество.

Последнее обстоятельство приводит яфетидологию и совершенно не случайно, а со всей железной необходимостью к отрыву от совре-

менности, от практических задач социалистического строительства. Отсутствие понимания специфики языка, а следовательно и особых его закономерностей в нашу эпоху, палеонтологизм со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые не дают возможности понять язык данной стадии как диалектическое единство, — все это мешает яфетидологам познать современность и руководить языковой практикой. Не стоит приводить многих примеров, потому что в языковой практике яфетидология, как не раз подчеркивали и ее последователи, действительно совершенно беспомощна. Впрочем можно привести еще несколько иллюстраций, которые на дискуссии не фигурировали.

Возьмем хотя бы сборник посвященный Марру. Собственно говоря, если говорить уж об актуальных темах, то актуальные темы принадлежат в них лишь индоевропейцам. Вот позор! Жирмунский пишет о социальной диалектологии. Тема безусловно актуальная. А яфетидологи занимаются Гомером, всякими его «отложениями» и пр. Франк-Каменецкий пишет статью под названием «Гомер в свете яфетической теории и философии». Оказывается, у автора появилась уже особая яфетическая философия, очевидно в отличие от марксизма. Как актуальны эти статьи! Правда в своем выступлении т. Аптекарь сказал: «Вот вы говорите, Марр не занимается историей языка, социальной диалектологией, но Марр занимается национальными языками, а национальные языки — это в основном крестьянские языки». Но тогда можно сказать: чем же плохи индоевропейцы, занимающиеся диалектологией, ведь их диалектология — это крестьянская диалектология, следовательно они тоже занимаются изучением классовой диалектологии. Конечно говорить так, как т. Аптекарь, может только человек, который ничего не понимает в лингвистике. Но тут нам говорят: «Руки не дошли». Мы, говорят, понимаем, что значит практическая работа, и надеемся, что яфетидология даст нам руль для практики, но мы не можем со всем этим делом справиться. Вы знаете, как на такие слова ответили бывшему философскому руководству, которое тоже стояло на позиции, что руки не дошли до современности, до проблемы исторического материализма, анализа философских корней троцкизма и т. д. В лингвистике повторяется та же история. Яфетидологи должны прежде всего заняться современностью. Но вся беда в том, что если они этим займутся, то у них ничего яфетидологического не останется.

Социально-классовая характеристика, которая вытекает из всего анализа яфетической теории, осталась непоколебленной. Я расцениваю яфетическую теорию как продукт творчества известной части городской мелкой буржуазии эпохи перерастания национально-

освободительного движения в пролетарскую революцию. Тов. Аптекарь возмущается: «Как же это так — достижения Октябрьской революции и вдруг продукт мелкой буржуазии, значит выходит, что Октябрьская революция хотя бы в этом отношении была делом мелкой буржуазии». Отсюда он заключает: «Данилов ревизует социальный характер Октябрьской революции». Для меня конечно Октябрьская революция остается пролетарской революцией, но не все, сделанное в области культуры за тринадцать лет, является делом пролетариата, хотя конечно оно стало возможно только благодаря Октябрьской революции. Опять-таки в этом вопросе т. Аптекарь с начала до конца механист, диалектически подойти к этой проблеме он не может.

Для примера я возьму область театра. Сейчас идет дискуссия о Мейерхольде. Направление, которое возглавляет театр Мейерхольда, характеризуется как направление, которое является продуктом творчества технической интеллигенции на советской почве. Питающие методологические корни его — механицизм, замена вещью живого человека и т. д. Спрашивается: как быть с театральным фронтом? Ведь по т. Аптекарю выходит так: раз Майерхольд не пролетарский режиссер, то он не мог быть выдвинут Октябрьской революцией, Октябрьская революция не могла создать предпосылок для того, чтобы у нас возник театр Мейерхольда. Для нас же совершенно очевидно, что не все то, что делается в области культуры, является пролетарским. У нас будет пролетарский театр, у нас уже строится пролетарский театр, но на данной стадии мы имеем мелкобуржуазный театр Мейерхольда. Аптекарь лишний раз показывает, что он безнадежный механист.

Итак лингвисты-марксисты одновременно с усвоением положительных сторон яфетидологии должны преодолевать ее механистические основы. Только преодоление механистических тенденций в языкознании обеспечит действительную победу над идеализмом, расчистит почву для создания подлинной марксистской, партийной науки о языке, повернет ее на службу социалистическому строительству и культурной революции.

Энгельс никогда не продолжал Моргана, как говорят нам яфетидологические умники, Энгельс преодолевал Моргана. Так и мы должны поступать с механистическими положениями яфетической теорией. Мы не продолжаем яфетидологии, а преодолеваем ее и, преодолевая, мы поднимаемся на высшую ступень. Нужно понять, что немарксистская наука никогда не перерастет в марксистскую, что, если дается формулировка, что яфетическая теория есть «марксистская наука в становлении» или что это марксизм без пяти минут и

т. д., то данные положения явно бессмысленны. Нужно преодолевать механистические основы яфетидологии, и тогда мы сможем продолжать разработку диалектико-материалистического учения о языке, основы которого уже заложены работами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Яфетидологи же пока остановились на одной точке, а жизнь идет вперед. И если яфетидологи этого не поймут, то жизнь сама произнесет над ними свой суровый приговор.

(1931)

Б. М. Гранде

К ВОПРОСУ ОБ АЛФАВИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СССР

В своем докладе на XVI съезде ВКП(б) т. Сталин сказал: «Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним общим языком, когда пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт, — в этом именно и состоит диалектичность ленинской постановки вопроса о национальной культуре». И несколько дальше т. Сталин дает следующую формулу: «Расцвет национальных культур (и языков) в период диктатуры пролетариата в одной стране в целях подготовки условий для их отмирания и слияния их в одну общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в период победы социализма во всем мире».

В этой формуле содержатся директивные указания о том, как должно направляться культурное (и в частности языковое) строительство в Советском Союзе.

Тов. Сталин подчеркивает необходимость борьбы на два фронта: «с одной стороны, должен быть дан отпор великодержавному шовинизму, который под маской абстрактной интернационализации культуры и языка добивается по сути дела восстановления привилегий господствовавшего раньше языка, а именно — великорусского языка». С другой стороны, необходимо бороться с перегибами в сторону местного национализма, который стремится изолироваться и ставить барьеры между отдельными народностями. «Существо уклона к местному национализму, — отмечает т. Сталин, — состоит в

стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы, в стремлении затушевывать классовые противоречия внутри своей нации, в стремлении защищаться от великорусского шовинизма путем отхода от общего потока социалистического строительства, в стремлении не видеть того, что сближает и соединяет трудящиеся массы национальностей СССР, и видеть лишь то, что может их отдалить друг от друга».

Уклонисты в сторону национального шовинизма метафизически учитывают лишь одну сторону процесса: они видят лишь момент различия, но упускают из виду единство различий. Если, подходя к вопросу статически, они видят, что социалистическая по содержанию культура развивается у нас в различных национальных формах, то они, не обращая внимания на динамику процесса, идущего к единству, стремятся еще более углубить эти различия. Видя, что в настоящее время существует много языков, они молчаливо понимают, что так и останется «на веки вечные». Диалектика языкового процесса ими упускается. Отсюда вытекает то обстоятельство, что при языковом строительстве сплошь да рядом упускается из виду объединяющий унифицирующий момент.

Не трудно указать методологические корни этой «забывчивости»: они лежат в идеалистическом учении о языковом процессе буржуазной лингвистики, которая не критически воспринята многими нашими лингвистами и которая еще до сих пор господствует в наших вузах и школах. Ведь если, как утверждает формалистская лингвистика, все языки произошли путем филиации от небольшого числа праязыков, то очевидно развитие человеческой речи идет от единого ко множеству, и таким образом то многообразие языков, которое мы сейчас встречаем, не только должно остаться, но еще должно увеличиваться. Это реакционное буржуазное учение подводит «теоретическую» базу под угнетение империалистами народностей колониальных и полуколониальных стран, так как, допуская связь языка с расой и происхождение языков от «праязыков» мифических «прародов», живших в неведомых «прародинах», оно тем самым признает и «расовый дух», «расовый характер» и, следовательно, следуя основным «принципам» расовиков, разделяет народности на более способные к культурному развитию и на менее способные. А раз это так, раз негры, китайцы и т. п. считаются «низшими» расами, не способными к такому же развитию, как «культурные» империалисты, то, очевидно, эти последние властвуют над ними «по праву».

Таким образом, уклон в сторону национального шовинизма превращается в свою противоположность, в теоретическое признание базы великодержавного шовинизма.

Совершенно иную картину дает новое учение об языке (яфетическая теория), разработанное акад. Н. Я Марром и его школой. Акад. Н. Я. Марр в ряде своих трудов доказал общность глоттогонического процесса, т. е. процесса развития человеческой речи. Звуковая речь имеет не расовое происхождение, но возникла на определенном этапе развития человеческого общества, а именно тогда, когда развитие производительных сил достигло уровня, при котором прежние средства общения людей между собою (кинетическая, или ручная, речь) оказались недостаточными при более сложных производственных отношениях. В дальнейшем же все языки многократно между собою скрещивались, так что нет ни одного нескрещенного языка; «чистых» расовых языков нет и не может быть. Человеческая речь, развиваясь, существует в виде множества различных по форме языков, но «типологически» все они проходят одни и те же стадии, которые в конечном итоге определяются развитием базиса. Так называемые «семьи» языков, правильнее языковые системы, представляют собой продукт исторического развития, иными словами, продукт исторического схождения многочисленных языков, первоначально гораздо более различных по своей форме. Таким образом, количество языков все более уменьшается, отдельные языки сближаются между собой в группы более или менее сходных языков, и конечным итогом развития звуковой речи должен быть единый язык в едином бесклассовом коммунистическом обществе. Языковая пирамида поставлена Н. Я. Марром на свое основание. Вершина ее, т. е. единая человеческая речь, будет построена лишь после победы социализма во всем мире.

Ту же самую мысль выражает т. Сталин в своем заключительном слове на XVI партсъезде: «Что касается более далекой перспективы национальных культур и национальных языков, то я всегда держался и продолжаю держаться того ленинского взгляда, что в период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который конечно не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым».

Таким образом, мы видим, что т. Сталин в политическом докладе на XVI съезде ВКП(б), с одной стороны, и ученый-исследователь академик Н. Я. Марр, исходящий из правильного понимания принципов марксизма-ленинизма, с другой, — оба они независимо друг от друга приходят к одному и тому же выводу о будущем едином языке в бесклассовом коммунистическом обществе.

Но, зная общую тенденцию развития человеческой речи от множества языков к единому, мы должны вести наше строительство в

области языка и письма таким образом, чтобы содействовать этому процессу, а не противодействовать ему. Наши теоретические выводы должны быть положены в основу нашей практики. Языковое строительство должно идти в таком направлении, чтобы, давая возможность «национальным культурам развернуться с новой силой» (Сталин), оно устраняло бы в то же время все препятствия к будущему возникновению единого языка.

Одним из первых шагов в этом отношении является создание единого алфавита для всех языков. Не говоря уже об экономической стороне вопроса, об уменьшении расходов на типографии, шрифты и специальных наборщиков, эта проблема имеет громадное общественно-политическое значение. Это, по словам акад. Н. Я. Марра, — актуальная общественная проблема при идущей гигантскими шагами интернационализации культуры и ее материальной базы, мирового хозяйства и мирового социального строительства.

Посмотрим, что в этом отношении у нас делается, и достигается ли основная цель — создание единого алфавита, отвечающего всем теоретическим и практическим требованиям унификации письма.

Крупным революционным актом в деле культурного строительства среди народов советского Востока была латинизация письма тех народностей, которые до этого пользовались арабским алфавитом. Весьма громоздкий и неудобный арабский алфавит не отвечал большинству требований современной полиграфической техники, был труден для усвоения его широкими народными массами; письменность находилась в руках мулл и небольшой «аристократической» верхушки; она служила тормозом для развития грамотности и являлась орудием эксплуатации масс, которых старались держать в невежестве и неграмотности. Вокруг вопроса об алфавите завязалась борьба, классовая борьба между сторонниками латинизации и сторонниками старой арабской письменности. Борьба шла за то, чтобы выбить это орудие из рук духовенства и феодально-буржуазной верхушки и чтобы сделать письменность достоянием масс.

На данном этапе получил громадное значение лозунг латинизации письма, даже без установки на унификацию во всесоюзном масштабе. Уже один факт перехода на удобное и четкое письмо, которому легко было обучать как детей, так и взрослых неграмотных, явился «великой революцией на Востоке». Поэтому борьба вокруг алфавита шла под лозунгом латинизации, на который делался упор; проблема же унификации алфавита играла второстепенную роль. Иными словами, даже без унификации цель была бы достигнута.

Если практикой и был выдвинут вопрос об унификации тюркских алфавитов, то лишь с точки зрения большей экономии средств на шрифты и т. д. Принципиально же вопрос не ставился, так как на данном этапе и при данных конкретных условиях он еще не являлся необходимым. Представитель ВЦК НТА т. Агамалы-оглы писал еще в 1928 г.: «Для латинистов не унификация является актуальным, первоочередным, жизненно-необходимым, а вышибание старого алфавита новым на латинской системе. Ведь и без унификации можно жить на современном уровне и прогрессировать, как это наблюдается в Европе, что конечно не исключает взаимного влияния».

Присматриваясь к уже пройденным этапам, мы видим, что значение нового тюркского алфавита (НТА) заключается не столько в преимуществах, присущих самому латинскому алфавиту, сколько в неудобствах старого арабского письма и во всей политической обстановке того периода. Та же самая цель могла бы быть достигнута и при помощи какого-нибудь другого алфавита, например русского, который был бы поставлен в противовес арабскому. В самой же латинской графике нет ничего «имманентно» ей присущего и революционизирующего. Культурная революция вырастала из изменившегося соотношения сил, и в борьбе классов вокруг новой графики арабская грамота стала проводником реакционной идеологии, и НТА был средством борьбы против этой последней. Отсюда и вытекает та стихийность, с которой происходила разработка латинизированных алфавитов: в период бурного натиска на контрреволюцию не оставалось времени для обдумывания теоретической базы; конкретная историческая обстановка требовала немедленных решительных действий; над проблемой унификации можно было не останавливаться, да она и не играла бы особенно значительной роли в деле выполнения той задачи, которая тогда была на очереди, т. е. необходимости смести вместе с феодальным письмом и все те контрреволюционные идеологии, проводником которых оно являлось.

Что касается того направления, которое приняло строительство новой графики, то оно стихийно пошло по линии узко практической. Всякая принципиальная постановка вопроса отвергалась. Достаточно просмотреть протоколы заседаний «Комиссии по унификации алфавита» при ВЦК НТА от 5 и 6 июня 1927 г., чтобы убедиться в том, что единственным принципом, который принимался во внимание, была чисто практическая сторона. Это было сформулировано т. Агамалы-оглы в следующих словах: «Легкая его усвояемость и затем способность данного алфавита выражать требуемые фонемы данного языка».

Некоторыми участниками комиссии делались попытки установить хоть кое-какие исходные принципиальные точки зрения. Так например, т. Тыныстанов по вопросу о порядке обсуждения вопросов заявил: «Не имея представления о перспективах, обсуждать эти вопросы, я думаю, нельзя». Тов. Хашимов от имени Киргизской республики и Узбекистана протестовал против того, что совещание сразу подходит к обсуждению отдельных букв, не установив принципиального подхода даже к таким частичным пунктам, как вопрос об обозначении сингармонизма или вопрос о том, «какой принцип должен быть положен в основе унификации, — фонетический или этимологический». К концу первого заседания тот же т. Хашимов мотивировал свой отказ от голосования следующим образом: «Прежде чем приступить к разбору букв, нужно наметить те принципы, на которых мы сходимся, а они начали с решения буквенных изображений, не предпреляя принципов, поэтому мы и не хотим голосовать». Но все эти требования игнорировались комиссией. Из высказываний отдельных участников видно, что главным образом участники комиссии считались с тем, какие начертания уже приняты и на каких из этих алфавитов уже напечатано определенное количество книг. Этот мотив мы встречаем у т. Ага-Заде, когда он отстаивает прежний азербайджанский способ обозначения звуков «ч» и «дж». То же самое мы находим у проф. Яковлева, когда, указывая на необходимость более сложное начертание придать тому звуку, который реже встречается, он тут же делает отступление: «Изображения Азербайджана также имеют основание: издана большая литература».

Я уже не говорю о том, что сам принцип «для более редкого звука более сложная буква» является срывом всякой унификации: ведь тот звук, который в одном языке является редким, в другом может оказаться более частым, следовательно для него тогда уже надо взять более простую букву. Здесь приходится лишь подчеркнуть хвостизм в подходе к вопросу об алфавите: что уже сделано, того нельзя трогать. О перспективах и не думали или, вернее, от них отмахивались.

Что касается унификации, то т. Тюракулов например прямо указывал, «что в отношении нетюркских языков мы ограничиваемся пожеланием о максимальной необходимости единства шрифтов (но не букв), и только». А по отношению к самим тюркским языкам проф. Яковлев на реплику т. Хашимова отвечает: «Абсолютной унификации быть не может». Единственно с чем проф. Яковлев согласен считаться, — это вопрос «стиля»: «Нам необходимо считаться с тем изображением, которое уже принято, потому что весь алфавит

сам по себе имеет некоторый стиль, и, исходя из этого стиля, придется выбрать дополнительные знаки».

Итак, главное значение создания НТА состоит в устранении арабской графики при отсутствии даже установки на унификацию алфавитов во всесоюзном масштабе. Если в процессе работы и были унификационные моменты, то лишь попутно, частного характера: не учитывалась необходимость выработки таких принципов построения графической системы, которые впоследствии можно было бы применить к языкам нетюркским.

В результате получилась довольно пестрая картина алфавитов. Мы фактически имели в НТА не объединенный алфавит, а ряд отдельных алфавитов на латинской основе. Узко практический, деляческий подход к делу обусловил тенденцию НТА к распадению на изолированные национальные алфавиты, иными словами, развитие НТА фактически ведет к тому же положению, которое сейчас существует в Западной Европе, где отдельные алфавиты схожи между собой лишь с внешней стороны, со стороны формы знаков, но не со стороны содержания. Если у НТА и есть элементы унификации, то лишь со стороны графической, но не со стороны значения знаков, да и при выработке формы отдельных знаков, т. е. тех, которыми надо было дополнить латинский алфавит, создатели НТА не руководствовались никакими общими установками — они шли в своем разборе от одной буквы к другой, рассматривая каждый знак изолированно, индивидуально и следовательно, совершенно не учитывая, что при ориентации на будущую унификацию необходимо принять такие способы усложнения знаков латинского алфавита, которые дали бы возможность их использовать и в языках, фонетическая система которых отлична от тюркской. При таком изолированном подходе к каждой букве получилась такая картина, когда например шипящее «ш» обозначается с помощью прибавления к свистящему «с» внизу знака «седиль» (S-S); для обозначения же шипящего «ж» употребляется уже другой способ: свистящее «з» перечеркивается поперечной чертой (Z-Z) и т. д.

В НТА в современном его состоянии есть много недостатков, которые объясняются тем, что на том этапе и в той конкретной исторической обстановке, когда он вырабатывался, было достаточно одного принципа латинизации, а унификационные вопросы были лишь подчиненным моментом.

Как же обстоит дело сейчас?

В настоящий момент, когда Центральный комитет нового тюркского алфавита превращен в ЦК нового алфавита (без прибавления слова «тюркского»), перед ним должны встать совершенно иные

задачи: на очереди теперь реформа письма у коми, удмуртов и у других восточных финнов, пользующихся алфавитами на основе русского. Идет подготовительная работа к созданию письменности у тех западно-финских народностей, которые ныне еще являются бесписьменными, как ижорцы, вепсы; создается письменность у тверских карел; готовится алфавит и для лопарей; в перспективе реформа письма у ряда других народностей СССР, как например у евреев. Можно ли механически перенести на все эти языки новый тюркский алфавит со всеми его недостатками? Ведь всякая попытка такого переноса способна еще больше углубить разрыв между графическими системами отдельных народностей. Да и чем мотивировать латинизацию алфавита у тех народностей, которые пользуются графикой на основе русской? То несовершенство письма, которое мы имели в арабском алфавите, здесь отсутствует; необходимость выбить письменность из рук духовенства и «верхушки» здесь также отпадает. Преимуществами латиницы по сравнению с русским алфавитом (который, кстати сказать, также является до известной степени латинизированным)? Но эти преимущества настолько спорны и настолько проблематичны, что ими нельзя мотивировать ломки графики. Значит, здесь центр тяжести вопроса совершенно в другом: в необходимости выработать такого рода систему письма, которая не разъединяла бы, а объединяла все народности Советского Союза, иными словами, здесь выдвигается лозунг унификации письма.

Однако некоторые из работников НТА об этом забывают и склонны остаться на почве абстрактной латинизации, например проф. Н. Яковлев в статье «За латинизацию русского алфавита» приводит многочисленные доказательства преимущества латиницы по сравнению с русским алфавитом. Центром тяжести доводов проф. Н. Ф. Яковлева являются вопросы технического и экономического характера, из которых некоторые весьма спорны. Среди доводов мы находим: возможность коренным образом рационализировать систему русского письма и орфографии, большее соответствие латиницы физиологии пишущей руки, удешевление и ускорение обучения грамотности, уменьшение количества букв до 30, большую приспособленность латинского алфавита к уровню современной полиграфической техники, возможность дешевле выписывать из-за границы наборные машины, пишущие машины и телеграфные аппараты без дополнительных расходов на их переделку, меньшее пространство, занимаемое формами латинских букв и как следствие — меньшее количество потребного для них типографского металла и меньшее количество бумаги для печатания и т. д.; приводятся также подсчеты

экономии, которую это должно дать; указывается также как на плюс на «большее графическое разнообразие латинских букв» и многое другое.

Я здесь не собираюсь детально разбирать доказательства проф. Н. Яковлева. Бесспорно, что латиница обладает действительно рядом преимуществ по сравнению с русской графикой. Но не на это надо делать упор, не в этом суть вопроса — ошибкой проф. Яковлева является то, что он, хотя и говорит об унификации, однако ставит знак равенства между латинизацией и унификацией. Уже одно принятие латинской формы букв он считает достаточным для решения вопроса унификации. Очевидно он имеет ввиду лишь внешние начертания знаков, отвлекаясь от звукового значения. При этом самую латиницу он возводит в сан «интернационального алфавита»; повсюду в указанной статье слова «международный алфавит» у него служат синонимом «латинского алфавита». Между тем мы знаем, что латинский алфавит в современном его употреблении у разных народностей далеко не является международным: фактически существует ряд национальных алфавитов на латинской основе, если уже не говорить о целой веренице восточных алфавитов. Без установления четких унификационных принципов, без устранения той бессистемности, которая в настоящее время существует не только на Западе, но и в НТА, цель не будет достигнута. Тем не менее проф. Н. Яковлев находит возможным ратовать за голую абстрактную латинизацию, превращая эту латинизацию в «вечную истину в последней инстанции».

Положительные стороны графики на латинской основе лишь в том случае окажутся действительно полезными, если будет взята установка на единый унифицированный алфавит для всех народностей СССР и если эта проблема будет разрешена на четкой методологической базе с учетом всех достижений марксистской науки.

Лозунг латинизации письма «снимается» на высшей ступени лозунгом унификации письма на латинской основе, оставаясь в то же самое время в качестве подчиненного момента.

Новый алфавит, который охватил уже свыше 50 языков Советского Союза, имеет все возможности стать орудием единой графики для всего СССР, но для этого из него должны быть устранены его недостатки: отсутствие общей принципиальной установки, отрыв практики от теории, погоня за количеством без учета качества, кустарничество и узкий практицизм, ползучий эмпиризм, который не учитывает достижений марксистской науки. В борьбе за унификацию алфавитов надо конечно учесть достижения НА, но этот последний

должен претерпеть некоторые изменения; однако эти изменения должны заключаться не попросту в техническом улучшении того или иного знака, но в выработке последовательной, четкой системы использования этих знаков, а также усложнения этих знаков или введения дополнительных в тех случаях, когда количество букв латинского алфавита оказывается недостаточным. Улучшения должны быть не количественного, а качественного характера.

Лишь при устранении всех указанных недостатков НА сможет стать орудием социалистического строительства в области письменности. ЦК НА должен в своей дальнейшей деятельности опираться на соответствующие научно-исследовательские учреждения, а эти последние в своей работе должны учесть положительные достижения нового тюркского алфавита.

В производственный план секции языка и письменности Института народов советского Востока включена разработка унифицированного алфавита. Разработка этой проблемы будет происходить в тесном контакте с соответствующей бригадой Яфетического института Академии наук.

Одни из тезисов этой бригады гласит: «Бригада считает невозможным разработку проблемы нового алфавита без учета опыта НТА и ЦК НА и без участия научно-исследовательских и общественных организаций, работающих в этой области».

Центральному комитету нового алфавита надо установить контакт с этими учреждениями во избежание разнобоя в деле создания новой графики.

(1931)

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПИСЬМЕННОСТИ ДЛЯ НАРОДОВ СЕВЕРА

Малые народности крайнего Севера, начиная от Кольского полуострова и кончая Чукотским, от границ Финляндии и до границ Аляски, на протяжении многих лет погрязали в суевериях и бескультурии. Эти народности, имевшие почти первобытное хозяйство, держались в темноте, что способствовало жесточайшей эксплуатации их со стороны торговцев и царских чиновников. Народы Севера нахо-

дились вне сферы влияния культурного человека. И лишь Октябрьская революция положила конец такому безобразному отношению к ним.

В настоящее время мы уже смело можем констатировать огромный сдвиг в деле просвещения национальностей крайнего Севера. Наследие прошлого — бескультурье — штурмуется во всех уголках, подчас очень мало доступных, целой сетью культбаз, школ, ликбезов, красных уголков, изб-читален и т. д.

Но даже и при таком наступлении процент грамотности очень низок. К настоящему времени мы имеем 20% грамотности лишь в более благополучных районах.

Между тем партия и правительство дают задания ликвидировать бескультурье Севера в кратчайшие сроки. Развернутое победоносное социалистическое строительство охватило крайний Север, где уже создан целый ряд промышленных центров.

Проделанная работа в области просвещения национальностей является далеко недостаточной, и главная причина этого заключается в тех колоссальных трудностях, с которыми приходится сталкиваться на местах.

Одна из основных трудностей есть отсутствие письменности у народов Севера. И поэтому до сего времени обучение грамоте проводилось на русском языке.

Из всех 26 национальностей крайнего Севера только 5 имеют свою письменность. Для большинства же народностей письменность разрабатывается научно-исследовательской ассоциацией Института народов Севера в Ленинграде.

В связи с этим Наркомпрос совместно с Центриздатом и ЦК нового алфавита 15 декабря 1931 г. созывает в Ленинграде I всероссийскую конференцию по развитию языков и письменности народностей крайнего Севера.

В работах конференции примут участие работники Академии наук. Институт народов Севера, авторы-лингвисты и практические работники мест.

В повестку дня войдут следующие вопросы:

1. О задачах социалистической реконструкции на крайнем Севере — доклад Комитета Севера при ВЦИК.
2. О задачах культурного строительства на Севере — доклад Наркомпроса.
3. Вопросы развития национальных языков и письменности народов Севера, 3 доклада: 1) научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера, 2) Сектора науки Наркомпроса и 3) ЦК нового алфавита.

4. Программы и принципы построения учебников на северных языках — доклад Центриздата.

5. План издания учебников и массовой литературы на северных языках — доклад Центриздата.

Конференция подведет итоги проделанной работы по созданию письменности, имеющейся уже в настоящее время, и наметит пути скорейшего осуществления работы по созданию письменности для всех 26 национальностей, населяющих наш крайний Север.

(1931).
(Публ. по изд.: Просвещение национальностей. 1931.
№№ 11—12. с. 108)

Раздел 3

Против буржуазной контрабанды в языкознании (1932—1933)

Ф. П. Филин

БОРЬБА ЗА МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ГРУППА «ЯЗЫКФРОНТ»

Бурно разворачивающееся в реконструктивном периоде социалистическое строительство предъявило науке свой революционный счет. Наука во всех своих частях, не только по линии технических отраслей, но и по линии общественных, должна решительно порвать с затхлым, беспочвенным «академизмом», вплотную подойти к разрешению стоящих задач построения бесклассового, социалистического общества. Единство теории и практики — вот основное звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь. Это единство немыслимо без подъема теории на более высокую ступень — именно марксистско-ленинский этап. Ряд ведущих наук уже сделали решительный поворот к нуждам социалистического строительства, открыли развернутую борьбу за марксистско-ленинскую методологию. Этот поворот вызвал отчаянное сопротивление классового врага, стремление его во что бы то ни стало затормозить движение науки вперед, оттащить ее назад, к буржуазному прошлому. Деборинщина в философии, рубинщина в политической экономии, переверзевищина в литературоведении и др. с достаточной ясностью показывают нам, что классовая борьба в науке не «утихает», наоборот, в связи с решительным наступлением на остатки капиталистических элементов в стране она обостряется. Историческое письмо т. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» мобилизует внимание пролетарской общественности на борьбу с вылазками классового врага в науке, маскирующегося подчас «марксистскообразными»

фразами, прикрывающегося иногда до поры до времени даже партийным билетом.

Если во время восстановительного периода классовый враг в науке зачастую выступает открыто, то сейчас основной «формой» его существования является именно маскировка под защитный цвет.

Каково положение дел в языкознании? Лингвистика, по сравнению с такими общественными науками, как философия, политэкономия, история и др., резко отстала по всем пунктам. Это, конечно, обусловлено не тем, как склонны утверждать некоторые пессимистически настроенные товарищи, что вообще лингвистике нет места в деле социалистического строительства. Лингвистика не «отжившая» наука. Совсем напротив. Огромные задачи языкового строительства, стоящие в тесной связи с общими проблемами культурной революции, не могут остаться вне их теоретического обобщения, быть достоянием только одних эмпириков-практиков. Причины беспримерного отставания лингвистики по сравнению с ведущими общественными науками заключаются в первую очередь в том, что здесь, как нигде сильны старые, буржуазные и даже добуржуазные традиции. Основные кадры языковедов еще и до сих пор крайне слабо большевизированы. Общеизвестно, что лингвистика до революции была почти исключительно достоянием «верхушек» общества; в ней, как нигде, было засилие «объективности», «науки ради науки». «Характерно, — пишет Маркс, — что до XVIII века отдельные ремесла назывались *mysteries* (*mysteres*) тайнами, в глубину которых мог проникнуть только эмпирически и профессионально посвященный». Такого рода своеобразное средневековое «ремесленничество», «*mysteries*» довлело над буржуазным языкознанием.

После Октябрьской революции историческая традиция старой лингвистики во многом осталась непреодоленной, что не могло не способствовать резкому отставанию языковой теории от языковой практики, так как основные кадры лингвистов достались нам именно из среды утонченного, рафинированного буржуазного «академизма». Ряд других причин, как, напр., чрезвычайно слабая сплоченность коммунистов-языковедов, их крайняя малочисленность, также слабая заинтересованность вопросами лингвистики наших философских кадров объективно укрепляли позиции буржуазного языкознания в наших школах, вузах, научно-исследовательских учреждениях.

Но Октябрьская революция не прошла бесследно для языкознания. Из недр буржуазной лингвистики выросло новое учение о языке, т. н. яфетическая теория. Кстати заметим, что ряд «лингвистов» типа Бочачера представляют дело иначе. По их мнению, яфетическая

теория создана одним человеком, именно Н. Я. Марром, который неизвестно откуда «пришел и разбил на голову индо-европеистику и почти на голом месте заложил основы материалистической лингвистики». Такое толкование возникновения яфетической теории, конечно, только на руку классовому врагу, представляющему — восхищенно ли, или возмущенно, это все равно — яфетическую теорию гениальной, но в значительной части бесплодной *выдумкой* одного человека, вне всякой связи с историческим процессом. Яфетическая теория сразу возбудила к себе непримиримую ненависть со стороны индо-европеистов всех мастей. Классовая борьба в языкознании в годы после Октябрьской революции главным образом шла именно по линии борьбы двух классово-противоположных направлений: яфетидологии и индо-европеистики. Яфетическая теория представила собою новый этап в развитии языкознания. В первые годы революции и весь восстановительный период индо-европеисты, пользуясь своей подавляющей многочисленностью, применяли в борьбе с новым учением «методы» замалчивания, игнорирования, клеветы и шушуканья «по уголкам».

Реконструктивный период, а вместе с ним обострение классовой борьбы в науке принесли качественно новые изменения в языкознании. Яфетическая теория начала все более и более освобождаться от пут своего прошлого, изживая остатки идеализма и механицизма, расти вширь и вглубь, завоевывать общественное внимание. Индо-европеистика, почувствовав в новом учении уже окрепшего врага, готовящего ей близкий конец, перешла в отчаянное контрнаступление. За это время мы имеем ряд открытых выступлений типа «поливановской дискуссии» (как устных, так и печатных) со стороны представителей буржуазного языкознания. Бессильные вести открытую борьбу, индо-европеисты начали пользоваться любыми «возможностями», вплоть до широкого применения личных выпадов и клеветы на самого Н. Я. Марра и его учеников и последователей. Но ход истории неумолим. Империалистическая сущность индо-европеистики была вскрыта, и защищать ее открыто стало опасно. Методы открытой борьбы с новым учением стали все более и более трудны. На этом современном нам этапе основным оружием борьбы с яфетической теорией стала маскировка марксистской фразой — характерная форма активизации классового врага во всех отраслях наук. Мы можем найти много «точек соприкосновения» буржуазного языкознания с вылазками классового врага в литературоведении, истории общественных форм, философии и т. д. Буржуазное языкознание на современном этапе готово воспользоваться и троцкистской клеветой, и механическими «установками» правых. Оно блокирует

ся с любой реакционной теорией. Маскирующаяся индо-европеистика (в лице таких представителей, как, напр., Волошинов, Шор, Яковлев, «Языкфронт» в целом и др.) в настоящее время является особенно опасной. Сюда должен быть направлен особенно сильный огонь, но это, конечно, ни на минуту не должно ослаблять борьбы с открытым индо-европеизмом типа Пешковского, Ушакова и др. Буржуазное и мелкобуржуазное влияние в рядах работников языкознания зачастую захватывает и некоторых партийцев-языковедов, частью слепо идущих за индо-европеистами вследствие своей общей низкой методологической подготовки и лингвистической квалификации, частью сознательно протаскивающих контрабанду буржуазного языкознания. Именно в этой обстановке возникла группа «Языкфронт», оформившаяся при непосредственном участии разгромленного «Литфронта» и по аналогии с ним.

Нужно сказать, что возникновению его во многом способствовало состояние самого нового учения о языке.

Яфетидология не сумела быстро перестроиться сообразно требованиям нового этапа — реконструктивного периода — как в теории, так особенно в практике. Вопросы жестокой борьбы на два фронта внутри своих рядов своевременно не были поставлены, в результате чего «яфетидологами» зачастую числились люди, не имеющие никакого отношения к новому учению о языке. Не было дано своевременно отпора «марризму» — стремлению некоторых работников противопоставить яфетическую теорию марксизму, нежеланию их учиться у классиков марксизма. Самая тематика работы яфетидологов подчас далеко отстояла от запросов современности (характерны в этом отношении «Яфетические сборники» прежних выпусков). В особенности отставание сказалось в крайне слабой разработке вопросов применения достижений нового учения о языке в педагогической практике. Все это, как уже было сказано выше, способствовало оформлению группы «Языкфронт», у которой с самого начала представились большие возможности в маскировке протаскиваемого ею индо-европеистского «добра». В своем первом «обращении», а также в статье К. Алавердова «За что борется “Языковедный фронт”» «языкфронтовцы» поставили вопросы: поворот языкознания к актуальным задачам социалистического строительства, борьба на два фронта в лингвистике и т. д. «Языкфронтовцы» даже выбросили лозунг: «за ленинский этап в языкознании» (правда, путем «самозванного» отождествления своих «произведений» с марксизмом-ленинизмом в языкознании). Почти полтора года спустя они выпустили новое «обращение», в котором как бы подводят итог своей «плодотворной работы». «Творческая группа “Языкфронт”, — пишут они, —

с начала своего возникновения ведущая борьбу за решительную перестройку всей научной работы в сторону актуальных проблем социалистического строительства и поставившая перед собой и всеми работниками лингвистического фронта в качестве одной из центральных задач марксистскую проработку методики обучения языку и перестройку преподавания его на началах политехнической школы... объявляет своих членов мобилизованными на борьбу за реализацию постановления ЦК нашей партии о начальной и средней школе».

В области теоретической «языкфронт» наметили животрепещущую тематику, как, напр., изучение языка рабочего и языка колхозника и т. д. Многие товарищи, незнакомые с конкретным развитием лингвистики, поверили на слово группе и дали ей большие организационные возможности. Постановлением Наркомпроса (за подписью т. Мальцева) Научно-исследовательский институт языкознания (НИЯЗ), опорная база «Языкфронта», превращен даже в «методологический центр» всей языковедной работы «на территории РСФСР» (см. «Бюллетень Наркомпроса»).

«Языкфронт» в спешном порядке стали захватывать кафедры вузов, научно-исследовательские институты, журналы («Русский язык» фактически находится под их «методологическим руководством»), даже издательства, как МСЭ, отчасти БСЭ и т. д.

Не посвященный в лингвистические дела, или «посвященный» односторонне, именно со стороны индо-европеистики, вправе спросить: может быть, в самом деле яфетическая теория уже пройденный этап, «вчера» лингвистики, а «Языкфронт» — это «сегодняшний день». Тем более, что «языкфронт» в своих декларациях «предает анафеме» буржуазное учение о языке — индо-европеистику, всяческими способами отрекаются от него. Но большевики не верят голым декларациям — действительная революционность проверяется только на деле. «Кто же, кроме безнадежных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам, прежде всего, а не только по их декларациям. История знает немало специалистов, которые с готовностью подписывали любые революционные резолюции, чтобы отписаться от назойливых критиков. Но это еще не значит, что они *проводили в жизнь эти резолюции*». Эти слова т. Сталина всецело применимы и к «Языковедному фронту». Несмотря на широкий размах проблем, актуальную тематику и др., «Языкфронт» оказывается именно такой группировкой, которая весьма далека от того, чтобы на деле проводить свои резолюции, действительно строить марксистско-ленинское языкознание. Деклара-

ции, актуальная тематика и пр. — все это служит не более, не менее, как прикрытием реакционных индо-европейских «идеек». Между делами и словесными заверениями «Языкфронта» резкий разрыв. «Языкфронтовцы» в первом своем «обращении» наметили «пятилетний план работ», в котором стоят вопросы создания чуть ли не «капитальных работ» по марксистско-ленинскому языкознанию. Но, несмотря на все это, легко однако показать, что «видимая грандиозность масштаба не изменяет мизерности основных идей».

Прежде всего, нас интересует: что собою представляют отдельные члены «Языкфронта» в их конкретно-лингвистической работе, на какой методологической основе они объединились, какую социальную функцию выполняет эта группа? За всей мишурой их «революционной» фразеологии ясно выступает реакционное лицо переодетой индо-европеистики. «Творения» лидера группы Г. Данилова и в очень большой степени другого члена «Языкфронта» Я. Лоя стоят в теснейшей связи с «бодуэновской школой», в частности с одним из наиболее «выдающихся» представителей ее Е. Поливановым, стоящим, по характеристике Данилова, на уровне последних достижений индо-европеистики. Это совершенно ясно видно из рассмотрения самого метода конкретно-лингвистических исследований вышеупомянутых лиц.

Во-первых, как тот, так и другой исходят из «метода описания, фиксации» языковых фактов. Так, Данилов («Язык общественного класса») пишет: «Ближайшей же задачей ее [работы] является не отыскивание остатков старины, которые помогли бы науке с большей точностью реконструировать древнее состояние изучаемого языка, а *фиксация* тех язычных процессов, которые характерны для переживаемого нами времени, эпохи Октябрьской революции» [Курсив мой. Ф. Ф.]. Нечего говорить о том, что Данилов совершенно не понимает сущности марксистского анализа; отводя историзму значение только как способу реконструирования с «большей точностью» древнего состояния, он совершенно откровенно проповедует описательный метод, метод «фиксации материалов» (такого рода «положения» у него находятся не только в этой, но и во всех конкретно-лингвистических статьях). И, испугавшись такой откровенности, он дальше маскируется тем, что говорит о «научном определении путей развития» языка, которое поможет выработке сознательного отношения к речетворчеству» и т. д. Но маскировка остается маскировкой, и Данилов преспокойно, чисто по-индоевропейски, только «наблюдает» факты языка. Лоя еще более циничен в этом отношении. Он объявляет «единственным научным методом» метод «строго объективной фонетики», которая «беспристрастно» опери-

рует с «звуками [а не с самим языком, конечно] языка», описывает с «максимальной точностью» их звучание, их артикуляцию и т. п. То же самое проповедует и соратник их по «Языкфронту» М. Гус, заявляя, что необходимо «продолжить *описательное* [Курсив мой. Ф. Ф.] выяснение лексических и грамматических свойств разных видов современной газеты», затем К. Алавердов, бригадир составителей программы по русскому языку для ФЗС, который ничего конкретного не противопоставил описательному методу (но не забыл подчеркнуть и его положительные стороны) формалистов, отделившись общими рассуждениями, и дал развернутую формалистическую программу, которая неразрывно связана с применением описательного метода. «Фиксация», описательство — основополагающая черта в «методе» «языкфронтовцев» в их конкретно-лингвистических работах, хотя они объявляют себя мобилизованными на перестройку преподавания языка, везде и всюду кричат, что только они пользуются действительно диалектико-материалистическим методом. В своем методе «языкфронтовцы» ни на волос не продвинулись от индоевропейцев и в частности бодуэновской «школки». Во-вторых, методологическая сущность «бодуэнианства» заключается в субъективном идеализме. Лингвисты бодуэновского толка при анализе языка исходят из фактов индивидуального говорения. На основании изучения, в соответствии со своим методом, языка того или другого индивида они судят о языке национальном или хотя бы классовом. В «Языке общественного класса», в «Чертах речевого стиля рабочего», в неопубликованной, но «защищенной» им диссертации «Словарь промышленного рабочего советской эпохи» и других работах Данилов базируется исключительно на немногочисленных фактах говорения немногочисленных лиц, выдавая их за общие «черты» языка той или другой социальной группы.

Оценка лингвистических фактов «языкфронтовцами» идет исключительно субъективно-идеалистическим путем, путем втискивания материала в выдуманную, абсолютно не соответствующую объективной действительности схему. В «диссертации» словарь рабочего он разбивает на: «I. Традиционный словарь» и «II. Новое в словаре рабочего». Что понимает Данилов под «традиционным словарем»? Он разбивается, по Данилову, в свою очередь на три части: 1) традиционная общенациональная лексика, в которую входит: «1) лексика, связанная с медленно эволюционирующими предметами обихода, какой бы давности они ни были: газета, квартира, куль, лавка (для сиденья) и т. д.; 2) лексика, обозначающая главнейшие явления неорганической и органической природы: дерево, земля, камень, молодежь, лето, припадки и т. д.; 3) лексика, выражающая необходимей-

шие абстракции и простейшие переживания: боль, любовь, зло, ум, радость, чорт, Октябрь и т. д.;.. 5) лексика, отражающая простейшие действия и состояния предмета: брать, думается, года ушли, точить ляды (Бухарин на IV конференции в 1928 г.), увече, читать и т. д.;.. 7) лексика, выражающая основные политико-экономические понятия и общественные отношения: артель, бастовать, дезертир, четвертак, война и т. д.»

Данилов даже подводит итоги: в смысле «частоты пользования» эта лексика в нашем языке занимает довольно солидный процент — 66,5%. «Такова власть традиции», заключает Данилов: «Наши подсчеты могут повергнуть в уныние людей, искренне желающих видеть в языке рабочего лишь отличное от других классов, специфическое... Товарищи забывают о том, что язык по своей природе... является самой неподвижной, самой консервативной надстройкой, в которой особенно сильна традиция». Данилов далее высчитывает, каков процент употребления традиционного словаря у различных рабочих «прослоек». Партийцы, оказывается, имеют 55% «частоты», беспартийные — 60%, интеллигенция — 53%, мелкие служащие — 63%, чернорабочие — 75%. «Объяснение этой дифференциации несложно. У беспартийных рядовых рабочих и крестьян, а также и чернорабочих элементы нового быта находят еще очень слабое применение. Не ощущается этими социальными группами острой потребности в новых словах; у них довлеет, таким образом, традиционный словарь». Во вторую часть «традиционного словаря» Данилова входит традиционный, классово ограниченный словарь. «Одновременно с общим в словаре рабочего бытует и особенное», пишет Данилов. Что же это за особенное? «Приведем слова, находящиеся в употреблении раменско-московских рабочих и другими классами (!) почти не используемые: 1) братва; 2) Ильинка (ср. Ильинская); 3) Казанка (Казанская ж. д.); 4) «мать» и т. д. Из этих «наблюдений» Данилов делает «вывод»: «Словарь, свойственный только рабочему классу в целом, чрезвычайно ограничен. Это: а) наименования местности, дороги... Ильинка, Казанка (в них особенно продуктивен суффикс «ка»; б) то, что непосредственно упирается в бытие рабочего: получка, разладка и др.;... д) особые обозначения матерщины: «мат», «распромат». В этом «отделе» словаря Данилов отводит место преимущественно женским словам, это: загнетка, талант, ужасты, ходить, сердце упало и т. д. Затем Данилов «устанавливает слова, общие рабочим и основным массам крестьянства (гулянье, заведение и т. д.), слова, общие рабочим и деклассированным «низам», и т. д. Оказывается, что различия между языком рабочих и других социальных групп абсолютно нет, если не считать «названия дорог, станций» и т. п.

Более того, часть рабочего класса «является» деклассированной. Так, Данилов пишет: «Правда, незначительная часть ее, связанная с некоторыми сторонами быта деклассированных, проникает в язык пролетариата, но проникает лишь постольку, поскольку известная часть рабочих находится в положении, близком деклассированному (безработные)». Далее идет словарь, «идущий по пути исчезновения». Это: батюшки, истари, конфуз, сортир, опупеть и т. д. Для всех ясно, что такого рода «классификация» является субъективно-идеалистическим бредом Данилова, но бредом не безобидным, а классово-враждебным пролетариату, ничем не отличающимся от клеветы какого-нибудь буржуазного проходимца.

В «Чертах речевого стиля рабочего» — одной из самых последних конкретно-лингвистических работ Данилова, — выдвигаются как наиболее продуктивные в языке рабочего суффиксы «нуть», «чик», «очка» и др. Эти суффиксы, по Данилову, являются «новым» в языке рабочего. Но соответствует ли это объективной действительности хотя бы в малейшей степени? Конечно, нет. Те же самые суффиксы были распространены в языке рабочего в не меньшей мере и до революции. На чем же основывается Данилов? Его «основания» покоятся на случайных наблюдениях, которые приводят Данилова к субъективно-идеалистическому толкованию языка. Этими многочисленными примерами Данилов ясно показывает нам, что он ни на шаг, по существу, не отошел от своего учителя Поливанова или хотя бы Селищева, с которыми у него весьма много точек соприкосновения совсем не случайного характера.

Данилов еще яснее показывает нам свою принадлежность к бодуэновской «школке», когда эмоциональную сторону языка берет в полном отрыве от «коммунистической функции», самую по себе. Специфичность «стиля» языка рабочего он видит главным образом в эмоциональной стороне «экспрессии». Тем самым совершенно неприкрыто, с некоторой вариацией, Данилов повторяет зады субъективной психологии бодуэновской «школки». Конечно, изменения в языке рабочего, становление этого языка мы должны рассматривать со стороны роста его мировоззрения, мышления, которое выявляет свои закономерности в языке.

В том же «Языке общественного класса» Данилов «выделяет» в качестве одного из определяющих моментов языка «тонус речи». Что это за «тонус»? Данилов «разъясняет»: «У С. М. — громкий голос, но темп речи средний; у сына — несколько ускоренная, но негромкая и вкрадчивая речь»; «у Калиженко быстрая, несвязная и несколько неразборчивая речь, отражающая неустойчивость его психики и материального бытия». В определении «тонуса речи» Данилов исхо-

дит из чисто-субъективных своих замыслов, подменяя научную принципиальность исследования языка беспринципностью. О своей близости к субъективному идеализму он часто откровенно высказывается, говоря, что во многих своих положениях близок к Поливанову. Эта несомненная близость заставляет его, вынужденного реакционностью поливановщины признать лишь под напором нашей общественности, видеть в Поливанове и в настоящее время «талантливую ученого», дающего «небесполезные сведения в области работы по письменности в СССР» (где, кстати сказать, Поливанов открыто защищает империалистическую политику царской России), дружески похлопывать «профессора» по плечу и советовать ему учиться марксизму.

Субъективно-идеалистический метод бодуэновского толка весьма ярко проявлен и у Я. Лои, который откровенно говорит, что в основном система Бодуэна состоит в том, чтобы, изложив в качестве своего философского *credo* точку зрения субъективного идеализма, в доказательство своей мнимой правоты приводить доводы, согласующиеся с общими наблюдениями над языком. Лоя хочет представить дело так, что у Бодуэна, мол, субъективно-идеалистичны его философские предпосылки, но исследовательская его работа «согласуется с общими наблюдениями над языком». Эти лживые заверения нужны Лоя лишь для того, чтобы создать видимость того, что между Бодуэном, мол, и им нет ничего общего, и тем самым обезопасить себя для работы бодуэновскими исследовательскими методами под «надежным» прикрытием. Лоя целиком и полностью безоговорочно подписывается под многочисленными положениями ученика бодуэновской школы Н. Крушевского, которые он цитирует в своей статье «Против субъективного идеализма в языкознании».

Субъективный идеализм присущ и другим членам «Языкфронта». К. Алавердов в программах по русскому языку для ФЗС вводит «категорию продуктивных суффиксов» и пр. точь-в-точь в духе Данилова. Объявляются «особо продуктивными» для нашего времени суффиксы «ник» и «ка» (см. программы для младших групп ФЗС). На каком основании? Да так Алавердову кажется. Тесно связано с этим рассмотрение изменений языка «по частям». Наиболее изменяющаяся «часть» — это словарь, другие же части консервативны, менее поддаются изменению. Точь-в-точь так же трактует этот вопрос и Поливанов.

Рассмотрение изменений языка «по частям» тесно связано с полным игнорированием «языкфронтовцами» связи языка с мышлением. Лоя в статье «Против субъективного идеализма» сводит языковые процессы к условным рефлексам. В статье «Грамматические эту-

ды» он усиленно подчеркивает, что фонетика должна заниматься звуками вне их значения. Данилов в «Рабочей книге по языку для рабфаков» тоже считает, что язык есть не что иное, как система условных рефлексов. То же самое, по существу, мы имеем и у Добровольского в его статье «О происхождении языка». Теория рефлексов использована «языкфронтовцами», также и некоторыми другими индоевропеистами, как новое оформление (своего рода учет достижений современной науки) индоевропеистского подхода к языку как к явлению физиологическому. Для всякого марксиста совершенно ясно, что физиология, в том числе и теория условных рефлексов, не имеют никакого непосредственного отношения к изучению языка, так как язык представляет собою идеологическую надстройку.

Моменты мышления, которые иногда затрагивают «языкфронтовцы» при анализе языка, подаются или формально-логически (формально-логическая грамматика ими защищается в открытую, возводится в принцип), или в духе меньшевистствующего идеализма (Ломтев). Наряду с субъективно-идеалистической «основой» взглядов Данилова, Лоя и Алавердова, «языкфронтовцы» в ряде случаев допускают грубейшие механистические ошибки, отнюдь не являющиеся «простою случайностью», как это они хотят представить. Тот же Данилов сводит языковые явления непосредственно к производственному процессу: «Зозуля говорит не быстро, отчетливо, с умеренной силой голоса — в этом можно видеть отражение механизированного заводского производства, где все покоится на четком согласованном действии». Здесь с субъективно-идеалистическим подходом к языку причудливо переплетается вульгарный механицизм. Стоит просмотреть «труды» Я. Лоя, и это переплетение идеализма с механицизмом ярко бросается в глаза. Грубые механистические ошибки мы находим и в выше указанной статье Добровольского, и в статье Вольфсона и др.

Может быть, только «лидеры» «Языкфронта» никак не могут сдвинуться с своих индоевропеистских позиций, но есть еще другие члены группы, которые и составляют здоровое ядро «единственно марксистского направления» в языкознании? Посмотрим. Э. Дрезен в своей книге «За всеобщим языком» (Гиз, 1928 г.) делает такие «открытия»: «Язык, речь — это комбинации звуков и звуковых сочетаний, служащие людям при их взаимоотношениях»; 2) «Утверждение науки, что все европейские языки происходят из одного корня, означает, что современные европейские народы имеют предков, живших некогда в отдаленном прошлом вместе единым трудовым бытом в единой, в общей для всех трудовой обстановке». Дрезен, как видим, совершенно не смущается тем, что откровенно, без каких-либо ухищ-

рений, просто-напросто списывает из самого плохонького индо-европеистского учебника. В этом он открыто признался на лингвистической дискуссии в Коммунистической академии, заявив, что он не теоретик и с него спрашивать нечего. Однако это совсем не помешало «языкфронтовцам» причислить этого безграмотного индо-европеиста в лоно «немногочисленных марксистов-языковедов», говоря словами Лоя.

М. Гус в книге «Язык газеты» пишет: «К изучению и теоретическим и практическим языковым проблемам нужно подходить с диалектическим методом». Как поступает он на деле? «Поэтому, — пишет он вместе со своими коллегами, — анализ результатов обследования нужно в основном строить не на проценте общей понятности, а на изменении понятности в зависимости от формы» (стр. 144). Гус диалектикой в языкознании объявляет формализм. В вышеуказанной книге он прямо говорит, что в теоретических обоснованиях своих «наблюдений» авторы шли непосредственно от Пешковского.

Но это было давно, в 1926 г., скажете вы. Теперь-то уж Гус, наверное, применяет диалектический метод. Но увы! В сборнике «Проблемы газетоведения» (1930 г.) Гус опять-таки высказывается за примат формы в газетном языке, за необходимость применения описательного метода. Данилов в своем «Очерке» причисляет к «языкфронтовцам» работника ИНС Кошкина, вокруг которого группируются ряд языковедов и «этнографов» (Каргер, бывш. троцкист А. М. Золотарев и др.). Но и этот «марксист» исходит из теории праязыка. Целиком и полностью присоединяясь к Кастрену, он рассматривает язык с физиологической стороны, объясняет языковые факты самими языковыми фактами.

Примеров, характеризующих «рядовиков» «Языкфронта», кажется, достаточно. Как про «лидеров», так и про «рядовиков» можно сказать «индо-европеистский хрен не слаще индо-европеистской редьки».

В своих конкретно-лингвистических высказываниях «языкфронтовцы» ни на волос не продвинулись дальше буржуазного языкознания. Что же их объединило? Объединила их борьба с новым учением о языке, которое предвещает близкий конец индо-европеистики. Весьма характерно, что индо-европеисты всех мастей, особенно наиболее реакционные, как, напр., Бубрих, проф. Майер (Москва) и др. сразу почувствовали надежную опору в этом «единственно марксистском направлении». *«Языкфронт» стал организующим, притягательным центром для индо-европеистов всех мастей.* Правда, в начале лингвистической дискуссии Данилов и К° заявляли, что на критике яфетической теории они «не позволят» нагреть индо-европеистам

руки, но эти слова оказались пустой ширмой. *Индо-европеистов совсем не пугают революционные «выкрики» «языкфронтовцев», более того, по примеру последних они тоже стали рядиться в «марксистские одежды»; от «языкфронтовцев» они получили новое оружие борьбы против становящегося на ноги марксистского языкознания, оружие, которое помогает им приспособливаться к новым условиям, «протянуть» еще лишних года два-три.* Да и как не симпатизировать индо-европеистам «Языкфронту», когда последний, под прикрытием разрешения проблемы «наследства», реставрирует «забытых марксистов» из отъявленных буржуазных лингвистов («гальванизация» Лукашевича Ломтевым и Даниловым с легкой руки индо-европеистки Корнеевой-Петрулян; восстановление в «марксистских правах» Кудрявского Лоя), объявляет «умный идеализм» индо-европеистики ближе к марксизму, чем «глупый материализм» яфетической теории (это красной чертой проходит через все статьи журнала «Революция и языки, № 1) и т. д.

Немалая заслуга в «восстановлении в правах» индо-европеистики принадлежит Ломтеву. Так, в своем докладе «К проблеме диалектического метода в науке о языке» на лингвистической дискуссии в Коммунистической академии (пользуюсь правленной стенограммой) он заявлял: «Яфетическая теория в своей целостной совокупности не может заменить того, что представляет из себя сейчас индо-европейская лингвистика, которая характеризуется по своей теоретической концепции, по своей сущности как идеология международной буржуазии». Но все же, по Ломтеву, выходит, что благодаря состоянию яфетической теории буржуазная лингвистика получает все «права гражданства» у нас, в советской стране. Что это, как не открытая защита идеологии буржуазии? То же, по существу, заявляет и Алавердов в «Программе по русскому языку для ФЗС», говоря, что мы, якобы, не можем сейчас заменить формально-логическую грамматику, так как марксистской у нас еще нет. Но послушаем Ломтева дальше. «Плохо ли, хорошо ли, но индо-европейская лингвистика разрешила проблему, напр., «формы слова», а вот у яфетической теории ничего положительного нет. Комментарии, думаю, не требуются. В этом докладе Ломтев дал развернутую защиту Гумбольдта, с большими дефектами в смысле грамотности изложения его положений, и выдал их за «марксистские». «Язык есть образование построенного сознания в звуковом материале, он возникает в тот момент, когда сознание сливается со знаком, когда сознание становится внешней реальностью, которая не может всеми нами познаваться», или: «Развитие языка совершается в процессе тех противоречий, которые возникают между этим сознанием, как построением реаль-

ности в звуковом материале, и сознанием как таковым». Малому ребенку станет ясно, откуда взята вся эта «премудрость». Через Гумбольдта Ломтев протаскивает кантианство в его самой реакционной части. Лозунг: «Назад, к Гумбольдту!», которого придерживается Ломтев, равнозначен социал-фашистскому лозунгу: «Назад, к Канту!» Под флагом марксистской фразеологии Ломтев протаскивает социал-фашистскую контрабанду, совершенно не считаясь с тем, что доклад он делает в стенах Коммунистической академии.

Данилов не отстаёт от Ломтева. Он всячески старается убедить своих читателей, что с индо-европеистикой, по существу, все уже покончено. «Но ещё больше в смысле исторического приготовления материалистической лингвистики сделал Шухардт. Его критика органического развития человеческой речи, а следовательно и генеалогической классификации языков, всемерное подчеркивание принципа языкового смешения, рассмотрение звукового закона как вспомогательной конструкции, а также упор на значимость в языке, на семастиологию подрубил последние устои, на которых держалось ветхое здание индо-европеизма» («Лингвистика и современность»).

Лоя на протяжении всей своей статьи «Против субъективного идеализма», по существу, ничего не говорит от себя, а беспрестанно цитирует без всяких примечаний «марксистов» Томсона, Мейе, Крушевского, Кудрявского и др.

Кошкин не уступает своим собратьям. «Его [Кастрена] труды, — пишет он, — по тунгусскому языкознанию в полной мере сохранили свое значение и продолжают служить опорным пунктом для всякого изыскания в этой области». Для Кошкина, индо-европеист по методу, Кастрен — «основоположник» тунгусского языкознания, которое в обработке Кастрена остается в полной силе для Кошкина и ныне. О методологии, о классовой направленности Кастрена Кошкин не ставит даже и вопроса.

Так «решается» «Языкфронтом» проблема наследства. Совершенно понятно, почему к нему тяготеют индо-европеисты. «Языкфронт» — организационно оформившийся новый «метод» борьбы буржуазного языкознания с новым учением о языке, новый «метод» приспособления буржуазных лингвистов в условиях реконструктивного периода.

Как было показано выше, «творения» лидеров «Языкфронта» имеют свои непосредственные истоки в бодуэновской субъективно-идеалистической «школке». Это не мешает им «заимствовать» те или другие методологические положения из других направлений индо-европеистики. Лоя в своих высказываниях весьма близок к русским последователям «младограмматической» школы (главным образом

к А. И. Томсону). В подходе к языку, как явлению социальному, он без всякого зазрения совести ссылается на «социологов» Мейе и де-Соссюра. Так же, как и де-Соссюр, Лоя представляет себе язык как нечто надиндивидуальное, «недоступное для обсуждения членов данного языкового коллектива», переходящее от поколения к поколению. «Языковой коллектив» понимается также по-соссюровски, в духе Дюркгейма с «волей», которой слепо подчиняются индивиды. Лоя стоит за разрыв синхронического и диахронического изучения языка. История языка — сама по себе, «самый» язык — сам по себе. Этот отрыв истории языка от его современного состояния также взят из арсенала соссюровской «школы» (не думаю, что из первоисточников, по всей вероятности, из «энных рук», так как изложение Лоя весьма часто грешит против грамотности).

Лоя поддерживается Алавердовым и К^о в программе по русскому языку для ФЗС, в которой заявляется, что составители побоялись «перегрузить программу историзмом». Несомненно, что такой взгляд на историю насквозь метафизичен и соответствует буржуазной методологии. Материалист-диалектик не может рассматривать какие-либо явления вне их развития. Элементарная истина, что диалектика стержень марксистского метода, отличающая марксизм от вульгарного материализма.

Данилов всецело поддерживает своих друзей в ряде высказываний, протаскивая ту же контрабанду буржуазного «социологического» языкознания. Так, напр., он пишет: «Наиболее четко о классовом языке ставят вопросы Томсон, Мейе и Байи», или: «Шютте вслед за Лафаргом, но с большой робостью, ставит вопрос и о революции в языке». Такая апологетика «социологов» и прочих «столпов» индоевропеистики говорит сама за себя. «Языкфронтовцы» имеют непосредственные стыки и с русскими формалистами типа Петерсона и Пешковского (напр., «Грамматические этюды» Лоя), в особенности же по линии педагогической практики (как наиболее яркий образец — вышеуказанная программа для ФЗС). Если говорить о «методологической концепции» «Языкфронта» в целом, то приходится констатировать, что какой-либо стройной, единой платформы у него нет. Это — платформа эклектически сколоченных осколков различных течений индоевропеистики (из которых особо видное место занимают субъективный идеализм бодуэновской «школки»).

Буржуазная методология неразрывно связана с буржуазной, реакционной политикой, даже когда в роли защитников буржуазной методологии выступают члены ВКП(б), тем строже и суровее мы должны судить их за это, особенно тщательно проверяя политические установки.

Весьма показательны в этом отношении «высказывания» М. Гуса. М. Гус совершенно цинично протаскивает контрабанду троцкизма, возводя клевету на рабочий класс и партию. Так, Гус пишет: «Субъект газеты — коммунистическая партия *со своей идеологией и политикой*» в противопоставление рабочему классу — объекту газеты, которому эта политика *«внушается»*. Далее Гус изрекает, что «газета непрерывно изменяет читателя», но и идеология ВКП(б) тоже «видоизменяется». Что это, как не «теория» «первооружения» нашей партии при «помощи» Троцкого и его единомышленников? Правда, Гус о Троцком ни слова не упоминает. Но догадливый читатель, мол, должен сам понять, о чем идет речь. Затем Гус пишет: «Через печать партия... «узнает настроение масс» (Ленин), узнает все новое, что происходит в массах, и, *когда необходимо, соответственно меняет свою политику, отдельные моменты своей политики и даже программу [!!!], т. е. меняет и содержание газет*». Что это, как не контрреволюционная белогвардейская клевета на партию и Ленина? «Языкфронтонец» Гус во всех своих статьях открыто протаскивает принципы буржуазного газетоведения.

Алавердов и К° в программе для ФЗС выделяет в особую классовую группу «рабочих-ударников и среди них партийцев и комсомольцев», противопоставляя их остальной массе рабочих. Выделяется также «отсталая» группа, в которую входят «единоличники, городская мелкая буржуазия и т. д.» (под «и т. д.» авторы, очевидно, подразумевают кулаков). Такие клеветнические «рассуждения» стоят в непосредственной связи с троцкистскими вылазками Гуса. Далее Алавердов «повествует», что телеграммы, идущие к нам из капиталистического мира, являются характерными для популярного языка... буржуазии! Оказывается, что наши советские газеты пишутся языком буржуазии!

В этом же духе «высказывается» и Данилов, который пишет: «На занятиях английским, французским, немецким и т. д. языками мы не только по форме, но и по содержанию учим языку враждебного нам класса». По Данилову, это явление «вполне нормальное», мы должны стремиться внести только «кое-какие» поправки. Мы не имеем права расценивать это как «невинный идеализм», связанный с тем же соссюрским «пассивным восприятием языка» (Данилов все-таки делает «решительный шаг вперед», он, «вопреки» Соссюру, желает внести «поправки»), с полным непониманием формы и содержания языка. Это не что иное, как прямое «узаконение буржуазной» идеологии в пролетарской культуре. Наши учащиеся не учатся буржуазному содержанию иностранного языка, изучая национальную форму того или другого языка, они вкладывают в него пролетарское

содержание. Клевета Данилова еще более усугубляется тем, что материалами для изучения иностранных языков по большей части бывают произведения классиков марксизма, коммунистические газеты Запада (или газеты иностранных рабочих в СССР), произведения пролетарской литературы и т. д. Учебники по изучению иностранных языков издаются в СССР советскими работниками. Данилов, как и Гус и Алавердов, старается всячески «обособить» нашу партию от рабочего класса. В статье «Язык общественного класса» партийную интеллигенцию он выделяет в «межклассовую» группировку, тем самым протаскивая троцкистскую контрабанду. Более того, в «межклассовую» группу Данилов заносит и Ленина. «Даже в литературном письменном языке, в языке межклассового слоя интеллигенции, наблюдается классовая дифференциация... Сравним научно-публицистический язык Ленина с языком толпы буржуазной науки — Милюкова». Мы должны дать решительный отпор этому контрреволюционному посягательству на имя Ленина.

В вышеупомянутой «диссертации», приводя слова: революция, ясли и др., Данилов делает «вывод»: «Подавляющее большинство приведенных выше слов бытовало до революции в узком кругу революционных рабочих и интеллигенции, преимущественно партийной. Это обстоятельство легко объяснимо: лишь данный круг людей действительно работал над пересозданием общества на новых началах». А забастовки, а революция 1905 г. тоже делались только узким кругом рабочих и партийной (какой партии?) интеллигенцией?! Такую бессовестную клевету на историю рабочего движения трудно найти даже у черносотенных «историков», все же признающих большую роль в революционном движении «черни», как они именуют рабочих. В этой же «диссертации» Данилов, как и в других местах, подчеркивает обособленность партии от рабочего класса. Так, он пишет: «Обычно слова эти возникают в квалифицированной партийной среде... Однако известное количество словаря возникает, очевидно, и в самой рабочей массе». Можно было бы показать еще большее количество таких грубейших политических извращений в «работах» и «высказываниях» Данилова, но приведенного достаточно для уяснения лица этого контрабандиста буржуазной идеологии, прикрывшегося партийным билетом.

Несколько слов о его великодержавном шовинизме. Данилов свел его к одной (!) случайной формулировке (см. его письмо в «ЗКП» и статью «Мои ошибки» в журнале «Революция и язык»). Что дело обстоит совсем иначе, показать довольно легко. Стоит только «прибавить» к «одной» еще несколько таких «формулировок». В той же «работе» «Язык общественного класса» Данилов повествует: «Неда-

ром тот же Калиженко, озлобленный непонятными новшествами в литературном украинском языке, ворчит: «его Петлюра выдумал». В «Рабочей книге для рабфаков» Данилов откровенно защищает «расовую» теорию, заявляя, что между языком отсталой народности и языком обезьяны нет никакой разницы. Уже в конце 1930 г., в своей «диссертации» он пишет: «Националов от русских рабочих в пользовании русским языком разнит то, что область семантических неологизмов для них *вообще является заповедной страной*». В заключение о Данилове придется сказать, что мы согласны с т. Авербахом, который охарактеризовал «лингвистические взгляды» нашего «героя» «шовинистической даниловщиной».

Лоя не «чище» своих собратьев по «Языкфронту». По его словам, оказывается, что К. Маркс установил материализм только для общественных наук, для наук же естественных это сделал академик Павлов. Лоя совершенно «невдомек», что метод марксизма — неделимый метод, охватывающий все наше познание. Лоя без всякого зазрения совести наряду с Марксом и Лениным ставит Мейе, Питири-ма Сорокина, Кудрявского и прочих открытых представителей эксплуататорского класса. Как это квалифицировать, как не клеветническим извращением марксизма-ленинизма, контрреволюционной попыткой поставить в один ряд классиков марксизма и буржуазных деятелей! Лоя с пеной у рта защищает реакционнейший из реакционнейших буржуазных лозунгов «объективности, надклассовости науки» («Против субъективного идеализма в языкознании»). Социал-шовинистический лозунг «Назад, к Гумбольдту!» (а следовательно, «Назад, к Канту!») протаскивает Ломтев.

Наряду с буржуазной контрабандой, с опасностью правого порядка «Языкфронт» соединяет в себе и «левый» загиб. «Языкфронтовцы» хотя и признают на словах «некоторые достижения» яфетической теории, как «лингвистики Октябрьской революции» (Данилов), но фактически выбрасывают ее целиком, не используя в своих конкретно-лингвистических «работах» ни одного ее положения. «Языкфронтовцы» заявляют, что яфетическая теория для них «пройденный этап» (но спрашивается, у кого они проходили ее, у Поливанова или у других каких-либо индо-европеистов?), хотя от этого мнимо «пройденного этапа» у них не осталось ни малейшего следа (да и не могло остаться, конечно). Такое отношение к яфетической теории — не что иное, как «левый» заскок. Основополагающими в построении марксистско-ленинской лингвистики должны являться, конечно, высказывания о языке классиков марксизма-ленинизма, весь метод марксизма в целом, но применение этого метода в специфической области не может не базироваться на всей предыдущей

истории данной отрасли науки. Яфетическая же теория является последующим после индо-европеистики этапом в развитии языкознания, более высокой его ступенью. Более того, яфетическая теория в своем развитии уже овладевает высотами марксизма-ленинизма; по мере полного овладения марксистско-ленинским методом и преодоления своих ошибок она «снимет» себя как «яфетическую теорию», превратится в марксистско-ленинскую лингвистику. Задачей марксистов-языковедов как раз является то, чтобы действительно «пройти» яфетическую теорию, учесть всю историю развития лингвистики, в особенности же его последнюю ступень, и на основе всего этого разрешить конкретно-лингвистические задачи методом марксизма-ленинизма.

«Левачество» «языкфронтовцев» вполне объяснимо: они органически не могут принять яфетическую теорию, так как она отражает совершенно другие классовые интересы, именно интересы пролетариата, в противоположность «языкфронтовцам», объективно отражающим интересы буржуазии и мелкого буржуа.

«Левый» загиб на ярком примере с «Языкфронтом» тесно переплетается с правой опасностью. По своей методологической «платформе» и политическим взглядам эта группа представляет собою право-левацкую эклектику, беспринципный «блок». «Языкфронт» по характеру своему стоит в тесной связи с «Литфронтом», являясь такой же реакционной группировкой, как и последний. Интересно, что «литфронтовцы» в своих работах частенько базировались на индо-европеистском языкознании. Так, бывший лидер разгромленного «Литфронта» И. Беспалов в своей работе «Стиль как закономерность» при определении специфичности «объективизации образа в слово», т. е. при разрешении одного из основных вопросов статьи, совершенно не критически, на веру пользуется... Потребней и Пешковским. Нетрудно также понять, почему тот же Беспалов, открывая лингвистическую дискуссию, выразил все свои симпатии «даниловцам», почему другой «литфронтовец» Бочачер так быстро усвоил все «языкфронтовские» зады и чуть ли не в полгода «превратился» из литературоведа в «первоклассного лингвиста».

В заключение мы должны вернуться к поставленным в начале статьи вопросам: 1) в каком отношении в борьбе за марксистско-ленинский этап в языкознании стоит группа «Языкфронт» и 2) что значит «поворот к современности» в интерпретации «языкфронтовцев»? На это должен быть ответ такой: беспринципный «блок» «Языкфронт» является врагом марксистско-ленинского языкознания; действительная борьба за марксистско-ленинское языкознание предполагает решительное разоблачение и непримиримую борьбу со все-

ми буржуазными «идейками», как бы ни были они замаскированы; контрабанда буржуазного языкознания «языкфронтовского» толка должна быть ликвидирована до конца. Поворот к современности в интерпретации «языкфронтовцев» — это образец дискредитирования огромной важности задачи перестройки науки, в том числе лингвистики, по линии включения в непосредственную работу по социалистическому строительству; это образец приспособления буржуазных «теорий» к условиям реконструктивного периода. Новая тематика должна быть разработана марксистско-ленинским методом; применение же буржуазных методов к новой тематике — один из способов маскировки этих методов. С «языкфронтщиной» марксисты-языковеды, а также широкая пролетарская общественность должны повести решительную борьбу, беспощадно разоблачая ее как в области разрешения теоретических вопросов, так и в языковом строительстве. «Языкфронт» — это знамя маскирующейся реакции в языкознании, знамя наших врагов.

(1932)

Л. П. Якубинский

ПРОТИВ «ДАНИЛОВЩИНЫ»

Крупные методологические и вытекающие из них политические ошибки Данилова были отмечены в закончившейся недавно языковедной дискуссии в Комакадемии, в печати, в резолюции конференции партийцев и комсомольцев-словесников Ленинграда (16—18 мая 1931 г.), согласованной с Ленинградским отделением Комакадемии. В частности резолюция отмечает крупные политические ошибки Данилова в вопросах национальной политики и извращающий действительность анализ классов в СССР (стр. 9).

Термин «даниловщина» впервые употреблен в печати, насколько мне известно, в отчете о докладе т. Л. Авербаха на 2-м пленуме ВОАПП. Т. Авербах обозначил этим термином великодержавный шовинизм в области языковедения.

В свое время — в разгар дискуссии — Данилов признал свою ошибку в уклоне к великодержавному шовинизму, оправдываясь тем, что инкриминируемая ему статья написана еще в 1927 г. Данилов обещал доказать дальнейшей работой, что допущенная им боль-

шая ошибка является совсем не необходимым эпизодом в его научно-теоретической деятельности.

В настоящее время Данилов привел свое «доказательство». Я имею в виду его статью «Черты речевого стиля рабочего». Материал этой статьи относится к 1928—1930 гг.; самая статья напечатана в журнале «Литература и марксизм» № 1 за 1931 г.

Несмотря на свои очень ограниченные размеры, статья Данилова дает богатейший материал для суждения о его «научно-теоретической деятельности». Термина «даниловщина» статья несколько не снимает, наоборот, она воспроизводит его на новой и расширенной основе. Под термином «даниловщина» приходится понимать теперь такое направление в языковедении, когда исследователь, стремясь повернуться «лицом к современности», «лицом к практике», не владеет диалектико-материалистическим методом; его «благие намерения» превращаются в объективное «зло», в искажение «изучаемой» им современности, в политическую ошибку, тем более вредную, что она преподносится под флагом «марксизма».

Академик Марр прекрасно предугадал, какие результаты могут получиться от изучения современности без надлежащей методологической установки, когда на одной из плановых конференций Академии наук сказал, обращаясь именно к т. Данилову, приблизительно следующее: «Кажется, вы хотите изучать язык колхозников и рабочих, но весь вопрос в том, *как* его изучать».

С «даниловщиной» нужно всячески бороться, и не приходится доказывать почему. Конференция партийцев и комсомольцев-словесников в Ленинграде совершенно правильно постановила «послать протест в редакцию “Литература и марксизм” за безответственное печатание статей, лингвистически неграмотных и идеологически вредных, как упомянутая статья Данилова».

Данилов изучает в своей статье не просто *всякие* черты и черточки речевого стиля рабочего, но такие черты стиля, которые «являются для него наиболее типичными, характерными» (стр. 101); Данилов вместе с тем считает, что именно в *стиле* «наиболее отчетливо вскрывается» *классовая* природа языка, в частности языка рабочего. Таким образом, Данилов пытается вскрыть речевой стиль пролетариата как класса, в его своеобразии, в его отличиях от стиля других классов, в его *специфике*.

Эту постановку вопроса нужно хорошенько запомнить.

Задача, которую ставит себе Данилов, чрезвычайно ответственная. Это одна из важнейших задач марксистской лингвистики. Только познав закономерности развития речи пролетариата как класса, мы сможем на основе генеральной линии партии осуществлять орга-

низованное языковое строительство, *языковую политику*, включив нашу теорию и практику в их единстве в работу по построению социализма в нашей стране. Таким образом, задача Данилова не просто одна из «интересных проблем» теоретического языковедения, но задача сугубой *политической* важности.

Совершенно ясно, что не может быть и речи о *голом* отрицании буржуазного научного наследства, о *безоговорочном* сбрасывании его «с корабля современности», но, с другой стороны, столь же ясно, что всякий марксист обязан четко уяснить себе свое отношение к этому наследству и марксистски преодолеть его.

Нельзя пользоваться распространеннейшими в буржуазной лингвистике терминами «стиль», «коммуникация», «экспрессия» и пр., не выяснив своего — марксистского — к ним отношения. Нужно условиться о терминах прежде, чем разговаривать. Данилов этого не делает; поэтому первые же строчки его статьи вызывают ряд недоуменных вопросов.

Буржуазная «социологическая» лингвистика преподносит нам (в разных вариантах) учение о многочисленных «функциях» языка (коммуникативная, экспрессивная, эстетическая и т. д.); иногда эти функции называются «целями языкового общения». Как эти функции существуют, как они увязываются в языке, как единстве, — остается, конечно, неизвестным; потому самое количество «функций» у разных лингвистов — разное. Последний вариант учения о функциях в западноевропейской буржуазной лингвистике дан, насколько мне известно, в пражских тезисах. Учение о функциях широко распространено и в русской идеалистической лингвистике, например, у так наз. «формалистов» (в частности у меня в статьях в сборниках «Поэтика» и «Русская речь»). В последнее время учение о «функциях» у нас дается Петерсоном («Язык как социальное явление», 1927 г.) и Селищевым («Язык революционной эпохи», 1928 г.), где оно положено в основу всего анализа и откровенно связано с идеалистической социологией Дюркгейма. Данилову, конечно, знакомо учение о функциях, по крайней мере его русские варианты. Особенно следует отметить, в данном случае, книгу Селищева, с которым у Данилова много соприкосновений в самой теме, в ее развертывании и даже в отдельных примерах. Есть и одна ссылка на Селищева.

В первых строчках статьи Данилов указывает: «Классовая природа языка, в частности языка рабочего, наиболее отчетливо вскрывается в *стиле* как по линии словаря, так и по линии синтаксиса, морфологии, фонетики. В этом случае язык анализируется *не в его коммуникативной функции, а как экспрессия, выразительное средство*», т. е. в экспрессивной функции.

Если мы, анализируя язык в его экспрессивной функции, занимаемся *стилем*, то чем мы занимаемся, когда анализируем язык в его коммуникативной функции? Что именно *другое* мы находим в языке, когда анализируем его как коммуникацию?

Почему в этом «другом» классовая природа языка вскрывается менее отчетливо? Разве коммуникация, являющаяся в классовом обществе и *коммуникацией между разными классами в процессе их классовой борьбы*, не вскрывает классовой природы языка или вскрывает ее менее отчетливо, чем экспрессия? Разве, наконец, в *количественных* отличиях тут дело («наиболее отчетливо», «менее отчетливо»)?

Не является ли «экспрессия» лишь *свойством* коммуникации таким образом, что коммуникация может быть более или менее «экспрессивной»? И если так, то как нужно понимать отрыв коммуникации от экспрессии, который производит Данилов («не в его коммуникативной функции, а как экспрессия, выразительное средство»)?

Эти вопросы вскрывают с самого начала методологическую путаницу в установках Данилова.

Далее. Приемлет ли «вообще» Данилов учение о функциях языка? Очевидно, да. Но в *каком* варианте, с *каким* содержанием, как переработанное? Сколько, наконец, языковых функций «признает» Данилов? Он упоминает только *две*: коммуникативную и экспрессивную; значит ли это, что он признает *только* эти две функции? (Формулировка фразы: «В этом случае язык...» и т. д. наталкивает на такую мысль.) Как относится, в таком случае, Данилов к учению Bally о двух основных тенденциях-функциях языка: интеллектуальной (коммуникативной?) и экспрессивной? Этот вопрос тем более законен, что, если Данилов является сторонником примата экспрессивной функции (а *только* в этом смысле можно понять его утверждение, что *классовая* природа языка наиболее отчетливо вскрывается именно при анализе его в экспрессивной функции), то сторонником примата экспрессивной функции является и Bally; если Bally считает, что именно экспрессия создает новые слова и выражения, то Данилов утверждает, что «бурный рост словотворчества» есть «овеществление экспрессии».

На все эти вопросы мы не найдем прямого ответа в статье Данилова. Почему? Здесь возможны два объяснения.

Первое. Данилов подверг тщательнейшей марксистской переработке буржуазное, в частности «женевское», наследство; для него совершенно ясно, в какой мере и с каким содержанием приемлемо использование буржуазного учения о функциях языка; в какой мере и в каком смысле допустимо в марксистской лингвистике употребле-

ние терминов «коммуникация», «экспрессия» и др. Но Данилов ничего об этом специально не говорит, потому что уверен, что все это уже известно «святым духом» его читателям, тем более, что для этого понадобилось бы некоторое количество взмахов пера от автора и бумаги от журнала, который его печатает.

Второе. Данилов ничего себе не уяснил, ничего «не переработал», находится во власти буржуазных лингвистических учений и *не мог* высказать, хотя бы вкратце, своей марксистской точки зрения на этот предмет по той простой причине, что этой *марксистской* точки зрения он и не *имеет*.

Какое из этих двух предположений истинно? Критерием истины является практика. Обратимся к «практике» исследовательской работы Данилова в этой статье, к его выводам, к тем «чертам» речевого стиля рабочего, которые он открыл с помощью своей методологии.

Лингвист-марксист, который хотел бы конструировать марксистское понятие речевого *стиля данного класса* («классовая природа языка... наиболее отчетливо вскрывается в стиле»), должен был бы в первую очередь обратиться к специфическому *классовому сознанию* данного класса, к присущему именно этому класса *способу освоения действительности*, к специфическому для него качеству *мышления*. В данном случае — поскольку речь идет о стиле рабочего класса — к диалектико-материалистическому способу освоения действительности, к *диалектико-материалистическому мышлению*, которое и является специфическим качеством сознания пролетариата как класса. Иной подход с точки зрения марксистской методологии — *невозможен*. Иной подход неизбежно приводит в болото метафизики и идеализма.

Какие бы недоуменные вопросы ни вызывали первые четыре строчки статьи Данилова, ясно, что стиль он понимает как *экспрессию*, как *выразительность*.

Каким же образом конкретизируется в дальнейшем ходе статьи понятие *экспрессии* (а значит и *стиля*)?

Ответ на этот вопрос мы находим в тех отдельных проявлениях (чертах) экспрессивности, которые вскрывает (в значительной мере вслед за Селищевым) Данилов.

Данилов отмечает следующие экспрессивные моменты языка: «*оттенок значительности, торжественности*» (по поводу архаизмов; ср. у Селищева: «Для выражения повышенного настроения прибегают к архаизмам и церковно-славянским элементам», 97; «Необходимо также отметить, что употребление “славянизмов” связывалось у говорящего с особой значимостью, выразительностью, с той или иной эмоцией», 44); «*иронический аспект*» («архаизмы с

сниженной семантикой»; ср. у Селищева: «некоторые архаизмы и церковно-славянские элементы служат для выражения “иронии”», 97); «*категоричность тона*», «*решительность тона*» (ср. у Селищева: «категорическая императивность», «категорическое утверждение и отрицание», 101); «употребление прилагательных на -айший, -ейший является также чрезвычайно распространенным явлением у рабочих... как отклик на глубочайшие сдвиги в массовой психологии и общественности нашей страны» (стр. 103—104; ср. у Селищева: «представление величия задач революции, трудностей в осуществлении их, угроз и наступлений противника — все это отражается в частом употреблении форм превосходной степени», 100); «стремление выразить в слове быстрое, решительное действие, боевой темп» (стр. 106, по поводу употребления суффикса *нуть*; ср. у Селищева: «стремлением к эмоциональности в речи вызвана тенденция образования перфективных глаголов... с суффиком -ну», 111); «снижение стиля», «употребление семантически сниженных слов», «грубоватость» (ср. у Селищева: «некоторая грубоватость стиля революционных деятелей», 57); стремление «опростить» язык» (55 и др.); «чрезвычайно типичными для жанра ораторской речи рабочих являются *фигуры нарастания и повторения*» (стр. 104; ср. у Селищева: «излюбленными и очень популярными в речах революционных деятелей являются сочетания с повторениями какой-нибудь части сочетания», 96) и др.

Характерны для понимания экспрессии у Данилова такие, например, высказывания: «традиционные слова начинают звучать по-новому»; или: «усвоенное [рабочим классом. *Л. Я.*] слово начинает фигурировать в *необычном* для установившегося литературного стандарта контексте, тем самым повышая *эмоциональный тон фразы*» [курсив мой. *Л. Я.*]. Иногда экспрессивные моменты оказываются «приемами», которые говорящий применяет, например, при необходимости «выступить перед массовой аудиторией» (фигура нарастания и повторения), в целях «облегчения коммуникации» (инверсия).

Я приводил ссылки на Селищева вовсе не с целью доказать, что Данилов у него что-нибудь заимствовал, но с целью показать, что понимание экспрессии у обоих авторов *тождественно* (причем, конечно, оно свойственно не только им обоим). И Селищев и Данилов понимают экспрессию (выразительность) в языке как отражение *эмоционально-аффективной стороны сознания* (или подсознания?); Селищев, например, так и говорит: «эмоционально-экспрессивная функция речи».

Но Данилов вносит значительную «поправку» к Селищеву: экс-

прессию он отождествляет со *стилем* и приближается в этом к Bally; однако и Bally подвергается «переработке»: в стиле наиболее отчетливо вскрывается *классовая* природа языка. Таким образом, «марксистски» перерабатывая («преодолевая») буржуазное наследство, Данилов приходит к совершенно «самостоятельному» выводу: *классовая природа сознания и языка наиболее отчетливо вскрывается в их эмоционально-аффективной стороне.*

Какие отсюда проистекают методологические и *политические* выводы — предоставляю судить читателю.

Концепция стиля Данилова еще ярче раскрывается в его высказывании о неологизмах: «Новое в общественности требует и нового в словаре. Рождается неологизм». Но неологизм сам по себе, как факт языковой действительности, не является фактом стиля; неологизм оказывается фактом стиля лишь постольку, поскольку он *воспринимается* как неологизм: «Пока он воспринимается как таковой, имея запах новизны, неологизм является средством выразительности стиля». Точно так же смотрит на экспрессивные элементы языка Селищев: «Вследствие частого употребления этих эмоционально-экспрессивных элементов они с течением времени понижают и совсем утрачивают в речи общественной группы свою эмоциональную значимость», свою экспрессивную значимость, а, следовательно, по Данилову, свою *стилевую* значимость. Таким образом, отнесение данного явления к стилю определяется чисто *субъективистски*: все зависит от «запаха», от субъективного ощущения говорящего или слушающего: пахнет или не пахнет — вот в чем вопрос!

Аналогичную трактовку мы имеем у Данилова, который дает единственный (в его статье) пример «стилистического использования рабочими синтаксических конструкций», а именно порядка слов: «Известно, что в письменной русской речи имеются некоторые нормы расположения слов в фразе. *Отступления от этих норм воспринимаются* [кем?] *как выразительный прием* [т. е. как экспрессия, стиль], инверсия (прилагательное после существительного, глагол на конце предложения и пр.)».

Здесь, таким образом, отклонение от нормы разъясняется как факт стиля при *единственном* условии, что это отклонение *воспринимается, замечается, ощущается.*

Такая трактовка ведет нас непосредственно к поэтике формализма, к учению об «ощущаемой форме» как «поэтическом», «стилистическом» явлении.

С охарактеризованной выше «концепцией» стиля Данилов пускается в поиски специфичных черт речевого стиля рабочего.

Здесь Данилов обнаруживает окончательное неумение владеть даже

азбукой диалектико-материалистического метода и безнадежно погрязает в метафизике.

В основном метод Данилова сводится к следующему: он создает или, вернее, использует не им созданные абстрактные характеристики «психологии» рабочего (выводя кое-где эту «психологию» из «быта»!) вроде известных уже нам «категоричности», «решительности», «грубоватости» и т. п. и подгоняет фактический материал под эти характеристики; с другой стороны, столь же абстрактно и формально использует затасканные термины из школьной теории словесности (неологизм, архаизм, инверсия, фигура нарастания и повторения и пр.).

Данилов совершенно не понимает, например, что *нельзя* «неологизм вообще» приписать языку и стилю («запах новизны»!) пролетариата, как нечто *именно ему* присущее; нельзя в неологизме вообще видеть одну из «наиболее типичных и характерных черт речевого стиля рабочего». Неологизм создает не только рабочий класс. Но, может быть, для пролетариата характерно *огромное* количество создаваемых им неологизмов? И это неверно. Огромное количество неологизмов создает и буржуазия в эпоху буржуазной революции (ср. хотя бы у Лафарга «Язык и революция»); процесс образования новых слов в эпоху Великой французской революции Данилов на своем вычурном языке мог бы также охарактеризовать как «бурный процесс словотворчества, овеществление экспрессии в новом слове».

Дело в *качественном* своеобразии этого процесса в языке пролетариата в эпоху диктатуры. Но этого вопроса Данилов *даже не ставит*.

Данилов совершенно не понимает, что нельзя осваивать специфичность пролетарского речевого стиля такими абстрактными фразами, как «решительность, категоричность тона у многих передовиков, которая сказывается и в соответствующем подборе слов».

Сейчас же возникает вопрос: разве не свойственна «категоричность тона» фашистам, буржуазной и помещичьей военщине, Муссолини, Пуанкаре, Пилсудскому и т. д.? Разве не является сплошь и рядом «категоричность тона» прикрытием далеко не «категоричного» мышления и не «решительной» практики у идеологов и политиков мелкой буржуазии?

В результате Данилов приписывает рабочему, как специфичный, такой «подбор слов»: «надо во что бы то ни стало покрыть недочет», «категорически заявляю», «я утверждаю» и др.

Ничего, кроме зного количества восклицательных знаков, тут не поставишь.

Неоднократно Данилов говорит о «снижении стиля», об употреб-

лении «семантически сниженных слов», а в связи с этим и об «известной грубоватости». «Снижение» тоже выступает у Данилова как «снижение вообще», хотя он и пытается «вывести» его из специально «рабочего быта». Мало указать, что пролетариату свойственно «снижение вообще» (об этом говорит и Селищев, это отмечается и в моей формалистской статье «О снижении высокого стиля у Ленина»); нужно показать это «снижение» в его конкретном, т. е. классовом, содержании. «Снижение» выступает, например, в определенную эпоху в речевой практике буржуазии (ср. «друг Аркадий, не говори так красиво» или борьбу Писарева с «фразой», в частности в полемике с Белинским); «снижение» мы находим и у Толстого на базе его «крестьянского социализма» и т. д. «Снижение» лексической семантики, общую грубоватость тона» Данилов находит, между прочим, в частной переписке В. И. Ленина («*шляние* нравится больше, чем посещение музеев»), но как быть с перепиской Пушкина, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, где тоже налицо «снижение» и «грубоватость», чтобы не сказать больше. Но дело здесь опять не в количестве, а в ином *содержании* «снижения».

Именно оперирование исключительно с абстрактными понятиями превращает статью Данилова в кучу отдельных, оторванных друг от друга «черт», причем конкретная диалектическая связь пропадает. Как, действительно, соединить «снижение вообще» с «торжественностью вообще», которая, по мнению Данилова, тоже свойственна стилю рабочего?

Очень забавно, когда Данилов «марксистски» выводит «снижение» и «грубоватость» из рабочего... быта! Он говорит: «характерной чертой рабочего быта является простота, безыскусственность [Жан-Жак Руссо да и только!]. Рабочему нет смысла воздвигать между собой и социальным окружением стену буржуазных приличий [Не пугайтесь! Ничего «неприличного» Данилов не посоветует рабочему; он не «левый загибщик», он хочет сказать только, что рабочему], нет смысла *строго* следовать буржуазным нормам поведения. [Вот тебе на! Выходит, что для рабочего есть смысл не строго, но следовать все-таки *буржуазным* нормам поведения? А мы-то думали... Тут, однако, несомненный «правый» уклон! Но Данилов и сам это замечает, потому что резко меняет фронт и продолжает так: наоборот, в интересах общения и производства он должен *сломать* эти нормы, *сломать в частности нормы речевой деятельности*] [Курсив мой. Л. Я. Весьма решительно! Ломать так ломать! Но что это значит конкретно? Оказывается, очень малое]. Отсюда известная грубоватость, частое употребление «семантически сниженных слов».

Считаю нужным отметить, что в этом выведении «снижения» и

«грубоватости» из «быта» Данилов имеет предшественников, например: «Протест против *условностей бытовых приличий* и соответствующие языковые переживания вели [«в революционной среде»] к упрощению языковых передач, к более реальным по значению терминам, к более откровенной, непосредственной передаче настроения, без стеснения в выражениях...», «стремление к опрощению личны взаимоотношений и языка отражается...»

Только по поводу архаизмов Данилов вспоминает о необходимости конкретизировать это понятие применительно к употреблению архаизмов рабочими. Безоговорочно приписать рабочему архаизмы трудно; это не неологизмы, по поводу которых можно предаться декламации на тему о «бурном росте словотворчества». «Архаизмы широким распространением у рабочего пользоваться не могут. Однако рабочий, а за ним и трудящийся вообще в поисках средств выражения должны брать и берут из старого, что способно выступить в *новом качестве*, с *особым* стилистическим заданием» (курсив мой. Л. Я.). Хорошо. Однако читатель будет весьма удивлен, когда узнает, что это за «новое качество», в котором архаизмы выступают именно у рабочего. Оказывается, что специфичным для рабочего класса является использование архаизмов в целях создания «высокого штиля». Так и написано: «Таковы архаизмы, вносящие в речь оттенок значительности, торжественности» (стр. 101). Дальше некуда ехать!

Несколько азбучных истин применительно к изучению речевого стиля пролетариата.

Нельзя изучать речевой стиль пролетариата *статически*. Речевой стиль пролетариата нужно изучать в его движении, в *истории*.

Речевой стиль пролетариата возник как новое качество и развивается в истории капиталистического общества (а, значит, в истории национального языка), в истории пролетариата как класса, в истории классовой борьбы пролетариата, осознавшего себя как класс, в истории классовой борьбы пролетариата, победившего буржуазию в данной стране и строящего социалистическое общество. Историческая точка зрения должна лежать в *основе* всякого анализа речевого стиля пролетариата, как и в основе всякого лингвистического анализа. Нет никакой другой лингвистики, кроме исторической.

Такой точке зрения в западноевропейской лингвистике противопоставлена другая точка зрения, развиваемая женеvским лингвистом Ф. де-Соссюром и его последователями. С точки зрения этой школы, существуют две лингвистики: *диахроническая* (историческая) и *синхроническая*.

Синхроническая лингвистика занимается изучением языка дан-

ного коллектива в данном разрезе времени (например, в 1928—1930 гг.), вскрывая *систему* (взаимные внутренние связи) этого языка независимо от генезиса и движения, так, как она «дана» в этот именно момент времени.

Нечего и говорить, что эта теория «двух лингвистик» является методологически порочной, антимарксистской.

Я не собираюсь приписывать Данилову «соссорианство» хотя бы потому, что он, характеризуя стиль рабочего в определенный промежуток времени (1928—1930 гг.), не дает при этом никакой «системы», ограничиваясь разрозненными «чертами». Данилов, несомненно, «преододел» соссорианство (как «преододел» он и учение о «функциях»), но преодолел довольно своеобразно: в своей статье он выступает *сразу* и как «диахронист» («историк») и как «синхронист». Иные «черты» подаются внеисторически, чисто «синхронически» (напр., «категоричность тона» или «фигура нарастания»), другие — «исторически».

Кое-какие данные о Данилове как историке мы уже имели в предыдущем изложении.

Мы имеем у Данилова лишь *видимость истории*, а не историю. Историческая конкретность в ее движении растворяется в метафизическом мышлении Данилова. Он совершенно не способен понять новое специфическое качество исторически «становящегося» и развивающегося стиля пролетариата. Он совершенно не способен понять специфический закон развития, специфическую *закономерность движения* стиля пролетариата. Поэтому у него нет критерия для того, чтобы из массы наблюденных «фактов» выделить действительно характерное, ведущее, *закономерное*. Единственный раз Данилов ставит вопрос о «закономерности» (по поводу использования рабочими архаизмов). Какой же критерий закономерности употребления данного стилистического приема устанавливает Данилов? *Стилистический эффект*: «если использование рабочими архаизмов для снижения значимости слова или придания ему большего удельного веса *вполне закономерно, поскольку оно производит известный стилистический эффект*, то...» Но с таким критерием закономерности можно приписать рабочему классу как специфическую черту стиля изощренное матерное ругательство, которое Данилов мог бы услышать из уст рабочих, да и неоднократно: оно несомненно производит известный «стилистический эффект».

При таком подходе характерным для стиля пролетариата окажется употребление «блатных» слов в некоторых кругах рабочих, тогда как оно, может быть, сигнализирует лишь о некотором влиянии люмпеновской идеологии в этих кругах.

Тяжело сказать, но я доволен, что Данилов только лингвист. Что бы было, если бы он со своей методологией вздумал характеризовать политическую практику рабочего, его бытовую, семейную практику. Массовый энтузиазм коммунистического труда и отдельные случаи шкурничества, ростки нового быта и пережитки старого, все оказалось бы на равных правах смешанным в одну кучу и в конце концов с божьей помощью в «черты стиля» попало бы и знаменитое чубаровское дело.

Эмпиризм всегда искажает действительность и ведет к политическим ошибкам. Тут не помогает и «большинство голосов», ссылка на «массовость» наблюдений. Эмпирики, как это давно указали основоположники марксизма, всегда остаются в плену самых худших, самых реакционных тенденций идеалистической философии.

Специфика есть закономерность *движения*: познать ее можно только в диалектико-материалистическом познании исторического процесса.

Итак, как «историк» Данилов совершенно неспособен понять новое специфическое качество, *закон* исторически становящегося и развивающегося стиля пролетариата. В связи с этим он неспособен разрешить и вопрос о буржуазном языковом «наследстве». Вот пример. Устанавливается следующий факт: «приходит новый класс, и *традиционные слова начинают звучать* у него, да и у других трудящихся *по-новому*», т. е. новый класс приносит новое качество слов.

Факт очень важный и во многих отношениях основной.

Почему же у нового класса традиционные слова начинают звучать по-новому? Вы думаете, вероятно, потому, что новый класс приносит новую идеологию, новое осознание действительности, новую классовую оценку ее, новую общественную практику? Ничего подобного.

«Рабочий класс Советского Союза, критически усваивая язык класса-предшественника, тем самым (?) срывает с него маски (?), снижает его». [Теперь — слушайте!]. «Однако это усвоение происходит неполностью. Часто усвоенное слово начинает фигурировать в необычном для установившегося литературного стандарта контексте, тем самым повышая эмоциональный тон фразы. Приходит новый класс, и традиционные слова начинают звучать у него, да и у всех трудящихся, по-новому». Таким образом, новое качество слов объясняется тем, что они «при неполном усвоении» языка предшествующего класса по ошибке «не туда попадают». Простая механика! Непонятно только, во-первых, при чем тут «маски» и, во-вторых, для кого это «нетудапопадание» повышает «эмоциональный тон фразы»? Ведь не для рабочего? Ведь рабочий не сознает, что он «не

туда попал»; ведь не нарочно заставляет он «фигурировать» слова в необычном контексте; ведь это просто потому, что он *неполностью* усвоил язык класса-предшественника? Впечатление «повышенного» эмоционального тона может получиться только у класса-предшественника. Но разве Данилов характеризует нам язык пролетариата с точки зрения субъективного ощущения буржуазии?

Еще пример на ту же тему о «переработке» буржуазного языкового наследства пролетариатом.

Устанавливается, во-первых, что «в письменной русской речи имеются некоторые нормы расположения слов во фразе»; устанавливается, во-вторых, что «устная речь интеллигенции в значительной мере свободна от этих норм». Требуется установить, какую специфику — в ходе исторического процесса — мы получаем в области порядка слов у пролетариата? Ответ: «еще большую свободу мы наблюдаем в устных жанрах деловой речи у рабочего». Таким образом, во-первых, устная речь характеризуется не присущими ей нормами порядка слов, а «свободой» от норм письменной речи, что уже неверно, и, во-вторых, оказывается, что никакого нового качества норм порядка слов у пролетариата нет: рабочий класс лишь развивает несколько дальше то, что имеется в языке буржуазной интеллигенции, выступает *продолжателем* буржуазной интеллигенции и только; тенденция развития, закон развития — один и тот же.

Мы совершенно ясно поймем, почему в трактовке Данилова пролетариат выступает как последователь буржуазии, если поинтересуемся, какие факторы исторического процесса имеются в методологическом арсенале Данилова. Оказывается, что эта «еще большая свобода» наблюдается в языке рабочего «очевидно, в целях *облегчения* коммуникации».

Такой «всеобщий» принцип исторического развития, естественно, может «фигурировать» в практике любого класса или, вернее, в фантазии Данилова; но и фантазия имеет свои законы, и возникает вопрос: представители *какой классовой идеологии* могут в 1931 году в СССР фантазировать на такой манер? За ответом ходить недалеко: «лаконический ответ этот — о первопричине языковых изменений — будет состоять из одного, но вполне неожиданного для нас, на первый взгляд, слова: “лень”... или — что то же — стремление к экономии трудовой энергии», или — что то же, — прибавим мы, «облегчение», в данном случае «облегчение коммуникации». Недаром злосчастный «марксист» Поливанов считает Данилова одним из лингвистов, с которыми для него «установимо взаимное понимание».

Спрашивается дополнительно: если мы занимаемся стилем, когда анализируем язык *не в его коммуникативной функции*, а как экспрессию, выразительное средств, то почему «еще большая свобода порядка слов», возникающая, по Данилову же, в целях «облегчения коммуникации», попадает в число черт речевого *стиля*?

Общая «концепция» исторического процесса русского языка в эпоху диктатуры пролетариата дана Даниловым в заключительном абзаце его статьи. Цитирую целиком: «С утверждением пролетариата как господствующего класса резко изменилось само направление стиливых заданий. Если до революции старались [кто? Л. Я.] говорить так, как писали, то теперь, наоборот, лучшим образцом письменной речи считается такая, которая приближается к устному разговорному языку. Буржуазия, перекочевавшая окончательно после 1905 г. в лагерь контрреволюции, боялась всего революционного, идущего вперед. Она старалась окопаться на старых общественных позициях, находивших себе отражение в *традиционном* письменном языке, старалась загнать живой поток устной речи в окаменелое русло письменно-литературного стандарта. Пролетариат же, заинтересованный в ускорении исторического процесса, естественно, ставит иную, диаметрально противоположную, стиливую задачу: сломить омертвевшие нормы традиционной письменной речи, сблизить ее с победоносно идущим вперед процессом живого диалектического речетворчества».

Замечание первое. Данилов *внеисторически* трактует взаимоотношения письменного и разговорного языка. Ориентация разговорной речи на письменную в истории, в частности русского языка, характерна *не только* для буржуазии после 1905 г.; ориентация на разговорный язык характерна *не только* для пролетариата после 1917 г. Конкретное *историческое* содержание этих «ориентаций» таким образом пропадает.

Замечание второе. Данилов, характеризуя разные установки буржуазии и пролетариата по вопросу о письменной и разговорной речи, употребляет *общие абстрактные* слова: «приближается», «сблизить». Остается непонятным *конкретное содержание* этого «сближения», по каким линиям оно идет и т. д.

Замечание третье. В связи с этим Данилов упрощенчески толкует отношение к письменной и устной речи у буржуазии и у пролетариата («до революции старались говорить так, как писали»).

Замечание четвертое. Данилов смазывает *специфические* различия между письменной и разговорной речью: письменная речь и разговорная речь имеют между собою различия, и уже поэтому нельзя «писать так, как разговаривают». И дело здесь не в различиях рече-

вой техники, а в разных *общественных* (в частности *политических*) *функциях* обеих разновидностей.

Замечание пятое. Данилов протаскивает старомодное «романтическое» и формалистское противопоставление «живой», разговорной речи — «мертвой», письменной, подправляя это противопоставление «революционной» фразеологией. Недоставало, чтобы Данилов заговорил об «естественном», разговорном языке и «искусственном», письменном. Именно это противопоставление заставляет Данилова смазывать функциональные отличия разговорного и письменного языка.

Дело же обстоит таким образом, что в данной исторической ситуации «живой» оказывается и разговорная и письменная речь «живого» революционного класса, «мертвой» (умирающей) — и разговорная и письменная речь умирающего побежденного класса.

Методологическая сущность Данилова особенно ярко раскрывается в его суждении о «стилистическом» использовании рабочими формальных элементов языка (суффиксов): «Говоря о стилистическом использовании форм русского языка рабочими, невольно [Вот это-то и плохо, что невольно! Л. Я.] сталкиваешься с двумя моментами: 1) с широкой продуктивностью глагольного суффикса *-нуть* и 2) с *обилием уменьшительных существительных*» (стр. 106).

Оставим в покое суффикс *-нуть* и обратимся к «уменьшительным».

Данилов устанавливает, что в употреблении рабочих «появляется ряд слов с уменьшительными суффиксами (чаще всего *-чик* и *-очка*)» (стр. 106). Отмечу, кстати, что Селищев, со своей стороны, утверждает: «эмоциональность выражается также посредством формальных принадлежностей слова. Такое значение имеют уменьшительные суффиксы *-ец*, *-ок* (ж. р. *-ка*) и в особенности *-чик*, *-чка*» (110). Далее Данилов приводит ряд уменьшительных слов, употребляемых рабочими (сюда входит и пресловутая «гражданочка» — перевод дореволюционного мещанского «дамочка», «мадамочка»), приводит несколько примеров из литературы, из Селищева, из языка отсталых рабочих и из Ленина.

Прежде всего укажем, что Данилов не отдает себе отчета в том, что нельзя говорить об «уменьшительных» суффиксах вообще, потому что «уменьшительные» суффиксы могут иметь *разную* смысловую функцию. С этой точки зрения совершенно непонятно, как мог Данилов после перечисления уменьшительных слов из языка *отсталых* рабочих (вроде «народишко», «лучек», «маманька», «солыца», «житышко» и пр.) *непосредственно* тут же написать: «Ср. у Ленина: копеечка («Грозящая катастрофа». Октябрь 1917 г.) и т. д.». Разве

смысловая функция, идеологическое существо «уменьшительных» слов в обоих случаях одинаково?

Вот как дано это слово у Ленина: «Контролировать и регулировать доставку хлеба или вообще производство и распределение продуктов, не контролируя, не регулируя банковых операций, — это бессмыслица. Это похоже на ловлю случайно набегающих “копеечек” и на закрывание глаз на миллионы рублей». Разве «подайте копеечку» и ленинская «копеечка» в кавычках одно и то же?

Старый (или молодой) чиновник-подхалим может употреблять в разговоре с начальством: «парочку», «минуточку», «подпишите еще одну бумажечку» и т. д.; гостеприимный Демьян предлагает «лещик», «ушицу», «стерляди кусочек», «тарелочку»; царский офицер, услышав шопот в строю, кричит: «разговорчики»!; любвеобильная мамаша обращается к своему сыну: «Володечка»; крестьянин жалуется на «худое житьишко» — для Данилова здесь одно и то же явление: «уменьшительное существительное». Как *истый и заядлый формалист*, он не видит за внешней схожестью формы ее многообразнейшего смыслового существования.

Создав себе фикцию, «уменьшительного слова» вообще, ослепленный фетишем формы, Данилов придумывает такое объяснение распространенности «уменьшительных существительных» у рабочего, которое *непосредственно перерастает в грубейшую политическую ошибку*: «Появление новых и распространение старых уменьшительных объясняется, очевидно, общей направленностью рабочего к снижению стиля [опять абстрактное снижение стиля!] и *стремлением найти общий язык с руководимыми им широкими крестьянскими массами*».

Раскроем ошибку Данилова.

Употребление «уменьшительных существительных» рассматривается Даниловым как явление *стиля*. В стиле «наиболее отчетливо вскрывается *классовая* природа языка»; явление стиля есть, следовательно, явление *классовой психоидеологии*.

Крестьянство широко использует «уменьшительные существительные»; это черта его *стиля*, т. е. его *психоидеологии*. Рабочему нужно руководить «широкими крестьянскими массами». Как это сделать? По Данилову, очень просто: нужно *перерядиться* в крестьянскую идеологию, *притвориться* крестьянином. Данилов говорит рабочему: хочешь руководить крестьянством, притворись православным христианином, мелким хозяйчиком и т. п. Вот какую теорию смычки рабочего с мужичком преподнес нам «марксистский» лингвист Данилов.

Напомним, что Данилов изучает в своей статье не просто всякие

«черты» и «черточки» речевого стиля рабочего, но такие, которые характеризуют речевой стиль пролетариата как класса в его *специфике*.

Сказанное выше показывает, что, при отсутствии сколько-нибудь четких методологических установок, Данилов приходит в своей работе к *грубейшему эмпиризму*.

Но, как и всякий уважающий себя эмпирик, Данилов наряжается в костюм точнейшей фактической документации.

Приводимые им высказывания рабочих сопровождаются указанием на лицо, от которого данное высказывание услышано, на место и на год записи. Таким образом, имеем ссылки вроде следующих: «люборецкий металлист и смоленский рабфаковец, 1929 г.», «раменский ткач-партиец в присутствии мастера, 1929 г.», «гардеробщик-партиец в Москве, 1928 г.», «начальник Быковской милиции, рабочий, 1929 г.», «чернорабочий-колхозник дер. Софьино, 1930 г.», «ответ смоленского красного командира на заявление товарища: “Он не получит полк”», 1930 г., «люборецкий железнодорожник, 1930 г.», «швейцар-общественник в Москве, 1929 г.», «молодой раменский сторож, 1930 г.», «дети раменских рабочих, 1929 г.», «московский кондуктор, 1929-30 г.» (!) и т. п.

Все это производит довольно «импозантное» впечатление; однако и здесь возникают некоторые сомнения. Как мы знаем, Данилов не дал никакого критерия для того, чтобы отличить в «речевом поведении» *отдельных* пролетариев то, что действительно *специфично* для пролетариата как класса. Единственным критерием остается то, что данное высказывание исходит из уст действительно «сто процентного» рабочего. Какое содержание вкладывает Данилов в термин «рабочий»? Мыслит ли здесь Данилов в рамках советских анкет: «рабочий, крестьянин, служащий, прочий», или как-нибудь иначе? Имеет ли он в виду «социальное положение» или «социальное происхождение»? Имеется ли в виду потомственный промышленный пролетарий или также и сельский? Принимается ли во внимание стаж работы на фабрике, или нет?

Эти вопросы вполне законны, потому что среди объектов Данилова имеются и начальник милиции, и гардеробщики, и швейцары, и молодые сторожа, и чернорабочие-колхозники.

Вот, например, в 1929 г. один швейцар-общественник произнес в Москве: «сдвинуть вопрос с мертвой точки зрения». Я не сомневаюсь, что он действительно швейцар, что он действительно общественник; фраза, которую он произнес, действительно «страшно» характерна именно для рабочего, но все-таки... Особенно беспокоит меня «трамвайный кондуктор 1929-30 г.». Маловероятно, чтобы он

«подложил нам свинью» и занялся городским транспортом лишь с 1928-29 года, а раньше был кустарем-ремесленником. Но говорит он очень странно. С другой стороны ему на помощь бежит Яша-комсомолец 1928 года из «Пьяного солнца» Гладкова и говорит то же самое. А вот и Михаил Зощенко в полном собрании своих сочинений говорит то же самое. «Гражданочка», говорят они все вместе, а Данилов записывает это как *специфичное для речевого стиля пролетариата*.

Но послушаем, в самом деле, что говорят объекты исследовательской работы Данилова, познакомимся с наиболее характерными, наиболее типичными чертами речевого стиля пролетариата.

Вот пролетариат, который вносит в свою речь «оттенок значительности и торжественности»: «он хотел быть в браздах правления», «ваш почтенный мастер», «ради своих интересов» и пр. А вот пролетариат разрешает противоречие между традиционной формой и новым содержанием в новой форме: в канцелярских бумагах он пишет вместо «сим прошу», «по сие время» — «настоящим прошу», «по настоящее время». А вот еще: рабочий класс заставляет звучать традиционные слова по-новому: «была психически *неполноценной*» (странное «созвучие» с научной терминологией). «Надо всецело стремиться», «у ней мечта поступить в вуз» (очень интересно знать, как бы «звучало» если бы сказать: «у ней мечта пойти в театр», или: «познакомиться с офицером»?). Много еще характерного для пролетариата говорят герои Данилова. Но достаточно приведенных примеров. Приведем последний: «Некоторое стилистическое задание мы можем обнаружить и в фонетике рабочего. Так, желая подчеркнуть необходимость решительного, бесповоротного действия, завагитпропом, раменский рабочий, так произнес одну из своих фраз: «Как пррримете, так и пррроведете».

Пусть этот рычащий агитпроп будет вечным памятником на могиле «даниловщины»!

Впрочем, некоторые беспокойные покойники, как известно, никак не могут «успокоиться» под уготованными для них судьбой надгробными плитами и памятниками. Посмертное «житие» имеет и Данилов. В последней книжке журнала «Русский язык в советской школе» напечатана его статья «О перестройке методики преподавания языка».

В *основу* этой перестройки, по мнению Данилова (весьма справедливому мнению), должна быть положена «методология Маркса, Ленина и, в частности, марксистско-ленинское наследство в части преподавания языка».

«Перестройка методики преподавания языка означает *прежде всего*

выяснение *специфики* нашего предмета. Чем мы занимаемся и чему мы учим наших учеников?»

В дальнейшем, выясняя эту специфику на основе «методологии Маркса, Ленина», Данилов высказывается по кардинальному вопросу: о литературном языке и о языке пролетариата. Посмотрим, что он говорит.

Данилов говорит: «Основная наша задача — овладеть литературным языком. Это означает, что мы должны усвоить *процесс оформления сознания господствующего класса данной национальности в языковом материале*». Отсюда с несомненностью явствует, что Данилов определяет литературный язык как процесс оформления сознания *именно господствующего класса*, т. е. литературным языком располагает *только* господствующий класс данной национальности, т. е. *пролетариат капиталистических стран (напр., Германии) не имеет литературного языка; русский пролетариат до Октябрьской революции также не имел литературного языка*.

Поэтому совершенно последовательно с своей точки зрения Данилов утверждает, что «при обучении иностранным языкам — это язык иного господствующего класса — буржуазии. На занятиях английским, французским, немецким и т. д. языком мы *не только по форме, но и по содержанию* [!!] учим языку враждебного нам класса». И далее Данилов снова говорит, что мы изучаем в школе на уроках иностранных языков «язык буржуазии». Разберемся в этой чепухе, которую Данилов выдает за выводы, основанные на «методологии» Маркса, Ленина.

Ясно, к какой нелепости приводят эти выводы Данилова. Ведь, с его точки зрения, язык «Коммунистического манифеста» и т. д. и т. п. — язык буржуазный *по содержанию*; Ленин и Сталин до Октябрьской революции писали на языке буржуазии, а после — на языке пролетариата; в дооктябрьской партийной литературе пролетариата мы имеем язык буржуазный *по содержанию*; язык коммунистической прессы капиталистических стран — язык буржуазный *по содержанию*!

Было бы совершенно неправильно квалифицировать высказывания Данилова *только как чепуху*. Эта чепуха имеет свои *методологические* корни и свой *политический* смысл.

Методология Данилова — антиленинская, антимарксистская. Метафизик и формалист, Данилов, если и читал, то совершенно не понял, извратил смысл учения марксизма-ленинизма о национальной культуре, о диалектике ее развития в капиталистическом обществе.

Ленин говорил: «...есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре.

Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова». И еще: «В *каждой* национальной культуре есть *хотя бы неразвитые элементы* демократической и *социалистической* культуры, ибо в *каждой* нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и *социалистическую*. Но в *каждой* нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — причем не в виде только “элементов”, а в виде *господствующей* культуры. Поэтому “национальная культура” вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии».

Составною частью этих «хотя бы неразвитых» элементов социалистической культуры (имеющейся в *каждой* национальной культуре) в *процессе их развития* неизбежно становится и *литературный язык пролетариата*. Становление пролетариата классом для себя, становление классового сознания пролетариата неизбежно приводят к становлению литературного языка пролетариата, национального по форме и социалистического по содержанию, в условиях воздействия содержания на форму. Само собой разумеется, что господствующим литературным языком остается язык буржуазии, который навязывается подчиненным классам государственным аппаратом, школой, печатью. Таким образом, литературный язык пролетариата не является *господствующим* элементом языковой культуры при капитализме, но отсюда еще весьма далеко до его отрицания. Больше того, литературный язык пролетариата неизбежно порождается *классовой борьбой* пролетариата; язык партийной литературы (политической, научной и пр.) является мощным орудием его *классовой борьбы* с буржуазией. Он неизбежно порождается «необходимостью на родном языке полемизировать с «родной» буржуазией, пропагандировать антиклерикальные и антибуржуазные идеи «родному» крестьянству или мещанству». Отрицать существование литературного языка пролетариата в эпоху до захвата власти пролетариатом значит *искажать* историю его *классовой борьбы, историю его партии*.

Данилов рассматривает литературный язык как оформление на языковом материале классового сознания только *господствующего* класса. Почему *только господствующий* класс способен оформлять свое классовое сознание на языковом материале? Почему неспособен к этому пролетариат? Политическая подоплека, политический смысл такого утверждения Данилова совершенно ясны: мы имеем здесь *барски-пренебрежительное отношение к пролетариату, к его «слабенькому» классовому сознанию*. В этом отношении Данилов идет

вслед за Е. Д. Поливановым, который утверждает, что никакой науки, кроме буржуазной, до Октябрьской революции не было, «забывая» о таком «пустячке», как марксизм-ленинизм. «Учитель» забывает марксизм-ленинизм, «ученик», фразерствуя о марксизме-ленинизме, забывает историю партии, историю ее борьбы за язык пролетариата, за партийную литературу.

Отрицая существование литературного языка пролетариата в капиталистических странах и у нас до Октябрьской революции, Данилов попутно высказывается о «пролетарских элементах» языка, об отличиях языка пролетариата от языка буржуазии. Эти высказывания до конца выявляют методологическую и политическую физиономию Данилова.

Он говорит следующее: «В отличие от буржуазных школ, мы должны так перестроить методику преподавания иностранных языков, чтобы, изучая язык буржуазии, мы в то же время вносили в это изучение существенные поправки, вытекающие из учета *пролетарских элементов изучаемого языка*. Некоторые преподаватели иностранных языков указывают, что они сами уже вынуждены стихийно становиться на такой путь. *Сложные конструкции фразы, запутанная грамматика* — все это *совершенно непосильно* нашим ученикам, и преподаватель иностранных языков вынужден *упрощать* языковые конструкции в тексте, т. е. *использовать элементы пролетарского языка* другой национальности. Еще в большей мере мы внесем эти поправки, базируя изучение иностранного языка на материале коммунистической прессы».

Таким образом, «концепция» Данилова сводится к следующему: во-первых, самая постановка вопроса о «пролетарских элементах» вызывается тем, что язык буржуазии *непосилен* нашим ученикам — рабочим и крестьянам (если бы не эта «слабосильность», то, пожалуй, незачем и говорить о «пролетарских элементах»: рабочие и крестьяне преспокойно остались бы при буржуазном языке); соответственно этому, во-вторых, язык пролетариата характеризуется как более *простой* — и только — по сравнению с языком буржуазии. Ясно, что абстрактно взятые словечки «простой» и «сложный» никак не могут характеризовать отличие языка пролетариата от языка буржуазии, как не могут, например, характеризовать эти словечки отличие мышления буржуазии от мышления пролетариата: что «проще» — материалистическая диалектика или формальная логика, эклектика, софистика? Это все та же «теория» *упрощенства, снижения, грубоватости*, которую мы видели выше и которая является *клеветой* на рабочий класс. Ясно также, что *никак нельзя* характеризовать отличие языка пролетариата от языка буржуазии *только* по линии

формы («запутанная грамматика», «сложные конструкции»). Здесь снова сказывается формализм Данилова.

«Посмертное» лингвистическое приключение Данилова еще полнее раскрывает его методологическую и политическую физиономию. Мы должны уточнить нашу характеристику «даниловщины» в том смысле, что *под флагом марксизма она протаскивает в нашу научную и школьную практику буржуазную контрабанду.*

(1932)

*Г. И. Горбаченко, Н. П. Синельникова,
Т. А. Шуб*

ВЫЛАЗКА БУРЖУАЗНОЙ АГЕНТУРЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Борьба за марксистско-ленинскую практику в науке неизбежно связана с борьбой за чистоту марксистско-ленинской методологии, за чистоту большевистской теории, которая дает «практикам силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру в победу нашего дела» (Сталин).

Решительное большевистское наступление на всех фронтах, в том числе и на фронте идеологическом, встречает отчаянное сопротивление всех сил старого мира. На фронте теории оно принимает чрезвычайно тонкие формы. Враждебные элементы маскируются «марксистской» фразеологией, спекулируют терминологией Маркса—Энгельса, подписываются под манифестами, декларирующими переход к марксизму, и в то же время протаскивают идеалистические установки, смыкаясь с социал-фашизмом.

Придавая своим антимарксистским выступлениям «марксистскую» видимость, подобные хамелеоны заполняют рынок макулатурой, явно вредной продукцией, смущающей сотни учащейся молодежи. Хамелеонство за последнее время особенно проявилось в лингвистике. Таково бесстыдное выступление открытого защитника индоевропеистики проф. Поливанова, озаглавившего свою книжку «За марксистское [?!] языкознание», идеалистическое писание Волошинова «Марксизм и философия языка». Такова, в основном, вся продукция группы «Языковедный фронт», беспринципного блока от Г. Данилова, Лоя, Ломтева до Дрезена и Бубриха.

С марксистскими» клятвами, под соусом без толку и разбору надерганных цитат они протаскивают обветшалые отрепья индоевропеизма в теорию и практику языкознания. Боевыми рыцарями формализма, этого главного врага марксистской науки, выступают и «вожди» эсперантистов Э. Дрезен и Спиридович. В качестве щита против возможных нападений они выставляют все ту же марксистскую фразеологию (в этом особенно отличается Спиридович), но средством нападения им служит все то же тупое копые формализма (здесь особенно силен Э. Дрезен). Э. Дрезен и Спиридович дополняют друг друга.

Разбираемые книги сближаются и связываются тремя основными моментами:

1) Книги трактуют о теории эсперанто; 2) книги изданы под маркой ЛГИЛИ, который должен бороться за марксистскую лингвистику, и, наконец, 3) книги вредны, представляя собой вылазку классового врага на лингвистическом участке идеологического фронта.

В разбираемых книгах нас, несомненно, раньше всего должны интересовать те методологические позиции, которые обосновывают утверждения авторов, их теорию и практику.

Четких позиций мы у них не находим, они крайне «эластичны» и, несмотря на то, что обе книги исходят из одной организации, несмотря на то, что обе претендуют на марксизм (особенно книга Спиридовича), они довольно сильно различаются в своих установках. Ни грана революционного марксизма в них нет, хотя, например, Спиридович клянется марксизмом, разукрашивая всю книжку цитатами из основоположников. Одно несомненно: от первой страницы «Очерков теории эсперанто» (ЦК СЭСР, 1931 г.) до последней страницы «Языкознание и международный язык» (ЦК СЭСР, 1931 г.) перед нами вреднейший суррогат научной мысли.

Авторами-эсперантистами язык понимается крайне односторонне. Освещается только одна из двух функций языка — *общение*, всеобщая форма связи. Язык, как способ коммуникации, возводится в основу основ. «Будучи продуктом социально-экономической среды, его определяющей, (язык) служит для выражения тех идей и представлений, которые определяются данной социально-экономической средой».

Язык низведен до «условного средства взаимного понимания между людьми» и не больше. То же самое и у Спиридовича.

Забывается, преступно игнорируется неотъемлемая часть единого процесса — *воздействие*.

Возникая как средство связи, общения, как «потребительная стоимость» (Маркс), язык представляет собою одновременно и орудие

воздействия, могущественный рычаг культурного развития, орудие классовой борьбы, средство переделки мира.

Маркс учит, что «язык так же древен, как и сознание; язык — это практическое реальное сознание, которое существует также и для других людей, а, значит, и для меня самого, и язык, точно так же, как и сознание, *возникает* только из необходимости, неизбежности взаимоотношения с другими людьми» (Маркс, «Немецкая идеология». Курсив наш — авторы).

Отрицая за языком функцию воздействия, авторы сводят лингвистику к пассивно-формальному изучению языковых явлений вне учета содержания, что приводит к явно реакционным утверждениям индоевропеизма и сигнализирует внутренний тупик авторов-эсперантистов.

Характерным для «Очерков теории эсперанто» в их общелингвистической части является не пренебрежение автора к вопросам истории языка, а то, как он понимает эту историю.

«Мы не будем говорить об общей истории, происхождении и эволюции языка, — вещает автор, — иначе нам пришлось бы затронуть здесь и проблемы криков животных, языков примитивных народов, языков людей с ненормальным мышлением, языков различных классов общества, различных профессий и даже отдельных лиц».

Так выдают свои методологические установки в вопросах понимания языка, его истории и роли Дрезен и Спиридович, следующие заветам д-ра Заменгофа. Их воззрения не новы, не оригинальны, так как слепо повторяют уже давно избитые утверждения воинствующего индоевропеизма. За этими установками скрывается методология так наз. социологической школы Фердинанда де-Соссюра, «социология» которого никакого отношения к социологии не имеет.

Что взгляды и установки буржуазного языкознания не случайны для методологии авторов, свидетельствует вторая мысль, развиваемая Дрезеном на той же странице упомянутых «Очерков»: «Мы признаем, что практика языка требует эластичной [?!] прикладной логики, но никак не логики абстрактной. Прикладная логика находит путь в мышление каждого нормального человека при посредстве того быта и той социально-экономической среды, которые характерны для его существования. Поэтому и элементы такой логики для лиц зрелого возраста становятся привычными». В тех же «случаях», когда такая логика недостаточна, автор рекомендует помощь «привычки и языковой традиции, устанавливающих для определенных идей определенные языковые формы».

Итак, как видно, для познания языка раньше всего необходима прикладная логика, но, конечно, не марксистско-материалистиче-

ская, о существовании которой автор, видимо, ничего не знает, а «эластичная», которая для «нормально мыслящих людей зрелого возраста» обеспечивает понимание «известных идей и мыслей», а там, где она бессильна, действуют давно знакомые «привычка», «языковые традиции», — можно было бы добавить «аналогия», тот балласт компаративной лингвистики и т. д.

Поскольку речь идет о привычке, закрепляющей «идею и форму» и нормы развития языка, напрашивается вывод о невозможности языковой политики, о невозможности организованного влияния на пути языкового строительства.

Вот почему автор беспомощен вскрыть факты разрыва между письмом и живым языком. Секрет прост, он в методе.

Говоря о том, что «родство различных языков вызвано родством социально-экономических условий», автор — почти марксист, но, продолжая ту же мысль, Дрезен пишет: «фонетика служит также познанию степени родства самых различных языков». Итак, сродство коренится в экономике, а выражается только в форме, в фонетике. Идеология слова, семантика, ее противоречивое развитие — абсолютно не находят себе никакого места во всей этой работе, как и правильное классовое понимание языка и роли его в общественной жизни. Идеология, вообще, избегается.

Посвящая «Очерки теории эсперанто», в основном, вопросу о научной грамматике, Э. Дрезен пишет: «Во всяком случае, если попытаться создать научную грамматику эсперанто, то предварительно необходимо освободиться от тех формальных методов, которые практикуются при выработке научных грамматик для европейских национальных языков». Автор заявляет, таким образом, о каких-то совершенно новых материалистических позициях в борьбе с формальным методом «европейских национальных грамматик». Но дальнейшее разочаровывает. Автор заявляет, что «научная грамматика обычно состоит из следующих разделов: 1) фонетика, 2) морфология, 3) синтаксис, 4) семантика, 5) этимология». Во-первых, заявление автора не новость. Во-вторых, заявление о необходимости освобождения от формального метода не подтверждается практикой автора, так как он вполне солидаризируется с формалистами. Тот факт, что научная грамматика «оригинального» языка эсперанто начинается страницей о фонетике, затем идет морфология, синтаксис и только четвертое место отведено семантике, являющейся краеугольным камнем в изучении всякого национального языка, как показывающей диалектику его развития, единство противоположностей в слове, — убеждает нас лишний раз в том, что автор формалистически освещает вопросы языка, хотя иногда и вспоминает о соци-

альной среде. Так, Дрезен пишет: «Традиции, обычаи, определенная экономическая среда оказывают влияние на способ мышления людей и, следовательно, на их приемы в построении предложений. Поэтому иногда языковая форма получает в языках смысл безупречный с высшей [!] логической точки зрения, но смысл, более или менее случайно этой форме присвоенный некоторыми лицами из числа первых, начавших употреблять эту форму. Это часто случается в национальных языках». Вот как автор, претендующий на звание марксиста, вскрывает причины, влияющие на способ мышления. Сюда входят, как видно: традиция и обычай и наряду с этим «экономическая среда». Автор отождествляет ее с традицией и обычаем, сообщая им такую же активную роль, какую играет экономическая среда. Может быть, автор имел в виду сложное взаимодействие между базисом и надстройкой? Но в таком случае следовало бы ожидать выяснения, как базис определяет надстройку, а надстройка, в свою очередь, влияет на базис. Этого у нашего автора и в помине нет. Книга доказывает, что значение привычки и традиции ставятся автором в один ряд с значением экономической среды в образовании языка и его стройке.

Из приведенной схемы научной грамматики видно, что автор считает фонетику и морфологию наиболее важными отделами грамматики эсперанто. Но фонетика и морфология отнюдь не могут объяснить языковые факты, будучи взяты отдельно, оторванно от семантики, от всего языкового строя.

Будучи последовательным до конца в своем формальном изложении и истолковании языковых фактов, автор в разделе «Морфология» пишет: «Соединение двух или нескольких корней образует новое слово, выражающее новое составное понятие, как бы логически суммирующее понятие, содержащееся в отдельных элементах этого нового составного слова». Автор исходит из положения, что «в эсперанто доминирует, почти без исключения, общий закон: корни не изменяют своей формы».

Комбинация двух-трех неизменяющихся корней объясняет, по автору, факт возникновения всякого нового понятия. Здесь автор, как и в разделе «Фонетика», совершенно опускает причинность в объяснении языковых явлений, констатируя только факт неизменяемости корней. Несомненно, что новое понятие требует нового слова, несомненно и то, что это новое понятие только внешне формально будет напоминать о его образующих, но оно будет некоторым представлять собой не «логически суммированное понятие», а будет новым качеством, новым именем нового действия. Только как можно говорить о составном слове, лишь формальными признаками

связанном со своими образующими. Утверждение о «логической сумме» представляет собой неприкрытый формализм.

«Для масс надо писать без таких новых терминов, которые требуют особого объяснения». «Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо».

Может ли эсперанто выполнить хоть одно из поставленных Лениных условий? Нет. Эсперанто не может этого сделать, так как оно не может служить средством познания, а тем более воздействия.

По своему строю эсперанто представляет собою нечто очень пестрое, и в этом сознается сам Дрезен, говоря о том, что по словарному составу он напоминает о европейском происхождении, а по строю о восточном. И из этого, по мнению автора, вытекает простота языка эсперанто.

Вполне законны и уместны «коварные» вопросы критики, и напрасно автор пытается их предотвратить словами пословицы: «Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответят и сто мудрецов». Мудрецы это, как видно, — эсперантисты.

Мы задаем вопрос: может ли быть допущен в эпоху диктатуры пролетариата такой формализм, прикрываемый революционной фразой об эсперанто, как языке пролетариата? Вывод определится сам собой, когда мы рассмотрим концепцию второго из наших «авторов-мудрецов» — Е. Спиридовича.

Как бы дополняя грамматические экскурсы Э. Дрезена, Е. Спиридович стремится обосновать право на жизнь языка эсперанто всяческими новыми соображениями. Значительная часть его книги «Языкознание и международный язык» посвящена критике различных теорий в языкознании. Понятно, что критика дело полезное, однако при одном условии: если она ведется с правильных методологических позиций. Несмотря на частое упоминание имен основоположников марксизма, ничего марксистско-ленинского в критике Спиридовича не имеется. Его критика ведется целиком и полностью с формалистских позиций, с точки зрения «теории» языка как лингвотехники.

Особенно нелепа и беспомощна критика теории акад. Н. Я. Марра, где автор обнаруживает полное непонимание этой теории, недопустимо ее вульгаризирует, извращает ее основные положения (голословные обвинения Н. Я. Марра в национальной ограниченности, в создании теории «доисторических» «некультурных» народов, в сведении языкознания к науке о «доистории», в отрыве от современности и т. д. и т. д.). Эти чудовищные трюки проделываются с лицемерными расшаркиваниями и поклонами в сторону акад. Н. Я. Марра, с величанием его «гениальным».

Центральным тезисом книги является учение о языке только как о средстве общения между людьми, «теория лингвотехники». Е. Спиридович прямо пишет: «...если не абстрагировать язык, как форму, от его содержания, то разве можно когда-нибудь хоть в малой мере приблизиться к сознательному совершенствованию языка?». И автор верен своей установке: на протяжении всей книги он выступает как воинствующий формалист. И все это проделывается со ссылками на Маркса, который (к сведению Спиридовича) учил рассматривать форму и содержание в диалектическом единстве.

Е. Спиридович, правда, пишет: «...забывается, что язык вообще является искусственным созданием человека... Поэтому отрицать возможность искусственного творчества языка, понимая под этим сознательно организованное изменение и построение его, значит отрицать вообще искусственность человеческого языка, становиться на точку зрения общей “нерукотворности” его, как явления естественнонаучного, т. е. становиться на точку зрения, которую в настоящее время поддерживают лишь самые оголтелые мракобесы в области буржуазного языкознания». Однако эти слова, сами по себе безусловно правильные, не проводятся им в жизнь в его теории. Сознательное и организованное изменение языка наш «теоретик» понимает чисто механически, как административное вмешательство в технику языка, без изменения идеологической сущности, которую «техника» языка выражает. Поэтому построение нового международного языка представляется им в виде простой технической задачи на подобие монтажа радиоприемника. Монтаж этой «лингвистической машины» производится путем стаскивания деталей из разных европейских «культурных» языков, без всякого учета элементов мышления и семантики, на основе «фонетического сродства». Спрашивается, чем это отличается, в сущности, от индо-европеистики, которая исходит из сравнительного изучения звукового состава языков?

Хотя Е. Спиридович и выступает на словах против богдановской теории ассимиляции в международном языке, однако это выступление остается пустой фразой, так как нет принципиальной разницы между теорией А. Богданова, предлагавшего в качестве международного языка английский, и «теорией» эсперанто, предлагающей окрошку из европейских языков. Оба эти предложения оставляют за бортом большинство языков мира.

Не лучше обстоит дело и с предсказанием о будущих путях развития международного языка. Е. Спиридович пишет: «Помирился с эволюционистами на такой оговорке: мы тоже в известной мере эволюционисты — мы не думаем, что к единому ВЯ человечество придет

сразу от множественности национально-литературных языков капитализма: *так же, как между* эпохами капитализма и коммунизма будет переходная эпоха социализма, так же и язык будет иметь переходную стадию не всеобщего, но лишь вспомогательного международного языка, имеющего существовать наряду с национальными языками». Приходится сказать, что представление о социализме у Спиридовича не отличается ясностью. Социализм он представляет как «переходную эпоху от капитализма к коммунизму». Между тем и Маркс, и Ленин, и программа Коминтерна трактуют социализм как низшую стадию коммунизма. Вот что пишет Ленин: «...научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал «первой» или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку *общей* собственностью становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это *не* полный коммунизм». (Курсив Ленина.)

Переходный период от капитализма к коммунизму (и его низшей стадии социализму) программа Коминтерна определяет так: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного преобразования одного в другое. Ему соответствует и политический переходный период, в котором государство не может быть ничем иным, как революционной диктатурой пролетариата» (Программа Коминтерна, раздел IV, 1).

Неясное представление о разнице между переходным периодом и социализмом, о котором т. Сталин говорит, что «социализм есть переход от общества с диктатурой пролетариата к обществу безгосударственному», сочетается у Е. Спиридовича с механической аналогией развития языка с развитием общества. В такой постановке язык оказывается оторванной от классового общественного сознания самостоятельной категорией, развитие которой будет, очевидно, механически копировать ход развития общественно-экономической формации.

Конечно, подобная «концепция» не имеет ничего общего с действительностью, а следовательно и с марксизмом. Международный язык, конечно, разовьется только на основе единства мирового хозяйства, в эпоху развернутого коммунизма, когда будет ликвидирована противоположность между умственным и физическим трудом, когда каждый будет работать по способностям и получать по потребностям, когда исчезнут классы и отомрет государство. Но это отнюдь не будет «удивительно легкий» эсперанто, которым так хвалятся наши неудачные «теоретики» (кстати, вопрос о легкости языка, в условиях величайшего культурного развития коммунистического

общества, не будет иметь решающего значения), а язык совершенно нового качества, который впитает все величайшие достижения всех национальных языков, и, возможно, не чисто звуковой (передача мыслей на расстоянии без помощи звука). Это, конечно, не значит, что уже теперь нет интернациональных элементов в языке. Они есть, но совсем не там и не в том, где их видят наши «теоретики», которые в основу кладут не семантику, а «лингвотехнику». Сам эсперанто тоже не есть голая «лингвотехника», а язык сугубо классовый и великодержавный, причем классовость его отнюдь не пролетарская; то, что пролетарии ведут на нем международную переписку, еще не делает его пролетарским.

Необходимо также отметить, что Е. Спиридович, спекулируя именами Маркса и Ленина, совершенно не приводит их высказываний о языке. Почему бы не привести замечание Ленина о том, что «история мысли — история языка».

Как же понимает Е. Спиридович классовость языка? А вот как: «Два слова об общем понятии классовости языка. Социологическая школа в языкознании, изучая явления дифференциации в языке, склонна считать классовыми языками в современном нам обществе профессиональные и другие групповые *диалекты*, образующиеся преимущественно в порядке устного, стихийного творчества изменения языка (“высказывание”). Увлечение процессами “естественного”, стихийного творчества в языке доходит до того, что этим процессам (очень важным в творчестве национально-литературных языков) уделяется огромное внимание при... забвении более важных по своим перспективам процессов искусственного творчества в языке: изучаются под микроскопом профессиональные наречия, язык “низов”, и закрываются глаза на творчество действительно пролетарского языка, которому принадлежит новая эпоха — на творчество ВМЯ. Отсюда показная революционность некоторых наших лингвистов, которые в своих лингвистических платформах пишут об изучении “языка рабочего и колхозника” и не замечают слона — массового пролетарского движения за ВМЯ. В современном обществе языками классовыми являются не наречия, возникающие в общезжитии на почве устного применения языка (напр., язык аристократии, купцов, ремесленников и рабочих той или иной специальности и т. д.), а языки национально-литературные с целом». И дальше: «Язык этой высшей эпохи, как мы уже отмечали в нашей критике теории акад. Марра, разовьется (вернее, уже развивается) не из языка «низов», не из народного, устного языка новых пролетариев, приходящих из села и естественно приносящих с собою остатки крестьянской культуры и языка, которые являются во многом пережитками

еще до-менового общества, а через *восприятие высших достижений капиталистического общества и их творческую переработку*, через восприятие национально-литературного языка буржуазного общества».

В этой небольшой цитате Е. Спиридович сумел нагородить целый ряд грубейших ошибок. Е. Спиридович противопоставляет понятие стихийности понятию искусственности, причем бесписьменные языки он относит к стихийным, а национально-литературные к искусственным. Противопоставление явно неверное. Если что-либо производится человеком искусственно, разве производство этой же вещи не может носить стихийного характера? Ярким доказательством этого служит производство товаров в капиталистическом обществе. Сам товар производится человеком искусственно, а производство товаров в целом носит стихийный характер. То же самое мы имеем и в национально-литературных языках, которые Е. Спиридович считает «искусственными» и противопоставляет их «стихийным» разговорным языкам. Разве строительство национально-литературных языков носило плановый или хотя бы «полуплановый» (Е. Спиридович называет национально-литературные языки «полуискусственными») характер? Стихийность имеет определенную закономерность, которую и необходимо установить, а не отмахиваться от нее.

Совершенно неверна постановка в один ряд таких явлений, как «язык аристократии, купцов, ремесленников и рабочих той или иной специальности», и подведение их под один термин «диалекты», под которым неизвестно что Е. Спиридович понимает. И тем более нелепо утверждение, что эти «диалекты» не являются классовыми.

Утверждение, что язык коммунистического общества возникнет не из языка «низов» и новых рабочих, а также, очевидно, и колхозников, а появится как некий дар буржуазии, как две капли воды походит на теорию Троцкого, отрицающего пролетарскую литературу на том основании, что пролетариям будет некогда ее создавать, а остается только усвоить достижения буржуазной литературы и шагнуть к литературе общечеловеческой. Мы уже не говорим о чисто троцкистском отрицании роли колхозного крестьянства.

Отрицание необходимости изучения национальных языков и понимание эсперанто в качестве языка пролетариата означает отрицание языка пролетариата в национальной форме. Спиридович не понимает, что диктатура пролетариата осуществляется в национальных рамках, что пролетарская культура, в том числе и язык, имеет национальную форму (хотя сущность культуры социалистическая). Когда мы будем иметь коммунистическое общество и всеобщий мировой язык, тогда не будет классов, а, следовательно, и про-

летариата (а также и наций). Поэтому выдавать эсперанто за язык пролетариата по меньшей мере поспешно.

Вообще Е. Спиридович указанной постановкой вопроса замазывает важность и трудность изучения национальных языков и подсовывает изучение эсперанто. *Между тем на данном этапе главным является именно изучение национальных языков.* И только на основе этого изучения, на основе правильной большевистской политики в национальном вопросе может быть поставлен и правильно решен вопрос о международном языке. Стремление перепрыгнуть через национальный этап развития языка пролетариата, отделаться от изучения национальных языков, объявив эти языки непролетарскими, представляет собой типичный «левацкий» мелкобуржуазный радикализм.

Что такое стремление действительно у Е. Спиридовича имеется, показывают его следующие слова: «Создавая свою историю ВМЯ, Заменгоф уже наметил в основных чертах ту перестройку языкознания, которая должна была поставить эту научную дисциплину на истинно научные рельсы. *Он разрешил главную задачу, которая стоит перед всякой общественной наукой по Марксу, — «дал истинный лозунг борьбы»*, обосновал его и разработал ближайшие пути этой борьбы. Так были положены основы пролетарской революции в языкознании».

«Теоретики МЯ, начиная с Заменгофа, дали в области языка “истинный лозунг борьбы”. На основе этого лозунга создалось целое движение за ВМЯ — лозунг оказывается исторически оправданным. Уже этого достаточно, чтобы считать марксистскую основу перестройки языкознания заложенной. *Отныне разработка всех вопросов языкознания должна пойти в русле этого “лозунга борьбы”, исходя из него и для него.* Отныне языкознание приобретает значение одной из актуальнейших наук, призванных разрешить неотложнейшую и важнейшую задачу создания единого языка человечества. Отныне область работы лингвистов должна вся уйти на задачи не только изучения языка как *социального* явления (история языка, увязка его с экономическими и политическими науками), но и как явления *технического* порядка. Так намечаются *две основных лингвистических дисциплины: история лингвотехники и лингвотехнология*».

Цитата говорит не только сама за себя, но и за своего автора. Убогое упрощенчество в подходе к языку, полное непонимание термина «революция», основы которой, как оказывается, может положить один человек, непонимание, что такое лозунг в ленинском толковании, сведение всей сложнейшей проблемы к пресловутой «лингвотехнологии» и «истории лингвотехники» — вот что открывает

нам еще раз приведенная цитата. Планомерное воздействие на язык, языковая политика, проводимая на научных основах, в этой концепции подменяется беспардонным администрированием «лингвотехнологов».

Эсперанто имеет свою историю, свое имя, отчество и происхождение.

Когда доктор Заменгоф, ныне возводимый своими ретивыми учениками в теоретика-обоснователя языка переходной эпохи, в условиях четырехязычного Белостока пришел к мысли о необходимости международного языка, он стал строить его на основе романо-германских корней. Первая ячейка эсперантистов возникла в торгово-промышленном Нюрнберге в 1888 г. По происхождению своему эсперанто — мелкобуржуазная утопия, но фактическая роль его не может быть оспариваема.

Эсперанто широко используется для римско-католической пропаганды, используется полицейскими организациями, используется крупными коммерческими фирмами и т. п. Эсперанто — факт, и с этим приходится считаться. Отрицать явно существующее вряд ли кто-либо возьмется. Совершенно иное — оценка данного факта и вытекающие отсюда возможности использования его в деле социалистического строительства.

Язык эсперанто, выступающий у Е. Спиридовича как голая лингвотехника, а у Э. Дрезена как сумма грамматических навыков, — отнюдь не безразличен в классовом отношении, несмотря на то, что он «мертв», как и международный телеграфный код. В руках пролетариата он работает на пролетариат.

Но крайне странным является стремление выставить его как международный язык пролетариата (Е. Спиридович) и социалистического общества. Только отрицая диалектическое единство языка и мышления, только подходя формально к понимаю звуковой речи как вечной категории (Н. Я. Марр доказал, что это категория сугубо историческая), можно навязывать будущему обществу с новыми общественными отношениями, новым мышлением свои лингвистические упражнения кабинетного порядка, причем еще усиленно расхваливать этот товар, выставляя на показ его дешевизну — «легкость и простоту».

А что будет, если свободные граждане социалистического общества не захотят пользоваться указаниями эсперантистов и выдвинут свой «встречный план» международного языка, как синтез национальных языков и, может быть, даже не на звуковой основе? Вообще упрощение этой величайшей проблемы, уверение в том, что она уже решена «гениальным доктором Заменгофом», означает дезертирство

от действительного разрешения этой проблемы, дезертирство от национальной проблемы, от проблемы колониальных революций и культурного подъема отсталых народностей.

И оказывается, что уважаемые авторы — «строители языка новой эпохи... первыми выступают в области постройки действительной науки об языке на базе марксизма» и что «революция в языке уже в основном завершена». Поистине эти люди не страдают таким пороком, как скромность.

Хочется в заключение привести еще одну цитату бахвальства:

«Сейчас, через 40 с лишним лет после появления “Основ” эсперанто, мы уже имеем богатейший язык, не идущий ни в какое сравнение ни с одним из существующих культурных [!] языков». Да ну!

Говоря об эсперанто, акад Н. Я. Марр сказал: «Это маргарин. Бывает время, когда и маргарин хорош, нужен, но это еще отнюдь не значит, что мы не должны добиваться масла».

«Маслом» будет единый мировой язык пролетариата, который будет создан на основе пролетарского интернационализма, на базе новых социальных отношений, как результат «расцвета национальных культур (и языков)» (Сталин) и в дальнейшем «слияния их в одну общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в период победы социализма во всем мире» (Сталин). Этот язык будет «не русским, не немецким, не чешским», он будет представлять собой новое и высшее качество, вобрав в себя все достижения пролетариата, перестраивающего мир».

«Философы объясняли мир, а суть в том, чтобы его переделать» (Маркс). Язык является одним из орудий перестройки мира.

(1932)

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

СЕКЦИЯ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ КОМАКАДЕМИИ

При подсекции было организовано три исследовательских группы: а) методологическая, б) глоттогоническая, в) лингвотехническая.

Деятельность подсекции материалистической лингвистики была размежевана с работой лингвистических секций в Ранионе и Инарвосе. В результате Комакадемия взялась за проработку общих ме-

тодологических и лингвополитических проблем, Раниону отошла социальная диалектология в плане славянских и романо-германских языков, а Инарвос взялся за работу над конкретным востоковедным материалом в яфетидологическом направлении.

Были приняты меры к консолидации коммунистических сил на лингвистическом фронте (совещание при подсекции языка). С осени подсекция была переименована в секцию института ЛИЯ.

Научно-исследовательская работа.

Был проведен диспут на тему: «Рационализация русского правописания» (доклады тт. Устинова и Андреева). В течение октября—декабря была проведена дискуссия по «Очередным задачам лингвистов-марксистов», занявшая 13 заседаний (докладчики — тт. Данилов и Ломтев).

В течение года сверх того было прочтено 20 научных докладов. «О великодержавном шовинизме и местном национализме в языкознании» — *Каганович*. «Проблема марксистского языкознания» — *Аптекарь*. «Некоторые вопросы марксистской науки о языке» — *Бузук*. «К вопросу о социологическом методе в диалектологии» — *Каринский*. «К вопросу о природе предложения» — *Виноградов*. «Проблема буржуазного лингвистического наследства» — *Шор*. «Итоги Пражской языковедной конференции» — *Каринский*. «К вопросу о генезисе мордовского ударения» — *Рябов*. «Еврейский язык в яфетидологическом освещении» — *Гранде*. «К методологии изучения языка писателя» — *Никифоров*. «Опыт композиционно-стилевого анализа брошюр Ленина» — *Введенский*. «Язык современного рабочего» — *Данилов*. «Классовая дифференциация языка» — *Штрэм*. «Очередные задачи прикладного языкознания» — *Яковлев*. «Принципы изучения идиомов» — *Павлович*. «Язык законов и меры его оздоровления» — *Гус*. «Яфетидология в школе» — *Кусикьян*. «Эксперимент на службе марксистской методики языка» — *Феофанов*. «Обучение орфографии с классовой точки зрения» — *он же*. «Новые программы по языку для ФЗС» — *Алавердов*.

По издательской линии.

Подготовлены к печати: а) I том сочинений Марра; б) монография Данилова «Язык современного рабочего»; в) перевод Гумбольдта и «Общего курса по языковедению» Сосюра и г) материалы языковедной дискуссии.

Практическая работа.

Секция в лице отдельных своих представителей, участвовала в орфографической комиссии Главнауки и выработке соответствующего плана действий. Провела работу по анализу языка советских законов и внесла предложения правительству о мерах его оздоров-

ления. Участвовала в программной комиссии Главсоцвоса и подготовке программы по языку для техникумов и ФЗС. Приняла план подготовки учебников по языку для Госиздата.

Нияз

Научно-исследовательский институт языкознания был создан в связи с реорганизацией Института языков и литературы Ранимхир-ка. Нияз начал свое существование с 15 февраля 1931 г. под боевыми лозунгами: «За создание марксистско-ленинской науки о языке», «Лингвистика — на службу культурной революции, на выполнение задач реконструктивного периода».

Институт имеет 6 секторов: методологический, практический, исторический, массовый, редакционно-издательский и сектор кадров.

Методологический сектор, разрабатывая основы марксистско-ленинской лингвистики, создает теоретическую базу для практического и исторического сектора. «Язык и расовая теория», «Нация и язык», «Язык и классовая борьба», «Проблема языковой политики и практики», «Проблемы развития языка», «Методология истории отдельного языка», «Закономерности в развитии языка переходного периода», «Проблемы международного языка», «Философские и классовые основы лингвистического наследства», «Принципы построения научной грамматики», «Марксистская переработка методики языка», — вот круг тех проблем, которые должны быть разрешены методологическим сектором.

Исторический сектор ведет работу по изучению языка рабочих и крестьян (на материале русского, украинского, белорусского, молдавского и других языков), общих черт языка реконструктивного периода, литературного языка XVIII—XX вв., а также разрабатывает тему «Восточно-славянские языки периода первоначального накопления» по памятникам XVI—XVII вв. Общая научно-исследовательская тема исторического сектора: «Нация, класс и язык в его взаимодействии с диалектами». Вся работа сектора построена таким образом, чтобы от изучения исторического материала подойти к разрешению задач современности, и результаты изучения языка рабочих и крестьян использовать для разрешения конкретных вопросов языковой политики и практики.

На лето текущего года намечена диалектологическая экспедиция в районы Тверской, Лихославльский и Псковский для изучения языка крестьян-колхозников и единоличников; состоится также ряд отдельных экспедиционных командировок (в Белоруссию, Тоншаевский район области Мари, Крым и др.).

Пульсом института, свидетельствующим об его жизнеспособности, является практический сектор, работа которого заключается не только в разрешении ряда проблем прикладной лингвистики, но также и в осуществлении конкретных мероприятий в области языковой политики и практики. План сектора включает построение научной и школьной грамматики, разработку лингвистических основ методики преподавания языка (в русской и инонациональной аудиториях), методики обучения языку по радио, методики заочного обучения, составление кинозвукового фильма для культармейцев, рационализацию письма, изучение языка книги, законов, колхозной и заводской газеты, ораторской речи и ряд других проблем.

Практический сектор в составлении своего плана исходил не только от общей необходимости разработки той или иной проблемы, но и от конкретных заданий правительственных и научных учреждений, так например изучение языка законов ведется по поручению ЦИК СССР, Наркомпочтеля и пр.

Нияз ставит своей целью установить тесную связь с широкими массами работников просвещения, студенчества, работников печати, вузами и институтами как в Москве, так и в провинции. Проведение докладов, диспутов, консультаций в домах работников просвещения, рабочих клубах, вузах с целью популяризации среди широких масс марксистско-ленинского учения о языке и содействия подъему языковой культуры трудящихся — таковы задачи массового сектора института.

Результаты работы институт будет опубликовывать на страницах своего журнала, в отдельных сборниках трудов института и монографиях. Издательский план Нияз включает издание лингвистического ежегодника, лингвистической хрестоматии (пособия для вузов) и массово-популярной библиотеки по вопросам языкознания («Язык и классовая борьба», «Национальный вопрос и язык», «Происхождение языка», «О международном языке», «Языковедение в массы» и др.).

Институт стал на путь решительной перестройки принципов и методов научной работы. Коллективизм — основной принцип в научно-исследовательской работе института. Бригады, соревнующиеся между собой, включают не только сотрудников института, но и актив из специалистов и практиков по разрабатываемому бригадой вопросу.

За короткий срок существования институт развернул работу по всем разделам. Разработан общий и календарный план секторов и института в целом, организована работа большинства бригад, составлен пятилетний план. Состоялось три заседания Ученого совета

Нияз. На первом организационном заседании директором института т. Бочачером был сделан вводный, руководящий доклад «Об итогах философской и лингвистической дискуссии и задачах института». На втором заседании Бочачер сделал доклад «О реализации постановления ЦК ВКП(б) о научной работе», охарактеризовал обстановку, в которой протекает работа института, и уточнил круг тех проблем, которые в настоящее время стоят перед институтом (решительный поворот лингвистики к задачам современности, борьба с индоевропеизмом, «меньшевистствующим идеализмом» и механистическими тенденциями в языкознании, борьба с великодержавным шовинизмом и национал-демократизмом в языке), на третьем заседании пленума института совместно с секцией материалистической лингвистики Комакадемии т. Данилов прочитал доклад на тему «Язык нации и класса».

Крайняя ограниченность марксистски-выдержанных лингвистических кадров выдвигает перед Нияз ответственной задачу их подготовки.

В настоящее время институт имеет 7 аспирантов (5 — по русскому языкознанию и 2 — по западноевропейскому), переведенных из Института языка и литературы и Московского педагогического института.

Исходя из чрезвычайной сложности положения, обостренности борьбы на лингвистическом фронте, Нияз ставит своей задачей в текущем году особо тщательного подбора партийного и социального состава аспирантуры.

Программы и планы подготовки аспирантов перестраиваются под лозунгом наибольшего приближения академических занятий аспирантов к обслуживанию запросов современности и к практике нашего социалистического строительства.

Аспиранты пишут учебник «Основные вопросы языкознания» для учителей школ первой ступени.

Лингвистическая комиссия НИАНКП

При Научно-исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем (Нианкп) уже второй год работает Лингвистическая комиссия, в задачу которой входит научная проработка вопросов языкового строительства на советском и зарубежном Востоке, а также исследовательская работа в области общих проблем прикладной лингвистики.

В прошлом, 1929/30, академическом году работа комиссии была главным образом посвящена проблеме создания национальной ту-

винской письменности. Работниками комиссии был внесен ряд существенных поправок в первоначальный проект тувинского алфавита, намечены основные принципы тувинской орфографии, составлен и выпущен в свет первый тувинский букварь. На расширенном заседании 24 апреля 1930 г., по заслушании докладов проф. Поппе, автора первоначального проекта тувинского алфавита, и проф. Яковлева, специально работавшего по тувинской фонетике, тувинский алфавит был утвержден. В составе комплексной экспедиции Нианкп в Тувинскую народную республику летом 1930 г. был командирован лингвистический отряд в лице тт. Алавердова и Пальмбаха, при деятельном участии которых надлежащими органами тувинского правительства были окончательно утверждены алфавит (с некоторыми дополнениями) и правила орфографии, было налажено издание тувинской газеты и проведен инструктаж местных педагогов. Тов. Пальмбах остался зимовать в Туве, где и поныне работает в качестве советника министерства культуры, главным образом по вопросам развития литературного языка.

Лингвистическая комиссия приняла участие в создании новой письменности и для другой дружественной зарубежной страны — для Монгольской народной республики. На заседании комиссии 11 мая 1930 г. были заслушаны доклады тт. Сухотина и Пальмбаха и приняты руководящие принципы в отношении нового монгольского алфавита. Эти принципы получили свое дальнейшее развитие на целом ряде заседаний осенью 1930 г. и послужили материалом для обсуждения созданной Научно-исследовательской ассоциацией совместно с ВЦК нового алфавита и состоявшейся 10—17 января с. г. в Москве конференции по вопросам письменности и языка монгольской группы народов в составе делегатов Бурято-Монгольской АССР, Калмыцкой автономной области, Монгольской народной республики и представителей центра. Проведенная при деятельном участии членов Лингвистической комиссии Нианкп конференция приняла ряд решений по вопросам алфавита, орфографии, терминологии, литературного языка и издательского дела у монголов, бурят и калмыков.

15 декабря председатель комиссии т. Данилов прочел на пленуме ассоциации доклад на тему «Лингвистическая теория и руководство языковой практикой», вызвавший оживленные прения, занявшие два заседания, и послуживший базой для резолюции, принятой по лингвистической дискуссии Президиумом ассоциации.

В течение 1930/31 академического года в комиссии заслушаны были еще следующие научно-исследовательские доклады: «Проблема латинизации восточно-финских алфавитов» (тт. Лыткин и Рябов),

«Принципы построения и унификации алфавитов» (т. Яковлев), «Грамматическая и фонетическая система тибетского языка» (т. Жирков), «Фонетическая система корейского языка в связи с проблемой латинизации корейской письменности» (т. Сухотин).

В течение нынешнего года внутри комиссии работали группы (бригады): «монгольская», «тувинская», и «по унификации алфавитов».

Подготовлен к печати ряд научных работ. Сдан в печать новый, значительно превосходящий прошлогодний, тувинский букварь.

Поставлена работа по составлению лингвистических карт, которые предполагается издавать совместно с Научно-исследовательским институтом языкознания.

Группа «Языкфронт»

В середине 1930 года, в связи с новым этапом социалистического строительства, среди части советских лингвистов возникло течение, отстаивавшее необходимость крутого поворота всей теоретической и практической работы в области языка в сторону актуальных задач строительства социализма. Это течение объявило войну отставанию лингвистической теории от революционной практики. Возникла группа «Языковедный фронт», выпустившая 15 сентября свое «Обращение». В группу вошли: И. Абаев, К. Алавердов, С. Белевицкий, М. Гус, Г. Данилов, Э. Дрезен, Е. Комшилова, Т. Ломтев (Москва) и Х. Куре, Я. Лоя (Ленинград).

Языкфронтовцы являлись инициаторами открывшейся при Комкадемии лингвистической дискуссии, выставив от себя двух докладчиков (Данилова «Очередные задачи марксистов на языковедном фронте» и Ломтева «К проблеме диалектического метода в науке о языке»).

Как в «Обращении», так и в докладах подчеркивалась настоятельная необходимость разработки основных проблем языкознания на единственно научных основах марксизма-ленинизма при условии решительной борьбы против идеализма и всякого рода эклектизма, индоевропеистики как исконного врага марксизма — в первую очередь и против механистических положений яфетической теории, с учетом однако предшествующих достижений лингвистической мысли. «Языковедный фронт» сделал упор на современность, на изучение закономерностей последних этапов в развитии языка, следовательно на изучение языка пролетариата и колхозника как движущих сил языкового процесса на данном этапе. Наконец группа высказалась за активное содействие плановому массовому строительству

языка и широкому использованию его в социалистическом строительстве и культурной революции, в особенности в развитии национальных культур. На этой платформе при развернутой научной самокритике и тесной смычке с марксистами из смежных научных областей и должна по мнению языкфронтовцев происходить консолидация марксистских и в первую очередь коммунистических сил в области советской лингвистики.

Три месяца дискуссии подтвердили правильность позиции «Языкфронта». Группа пополнилась 25 новыми членами.

В Ленинграде и Смоленске организовались отделения группы.

Группа выработала устав и проект резолюции по дискуссии. Проект лег в основу проекта Комакадемии, Нианкп, Нияза и ряда резолюций, полученных от научных конференций, собраний, преподавательских коллективов как Москвы, так и других городов (Ленинграда, Киева, Ташкента, Смоленска, Воронежа и др.).

Кроме того, группа разработала детальную теоретическую платформу, которую подготавливает к печати.

Языкфронтовцы ведут массовую работу, выступая с докладами на объединениях словесников и научных работников в области языка, а также на студенческих и рабочих собраниях.

Эсперантское движение в СССР

Эсперантское движение возникло еще в Российской империи. Автор языка эсперанто доктор-окулист Л. Л. Заменгоф был русским подданным и первый свой учебник выпустил (июнь 1887 г.) на русском языке, впоследствии уже повторив его в переводах на другие европейские языки. Положенное автором в основу этого движения начало так называемое «нейтральности», т. е. «устранения» всего, что делит мир на враждебные части (классы, религии, национальности и т. п.), доводило до умиления многих простодушных российских интеллигентов с Л. Н. Толстым во главе. Так ведь казалось простым и естественным: стоило-де только, по мнению автора, всему миру изучить эсперанто, чтобы ввиду взаимного понимания прекратились всякие вражда и распри.

С началом мировой войны эсперантское движение естественно заглохло и упало. Но оно не прекратилось. Заложенные в нем здоровые лингвистические идеи не дали ему умереть. Язык выдержал суровейшее испытание и не только остался «жить», но стал давать новые гораздо более «зрелые» плоды, чем до войны. В значительной мере были отброшены прежние идеалистические «пацифистские» идеи. Мир поделился на две ярко враждебные части: с одной стороны —

капиталистическая часть, с другой — рабочий класс. Первая взяла эсперанто под свое покровительство как необходимое и чрезвычайно полезное средство в международных практических отношениях, т. е. в целях торговли, промышленности, передвижения и пр. Вторая — здраво поняла всю ценность эсперанто в целях классовой борьбы пролетариата и более легкого непосредственного объединения.

В 1921 г. во время XII международного конгресса в Праге был заложен фундамент нового интернационального рабочего объединения под названием «Вненациональной всемирной ассоциации» («Jemacieca Asosio Tutmonda», или сокращенно «JAT»). Эта ассоциация приняла устав, в котором проведена была идея объединения на почве одного общего языка, как легко доступного всемирному рабочему классу, в целях объединенной классовой борьбы. При этом слово «вненациональная» было выражением не отрицания наций в принципе, а лишь как противопоставления «нейтральности», которое продолжало прикрываться капиталистическое эсперантизм.

В том же 1921 г. на третьем всероссийском эсперантском съезде в Москве было положено основание «Объединения эсперантистов советских республик “Sovetsbublikara Esperantita Unlo”» или «SEU», в основу которого было положено практическое использование языка эсперанто для облегчения международных сношений рабочего класса. С тех пор это «Объединение» растет хотя и медленно, но неуклонно, обретает все более и более твердый фундамент в своей собственной среде, завоевывая себе все большее внимание и содействие как среди населения, так и в организациях и учреждениях Советского Союза.

В союз эсперантистов влились многие прежние эсперантисты-«нейтралисты», принявшие основной пункт устава союза, пункт, который в новой редакции гласит: «Сэср имеет целью развитие, распространение и практическое применение международного языка эсперанто для облегчения международной культурной связи широких пролетарских масс СССР и заграницы, в интересах осуществления мировой солидарности пролетариата и торжества его классовых идеалов». Но основную массу составляют понятно новые эсперантисты, вошедшие в союз из рядов рабочего класса или из советских служащих. Работа протекает не раздробленно и индивидуально, а главным образом коллективно. Третий пункт устава говорит, что «наилучшей формой эсперантизма союз признает образование эсперантских и кружков во всякого рода пролетарских, профессиональных и культурно-просветительных организациях». Высшими руководящими органами союза являются: Всесоюзный съезд и Центральный комитет. Съезды собираются по уставу не реже одного раза в год.

В периоды между съездами движением союза управляет ЦК, избираемый на съездах уполномоченными делегатами с мест. При ЦК существует специально избранная «лингвистическая комиссия», рассматривающая вопросы научно-лингвистического порядка и вместе с ЦК намечающая и осуществляющая план общего движения и в частности издательской деятельности союза.

Для характеристики нынешнего положения союза эсперантистов приведу цифры середины прошлого 1930 г.: число членов, организованных вокруг комитетов, кружков и ячеек союза, достигло 16 116 человек в 687 населенных пунктах СССР. Одних учебников реализовано за год на сумму свыше 40 тыс. Второй такой сильной и сплоченной эсперантской организации не существует больше нигде в мире. Растущее эсперантское движение, получающее все более твердое признание и поддержку правительственных, профессиональных, комсомольских, мопровских и других учреждений и организаций, увеличивающаяся из года в год издательская деятельность, приобретает не только союзное, но и мировое значение.

(1931)

(Печ. по изд.: *Революция и язык. 1931. № 1. С. 75—79*)

Раздел 4

Яфетические зори **[1933—1950]**

Н. Я. Марр

ЯЗЫК

Язык есть орудие общения, возникшее в трудовом процессе, точнее — в процессе творчества человеческой культуры, т. е. хозяйства, общественности и мировоззрения. Язык создан человеческим коллективом так же, как на первых ступенях его общественного бытия памятники материальной культуры, предметы первой необходимости и сами виды коллективного производства, охота и различные ремесла и игры и как на дальнейших ступенях его существования выделившиеся искусства, художества, эпос, пляска, пение и музыка, право и другие категории общественных ценностей. С первых же шагов созданного человечеством в трудовом процессе интереса к окружающему миру и осознанию своей связи с ним возникла неразлучная ни с каким производством сначала магия, затем религия и впоследствии вытесняющая их наука. Язык отражает в себе все стадии развития всех примерно приведенных и еще других сторон создавшейся человечеством культуры и всех устанавливавшихся в его сознании взаимоотношений между не только человеком, вначале всегда коллективно воспринимавшимся, но и между коллективом в целом и окружающим его видимым миром. Язык отразил в себе все пути и все ступени развития материальной и надстроечной культуры, усовершенствования орудий ее производства и все изгибы связанного с таким материально возникшим прогрессом общественно-го мышления с эпох, когда окружающий видимый мир, т. е. природа с ее так называемыми производительными силами, на первых достигнутых ступенях развития человеческой культуры, представлялась виновницей всякой удачи и неудачи, страшилищем и благодетелем, тотемом, покровителем и требующим примирения врагом, богом и

чертом, являющимися одинаково созданиями человеческих усилий в борьбе с казавшейся всесильной природой и на пути освобождения как от ее власти, так далее от власти всех завещанных от эпох неведения и ненаучного мышления этих отживших коллективных, часто кошмарных для нашей современности представлений.

Об языке, об его происхождении и развитии существует не одно научное мнение. Одно мнение, мнение учения более живого об языке, исходит от этнографов, изучающих быт и материальную культуру отсталых народов, так называемых «дикарей», и их речь. В этой научно-исследовательской среде все внимание сосредоточено на отношении языков отсталых народов Америки, Австралии и Африки, казалось бы языков примитивных, к языкам мирового значения культурных народов, владевших письменностью и господствовавших в старых частях света, Африке, Европе и Азии, в районах сосредоточения исторически засвидетельствованной интенсивной культурной жизни, Китае, Индии, Передней Азии, Египте и греко-римском мире. Этнологам-лингвистам удастся наметить путь увязки американских и океанийских языков с языками древнейших обитателей Европы, равно языков культурно-отсталых народов внутренней и южной Африки с языками основоположников древнейшей культуры того же европейского мира, но в работе над этой увязкой культур различных стран и языков преобладающую роль играют данные антропологические, материальной культуры и быта, в отношении же языка этнологи не располагают каким-либо цельным теоретическим построением и соответственным строго-лингвистическим методом, да менее всего располагают необходимой палеонтологической перспективой, чтобы оперировать над языковыми данными для установления той или иной генетической связи между языками различных систем, языками различной по эпохам творчества типологии. Специальная же наука об языке с независимой лингвистической теорией, до сих пор притязавшая на место и общего языкознания, есть учение, возведенное на теоретических нормах, выработанных изучением исключительно языков позднейшей системы, протомейской, т. е. языков так называемой индоевропейской семьи, да притом с выбором в первую голову письменных языков, часто мертвых, языков господствующих и, особенно, господствовавших народов, вернее — господствующих и господствовавших в этих народах классов. Соответственно связанная ныне с западноевропейской общественностью и ее мышлением школа этой индоевропейской лингвистики, несмотря на свежие в ней обновленческие струи протеста или самокритики ее лучших, наиболее вдумчивых и свободомыслящих представителей, господствует по сей день не только на Западе и в Амери-

ке, но и в пределах СССР. Индоевропейская лингвистика, с ее отжившим для нас общественным мышлением, исходит от изолированно-го изучения подсудных ей по специальности языков и от отрешенности норм развития речи от истории материальной культуры, норм развития мирового хозяйства и мировой общественности. Поэтому она отводит не только проблему о происхождении языка, как ненаучную, но по существу и все генетические вопросы, и вместе с тем отказывается вовсе признать научной какую-либо работу над установлением связи генетического порядка между различными системами языков, принимаемыми в этом старом учении об языке за особые семьи зоологического порядка, каждая с своим независимым происхождением. Индоевропейская школа, признавая изолированность каждой так называемой семьи языков, до сих пор живет и работает технически, а пережиточно и идеологически, мыслью о праязыке, даже после того, как, почуяв нереальность и смягчив ошибку своих основоположателей признанием праязыка лишь «рабочей гипотезой», не может, однако, высвободиться от чар созданного ею искусственного построения и вытекающих из него норм осознания языковой жизни, а с ними вместе метода исследования. Посему по сей день индоевропейская лингвистика работает формальным методом и, сосредотачивая свое внимание на фонетике и морфологии, отводит словарь на второстепенное место, абсолютно не учитывает явлений семантики, учения о значениях слов, закономерно вытекающих из связи языка с этапами развития хозяйственно-общественной жизни.

Эта органическая увязка языка с материальной культурой нашла в отношении проблемы о происхождении речи проработку на языковом материале в трудах Л. Науре (Noire) еще полстолетия тому назад и общее теоретическое освещение частично в марксистской литературе. К той же органической увязке языка с материальной культурой независимо подошло побуждаемое подсудными ему языковыми данными яфетическое языкознание, ныне новое учение об языке, с палеонтологией речи, начавшее также с формального метода и сравнительной грамматики и постепенно перешедшее на изучение языка, как категории социальных явлений, отражающей в своем содержании и в своем оформлении строй, смысл и устремление хозяйственно-общественной жизни не индивидуума, а человеческого коллектива, не в изоляции отдельных групп, а в целом, в их совокупности, с увязкой различных систем (казавшихся независимыми друг от друга семьями языков) друг с другом, как носительниц неразлучно формальной и идеологической типологии различных этапов развития хозяйственно-общественной жизни человечества. Соответственно получилась необходимость и возможность палеонтологической

работы с диахронической перспективой, т. е. работы над выяснением отложившихся в языке пластов различных эпох в перспективном взгляде в глубину времен через все этапы развития человеческой речи.

Человечество начало свое общение линейной, или ручной, речью, языком жестов и мимики. Оно продолжило его звуковой речью, языком членораздельных звуков, увязанной с линейной речью восприятием достижений, выработанных ею, линейной речью. Первый язык получил свое развитие с развитием общественности, основанной на хозяйственной жизни, протекавшей с помощью природой данных орудий производства. Второй язык, звуковой, возник лишь после того, как человечество перешло на труд с помощью искусственного, им изобретенного орудия. В звуковом языке надо учитывать новый момент в общественном значении речи. Звуковой язык стал орудием власти.

Звуковой язык возник в эпоху сложного общественного строя с организующим коллективом, обладателем орудий власти, в том числе созданной им звуковой речью, когда человек был уже на высокой ступени умственного развития. Он к тому времени находился в обладании в совершенстве развитой ручной или линейной речью, которая без изъяна удовлетворяла потребности взаимообщения, общения коллектива с коллективом, да и отдельных лиц внутри коллективов. Линейный язык вполне отвечал и качеству и уровню умственного развития человечества начальных эпох и технически и идеологически. Человечество тогда мыслило дологическим мышлением, без отвлеченных понятий, представлениями в образах и в их нашему восприятию чужой взаимной связи. Техника линейной речи легко справлялась с потребностью обмениваться представлениями в образах. Объем потребных понятий находил достаточно линейных символов с помощью жестов и мимики для исчерпывающего своего выражения.

Потребности в звуковой речи в целях взаимного общения не было, да и по проникновении звукового языка в общий обиход долго и долго звуковой речью лишь дополнительно приправлялась линейная речь, продолжавшая господствовать в обиходной жизни. При отсутствии потребности в звуковой речи не могло быть и не было подготовки технических средств для осуществления мысли о звуковом языке. Между тем техника звуковой речи, сама система членораздельных звуков, весьма сложна и тонко разработана, и она плод долгих усилий, результат громадной работы над их усовершенствованием уже как средства для обмена образными представлениями и отвлеченными понятиями. Но отдельные членораздельные звуки как

гласные, так и согласные, — позднейшие явления. Звуковой язык не начинался с отдельных слогов, впадавших в слова звуков. Он начался с цельных слов, представлявших собой каждое один целый диффузный звук. Но эти звуковые комплексы, членораздельные в целом, но не расчлененные вначале диффузные звуки, не возникали самопроизвольно физиологически, как не созидались они и для нужд звукового языка, в котором долго не было и потребности. Они возникли в коллективном трудовом процессе, имевшем магическо-производственное значение, в комплексном действе «пляске—музыке—пении», неразлучном с эпосом. Это действо и предотвращения—заговора и предупреждения—оракула. В процессе развития техники каждого из сопричастовавших в нем искусств, в части пения технически были выработаны диффузные звуки, идеологически ставшие выразителями непонятной и невидимой силы. Дальнейшее техническое развитие диффузных звуков, связанное на первых порах с развитием пения и его голосовых средств, завершилось их разложением на первичные односложные элементы в составе из согласного (простого или парного, первично диффузного), гласного и согласного. Раз усмотрена была возможность звуковым комплексом, элементом, сигнализировать хоть один предмет, какой бы он ни был, тем более невидимый и отвлеченный, то не было уже никакой помехи осуществить мысль о переходе с линейной речи на звуковую, открывался путь для создания нового языка, способного выражать невидимые предметы, в числе их отсутствующие и отвлеченные, потребность в чем не могла не нарасти с развитием хозяйства с его техникой, общественности с ее усложнявшимися нормами и нового мировоззрения.

Элементов всего-навсего четыре. Объяснение их числа приходится искать в среде возникновения, технике входившего в состав коллективного магического действия пения. Первичное диффузное произношение каждого из четырех элементов, как единого цельного диффузного звука, пока не выяснено. Нам эти четыре элемента доступны в многочисленных закономерных разновидностях, из которых для четырех элементов выбраны как условное наименование четыре их формы, по одной для каждого элемента: сал, бер, ион, рош, что указывается латинскими буквами в порядке их перечня А=сал, В=бер, С=ион и D=рош. Выбор сделан по созвучию с известными племенными названиями, в состав которых они входят без изменения или с позднейшим частичным перерождением, именно «сар-мат» — «сал» (А), «и-бер» — «бер» (В), «ион-яне» — «ион» (С), «эт-руск» — «рош» (D).

Становление элементов словами совпадает со стабилизацией коллективов, нарастанием племенных образований. При наличии тесных общественных связей, разновидности одного и того же элемента

с одним и тем же закрепляющимся за ним значением у различных коллективов становятся в известные постоянные согласованные соответствия в отношении и гласных и согласных. Этим не физиологически, а социально установившимся закономерным явлением определяется формально принадлежность языка к той или иной ветви в системе яфетических языков, к той или иной группе данной ветви. Языки яфетические делятся на ветви сибилантную и спирантную, в свою очередь, сибилантная ветвь — на группы свистящую и шипящую, а спирантная — на группы длительную и прерывистую.

Примерные соответствия свистящей и шипящей групп
сибилантной ветви

	свистящая	шипящая
гласные	$\begin{cases} a \\ e \end{cases}$	$\begin{matrix} o \leftrightarrow u \\ a \end{matrix}$
согласные	$\begin{cases} \text{слабые } s \rightarrow z \\ \text{сильные } \text{ʃ} \text{ } t \\ d \\ ʒ \end{cases}$	$\begin{matrix} \text{ш} \rightarrow \text{j} \\ t \\ d \\ ʒ \end{matrix}$

и т. п. (ʃ подъем, → становлением тем, что у острия.)

Становление элементов словами совпадает со стабилизацией племенных образований. Агнатическому коллективу начинает наследовать замкнутый когнатический коллектив, племя уже на кровных началах, поглощающий в себе коллективы с тотемами, названия которых, в зависимости от расширения их значения, обращаются в племенные названия. Распространяемые организующим властительным коллективом элементы, выйдя из тесного круга в народную ширь, становятся достоянием племенных образований. Известный подбор элементов с установившимся у каждого значением, пучковым, а впоследствии и одиночным, становится достоянием определенного племени. При усилении взаимоотношений различных племен, их общественном скрещении, подобные племенные слова скрещивались. Отсюда наличие слов простых, одноэлементных, и скрещенных, двуэлементных, в которых каждый элемент значит то же, что оба элемента в соединении. Элементы скрещенного термина самостоятельно значили, каждый в среде своего коллектива, позднее племени, то же, что два элемента вместе в скрещенном коллективе или в скрещенном племени, как, например, у коми (зырян) для понятия 'земля' имеется скрещенный термин *tuzet* из двух элементов, самостоятельно означающих *tu* 'земля' по-комийски (зырянски) и *zet* по-русски «земь», «земля». Одноэлементные слова, например, груз. *del* 'дерево' || **dar* (→ *dar*, перс. *dar*, арм. *tar*), м. *dal*, русск. «бор»

‘лес’, и двухэлементные лат. *ar-bor* (**har-bor*), русск. «дерево» и т. п.

От скрещенных слов необходимо отличать составные, доселе казавшиеся цельными корнями, так ‘три’ (‘2+1’) груз. *sa-m* (свистящей группы) || чанск. *tu-m* (шипящей группы), составленные из *sa* ← *sal* ‘два’ || *ши* ← *шиг* ‘два’, и *m* (← *me||ma*) ‘один’, причем языки финской системы сохранили в своих разновидностях спирантного типа плавный звук (1 в.м. г), утраченный яфетическими языками Кавказа: суом. *kol-me* ‘три’ (из ‘2 и 1’).

Палеонтологией вскрыто, что значения слов возникли не по какому-либо физическим или иным свойствам предмета, а по его функции. На термин ‘хлеб’ перешло название ‘дуба’ или ‘жолудя’, служившего раньше в роли ‘хлеба’. На ‘лошадь’ перешло название ‘собаки’, службу которой в роли животного для передвижения стала отправлять ‘лошадь’. Также ‘дом’ получил свое название не по материалу, не по форме, а по функции служить ‘покровом’, ‘защитой’, т. е. по слову, значавшему прежде всего ‘небо’, ‘верх’, ‘крышка’, ‘покрышка’, ‘покров’, ‘сень’ и т. п.

При таких перспективах, вскрытых новым учением благодаря палеонтологии речи, углубляется сама сравнительная грамматика, формальный сравнительный метод осложняется учетом истории материальной культуры; так, например, греч. *balan-os* ‘жолудь’ и лат. *rzp-is* ‘хлеб’, восходящий формально к архетипу **palan*, оказываются родственными, причем оба слова являются скрещенными из двух элементов, В (*pal* → *bal*) и С (*-an*); в значении же ‘хлеба’ сохранился один первый элемент по закономерным разновидностям оканчивающей (шипящей) группы *rig* у грузин и экающей (спирантной) ветви *ber+l-b* у готтентотов.

Такие же связи вскрылись и формальные между языками различных систем: отсутствие форм (аморфность), нанизывание легко отделимых образовательных частиц (агглютинативность) и органическая связанность образовательных элементов с основой (флективность) раскрываются как смена одних приемов оформления другими.

Морфологии формальной предшествует морфология идеологическая, построение не только фраз с соблюдением определенного порядка в расположении тех или иных понятий, впоследствии частей речи, но и построение слов, в которых один элемент или восполняется другими для более точного восприятия, или осложняется другим как определением, для уточнения.

По категории обозначаемых ими предметов слова, постепенно возникавшие впервые в процессе развития того или иного производства, делятся на космические (‘небо’, ‘земля’, ‘море’), микрокосмические (члены тела — ‘рука’, ‘глаз’, ‘голова’ и т. п., хозяйственные,

общественные и т. п. Из космических 'небо', означавшее первично три 'неба' ('небо' — 'верх', 'огонь', 'небо' — 'низ', 'земля', 'небо' — 'преисподняя', 'под', 'вода' и т. п.), имело семантические двойники ('небо' — 'время', равно 'пространство', 'год'), дериваты в различных разрезах, как-то в порядке наречения части по целому ('небо' → 'облако' или 'небо' → 'птица'), в порядке ассоциации образов ('небо' → 'круг', 'свод' и т. д.). При восприятии же 'неба' как 'бога', на значительно позднейшей ступени развития с наличием представлений и отвлеченных понятий развитой общественности в дериватах того же 'неба+бога' появлялись 'вера', 'клятва', специально по функциональной связи с 'небом+богом' 'господом'. Его же названием наименовывались как служители, так предметы культа — 'жрец', 'знахарь', 'колдун' (в христианской общественности 'священник'), 'алтарь', 'трон' и т. п. Переходя в обиход повседневной общественной и хозяйственной жизни, те же термины становились названиями соответственных лиц или предметов, как-то 'господин', 'стул' и т. п.

Еще более многочисленны слова, восходящие к представлению о 'руке'. 'Рука', первое и долго основное орудие производства, не уступает 'небу' и в культовой значимости: 'рука' как магическая сила, 'рука-божество', 'рука-власть' наблюдается в изображениях на предметах с палеолита и прослеживается во все времена как символ власти и культа. Слов, вообще происходящих от 'руки', громадное количество. В его дериватах имеются и 'сила' и 'средство', 'способ' и 'образ', и многочисленные производные от этих и десятков других столь же основных значений, связывавшихся с представлением о 'руке', отчасти всегда, но в значительной мере в различные эпохи, при различных ступенях развития хозяйства, общественности и самих норм социального строя, права и т. п. 'Рука' в этом направлении получала значение не только 'силы', 'власти', споря с 'небом' общественных представлений других эпох, но и 'право', и 'долг'. По линии функционального использования названий предметов 'рукой' именовались не только орудия производства, но сами материалы, из которых орудия делались. Если названия металлов, в частности 'железо', разъясняются как имена, означавшие раньше 'камень', то название 'камня' в свою очередь оказывается словом, означавшим 'руку'. Особенно многочисленны глаголы, происходящие от слова 'рука' в одном основном его значении. От 'руки' происходят глаголы 'делать', 'строить' и 'разрушать', 'давать' и 'брать', 'бросать', 'направлять', 'мочь', 'осиливать', 'побеждать', 'бить', 'трогать', 'касаться', 'ощущать', и многие десятки других глаголов, в том числе глаголов и отвлеченного значения, даже таких, которые, казалось бы, ничего общего с 'рукой' не имеют, именно, рядом с 'протяги-

вать', 'указывать' и 'манить к себе' || 'звать'. Поэтому-то в связи с происхождением от 'руки' глаголов и 'дать' и 'брать' элемент В, служащий для выражения 'брать' в русском и во многих языках протоевропейской («индоевропейской») системы, в языках другой или других систем означает, наоборот, 'дать', например, в живом чувашском (paġ) и мертвом хеттском (pai).

Так, еще в связи с происхождением глаголов и 'строить' и 'рушить' одинаково от слова 'рука' надо знать, что основа самого русского слова «рушить» представляет лишь разновидность основы русского «рука», собственно первой части этого скрещенного термина, двухэлементного (DA), именно элемента D. При учете же восхождения названия орудия резания или рубки, ныне и с давних пор железного, металлического, через 'камень' к 'руке', вполне понятно, когда элемент *gu* служит независимо в латинском для обозначения разрушения (*guo*, *di-guo*), а в марийском (черемисском языке) языке финской системы он же значит 'рубить' (от 'камня' как орудия производства), и тот же *gu* (← *guh*) в значении 'камня' налицо в двухэлементном скрещенном *gu-re* → *gu-b*, откуда в лат. *gure-s* 'скала', 'большой камень' и в русском «рубить». В языках более древней системы с глаголом 'делать', 'производить' совпадает 'рождать' в связи с тем, что как 'делать' происходит от 'руки', так 'рождать' от 'женщины', понятия же 'рука' и 'женщина' при подлинном первобытном мышлении обозначались одним и тем же словом.

Форма без учета смысла в палеонтологическом освещении неизбежно вводит в заблуждение. Так, например, *bon* по-осетински значит и 'день' и 'возможность', и 'погоду' и 'силу', но новое учение об языке не допускает объединения в одном гнезде всех перечисленных значений, да еще в порядке 'день', 'возможность', 'погода', 'сила', ибо налицо два лишь созвучных слова, идеологически не имеющих друг с другом ничего общего: одно из них космического порядка — *bon* 'день', 'погода', палеонтологически в архетипе 'небо', равно его части и эпифании (проявления), другое — микрокосмического: *bon* 'сила', 'возможность' ← 'рука'. Оба слова имеют родню и вдали вплоть до западной Европы, и на самом Кавказе: основа *bon* с губной огласовкой шипящей группы, губным согласным на низшей ступени *mont* (← *mont*) имеет эквивалент свистящей группы с аканьем в *map*, откуда осет. *bon* 'день', 'погода' в лат. звучит *map-e* со значением 'утром', а осет. *bon* 'сила', 'возможность' (← '*рука') в латинском звучит *map-us* 'рука'. На Кавказе *map* (← **mant*) *map* в значении космического порядка сохранили мегрелы и чаны (лазы) в их скрещенном термине *tu+ map* 'утро', *otu-map-e* 'завтра'.

Лишь учет значимости в палеонтологическом освещении вскры-

вает подлинное положение вещей, укрытое за семью печатями при одном формальном подходе. Так, в терминах космического круга у русского с немецким, казалось бы, нет ничего общего, ибо, например, 'земля' по-немецки *Erde*, а 'небо' *Himmel*, но по палеонтологии речи первоначально не только 'небо' и 'земля', но и 'море', как три космические предмета, носили одно и то же название: 'небо' означало и 'небо' ('небо¹'), и 'землю' ('небо²'), и 'море' ('небо³'). Потому нем. «*Himmel*» и русск. «земля», в архетипе на почве языков яфетической системы одинаково двухэлементные, одинаково из АВ элементов (*hi-mel ze-mel*), лишь разновидности — сибилантная (*ze-mel*) и спирантная (*hi-mel*) — одного и того же слова, означавшие каждая и 'небо', и 'землю', и 'море'.

Никаких замкнутых семей, а системы с различной типологией входящих в ее состав языков. Системы определяются не по одиночным характерным признакам, притом формальным, а по совокупности ряда формальных и с ними неразлучных идеологических черт. Так, у языков так называемой моносиллабической системы моносиллабизм (односложность слов) связывается с полисемантизмом (многозначностью) каждого отдельного слова, синтетическим строем (строго определенным расположением слов в предложении) и аморфностью, т. е. отсутствием форм.

В разрезе идеологического интереса глаголы появляются позднее имен существительных, местоимения возникли после установления права собственности, сначала коллективного, лишь значительно позднее частного, да и в самих местоимениях есть очередность возникновения: первое лицо позже третьего, 'я' позднее осознается, чем 'мы'; вообще восприятие единственного числа достигнуто весьма поздно, 'дерево' и 'лес' обозначались одним и тем же словом без изменения формы.

В разрезе формального интереса, кроме социально установившихся фонетических законов, значение имеет морфология, появляющаяся впоследствии. Сами признаки форм, часто с исторических эпох лишь звуковые символы, суффиксы ли они или префиксы, восходят к служебным или функциональным словам, а последние к независимым самостоятельным представителям обиходного словаря. Узвязка не только идеологическая, но морфологическая, от эпохи к эпохе и вплоть до возникновения звуковой речи, идеологическая вплоть до господства еще ручной или линейной речи, стоит вне спора, а поскольку различные системы, принимавшиеся за независимые друг от друга семьи, каждая с самостоятельным происхождением, представляют продукты каждая особой творческой эпохи и одна с другой во взаимоотношениях смены, то ясно, что все языки рассмат-

риваются как произведения единого языкотворческого (глоттогонического) процесса в мировом масштабе. Как все слова в отношении происхождения связаны с производством, так их распространение связано с производственной организацией, коллективами профессиональными, в различные эпохи различного строя и различного значения. Потому роль не только цеховых организаций, но и сословий, не говоря о классах, громадная в развитии звуковой речи. Как орудие не только общения, но и организующий фактор, язык являлся орудием власти, и в этом смысле без учета истории творцов политической жизни так же нельзя понять взаимоотношения многочисленных языков живых и мертвых и произвести их классификации, как без увязки с историей материальной культуры и форм общественно-го строя.

Многому мешает прежде всего, конечно, и то, что до сих пор не начата проработка хотя бы основных типов человеческой речи в свете нового учения. Тем не менее сейчас уже можно сказать:

1) Языки всего мира представляют продукты одного глоттогонического процесса, в зависимости от времени возникновения принадлежа к той или иной системе, сменявшей одна другую, причем языки сменных систем отличают народы, отпавшие от общего мирового движения, независимо от того, вовлечены ли они снова мировым хозяйством и мировой общественностью в круговорот мировой жизни, прошли новый исторический путь своего высокого культурного развития с языком оторванной от общего развития системы или с языком отжившей системы, или те или другие народы застряли и хозяйством и общественностью целиком на соответственных ступенях развития человечества.

2) У языков одно происхождение, но вначале не праязык, а праязычное состояние. Вначале, наоборот, многоязычие, и источник оформления и обогащения языка, залог его развития, в самом ходе и развитии жизни и ее творческих сил, в развитии хозяйства, общественного строя и мировоззрения, и как человечество от кустарных, разобщенных хозяйств и форм общественности идет к одному общему мировому хозяйству и одной общей мировой общественности в линии творческих усилий трудовых масс, так язык от первичного многообразия гигантскими шагами продвигается к единому мировому языку, в первую очередь к теоретическому осознанию этой задачи, уже формулированному новым учением об языке, яфетической теорией.

Н. Я. Марр

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО СТАТЬ ЛИНГВИСТОМ-ТЕОРЕТИКОМ

Тезис нашего сегодняшнего чтения ясен и прост. Наукой об языке может быть признано только то учение, которое считается с особенностями всех языков мира и, исходя из учета конкретной системы каждого из них, не только отводит или намечает каждому из них принадлежащее ему место в среде всех, но и выявляет те пути и те рамки, в которых может и должна отныне протекать специальная работа над каждым языком, исчерпывающе углубленное исследование каждого языка.

Язык — явление социальное и социально благоприобретенное. Звуковая речь возникла на уже высокой ступени развития человечества в путях общения различных групп. Без образования социальных групп и потребности в организованном их общении, без согласования звуковых символов, значимостей, друг с другом и без их скрещения не могло бы возникнуть никакого языка, тем более не мог бы развиваться далее какой-либо язык. В этом порядке чем больше общих слов у многих наличных теперь языков, чем больше видимой и легко улавливаемой формальной увязки языков на пространстве большого охвата, тем больше основания утверждать, что эти общие явления — позднейший вклад, что нарастания их в отдельных языках результат позднейших многократно происходивших скрещений.

Что такое в таком случае родство языков?

Термин «родство» внесен в лингвистическую науку, когда о происхождении языка или не было никакого представления, или оно мыслилось в порядке физического, т. е. кровного родства. Естественно, при таком взгляде на природу речи был безоговорочно усвоен биологический термин и всецело господствовал в такой мере, что органическая увязанность явлений в двух различных языках не носит иного названия, как «родство». Термин может быть оставлен, но его надо освободить от обычно придаваемого ему значения, как слова из биологической терминологии.

Родство — социальное схождение, неродство — социальное расхождение. С этим фактом, именно с установлением родства в путях социального схождения и выявлением неродства в тех же путях, т. е. в путях соответственного расхождения, возникает вопрос, уже освещенный, о технике схождения и расхождения, в зависимости не от физической обстановки, а общественной структуры той или иной

говорящей среды. И схождения и расхождения речи предполагают сложную общественную структуру человеческих группировок, сначала производственно-классовую, впоследствии стабилизированную, наследственно-сословную. Отсюда разница языков в одной и той же стране между различными входящими в состав ее населения группировками, классами, сословиями и вообще общественными слоями. Период расхождения в языке между странами связан с взаимной изоляцией.

В период созидания звуковой речи громадна роль социальной группировки сцепления. Она громадна, эта роль социальной группировки сцепления, на первых ступенях развития звуковой речи, не по массовости ее состава, а по организаторским данным входящих в ее состав сил и по подвижности этой организации с особыми общественно нараставшими путями проникновения из страны в страну, по неустранимой потребности ее выходить в силу естественного развития своей деятельности из пределов одной природно-общественной обстановки в пределы других таких же или иных физическо-общественных условий. Точно перед нами неустержимые всепроникающие струи от накопления вод и их прорывов. Струи какие? Живительные, творческие или разрушительные? Наивный вопрос и анахронистический вопрос. Может быть, эта организация растекается точно кочевники, мигрирующие в поисках пастбища. Что, следовательно, это номады? Опять наивный и анахронический вопрос, совместимый с мировоззрением, и нам присущим, исторических эпох, хотя бы и очень давних дат опять-таки исторического порядка. Вопрос наивен и анахронистичен для начальных эпох классовой общности и звукового словотворчества, ибо вопрос такой совместим лишь с периодом наступления логического мышления, с периодом различения добра и зла, с периодом различения места и времени, с периодом восприятия человеческими группировками окружения, вообще мира, и причинной увязанности, т. е. возникновения каузальности в мышлении, с периодом зарождения способности находить причину и последствия в самих наблюдаемых видимых фактах. Ведь это эпоха наличия уже звуковой речи с глаголом, эпоха, когда уже существовали фразы из элементов интересующего беседующих состояния, даже действия, субъекта и объекта. Ведь в таком случае можно бы идти и дальше и ожидать от общности тех изначальных эпох способности классифицировать явления как благоприятствующие, да еще в различной степени, этой причинной увязке фактов или как противоборствующие ей, предполагать у человечества на этой ступени общественного развития возможность называть каждое явление, каждый предмет различного противобор-

ствующего порядка особым звуковым словом. Ведь это уже эпоха развитого синтаксиса, эпоха достижения периодической речи, мы уже с классическими языками Средиземноморья, греческим и латинским, а у нас трактуется вопрос об эпохах, когда не было не только греческого и латинского, но и семитических языков, не было еще тех отстоявшихся и окаменевших систем звуковой речи, которые многие до сих пор считают особыми по источнику происхождения семьями. Мы говорим о периоде, когда один и тот же предмет мыслился как источник и добра и зла, когда время и место не различались, когда время не учитывалось в факте и т. д. и т. д., и соответственно не только не было и не могло быть звуковых слов для предметов, не существовавших еще в сознании, не было синтаксиса, учитывающего последовательность фактов в их естественной причинной увязке, люди мыслили мифологически, мыслили так называемым «дологическим» мышлением, собственно они еще не «мыслили», а мифологически воспринимали, ибо не было еще логической дифференциации в надстроечном мире, осознании, так как в самой общественности, ее строе, не было дифференциации производства. Социальная группировка сцепления в своей подвижности не могла состоять из кочевников, как мы себе представляем кочевников, ибо еще не было выделившегося особого кочевнического строя. Входявшие в состав социальной группировки силы были без дифференцированности: и номады, и разбойники, и купцы, и пастухи, и земледельцы, и даже металлурги. Ведь звуковая речь возникла на высокой ступени развития человечества, обладавшего уже производством, с историей почти всего палеолита за своей спиной. И звуковая речь на первых порах была привилегией, одним из технических средств организации, названной нами социальной группировкой сцепления.

По взаимоотношениям языков всего мира и у нас есть так наз. сравнительная грамматика, но она учитывает не одну формальную сторону и идет потому от слов, значимостей слов, семантики, давшей возможность приступить к классификации слов по ступеням развития человечества: опора — в увязке с историей материальной культуры, выявляемой не только археологией, но и этнографией, от палеолитических переживаний до современности, и в увязке с историей общественных форм, выявляемых также не только историей или археологией, но и этнологией в современных переживаниях, свидетельствующих о том, что пережито передовым человечеством в части мировоззрения и по существу, и по оформлению.

По новому учению об языке уже напечатан суммарный вводный курс в Баку, и повторяться по изложенным там вопросам нет надобности. Но надо предупредить, что там речь о полигенизме значений

слов, а это увязывается теперь со стадиальным развитием звуковой речи, прохождением ею ряда стадий и с ними особых норм мышления; там речь и о одновременности происхождения частей речи, глаголов на последнем месте, о морфологии синтаксической, о классах и родах в строе речи, о четырех элементах, из каких сложены все языки, и о материальной морфологии, о функциональном впоследствии выделении части звуковой речи и социальной ее природе. Но, увы, в том руководстве нет вовсе трактовки синтаксиса, должной специальной трактовки, и я бы здесь скорее остановился особо на синтаксисе, ибо синтаксис это самая существенная часть звуковой речи: как учение о звуках лишь техника для морфологии, так и морфология лишь техника для синтаксиса.

Однако, как ни интересны и важны затронутые здесь стороны языковой жизни, доселе предметы специальных изысканий, это лишь часть дела.

Все будет лишь схема в безвоздушном пространстве, если хотя бы в порядке геологической классификации не прикрепить все ко времени, да, казалось бы, к месту, нет, не столько к месту, сколько прежде всего к массовости, и не исходить из исчисления говорящих масс.

Впервые встал перед нами, в целях конкретизации новых палеонтологических положений об языке, вопрос о росте населения. Многим, я в том уверен, представляется, что количество населения было более или менее одинаково, стабилизировано с тех пор, как сложилась и укрепились звуковая речь как массовая. Какое, однако, было число населения в период хотя бы первоначального сложения и развития звуковой речи? Совершенно ясно, что мы не можем рассчитывать на какие бы то ни было указания исторических источников для наших эпох, находящихся вне досягаемости самых древних письменных свидетельств или преданий, в какой-либо мере приемлемых для историка. Но нам казалось, что правильный подход к вопросу о росте населения и теоретическое его освещение, способствуя установлению нормы размножения населения, могли бы нам помочь установить приблизительные цифры населенности мира человеческим родом в эпохи различных стадиальных состояний его развития. Мы были очень обрадованы заглавием «Population et capital dans le monde méditerranéen antique», появившегося в 1923 г. труда Евгения Кавеньяка (Eugene Cavaignac), профессора древней истории на факультете литературы (des lettres) Страсбургского университета. В самом деле, чего лучше. В книге заглавие обещает исследование соотношения населения и капитала в том именно Средиземноморском античном мире, где все более и более ярко намечается палеонтологией речи, не без союза с историей материальной культуры, и

археологической, и этнологической, арена титанической работы созидателей звуковой речи и ее дальнейших развивателей. Но, увы, прекрасно аргументированная для исторических эпох книга оказалась источником разочарования в отношении нашего теоретического запроса. Достаточно привести два места из части об Египте. Подходя к теме со стороны роста обрабатываемой площади в XIX веке сравнительно с древним Египтом, Кавеньяк пишет: «Большая часть почвы была отведена под культуру хлебных злаков. В III веке до христианской эры, как мы осведомляемся, в номе Арсиноитском (Файуме) было возделано 134 000 аруров пшеницы и 26 000 ячменя, т. е. приблизительно, при равенстве одного арура $1/4$ гектара, — 40 000 гектаров, всего 400 квадратных километров. Файум покрывает ныне 1274 кв. километра, и Арсиноитский ном не мог покрыть из этой площади свыше 1000 кв. километров. Следовательно, эта цифра довольно хорошо соответствует цифрам, которые нам даны для XIX века: треть площади».

Однако все эти исчисления для нас в их изолированности по отношению к доисторическому прошлому не имеют никакого значения. Начиная свою поучительную книгу о населении и капитале в средиземноморском античном мире указанием на то, что «Египет, с экономической точки зрения, как и в остальном, есть страна, где наши сведения идут наиболее далеко в глубь времени», Кавеньяк оставляет нас в беспомощном положении, так как, исходя из схождения возделанной площади за III век до н. э. и за XIX столетие н. э., он пишет: «Страна сама неподвижна, регулируемая (в своей производительности) подъемом Нила. По крайней мере, с незапамятных времен, с эпохи, когда дельта была захвачена водами, культивируемая площадь мало менялась: наиболее заметным изменением было осушение Файума во времена Птолемея. В хорошие периоды эта площадь достигает и даже превышает 30 000 кв. километров. Во время Бонапарта, которое соответствует периоду депрессии, площадь была более 20 000 кв. километров. Можно признать, что в древности эта посевная площадь колебалась между 25 000 и 30 000 кв. километров».

В какой, однако, древности? Если дело идет об «исторической» древности с египетской культурой, то мы не имеем никакого основания возражать, как нельзя возражать против того, что за все это долгое время господствовал египетский язык. Но когда то же самое количество посевной площади, требующей, добавим мы, соответственного количества населения. есть попытка перенести во времена, названные «незапамятными» (*temps immémoriaux*), то тут мы не можем не сказать: при такой «короткой памяти», памяти историчес-

ких эпох, руки коротки, это эпохи так наз. доисторической жизни человечества, и мы, доисторики, имеем право, более того — долг, историкам с таким методом сказать: «руки прочь». Для нас в таком случае более приемлемо, как более реальное и неизмеримо более полезное для правильной светотени, общее теоретическое положение Маркса: «...Всякому особенному историческому способу производства... свойственны свои особенные, имеющие историческое значение, законы населения. Абстрактный закон населения существует только для растений и животных, пока в эту область исторический не вмешивается человек».

Положение остается основным и при той материальной культуре, памятники которой, также оказавшиеся в Египте, весьма авторитетного специалиста Флиндерса Петри (Flinders Petrie) заставили довольно легко сближать Египет с Кавказом. Народонаселение бесспорно с иным образом жизни едва ли было столь многочисленно, сколь в эпохи, Кавеньяком освещаемые в отношении посевной площади и соответственной плотности населения на основании писанных исторических свидетельств. В связи же с этой материальной культурой, ее техникой, укладом жизни и мировоззрением у населения Египта той же архаичной эпохи и язык должен был быть и был, есть основание утверждать, еще на том этапе развития, от какого сохранились пережитки языков той же системы на Кавказе, и это независимо от показаний Геродота и без всякого влияния Азии, в частности Кавказа, как того желает Флиндерс Петри. Ведь и поразительные точки соприкосновения между позднейшими языками той же средиземноморской страны, египетским и коптским, с одной стороны, и яфетическими языками Кавказа, как то приходилось нам указывать и печатно и на докладах, в ряде случаев, могут получить разумное основание в том общем положении, что средиземноморские языки исторических культур, не только эллинской и римской, но и еврейской, равно финикийской и еще раньше египетской, являются дальнейшим развитием, разумеется, в пермутационном порядке тех или иных предшествовавших в том же или тех же районах языковых групп пережитой там системы. Эти-то языковые группы и оставили свои следы в таких реликтовых языках, как яфетические языки Кавказа и Пиренеев, а также северной Африки, я бы хотел сказать проще — в том же «Средиземноморье», если бы не приходилось в таком случае понимать для той эпохи чересчур расширенно термин «Средиземноморский район». Правда, в труде «Смытая потоком или «Потонувшая цивилизация Кавказского перешейка», появившемся в 1923 г., американец Реджинальд Обрэй Фессенден (Reginald Aubrey Fessenden) сделал очень любопытный опыт помещения Атлантиды в

восточной Европе и рядом с ней Атлантического океана по полосе Урала и Волги в направлении с севера на юг, где переживания этого океана он усматривает в Каспийском море и Аральском озере, причем Кавказ оказывается на перехвате между Средиземноморьем, со включением Черного моря, и Атлантическим океаном.

Если отказаться от исторической трактовки Атлантиды, а это, по всей видимости, неизбежно за отсутствием соответственных данных для решения вопроса о ней, то легенду эту трудно разлучить с мифом о потопе, различные версии которого не ослабляют, а укрепляют реальность некоей катаклизмы, захватившей все человечество в этот поворотный момент доисторического периода, с мифологическим, или дологическим, мышлением, поскольку доисторик располагает сейчас палеонтологическим методом в толковании мифов, т. е. мифологического восприятия реальных фактов.

Фессенден, поместивший Кавказ в центре между Атлантидой с северо-востока и Средиземноморьем с запада, указывает на факт неизвестности Гомеру Испании и предполагает перенос греками части мифологических походов, вообще мифов, равно племенных названий и топонимики с Кавказа на Пиренейский полуостров, включая сюда и повторение, мол, Кавказской Иберии на Западе, но, увы, при всем остроумии и ряде метких замечаний профессора математики и бывшего главного химика Эдиссона, кем является автор этой интересной работы, ему неизвестно, что топонимические и этнонимические термины, которыми он орудует, имеют очень сложную историю, и эта история не позволяет так легко тревожить их и не требует таких одиночных сдвигов, чтобы встретить их вполне основательно не только на Кавказе и на Пиренейском полуострове, но и в различных частях Афреватии, разумеется, в соответственных закономерных разновидностях произношения. Во всяком случае для настоящего, находящегося пока вне всякого спора Средиземноморья, языки Кавказа — далекие обитатели, ушедшие из гуши средиземноморской лаборатории общечеловеческой культуры. Еще дальше ушли, следовательно, припамирские яфетиды, буришки, или вершики.

Допустим даже, что гипотеза Фессендена или работа над сродной мыслью о продолжении Средиземноморья в том или ином виде на восток в глубину Азии привела бы в такой мере к положительному результату, чтобы всерьез говорить о дохождении его до Гималаев, и с таким фактом получилось бы некоторое основание связывать нахождение пережиточных яфетидов у Памира, буришков, или вершиков, на восточном берегу этого проблематичного Средиземноморья с Атлантидой, как до наших дней дожили баски на Западе в Пиренеях, причем и у того и у другого народа звуковая речь род-

ственной системы, одной системы с языками Кавказа, системы яфетической, и тогда мы не освободились бы от необходимости признавать отход народов с языками других систем еще дальше от Средиземноморья, отход их, в том числе массово говоривших еще на синтетических языках, аморфных полисемантически-моносиллабических, отход от Средиземноморья в целом, а не только с какого-либо его конца или с какой-либо его стороны.

Отошедшими в эти дали оказываются группы пережиточных систем, распределяемые по периодам их возникновения в следующем порядке:

I. Языки системы первичного периода.

1) Моносиллабические и полисемантические. В круг языков первичного периода входят: 1) китайский и примыкающие к нему по строю (особенность китайского языка — наличие окаменелостей в письменной речи),

2) языки средне- и дальнеафриканские живые.

II. Языки систем вторичного периода.

1) Угрофинские,

2) турецкие,

3) монгольские.

III. Языки системы третичного периода.

1) Пережившие яфетические языки,

2) хамитические языки (ближне- и дальнеафриканские).

IV. Языки системы четверичного периода.

1) Семитические языки,

2) протоевропейские языки, или так наз. индоевропейские языки (классические письменные: индийский [санскрит], греческий и латинский).

С языками систем каждого из перечисленных периодов теснее сходятся и ближе стоят языки, дальше продвинувшиеся с северными народами — палеоазиатские и американские, а также австралийские с океанийскими по связи со средиземноморской культурой через Азию, северную, особо ярко выясненную, и южную, или через Африку.

Но куда тяготеют иранские и кельтские языки? Туда же, куда и

другие переходного типа от одной системы к другой, как, напр., языки Армении, переходные (два языка, — один древнелитературный от системы вторичного периода к третичной и четвертичной, другой — вторичного периода). Также с сильными переживаниями систем предыдущего периода являются языки славянские и германские.

О связях восточноазиатских языков кое-что можно найти в печати, частью в серии заметок под заглавием «Китайский язык и палеонтология речи», частью в статьях «Новый среднеазиатский язык и его числительные». «От шумеров и хеттов к палеоазиатам», «К пересмотру шумерского словаря. I. тш». «Египетский, шумерский, китайский и их палеонтологические встречи. 1. 'Пить' — 'вода'», равно о связях с американскими языками в статье «Происхождение американского человека и яфетическое языкознание».

Равно в печатных изданиях имеются статьи по финским языкам, да особо по чувашскому и турецким языкам, о которых можно справиться в «Классифицированном перечне печатных работ по яфетидологии». Здесь назову по непосредственному отношению к теме нашего доклада работу «Расселение языков и народов и вопрос о прародине турецких языков».

И если у китайцев уже название лошади оказалось общим с финнами на Волге и романскими народами Западной Европы, причем обнаружилось, что в китайском и даже приволжских финских языках, т. е. в языках первичной и вторичной системы, слово это еще одноэлементно, в архетипе *val*, а в романских — двухэлементно, в виде народно-латинского *ka-val* и его разновидностей, то из только что совершенной поездки к берберам, собственно кабилам, располагаем материалами для сближения их речи то с турецким, то с финским языком, разумеется, с использованием не только приемов яфетической теории, но и материалов из яфетических языков. Подробностей я сейчас не буду приводить, их скоро можно будет прочитать в работе «Карфаген и Рим, *fas* и *jus*», печатающейся в ближайшем выпуске «Сообщений» Государственной Академии истории материальной культуры. Но позаимствую из нее один случай общности берберского слова с приволжскими финскими. Слово это значит 'земля'. Случай, действительно, любопытный, один из тех, которые являются внутренней проверкой утверждений, кажущихся непосвященным лишь смелыми или остроумными. Была установлена палеонтологическая связь коми, или зырянского, тш 'земля' с шумерским клинописным тш 'год' по двум положениям в семантике, одно из которых то, что космические предметы 'небо', 'земля' и 'преисподняя' обозначались одним и тем же словом, а другое то, что 'небо' и

‘время’, ‘небо’ (солнце) и ‘год’ обозначались одним словом. Понятно, значение ‘земля’ финского слова, комийского *tu*, было поддержано его разновидностями в яфетических языках; впоследствии в мегрельском было отмечено без изменения это зырянское слово *tu* в скрещенном двухэлементном термине *tu-qig-i*, означающем ‘страну’. Однако во всех случаях, особенно в случаях самостоятельного, вне сложных слов, появления, мы имеем от слова дефектную разновидность, ибо, как указывала сравнительная грамматика, полный вид слова должен был звучать *tug*, что и было выставлено мною как несохранившийся, презумированный, теоретически построенный архетип со звездочкой **tug*, цельно отмечавшийся в составном, гесп. производном слове языков шипящей группы (чанский, он же лазский, язык) *tug+g=i* ‘земляника’, эквиваленте того же термина по свистящей группе (груз. яз.) — *mar-tku* (народное *mar+tki*). И этот *tug* оказался непочато сохранившимся в берберском в значении ‘земли’, да не только ‘земли’, но и ряда сходных с ней в мифологические эпохи словотворчества представлений культовых, а затем и социальных, именно ‘матери’, и в берберском и в перечисленных языках.

Сейчас интереснее коснуться стороны другой, именно африканской, однако вопрос не о территориальной или особой расовой изолированности населения Африки, а об особенностях, свойственных вместе с африканскими языками и языкам, наличным в других частях света, в зависимости от того этапа развития, к которому принадлежат отошедшие в такие дали языки все из того же Средиземноморского бассейна. Об африканских языках различных систем, различных периодов образования (языков этих не меньше пятисот) в общем здесь не приходится распространяться. Между ними есть такие, которые стоят своей моносиллабичностью и полисемантической и по отсутствию письменности по сей день на той ступени развития, как аморфный или синтетический китайский язык; есть системы, сродные с так называемыми агглютинативными языками; есть системы на грани с семитической и яфетической системами речи. Так берберский. В частности, берберский мир трудно исключить в его первичном состоянии, свободном от арабских налетов, из круга тех яфетических языков, которые вместе с басками, иберами, этрусками, гурами, грузинами и прочими сородичами кавказского ныне окружения, да этрусками, иберами, лигурами, басками, гурами Пиренейского ныне окружения, составляли субстрат, на котором произросли и расцвели исторически известные культурные языки Европы, в первую голову классические. В статье «Карфаген и Рим, *fas* и *jus*» развиваю мысль о доисторическом для современных европейцев нахождении бербе-

ров, праберберов, на Апеннинском полуострове и восхождении к их речи многих важнейших терминов римской общественности, латинского культурного мира.

Но нам сейчас важны не эти одни формальные языковые связи, но идеологическое построение речи, мышление говорящих, когда мы касаемся африканских языков.

Не могу предварительно не остановиться на одной особенности первобытного мышления, как то разъясняет Леви-Брюль (Levy-Bruhl) в своей книге «*La mentalité primitive*».

«В первобытном мышлении, целиком мистическом и дологическом, не только данные, но даже рамки опыта не совпадают с нашими. Знаменитая теория Бергсона, настаивающего (*qui vent*), чтобы время мы воспринимали как количество (*quantum*), однородное по слиянию (*confusion*) живой длительности с пространством, которое является в том же слиянии однородным количеством, по-видимому, неприложима к первобытному мышлению. Лишь в развитом уже обществе, тогда, когда ослабевают первичные мистические связи и проявляют склонность к диссоциации, когда усиливается навык внимания к связям второстепенных причин и их эффектов, пространство становится однородным в представлении, как и время начинает также становиться им. Рамки нашего опыта мало-по-малу намечаются (*se dessinent*), укрепляются и устанавливаются (*se fixent*). Значительно позднее, когда размышление дает нам возможность их уловить в уме, мы искушаемся предположением, что время и пространство — его (ума) составные элементы, что они врожденны, как некогда говорили философы. Наблюдение и анализ коллективных представлений в низших обществах далеко не подтверждают эту гипотезу».

Конечно, надо договориться относительно понятия «развитое общество». Ведь в конце концов и низшее общество имеет ступени развития: вообще первая же группировка людей, в отличие от группировок животных, представляет уже, по осознанности мотивов схождения, определенную ступень развития, и во всяком случае палеонтология речи реально вскрыла, трудно мне сказать, в какой степени, в подтверждение метафизически сформулированной мысли Бергсона, что в представлении первобытного человека не было различия пространства и времени: по палеонтологически установленной семантике время и пространство обозначались в то время безразлично одним и тем же словом, идентичным со словом, которым мы обозначаем наше представление о небе.

Это положение имеет громадное значение для вопроса о причинности. По мысли Леви-Брюля, для уловления причинности между мистическим восприятием природы, идентичным с мифологическим,

или дологическим, мышлением, и логическим мышлением у человека не было источника, который влиял бы на перестройку его мышления; у Леви-Брюля, таким образом, противоплагаются видимые и невидимые причины, как реальные и мистические, без всякой иной дифференциации; между тем опять-таки палеонтология вскрывает, что для усвоения причинности, независимой от невидимых мистических сил природы, недостаточно было располагать тем, что обычно называется видимым, необходимо было осознание видимого, в данном случае видимой причинности, и вот этот элемент осознания в признании видимых причин восходит не просто к отвлеченному созерцательному опыту и тем менее к какой-либо мистике, видениям, предзнаменованию, но к производству. Как звуковая речь возникла лишь на известной ступени развития материальной культуры, ибо до выработки орудия производства, уже отделанного и усовершенствованного, не было и не могло быть звуковой речи, так до определенного момента, эпохи нового сдвига в технике производства и с ним в социальной структуре, социальном быте, не было и не могло быть логического мышления.

Это важно усвоить не только как положение теоретического учения, но непосредственно и в применении к вопросу о распространении звуковой речи, а посредственно и для того учета количества населения, которое представляет существенный интерес для языковеда-палеонтолога, интересующегося происхождением и развитием первичной звуковой речи. Звуковой язык на первых шагах своего роста распространился так же, как впоследствии грамотность среди неграмотных: человечество, массово говорившее еще кинетической речью, языком жестов и мимикой, ручным в основе языком, приобщалось к звуковой речи при соответственном уровне зачаточного развития созданной человечеством материальной культуры. При более же низком уровне развития материальной культуры в среде тех или иных социальных слоев, тем более при полном в некоторых частях света ее отсутствии и при связанном с ним дологическом мышлении, требовались, следовательно, громадные усилия, чтобы овладеть звуковой речью.

В то же время наблюдаемые в Африке переживания первобытного мышления абсолютно не связаны с местонахождением в этой старой части света, они связаны с определенной ступенью развития культуры в целом, где бы человеческая группировка ни находилась, и если мы их находим (беру крайние пункты) в Америке, Австралии и океанийской среде, вообще на периферии, но не находим в центре, Средиземноморском районе, то только потому, что здесь те стадии развития пережиты.

И потому получается та изумительная картина, что языковед в речи средиземноморских народов вскрывает палеонтологически пережиточные явления не только формальной стороны речи, но и идеологической, которые в Африке, Америке, Австралии и в Океании, вообще у народов так называемой первобытной общности, наблюдаются в быту сейчас, по сей день, и нередко эти же явления пережиточно можно наблюдать в тех слоях населения Европы, которые общественным строем держались, да и продолжают держаться массово на тех же ступенях развития человеческой культуры.

Примера два-три по этой изумительной встрече результатов, добытых палеонтологией речи, с мышлением первобытных народов.

В работе, напечатанной года два тому назад, о «Происхождении терминов 'книга' и 'письмо' в освещении яфетической теории» нами палеонтологически было установлено, что эти термины доисторического происхождения, еще тех, значит, времен, когда не было ни 'письмен', ни 'книг', но значение функционально эволюционировало, так как назначение письма было первоначально магически-культурное, средство предохранения, самозащиты и т. п., и означало оно 'божество', раньше 'тотем', 'чудище', и совсем не случайно совпадение греческого *téras* (род. *téreos*) и *térat-os* 'чудо' и слова *ter* ← *ter* 'письмо', сохранившегося у римлян лишь в скрещенном двухэлементном *li-tter-a* 'буква', на Кавказе самостоятельно у грузин в основе *ter* 'писать', у мегрелов и чанов в закономерных разновидностях *tar* 'писать', у армян *tar* 'буква'.

Что же мы находим у современных нам представителей того же первобытного мышления? «Когда одного туземца Трансвааля упрекал миссионер за то, что советуется с косточками, он ответил: "Это наша книга; ты читаешь каждый день библию и ты в нее веришь, а мы читаем наши косточки"». Книге, самому письму приписывается магическое действие.

В статье моей «Из Пиренейской Гурии (К вопросу о методе)» палеонтологически выяснено, что грузинское *si-zmar* 'сон', 'сновидение' называлось словом, первоначально означавшим самое 'божество', 'чудовище', 'тотем'.

Если раскроете «*La mentalité primitive*» Луви-Брюля и прочтете обстоятельно изложенные главы о сновидении у первобытных народов Африки и Австралии, то в точности найдете то мышление, с которым связано создание слова 'сновидение' не в одном грузинском, а во всех языках его системы или с переживаниями из языков той же системы.

В работе первой по *Ossetica-Japhetica*, именно «*Fakond-i* осетинских сказок и яфетический термин *faskund* 'маг', 'вестник', 'вещающая'

птица» установлен более чем достаточно устойчиво круг связанных с этим термином простых нарицательных слов, означающих 'про-рока', 'звездочета', 'мага' и т. п., но на первом месте следовало поставить значение 'вещей птицы', в народных грузинских сказках *faskund*, именно 'птицы' общения нижнего мира с верхним, и дальнейшее культурное развитие тех или иных народов вещую птицу преобразует то в 'гороскоп' (у мегрелов), то в 'звездочета', 'мага' (это у народов с космическим мировоззрением и астральным культом), но народы более древнего этапа развития остаются при мировоззрении с 'птицей вещей', 'птицей-тотемом', и опять-таки достаточно развернуть соответственные страницы цитированной работы, чтобы видеть, где теперь находятся, куда заброшены социальные группировки, обратившиеся в племена, народы, с тем именно древнейшим мышлением, при котором только и могло произойти и произошло, конечно, созидание этого слова в средиземноморском культурном мире.

Ограничимся по фактическому осведомлению сказанным.

Можно ли вести действительно серьезное лингвистическое исследование над каким-либо отдельным языком, поскольку мы интересуемся генезисом, развитием и складом, конкретной системой его, без учета данных культурного облика народов всего мира, конечно, и их языков, однако не только формальной стороны, но и идеологической?

Можно ли отречься от положения: «Наукой об языке может быть признано только то учение, которое считается с особенностями всех языков мира и, исходя из учета конкретной системы каждого из них, не только отводит или намечает каждому из них принадлежащее ему место в среде всех, но и выявляет те пути и те рамки, в которых может и должна отныне протекать специальная работа над каждым языком, исчерпывающе углубленное исследование каждого языка?»

А есть такое учение? Есть. Это учение так называемая яфетическая теория, которая никем не признается в «серьезных научных кругах», и у меня даже возникло, если не сомнение, то вопрошение, стоит ли продолжать лекции, восстанавливать курс в Ленинграде, Москве и где бы то ни было после бесплодной своей многолетней по основному делу деятельности и тем более заниматься непрестойным делом пропаганды учения, ни для кого из лингвистов не приемлемого.

И в самом деле, кому это нужно и какой смысл в том, что новая наука об языке привносит с собой в различных разрезах хотя бы то, что ко всякому теоретическому (но только ли теоретическому?) вопросу об языке приходится подходить с общезыковедной точки зрения, как она устанавливается яфетической теорией? Ведь обстоя-

тельства сложились так, что не только так называемые индоевропейские и семиотические языки, но и также турецкие, с монгольскими с одной стороны, с угрофинскими с другой стороны, далее китайский, африканские, океанийские, равно австралийские, американские, подлинные так называемые коренные американские, все оказались в той или иной мере, но безусловно родственными друг с другом, а расхождения этих языков зависят от того, что архаичные системы языков отходили от центра языкотворчества и в основе они почти окаменело сохранились на определенных, пережитых всеми другими ушедшими уже вперед, ступенях развития языковой речи человечества. А раз это основное положение не говорит абсолютно ничего разуму адептов старого теоретического учения об языке, индоевропейского языкознания, то какой смысл в том, что в линии не только интересов, но и конкретной исследовательской работы нового порядка возникают работы, как-то статья «Из Пиренейской Гурии (К вопросу о методе)», где выявляются диалектические особенности гурийского говора грузинского языка и сулетинского наречия баскского языка в увязке друг с другом, и в то же время общность терминов материальной культуры и космического мировоззрения на такой палеонтологией вскрытой глубине, что попадаем в эпоху одомашнения животных и что получается почва для совершенно реального толкования сохраненного греками имени Прометея, кавказского похитителя небесного огня? И способен ли уловить при таких условиях скованный старым учением ум и правильно воспринять смысл имеющей появиться в «Сообщениях» Государственной Академии истории материальной культуры другой работы того же порядка под заглавием «Карфаген и Рим, *fas* и *jus*», где трактуется о том, что не только топонимика, названия населенных пунктов средиземноморского культурного мира, но правовые термины римской общественности, право божественное, *fas*, и право гражданское, *jus*, унаследованы римлянами от яфетидов, средиземноморских яфетидов, к числу которых как пережитки относятся баски, что в живых, но относим мы и только что посещенных (увы, лишь теперь и на короткое время) берберов? И может ли в этом смысле быть приемлем в той же среде составленный с этой общей точки зрения на французском языке прочитанный мною в Школе живых восточных языков в Париже курс грузинского языка, ныне уже печатаемый в Париже? И естественно, если за только что совершенную поездку в Абхазию иначе я не мог формулировать доклад свой о том, что делается по абхазскому языку, как «Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский язык». Разве не понятно, как двукратно, если не трехкратно, с большим правом мы считаем единственно верным

путем изучения грузинского языка, тот, что намечается с точки зрения постановки нового учения об языке? Между тем вся эта новая постановка со всеми предпосылками и подвергается остракизму в наиболее, казалось бы, компетентной среде лингвистов.

Итак, мы слагаем оружие. В самом деле выходит так, что за 40 с лишним лет работы над яфетической теорией мы не обрели в кругу специалистов-лингвистов ни одного верного последователя во всей полноте нашего построения, т. е., так же, как 40 лет тому назад, когда наше первое заявление о неизолированности грузинского языка и родстве его с семитическими было встречено со стороны весьма авторитетного ученого искренним смехом, какой естественно вызывается безрассудным предприятием, так же, как появление «Основных таблиц к грамматике грузинского языка» 20 лет тому назад не вызвало ни единого звука сознательного отношения и научного внимания к произведенной работе, так же в одиночестве приходится вести единоличную борьбу с громадными, необъятными языковыми материалами, оказавшимися неделимой массой одного языкотворческого процесса, одной сложной, но все-таки органически увязываемой глоттогонии, а известно, что один в поле не воин. И вот, следовательно, логический выход из положения, это отказ от дальнейшей бесцельной как преподавательской работы, так и научно-пропагандистской. И в самом деле, к чему уже так волноваться и торопиться? Вот изданный четверть века тому назад исключительный текст грузинской общественности и грузинской литературы, произведение Георгия Мерчула «Житие Григория Хандзтийского», попал в Англии в руки лица, окруженного грузинами и специально занятого темой этого порядка, лишь зимой минувшего года, после встречи со мной: не помог его популярности и перевод его на латинский язык. А это памятник — безобидный, не способный тревожить ничьего ни общественного, ни научного мышления. Совсем другое дело с яфетической теорией, вскрывшей, что есть лингвисты, но науки об языке доселе не было. При такой конъюнктуре не лучше ли молчать при виде голого короля? Так, вероятно, было понято сделанное мною в первой части нашего доклада заключительное заявление, подсказанное мне тем, что застал я в ближайшей ко мне среде по возвращении из-за границы, — о необходимости для меня прекратить дальнейшее изложение наших наблюдений. Это совершенно верно в отношении того, что и как я раньше читал. Кроме того, и чтение курсов и общественные выступления с докладами приходится делать в новой установке, учитывая смену слушателей. Наконец, беды не было бы, если бы я, действительно, отошел: ведь произошел бы лишь диалектический процесс с отбором сильных вперед, слабых, хотя бы со вклю-

чением меня, на упокой. Но дело значительно сложнее, чем картина рыцарских времен с одним воином на ристалище.

Подобно единой глоттогонии, единому языктворческому процессу, протекающему вот уже много десятков, более того, сотен тысяч лет, происходит процесс сложения нового учения об языке, так называемой яфетической теории. Процесс этот тянется не годы, а десятилетия, и разрастается не результат, а самый процесс и техника работы в такой степени, что если бы у захваченного его бурным течением работника был в распоряжении Мафусаилов возраст жизни, то не десятки, а сотни лет катился бы он по этой необъятной плоскости исканий и так и не докатился бы до конца, хотя бы потому, что был бы окончательно занесен волнами вызванного им потока, потоками неисчерпаемых девственно нетронутых и трепетно ждущих творческого овладения, современной наукой замалчиваемых материалов, языковедных материалов.

Началось со скромного изучения языка, которого никто в Европе, в просвещенной Европе, систематически не изучал, как и без системы не изучали его в ней до последнего часа: речь идет о грузинском языке.

На первых слогах сложения этой теории попутчиками оказались лишь те, кому дороги были эти штудии по связи с их родным языком. Да и предполагаемый творец этой теории отнюдь не был свободен от того же стимула. Так стояла тогда самая разработка теории, ограничивавшая свой основной источник осведомления грузинским языком, да еще каким грузинским языком — древнелитературным и другими увязанными с ним письменными языками, в первую очередь армянским древнелитературным. Потому-то возникла армяно-грузинская филология.

Первые наши попутчики отошли на этом этапе развития яфетической теории, не только без участия к ее дальнейшему развитию, но и без особого вкуса к армяно-грузинской филологии, не воспринимавшейся общественностью той среды, куда они ушли. Эти первые попутчики, изъяв из теории говорившую их сердцу часть, естественно, яфетическую теорию общезыкового значения обратили в теорию, отчасти как будто пригодную для грузинского языка, в грузинскую теорию, и ушли, таким образом, так же, как некогда, от центра мирового языктворчества, Средиземноморья, уходили кто в Азию, кто в дальнюю Африку, с пережитой в нем стадией развития человеческой звуковой речи (это народы с аморфным, или синтетическим, складом речи, с односложными словами, без добавочной формы с неустойчивыми еще значениями, т. е. моносиллабизмом и полисемантизмом).

Следующий этап развития той же теории характеризуется увязыванием, научно поставленным, с грузинским языком (и соответственным освещением) сродных ему языков из непосредственного же, именно кавказского окружения, в порядке ближайшей и дальнейшей близости все еще формальной структуры. На этом этапе развития попутчики оказались разноприродны по своей общественности, заодно с древнеписьменными кавказцами и некавказцы. Кавказцы-попутчики из древнеписьменных народов сосредоточились на своих языках, кто на армянском, кто на связанном с армянским курдском, кто на грузинском и в лучшем случае на ближайше связанном с грузинским мегрельском, а некавказцы, как непричастные к энтузиазму и увлечению кавказскими древнекультурными языками, источник своего увлечения обрели в бесписьменных языках Кавказа, в их удивительно своеобразных формальных сторонах. Обе категории попутчиков, а иногда лишь собиравшихся быть попутчиками, ушли на этом этапе развития яфетической теории совершенно так же, как от производственного центра речевой культуры, Средиземноморья, ушли некогда кто в глубокую Азию, кто в глубокую Африку с пережитой в нем стадией развития человеческой звуковой речи (это народы с установившимся уже значением слов, более того, с делением слов на идеологически значимые и формально функциональные, народы с агглютинативным складом речи).

Наконец, третий этап развития яфетической теории — это открывшаяся по увязке вершикского языка на Памире и баскского в Пиренеях с яфетическими языками Кавказа перспектива единого мирового глоттогонического центра, Средиземноморья, куда оказались тяготеющими народы восточной Европы, чуваш и угрофинны, а за ними или с ними турки, монголы и дальневосточные народы, с другой стороны народы Африки. Ответвления идут и далее в новые страны.

Но значение Средиземноморья как производственного центра звуковой речи, центра глоттогонического, выступает все ярче и ярче с переживающими до наших дней на обоих его берегах, и африканском, и европейском, бесписьменными языками, теми, что предшествовали письменным языкам не только классическим, латинскому и греческому, но и египетскому, шумерскому и всем древнеписьменным наречиям; и при таких наметившихся средствах и удобствах увязать одни языки, как продукции тождественных эпох глоттогонии при ближайшем, следовательно, родстве (схождении), другие языки, как продукции различных эпох глоттогонии, в первую очередь для углубления наших представлений о глоттогонии, для формулировки четких и точных положений нам невольно навязываются

для разработки языка Средиземноморья, обширного района всей Африки, наиболее изученного и по истории материальной культуры, и по взаимоотношениям их, и работа здесь огромная, неотложная, ибо от фактически детального освещения палеонтологическим методом последовательности зарождения их различных систем, трансформации одной системы в другую, зависит правильная постановка генетического анализа всех отошедших в различные моменты языков, не исключая и яфетических языков Кавказа, Памира. Велика жатва, но нет жнецов. А где наши попутчики? Спросите их. Только одно могу сказать: теперь некуда уходить. От разлагающих старое учение семян яфетической теории нельзя спастись ни в какой стране, ни в какой научной эмиграции, ни внешней, ни внутренней. Учение пошло гулять по миру, ибо новая общественность создает взаимное тяготение нового учения об языке и потребностей вновь самоопределяющихся бесписьменных и младописьменных народов не только Советского Союза, но и за его пределами, и подрастающее поколение жаждущих научной работы независимо мыслящих свежих сил из девственных в культурном отношении слоев населения не дрогнет перед карточными препятствиями, перед формальными построениями, как не потечет назад вольная река.

Есть два пути для приобщения к новому учению об языке теперь, когда читатель располагает, может пользоваться общим курсом, напечатанным Азербайджанским университетом в Баку.

Один путь это — сравнительная проработка двух языков в отношении их схождения и расхождений, ибо родство языков нами воспринимается, конечно, не биологически, а как результат определенного социального сближения на определенном этапе их развития, почему нам важны черты не только роднящие, но и разъединяющие, нам нужен анализ парно сближаемых языков и в их расхождениях, которые в свою очередь оказываются средством сближения с другими языками от эпох совместной общности на иных общих этапах развития звуковой речи.

Весьма поучительной конкретной иллюстрацией таких сложных взаимоотношений во всей полноте двух языковых типов являются схождения и расхождения грузинского и армянского языков, собственно четырех языков: двух грузинских, древнелитературного и народного, и двух армянских, древнелитературного и народного, причем выяснение этих схождения и расхождения устанавливает, что народные языки и грузин и армян обнаруживают типологически больше схождения друг с другом, чем народный язык грузинский с грузинским же древнелитературным или народный язык армянский с армянским же древнелитературным. Точно так же древнелитера-

турные языки Армении и Грузии стоят ближе друг к другу, чем каждый из них к народному языку соответственной национальности, т. е. воочию выступает, что не существует национального, общенационального языка, а есть классовый язык, и языки одного и того же класса различных стран, при идентичности социальной структуры, выявляют больше типологического сродства друг с другом, чем языки различных классов одной и той же страны, одной и той же нации.

Темой того же порядка для усвоения нового учения об языке в грузинской среде могли бы послужить схождения и расхождения грузинского и французского языков. Это, конечно, относилось бы, относится к более архаичным, в значительной мере так называемым доисторическим временам. Ясное дело, что схождения и расхождения бывают различных измерений, т. е. различных измерений бывает так называемое «родство». Тема может составить предмет целого курса, что мы не теряем надежды ввести в порядок дня, но она, эта тема, очень сложна и более обширна по захватываемой глубине эпох. Казалось бы, легче рекомендовать и легче справиться со схождениями и расхождениями грузинского и русского языков, но нужно овладеть финскими и турецкими языками и особенно чувашским, в котором целый слой от той группы яфетических языков, к которой принадлежит грузинский. Этот же языковый мир, особенно финско-чувашский, в учебе везде экзотичен и в Грузии совершенно отсутствует.

Другой путь для приобщения к новому учению об языке может быть рекомендован молодым исследователям по языку из Грузии (все равно, грузиновед ли он по специальности или интересуется общим учением об языке), это — взяв названный краткий печатный курс, не скользить доверчиво и усваивать пассивно, что там преподносится, а проработать самостоятельно, например:

1) когда я пишу об отношении Боппа (Bopp) и Броссе (Brosset) к грузинскому языку, как индоевропейскому, и только, то было бы полезно ознакомиться с подлинной трактовкой грузинского языка, Боппом, равно Броссе, и проследить, как грузинский язык отпал от круга языков, изучавшихся индоевропейцами. Мои слова слишком общие: «Бопп, основоположник формального учения об языке, индоевропейского, один из основных языков яфетической системы, грузинский, кстати, тогда единственно изучавшийся и известный в научной литературе, разъяснил как язык индоевропейской семьи, и это мнение готов был разделить (можно сказать, разделял) единственный тогда грузиновед Броссе, что не мешало ему отдельные слова грузинского языка объяснять родством его с семитическими

языками. Это понятно, если учесть то, что Броссе, единственный предшественник мой как специалист-кавказовед в составе Академии наук, был, собственно, историк, менее всего лингвист». Не мешает установить попутно, знал ли кто-либо из круга самих индоевропейцев грузинский язык в какой-либо существенной мере.

Или, например, на 23—24 стр. цитованного бакинского издания у меня довольно суровое отношение к так называемой туранской теории. Справедливо ли оно? Я пишу: «...в эпоху возрождения и научного и общественного интереса к странам, принадлежащим к колониальным владениям Британской империи или к путям к ним, в частности к морским выходам в Средиземноморье, работавший в Англии лингвист Макс Мюллер (Max Muller), специалист по санскриту, филолог, изолированные, как казалось, языки Кавказа, в том числе в первую очередь грузинский, вместе с турецкими и финскими языками, вообще урало-алтайскими, относил к одной формально определяемой семье, агглютинативной, которая окрещена была в языкознании термином “туранская”. Туранская теория долго продолжала существовать в умах ученых; под ее влиянием часть их, занимавшаяся загадочными для тогдашней науки мертвыми языками клинописей Месопотамии и Кавказа, эламским, шумерским, новоэламским и халдским, стремилась истолковать их с помощью грузинского, так Ленорман (Lenormant), Сэйс (Saysce), Гоммель (Hommel) и др., все они без всякого или без элементарно достаточного знания грузинского языка, единственного сравнительно лучше, во всяком случае наиболее изученного яфетического языка».

Здесь, собственно, затронуты две проблемы, одна об отношении грузинского, вместе с турецкими и финскими, геср. угрофинскими, вообще урало-алтайскими, к одной формально определяемой семье, агглютинативной. Ведь сейчас мы приходим к тому же утверждению, так в чем же дело? Вот также вопрос, который мог бы послужить активному слушателю или научному работнику по специальности темой для более сознательного усвоения наших положений.

Вторая проблема это яфетические языки Кавказа, у цитированных ученых просто кавказские языки, обычно грузинский, и языки клинописи Месопотамии и Кавказа, эламский, шумерский, новоэламский и халдский. Они находили в яфетических языках Кавказа ключ к разъяснению перечисленных клинописных языков. Ведь мы пришли к тому же выводу, и яфетидологи работают как будто с успехом над этим так давно указанным родством не только у нас, но и в зарубежной Европе, здесь в единственной пока венской ячейке яфетической школы. Так в чем же дело? Вот третий вопрос, который

может послужить темой интересующемуся для проявления его активности по усвоению нового учения об языке.

Более сильно вооруженный мог бы выбрать те вопросы, которые там же не только не доработаны, но и почти не затронуты, между тем они сейчас представляют требующую неотложного освещения проблему, так особенно вопрос о последовательном нарастании языкового материала, именно в первую очередь нарастании слов.

Нарастание языкового материала вообще уже выяснено и установлено в основных частях.

Звуковая речь начинается не только не со звуков, но и не со слов, частей речи, а с предложения, герп. мысли активной и затем пассивной, т. е. начинается с синтаксиса, строя, из которого постепенно выделяются части предложения, определявшиеся по месту их нахождения в речи.

Частей речи еще не было. Постепенно из частей предложения выделяются имена, которые служат основой для образования действия, т. е. глаголов переходных и впоследствии непереходных; имена существительные по функции становятся, служа определением, прилагательными, которые также выделяются; имена же (определенный круг имен существительных) становятся местоимениями, затем имена становятся союзами, и остальные части речи уже лишь производные от той или иной категории из перечисленных частей речи.

И все-таки глагол, тот именно глагол, который в некоторых системах языков, напр., семитический, представляет отправную точку для всех частей речи, самое последнее образование.

Таким образом, при выслеживании последовательности зарождения слов в первую очередь приходится останавливаться на именах, собственно тех звуковых символах, которые, не будучи, понятно, еще именами существительными в нашем смысле, давали представление о предметах, или которые, становясь фактически уже существительными, вмещали в представлении о них потенциально все части речи, и имя существительное, и его то или иное качество, или ту или иную форму его, или правомощность его в представлении первобытного человека замещать имя существительное и то или иное действие, связанное функцией этого обозначаемого таким существительным предмета.

Но вот перед нами, до стадияльной классификации этих имен, вопрос об идеологической и формальной стороне самого зарождения слов и затем учет по совокупности всех слов доисторических стадий развития, и лишь затем классификация по стадияльным группам, ибо этот основной вопрос, особенно ответственная проблема, никак не может быть решен одними лингвистическими изыскания-

ми, раз новое учение об языке по яфетической теории увязывает рост и развитие речи, как и ее происхождение, идеологически с историей материальной культуры, общественных форм и надстроечных понятий, в том числе мировоззрений.

Таким образом, необходимо считаться с построениями изжитой доисторической человеческой культуры по данным археологическим, этнологическим и обществоведческим. Однако тут-то и *discrimen*, положение чрезвычайно критическое. Такого построения, да еще бесспорного, отнюдь не существует, и даже то, что считается общепринятым, расходится с фактами, которые устанавливаются палеонтологией речи. Дело в том, что, с одной стороны, возникновение звуковой речи не могло иметь места до высокого развития орудия производства, так что, если говорить о палеолитической культуре, то звуковая речь могла возникнуть в одной из позднейших ее эпох. С другой стороны, столь высокое развитие звуковой речи, прошедшей несколько процессов, неизбежно длительнейших, с «пермутационной» ее проработкой системы в систему, требует большего количества времени, чем то, что обыкновенно отводится в истории созидателю культурных ценностей, человечеству, между тем язык есть отложение именно культурного творчества.

Никаких натуральных слов не существовало. Слова созидались с тех пор, как стала слагаться звуковая речь, в удовлетворение потребностей, возникавших с развитием хозяйственной жизни и социальной структуры коллективов в путях достигнутой в то время техники и в зависимости от мышления тех же эпох. Но созидались слова не на пустом месте в путях отвлеченного мышления, хотя бы в увязке с общественностью и ее материальными предпосылками и ее мировоззрением, а в постепенно протекавшем диалектическом расхождении с кинетической речью, языком жестов и мимики, рядом с которым элементы звуковой речи служили долго лишь подсобным материалом, ограничивавшим свое использование кругом предметов и представлений магического порядка. Когда же сложилась звуковая речь и вышла за пределы магических потребностей в мир обыденных предметов и представлений, победительница сраженной кинетической речи оказалась забравшей все достижения линейного языка: первичные слова и производные образования звуковой речи не что иное, как перевод линейных, или кинетических, символов, сигнализовавшихся рукой, на звуковые символы. И, конечно, техника этого перевода, вообще техника построения слова была не только формально, но и идеологически различна, как самое мышление в различных стадиях человеческого развития.

Вопрос не только в том, что до телеграфа, телефона и аэроплана

не было соответственных слов, но в том, что слова не составлялись так, как составлены они. Не составлялись слова и так, как составлены более обыденные слова, напр., в русском «создатель», «совесть» или по-грузински *agmateynebel* 'строитель', *sinidis* 'совесть'. Это слова эпох логического мышления, слова, построенные по логически продуманному плану, а не по ассоциации образов и связанных с ними функций. Совсем другое дело такое также русское слово, как, напр., «топор», то же, что армянское *tapa*; слово это описывает круг от Персии до Скандинавии и на юг до венгров и румын. Предполагается, что это вклад турок, принесших его от персов к славянам. И такое голословное утверждение понятно при одном формальном методе, без палеонтологии, и при полном отсутствии представления о палеонтологии семантики, т. е. значимости слов. «Топор», орудие металлическое, представляет функциональное унаследование названия каменного топора, камня, что в свою очередь носило название руки, передавшей свое название предмету, взявшему на себя ее функции, и отсюда это лишь семантические дериваты от руки, когда в линии предметов материальной культуры мы имеем слова, означавшие 'нож', 'меч', 'кинжал' и т. д., и т. д.

Но, как понятия надстроечного мира, не только 'желание', но и 'право', 'долг', оказываются в значениях терминов материального мира 'воды', 'руки', так в связи с культовым значением тех же предметов материальной культуры, в частности и особенно 'руки', с ней увязаны восприятие ее функции и космические, в частности астральные термины культа, и еще вопрос большой, чему надо отдать первенство по времени в классификации слов по стадияльным наращениям, когда речь идет уже о возникновении и семантической эволюции словаря звуковой речи.

Не будем углубляться во все стороны этой проблемы, удержимся от этого, но напомним лишь о двух вещах: одной, представляющей собой общее перспективное значение, другой — семантической детали, но чрезвычайно существенной, именно для того, чтобы разобраться в принадлежности различных слоев общечеловеческого словаря различным стадиям развития звуковой речи.

Пользуюсь случаем, чтобы еще раз обратить внимание на важность общей схемы не только возникновения, но и развития звуковой речи, не только до окончательного сложения одного какого-либо языка, но со включением образования всех наличных ее основных типов, всех ее систем, так наз. «семей».

Этот вопросо вклинивается в наше восполняющее печатный бакинский курс изложение; его обостряю и потому, что прослушанные за последние недели, по приезде из-за границы, доклады меня убеди-

ли в недооценке даже моими слушателями, в числе их лучшими учениками, кардинального значения того нового, ясно наметившегося общего построения об языках всего мира, которое требует не только приступа к новой работе и ее настойчивому ведению, разумеется, во всеоружии новой техники, но особенно и прежде всего нового лингвистического мышления. Надо переучиться в самой основе нашего отношения к языку и к его явлениям, надо научиться по-новому думать, а кто имел несчастье раньше быть специалистом и работать в путях старого учения об языках, надо перейти к иному «думанию», в этом смысле переучиться, а это, конечно (мы вполне понимаем, знаем по опыту), очень трудно сделать, а между тем без этого всякая технически, допустим, даже безукоризненно выполняемая работа как по усвоению учения об языке, так в дальнейшем по исследовательской работе — ни к чему. Это будет бесплодный Сизифов труд с откатыванием назад да вниз тяжести, которую все-таки надо донести до верха.

Я вынуждаюсь конкретно подойти к этой болезненной стороне предприятия. Дело идет о взаимоотношениях языков всего мира. В бакинском курсе у нас подробный критический разбор попытки представить эти взаимоотношения в порядке наследственного размножения генеалогического дерева. В работе «О происхождении языка», напечатанной сначала в немецком переводе «*Über die Entstehung der Sprache*» в журнале «*Unter dem Banner des Marxismus*», затем в подлиннике в сборнике «По этапам развития яфетической теории» в 1926 г. было помещено это генеалогическое дерево. И уже в 1927 г. мы должны были заняться его переработкой, как можно видеть по местам бакинского курса. Таблица требует иного построения, именно того, чтобы один столбец составляли яфетические языки (реликтовые), другой — все остальные. Но в таблице иных языков, неяфетических, иное положение: во-первых, диахронической перспективы нет между языками различных эпох по типу; есть хронология историческая, языки датируются временем их появления на историческом поприще, так романские языки, но только как носители определенной исторической, разумеется, классовой культуры, определяют время самого типа, который, однако, древнее. Потому-то романские и германские языки раннего типа, местоименно-агглютинативного или местоименно-флективного, языки более древние по типу, чем греческий и латинский, флективные, каковые относятся в пофлективные эпохи. В нашей таблице, имеющей считаться с реальной хронологией различных пластов, им отведено будет подобающее архаическое место.

Однако такой новой генеалогической таблицей, приближающей

нас к более правильному восприятию взаимоотношений различных систем в отношении времени, далеко не разрешается вопрос о наглядном представлении тех типологических эволюций, которые звуковая речь человечества претерпела на своем долгом пути.

Прежде всего в таблице мы получим раздвоение: реликтовые яфетические языки, пережитки доисторических и дописьменноисторических языков, расположены будут отдельно, а языки систем письменноисторических эпох — отдельно, чего в реальности, конечно, не существует. И те, и другие системы — органически объединенные части того единого механизма, в котором протекает единый процесс глоттогонии (созидания речи), независимо от того, захвачена ли в данный момент им, этим процессом, совокупность речи всего человечества, активно ли действует в нем та или иная группа языков, или пассивно претворяется, если не в новый вид, то в его разновидность, или точно бездыханный труп лежит без движения, живя завещанной статикой.

Однако основной дефект таблицы будет не в этой разобщенности, а в отсутствии и намека в ней на смену эволюционных этапов в каждой из систем. По таблице можно будет подумать, что каждый язык или каждая однотипная группа языков представляет оформленное по новой системе порождение другой системы, точно процесс развития имеет узловые созидательные стоянки, различные творческие этапы, между которыми лишь прозябание. На деле же те стоянки или этапы — лишь поворотные или революционные. Они взрывают устоявшуюся среду и открывают новые пути, по которым постепенно и налаживается сложение нового типа и развитие, и на этих же путях зарождается расхождение, возникновение антитезы рядом с тезисом, дающее в итоге борьбы новое разрушение в революционном сдвиге на следующей узловой стоянке. Творчество в самом движении, не на стоянках, как не в начале, а в процессе непрерывного накопления и динамике материалов. Вначале — ничего. Про звуковую речь можно смело утверждать, что вначале — ни духа, ни материи звуковой речи. Когда намечается звуковой материал, то он, лишь ощупью используемый в путях завещанных навыков ручной, или кинетической, речи, сначала в ограниченном мире потребления, постепенно растет и создает так наз. дух, т. е. особую технику, вместо изжитой, в силу накопления рефлексов от идеологии новой жизни, так наз. психологии, особый вклад, особую систему, естественно как удовлетворение определенной общественности на определенной ступени развития в определенных физических условиях — создает различную систему мышления, различную технику ее выражения в звуках, т. е. различную систему речи, кажущуюся наследием различных

семей языков и в источнике, если не даром бога, то даром природы, именно лишь развитием непосредственно животных звуков, так наз. речи животных. Язык во всем своем составе есть создание человеческого коллектива, отображение не только его мышления, но и его общественного строя и хозяйства в технике и строе, равно в семантике, но не в том упрощенном типе, как то мыслил наиболее к нам близкий по идеологии Нуаре с его предшественниками и последователями.

К диаграмме родословия языков мы возвращаемся не раз, в частности в том же курсе. Забрав нами же составленное упомянутое родословное дерево языков, в итоге выделения сложных взаимоотношений языков, которые обычно учеными так просто и наивно сближаются до признания особых расовых семей в их так наз. родственных чертах, собственно в схождениях и расхождениях социально-экономических, или как сказано в курсе: «в схождениях и расхождениях в источнике хозяйственно-государственного порядка», мы констатируем факт, что «сложные жизненные, конкретные их взаимоотношения не нашли своего [адекватного] выражения и в предложенном с поправками... нашем родословном дереве». Мы пробовали лишь тогда же «построить новую диаграммную фигуру связанности языков» и заранее осудили еще один намечавшийся опыт с изображением особо яфетических языков и особо всех остальных языков мира. Мы в общем успели лишь наметить материал для построения наглядной жизненной диаграммы, но самой диаграммы не дали, оставив ее осуществление на будущее время, как чисто-техническую проблему. Но осуществление имело тогда «основание быть отложенным не только по технической невыполнимости задания», да и не по тем только «более существенным затруднениям», о которых речь в соответственном месте курса.

Мы сейчас действительно начинаем уточнять взаимоотношения во времени в такой степени, что, например, системы семитическую и прометеидскую («индоевропейскую») языков относим, несмотря на расхождение во времени, в образования одного и того же периода, четвертичного, точно так же, как языки третичного периода, яфетические, также выявляют себя группировками различной типологии, лишь с тем отличием, что эти типологически различные группировки, почти различные системы, в разрезе их диахронического освещения легко увязываются друг с другом, несравненно легче, чем семитические с так наз. индоевропейскими. И тем не менее мы и сейчас не можем не повторить следующих строк из изданного в Баку курса: «Хотя, таким образом, семитические языки представляют более древний этап развития, чем прометеидские [индоевропейские], но это не

значит вовсе, что прометеидские языки во всех частях уступают семитическим в отношении древности языковых материалов и языковых норм, и еще менее это значит, что прометеидские языки вышли непосредственно из семитических языков, что прометеидская система языков есть дальнейшее развитие непосредственно семитических языков. Такая мысль явилась бы глубоким недоразумением. Яфетическая пирамида от индоевропейской отличается не только тем, что индоевропейцы, исходя из единства праязыка, ставили пирамиду верхом вниз, чтобы от единицы идти ко множеству, широкой раскиданности многообразных видов человеческой речи, а яфетидолог, исходя из одинаковости степени развития всех языков, многочисленных и не окрепших в своей формации, идет к нарастанию в определенных путях общего единого языка. Если бы дело обстояло так, то это значило бы, что одна простота и наивность заменяется другой простотой. Масса разнообразных в процессе творчества моментов требуют каждый особого учета».

В чем же дело? Дело в том, что сравнительная работа над языками различных так наз. семей языков, неизбежно сочетавшаяся с вызванным ею к жизни особым новым учением о значимости слов, семантике, открыв пути для обоснования палеонтологией речи, как идеологической, так формальной, вместе с тем уже выявила совершенно ясно и ярко значение времени в развития языка, в его мутационных перестройках с революционными сдвигами не в одних социальных явлениях, но и в технике и технических факторах их порождения, т. е. когда дело идет о звуковом языке, то речь не только о продукции речевой культуры, но и о мышлении, между тем наше личное мышление с его техникой по нашей общественной принадлежности прошлому оказалось устаревшим аппаратом для верной оценки достигнутого практически и фактически теоретического построения о взаимоотношениях языков.

Утверждая непрерывную цепь смен во времени языков одной системы языками другой системы, упраздняя фактическими данными расово-пространственную изоляцию одних систем от других, мы все-таки продолжаем подходить к языкам с пространственными мерилami, дающими представление об учете лишь наследственного приращения себе подобных и количественного роста, а это куцый учет лишь языкового производства, учет лишь продукции, а не учет творческой растущей динамики и с нею коренным образом мутационно преобразующейся глоттогонической техники. Таковы же, т. е. выявляют лишь статичность, родословное дерево языков и пирамиды, хотя бы и стоящая натурально основанием на почве.

Существенная же семантическая деталь, это — общее положение

яфетической теории, именно то, что звукоподражательность слов — позднейшее явление.

Вопрос нами затрагивался не раз, ему посвящен пространный пассаж в статье «О происхождении языка». Я позволю себе повторить этот пассаж если не целиком, то в значительной его части.

«...При возникновении языка человек вовсе не располагал таким количеством слов, чтобы расточать их на осознанное звукоподражательное выражение тех или иных явлений. Самое явление, звукоподражательная природа многих слов, отнюдь нами не оспариваемая, — результат позднейшей эволюции в восприятии того или иного слова за звукоподражательное только потому, что говорящий привык сочетать данное слово с определенным предметом, имеющим, действительно, в природном своем проявлении звуковое оглашение, так, напр., для выражения звуков, испускаемых лошадью ртом и ноздрями, у русских слово «ржать», у грузин qvi-qvin-i. Конечно, русскому «ржанье» вполне представляется звукоподражательным, как грузину qvi-qvin, и вполне естественно, так как тот и другой с соответственными терминами неизбежно ассоциирует определенные звуки. Но названные слова, как вскрыла палеонтология яфетического языкознания, возникли совершенно не от созвучия со ржаньем, а потому, что 'ржанье' есть природное свойство лошади, ее характерный признак. Дело в том, что грузинское qvi-qvin представляет удвоение основы qvin, праформы *qun ← qon, что, как теперь известно, есть разновидность hon-e → hun-e, означающего 'конь', а русское «ржать» представляет глагол, производимый от основы «рж-», стянутой еще на яфетической почве формы слова guj → goj, более древней разновидности основы loш слова «лошадь», и мы отлично знаем теперь, что груз. hune и унаследованное от яфетидов русскими «лош» || *goj это племенные, в известных случаях тотемные слова, первое ионов, второе — этрусков. Следовательно, грузинское и русское слова, означающие 'ржать', конечно, дают представление о звуках ржанья, но сами отнюдь в своем генезисе не отражают никаких звуков, ни в малейшей мере не звукоподражательны, а определяют ржанье как лошадиное или конское действие, буквально означая, да простится мне этот барбаризм, 'конить' или 'лошадить'. Такова же история абх. a+kur+kir-ra 'ржанье', арм. qir-qind id, бск. i-rhin-sir-i и samari-kina 'ржанье'. Дело в том, что каждое слово звуковой человеческой речи есть в источнике акт осознанного, а не аффеക്ഷионального или произвольного действия. Животная речь пользуется в своем зачаточном состоянии аффеക്ഷиональными средствами, данными природой, у одних звуками, напр., у птицы, у других движениями, напр., у муравья. Звуковые средства птиц громанды в отно-

шении пения, но это произвольный звук, это не звук языка. В языке не звук, а фонема, отработанный человечеством членораздельный звук, сопровождаемый работой мозгового аппарата, раньше влиявшего в тех же целях на руку, звук, направляемый мышлением, как раньше направлялось им движение руки, жесты и мимика линейной речи. Движения муравья в свою очередь не располагают и особым технически приспособленным орудием. Движение тут всего тела. Животный звуковой язык может лежать в основе позднейшего звукового художественного творчества человека, пения, музыки, а вибрация тела может лежать в основе линейного художественного творчества, пляски и т. п. Ни тот, ни другой путь не вел к человеческой речи».

Но вопрос не только в том, что изначальная звукоподражательная речь одно недоразумение. Так обстоит дело и с материальным чувственным восприятием ряда для нас ощущаемых понятий, напр., 'ветра'. Кажется, 'ветер' — это дуновение, что в наречении 'ветра', возникновении этого термина, повинно чувственное восприятие этого стихийного явления.

Конечно, от 'ветра' глагол 'дуть', но 'ветер' не от глагола 'дуть', как 'лошадь' не от 'ржать'. Ветер также воспринимался подлинным первобытным человеком, его дологическим или мифологическим мышлением, как явление космическое. Это важно как нелишний момент для датирования возникновения звуковой речи, более того, сложения ее уже хозяйственно-необходимого словаря, ибо такое космическое восприятие могло быть лишь на позднейшей, более высокой ступени человеческого развития. Космическое восприятие вынуждало увязать 'ветер' с 'небом', с его 'движением', 'кружением'. Мы знаем из дальнейшего развития словаря, что архитектурные термины 1) 'арка', 'свод' — это 'небо', 2) 'колесо', — это 'небо'. 3) 'колесница', — это 'небо'. Не вхожу в детали, когда в виде положения «часть по целому» — по 'небу' 'солнце', а 'солнце', resp. 'луна', и 'глаз', равно 'круг', 'колесо' идентифицируются. Потому-то, когда по-грузински говорят в смысле 'колеса' — *ḡurmis val-i*, буквально, как будто, 'глаз арбы', или употребляют в значении 'считать' — *ḡvla*, 'он считал' *ḡval-a*, буквально, как будто, то же, что грузинское *ḡval-v-a* 'сглазить', точно грузины счет вели глазами, как писал один из моих корреспондентов, математик из Телава, то в первых двух случаях одним обычным ныне и с давних исторических эпох в грузинском значении 'глаз' нам не понять приведенных выражений, не понять их без палеонтологией воскрешаемой стадияльно более древней полисемантичности слова *ḡ-val* (древнелит. *ḡo-wal*), рядом с 'глазом' означавшего 'светило небо — солнце', resp. 'луну', так что

urmis ღვალ 'колесо' буквально могло быть понято 'солнце', resp. 'луна колеса', и трудно в грузинском глаголе 'считать', совпадающем с именем луны, не усмотреть измерения количества по луне.

Так и 'ветер' это 'вихрь', 'кружение' и т. п. Посему, когда мы в грузинском имеем основу с аканием *ber* в глаголе *ber-v-a* 'дуть', то имя *ber*, как и его эквивалент с аканием *bar* (мегрельское, чанское *o-bar-u* 'дуть') и оканием *bug* (отсюда русск. «буря», грузинское *bu-q* id. из **bug-q*) в семантическом архетипе, увязанном с 'небом', увязано не с 'дуновением', а с 'кругом', как, напр., налицо то же слово в груз. *bru* (←*bur*) 'кружение головы', да в грузинском удвоенном *bor-bal* 'колесо', равно увязано то же имя с 'головой' и 'горой' (пучковое значение 'голова+гора+небо'), как то мы видим в груз. *bor* — ზი 'холм', баск. *bor-tu* 'холм', сулет. 'гора', лат. *mont-(mons)* 'гора' и т. п. и бск. *bug-u* 'голова', чув. *pus* 'голова', да не забыть, что по 'небу' наречен не только 'круг', но и 'шар', resp. 'мяч', следовательно, сюда же груз. *bur-ღ* 'мяч' и т. д. и т. д.

Равным образом, хоть груз. *qar* 'ветер' теперь в глаголе *qr-is* значит 'дует', а *qr-obs* 'тушит', 'гасит' но, собственно, *qar* ← *gar* ← *kar* (для группы с аканием закономернее имеет I вм. г), при окании *gor* и т. п., по семантическому архетипу увязано с арм. *kar-q* 'повозка' ('колесница'), с груз. *gor-av-s* 'катится', 'вертится', с груз. *go-gor* 'колесо', с бск. *qou* → *go* '*небо' (с утратой исходного плавного) и с *gul* ↔ *gol* (вм. более для окающей группы закономерных разновидностей *gur* ↔ *gor*) в значении 'голова' в составе скрещенного арм. *g lu-q* (*kol+o-q*, русск. «гол+о-ва»), впрочем, и с груз. *gor-a* 'холм' (*gor-ak*), мегр. *gol-a* → *gwal-a* || ლ *goy-a* 'гора', мегр. *gor-e* 'маленькая гора', русск. «гор-а» и т. п.

Помилуйте, как же по языку свистящей группы с аканием, именно грузинскому, такие основные, можно сказать, коренные слова с огласовкой то *o* ↔ *u*, то «е»!! Но что делать, когда такова история сложения грузинского языка в результате скрещения, без которого не возникал и не развивался ни один язык. Грузинский язык не примитив с одним аканием, его фонетическая норма о двух огласовках — «а» и «е», ему же не чужды целые ряды слов с губной огласовкой *o* ↔ *u*. Но факт, что присущие ему разновидности с аканием существовали в тех же значениях; так слову *bor* ↔ *bug*, что от элемента В, в грузинском следовало бы быть *bal*, и оно налицо в удвоенном, вернее — скрещенном груз. *bor-bal* 'колесо'; слову *gor* ↔ *gur*, что от элемента А, в грузинском следовало бы быть *gal*, оно и пережило в груз. *gir-gal* 'буря' (из **qur-gal*). А самостоятельно разве не существует *bal* 'шар', 'мяч' и *gal* 'ветер'? Конечно, да. Их сохранили: первое французы в *balle*, англичане в *ball* и т. д., с хорошо известны-

ми значениями, не исключая 'мяча', второе — англичане в gale 'ветер' с диапазоном от 'легкого дуновения', 'ветерка' (breeze) до 'бури', в языке моряков.

Подробнее можно бы остановиться на терминах 'рука' и 'нога', которые, как оказалось, первоначально носили одно название. Более того, будучи производным от 'ноги', 'сапог' функционально унаследовал культовое значение 'ноги'. Но это обстоятельство разъясняется в работе «Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский язык». И если в этом разъяснении профана может смутить не мотивировка увязки, а сближение русского с абхазским или грузинским, когда русское слово «мочь», оказавшееся не случайно созвучным абх. mθ (a-mθ 'сила' [ʎm θ], m θ-la 'силой'), поскольку прослеживается это слово 'сила' до его семантического архетипа 'рука', представленного тем же словом, элементом В, в яфетических языках Кавказа, в грузинском, мегрельском, чанском, абхазском, по формуле mar || mor, resp. *mod → moθʏm θ, то совсем иное дело, мало вразумительное и для свободомыслящего, когда 'рука' и 'нога' оказываются разновидностями одного и того же слова, означавшего и 'ногу' и 'руку', почему в самом русском первая часть скрещенного слова «но+га» (не касаясь даже его полного вида пош 'рука', откуда «несу», «ношу», «ноша» и т. п.), именно по— сохранила пережиток безразличного обозначения и 'руки' и 'ноги' в производимом «но+готь» (*no-go-te), буквально переводимом палеонтологически на яфетической почве 'дитя руки', resp. 'ноги' (ближайше 'пальца' безразлично руки или ноги), как груз. φг— θqil из φг— θqir (φг 'нога', ср. груз. φег-q, и θqir 'дитя', ср. чанск. skir 'сын') 'ноготь' и потому же абхазский эвивалент того же русского по-, именно па, значит 'руку' в скрещенном а-па-р 'рука', как сращенная основа составного русского слова «сапо-г», именно sa+po— (франц. sa+bo-t, бск. sa+pa-t), означавшая некогда 'ногу', с этим значением и сохранилась у абхазов в слове а-ша+р 'нога'.

И трудность восприятия не в этих сближениях, а в чуждом нашему мышлению факте, что 'рука' и 'нога' были наречены звуковым словом не как члены тела, анатомически воспринимаемые по их физической функции, а как увязанные по магической функции в нераздельном действе — пляске, пении и игре, с предметом культа, луной и солнцем, и носящие их название.

Уже усвоение этого мышления, первобытного мышления, нам непривычного, требует громадных усилий для преодоления. Но усвоение первобытного мышления не так трудно, да оно и не ключ само по себе, не «сезам, откройся». Труднее стать на новое общественное мышление, из которого вытекает, как то мы вынуждены

теперь признать, новое учение об языке. Мы также не осознавали этого, как того, что марксизм присущ яфетической теории, что яфетическая теория представляет, как оказалось, приложение и оправдание марксизма в области языкознания. Отсюда ясно, что самое трудное для восприятия нового учения об языке не необходимость овладеть множеством языков, не необходимость справиться со сложной задачей увязки языковых явлений с историей материальной культуры, форм общественного строя и мировоззрений, тем более не необходимость усвоить технику нового учения, технику возведения всех языков мира к четырем элементам и учета результатов разнообразных скрещений. Трудность исключительного характера в необходимости овладеть новым мышлением. требующимся для теории нового учения об языке, ибо это значит одолеть или победить себя, поскольку человек это мыслящее существо и расстаться с своим мышлением представляется по традиции актом самоотречения — отказом от себя. Новое учение об языке требует отречения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления. Вот почему так трудно стать лингвистом-теоретиком.

(1928)

Н. Я. Март

ЯФЕТИЧЕСКИЕ ЗОРИ НА УКРАИНСКОМ ХУТОРЕ

(Бабушкины сказки о Свинье Красном Солнышке)

Посвящается Второму
Всеукраинскому съезду
востоковедов

Кому Милосская Венера, да Владимир Красное Солнышко, а кому богиня Мотыга или, что то же, богиня Рука, да Свинья Красное Солнышко. Неладно: нет солнышка женского рода. Но не наша вина, что, зная прекрасно про женский род солнца и невозможность втереть очки современникам, сразу обратить ее, еще женщину в осознании первобытного матриархального общества, в бородатого представителя человечества, кое-где правду-матку прикрыли фиговым листиком, и солнце оказалось существом очень сомнительного рода: среднего. Что солнце в осознании не одних современных нам или

средневековых яфетидов представлялось женским творением, это легко видеть не только по тому, как в каком архаическом по нормам хамитическом языке, как берберский, 'огонь', получивший функционально по 'солнцу' свое название *Ṣi-ms*, — женского рода, но с женским оформлением называется и 'глаз' — *Ṣi-t*, являющийся по палеонтологии речи названием 'солнца'.

Впрочем, ведь эта социально-половая метаморфоза (конечно, не в природе вещей, а в представлении человечества) произошла не с одним солнцем. С солнцем не определившегося еще рода можно было бы, пожалуй, хоть по эпическому представлению мириться. В эпосе, так у армян, солнце — 'отрок', 'дитя', а 'дитя' ведь тоже среднего рода. Однако то же самое видим с 'небом'. Про 'землю' как будто не забыл никто, что это мать-сыра-земля, т. е. попираемая мужчинами, захватившими общественную власть, женщина, но небо, эта прекрасная сводчатая или купольная надстройка, конечно, также среднего, если уже не мужского рода: где *soelum* и «небо» (т. е. средний род), а где *οὐρανός* и *le ciel* (т. е. мужской род). Впрочем, про французов говорят, что они потеряли средний род, как и склонение. Однако как можно терять то, чего не только ни французы, ни их настоящие предки не имели, но чего в природе не было, этого «среднего» рода, да, если хотите, и склонения. Однако, что 'небо' было женского рода, тому свидетели такие бесспорно почтенной древности языки, как латинский, греческий, да и кельтский, ну хотя бы бретонский. Ведь из палеонтологии речи известно, что «часть по целому», т. е., напр., по 'небу' носило название 'облако', в первобытном представлении являвшееся одним целым с 'небом'. В русском опять средний род, но уже во французском «*la nue*», не говоря о «*la nuée*» (*le nuage* — позднейшее образование), а о греческом (*νεφέλη*), латинском (*nebula*, *nubes*), да бретонском («*igenn*») и говорить нечего. В бретонском за отвлечением второй части, при формальном анализе — окончания женского рода *-en* (по ложной орфографии «*enn*»), остается *ig*, что без всякого надбавочного признака, вместе с его двойником означало 'женщину', 'девушку', хотите и 'невесту' (ведь свадьба это обряд культа неба). Не забыть, что об *ig* и *og* со значением 'женщины' приходится говорить по связи с армянским языком, по многим слоям своего состава более близким к бретонскому, чем французский: это арм. *og+i-ord* 'девушка', буквально 'женщина-дитя', это скрещенное образование арм. *-urhi*, resp. *-urhe*, обратившееся в суффикс, показатель женского пола, на самом деле скрещение *ig* 'женщина' и *he* 'женщина'.

Понятно, что яфетидологические утверждения, как бы они ни были слабо разработаны (тоже ведь не по нашей вине) и как бы таинствен-

но ни нашептывали современные маги хулений, прорывающихся изредка по неуравновешенности искалеченных голов, как бы их ни хаяла стоустая молва с задворков и как бы торжествующе-величественно ни замалчивались они в кругах настоящих и будущих, чем и молодые надеются стать, сенаторов науки, это призыв к свету и свежему воздуху, к яркой радости и живой общечеловечности, т. е. к полуденному солнцу, сжигающему беспощадно всякие миазмы, а не тяготение или возврат к ночи. Это не вечер, а зори, красные радостные зори. На то и роднящий нас с так называемыми индоевропейцами Прометей. Похитив, как яфетид, огонь-свет у Неба, он оказался обращенным индоевропейцами в «Провидение» (живущие задами ведь доселе повторяют этот вздор), а провидение, т. е. мудрость, как известно индоевропейцам-грекам, вылетело из головы Зевса, и как же можно было не усвоить Прометея в прародители сочиненным, т. е. в природе не существующим, индоевропейским «народам», собственно почвенному классу, тоже ведь породе людской, так и родившейся на свет божий мудростью надстроечного происхождения, из головы, да какой головы? Мужской. Σοφία 'мудрость', и сама «Афина», да «голова» все женского рода, а родитель — Зевс. Мужчина рождает. Это напоминает Библию семитов. Но в Библии, излагая историю созидания женщины из мужчины, не забывают, что взято было 'ребро' от Адама, а 'ребро', как 'бок', как 'сторона', восходит к 'руке' по палеонтологии речи, а по 'руке-производительнице' была названа и 'женщина' в порядке функционального развития значений слов. Имелось в виду отметить таким образом не физический пол, а производственно-общественное значение женщины, матери—хозяйки—главы. Потому-то одного рода с 'рукой' и 'женщина', и 'рука' женского рода, конечно, не по физическому ее восприятию. Но почему «бабушкины сказки»? А потому же. Потому, что сказки наши, добытые палеонтологическим методом, отнюдь не чураясь настоящего и актуального, наоборот, из него исходя и неудержимо проникая в глубь океана материалов, захватывают со дна факты в окаменелости тех доисторических эпох, когда не было еще ни папы, ни, следовательно, дедушки, когда папа не успел еще сместить в социальном строе маму, пройдя через общественные функции, первоначально усвоенные брату, когда еще не успел, следовательно, наследовать название женского возглавления первого человеческого коллектива, отнюдь не семьи и не рода, т. е. отнюдь не социальной группировки по признаку единства крови. Потому понятна основная разница яфетических языков от так называемых индоевропейских, прометеидских, собственно тех же яфетических по массовому основному материалу, но переработанных в новую систему в процессе

социально-экономического перерождения потомства Яфета, или, что то же, Прометея, в потомство прометеидского слоя в Европе и в части Азии. Это то, что названия папы и мамы смещены, отсюда и 'дедуш-ка' и 'бабушка'. У так называемых индоевропейцев как никак, бретонцев, кельтов, 'отец' — *tat*, а это ведь пережиток архетипа шипящей группы **ta-tal*, ныне представленного у яфетидов в различных по огласовке социально закономерных разновидностях: м. *da-dul* 'самка', чанск. 'курица', ч. *da+d-i* 'тетка' (← **мать*'), ч., г. *da+d-e* 'посаженная мать', м. *di-da* 'мать', г. *de-dal* 'самка', г. *de-da* 'мать', 'женщина'.

А *ma-ma*←*ma-mal*, resp. *ba-ba* (в говорах) у грузин, если не перечислять его эквивалентов в ближайших родственных языках, а часто и не ближайших (берб., тур.), наоборот, 'отец', 'мужчина', 'самец', равно отсюда и *bab-ua* 'дедушка', и только в *beb-ia* 'бабушка' еще пережиток того, что и этот элемент (В), также в удвоении, означал первоначально 'мать', 'женщину', в каком смысле и получил он право гражданства в речи господ индоевропейцев, в соответственных составных терминах — со значением 'мать' (лат. *ma-ter* и т. п.). Но 'бабушка' и 'дедушка', равно «дед», как и у армян *tat[i]* 'бабушка' при диалект. *tat* у 'старший брат', с которым отождествляется брет. *tat* 'отец', говорят о той громадной пропасти, которая отделяет мышление яфетидов-грузин с ближайшими сородичами от прометеидов, или так называемых индоевропейцев, следовательно, и украинцев и русских, но не двоящихся в установке своего речевого мышления армян, с двумя их языками стоящих на грани мирового социально-экономического переворота, — того переворота, с которым связано рождение языков «индоевропейской» системы. Выявление этой грани различных ступеней стадийного развития в терминах общественного строя существеннее всяких формальных признаков, связанных также в конечном счете все-таки с социальной идеологией, а не со свойствами звуков, и эту грань, конечно необходимо учитывать со всеми ее последствиями и тем не менее сближения яфетических языков с так называемыми индоевропейскими, в интересах необходимости яфетидологического подхода и к украинскому языку приходится относить хотя и правильно к бабушкиным, но все-таки сказкам, лишь потому, что так решили специалисты-языковеды, мнение которых господствует во всем ученом мире, даже у нас.

Но почему и у нас? Почему и у украинцев?

Ни для кого не тайна, каковы наши бытовые от отживающей, но, увы, далеко не отжившей старины унаследованные взгляды на кавказские народы. Это ведь чуть ли не полудикари. Менее всего это тайна для нас, имевших случай наблюдать живучесть подобных взгля-

дов и в научных кругах самой высокой квалификации. Еще поразительнее могло бы показаться, но это факт, что так «в душе своей» смотрят на дело интеллигенты из самих кавказцев, многие и на себя самих, а более просвещенные, верные тем же, казалось бы, давно осужденным на изживание общественным взглядам, соответственно «добрососедски» оценивают друг друга. Когда же речь заходит о народах без древней национальной письменности или вовсе без письменности, абхазах, сванах, чанах и др., говорить не приходится о мере уделяемого им пренебрежения и научного, и бытового. А общественного?

Однако в отношении абхазского языка все-таки решились мы, по-видимому к смущению самих абхазов, и в создавшейся обстановке утверждать, что его, этот абхазский язык, нельзя ни статически понять, ни динамически разяснять, т. е. нельзя анализировать жизненно и, следовательно, в увязке с проблемами и историей материальной культуры, когда дело идет хотя бы о 'сапоге', и современности, как в том освещении, которое достигается при постановке учения об языке в мировом масштабе. Допустима ли и терпима ли иная трактовка украинского языка? Как будто, нет. Между тем нам неизвестно, чтобы кто-либо из украиноведов родной страны или страны за ее рубежом в СССР и вне Союза пробовал применить положения нового учения об языке, вообще яфетической теории, к языку многомиллионных масс соответственного причерноморского населения. Ведь когда речь об Украине, то дело идет о той стране, что разделяет ту же привилегию незапамятного сидения на загибе, если не сказать заливе Средиземноморья; дело идет, следовательно, о населении, что сожительствует с теми его обитателями, непосредственными носителями прасредиземноморской разнокалиберной звуковой речи, пережитки которых выступают доселе перед нами в кавказцах, прежде всего кавказцах с языками многостадийной яфетической системы. Вопрос о когда-то и где-то социально сложившемся (в основе, значит, еще за эпохи матриархального быта) и в области звуковой речи родстве народов зависят, конечно, не от таких географических данных, как нахождение ныне, да хотя бы с исторически засвидетельствованной памяти человечества в одном и том же ущелии, будь оно на Кавказе или в Пиренеях, или как расположение на побережье одной и той же реки или одного и того же моря, а от схождения и унификации общественных факторов и общественно используемых, следовательно, осознаваемых производительных сил окружающей природы, ею же оформленных в творчестве технических достижений. Творит-то человеческий коллектив, его соответственно организованная и вооруженная производственно-социальная группировка.

Вопрос совсем не в том, что у армян и у исторически обрабатывавшего доисторию, собственно лефо-историю (забытую историю) Украины, Нестора, самого ли летописца Руси или, то безразлично, пусть позднейшего интерполятора, оказались сродные легенды о построении первых городов, в Армении Куара, точнее Ковара (Kovar), на Украине — Киева, что в арабской записи — Куяба. Вопрос и не в этом, следовательно, хотя легенды те в основе отнюдь не плоды книжного сочинительства: в них вскрылось наследие от так называемых доисторических насельников и того и другого края, т. е. яфетидов, именно скифов, как то казалось при анализе формальным методом. Тогда вторые части и топонимических терминов, так в частности Киева или Куябы, учитывались как окончания множ. числа в разновидностях следующей формулы: -ov [\leftrightarrow -em \nearrow -er \rightarrow -eb \rightarrow -eф || -av \leftrightarrow -am \nearrow -ap \rightarrow] -ab [\rightarrow -aф].

И от этого морфологического разъяснения отнюдь не надо отрекаться для соответственных позднее наступавших эпох.

Однако анализ по лингвистическим элементам в таких образованиях в целом выявил состав из АВ. Следовательно, перед нами оказался в конечном счете вклад кимеров, или иберов.

Дело, повторяю, не в этом, так как этот факт сам по себе, не правда ли, легко бы признать случайным эпизодом, анекдотом.

Дело и не в том, что к увязке с тем же яфетическим миром тянется также город Ольвия, что на украинской земле. Не без основания сосредоточивается на этом городище теперь археологический интерес ученого мира.

Основание сугубое, не потому только, что там ведутся систематические раскопки и что город этот был колонией милетских греков. Есть для нас и другое волнующее основание, еще боле чреватое последствиями. Само название «Ольвия», также композит из тех же двух элементов, что Киев, есть вклад отнюдь не эллинов, а более древних строителей, оставивших человечеству в Средиземноморьи ряд городов с тем же названием то без изменения (Ὀλβία), то в закономерных перерождениях по нормам языков яфетической системы. На западе, между прочим, в разновидности Alba, так у древних яфетидов-этрусков (Alba Longa), на Кавказе все в роли также наименования городов то с той же сохранностью первого элемента (A) — Orbel, местечко на границе Лечхума со Сванией, ныне грузинской провинции, или Urbn-is (род. от Ur-ban), что столица архаической Грузии или, точнее, пра-Грузии, близ Гори, то с утратой плавного исхода обоими элементами — Qore (\leftarrow *Qor-pel) 'Хопа'. Это уже название ряда приморских городков Лазистана, Мегрелии, да и внутри Кавказа — Грузии. К этому положению дела, уже разъяснен-

ному, прибавлю разве то, что арабская передача названия Киева, именно Kuуab, в отношении исходного плавного (l || r) первого элемента представляет промежуточную ступень (y) между окончательной его утратой, как в Qo-re, и его наличием, как в Ol-bi, resp. Or-bel, так что архетип Kuуab в отношении первой части должен был звучать при той же огласовке *Kul-ab, при иных же огласовках, разнбойного ли (u-e) они или тождественного социального оформления (o-o, resp. u-o) — Kuleb, Kolod, Kulob и т. п.

Дело и не в этих фактических «схождении концов с концами», когда особенно речь о наименованиях городов или о племенных названиях.

Ведь поскольку дело идет о городах, то их строительство связано в те эпохи (а позднее?) прежде всего с творчеством не всего народа, а определенной производственно-социальной группировки, и таково же положение с племенным образованием, отнюдь не представляющим какого-то однородного массива ни в целом, ни в одной из выделившихся из племени его органических частей, клан ли это или род (ведь семья совершенно новое образование в истории всего человечества). Племенное образование — это построение одной из входивших в его состав производственно-социальных группировок, с которой и переносилось на все племя ее название, оно же звуковая сигнализация магической силы, оси соответственного объединения, с определенной поры — тотема, впоследствии божества, бога или богини (собственно, сначала богини и потом уже бога). Не случайно же в самом деле то, что в индоевропейских языках Рим (Roma), Афины (Ἀθήναι), Спарта (Σπάρτα), не говоря о Трое (Τροία), женского рода, как и названия стран, отложения так называемых племенных названий, как не случайно и то, что этот производственно-социальный культовый термин «кимер», в архетипе *kumer, сохранился в значении 'бога' у грузин — gmer-θ (← *gumer-θe), у русских — «кумир» (← *kumir), у грузин же и осетин в значении уже 'героев' (груз. gmir ← gumir, осет. gumir).

Однако все это нас отводит как будто к первотворчеству в речи, а мы начали было хотя и с мифических сказаний о Киеве, или Куябе, но все-таки с приближением к историческому строительству, из которого никак нельзя изъять ни дорусского, как и доукраинского Киева, ни доэллинской Ольвии.

И в этом смысле термины «кимеры» или «иберы» ничего конкретного еще не дают, доколе историей и особенно историей материальной культуры они не облечены в кость и плоть как творческие коллективы определенных производственно-социальных группировок, но каких? Востока или Запада, а если Востока, то Юга или Севера?

Ибо ничего мы не добьемся, поскольку остаемся при суждении о кимерах и иберах на почве одной Европы, да довольствуемся половинчатым учетом мира, ну, хотя бы древнего мира, т. е. поскольку остаемся на почве одной Европы, отмежевываясь от Азии, даже от Кавказа в его цельности. Ведь двойники по названию кимеров и иберов находятся с весьма ранних пор в Азии, это шумеры, и те же по названию шумеры оказались не только на Кавказе в пределах Армении и Иберии, кавказской Иверии, но и в восточной Европе на Волге и на ее северном ныне финском завершении.

Правда, за кимерами в районе ближайшего интереса Украины подоспевают по истории скифы. Скифы выступают с такой силой своего наглядного в сравнении с кимерами выявления в памятниках материальной культуры, что не удивительно было, шаря в покрытой мраком научно культивируемого забвения доистории, прихватить в первую очередь скифов вместо кимеров при разрешении генетического вопроса о Киеве, однако такое *qui pro quo* в данном случае могло произойти и по существу не без реального основания, поскольку общий закон скрещения не мог миновать кимеров, сожителемствовавших со скифами. В этом отношении поучительно народное предание о Киеве: в числе трех строителей-братьев, Кыя, Щека и Хорива и сестры их, Лыбеди, оно с безоговорочной ясностью называет тотемов и скифского, т. е. Кыя, и кимерского, т. е. Хорива. Однако этим путем отнюдь не разъясняется вопрос о месте, где протекал процесс скрещения скифов с кимерами, ибо легенда странствует, термин же скифы или Σκύθαι оказался разновидностью не только колхов, но и кельтов. А где кельты не водились? Вопрос этот способны поставить и индоевропейцы. Где кельты не встречались с кимерами, или иберами? Следовательно, допустимо ли и терпимо ли изучение вопроса о племенном составе, точнее и прежде всего о производственно-социальном сложении украинского народа без постановки его во всю ширь в мировом масштабе? А племенное образование — уже позднейший факт, это ведь эволюция ряда нарастающих скрещений производственно-социальных группировок, факторов соответственного созидания звуковой речи, протекавшего и в отношении каждого ее отдельного вида на основах, выработанных опять-таки мировым процессом языкотворчества, а не в особых нормах изолированной работы какого-либо отрезка.

Если даже начать с излюбленной у лингвистов-формалистов статьи, именно отрешенной от ее социальной базы фонетики, и в таком случае положение их оказывается не выдерживающим абсолютно никакой критики. В самом деле, разве можно разъяснять генетически такие особенности, как перебой губных гласных *u*, resp. *o* в *i*, resp. *e*,

характеризующий украинскую речь в сравнении с русской, да и без отношения к русскому языку, не учтя того же положения в других языках, допустим, не родственных, а тем более без их же учета в языках народностей, у которых с украинцами столько связей по истории материальной культуры, не включая и музыки. Речь о мегрельском, чанском, грузинском и т. д.

В мегрельском, сравнительно с чанским, губной гласный и обычно представлен бывает главным *i*, так м. *jir-i* 'два', при чанск. *jur-i*, м. *tkid-i* 'кукурузный хлеб' при ч. *tkud-i*, м. *dima* 'брат' при ч. *duma*, м. *tkir-ua* 'жать' при ч. *o-tkog-u* 'косить' и т. д. Иногда в самом мегрельском (реже в чанском) то же самое наблюдается в различных его говорах — м. *tibu* (сенакский говор), *tubu* (самурзак.) 'теплый', даже м. *gis-i* 'русский', рядом с сохранением или новейшим внедрением этого племенного названия и с губной еще огласовкой: м. *rus-i*.

Ведь то же самое мы наблюдаем и в грузинском, поскольку один слой его состава определяется как вклад языка той группы, к которой принадлежат мегрельский и чанский языки. Целая категория грамматики, страдательный залог, в связи с этим у грузин располагает образованием с помощью характера «*i*» (и «*e*»), это чаще в народном языке, особенно в причастиях, рядом с губной огласовкой «*u*» (и «*o*»), в свою очередь чаще в древнелитературном. И вот в древнелитературном же грузинском отдельные слова проявляют «*u*» рядом с прошедшей в него же народной огласовкой «*i*», напр., в *фиθ-va* 'клясться' при более обычном *фиθ-va*, а основа *фиθ* — это грузинское видоизменение мегрельского *фиθ*, основы глагола *фиθ-афа* того же значения: 'клясться'.

Мы не говорим уже о тех случаях, когда то же самое явление наблюдается в словах, одно и то же производственно-социальное происхождение которых вскрыто ныне палеонтологией речи; так, напр., общее у грузинского с мегрельским слово *gi-g* 'порядок', 'должное' (по-груз. и 'очередь'), как известно, восходит к семантическому архетипу 'рука', который должен был звучать соответственно **ru-k[a]*, что сохранено также общим у украинского языка с русским «рука».

А, впрочем, кто установил, что в такой же мере не общи по происхождению именно у украинского (да пусть и русского) языка с грузинским, мегрельским, чанским, сванским и т. д. сами слова и из примеров, приведенных выше по тому же звуковому явлению, так, напр., основа грузинского глагола *фиθ*, народн. *фиθ* 'клятва'? Ведь палеонтологией речи установлено, что 'клясться', как и по-русски, и по-украински («божиться», «божитися»), происходит от культового понятия, ныне 'бога' или 'черта', раньше тотема с тем или иным

материальным осмыслением: 1) космическим, напр., 'солнцем', как доселе клянутся грузины, 2) земледельческо-хозяйственным, в первую голову 'хлебом' и 'хлебными злаками' да и 3) социальным, в связи с чем находится обозначение им членов семьи, в первую голову матери. Наконец, тот же тотем, с определенной ступени стадийного развития — культовый предмет, представляет исключительный интерес по «богохульственным» для тех эпох переживаниям в этнографически прослеживаемом богатом словаре соответственной ругани.

В связи со значением 'солнце' можно попутно указать, что, поскольку 'огонь' назван по 'солнцу' (это тоже приобретение палеонтологии речи), понятно, почему с нашим словом $\phi i\theta$ получается созвучие, кажущееся случайным, у звукового комплекса $\phi i\theta-q$, основы грузинского глагола (гур. говор в частности), что в аористе с предлогом (ga-) звука в III форме ga-a- $\phi i\theta q$ -a, значит 'он поджарил его' (ломтик кукурузного хлеба или что другое), ибо в основе глагола находится 'огонь'. Но дело не в этом. У 'солнца' не одна связь с 'огнем' по хозяйству. Да прежде всего, $\phi i\theta$, resp. $\phi i\theta$ м. $\phi i\theta$, формально представляет двухэлементное скрещение (BC) с утратой исходного плавного первым элементом $\phi i\theta$ -, восходящим ближайше к bog — ($\leftarrow \text{por}$ -), и в целом в слове имеем разновидность грузинского же bog-g , основы глагола borg-va 'бесноваться', а уже установлено, что, во-первых, borg ($\leftarrow \text{porg} \leftrightarrow \text{purg}$) — архетип русского и чувашского культовых терминов, т. е. общего не с одним украинским «біг» («бог», «бога») русского слова «бог», и общего не с одним украинским и русским «погань» чувашского pugan 'кукла' ('идол').

При учете формулы фонетического колебания $v \leftrightarrow m \text{ } \text{л} \text{ } p \rightarrow b \rightarrow \phi$ круг слов, одного происхождения с этим центральным социально-культурным термином, значительно более богат у одних украинцев в линии или семантического развития, или многозначности одной его культовой и связанной с ним мифологической стороны; так одна из разновидностей этого же слова и укр. vi-y («вій»).

Но сейчас нас интересуют из значений этого слова те виды коренного изменения или перерождения которые связаны с коренной же эволюцией в материальной жизни, именно с внедрением земледельческого хозяйства. Мы не остановимся на этот раз на использовании того же двухэлементного социально-культового термина в животноводстве, связанном с охотой или же скотоводством, хотя и здесь всплывает не одна точка опоры для осознания того, в какой отрешенности от живой жизни прозябает научная мысль, тем самым обреченная на бесплодие, когда боязнь независимой от заимствования встреча русского, собственно чувашско-русско-украинского звуко-

вого комплекса rogan (укр.-русс. «погань», что идеологически восходит к языческому божеству, пережившему в чув. rogame rugane 'кукла', resp. 'идол') с лат. raganus заставляет кричать «караул!» по поводу такого «невежества» яфетидологов, ибо этим в корне подрывается необходимость смотреть на процесс мирового творчества и звуковой речи из привычных окон, в данном случае римского окна с латинской кухней. Между тем, и для латинской кухни не мешало бы понаблюдить происхождение увязанного с тем же представлением о 'солнце', с тем же, следовательно, звуковым комплексом roḡ (↔ rug) ← roḡk (↔ rugk) и названия 'свиньи', нареченной не как съедобное животное и не по физическим свойствам, интересующим зоолога, а по социальной тотемически закрепленной в верованиях и обрядах функции. А что делается специалистами-этнологами в массе для увязки этнографических фактов по культу свиньи в различных странах, хотя бы в Гурии (это, предупреждаю, не в Африке и не в Америке) и на Украине, в путях, более чем сигнализуемых, ярко намечаемых палеонтологией речи, согласно новому учению об языке? А делается то же, к чему привести способны слова одного из представителей индоевропеистики. Это Вандриес (Vendryes): к чему, мол, к лингвистике примешивать этнологию или этнографию?! Ведь у этнологов также есть свой классический мир, мир и материалов, и авторитетов, вне которого все суета сует или мистика, как другой не менее почтенный лингвист, не знающий основных языков нашей специальности, изволит опорочивать положения, о которых вопиют именно факты, лингвистические факты. И это слово со значением 'бога', resp. 'солнца', не с налета простого словарного заимствования оказывается далее со значением потомства 'свиньи' в более полном виде в русско-украинском «поросенок» *por-son || *por-sen, у русских в слове «поросенок» (мн. ч. «поросы-та») и у украинцев в «поросы», у последних и с акающей огласовкой — «паця» (← *pa-ḡen, арм. var+a-z 'кабан' и его иранские разновидности), точно так же как рядом с этим кимеро-иберским яфетическим вкладом, общим у восточной Европы с западной, выступает и скифо-кельтский двойник по значению с такой же ширию распространения. Одноэлементно скифо-кельтский двойник звучит у грузин gor 'свинья' gur-, последнее в основе грузинского глагола gru+tun-a '[звукоиспускание] свиней и поросят' (см. Чкония, Грузинский глоссарий, s. v., ср. gutu-gutu 'скливание поросят'); с учетом фонетических формул k → g → ɣ [h] и o ↔ u, греч. χτρος (← *qor-i) и ur (*kur ↔ *kor) в основе европейского яфетического слова, именно баскского ur-de 'свинья' (-de 'самка'), да ur-do 'кабан' (-doḡ 'самец', откуда основы ur ↔ *or, с раздвоением в бретонских глаголах ur-ma || ur-za 'хрюкать' и or-qa-

t (←«eurc'ha-t») id., но в составе двухэлементного из АС образования, как скифский тотем, в грузинском наличный в виде основы слова 'бог' gu-ḡa, и то же слово в разновидности go (←ko) находим в грузинском, равно арм. go-t 'поросенок', а в полном виде с выдержанной в обеих частях губной огласовкой у французов в их «сошон» (←*ko-mon), термине, с действительным возникновением которого в процессе мировой глоттогонии находится в юмористическом расхождении наивное определение лионского профессора Кледа (L. Cledat), преподносимое в популярном этимологическом словаре французского языка: «неизвестного происхождения (origine inconnue)», точно происхождение его синонима было уже известно и только потому, что слово имеется в латинском! Не осознается еще, что подобно распространению г. gor 'свинья' и его разновидностей по всему яфетическому миру Кавказа с захватом и не яфетического, разновидности его с губной огласовкой (o↔u) и с утратой плавного, как во фр. «со-шон», имеют необычайно сильную внутреннюю экспансию по странам «кельтского» расселения западной Европы, прежде всего в Галлии (resp. в Валлисе), бретанской и британской. Не осознается еще или во всяком случае не упоминается, что у слова gor вполне закономерные разновидности ho↔hu, как оно представлено, во-первых, а абх. a-h₀a 'свинья', здесь с разложением «о» в wa и с дальнейшим сложением, вернее восприятием hw в фонему h₀; во вторых, в скрещенном образовании с элементом C, тут же во Франции на родной галльской почве, именно в бретонском: hu-q↔ («huc'h») ho-q (диал. Treguier и Vannes: «hoc'h»), пройдя еще в доистории состояние *qog-q ↔ *quq-q. Отсюда же естественно междометие oq («oc'h» ← hoq), толкуемое как ab ovo звукоподражание самому хрюканью свиньи, равно глагол oq-al 'grogner comme les porcsseaux', разновидности которого, также яфетические, разобраны выше. Нам нет теперь надобности проследживать эту разновидность на Британских островах, где, пережив у англичан в слове ho-g, служит уже давно камнем преткновения при известности его двойников вал. (welsh) «hwew», корн. «hoch», да и самого английск. «sow», и запутавшиеся с ними, точно меж трех сосен, индоевропейцы находят в своих зыбких, с поверхности собираемых, чисто формальных наблюдениях основание для обычных своих наивных утверждений, в роде следующего: «так как, мол, hu в зендском значит 'боров', или независимо sow perhaps 'producer' from the prolific nature of sow (su, to produce), или что англ. hog «не заимствовано из валийского или норского».

Мы сказали бы несколько, быть может, грубым стилем: «бери поглуже!».

Какое же, однако, все это имеет отношение специально к украинскому? Большое, да многообразное.

Прежде всего так называемый звукоподражательный глагол русский «хрю+к-ать», наличный у украинцев в той же разновидности «хрю+к-ати», да и в параллельной с оканием «хрьо+к-ати» (ср. г. *gru+tiŋ-a*, см. выше, стр. 233) и др. восходят к тому же слову, в их основе *gru+k* ↔ *qro+k* представляющей перестановку **quŋk* ↔ **qork*.

Затем, связь 'свинья', как культового существа, в увязке тотемных предметов одного и того же «племени», точнее, определенной производственно-социальной группировки, уже не скифо-кельтского, а рошского объединения, выплывает в укр. «роха» 'свинья' (отсюда «рох» 'хрюканье свиньи', «рохкати» 'хрюкать', «рохкания» 'хрюканье'), а *goŋ* (← *go-k*) → *go-k* ведь это означало 'солнце', resp. 'небесное'.

Мы, таким образом, одновременно проникаем в глоттогоническую стадию, когда слагались названия домашних животных, древнейшие из которых 'пес' и 'лошадь' (не забудем и 'оленья' на всякий случай), как известно, сместили друг друга по функции животных передвижения — 'конь' 'собаку', функционально же 'лошадь' унаследовала название 'собаки', и если лат. *can-is* 'собака' с его африканским двойником *jun* (*tiŋ*) в основе берберского ныне *a+k-jun* 'собака' в украинском означает 'лошадь', звуча «кінь» (род. «коня») и восходя к архетипу мегрело-чанского оформления *kon-e* (↗ **on-e*) ↔ **kun-e* ↗ **une*, что древнелитературный язык грузин так и сохранил в виде *hune* 'лошадь', то это не значит, что украинцы или русские, хотя бы и древние грузины, не имеют ничего общего в данном случае с римлянами и берберами, но что в расхождениях сличаемых языков вскрываются отложения различных ступеней стадийного развития одной и той же звуковой речи, ступени собачьего хозяйства и ступени лошадиного хозяйства. Ведь и на Кавказе из двух соседящих народов, древних грузин и армян, если первые сохранили, несомненно, в позднее возобладавшем слое с его древнелитературным языком слово *hum-e*, спирантизованную разновидность шипящего типа уже со значением 'лошади', то вторые, т. е. армяне, в более архаичной по ступени стадийного развития народной речи (и уже отсюда по усвоению и в древнелитературном языке) донесли до наших дней еще со значением 'собаки' именно шипящий вид того же слова в двух вариантах, с оканием в прямых падежах — *tiŋ* и с аканием в косвенных — *tiŋa*, как, вторя им, сохранили баски завещанные им социальными группировками прабасков глаголы, происходящие от двух видов того же слова, в соответствии армяно-берберскому *tiŋ* → *jun* и армяно-латинскому *tiŋ can* наименова-

нию 'собаки'. Эти сошедшиеся в едином теперь баскском языке имена действия *sawn-ka* 'лай' (*sawnkas* 'лаять'), в спирантизированной разновидности *awn-ka*, и *san-ga* 'лай', а также, 'питье воды с шумным хлебанием (собачьим)', равно *saun-ka* 'лай', своими основами восходят при учете баскского раздвоения «о» в «aw» и «е» в «au» к архетипам **son* (*on*) || **san* || **sen*. Таким образом, первой парой огласовочных разновидностей **son* (*hon*) || **san* баскский вторит архетипом **son* армяно-берберскому *mun* → *jun*, архетипом **san* — армяно-латинскому *man kan*, если не касаться сейчас спирантизированной разновидности *hon*, представленной ныне с другим хозяйственно-семантическим содержанием — конским. Здесь далее вопрос детали, уже формальной, именно фонетической, почему в обоих видах, и в шипящем с губной огласовкой, и в свистящем с аканием или одинаково шипящий сибилант, так у армян (*mun*, *man*), или одинаково свистящий сибилант, так у басков (*sawn-*, resp. **son*, **san*). Конечно, мы сейчас могли бы отвести вопрос ссылкой на позднейшее бытование, разумеется, различное у армян с басками, однако и бытование-то это не изолированное явление, оно увязано с дифференциацией полисемантических слов, прежде всего выделением в отвлеченно-общее понятие того тотема, который в свое время был неразлучен с его материальным выявлением, в данном случае с собакой. В связи с древнейшим актом одомашнения собака — одно из древнейших культовых животных. Напрасно предполагают об исключительном в этом смысле значении кельтов, у которых большое хозяйственное значение собаки отмечается, как то происходит и с лошастью, как какая-то особая их расовая черта, а не тот факт, что кельты сохранили сравнительно лучше то хозяйственно-культовое значение собаки, которое пережило все человечество на известной ступени своего стадияльного развития. Впрочем указывая на прославленность кельтских собак, особенно тех, что водились у моринов, бретонов и бельгов, и роль их в быту и на охоте, на пользование ими, как пушным зверем, наравне с волком и с другими пушными зверями, и нахождение их в предметах экспортной торговли Галлии—Бретани, доходя до указания обычая случки псицы с волком, автор *Manuel de l'antiquité celtique*, подобно другим кельтистам, мало учитывает социально-культовый смысл таких явлений, как общность названий собаки с племенным названием, как ее общественная роль в организации порядка и охраны вплоть до мифического образа в ирландском эпосе собаки *Ailbe*, которая одна-одинешенька справлялась с охраною целого царства *Laighen*. О тотемизме, как входящем и в распорядок хозяйственной жизни и в быт, вспоминается в связи с собакой, намек делается разве к концу перечня живот-

ных, явившихся «символами и тотемами» галльских племен. Здесь упоминается, что «бог с молотком несколько раз представлен в сопровождении собаки или волка».

Между тем кельтский бог с молотком подает руку сродным героям или богам Востока, в кавказском яфетическом мире Абырскилу у абхазов, Амирану у грузин и Мыхеру у армян. И сейчас особенно было бы поучительно опираться на несомненно существовавший пережиточно у армян общечеловеческий культ пса, что уже по утверждению у них христианства религиозные по исповеданию враги армян использовали в своих полемических целях опорочительно, а защитники с религиозно-национальными интересами замалчивали или заметали по ним следы. Однако все-таки культ собаки в Армении — предмет особого интереса, не нами впервые возбуждавшегося, мы лишь увязывали с его отложением в собаках *aralez*'ах сказания о Шамираме (Семирамиде) и Арае с абхазским культовым печением. Само название этих мифических существ «аралезов», толкуемых по народной этимологии точно это существа, что лижут (раны) Арая, дает основание его сблизить с названием собаки и по своему составу, ибо вторая часть *lez*, сибилантная разновидность *le* (← *leh*), означавшая 'собаку', вместе с ее закономерным соответствием в абхазском *la* (*a-la*) 'собака', откуда у грузин древнел. *le-ku* 'щенок', букв. 'дитя (*ku*) собаки (*le*)', а у чанов с армянами *la+ko+t* 'щенок' (и здесь *ko* 'дитя'), у чанов же *la-k la-t* 'собака', равно как 'лять' от той же основы *la* ← *lau* у чанов с удвоением *lal* (← **la-la*) — *o-la+l-u*, у русских без удвоения *lau* (глагол «лять»). У армян 'лять' *haθ-el* — также от 'собаки', ибо основа этого глагола *haθ* лишь спирантизованная по начальному согласному разновидность перс. *sag* (← **sak* **hat* → *ha-θ*), одинаково с нею двухэлементного (AC) образования, а это первую часть обязывает возводить к архетипу *sar*, resp. *har*, в целом **sar-g* ← **sar-k har-t*, двойник которого *har-z* (у Vannes'-ских бретонцев или *vanetais* — *har-z*) налицо в основе глагола *harz-al* 'лять'. Думаю, сейчас можно не приводить эквивалентных разновидностей берберской речи, чтобы при такой экспансии и в то же время глубоко повсеместно проникновении в народные массовые языки видеть, в какой степени первобытной наивностью отличается попытка произвести перс. *sag* от «мидийского» «*spa*ка», когда в составе последнего слова налицо элемент В с усечением плавного исхода (*l || r ⇝ y*): *pa || po[r] || pe[r] → ba[l] || bo[y] → φг || φи*.

И если в баскском имя действия 'лай' *sawn-ka* с его двойниками находит свой архетип со значением 'собака' **son*, а не, как мы ожидали бы, **jon* (← *mon*), то только потому, что ожидаемый архетип со всеми его разновидностями закрепился за термином со значением

инного порядка, именно магическо-культовым, и его дериватами, постепенно выделявшимися в осознании человечества в процессе роста и осложнения социального строя и его производственно-экономических предпосылок. Это бск. *jawn*, *resp.* спирантизованно *uawn* или в подъеме *qawn*, смотря по социальной группировке, давшей тот или иной ныне наличный диалект, везде со значением 'господина', но и 'господа', это *jaun-*, *resp.* *yaun-* или *qaun-*, равно разновидность его архетипа *jin-*, *resp.* *yin-* или *qin-* — в основе *jaun-ko-a* и *gaun-ko-a*, *resp.* *yaun-ko-a*, *jin-ko-a*, *resp.* *yin-ko-a* или *qin-ko-a* 'бог', не говоря о такой семантической родне, как *jaу*, *resp.* *yaу* или *qaу* 'праздник' буквально 'тотемный день', в христианстве переродившийся в 'день ангела', у одних народов 'именины', у других — 'день рождения', первично одно и то же.

А там, где в значении 'собаки' рядом с закономерным представителем шипящей группы *mup* выступает в косвенных падежах и его двойник с аканием *map* вместо ожидавшегося *san*, т. е. в Армении, этот нехватющий нам вид, равно *sen*, всплывает в названии культового предмета, что в основе имен мифических и даже христианских героев, как то *Sanatruk*, *San-duqt* или *Seneduqt*. И в Армении тот же термин шипящей разновидности *mon* (\leftrightarrow *mup* 'собака') также в термине 'праздник', чем он стал с подъемом начального согласного — *ton*, пройдя через *ton*, наличный у грузин в значении культового термина. Здесь, конечно не в смысле 'имени' или неразлучного с ним 'дня рождения', ибо дело вначале шло вовсе не о рождении лиц, а о рождении 'солнца'.

Не приходится упрощать дело так, точно семантический переход предполагает филиацию родства слов 'свиньи', хотя бы еще других хозяйственно-тотемных животных, и 'бога'. По пути много еще перерождений не только в порядке смены животных знаками и иными материальными предметами, но и космическими явлениями, не говоря о предметах поклонения из лиц социального строя, куда относятся и предки с их культом. Нет ни одного слова разнообразного перечисленного порядка, которое не являлось бы и идеологически и, разумеется, формально уточненным выходцем из представлений диффузного, не разлучавшегося вначале с магией, состояния. Сами перечисленные выше, например, баскские слова включают в себя явный и по образованию термин космического значения, именно 'солнце', 'солнце-бог', *resp.* 'дитя неба', 'небесенок'. Его мы имеем в *jaun-ko-a* и *yin-ko-a* с их разновидностями, в которых во всех интересное и для украинского слово *ko* значит 'дитя', пережиток диффузного *ska*, а первая часть, как бы она ни звучала, не только *jaun*, *yaun*, *qaun*, *jin*, *yin*, но и *jawn*, *uawn*, *qawn* значила 'небо' на пространстве

всей Афревразии. Касательно ее распространения по Евразии можно осведомиться в печатной литературе, не имеющей притязания быть исчерпывающей. Из африканского материала обращаю внимание на anzar 'кукла, которую носят в селах, когда хотят получить дождь', т. е. 'богиня дождя', следовательно 'божество небо', Иштарь, и, действительно, по-берберски ʒisliʒ b-uanzar значит 'радуга', слово в слово, по объяснению бербериста, 'молодая женщина Анзар или дождя'. Однако, привлекая арм. andrew 'дождь', с конечным w — трехсоставное скрещение ('вода+вода+вода') или трехсоставное сложение ('неба вода') с его основной частью andre (← *ander), двойником берберского anzar, мы попадаем в эпоху мифотворческого мышления и соответственной глоттогонии, ибо, означая 'дождь', чего мы отнюдь не оспариваем, оно означало и 'воду', а по семантическому ряду 'рука+женщина+вода' в этом именно двухэлементном составе берб. anzar, его двойник *ander и арм. andrew лишь разновидности баскского ander-е 'женщина'. Мы сейчас не имеем потребности останавливаться на значении 'рука', присущем каждой из составных частей, так, напр., der (арм. нар. der, древнел. der-эн) с его многочисленной родней, в частности и в составе украинского и русского словарей. Но, означая первично 'дождь', гесп. 'воду' (на дальнейшем этапе уже технологического мышления прямо-таки 'воду неба' или 'неба воду'), палеонтология речи нас вынуждает усматривать в берб. anzar, следовательно, и в ander 'небо', что вытекает и из значения каждого из слов этого составного образования, ибо 'небо' означала и вторая часть der, озвонченная разновидность слова *ter (отсюда груз.← tre *ter 'круг' ↔ арм. tigr 'круг'), наличная с ослаблением t в s в бск. ser-и 'небо', с его берберским двойником sar; 'небо' означала, следовательно, и первая часть, общая у берберского с армянским, а в связи со значением 'неба' она же обозначала 'бога' и иные ближайшие дериваты, прежде всего так называемые части неба — 'солнце', 'облако' и т. п. В связи же с этим, когда на Кавказе в качестве племенного названия лазов мы имеем san, tan или sanik (в передаче греков пережило в фамилии целого рода в Гурии—Саникидзе), обычно tan, а то и ten (арм. древнел. teyn ← ten-i), никак уже нельзя исходить в толковании этого термина непременно из его тотемно-животного значения, будь то 'свинья' или 'лошадь', хотя именно разновидность с эканием ten, основа древнелитературного армянского названия лазов, бесспорно означала 'лошадь', как это видно из производного от него грузинского глагола ten-e+ba 'гнать лошадь'. Так-то 'гнать' вообще выявляется с основой, общей со словом 'лошадь', и опять-таки отнюдь не случайно созвучие основы укр. «гонити», русск. «гоню» (gon-e ← kon-e) со словом 'конь' (← kon-e), но первоисточ-

ник этого созвучия у слов 'гоньбы' и 'движения' не в 'коне', а в предшествовавших отражением в звуковой речи космических представлениях и в именах таких предметов, как 'река—вода' и 'солнце', с чем 'лошадь' увязывается опять-таки мифологически.

Посему, когда *san*, *gesp. sen*, у армян появляется, несомненно, с культовым значением в личных именах *San+a+truk*, *San-duqt*, *resp. Sen+e+duqt*, то нет надобности выбор останавливать на значении 'собаки' или хотя бы 'лошади'. Но пока мы лишь констатируем факт, что и в животном мире ассоциация производилась первобытным мышлением иная, чем привычная нам по общей ныне, казалось бы, предвечной логике. И, в частности, смена 'собаки' 'лошадью', отразившаяся в словотворчестве переходом названия 'собаки' на 'лошадь', имеет кардинальное значение для классификации различных видов звуковой речи по иным, более материально трактуемым признакам, чем отвлеченные звуковые явления и мистически воспринимаемые в отрешении от жизни морфологические признаки. Исходя из учета общественной функции 'собаки' и 'лошади', мы сталкиваемся с необходимостью противопоставлять не только группы языков группам, так называемые семьи семьям, не только отдельные языки друг другу, но и внутри отдельных языков расхождения в этом вопросе возводить к соответственным производственно-социальным группировкам, впоследствии сословиям и классам.

Эту «классовую» (да будет мне позволено, допустим, анахронистически, использовать термин) дифференциацию ныне мы застаем проникшей даже в отдельные слова. Это мы видим в армянском слове со значением 'собака', вкладе производственно-социальной группировки с оформлением шипящей группы: в его склонении с безукоризненной разновидностью шипящего типа *tip*, наличной лишь в прямых падежах, борется разновидность с аканием свистящей группы *tap*, прочно засевшая во всех косвенных падежах, а прямой, *resp.* прямые и косвенные падежи — ведь это «падежи» пассивные и активные, т. е. собственно социально расцениваемые величины, поскольку на предшествующей ступени стадияльного развития это две различные категории коллектива. Однако у нашего армянского слова в обоих случаях значение более раннее — 'собака' тогда как у армян же, древних, в иной социальной группировке, отложившей свою речь в древнелитературном армянском языке, это же слово в оформлении сванского типа, т. е. экающей спирантной группы, именно *hen*, означало уже 'лошадь' и оно-то и использовано в основе термина множественного числа *heyn-q* (← *hen+i-q*) 'разбойничий наезд', первоначально 'конница'. Мы сейчас не входим в дальнейшую богатую историю этого термина, на самом Кавказе

увязанную с таким классически известным разбойничьим народом, как эниохи, да их тотемами-светилами, и ограничимся ссылкой на наличие этого термина у французов, как вклада первоначального населения их родной земли, яфетидов, в основе глагола 'ржать' — «hennir», значит от 'лошади henn, что в разновидности «sbien» у тех же французов сохранилось в значении 'собаки'. И от того же субстрата мы имеем двойник украинского типа в такой кельтской речи, как бретонская, соответственно все еще в значении 'собаки', это ныне *ki* (← **ki* ← *kin*), основа украинского «*кін-ь*» (род. «кон-я»), во множественном числе древнебретонского также выявляющая себя в полном виде в обеих разновидностях губной огласовки: *kon* ↔ *kun*.

Однако, и здесь, во множественном числе — измена социальной группировке, вкладчице слова *ki*, элемента *C*, в значении 'собаки', ибо форма множ. числа — *mas* («*chass*). Это множественное число вовсе не имеет каких-либо признаков оформления множественного числа, и в то же время в *mas*, конечно, нет ничего от *ki* ← *ki*, т. е. *kin*, resp. *kon*, ни даже от акающей разновидности *kan* этого элемента *C*, как в латинском *can-is*, где слово сохранилось также с более древнехозяйственным значением 'собаки'; в *mas* налицо элемент *A*, именно *sal*, наличный у европейских яфетидов, т. е. басков, уже также со значением 'лошади', как в скрещенном их образовании *sal-di*, так в производных, например, *sal-dun* 'всадник', буквально 'хозяин коня', *sal-bur-di* 'коляска', *sal+bur-ḡay* 'кучер', *sal-degi* 'конюшня', буквально 'место лошадей'. Но сохранившееся у бретонцев еще в виде *mas* («*chas*») со значением 'собаки', это яфетическое слово означало вообще 'собаку'. Однако значило ли это слово везде в Галлии 'собаку' или кое-где в ней же и 'лошадь', с которой связано представление о 'беге' по различным основаниям, так с сохранившейся в значении 'гнать' брет. *mas* («*chas*») основой, что и во французском слове *chasser* 'гнать', да 'гнать', 'преследовать'. Впрочем, хотя мы уже указали более древний источник созвучия 'бега' с 'лошадью', но тот же французский глагол значит 'охотиться', а его основа «*chasse*», оказавшаяся в категории женского рода (*la chasse*), 'охоту', а когда доискиваемся смысла слова из охотничьей жизни, то, понятно, мы и 'собаку' не можем легко скинуть со счетов. Если даже, не пускаясь в мифологию и в ее отражение в памятниках материальной культуры, сосредоточим внимание на одном 'беге', как будто достаточно вспомнить не только о 'гончих', но и о народном представлении у французов, у которых, по поговорке, 'хорошая собака охотиться по природе' (*un bon chien chasse de race*). Однако ни эта так называемая народность мудрость, ни возможность сослаться на бретонскую лексику, где *mas-eal* 'охотиться' производится от *mas* («*chas*») 'собака', не могли

бы послужить исходной точкой для установления семантического положения. Наоборот, ключ к разъяснению и французского фольклорного, и бретонского фонетического факта, равно созвучия также отнюдь не случайного у кабилских берберов между sɛɡlɛf (→ sɛ+g+lɛ+f) 'собака' и sugɛ-d 'охотиться' находится в истории материальной культуры. Вопрос о действительном мотиве увязки подобных слов, конечно, не здесь может быть окончательно разрешен, нельзя походя его разрешать без ознакомления с филиацией, роднящей бесспорно с 'охотой' и 'мясо'. Но пока нас интересует лишь та словарная обстановка по термину, по которой в одном и том же языке один и тот же элемент используется с различным социально-фонетическим оформлением и в значении 'собаки' и в значении сменившей ее по функции 'лошади': 1) в армянском туп (man) 'собака' и heyn-q 'наезд' (← *кони, 'конница'), 2) во французском «hennir» 'ржать', пережиток образования от *hen 'лошадь' и «chien» 'собака', по архетипу то же слово и т. д. То же самое наблюдаем мы еще у басков, у которых рядом с sal (sal+di, sal+dun) 'лошадь' его двойник sar и шипящий эквивалент *mor, спирантизованный or (← *or), в усечении «о», выявляют явно значение 'собаки', как самостоятельно — or (or-a) 'собака', так в скрещенном образовании — o-sar (← *or-sar) 'собака'. Можно еще сомневаться, представляет ли «о» усечение элемента А, наличного в баскском or 'собака', или элемента С, сохранившегося с той же огласовкой самостоятельно лишь со значением 'лошади' у грузин — [h]une ↔ on-, оно же, однако, туп 'собака' у армян, да и у берберов (a-k-jun ← a-k-mun), оно же kan 'собака' у римлян (can-is). В таком же положении вопрос о первом элементе (г. da-, м., ч. do-) у выявляющегося ныне как будто решительно скрещенным грузинского слова dagl (← *da-gal) 'собака' и м., ч. do-gor 'собака', куда примыкает и da-gar 'собака' в составе бск. u-da-gar-a 'выдра', буквально «воды собака».

И вот это сближение на почве использования одного и того же скрещенного термина, притом с элементом В, со значением различных эпох хозяйственной жизни, на Востоке 'уса' и на Западе 'лошади', мы имеем в слове «собака», собственно в его основе soba (← sobal, ср. «соболь») у русских и украинцев и ka-bal на Западе. Однако такое массовое противоположение Востока с Западом не выдерживает критики и в отношении значения 'собаки', не говоря о 'лошади': когда речь идет об элементе В. «Мидийское» sрака говорит не об иранском массиве, а об определенном социальном слое, обнаруживаемом вне не только иранцев, но и вне вообще так называемых индоевропейцев.

Когда интерес направлен к Западу, с элементом В на первом месте

выступает исп. *perro* (← **perso*) и с ним в увязке и укр. *pe-s* (← **per-so*), равно русское «пёсь» (← **por-so*).

Затем и в значении 'лошади' не в одном *kabal*, собственно, в его романских и латинском дериватах, имеем мы элемент В. Как на Востоке мы имеем спирантную разновидность той же основы *soba* и с оканием (**hoba* ʔ *qофа*) и с аканием (**hab* ʔ *gav*), первую в т. *qофа-k* 'собака', вторую в украинском глаголе «гав+к+ать» 'лаять', происходящем от имени *gav-*, resp. *gav-ka*, означавшем 'собака', так на Западе от той же скрещенной основы, но с разнобойной огласовкой (а-о: **habor* ʔ **hаboy*), также означавшей 'собаку', у французов сохранился глагол «*aboуег*» 'лаять'.

Когда во французском «*aboуег*» индоевропейцы усматривают «опоматорее», т. е. звукоподражательное, мол, слово, то это напоминает их же этимологию франц. «*chasser*» 'охотиться' от лат. **captiare*. Вопрос не в том, что такого латинского слова не было, но реально это значит, что в Галлии даже охотиться могли лишь в римском восприятии; выходит, что галльские охотники обзавелись терминами охотничьего быта, став латинистами, да лай галльских собак был особо изысканный, ибо иначе как представить себе всерьез в звуковом комплексе «*aboуег*» звукоподражание собачьего лая? И тогда, когда правильно додумываются обратиться за разъяснением к своим же недрам, ничего путного не получается, ибо возводить «*aboуег*» 'лаять' к французскому глаголу «*bâiller*» 'зевать', это значит выдавать себе *testimonium paupertatis* сугубо — в понимании генезиса и 'лая' и 'зева'. Во всяком случае *aboу* ʔ **habor*, resp. **hal-bor* (ʔ **kal-bor*), в усечении **kal-b*, у арабов оставило имя *kal-b^{un}* (в смягченном произношении **qelb^{un}*) 'собака', а у грузин с огласовкой «е» глагол *кеф-а* 'лаять', едва ли, конечно, от того, что французские, арабские и грузинские 'собаки', да и у украинцев при их глаголе «гав+к+ать», тождественно лаяли (или зевали!). Эквивалент грузинского *кефа* 'лаять' с той же огласовкой, что в украинском «гав-» (аканием), мы имеем в чанском языке, где он звучит *ка-фи* (*куа-фи*) *та-фи*, но в каком значении? В значении деривата иного порядка от 'собаки'. Дело в том, что название переходило по палеонтологии речи с домашних животных на диких зверей, так по собаке названы где 'лев' или 'волк', где 'лиса' или 'шакал', а то одновременно и 'волк' ('большая собака'), и 'лиса' или 'шакал' ('малая собака'). И вот отсюда у абхазов, при учете семантики по говорам, оказывается путаница из-за вытеснения слова *а-бга* из основного его значения 'собака' термином *а-лак*, поскольку *а-бга* просто применяется для обозначения 'шакала', но и 'лисицы', равно 'волка', то же слово с определением 'малый' означает и 'лису' и 'шакала', а с определени-

ем 'большой' — 'волка'. И вот на Востоке у чанов ка-фу, resp. тафу, значит 'шакал', а на Западе, в Галлии, у одних, бретонов, оно значило 'волк', судя по переживанию в междометии *habo 'au loup!*', т. е. в том оформлении, в каком оно же, означая еще 'собаку', легло в основу глагола 'лаять' «абоу-ег», это у других, именно у французов.

Важнее отметить этот же скрещенный комплекс с оканием во второй части, как во французском «а-бу-ег», но с эканием в первой части **he-rog* \rightarrow *he-ro*, налицо у галлов в том же смысле в составе *eporedias*, означавшего 'выезжатель лошадей', да и в римской богине Еропа, которую недостаточно признать кельтской по существованию ее официального культа в населенной кельтами Циз-алпине и сопоставлять с древнекельтским еро — 'лошадь'; в слове приходится усмотреть наследие яфетической еще речи в значении 'наездницы', буквально 'женщины конской', поскольку -па нельзя не усмотреть в удвоенном чанском образовании па-па 'мать' (\rightarrow 'женщина') и не видеть эквивалент в пе-, основе баскского слова *pe-ska* 'девушка', буквально 'женщина-дитя'. И в то же время нельзя не увязывать с этим божеством также представления о 'воде' и по мифологической группировке 'лошади' с 'родником', 'рекой', 'морем' и по семантическому пучку 'руки+женщины+воды'.

С своей стороны звуковые корреспонденции 'собаки—лошади' присоединяют по украинскому перебою губного гласного в «i» из кельтских, бретоно-валийских слов или их переживаний в английском и 'свинью', и 'мясо', resp. 'охоту', и 'дом', т. е. мы получаем семантический круг (случайно ли, или, может быть, это — круг, созидаемый физиологией звуков?) таких предметов, как:

1) бр. *ki* 'собака' (мн. др. *kon* \leftrightarrow *kun*), вал. «*ci*» (мн. «*cwn*»).

2) бр. *ki-g* 'мясо' [ср. *kig-gowэ(z)* 'le gibier', 'дичь'] \leftarrow **kor-g* [г. *qog-θ* 'мясо', арм. *og-s* 'дичь', 'охота' || бск. *haг+a-g* 'мясо' с его не одним греческим соответствием *sar-k* (в *σαρξ* 'мясо', род. *σαρχο-ς*), ибо его пережиток наличен и у французов в «*charogne*» независимо от усеченного лат. «*sar-o[n]*», род. лишь «*carn-is*». Но об этом при установлении баскско-романских, resp. французских взаимоотношений и идеологически-реальных, не только формальных фонетическо-словарных, к тому же обязательно в связи с народным, отнюдь, разумеется, не римлянами внесенным термином 'карнавал' — бск. [h]aг+a-t-uste (к брет. *kig* 'мясо', ср., впрочем, еще бск. *ki gi* в значении также 'мяса' в таких составных словах, как *bildofn-ki* 'ягнячье мясо', 'ягнятина', *fnayefn-ki* 'мясо ребер' и др.).

3) бр. *ti* 'дом' [\leftarrow *ti* арм. *tun* 'дом'].

4) англ. *pi-g* 'свинья', вм. **po-g*, с каковой огласовкой слово это сохранилось у кельтов с низшею ступенью губного (р \rightarrow m), как в

Британии в древневаллийском «*mo-sh*», так во Франции поныне в брет. «*mo-s'h*», т. е. *mo-q*, используемом с функцией коллективной формы; сюда же англ. «*bitch*» (*bi-9*) 'сука'.

Однако полисемантизм перечисленных слов отнюдь не ограничивался животным миром, первично кругом одомашненных, гесп. усыновленных или ассоциированных первичной общественной группировкой животных, животных-тотемов. В этот же круг вступали и представители растительного мира, начиная с 'желудей', гесп. 'дубов', и кончая хлебными злаками, равно творящая и организующая сила природы, магически воспринимаемая и хозяйственно в столь очевидном «творце», как 'небо' со светилами, в первую очередь 'солнце-отрок', да его собрат 'месяц', первично 'солнышко-девица' и ее сестрица 'луна'. А затем таинственное «классовое» название материально-магического порядка с тем или иным конкретным хозяйственным значением становилось таким отвлеченным термином, как 'бог'. Я вполне понимаю, что люди с мышлением последней стадиальной формации, да еще с европейским самомнением о своей особой белой кости, поддерживаемые учеными техниками звукоедства, прямыми наследниками схоластических буквоедов, не могут себе представить легко, что нельзя при одном созвучии таких русских слов, как «погань», «поганий», с лат. *raganus* не приходить, подобно приученной к определенным мотивам цирковой лошади, в экстаз римского универсализма. Коня римского универсализма, этой по социальной поверхности распространившейся пелены, приходится осаживать даже там, где его пробегу, казалось бы, не было пределов ни вширь, ни вглубь при раболепии вчерашних варваров Европы перед топотом его копыт. Но при чем тут русские или украинцы, тем более чувашки? Ясно, что эти средневековые схоластики не ведают, во-первых, даже того, что с присвоением этого термина *ab ovo* и целиком латыни во всех значениях, неблагополучно и на Западе, ибо у бретонцев *ragan*, в ваннском наречии *rauan*, значит не только 'язычник', но и целую область 'Леонского края' (*bro-Bagan*) и каждого ее обитателя, и именно топонимически, гесп. этнонимически, слово, некогда тотем, появляется с аканием, как в нашем слове, и без утраты плавного г, наблюдаемой в окающей разновидности; во-вторых, не ведают они, разумеется, и того, что чувашское слово с его губной огласовкой (о ↔ у), но с усечением исходного -ап, именно *rug*, находится в основе русского «пугаться», что вполне соответствует законам уже эволюционной семантики.

Во всяком случае, не отказывая в мировом значении термину, его приходится производить не из латинского, конечно, Рима, а из общего домашнего источника, общего с чув. *rugane* 'кукла', 'идол'.

Ведь русский «бог» (← bog-g — основа грузинского глагола bog+g-va ‘бесноваться’ *bog-d) одно и то же слово, но различных эпох стадиального осмысления, и с нем. «Bro-d» ‘хлеб’ (сюда же брет. bar-a←*bar-han и франц. «ble», с его характерным эканием), и с лат. «rog+c-us» ‘свинья’.

Совершенно так же, как название ‘собаки’, ‘лошади’ (resp. ‘оленья’), равно и ‘свиньи’, элемент С (man, resp. kan || mon ↔ mun, resp. коп и т. д.) у басков с звонкой разновидностью шипящего же сибиланта (*jon, как у берберов jun) и с раздвоением губного о в aw, звуча jawп (resp. по диалектам uawп, qawп), теперь означает ‘господина’, но, как разъяснено, раньше означало ‘господа’, ‘бога’, а еще раньше космически ‘небо’, равно его части — светила, последние с уточнением в jawп-ко ‘дитя неба’ → ‘солнце’, в настоящее время у басков идущее за слово ‘бог’.

И в связи с этими хозяйственно-магическими представлениями находится использование разновидности ‘бога’ с обычной украинской, по общности одного производственно-социального слоя — украинско-кельтско-колхской перегласовкой в «і» (↔ е), как в «біг» в значении чудесного растения, именно укр. «бе-х» ‘cicuta vero-sad’, иначе по-южнорусски «віха» ‘вомига’. В украинском фольклоре сохранилось глубоко врезавшееся в народной памяти предание о нем, как о носителе магической силы. Важна, конечно, не народная этимология, по которой после того, как его «посіяли оттам у бальці по над ставом, де паслися ляхівські коні, і як башчи поросло це саме зілля. Коні йдуть, а воно стогне: бех, бе-ех, бе-ех, бех, і тепер як коняка на ёго наступить, або почнеш рвати ёго, то воно дума, що це ляхівські коні, та й стогне: бе-ех. Через те ёго і звать бех, а коні ляхівські наївшись доволі повипричувались». Важно, повторяю, не эта народная этимология, впрочем, по чисто формальному восприятию мало уступающая формально-звуковым построениям индоевропеистики в анализах слов, а важно то, что посеяли это зелье черти или чертята, посылавшиеся «до самої чертихи у самісіньке пекло», откуда они и принесли его. Важно то, что «проце зілля різні ходять розказні; сливе в кожному повіті інші: їх можна звести до того, що народ дуже гарно знає, що це отрута і що мабуть сила скоту вже пропала, а може ним частенько користуються знахарі, а може в війнах чи не потребляли его. Кажуть, що воно говорить і скликує худобу?» Что «бех», разновидность слова «біг», являлось культовым термином, впоследствии означавшим и ‘беса’, видно и из его двойника «біх» в составе украинского составного слова «біх-реса», что, по словарю Гринченко, означает «род беса, живущего в лесу и похожего на мужика в красной шапке».

Никто не отрицает значения и формально-фонетических сходжений, в данном случае перебоя губного гласного и его общности у украинского языка с группой шипящих языков яфетической системы на Кавказе, мегрельским и чанским языками, а на Западе с кельтскими языками, бретонским и валлийским. Еще более усиливается значение общности этого формального явления, когда то же звуковое явление точно врывается в двусложные слова с губной огласовкой и создает перебой, так вместо выдержанной огласовки о-о, *resp.* и-и, перебойный ряд о-е, *resp.* и-і. Никто конечно, не будет отрицать родства укр. «борід-ка», с его перебойной огласовкой о-і, с русск. «бород-а», но нельзя же отстранять от того языкового сообщества и арм. *miruq* 'борода', нельзя отстранять и диалектической разновидности с тем же разнбоем, перерождением губного гласного в *i*, хотя бы в первой части *miru-q*. И если с *boroda* (укр. ум. *borid-ka*) и арм. *miruq* (диал. *miruq*) мы оказываемся в одной социальной среде по формальному признаку, губной огласовке, то с акающей его разновидностью мы должны бы оказаться в стане языков свистящей группы, следовательно, в грузинском, но такая разновидность «Bart» налицо в немецкой речи, ныне налична у германцев как родное их слово, и никто этого не оспаривает. Но разве оно плод славянского и славяно-германского словотворчества? Или оно плод речевого производства литовцев, как более древний, мол, потому, что по-литовски он звучит *barzda* точно с излишком *z*, когда на самом деле группа *zd* представляет лишь позднейшее разложение яфетического еще аффриката, всплывающего в архетипе **parta* → **barda* → **parθa*, что с утратой первым элементом плавного сохранили абхазы, произносящие его с членом (а-) — а-фата. Слово это у них означает также 'бороду', а то и 'усы'. Мы не расширяем круга полисемантизма этого слова привлечением материала из других яфетических языков, но не можем воздержаться, во-первых, от указания на его же переживание без утраты плавного в грузинском глаголе *parθ-va* и *pars-va*, означающем первично то же, что 'faire la barbe', т. е. 'брить', *resp.* 'стричь бороду', впоследствии вообще 'брить' и даже 'стричь'. Но в значении 'бороды' разновидность с огласовкой «а» у грузин вытеснена разновидностью с огласовкой «е» с перемещением элементов (АВ вм. ВА) — г. *t-ver* 'борода', что отнюдь, впрочем, не плод какого-либо позднейшего местного производства, ибо его безукоризненный эквивалент уже определен в родной речи северных африканцев, берберов. Не входя сейчас в вопрос о слове с огласовкой «е» в грузинской речи, нельзя отрицать существования его на Кавказе, притом с тем же размещением элементов (ВА), как в перечисленных европейских языках, но с утратой плавного и элементов В, это использова-

ние в значении 'волос глаза', 'волоска' г. be-tu 'ресница' (↔ be-to 'волосок' → 'мелочь' в смысле фр. brin) с его армянским двойником со спирантизацией, как в miḡu-q, resp. miḡu-q элемента А, это — be-q (мн. ч. be-q-eḡ) 'усы'. Армянская дифференциация единого слова с закреплением одной разновидности для 'бороды' (miḡu-q, miḡu-q), другой — для 'усов' (be-q) произведена не только за счет огласовки (и е), но и губного согласного (m || b), как в бретонском, где, однако, обратно, 'борода' появляется с губным b при огласовке «а» (bago ↔ bar-и и др.), тогда как m с губной огласовкой у 'усов' — miḡ-en («мигепн»); но это слово, впрочем, настолько полисеманлично, что рядом со значением 'усов' (специально 'усиков кота') за ним числится и значение 'бороды' (опять 'котов' — barbe des chats), не говоря об остальных значениях — 'бровей' и иных. И в таком окружении фактов трудно высказаться, при наличной разработанности украинского, о взаимоотношениях 'бороды' и 'усов', да указать пути к социальным группировкам, откуда происходит каждая из здесь также дифференцированных разновидностей, пока не установлено, «ус» ли украинский утратил губной согласный элемента В (как в таком случае и русские «усы»), или «вус» украинский, наоборот, имеет позднейший паразитный нарост губного v к элементу А, или в этой среде сошлись от навала различные и по элементам образования. Во всяком случае налицо имеются обе коренные разновидности, одна с элементом В на первом месте: фр. mus+taшэ («moustaches»), бр. miш-taш-и («mous-tach-ou») и т. д., другая с элементом А на первом месте г. ul-ваш (в живой речи с утратой v:ul-аш). Интерес к 'усам', особенно 'бороде' чреват последствиями, так как не только 'усы', но и 'борода' получили свое название функционально в порядке наследования от других культовых в более древние эпохи предметов, с чем связано и то, что 'борода', а у бретонов, французов и др. даже 'усы', женского рода.

Однако нас интересует сейчас не 'борода' сама по себе, ни даже связанные с нею семантические или фонетические закономерные вариации, а увязанность их в мировом масштабе и в формальном отношении, со включением огласки, и занятие украинским языком особого независимого места еще в допрометеидских («доиндоевропейских») звуковых корреспонденциях, внесенных в него, разумеется, иными, чем у русских, социальными группировками, отложившимися в образовании украинцев. Ведь у двухэлементных скрещенных слов перебои одного из губных гласных, когда бы на самом деле они ни произошли, до скрещения ли простых элементов или по их скрещении, украинский тут как тут, точно хранитель особых заветов, проявляющихся в звуковых корреспонденциях, разумеется, не

от особенности украинской глотки или голосовых связей, а от изначально особого отличного от русских социального, так называемого этнического сложения. Воспроизводя обычный в мегрельском и чанском перебой двух губных в o-i, resp. u-i, украинский не только вторит обратному порядку i-u, resp. o, наблюдаемому в арм. *miḡuq* 'борода', так в слове общем с русским «пирог», но, как часто и в языках шипящей группы и Кавказа и Пиренеев, выявляет в обоих элементах i, resp. e, так в самом этом слове, наличном у украинцев и в виде «пиріг», как в баскском *biribil* 'круг', 'круглый' или чанском *vir-vil-i*, детской вертящейся игрушке, когда даже у грузин сохранилось слово с иной разнобойной огласовкой в *borbal* 'колесо'.

Ведь, собственно, и «пирог»-то, требующий еще размежевания с чанским *bureg-i* и т. *bureq*, будь он русский или украинский, по своему составу, независимо от общих норм фонетики — наследие от предков, говоривших еще на языке, вернее языках яфетической системы, причем у современных яфетидов сохранились его составные части, самостоятельные слова, именно *piḡ*, resp. *piḡ* 'хлеб', у грузин и комплекс звуков (-og -eg) от пережитков полногласия (-o -e) и элемента C (-g -g), если в *og* не предлежит самостоятельное слово, именно то двухэлементное скрещение AC, что у басков (у них несколько полнее, именно o-gi) налицо с тем же, разумеется, значением 'хлеба' и с той же разнобойной огласовкой o, resp. u-i, которое отличает и укр. «борідку» и м. *miḡi q* 'звезда'.

Можно, конечно, и эти факты, равно вызываемые ими соображения, отвести как «анекдоты», особенно, когда при незнании техники нового учения об языке сопоставления кажутся маловразумительными, а еще больше, когда научное мышление лингвистов господствующей школы, без различия национальности, в дополнение к европейскому самомнению доселе заковано в шоры того или иного национального мира (когда речь о русском или украинском — миража славянского «братства» и славянского «праязыка»), как изначальной основы в языкотворчестве каждого из входящих в это позднейшее речевое классовое содружество «народов». Национального подъема хватило, чтобы осознать себя народностью, равноправной с русским народом, чтобы не дать застыть общественно родной украинской речи на ступени, на которой полагается замирать любому языку колониальной или колониально используемой страны, да стараться наверстать упущенное в целях возведения украинской речи на ступень культурного развития, достигнутую русской, но, когда дело доходит до приемов и техники, необходимых для научного изучения (и только ли для научного?) этой же закабаленной многовековым культурным засилием братского народа речи, то друзья

украинского языка с его мнимыми или действительными недругами, поскольку речь идет об ученых, все одинаково оказываются в умирительно-неразрывной близости по рабски-слепой привязанности к индоевропейской лингвистике. Между тем, если даже оставить в покое вопрос о возникновении вообще звуковой речи человечества, которого правомыслящий индоевропеист чурается как наваждения от лукавого, может ли кто указать на конкретный язык, происхождение которого в какой-либо мере было бы разъяснено изжившим себя, как исследовательский метод, учением? Почему такое по устойчивости твердокаменное равнодушие? К чему? К новому учению об языке? Да нет, оставим «новое», которое давно лишилось всяких прелестей молодости, вступив в пятый десяток своего безнадежного и вынужденного топтания на месте (ибо как может такое учение преуспевать в искусственно поддерживаемой изоляции?), однако имело достаточно времени, чтобы дискредитировать себя всеми смертными грехами — и материализмом, да еще диалектическим, и игнорированием того, чему все учились, и пренебрежение к литературным, особенно классическим языкам мирового значения, в пользу чего? В пользу каких-то живых никому неизвестных наречий, в большинстве заведомых *patois*, да еще с непростительно небрежным, более того — преступным нарушением классической акрибии. Следовательно, об этом учении не приходится говорить. Ни о том, что душно работать в такой изоляции. Но ведь душно работать в спертom воздухе и многочисленной рати старого формального учения. Почему никого не тянет к мысли обезвредить в какой-либо мере удушливую атмосферу самого изолирующего лингвистического метода свежим воздухом действительного знания другого языкового мира, что тут же у порога индоевропейского замка? Мы абсолютно не думаем ограничивать своего недоумения пределами ученой среды советской страны. Недоумение у нас, как и яфетическая теория, складывается также в мировом масштабе. Почему, в самом деле, исследователь французского языка доселе не перестает твердить, что фр. слово *bout* 'конец' специалисты производят из германского, объясняя его как «*partie extrême par laquelle on "boute", on passe*», тогда как достаточно со знанием положения по палеонтологии речи, как будто и индоевропеисту известно, что в значении 'конца', используется 'голова', серьезнее осведомиться о существовании во Франции одного из древнейших языков мира, баскского, пережитка звуковой речи первоначального населения страны, со словом *buru* 'голова', чтобы тогда уже получить некоторый интерес к новому учению об языке, по которому это слово — двухэлементное (BC) скрещенное образование, второй элемент (-u) — пережиток спирантный архетипа **hun*, resp.

*kup, и его двойник по сибилантной ветви должен бы звучать *bur-tun, что и пережило во французском слове «bou-t», без надобности совершать окружное путешествие через германскую речь. Если кого-либо смущает отсутствие г во французском слове, то это обычное явление, вовсе не возлагаемое для разъяснения на индоевропейцев, ибо выпадение плавного в этих условиях, да и в иных, происходило еще в языках яфетической системы, да и в самом баскском этот элемент (В) появляется также с утратой г в основе глагола bu+ka-tu 'кончать'.

Вопрос, однако, не в одном баскском. Мы абсолютно не думаем о непосредственном переходе от баскского или иного вида яфетической системы во французский. Процесс куда как сложнее. И доля передаточного значения кельтского языка не мала. Однако и все это не может помочь уйти от необходимости восполнять утек своего подлинного материала справкой у яфетических языков кавказской дали. Не какая-либо пара слов, вроде la gor+ge || г. kor-ka, le gateau || г. qada говорит о большей в известных слоях близости французов с грузинами, чем с «индоевропейцами». Ведь за нарицательными словами идут собственные имена, они же говорят о большем. Ведь так же обстоит дело и с украинским языком.

Мы заримся как на достояние яфетидов-вкладчиков даже на имена Бориса и Глеба не только потому, что в них как огласовка (o-i, resp. [u]-e), так остальное оформление находят разъяснение в яфетическом лингвистическом мире. Если бы не было надежды реальнее подойти к толкованию этих имен, мы не постеснялись бы дать их отвлеченно лингвистически вполне устанавливаемое значение, как культовых предметов, светил, даже определеннее — Бориса-солнца и Глеба-месяца. Не говоря о 'Борисе-солнце', Глеб фонетически представляет лишь предшествующий вид фонетического состояния слова «хлеб». Конечно, 'солнце' или 'месяц', это лишь одно из проявлений, космическое, предмета культа, и их названия могут оказаться наречениями хозяйственных злаков и животных.

Ту же разноречивую огласовку o. resp. u-i, что в Борисе, по типу м. tuŋiθq 'звезда' (древнее ч. tuŋiθq), разделяют и украинские названия хлебных злаков и яств, некогда также культовых предметов. Так укр. «кулеб-а» 'густой переваренный куліш' (жидкая каша), первоначально означавшее вообще 'хлебную еду', 'хлеб', как и русск. «кулеб[я]-ка». По восстановлении единства огласовки в обеих частях, т. е. по получении *kulub, его лишь двойник по фонетике яфетической системы kolob оказывается основой термина, означающего 'лепешку круглой формы'. Дело, конечно, и здесь не в круглой форме, а в отвлеченно-культовой лишь позднее, раньше же неразрывной

с производством *машин*, увязанной и с теми предметами, которые ныне имеют функцию съедобных изделий и только.

Отсюда, изгоняемые из текущей общественности и так называемой истории, они еще живут в мифах и сказках соответственного социального слоя, разумеется, в тех народных сказках или, вернее, в тех подлежащих выделению из них по стадильности, как из звукового языка речевые координаты той же ступени развития, слоях, которые представляют пережиточные окаменелости соответственных эпох.

Однако новое учение об языке никак нельзя приковывать к скале, да заточать в пещеру, предоставляя ему рыться в мало кого интересующей доистории языка, в ее оторванности от последующих ступеней стадильного развития. Не для того «похищался» палеонтологический свет из упорно отказывавшего в нем массового материала, чтобы укрыть от его лучей явления позднейшего порядка.

Поскольку в украинском и русском обретаются одни и те же слова, хотя бы с расхождениями, но лишь формальными, позднейшего эволюционного происхождения вроде перебоя губного *и о в і е*, конечно их учет, захватывающий наглядностью, лишь мешает вскрытию истинного положения дела. Он помогает лишь затушевыванию значения тех индивидуальных черт, наличие которых все-таки дает себя знать. Такой общий тождественный материал не может, очевидно, послужить опорой уяснения особенностей каждого из сличаемых здесь языков. Говорим о таком тождественном материале, как «море», «вода», «земля», «лед» (*lod*), «лоб», «плевать» («плюнуть»), «рог», «река», «речь», «рыба», «слеза» («слез»=*sloz*), «снег», «собака» и т. л., когда по-украински «вода», «земля», «лід», «ліб», «море», «плювати» (*pluvati*), «ріг», «ріка», «річ», «риба», «сльоза» (*sloza*), «сніг», «собака». Но здесь уже требуется проверка, все ли и подобные общие русско-украинские слова, хотя бы сейчас общие, употребительны во всех социальных слоях каждой из сторон.

Особого учета требуют и сами слова как бы своим значением социально павшие, как, когда, напр., вместо «лица» слово означает 'морду', 'рожу', 'харю', так укр. «пика» (ср. «писок» 'лицо', 'морда'); ведь основная его часть *рі*— с утратой плавного *г*, resp. *л*, лишь разновидность основы порядкового числительного «пер-ши» 'первый', означавшего первично 'лицевой', 'передний' ибо 'лицо' и 'рот' раньше обозначались одним словом, как пережиточно наблюдается даже в латинском; украинское слово *рі*-, за отстранением второй части -ка, в его архетипе **rig*, resp. *rig* (\leftrightarrow *per*), то же слово, что св. *pil* 'рот' и груз. *rig* 'лицо', 'рот', 'лезвие', да бер (\leftarrow *per*) в составе скрещенного арм. *ber-an* 'рот', 'лезвие'. Утрату исходного плавного *л*, как в укра-

инском *pi*, мы замечаем и у берберов в их слове *i-mi* (мн. *i-m-awn*) 'рот', 'зев', 'лезвие'.

Да и когда слово общее, не каждый раз подлежит оно разъяснению в порядке усвоенности его украинцами от русских. Палеонтология речи здесь дает средства для вскрытия обратного течения и в таких случаях, какие, казалось бы, не требуют никакого дальнейшего уточненного разъяснения или перерешения. Такие неожиданные поправки всплывут хотя бы в том смысле, что слово (коренное так называемое русское и украинское слово) найдет общий лишь источник в речи третьей группировки. Когда, однако, со словами «лід», «річ» без всякой палеонтологии перед нами выступает «крига», «мова», то дело уже самим материалом становится иначе, чем принято разбираться, ибо, помимо того, что налицо другие слова («крига», «мова») для термина 'слово', да для глагола 'говорить', на каждой стороне наличен и не один еще лингвистический элемент или комплекс иного состава, но с тем же значением и надо раньше, чем вести речь о взаимоотношениях русского и украинского или их обоих со славянскими, при генетическом вопросе учесть общность этих же слов с языками более древних ступеней стадиального развития, прежде всего с языками яфетической системы. Без учета этого материала, более того без установления модальности связи по соответственным лингвистическим элементам (А, В, С, D), простым и составным, в функции идеологического их использования, т. е. в роли слов, нельзя ничего решать ни по морфологии, ни по фонетике. Ведь если «вода», да «Wasser», предполагается, у «индоевропейцев», на самом деле у одного и географически ограниченного социального слоя, двухэлементное (ВА) скрещение, тогда как у народов с более древней системой речи тот же предмет первого культового значения, не только первой необходимости, получил тотемическое наречение простым одноэлементным словом (у яфетидов, конечно, со включением басков, из одного элемента А, у финнов из одного элемента В), то это вовсе не значит, что в украинском и русском, как и в других языках прометеидской системы, нет ничего подобного, что в них никаких следов одноэлементности состава того же слова. Не говоря об армянском *dur* (А), одноэлементно это слово и у живых также доселе кельтов, так у бретонцев — *dur*, *resp. zur* (при смягчении).

Такая проработка в ином свете представит не один, примерно данный нами в перечне, общий тождественный материал. Так, когда речь о 'воде', то не одно слово «вода» затрагивается ее связями. Понятие 'вода' налицо и в данном перечне — 1) в укр. «плювати» (как и в русском), основа которого *plu-va* означает 'воду' (*va*) рта' (*plu* из **pul*, перерождения яфетического *pur*, г. *piḡ* 'рот', ср. *fig* — в г.

фиг- 9q 'плевок', буквально 'рта вода'), 2) в украинском «слъоза» (как и в русском соответствии), что, звуча slo-za, буквально значит 'вода (za) глаза (slo-, resp. sle-)', ср. г. 9re — 'глаз' в составном груз. древнелит. 9re-mł 'слеза' (из * 9re-mal) и sel ↔ sil как у бретонцев с восхождением к 'глазу' — 'вид' sell, 'видеть' sell-ut, так у финнов прямо со значением 'глаза' в наличном у них скрещенном образовании морд. sel-me, суоми sil-me 'глаз', 3) такой технический подход к восприятию материальных предметов с использованием его в производстве слов говорит уже о позднейшей стадии развития звуковой речи, и о том же еще более свидетельствует словотворчество с учетом техники такого явления, как 'дремота' или 'сон'. Так основа русск. «дремать», укр. «дрімати», равно г. 9ul+e-ma (drem drim, resp. 9ul+e-m) 'дремать', не что иное, как имя, означающее 'глаз', и это выясняется не только с г. 9ul+em, resp. * 9ul-m, усечением полного вида *9 /l-mal, сохранившегося в г. 9u-[v]al ↔ 9o-wal 'глаз', но и в отношении русск. dre+m, и укр. dri+m в архетипах *der-m и *dir-m, сохранившихся у кельтов в разновидности drem (брет. «dremm») со значением 'зрения', 'лица', у армян же в разновидностях deym (↗ *der-m), в косвенных падежах di-m, со значением 'лица' и восходящих семантически к архетипу 'глаз'.

Не иначе обстоит дело в смысле общности элементов у украинского и русского с яфетическими и в отношении термина «вода». Из этого двухэлементного образования vo-, разновидность va, что в основе plu-va, обычно признаваемая финской, есть усеченный вид полного val || mal (resp. bar || mar), из которых mal, стянутое в виде ml, налицо в груз. древнелит. 9re-mł 'слеза' и полностью в бск. mal-ko (с определенным членом mal-ku-a) 'слеза', буквально 'вода глаза'.

Для нас интерес здесь представляет согласованность или «корреспонденция» окания vo с аканией va, вторящая mutatis mutandis взаимоотношениям bon шипящей группы (ч. o-bon-u 'мыть', 'купить', м., ч. bin+u-a) и ban свистящей группы (г. ban-a 'купать'), в которых основа bon || ban со значением, несомненно, 'воды', также скрещенная из bo || ba с элементом па (D). Сванский язык вскрывает отпавший плавный г в исходе окающей разновидности (*bog ↔ bur, resp. vol) св. h-br-e 'промыывать' (ср. «вол-на»), а латинский сохранил полный вид свистящей разновидности bal в bal+ne-um (ср. и арм. bal+ni-q 'баня'). Обошедший весь афревразийский мир этот термин (ибо имеется он и на Кавказе у грузин — a-ban-o 'баня', буквально 'место купанья') особый интерес вызывает к себе бытовым значением в русской жизни, но и этого вопроса нельзя освещать без выяснения тех связей, которые присущи в этом слове со значением 'воды'

средиземноморцам африканским и европейским, берберам и римлянам. У берберов прежде всего *map* в значении 'воды' налицо в составе скрещенного их слова *amap*, что обыкновенно рассматривается как *pl. tantum* и, несомненно, еще женского рода, при отсутствии материального показателя рода.

Для нас и число и род слову бывают присущи, согласно палеонтологии речи, без соответственного оформления, и скрещение тех же элементов (BD) мы находим в латинском *manus*, означающем 'руку', вполне согласно с первичным семантическим пучком 'рука+женщина+вода'. Мы однако, сейчас, довольствуемся другой окающей разновидности элемента В в значении 'воды', именно то *y* *mo[y]* (*resp. mu[y]*) *y* ты, откуда «мы-ть» (наст. «мою») укр. *mi-ti* (наст. «мою» «мию»), что у берберов налицо с закономерным ослаблением о в э в скрещении с *t*, пережитком элемента С, т. е. в слове *mэ-т*.

Оба построения повторяются и в Африке у берберов, так: *mэтman* (*pl. t.*) 'плевок', 'слюна' и *imэti* (мн. *imit-awn*) 'слеза'.

Первое слово по отвлечении префикса *i* — представляет сложение *mэт* 'вода' с *mi* 'рот', причем составное слово получило окончание множественного числа *-an*, перед гласным которого «а» исходный гласный слова *mi* 'рот' отпал.

Второе слово вскрывает более сложную историю, ибо в остающейся по отвлечении форматива *i* — части *mэti* также налицо *mэт* 'вода', но его исходный *t* успел укрыться в удвоении следующего за ним дебелого *t*, начального согласного в слове *ti*, означавшей 'глаз', т. е. в *i-mэт+m-an* 'плевок', 'слюна' это 'вода рта', так *i-mэti* (← *i-mэ-ти*) 'слеза' также составное слово 'вода глаза', с тем, однако, осложнением для анализа, что наличное ныне слово 'глаз' у берберов сохранилось не в простом виде *ti*, а с утратой исходного *i* в форме женского рода, да еще множественного числа — *ʒi-t*; при этом берберисты никак не поймут, почему вместо искусственного от него множественного числа *ʒi-t-awn* сами берберы во множественном числе предпочитают употреблять *al-эн*, т. е. мн. число другого синонимного слова, т. е. берберисты не знают, что *ʒi-t* 'глаз' уже образование мн. числа, это *plur. tantum*, собственно, значит 'глаз', и никак далее без насилия не вникающего в истинное положение формалиста от мн. числа не образовать еще нового мн. числа, но так то без признаков женского оформления *t*, собственно *ti*, означая 'глаз', первоначально означало 'солнце', и вот почему мы его находим в каб. *ti-a*, тоже *pl. tant.* и потому «без мн. числа» в значении 'света', 'луча света' и т. п.; и вообще основа *ti*, пережиток *tir*, не что иное, как двойник берб. *i-tij* 'солнце' (мн. ч. *i-tij-эн*) и сохранилась в полном своем звуковом составе со скоплением согласных в начале в берб. *i-tri* (мн. *i-tr-an*)

‘звезда’. У кабилов кое-где, однако, так в Тизи-узу, в слове со значением ‘слюны’ *вм. тэт* ‘вода’ употребляется *su-s*, разновидность по перебойной смене исходного плавного (*sus*) или удвоению усеченной основы *su-s su-sə* (*su-su*), в обоих случаях пережиток архетипа *sur* ‘вода’, что послужило, между прочим, основой берберского слова *su* ‘пить’, и при замене в *pl. t. i-тэз+т-м-ап* слова *тэт* ‘вода’ его синонимом *su-s* с учетом обычного чередования согласного (*v(f) ↔ т* и т. д.) получаем *i-sus-f-ап* ‘слюна’, буквально ‘вода (*sus*) рта (*fi*)’, и глагол *susə-f* ‘плевать’ — отыменный (обхожу сейчас молчанием встречи с семитическими эквивалентами).

В значении ‘воды’ у берберов ныне *атан*, тоже *pl. t.*, основа скрещенного *а+т[э]*, *resp. а-т[u]*. Во всяком случае в *тэ-т* основа с ослаблением губной огласки *то ↔ тu* сближает нас с шипящей группой. Также лишь усеченно представлен элемент А в значении ‘воды’ в разновидности *za*, *resp. da* (*вм. яфетического da*), которые восходят при полноте к виду *zal*, *dal*, *resp.* при яфетическом аффрикатном произношении *dal*, с сохранением диффузности начального коренного, еще глухого, в разложении *tk—г. tka* ‘вода’.

И остальные разновидности удостоверяются фактически, но нас сейчас интересует то, что и *za[l]* и *da[l]*, *resp. dal* — достояние свистящей группы, которой принадлежит грузинский язык, двойники же их по шипящей группе должны бы звучать *jug* в соответствии *zal* и *dug* в соответствии *dal*, а по утрате аффрикатности — *dug* в соответствии *dal*. Если *dug* ‘вода’ сейчас представлена бретонским языком, а *dar* ‘вода’ — армянским, то, конечно, эта разновидность не бретонское, даже не кельтское, как и не армянское создание; в них переживание слова яфетического оформления по шипящей группе, и это переживание с бретонским и армянским разделяют и русский, и украинский, каждый в особой разновидности, именно *jug* и *dug* («джюр»), что налицо в скрещенных из двух элементов (AC) основах глаголов русск. «жур+ч+ать» и укр. «джюр+ч+ати» ‘журчать’. Ведь на Западе ту же особенность в отношении начального согласного, именно подъем зубного *z* в *d*, с утратой фриктивности — *d*, проявляет и единственный западноевропейский яфетический язык, баскский, в акающей разновидности, в основе глагола *e-da-n* ‘пить’, тождественной с русско-украинским *da*, в скрещенном образовании *voda*.

Мы не думаем, что наличие разновидности с начальным зубным одинаково в подъеме в четыре языках армянском (*d*), украинском (*d*), бретонском (*d*) и баскском (*d*) было случайно, и что не требовало бы особого учета и то, что в трех из них, армянском, украинском и бретонском, разновидность относится по огласке всегда к шипящей группе, куда помимо мегрельского, чанского, сохраняющих речь

колхов, или сколотов, т. е. скифов, и гибридных языков, сванского и армянского, особенно народного армянского (в их слоях шипящего склада), входит также скифский, с которыми ныне сближается кельтский.

В этом смысле нельзя отстранять по существу и основы *jug*, как наследия колхо-скифского или сколото-скифского словотворчества, имеющего с глухим произношением начального согласного *tu* (*ʔ tuu*) → *tu*, *gesp. su*, распространение и на далеком Востоке, также у турок (у карачаев на Кавказе с долготой, как у берберов), и на севере у финских народов с своеобразными по переходности типа чувашами на Волге, и на юге вплоть до Африки, и на Западе, да, конечно, и у кавказских яфетидов, в значении то 'воды', то дериватного от 'воды' глагола 'пить'.

Но сейчас по интересу к так называемому субстрату не может не интересоваться сходжение украинского более широкое именно с баскским, да с бретонским, по связи его с речью близких к баскам аборигенов Галлии, и с армянским, также переходным мостом между состоянием яфетической системы и позднейшей прометеидской (индоевропейской) стадией развития звуковой речи.

Баскский уже определен как скрещенный шипяще-спирантный язык, в котором немало отложений и свистящей группы. В «Пиренейской Гурии» далее выяснено, в каких любопытно тесных взаимоотношениях находится баскский с армянским именно по шипящей разновидности интересующего нас слова, когда подходим к материалам с учетом палеонтологии речи, именно ее положения о том, что 'вода' и 'огонь' одинаково увязаны космическим мировоззрением с 'небом'. В связи именно с тем, что *jug* означало и 'небо', это слово, или в этом именно виде, или в спирантизованных двойниках (*ug*, *or*), появляется в составном двухэлементном (АВ) образовании наименования той или иной птицы, поскольку всякая 'птица' в силу семантического положения «часть по целому» носила название 'неба', *gesp.* его части — 'дитя неба', как 'солнце', так русск. «журавль», укр. «журавель» (← *jug*+*a-vel-e*) и г. *or-b* (← **or-bel*) 'орел' (ср. также армянское удвоенное образование *ug-ug* 'коршун' и др.).

С журавлем связаны древнейшие памятники материальной культуры Армении и кельтской Галлии. О кельтских журавлях, о трех-журавлином воле, о том, что галльские щиты украшались журавлями значительная литература. В Армении журавля находим еще на вишапе, здесь воспроизводим в ожидании, что еще через 18 лет, т. е. когда годков станет 36 по обнаружении вишапов, будущее поколение авось увидит их в подобающем цельном издании.

Конечно, значение журавля было культовое, раньше магическо-

тотемическое, и общностью названия подтверждается наличие тождественной тотемически скрепленной социальной группировки. В Армении и у кельтов (мы не доискиваемся дальнейшего их внедрения или выявления у германцев) названия журавля находятся во взаимоотношениях окающего, resp. укающего (арм. *kəṛ+un-k* **kuṛ+un-*) и акающего (брет. *gar-an*, при смягчении *qar-an*) коллективов. Это окание и акание, связанные в яфетических языках Кавказа первое с шипящей, второе с свистящей группой, имеют свои отклонения в украинском, русском, где элемент первой части названия «журавля», *juṛ*, как восходящего к 'небу [-огню]', находится в том же соотношении к слову «жар». Но ведь сюда же и название 'птицы', как полагается сказочной, 'жар-птицы'. Конечно, для схематически правильной выдержки двух групп, свистящей и шипящей, следовало бы, чтобы слово звучало *zar*, если не *zal*, но ведь эта разновидность занята была названием 'воды', как мы то видим в «сле-за», где *za* значит 'вода'. И вот в значении именно 'воды' украинцы выявляют разновидность третьей социальной группировки с огласовкой «е» в своем названии 'источника' — «жерело», «джерело». Der 'вода' из семантического пучка 'рука' (откуда г. *der* '-крат', 'раз', арм. *der-ən* 'рука', г. *ger* 'штука' → *qer*, откуда греч. *χεῖρ*, груз. *qel*)+ 'женщина' (с утратой аффрикатности *der* в составе баскского скрещенного слова *an-der-e* 'женщина')+ 'вода' (экающая разновидность армянского *dur* 'вода' > *juṛ*, что в основе разобранного выше русск. «жур+ч-ать», укр. «дзюр+ч-ат-и», с сохранением диффузного (ṑ → ṑ) эквивалента на следующей за *d* ступени озвонченности (ṑ) — г. *ṑqer* 'биение источника', фр. «*jaillir*», в живой гурийской речи — *ṑqer-i* 'водопад'.

Значительно важное расхождение во втором элементе названия «журавля», где элементу *B* (*vel*) бретонский противопоставляет элемент *C* — *-an* (*gar-an*), поддержанный в этом армянским *-un*, даже грузинским *-o[n]* ↔ *-u[n]* (арм. *kəṛ+un-k*, г. *ter-o* ← **ter o* ← **ter-on*), но именно в значении 'воды' и на Западе кельтские языки выявляют эквивалент элемента *vel*: на галльском (*gauilois*) это *do-bur* → *du-br* 'вода', то же слово в среднеирландском со значением 'источника', 'колодца' — *to pur*, равно *to-pur*, усеченная разновидность которого со значением 'моря', 'озера' у мегрелов и чанов звучит *toba*, оно же стянуто в груз. *tba* 'озеро', 'пруд'.

Здесь тот же *bur*, resp. *biwr*, что входит в состав также двухэлементного скрещенного образования арм. древнелит. *al-biwr* (народное чтение *agbuwr*, диалектически же — *agbur*). Первая часть скрещения на яфетической ступени еще *al*, с сохранением спиранта *h*, да в подъеме *q*, так и сохранилась у армян в значениях, восходящих к

семантическому архетипу 'вода', что у шумеров а 'вода' (← al, resp. ar), так al+i-q 'волны', qal-al 'течь', 'двигаться' и т. п., тогда как у грузин al-i 'пламя' (← 'огонь').

Особый интерес представляет разновидность второй части с огласовкой «е» (al-ber в косвенных падежах), ибо в языках более древней системы, именно яфетической, она появляется и самостоятельно, одноэлементно, так в грузинском древнелитературном фге, 'источник' (из * фег ← ber). В языках и иных систем мы находим это же слово, элемент В, в значении и 'воды' и 'огня', хотя уже с дифференциацией огласовки, так у греков ге 'вода' в фре-ар — 'источник', и риг 'огонь' в пор 'огонь'. И, конечно, заслуживает особого внимания, когда рядом с 'огнем', общим у украинцев с русскими, в украинском же всплывает то же слово, элемент В, с огласовкой «а», как в кельтском to-par, усеченно, как в чанском и мегрельском — to-ba, да с дополнительной редукцией (о ъ э → -) и в грузинском — t-ba, именно в значении 'огня' в скрещенном украинском «ба+гатти», т. е. вскрывается эпоха, когда одно и то же слово в разновидности с огласовкой «а» — ба значило 'огонь' (у яфетидов она без изменения 'вода', в г. t-ba 'озеро' и т. д.), а в разновидности с губной огласовкой — во — 'воду' (у русских «во-да» и т. д.). Однако было бы ошибочно думать, что сохранением ба — со значением 'огня' в слове «ба-гаття» украинский коренным образом расходится с русским, ибо полный вид усеченной разновидности ба-, притом с глухим губным, в общем pal (ср. par в кельтском to-par), находим в русском, то непочто в основе глагола «пал-ить», «рас-пал-ить», то с перестановкой гласного pla-в имени «пла-мя», «пла-мен-и», не говоря об усеченном виде to-p всего двухэлементного образования topar (*toral), означавшего в архетипе не только 'воду' ('небо'), но и 'солнце' ('небо'), и отсюда и 'огонь', в зависимости от чего его мы имеем в основе двух глаголов, отнюдь не одного семантического источника, хотя при отсутствии палеонтологической перспективы лексикографы, да и лингвисты-формалисты, естественно их помещают в одном гнезде: это 1. укр. «топ-ити», русск. «топ-ить» (от top 'вода'), 'погружать в воду' и 2. укр. «топ-ити» (от top 'огонь'), русск. «топ-ить» (печку), одного происхождения с грузинским глаголом (аор. III пор.) а— b-o 'он его нагрел' || 'согрел', и прилагательное груз. ʒbil 'теплый', св. tebde id., укр. «тепл-ий», русск. «тепл-ый».

И поскольку 'вода' была увязана с 'подземным небом' или 'морем', а 'огонь' с 'верхним небом', положение это было общее, оба предмета носили одно и то же название лишь впоследствии дифференцированное фонетически. Совершенно так же, как то наблюдаем с top, элементом С: с оканием (оформление шипящей группы) при

семантическом архетипе 'огонь+вода', украинский и русский его сохранили со значением 'огня' лишь в разновидности спирантного типа *gon-e* (\leftarrow *kon-e*) и с решительной поддержкой реальности такого значения в факте наличия *kon* (\rightarrow *gon*) \leftrightarrow *kun* (\rightarrow *gun* *gi[n]*) со значением 'солнца+дня' (чв. *kun* 'день', т. *kun* \rightarrow *gun* 'солнце', 'день', ср. *gunash* 'солнце', бск. *e-gi* 'солнце' \leftarrow *e-gun* 'день'), по 'солнцу' у русских и украинцев и 'огонь', но, как у басков, в скрещенном или составном образовании: «о+го-нь» (\leftarrow **o-kon-e*), причем дифференциация, возникшая от использования такого сложного оформления, вызывалась тем, что простой вид слова *kon-e* (\leftarrow *gon-e*) использован был для увязанной и с 'водой', и с 'солнцем' мифологически 'лошади': русск. «конь», укр. «кінь» (род. «коня»), откуда и «гонять». Соответственно и его эквивалент по сибилантному типу *don*, означая 'воду', гесп. 'реку', и т. п., в архетипе должен был означать и 'огонь', и, действительно, если то же слово на более древней ступени озвончения, глухой, *ton*, с наличной губной огласовкой, как основа со значением 'вода', сохранилось в глаголе чанском *o-ton-u* 'погружаться в воду', укр. «тон-ути», русск. «тон-уть», с аканием при том же его значении в составном названии реки *Tan-ais* оно появляется не только у чанов *o-3an-u* 'снять', 'сверкать', 'светать' и мегрелов *an-3an-a* 'рассветать', но и у кельтов в виде *ta* (\leftarrow *tan*) со значением 'света', всегда с восхождением к космическому архетипу 'солнцу' (\leftarrow 'небу'), по которому наречен был и 'огонь'. Мы не останавливаемся здесь на входящем в тот же круг укр.-русс. «день», с той же огласовкой, что у грузинской ее разновидности в основе глаг. *en-e+ba* 'рассветать'.

И вот шиг у басков, звуча с усечением исходного плавного ши, означает 'огонь', в значении же 'воды' спирантизованно *hur* *ur* (даже *u*, но это в сложных словах); тот же процесс дифференциации, очевидно, в иной социальной группировке, у армян отложившей свою речевую продукцию в соответственном слое в языке, завещал сибилантную разновидность шипящей группы со звонким подъемом (ш \rightarrow d), именно *dur*, в значении 'воды', а спирантизованный ее двойник *hur* в значении 'огня'. На кавказской почве яфетические языки дают отложения того же процесса с большим обилием; так *hur* в значении 'огня', с подъемом спиранта *h* и *q* налично в основе грузинского глагола *a-qiqa* 'он разгорячил', 'распалил', а с утратой того же спиранта разновидность *ur* находится в основе слов, означающих 'горесть', 'грусть', 'тоска', 'забота', 'печаль', ибо, как выявлено палеонтологией речи, 'горесть' и ее синонимы восходят к представлению о 'боли от ожигания', т. е. материально к 'огню', и вот такого же происхождения укр. «жур-и-ти» 'печалить', 'озабачивать', укр. «жур-

ба» 'печаль', 'горесть', 'забота' и т. д., основа которых *jug* 'огонь' тождественная с основой *jug* 'вода' русского скрещенного термина «жур+ч-ать» и представляет с основой синонимного украинского глагола *dig+ a+ti* «дзюрчати» фонетические разновидности лишь в связи с потребностью выражать 'воду' и 'огонь' дифференцированно.

Эти глубокие корни захватывают уже такие надстроечные понятия, как 'слово', 'речь', притом в украинском да и в русском вклады не одной социальной группировки. Ведь, если взять одну пару — «*річ*» (русс. «рѣчь») и «*мова*», это вклад двух различных социальных группировок. «*Мова*», как ни смотреть на наличное в украинском «*в*», в себе содержит в первой части основу с огласовкой шипящей группировки *mol* (элемент В), *resp.* *mor* ↔ *mug*, соответствующую двойнику с аканием свистящей группы **ma*, наличному усеченно в основе украинского же глагола «*ма-е*» 'говорит', с подъемом *m* ʎ *b* русск. «*ба-ить*», у армян в полном виде *bar* 'слово', откуда и *bar-bar* 'язык', в грузинском — в виде также *bar* в составе скрещенного имени существительного *sa-u-bar* 'беседа', отрицательного прилагательного *u-bar* 'не говорящий' (ср. также *par* ʎ *var* в скрещенном груз. *la-par-ak* 'беседа', 'разговоры').

В целостности «*мова*», скрещение двух разновидностей одного и того же элемента в оформлении двух различных социальных огласовок (о || а), в архетипе **molva[r]*, с эквивалентным скрещенным образованием из элемента В окающего оформления *mo[l]* и элемента С (-*te*=-*tə to[n]*): ит. *mot-to* (← **mol-to* ↔ **mul-tu* см. в народной латыни *mut+tu-m*), исп., порт. *mo=te*, фр. «*мо-т*» (бург. *мо* на яфетической почве предполагает архетип *mol*, т. е. лишь первую часть слова).

Нас сейчас не могут занять всплывающие в этой литературе любопытные материалы, в частности те, что, действительно, ведут одни к французскому *murmure* 'бормотание', другие, как, например, «народное», латинское *mutmut* к г. *butbut* 'бормотание', небезынтересные и для обсуждаемого нами языкового мирка, русского «*бор+мо+т-ать*» (← «*ате*») ↔ укр. «*бор+мо+т-ати*», *resp.* «*бур+мо+т-ати*». Палеонтологически весьма ценно то же совпадение в романских языках, глаголов 'указывать' в древнефранц. «*motir*» и 'звать' сард. «*mutire*», что имеет свою параллель в укр. «*по-каз-ати*» и русск. «*у-казать*» и укр. «*каз+ати*», русск. «*сказать*». Но когда дело касается 'слова', 'речи', то увязка на архаических ступенях стадияльного развития говорения ожидается с выделившимися из одного трудмагического действия 'пляской', 'пением', 'игрой' и их дальнейшими перерождениями — 'мифом', 'заговором', 'поговоркой', 'пословицей', 'эпосом' и иными магическими, позднее культово-героическими терминами, а никак не с бессмысленным или неосмысленным 'бормотанием'. Если даже

забыть об их акающей армянской разновидности *bar-bar* 'язык', 'наречие', 'глас', то другой эквивалент и по смыслу также армянский *bar-band* || *bar-bad* 'болтание', 'бормотание', 'шептание' включает в свои значения 'нашептывание чародея'.

Первично осмысливающий предмет и здесь — тотем, впоследствии становящийся тем или иным конкретным в представлении человечества на данной ступени стадийного развития, при космическом мировоззрении, разумеется, 'небом', 'светилом' — 'луной' или 'солнцем' и т. п. И в таком случае, если г. *mzega* 'смотреть', 'смотрение' (диал. *bzega*), происходя так или иначе обязательно от 'глаза', т. е. микрокосмического применения 'солнца' (или 'луны'), чисто технически увязывается с небесным глазом, resp. светилом, то г. *mgega* 'пение', 'петь', лишь фонетическая разновидность спирантного порядка ($z \leftarrow d \ g$), увязано с тем же 'солнцем' по трудмагическому, впоследствии культовому значению акта, выражавшегося термином *mgega*, а *mgega* лишь впоследствии дифференцировалось и выделилось с обычным значением 'пение', 'петь', ныне по-грузински кажущимся первичным; у грузин же *mgega* обозначает, при учете и древнего и средневекового литературных языков, и 'пляску', и 'пение', и 'игру', т. е. в итоге диффузно — весь комплекс нераздельно входивших в акт адорации солнца элементов, выделившихся из трудмагического действия. Давно, давно до возникновения палеонтологии речи, в работе «Из поездок в Сванию (летом 1911—1912 гг.)» была изловлена связь названия хороводной пляски, общего по составным частям с армянским (*ՅիԶ* , *rag-q*) грузинского древнелит. *шиш-раг* и живого, в частности сванского *шиш-раг*. И тогда же был дан анализ технологически воспринятого составного термина *шишраг* в смысле определенного технически выполняемого содействия (*раг* 'круг', 'хоровод', *raq* || груз. *ferq* 'нога') луны (*шиш*, *ՅիԶ*, м.-ч. *ՅիԶ-а* 'луна'). И, действительно, это технологическое восприятие настолько перевешивает впоследствии во взгляде человечества на 'пляску', 'танец', что теперь было бы трудно поднять вопрос о том, правда ли г. *ferqul* 'хоровод', 'пляска', синоним термина *шишраг* и явно происходящий от *ferq* 'нога', возникло в зависимости от 'ноги', хотя у хевсуров доселе говорят так про песню — *vs9qva9 ferqisa* 'споем (песню) хороводной пляски', буквально '(песню) ноги', — что сомнения никакого не может быть о наличии здесь именно 'ноги' — *ferq*, в род. п. *ferq-isa*. Правда ли такой же сванский синоним термина *шишраг*, именно *tišqаш* 'хоровод', 'хороводная пляска', 'песня' возник в зависимости от 'ноги', хотя в нем также имеем бесспорно род. падеж (-аш) славянского слова *tišq* 'нога'? Ведь для этого надо поднять тревогу о том, что 'ноги', как и 'руки', микрокосмические термины,

нареченные также по космической паре терминов и т. д. Куда покойнее, чем пускаться в какие-то «дивинаторские» фантазии, одинаково смущающее и полиглотта болландиста Петерса (Peeters), и лингвиста проф. Мейе (Meillet), и кое-кого из моих действительных или мнимых учеников (этих мирских специалистов особенно), оказаться при своих трезвых взглядах на 'руки' и тем более 'ноги', дабы не свалиться в бездну «неисповедимых» вопросов. Но с более «экзотическим», собственно архаичным не только по составу, но и по общему к нему отношению термином шишраг (арм. *iṣuṣ paḡuṑ*) заведомо из древнего эпоса, да из Свани с седой стариной в живом быту, позволительно поднять вопрос, что слову *paḡ*, равно *paḡ* не мешает ничто быть двойником г. *peḡ* и означать подобно ему 'ногу', тем более не мешает арм. *paḡ*, resp. pl. *tantum paḡ*, быть не только 'кругом', 'хороводом', но и 'сонмом (светил)', и в то же время означать светило 'солнце', и в шишраг по совокупности в первичном восприятии видеть не технику 'пения' или 'пляски кругом' или 'хороводом', тем менее с 'топанием' или 'дрыганием ног', а опять-таки трудмагическое действо и с пением, не только с пляской, в честь 'луны' (шиш) и 'солнца' (*paḡ*); что *paḡ* → *baḡ* → *faḡ* в пределах Армении и Грузии, вообще на яфетическом Кавказе, означало 'солнце', это факт, свидетельствуемый халдскими клинописными текстами Вана, где потому-то имеем бога *Baḡ* 'солнце', это факт, свидетельствуемый палеонтологически его двойником по окающей группе *roḡ* (→ *bor*) → *rgo*, наличным в значении 'неба+солнца' в имени Прометея и т. д., не говоря о десятках нарицательных имен и глаголов, дериватов от него, как 'солнца', предмета культа, или как по солнцу нареченного 'огня'.

Обычно ныне у грузин в общественной речи слово для обозначения 'пляски', 'танца' *ḡekv-a* (аор. *i-ḡekva*) такого же происхождения, ибо основа *ḡekv*, resp. *ḡeku*, составное слово из *ḡe* 'небо', разновидности акающего эквивалента *ḡa* 'небо' и *ku* (*sku*) 'дитя', в целом 'дитя неба', resp. 'солнце' *ḡe* — ← **te-*, без усечения — *tel* или **ter*, сохранившиеся у грузин же: первое в значении 'года' (из полисемантического ряда 'небо' → 'солнце' 'время' → 'год' и т. д.), второе, архетип с армянским однозначным двойником *tir*, налично в перемещенном по грузинской норме *tre* 'круг', деривате также от 'неба'. Из перечисленных и других еще пережитков имени, сигнализовавшего трудмагическое действо, также имеем термины 'говорения' — 'слово', 'речь' и т. п. Достаточно сослаться на разъясненное выше *baḡ* (арм. *baḡ*) и в составе *la+paḡ-ak* 'разговор' равно *zga-paḡ* 'сказка', *paḡ* 'слово', 'речь', не случайно, следовательно, созвучное с культовым термином *paḡ* → *baḡ* 'бог' (← 'небо', resp. 'солнце' и т. п.). Но для

нашей темы актуальное значение имеет элемент с той же осложненностью *go+k* в роли основы глагола *go+k-va* 'плясать'. В древней Грузии и в Армении этот элемент и в значении 'руки', экающие даже в простом виде *ge*, как суффикс, означающий 'способ', 'образ', и в значении космических предметов или явлений с дериватами весьма сильно используется. Когда этот же *gok* встречаем не раз в значении исторического имени в списке первых царей Грузии, то по всей социально-языковедной обстановке мы имеем основание видеть в нем название культового предмета, первично с эпохи космического мировоззрения 'солнце', но для иной ступени стадиального развития и из растительного мира 'дуб' (с желудями), 'дерево', от чего, как пережиток, по семантическому положению «часть по целому» — *gok* 'сук', согласно разъяснению словарей, на самом деле — нечто иное. Так как тот же звуковой комплекс у грузин дифференцировался с эканием — *ge+k* для дериватов от 'руки', напр., *geka* 'ударять' (звонить), 'бить' и т. п., то у них астрально-культовое значение в линии 'неба+солнца' не сохранилось, как у армян и басков, у которых *ge-k* (← **ge-kin*) *ge-g[i]* → *ge-qi* находятся со значением 'солнца', у первых — в составе *a-reg*, у вторых — самостоятельно в *e-qi*, или в других говорах *e-gi* (← **regin*).

При *gok* (↔ *ruk*) и *rek* (← *rek*), первично тотемах, впоследствии культовых предметах, мы имеем от производившейся от них, вместе с 'пляской' и 'пением', также 'игрой' возможность перейти к хорошо знакомым словом «рчь», «річ» и, как мы ожидали бы, «руч» — *guθ* (**guq*, resp. **ruq* → *ruq*). Нет надобности *geθ* считать позднейшим видоизменением вместо «руч», в аналитической транскрипции *guθ*, как мы наблюдаем чередование тех же гласных у русских в словах «рька» и ручей». Разновидности с «ъ» (*e* ← *eu*) и «у» (*u* ← *u*) имеют своих двойников в яфетических языках Кавказа, это св. *geqw* 'он сказал' и древнел. груз. *gqu* а 'он сказал', *gqu* 'скажи', получившееся из *gug* (← **gu-q*) в грузинском, в силу его свойства согласные скоплять в начале слова. Нет, однако, разновидности с аканием в том же значении, т. е. разновидности, основной для той социальной группировки, к которой относится грузинский язык, если не привлечь сюда груз. *a-ga+k* (арм. *a-ga+k*) 'притча', 'поговорка', 'пословица', признав ее соответственно трехэлементным образованием, двухэлементно появляющимся в скрещенном с *spel* термине *a+ga-spel-[i]* 'сказка', 'миф', причем разнотонный по огласовке двойник арм.-груз. слова *aga-k* — м. *a-gi+k-i* 'сказка', перешедший кой-где в имерский говор, восходит к разнотонному же архетипу **a-go+k-i* (вм. **o-go+k-i*).

Наличие элемента *D* в терминах звуковой речи представляет особый интерес по вопросу о роли социальной группировки, первично

не только по модальности оформления, но и по существу материала, по выбору именно этого лингвистического элемента, так называемого рошского племенного названия. Имеет ли использование этого звукового комплекса связь с легендой о появлении русов в историческую эпоху или нет, это дело будущих изысканий историков, способных учитывать перспективы, вскрываемые палеонтологами речи, и готовых вести с ними комплексные изыскания, но пока что мы можем утверждать, что наличие указанного элемента и в русском и в украинском языках никак не может быть разъяснено как изолированный приток в процессе такого позднейшего влияния: это также привнес раньше сложившегося дославянского «племенного» образования, и во всяком случае элемент D увязывает «до-славян» неразрывными узами с яфетическими нардами, ныне и с незапамятных исторических времен пребывающими на Кавказе, равно и с теми языками переходной или промежуточной гибридной системы, и армянским на Востоке, и кельтским ныне лишь на Западе, степень близости не вообще со славянскими, но, в частности, с каждым из них, это ближайшая очередная исследовательская задача, как смеем думать, не для одних яфетидологов.

Элемент D всплывает в хозяйственно-культовых терминах и у русских и у украинцев.

Акающую разновидность того же элемента в значении 'неба' имеем в укр. «рай-дуга», русск. «ра-дуга», эквиваленте чанск. *gun-ḡ* (← **gun-ḡa*, *resp.* **tur-ḡa*) 'радуга', что во всех случаях буквально значит 'свод' или 'арка (оттуда же 'пояс') неба'.

Из многих десятков случаев, в которых используется элемент D для выражения первичных, а затем и позднейших понятий, здесь особо выдвигаю лишь название 'воды' (← 'неба³'), использованное у украинцев и русских в значении 'реки', укр. «річ-ка» (*«руч-ка», ср. р. «ручей») и русск. «ръ-ка» (=rey-ka), а у грузин для образования скрещенного имени *ge q* (← *ḡqal*← -tkal) 'вода+вода', лежащего в основе глагола *ge-ḡq-a* 'стирать'.

Особенно любопытно наличие элемента D в украинском названии свиньи «роха» (отсюда «рох» 'хрюканье'), увязывающее тотемно лексику и с названиями 'неба' и его частей. Не иного происхождения и «рід» (русск. «рождение», «род»), ибо 'рождение' связано палеонтологически с восхождением 'солнца', его появлением; следовательно, это также микрокосмически в связи с отверзанием 'неба' ('дверью') и с появлением 'солнца' ('лица'), 'открытием неба' (ср. у грузин *ḡiskar-i* 'заря' букв. 'неба дверь', *resp.* 'врата') и т. д., откуда же «рїт» (русск. «рот») и т. п. Но интересно в серии слов этого слоя остановиться на случае, когда одно и то же слово, наличное в рус-

ском и украинском, выявляет в них два значения, в каждом из них особое, ныне в свете палеонтологии речи оказывающиеся дериватами одного архетипа, это русск. «рок» 'судьба' и укр. «rik» («року», ср. польск.) 'год', ибо 'год', как вообще 'время', восходит к 'солнцу', вообще к 'небу', как и 'судьба'. Отсюда встреча с одной стороны с названием утренней 'зари' в груз. *giw* (← **giw*)-*ga**w* (← **gaw*) из **gi**w*-*gi**w*, с другой, с именем тотема или позднее божества, наличным в виде *Rok* в именах родных царей, как было сказано, в первых же летописных сказаниях Грузии.

Итак, мы как будто добрались по палеонтологической лесенке от 'свиньи' до 'солнышка', хотя не все ступени этой лестницы прочно закреплены на своих местах.

К какой ступени стадиального развития относятся каждый из семантических рядов, этого мы сейчас не решаем, но, не подлежит никакому сомнению, астральный ряд с 'солнцем' в архетипе еще эллинам на заре жизни суждено было воспринять как мифическое явление. Тем более и тем глубже может в даль времен быть отнесено использование 'неба' (→ 'солнце') в значении 'огня'. И еще от того времени и украинский и русский язык, т. е., говоря реальнее, один слой их состава, имеют общественные связи с яфетидами Кавказа, ныне вскрываемые, между прочим, русск. «палить», укр. «палати». Основа глагола *pal* по палеонтологии речи должна бы означать 'огонь', что доказывается целым рядом лингвистических фактов, так прежде всего в дополнение или развитие уже сказанного тем, что:

1) двойник основы *pal*, по шипящей группе *rig*, сохранился в греческом *πῦρ* 'огонь';

2) разновидность *rog* со стянутыми в начале согласными — *rgo* — означала 'глаз', как использованное микрокосмически слово 'солнце, откуда его значение как предлога *pro* 'пред', сохраненное в виде *bro* (← *rgo*) в значении именно 'глаза' в русск. «бро+в-ь», укр. «бро+ва», «брі+в-ка», буквально 'глаза волос';

3) уже известная нам разновидность того же *pal* с усвоением *r* *vm*. *l* — *par* именно в значения 'солнца' и служит основой брет. глагола *para-t* (диалект *vanetais par-a+t*) 'блистать', 'являться' (говорится особенно о 'солнце'); но раз слово означало 'солнце', оно не могло не быть использовано в значении 'глаза', следовательно было нормальной основой глагола 'видеть', 'смотреть' и т. п., и вот почему тот же бретонский глагол значит в применении к птице '*h'xer sa proie en restant immobile*', т. е. 'упорно *смотреть* на свою добычу, оставаясь неподвижным';

4) однако 'солнце' нарекалось 'небом' *pal*-, как часть по целому, позднее же для обозначения специально 'солнца' использовалась

техника социального строя, именно 'часть неба', следовательно, 'дитя неба', и в *pal-me* мы имеем *pal* 'небо' с *-me* (*ve ʔ be*) 'дитя', что сохранилось с перестановкой гласного в основе имени «пла+ме-н», и вот двойник *pla* по шипящей группе, т. е. *pro*, также находим в сложении с *me*, с пережитком плавного исхода — *meu* → *me* в **pro+me*.

Значение же 'солнца' было присуще и яфетическому термину св. *ger+be-ʔ* или *gor+mo-ʔ*, ч. *ger+me-ʔ*, г. *g+mer-ʔ*, представляющему собой синоним Прометея, двойника по образованию, с заменой элемента *A* (*ger* || *gor*) элементом. В (*pro*) в том же значении и с позднейшим наростом *ʔe* 'дита' (груз. *de*), повторяю, — с позднейшим наростом, так как *me*, пережиток *mer*, означало то же самое, звуча **gor-mer*, *gu-mir*, откуда их уже известные нам разновидности, одни в значении 'героя', другие в роли Библией засвидетельствованного племенного названия, некогда, следовательно, тотема. Нам сейчас нет надобности останавливаться на ряде других разновидностей, все в значении уже тех или иных божеств у различных народов, в числе их у греков с их Гермесом и у приволжских народов с их Кереметом или Киреметом (*Ker+e-me-ʔ* ↔ *Kir+e-me-t*) и т. п. Но не можем не указать на необходимость приобщить к этому же тотему и 'хлеб', унаследовавший по функции наименование 'желудя', которым человечество питалось, изготавливая из него 'муку' и 'печенье'. По вступлении в стадию земледельческой культуры, повлекшей внесение 'хлеба' в круг культовых предметов в увязке как растения и с культом 'солнца-матери' и с культом 'земли-матери', человечество выработало в наследие соответственно увязанную номенклатуру с использованием различных разновидностей того же слова, означавшего 'солнце', для приложения и к 'хлебу', и к 'земле'. В приложении к космическим телам, 'земле', и 'небу', равно к 'солнцу', мы находим одно его переживание в мощной производственно-социальной группировке кимерской [(ш иберской) || кимврской], шумерской, ныне вскрываемой у трех различных этнических образований восточной Европы, это у германцев с их «Himmel» (← *Hi-mel* ↔ *He-mel*) 'небо', у славян с их «землею» (← *ze+mel-e*) и у чувашей с их *xe-vel* 'солнце' (← **ge-mel* ↔ **gi-mel*), что имеет свои особые палеонтологические связи не только у сванов в их усеченной разновидности *gim* (← **gi-mil*) в значении 'земли', но и у грузин в деривате уже от слова 'солнце' также спирантного, как бы сванского типа, как и *g-mer-ʔ*, стянутый или редуцированный вид сванского *ger-me[l]-ʔ* ʔ *ger-be-ʔ* 'бог' [солнце], собственно пережиток его более древнего состояния, без придатка третьего элемента (*C: ʔ* ← *ʔe[n]*), именно *g-mer-*: при конкретном еще значении космического тела — 'солнца', resp. 'неба' = 'земли', это грузинское прилагательное древнелит. *q-mel* 'сухой', народн.

q-nel (ср. чув. *xel* 'солнце' при герм. *himmel* 'небо', русск. *zemel'-e* 'земля' и т. д.).

Но для нас сейчас представляет непосредственный интерес переживание того же термина в применении к 'хлебу', геср. к 'хлебным злакам', в русском и украинском языках. Тот же первичный вид сванского *gerbe-θ*, именно **ker-pel* (← **ker-pel*, ср. в учении у грузин *ker-p* 'идол'), с обычным колебанием плавного *г || л* по социальной звуковой корреспонденции сообразно огласовке трех групп, акающей — русск. «каравай» (*kar+a-vay*) 'хлеб', акающей — русск. «коровай» (*kor+o-vay*) *id.*, укр., русск. «колобок» (*kol+o-b*) 'лепешка круглая формы', русск. «кулебяка» (*kul+e-b*) 'пирог', «коливо» (*kol+i-vo*) 'кутья', по экающей — русск. «хлѣб» ↔ укр. «хліб» (← **kel+e-b* ↔ **kil-i-b*) 'хлеб'. Мы сейчас не гоняемся за констатированием факта, что те же слова в том же первичном двухэлементном их составе (AB), как украинские и русские названия 'хлеба' и 'хлебных печений', сохранились у кавказских яфетидов — абхазов, мегрелов с чанами и грузин в разновидностях той же ([*o* ↔ *u*]-*e* ↔ *i*) или иной ([*o*]-*a*) социальной огласовки также в значении 'пшеницы', 'хлеба', 'колобка'. Таковы слова, исходя из идеологической датировки:

а) во-первых, *k-var* у абхазов в удвоении *a-ka+kar* 'хлеб' (*жертвенный*), у мегрелов *k+var-i* 'колобок', 'хлебец' 'лепешка', в частности 'культовая', св. *kvar* (тавр. говор) 'хлебец' (кукурузный, хлебный), сюда же *kwaš* (лахам., реже *kwaš-il*, уменьш. обычно) 'кукурузный хлебец' (казалось бы, разновидность по перебою *г ш → ж д* слова *kvar*, но при лашхском диалекте *kwa+ші* ← **kvar-шіп* и в *kwaš* исходный звук *ш* может быть пережитком нарощего в лашхском элементе *С*), св. *kver-ol* (халд. говор) 'маленький хлебец', обыкновенно выпекаемый для детей, все равно из кукурузы или другого хлебного злака, уменьшительная форма (*-ol*) от *kver*, долженствовавшего означать 'хлеб', но сохранившегося у грузин в значении 'колобка', 'выпекаемой в золе круглой лепешки', раньше, несомненно, имевшей значение 'жертвенного хлеба' (вообще 'хлеба'), как видно из того, что слово попало в христианскую культовую терминологию в виде *sefis-kver-i* 'просфоры', буквально 'господний (*sefe* 'боярское дитя') хлеб';

б) во-вторых, с большим формальным архаизмом — г. *qor-bal* 'пшеница', м. *qo-bal-i* 'пшеница', 'пшеничный хлеб', ч. *qo-val-i* 'хлеб' и др.

И здесь с 'хлебом' *qobal* ↔ **qubal* не случайно созвучен термин, представляющий разновидность его названия с падением заднеязычного *q* и передвижением губного *b* на следующую ступень озвонченности — *ф* : *u-фал* 'господь' (← 'бог'), предмет культа — космически

(тотем) → 'бог', 'солнце', хозяйственно (тотем) → 'бог', 'хлеб', выросший из производства.

Архетип полной формы qorbal *kocmal, resp. при выдержанной губной огласовке *kog-mol, наличный с усечением плавного в культовом термине народа с языком шипящей группы — ч. gor+mo-θ 'бог', в линии культовых же слов нас доводит до кельтов (*korm → krom 'бог', ирл. koymh-dhe) и в связи с обозначением 'хлебного злака' пережил в значении общего понятия: это укр., русск. «корм[ъ]» *kog-mo.

Первая группа разновидностей, формально — продуктов позднейших эпох, также увязана с культом, как то явствует не только из присущего им, как печениям, культового значения, но и из того, что у сванов в говорах ушкульском, ипарском (халд., мулахск. kwagī, лашхск. kwagaу означает по сей день также 'быка с белым пятном на лбу', то же, что tab ξсдо у 'меченый, со знаком'), тр 'корова с белым пятном на лбу', хл, ип, м ξсдо, тх ξсδс, шх ξсδсе, равно пішав), первоначально kwar, resp. tab (равно піш), сигнализировало 'знак', 'метку', 'тотем'.

И как в ряде перечисленных русских и украинских терминов только при укр. «колива» у русских выплывает скифский вклад, это «кутья» (← *sku-t), имеющий связи и в таких культовых терминах, как «кудесник» (ku+de-su), «чудо» (sku-t), так на Кавказе скифский эквивалент, наличный с той же губной огласовкой в чанском tku-d [←*tkod] м. tkэ-d, мерп., чан. tki-d со значением 'маиса', в спирализованном как русская разновидность ku-t, именно gu-θa, представляет народный грузинский эквивалент древнелитературного термина g-meг-θ, своим архетипом *gu-θan неразрывно увязанный с таким первостепенной важности земледельческим орудием, как 'плуг', по-грузински звучащий gu-θan. С обоими последними терминами мы проникаем в подосновы хозяйственной и культовой речевой культуры и других соседящих с яфетическим населением Кавказа народов. Но мы отсекаем сближения слов, напрашивающиеся к учету как нарочно изготовленные препараты.

Наша задача не разрабатывать, а сигнализировать, дать тревожный знак не по одному данному термину, лишь иллюстрирующему общее положение, что пора прекратить всякие генетические искания работой над одними индоевропейскими материалами, да еще формальным методом, что нельзя отселе ни шагу сделать без палеонтологии речи, как она установлена новым учением об языке, и без учета фактов из языков яфетической системы.

Нужно ли оговариваться, что при яфетидологическом подходе постановка вопроса об украинском языке не может быть иной, чем

о любой другой звуковой речи, великодержавного ли она народа с культурными достижениями мирового значения или эксплуатировавшейся народности, следовательно, отсталой по буржуазному просвещению или вовсе к нему непричастной. Как в других случаях, вопрос ставится в первую очередь о месте украинского языка в мировой глоттогонии. Только при соответственном учете фактов украинского языка в целокупности, именно не только тех, что при первой встрече манят своей схожестью, но и тех, которые смущают своими расхождениями, можно надеяться на правильную оценку близости украинского языка к русскому и его так называемого родства вообще со славянскими и неславянскими, в числе их и яфетическими.

И под несхожими формально явлениями идеологический анализ, в словах так же, как в морфологии, палеонтологически разъясняемая семантика вскрывает так называемое родство, собственно факт социального схождения не всего, разумеется, языка, в данном случае украинского, а его того или иного слоя, вклада определенной, разумеется, более древней производственно-общественной группировки на соответственно ранней ступени стадиального развития. Так, например, глагол укр. «штук-ат-и» и русск. «иск-ать» было бы безнадежно сводить к одному источнику, между тем оба они образованы согласно торжественному мышлению, по которому глагол 'искать' производился от 'руки': первично искание предоставлялось так, как если бы 'шарили руками' в поисках чего-либо. Это установлено палеонтологией речи как общее явление, и украинскому и русскому материалам так же не обойтись без тех же норм, как и французскому языку с его «chercher». Единство идеологической нормы, однако, ничего не говорит само по себе в пользу родства украинского глагола с русским: основа в них обоих значит 'руку', но тогда как в украинском ши—k мы имеем скрещенное образование из двух элементов AC, как во французском «cher+ch-er», ит. «cer+c-are», в русск. is-k is-t уже иная группировка элементов, именно DA с утратой плавного г в начале слова, как в баскском, сохранившем двойник той же основы самостоятельно в роли имени ешки 'рука'. Можно бы думать, что вторая часть представляет элемент C, а не A, если бы не наличие того же двухэлементного русского слова полностью в основе термина «ис+кус-ство», в архетипе означавшего, следовательно, 'ремесло', как бы 'рук[одей]ство'. Первую часть этого скрещенного образования is— ↔ es-, resp. rīs— ↔ res-, в спирализованном виде re-(← *reh-), русский же язык сохранил в скрещении с элементом B в основе однозначного «ре+мес-ло». В трактовке начального плавного г мы получаем нить для выслеживания двух различных произ-

водственно-социальных группировок, отлившихся в русское национальное образование каждая с своей речью.

Сейчас мы отводим вопрос о том, как получили его украинский и русский языки, располагая одинаково этим словом? Получили ли друг через друга или непосредственно в процессе независимо скрещения с указанной производственно-общественной группировкой? Вопрос связан с историей наличия в этих языках таких слов с этим же элементом D, как «рѣ-ка», «ру=чей», «ру-ка», «ро-к», укр. «рі-к» 'год', «рѣ-чь», укр. «річ» и. т. д.

Существование рядом с 'рукой', что в оформлении губной огласовки экающего эквивалента в восточной Европе документируется его семантическим дериватом — 'ножом', лежащим в основе русск. глагола «рѣ+з-ать» ↔ укр. «ри+з-ати», а на Западе спирантизованным пережитком кельтского глагола 'давать', среднев. брет. неопр. «gei-f», пов. «rey-t».

В привлекаемых прометеидских эквивалентах выступает двух-элементное образование, за исключением отчасти бретонского; так и в украинском «шу+к-ати», первая, ныне основная, часть которого ши, воспроизводя в точности шумерское слово с тем же значением 'рука', вместе с ним находит полному своего вида в шиг ['рука'], основе грузинского глагола шг-с+ma (← шгw-o+ma ← шwg-o+ma) 'трудиться', н. v-shvrt+ed-i 'тружусь', народн. 'делаю'.

Само ши [← шуу шиг] 'рука' требует восстановления факта, что существовало это же слово со значением 'солнца' (← 'неба'), и это, действительно, подтверждается его пережитком у мариев в виде шиу→ші со значением 'серебра', равно комийским словом шунд 'солнце', уже техническим построением по типу 'неба (ши-n) дитя (d)'. Более того, ши (↔ шо), архетип шиг ↔ шог, с переоформлением согласных по свистящей группе — sol, переживает со значением 'руки' в терминологии по этому члену тела, и в то же время у украинцев и у русских он сохранил космическое значение в составном sol+u-9e 'солнце', буквально 'неба дитя'. Идеологическое же оправдание своего космического значения ('солнце' ← 'небо') sol, resp. шиг ↔ ши 'рука', находит в семантическом пучке 'рука'+ 'женщина'+ 'вода' ('небо').

Но на этом же кончается увязка украинского и русского с грузинским благодаря тому же имени в полном виде шиг, ибо непочато появляющийся здесь в оформлении шипящей группы элемент A, в подъеме шипящего в аффрикат (ш ʔ t) с утратой аффрикатности (t → t) и с перестановкой (tur→) tru ↔ tro, служит в скрещении с элементом C основой двух глаголов одинаково происходящих от 'руки', один из них русск. «тру+д-иться», укр. «труд+д-итися», другой — русск. «тро+г-ать».

Как на Западе, так и на Востоке та же основа имеет двойников не только от уже дифференцированного впоследствии значения 'руки', но и выражавшегося им же слова 'нога', что можно наблюдать в основе грузинского глагола ზრ+გუნ-а (ზ* ზურ+გუნ-) 'он поправил его', у древних грузин и самостоятельно в форме pl. tantum со значением 'ног', у бретонцев средневековых tro-at 'нога' (мн. ч. treyt) и т. п.

Мы уже подошли к моменту, чтобы указанную постановку вопроса об украинском языке с разысканием его места в мировой глоттогонии наметить с перспективой современного этапа в развитии яфетической теории, именно этапа, на котором разъясняется и должна получить свое разрешение и научное оформление проблема о стадийном развитии звуковой речи и ступенях ее развития. Пока речь идет об эксплуатируемых активностью человеческого коллектива предметах, животные ли это из хозяйственного инвентаря или производительные силы природы, следить за яфетидологической мыслью нетрудно. Наоборот, было бы трудно кому бы то ни было без риска быть заподозренным в явной неосведомленности по истории материальной культуры оспаривать, что 'собака' предшествовала 'лошади' в отправлении обязанностей животного передвижения, и до появления 'лошади' в хозяйственном обиходе не могло быть и не было слова для ее обозначения, как до появления хлебных злаков и смены ими желудей не было слов для обозначения 'ячменя', 'пшеницы' и вообще 'хлеба' и т. п. С появлением же соответственных слов, вернее — при соответственном функциональном развитии их значений (ибо слова не сочинялись новые, а лишь получали новое название), в таких случаях ступени стадийного развития не менялись ни в хозяйстве, ни в мышлении. Казалось бы, происходило лишь эволюционное видоизменение стабилизированного положения вещей и стабилизированного восприятия их и отвлеченной ассоциации по материальному их виду или материально наглядной их функции.

Другое дело, когда производством переводилось хозяйство с использования готовых даров природы на обработанные из них продукты с техникой, перестраивавшей мышление и с ним по реакции и строй речи. Вместо словопроизводства по увязке самих предметов в представлении первобытного человека на очередь выступало словотворчество по техническому восприятию предмета или явления, как то мы наблюдаем, например, в таких словах, как укр. «сліза» 'вода глаза' и вообще громадное количество слов, произведенных от 'руки'.

Однако смена значений по функции сигнализируемых предметов также не такой простой процесс, как может казаться.

Звуковая речь не располагала на первых этапах таким изолиро-

ванным и самостоятельно развивавшимся свободным бытием, она не представляла столь определенной обслуживающей лишь общее людей категории. Получение новых слов, т. е. наречение новых предметов хотя бы и старыми словами, представляло акт не словесный лишь, а производственно-магический и общественный, зависевший от дотоле сложившегося мировоззрения. Сама речь была частью производства, магическо-теоретическим его обоснованием. Вовлечение в хозяйство хлебных злаков взамен желудей воспринималось не просто с точки зрения смены одного растительного вида другим, а как акт, восходящий к научно еще не разгаданной творческой силе природы, собственно определенному конкретно зримому ее выявлению в целом или в части, как то 'небу', 'солнцу' и т. п. Следовательно, не название 'дуба', гесп. 'желудей', переходило на 'ячмень', впоследствии на 'пшеницу', как мы то воспринимаем, а названию 'неба—природы', его частей, так 'солнца', одновременно к их магически воспринимавшейся силе приобщался новый предмет питания в представлении современного творившего язык человеческого коллектива. Отсюда тот факт, что за общим отвлеченным названием 'бог' палеонтологией речи вскрывается ряд сменных его использований в наречении или в сигнализации хозяйственных предметов, в частности питательных веществ, и при такой перспективе совершенно не случайно и созвучие украинского названия 'зернового хлеба' — «з+біж-жя» с культовым термином «біг» («бог»), род. «бога», прилагат. «божий», как не случайно созвучие названия обычного украинского культового термина «біг», русск. «бо-г», в архетипе bog-g ('бес' в основе груз. bog+g-va 'бесноваться'), с нем. bro-d 'хлеб', Излишек z-в изолированно стоящей теперь основе z+bi-j (\leftrightarrow *z+bej *z+bo-j) — пережиток элемента А, в общей сложности представляющий культовый термин, следовательно некогда тотем, двойник соответственно производственно-социальной группировки, порой и так называемого племенного названия s+mer-d, спирантная разновидность которого g-mer-ʒ у грузин сохранилась в значении 'бога'.

Об исконных связях и украинцев, и русских, собственно, одного общего их слоя, с Кавказом можно судить по общности надстроечного термина, успевшего за время отхода от яфетической ступени стадияльного развития разлучиться в новой сложившейся системе с присущим ему первичным материальным значением. Речь о слове «правда». Этот надстроечный термин имеет двоякую филиацию в зависимости от тех двух восприятий его значения, решимся быть последовательными и точными — от тех двух существенно различных значений, которые ему присущи. Одно значение, синонимное с

‘правом’, ‘законом’, восходит к семантическому архетипу ‘рука’ (→ ‘сила’ → ‘право’, в частности ‘правая рука’ и т. п.), другое значение — ‘истина’, это непосредственный дериват ‘солнца’. Попутно отметим, что двусмысленность слова «правда», это пережиток полисемантизма, характеризующего русский язык, как стоящий на более архаичной ступени развития, чем другие прометеидские языки, не исключая и украинского, если и в нем ‘правда’ не имеет значения также ‘права’. Заслуживает внимания и то, что ‘правда’ в так называемых индоевропейских, т. е. прометеидских, языках отсутствует как общее слово, оно в них также, конечно, позднее стяжание, и если не считаться с заимствованием латинского *veritas* в романских языках (*verita*, *verite*) и английском (*verity*), при немецком *Wahrheit*, в английском имеем *tru-th*, прилаг. *true* и в греческом *αληθῆ*. В армянском позднейшим технически скроенным *təšmarit* (г. *tešmarit* ‘истинный’, иранского происхождения) занесен подлинный родной термин *ardī* ‘действительный’ (обычно в твор. падеже мн. ч. *ardeaw+q*), дериват халдского божества солнца *Ardim*, и имя состояния от *təšmarit* и служит для обозначения ‘истины’ — *təšmart-u+šiwṇ*, как в грузинском прил. *tešmarit* и сущ. *tešmarit-e+ba* ‘истина’.

Что же касается украинского и русского, то в них пара, одна и та же в обоих — «истина» (укр. «істина») и «правда», оба одинаково восходящие к семантическому архетипу ‘солнце’. Из них история термина «истина» разъясняется в работе «Родной язык — могучий рычаг культурного подъема». Здесь ограничимся указанием, что этим термином русский и украинский увязываются и с северным ныне миром чувашей и восточных финнов, и южным — кавказским яфетидов. Что касается термина «правда», трехэлементного образования по оформлению акающей группы *pra-v-da*, то это эквивалент сохраненного греками имени кавказского или скифо-кавказского мифического героя, уже получившего свое истолкование в смысле ‘солнца’, речь о носителе имени *Pro+me-še* (Προμηθεύς), буквально означающего ‘дитя неба’, ‘солнце’, ‘солнышко’.

Выдержанный по огласовке окающий эквивалент, но лишь двухэлементный (BD), и тот усеченный *pro+b*, наличный в основе лат. *probus* ‘честный’ (← ‘*блестящий’), ‘хороший’ тянет в Средиземноморье на Западе, а с такой же выдержкой аkania эквивалент, также лишь из двух элементов, но иного подбора (AC), нас приводит к позднему историческому Кавказу с его реликтовым яфетическим миром, где в именах национальных героев армянского *Var+dan* и грузинского *Vaq+tan-g* мы имеем свидетельство мифически пережившего не то еще ‘бога’, не то уже ‘героя’ Прометея-солнца, в имени которого элемент *C-še* ‘дитя’ — вырос на однозначный эле-

мент В те, как в украинско-русском пра-v+da этот же элемент С да на элемент В—v, но не вытеснил его целиком, как то наблюдаем в именах арм. Var-dan, груз. Vaq+tan-g, причем сравнительно раньше использованный в армянской литературе народный эпос при Вардане-Солнце сохранил его эпитет ognans 'красный' (karmir), обеспечивая нам, таким образом, основание Vardan Karmir в целом перевести 'Красным Солнышком'.

Что же? Это все нам позволено строить лишь в мире отверженных европейской наукой яфетидов? По погребальному ритуалу — да; ибо, когда речь о 'Владимире Красном Солнышке', да о Глебе и Борисе мы должны замолкнуть, поскольку здесь все разъяснено и историками, и археологами, и этнологами, и лингвистами покойной памяти старого учения, давно совершена тризна по мифологическому истолкованию легендарных имен. Не возвращаться же к ним в самом деле, когда после яфетидологической трактовки «Книжная легенда об основании Киева на Руси и Куара в Армении» в публикации авторитетнейшей коллегии по близости предмета к ее сердцу, интереснейшее по фактическим данным и ими вызываемым соображениям исследование о строителях того же Киева—Ки́и, Ще́ке и Хориве, да их сестре Лыбеди, автора оставляют в полной растерянности перед мифом обращения 'женщины' в 'воду', resp. 'реку', а 'воды' ('неба³'), следовательно, и 'женщины', в 'птицу' ('небо¹'). Почему же? А потому, что нельзя объяснить переход «и» в «е» в слове «Либедь». Не правда ли, невероятно?!.. Мы не будем отвечать автору, обошедшему гробовым молчанием первый исследовательский опыт по вопросу в путях нового учения об языке (беды в этом не видим), наоборот, процитируем его слова досконально, в назидание неверующих Фом: «Метаморфоза Лібеди в Лебедь, рікі, згл. дівчини у птаху, має своє джерело у людській етимології, бо наукова етимологія не дозволяє виводити Либ— і Леб— з того самого языкового джерела».

Ясно, что нам в самом деле ничего не остается, как прервать наши бабушкины сказки о Свинье Красном Солнышке в ожидании более зрелой аудитории. Но придет ли она? Конечно, да, однако, едва ли из академических Назаретов; только бы терпения. Предполагаемый «создатель» яфетической теории почти полстолетия ждал, а человечество по большому великодушию, да основательно уверенное в большей длительности своего существования может спокойно ждать еще сотню лет. Торопиться некуда, спешить незачем. Яфетическая теория со всем ее страшилищем, новым учением об языке, не зверь, в лес не убежит.

И. И. Мещанинов

НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ. СТАДИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ

«Яфетическое языкознание отнюдь не вылетело подобно Афине-Палладе из головы Зевса: оно родилось в той же буржуазно сложенной и скроенной научной среде, более того — зачалось, разумеется, как антитеза, в нормах индо-европейской лингвистики, без которой его и не было бы». Так писал сам Н. Я. Марр еще в 1926 г. в предисловии к «Классифицированному перечню печатных работ по яфетидологии», и эта характеристика с исчерпывающей ясностью определяет взаимоотношения между новым учением о языке и основными положениями индо-европейской школы лингвистов, дает ключ к пониманию этапов становления нового лингвистического направления.

I. Новое учение о языке и этапы его развития

Основы индо-европеистики, на почве которыхросло, отделяясь от них, лингвистическое учение акад. Марра, еще долго сдерживало проводимую методологическую перестройку, шаг за шагом изживаясь в своих еще тяготеющих устоях. Сам Н. Я. Марр, в том же предисловии, не только не отрицает того, что яфетидология зародилась в недрах индо-европейского языкознания, но указывает также на значительность влияния его на последующий ход развития им укрепляемой лингвистической теории, влияния, от которого яфетидология «с трудом высвобождается последние годы».

Так оценивал сам Н. Я. Марр ход своих собственных работ, и такое признание сделано им даже два года спустя после того решительного сдвига 1924—1925 гг., который им же признается за «коренной переворот в новой языковедной теории».

Перестраиваясь на материалистическое языкознание, яфетидология последнее десятилетие жизни великого ее основателя пережила не один этап своего развития и настолько углубилась в своей основной постановке уже общего учения о языке, что старые связи ее с господствующей языковедною школою потребовали значительной своей переоценки. В 1934 г., вернувшись из лингвистической поездки в восточное Средиземноморье, в Турцию и Грецию, Н. Я. Марр уже мог уверенно констатировать «неузнаваемость теории», твердо проводящей заложенные в ней начала.

Решительный сдвиг в основной концепции Н. Я. Марра произо-

шел, конечно, лишь после 1924 г., выдвинувшего резкое противоположение в самой яфетидологии до этого года и после него. До указанной даты яфетидологию можно было бы назвать даже диссидентским течением в той же индо-европеистике, возражавшим против ее положений, но в то же время без радикального с нею разрыва. Но и после этого разрыва, когда диссидентское направление обращается в самостоятельную школу и когда тем самым открылись широкие горизонты языковедения, все же от сохраняющихся пережитков индо-европеизма Н. Я. Марр освобождается не сразу и продолжает бороться с ними внутри своей же лингвистической концепции вплоть до 1930—1931 гг., когда новым поворотом в яфетидологии обострился упор на проблему языка и мышления.

Воспитанный в традициях индо-европейской школы, Н. Я. Марр в свои студенческие годы был еще индо-европеистом филологом. Но и здесь, уже на заре своей научной деятельности, новатор языковедения оказался настойчивым проводником своих независимых взглядов. Оставаясь в рамках воспитавшей его школы, он в то же время не мирился с ее суженным формализмом и уже закладывал взрывчатый элемент, приведший его самого к разрыву с лингвистическим окружением, на почве которого он же и рос для последующего его же решительного опровержения. Но, с другой стороны, лингвистическая концепция, против которой возражал молодой тогда еще ученый, сдерживала его наступательные порывы, и обостряющаяся критика его была по отдельным деталям господствующего лингвистического направления, не подрывая самих его устоев. Нанося тем самым внушительные удары по различным укоренившимся построениям, Н. Я. Марр в то же время в своих итогах неизменно возвращался к старой основной схеме, от которой он решительно отказаться тогда еще не мог. Рамки старого учения как бы оставались в его же руках еще незыблемыми при проводимой им же коренной перестройке внутри их. И как бы ни противоречили заключения Марра основной тематике индо-европеизма, все же весь период его исключительно плодотворного творчества, начиная с первой его печатной работы 1888 г. и до 1924 г., когда впервые выдвинута была проблема стадиальности, представлял собой ряд сменяющихся этапов по существу еще языковедческого направления, окончательно не порвавшего со старою лингвистическою школою.

Изучение арабского, грузинского и затем армянского языков, воспринимавшихся и самим Н. Я. Марром как языки различных семей, семитической, кавказской и индо-европейской, привело его к установлению родственных связей между ними. Это утверждение, сделанное еще в 1888 г. в статье «Природа и особенности грузинского

языка», в корне противоречило принципу изолированности языковых семей, одному из основных устоев индо-европейского языкознания. Все же выдвинутое им противоречие само собою замкнулось в то же изолирующее языковое построение и фактически привело только к отведению родственных связей в более отдаленное языковое прошлое с расширением самозамкнутых языковых ячеек, остающихся при всей их расширенности все же в тех же расширенно-суженных рамках межязыковой изоляции. В итоге сам же Н. Я. Марр примиряет высказанную им мысль подчинением ее основной концепции языкового сепаратизма. «Повидимому, - говорится в той же заметке, - грузинский язык происходит из одного праязыка, столь же почти походившего на семитические языки, как семитические похожи друг на друга».

И позднее, через двадцать лет, издавая в 1908 г. «Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитическими», Н. Я. Марр повторяет общие построения той же схемы лишь в несколько видоизмененной форме. Н. Я. Марр избегает термина «семья», говоря о семитической и яфетической ветвях, но отнюдь не возражает против основного построения о языковом родстве. По его словам, «грузинский с семитическими находятся в отношениях двоюродных братьев, детей родных братьев, то есть прасемитического и праяфетического языков». Более того, Н. Я. Марр и в 1908 г. не отрывается еще и от праязыковой схемы. Он признает, что «семитические языки, как и яфетические, сами по себе суть обособившиеся части, ветви, одной семьи: семитическая ветвь с яфетическою лишь вместе составляют одну лингвистическую семью, для которой название еще должно быть установлено, если не пожелаем для последовательности именовать ее «ноэтической», продолжая опираться на библейскую терминологию, откуда взяты термины семитический и яфетический». Таким образом, не только не опровергается основа индо-европейской классификации по принципу ее построения, но не избегается еще и ее же терминология с присущим ей содержанием используемых терминов. Так, отстраняя в одних случаях термин «семья», Н. Я. Марр отказывается от его применения только по отношению к более мелким языковым группировкам, вовсе не опротестовывая лингвистической обособленности самого деления по семьям.

С 1910 г. начинается, по утверждению самого Н. Я. Марра, второй этап в развитии яфетического языкознания. Возникает интерес к живой речи привлечением бесписьменных языков Кавказа. Усиливается также и интерес в сторону мертвых клинописных языков, в первую очередь, к новоэламскому (мидийскому) и халдскому. Все

же и тут расширяющиеся горизонты еще замкнуты старою языковою схемою, и в частности та же праязыковая группировка вновь конкретизируется в изданной в 1910 г. грамматике чанского (лазского) языка. Здесь дается та же генеалогическая таблица с ноэтической семьею в основе и с ее тремя ветвями: семитической, яфетической и хамитической. Так, нарушая и даже разрушая праязыковую схему, Н. Я. Марр в то же время ее же и восстанавливает, сохраняя в основе всех яфетидологических исследований старый сравнительный метод.

Давая такую характеристику работам этого периода, в значительной степени опираясь на оценку его самим же Н. Я. Марром, в то же время ни в коем случае нельзя оставить без внимания целый ряд положений, кардинально продвигающих вперед растущее новое в языкознании направление. При господствующем еще сравнительном подходе яфетидология уже расширяет охват языков, устанавливая яфетические материалы, поглощенные не-яфетическими языками. Особое значение в этом направлении сыграли армянские языки, давшие основание начавшейся в 1911 г. целой серии «Яфетические элементы в языках Армении». Углубляя изучение армянских языков, Н. Я. Марр приходит к выводу, что укрепившееся в научной литературе мнение об индо-европейской принадлежности этих языков, рассматриваемых к тому же как единый армянский язык, неправильно. Н. Я. Марр в целом ряде работ устанавливает, что армянские языки оказываются в одинаковой степени и индо-европейскими и кавказскими-яфетическими, что они представляют собою результат скрещения.

Выдвинутое Н. Я. Марром положение о языковом скрещении уже ведет к установлению исторического фактора развития речи, но, с другой стороны, оставаясь попрежнему замкнутым рамками сравнительного анализа, оно не дает свободного выхода в историзм и не заменяет еще сравнительного метода палеонтологическим. В зависимости от этого под скрещением понимается им длительное влияние раздельно существующих языков друг на друга, сближение их, ведущее к заимствованиям и частично переходящее к слиянию языков. Отсюда Н. Я. Марр делает общий вывод весьма существенного значения для всей своей последующей работы, а именно вывод о том, что чистых вообще языков вовсе не существует и что все языки мира являются продуктом скрещения.

Разрабатывая данную проблему, Н. Я. Марр использовал расширенную языковую базу, имея в своем распоряжении уже привлеченные к изучению горские бесписьменные языки. В их лексике и грамматическом строе он встретился со значительными архаизмами, вовсе не наблюдаемыми в таком четком их выявлении в более

исследованной живой и мертвой грузинской речи. Наблюдаемые архаизмы усилили историческую перспективу и обратили внимание на исчезнувшие языки древнего Востока, в первую очередь на переднеазиатские того же кавказского круга, но хронологически более отдаленные. В этих языках могли оказаться основы возникших позднее языков Кавказа. Но и тут сравнительный формальный анализ не мог дать еще той широко развернутой картины, каковая представилась позднее с использованием материалов тех же языков для построения стадиальной схемы.

Сам Н. Я. Марр не отрицает того, что к памятникам древней клинописи он обратился в поисках большей сохранности и большей полноты недостающих звеньев в современных яфетических языках. Он думал найти их в этих умерших языках потому, что датировка спускает их в первое тысячелетие до нашей эры, что не достигается умершими языками Армении и Грузии. Впрочем цельных элементов яфетической речи он не нашел и здесь, вынужденный констатировать в результате своих работ над новоэламским языком, что «для яфетических языков новый период, период разложения, наступил за тысячелетия» до начала нового летоисчисления.

Таким образом и здесь сравнительный метод привел к сравнительной хронологии. Древность языка влекла к себе за поисками в нем большей сохранности и большей полноты недостающих звеньев. Между тем материал показал нарушенность языкового строя и даже более того: привел исследователя к выводу, что не только новоэламский и халдский, но и веками более от них отдаленный шумерский язык 3-го тысячелетия до нашей эры не является носителем таких архаичных форм, какие прослеживаются в современных нам горских языках Кавказа.

В этот период своих работ, после 1910 г., Н. Я. Марр еще не уточнил своих позднее высказанных положений, сводящихся к прослеживанию языкового развития по стадиальной хронологии. Не было выдвинуто также и положение о связях языковой структуры с развитием социального строя. Поэтому все уже накопленное языковое богатство выдвинуло лишь проблему сравнительной типологии и сравнительных грамматик, вовсе не ставя на очередь вопроса о причинах расхождения горских яфетических языков, в значительной еще степени сохранивших пережитки родового строя, с языком уже феодального Шумера.

Все же отход от основных позиций индо-европеизма в значительной степени усиливается. Расширение охвата изучаемых языков, прослеживание проникновения яфетических элементов в неяфетическую речь, вынуждают отказаться от слишком формального построения

семито-яфетидо-хамитских связей. Такая связь улавливается и с другими языковыми семьями, что ведет к ломке своих же собственных построений. Вместо праязыка-или, вернее, параллельно ему-выдвигается яфетический слой, проникающий путем скрещения в чужеродную языковую среду. На очередь тем самым выдвигается яфетический языковый субстрат и яфетический носитель речи, к схеме же нозтической семьи Н. Я. Марр более не возвращается.

Значительным поводом к выходу из замкнутой языковой изоляции послужили и археологические работы Н. Я. Марра, непосредственно следовавшие за его филологическими изысканиями. Издавая памятники закавказского средневековья, он все больше и больше приближался к исторической проблематике, что неминуемо сказывалось и на лингвистической работе. Тем самым, еще в границах кавказоведческих интересов, Н. Я. Марр уже обращался в историка-лингвиста, изучающего лингвистическое окружение не на одном только лингвистическом материале. Углубляясь в изучение древнеармянского и древнегрузинского языков и продолжая публикацию письменных памятников средневековья, Н. Я. Марр приступает к исследованию «до-исторической» археологии Закавказья (раскопки Ворнака и др. в 1893 г.), а затем и древней феодальной столицы Армении Ани (до 1917 г.). Обратившись к анализу переднеазиатской клинописи, он же в 1916 г. организует археологическую экспедицию к озеру Вану и проводит археологические раскопки в бывшей столице Халдского царства. Он же открывает в Тифлисе Историко-археологический институт, оставаясь его бессменным директором, реорганизует в Ленинграде Археологическую комиссию и становится во главе Академии истории материальной культуры.

И все же Н. Я. Марр остается лингвистом по своей основной специальности. Более того, языкознание выдвигается на первое место, оттесняя прежний преобладающий интерес к филологии. И именно благодаря этому археология обогащается историческим светом со стороны проводимого языкового анализа, последний же выводит лингвистику из ее замкнутых границ, обеспечивая исключительный рост языковедной дисциплины, переводимой на историческую почву.

Около 1920 г. происходит новый поворот в яфетической теории, обусловленный притоком свежего материала. Еще в 1916 т. внимание Н. Я. Марра обращается на вершикский язык Памира. Оторванность его от географических границ Кавказа и в то же время структурная близость его к яфетической речи последнего ставят на очередь задание поисков яфетических языков за пределами кавказского междуморья. Тем самым внимание обращается на этрусский и баскский

языки Западной Европы, вместе с которыми начинаются поиски экспансии яфетической речи сначала по Средиземноморью, а затем и по всему Евразийскому материку. На этот раз выдвигается вперед историзм языковой схемы, оттесняющий сравнительный метод и заменяющий его историческим к языку подходом палеонтологии.

В корне меняется прежняя научная постановка, заменяемая упором на исторический анализ языковой формы, вместе с чем мощно и ярко выделяется палеонтологическое исследование, приведшее вскоре же к новому, еще более решительному сдвигу.

В 1920 г. появляется в печати капитальная для своего времени работа «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидаании средиземноморской культуры». Ею свидетельствуется решительный сдвиг в яфетидологии. Этот сдвиг признается и самим Н. Я. Марром настолько резко-новым, что он советует «начинающему заниматься новым лингвистическим учением в работы до названного «Третьего этнического элемента» лучше не заглядывать до поры, до времени, поскольку интерес сосредоточен на теоретической стороне». «Многие вопросы с тех пор настолько, по словам Н. Я. Марра,— изменились и в освещении, более того—в самой постановке, что объяснения даются диаметрально противоположные».

Основную характерную чертою данного этапа яфетидологии является упомянутый выше палеонтологический анализ. Но и этот анализ, противопоставляемый своим историзмом менее подвижной схеме сравнительного формализма, сам на первых порах подчинился тем же концепциям старого языкознания, против которых он же выдвигался как взрывчатый элемент. В результате новое построение оказалось жизненным только на весьма ограниченный срок, взламываемое само своими же собственными выводами.

«Яфетический Кавказ» не отказался от праязыковой схемы и всю сложность выдвинутой проблематики о причинах многоместного выявления яфетической речи подвел под единый центр и под единый этнос, под «третий этнический элемент». На самом деле, как объяснить разрозненные и раскинутые по материку ячейки яфетической речи? Н. Я. Марр не стоял еще тогда на проблеме стадильности и разворачиваемую богатейшую перспективу замкнул в Кавказский центр. Из этого центра вели два пути: «один морской, южный, через Малую Азию и острова Средиземного моря и полуострова, другой—северный, материковый, по северному побережью Черного моря и югу Европы с вторжением на полуострова или со встречным выходом в Эгейское море и на Архипелаг. Этрусское племя шло... обоими путями. Этрусков было два народа: с юга Ванского бассейна рушский, он же собственно этрусский народ совершил, пройдя Малую

Азию со стоянкой в Лидии, морской путь, со стоянками на островах, и кончил свое переселенческое движение на Апеннинском полуострове... Северный расенский народ того же племени, двинувшись с берегов Аракса на север, имел долгую стоянку на северном Кавказе, где от него остались до наших дней лезгины... Расы на севере Кавказа расслоились в две народности-пеласгов и расенов. Пеласги оседают на Балканском полуострове... Расены влились в Апеннинский полуостров, где они смешались с этрусками... Баски из того же Ванского района Армянского плоскогорья имеют стоянку на Аракской долине... чтобы очутиться в конце концов на Пиренейском полуострове в соседстве с теми же иберами, или иверами, с которыми они соседнили и на Востоке, сначала в Малой Азии и на юге Армении и впоследствии на Кавказе».

В итоге и баски, и иберы Испании, также как этруски Италии и пеласги Греции, все они оказались выходцами из того же Араратского окружения и разветвлениями того же пранарода, характеризующегося как носитель металлургической культуры. И хотя Н. Я. Марр называет их продвижение «эпохой не великого переселения народов, а великого расселения яфетического племени», все же господства миграционного построения в приведенных строках отрицать не приходится. Его не отрицает и сам Н. Я. Марр. Впрочем такое построение остается не надолго. В промежуток времени между двумя изданиями «Третьего этнического элемента», русским 1920 г. и немецким 1923 г., «начинается перелом в вопросе о миграциях. Отпадает мысль об исходе не только яфетидов вообще, но хотя бы и басков с Кавказа для внедрения в Западную Европу, равно об обратном появлении басков с Пиренеев на Кавказ».

Эта работа, выросшая в итоге многолетних трудов Н. Я. Марра и явившаяся в то же время новым опытом использования накопленных знаний с подведением под исследуемый материал палеонтологического анализа, оказалась в свою очередь началом конца всех предшествующих этапов, еще полностью не освободившихся от наследственно тяготеющего влияния основных положений индо-европейской школы.

Предстоящий в ближайшее же время перелом в значительной степени ускорился благодаря выдвинутому положению об яфетическом субстрате, под влияние которого подпал и сам палеонтологический анализ. Вскрываемый им историзм привлекаемой к сравнению терминологии подчинился заданию прослеживания экспансии яфетических племен-носителей яфетической речи, то есть того же рушского племени с его этрусско-пеласгским разветвлением. Анализ выявил широкое распространение родственных названий и тем са-

мым безгранично расширил пределы распространения прослеживаемого субстрата, что в свою очередь поставило вопрос о причинах предполагаемого факта.

Расселение яфетидов по Евразийскому матерiku с захватом и северной Африки и позднейшее их же исчезновение на подавляющей части того же материка объяснялись расселением их и последующим затем притоком чужеродной индо-европейской среды. Залитые ею яфетиды уцелели только по немногочисленным оазисам в Пиренеях (баски), на Кавказе и на Памире (вершики). В остальных местах пришельцы скрестились с аборигенами, и от них сохранились лишь пережиточные элементы, свидетельствующие о былом прошлом яфетического субстрата. Такое положение данного субстрата все больше и больше вызывало сомнение по мере углубления исследования внутри страны. Так, анализ топонимических терминов в центре Франции дал основание утверждать, что даже «в районах Сены и Соны мы имеем более древний, чем лигуры, этнический слой, то есть пеласгский или этрусский». «Инвентарь доисторической культуры яфетидов» оказался перенесенным во Францию, прежнюю Галлию, другими словами «в страну лигуров или иберов», в район, который с равным основанием можно было бы назвать «страною басков или этрусков». К тому же эти «хорошо известные яфетические племена оказались повсюду и во все времена неразлучными».

Таким образом, лингвистический анализ яфетидологии рассматриваемого нами периода привел не только к повсеместному расселению яфетидов, но и к неразлучному повсеместно же наличию всех основных яфетических племен. Устанавливаемый в таком виде яфетический субстрат, непосредственно связанный в своем лингвистическом и этническом составе, неограниченно рос по мере расширения привлекаемого материала и в результате подорвал незыблемость своего собственного существования. Построенная на субстрате концепция рухнула в ближайшие же годы, расчистив почву для нового, еще более решительного поворота по пути яфетидологической перестройки.

Поворот наступил в 1924 г. «Работа последних месяцев над палеонтологией речи на основании разъясненных фактов самих яфетических языков и усвоенных из них элементов в неяфетических языках неожиданно для меня, — говорит Н. Я. Марр, — вскрыла положение, более чреватое последствиями, чем все до сих пор высказывавшееся мною о значении яфетидов и их роли в созидании средиземноморской культуры в доисторические и протоисторическую эпохи». В приведенной небольшого размера, всего в полторы страницы, заметке «Индо-европейские языки Средиземноморья» Н. Я. Марр, с

одной стороны, подтверждает решающее для яфетидологии значение сделанного шага, с другой-тут же в двух словах дает все направление своей последующей работе, уже идущей по новому руслу. Н. Я. Марр утверждает, «что индо-европейской семьи языков расово отличной не существует. Индо-европейские языки Средиземноморья никогда и ниоткуда не явились ни с каким особым языковым материалом, который шел бы из какой-либо расово особой семьи языков или тем менее восходил бы к какому-либо расово особому праязыку». Действительно, высказанные тут положения в корне противоречат установкам яфетидологии предыдущего этапа. Там языки непосредственно связаны с этносом, и яфетические племена, или неизменно вездесущий конгломерат одних и тех же яфетических племен, расселялся путем переселения по странам света, разнося с собою новое культурное достижение-металл. «Яфетиды двигались, расселялись и утверждались там, где находили месторождения необходимых металлов и девственно-богатые природные условия для всего того сложного хозяйственного уклада жизни, который был связан с основной-источником их племенной материальной культуры, металлургиею, взрастившей их общественность, их религию, их психологию». Эта концепция «Третьего этнического элемента» сейчас уже полностью отпадает. Отрицается расовая принадлежность языка, также как и кочевание носителя речи, яфетического племени, с присущей ему языковой структурой.

«Кстати, — продолжает Н. Я. Марр, — вначале был не один, а множество племенных языков, единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция». Коренной сдвиг в результате введенного исторического подхода, углубляемого палеонтологическим анализом, вывел саму палеонтологию из уз сравнительного метода и подчинил сравнительный подход заданиям палеонтологии. В результате впервые определенно и безоговорочно отрицается сама основа индо-европеистики, выросшая на почве сравнительного историзма: отрицается полностью праязык.

Далее Н. Я. Марр уточняет свои высказанные выше положения. По его словам, «индо-европейские языки составляют особую семью, но не расовую, а как порождение особой степени, более сложной, скрещения, вызванной переворотом в общественности в зависимости от новых форм производства, связанных, повидимому, с открытием металлов и широким их использованием в хозяйстве, может быть и в сопутствии привходящих пермутаций физической среды».

Смена хозяйственных форм, на которой воздвигалось и прежнее построение «Третьего этнического элемента», получает теперь уже новое истолкование. Эта смена остается попрежнему решающим

фактором, но она вовсе не обусловлена внедрением культурного металлурга-яфетида, двинувшегося будто бы из кавказской прародины со своим праязыком в поисках центров залежей металла. Причина устанавливается уже другая, а именно: смена видов производства вызывает перемену в общественном строе, что в свою очередь отражается также и в языковой структуре. Это положение еще более конкретизируется словами Н. Я. Марра: «индо-европейская семья языков типологически есть создание новых хозяйственно-общественных условий, по материалам же, а пережиточно и по многим конструктивным частям, это-дальнейшее состояние тех же яфетических языков».

В 1924 г., в пределах уже приведенной заметки, закладываются Н. Я. Марром основы нового учения о языке. При этом индо-европейская семья языков вовсе не отрицается как особая языковая группировка, но отвергается обособленное ее праязыковое происхождение. Эти языки имеют свою типологию, свои характеризующие признаки, но сама их типология обязана не праязыковому состоянию, а новым хозяйственно-общественным условиям. Тем самым проблема классификации языков по языковым группам, семьям или системам, вовсе не изымается из числа очередных задач лингвиста. Наоборот, она выдвигается вперед, подчиняясь на этот раз не сравнительной только типологии, а палеонтологическому изучению речи и ее форм, где сравнительный подход становится уже историческим, так как развитие речи связывается с ходом развития экономики и общественных форм.

В то же время, признавая индо-европейские языки за типологически новое образование, Н. Я. Марр устанавливает ступенчатое движение языковой трансформации и переходит к стадиальной схеме, выдвигая проблему стадиального изучения языкового развития, допускающего моменты пережиточно сохраняющихся стадиальных архаизмов. Такая точка зрения вынудила пересмотреть многие прежде высказывавшиеся положения в части структурного определения изучаемых языков. Так, например, армянские языки, объяснявшиеся в своем сложном смешении разнотипных языковых норм скрещением яфетической и индо-европейской речи, могли теперь получить и иное истолкование их скрещенного состояния. Они могут служить также примером стадиальной перестройки, перехода из одной языковой стадии в другую. Так и подходит к ним Н. Я. Марр в той же статье «Индо-европейские языки Средиземноморья»: «такие более наглядные гибриды, как, например, языки Армении, отчасти и албанский язык, — не воплощение позднейшего скрещения индо-европейских языков с яфетическими, а представители переходного состояния на

промежуточном этапе между чистыми яфетическими и совершенными индо-европейскими языками; это-языки, отошедшие от доисторического состояния яфетической семьи и не дошедшие до полного индо-европеизма».

Выдвинута проблема стадиальности. Вместе с нею углубляется и историческая перспектива, необходимая для правильного восприятия действующих в языке норм. Устанавливаются языковые стадии в их последовательном чередовании, уходя в глубь хронологии языкового движения. Вместе с этим выдвигается на очередь и проблема генезиса стадий и систем, отдельных типологических норм, отдельных языковых фактов и, наконец, всего языка в целом.

Вся эта осложненная проблематика проходит красною нитью через всю последующую работу Н. Я. Марра, проводимая им с исключительною настойчивостью и гениальною ясностью мысли, хотя нередко и в несколько тяжелом изложении речи и письма.

На первых порах нового этапа яфетидологии построение стадиальной схемы вылилось в разбивку всего языкового процесса на два основных периода: один-исторический со включением в него и всех европейских языков, другой-доисторический с языками, сохранившими условное название яфетических. В переходный между ними период отнесены такие языки как албанский на Балканах, чувашский в Приволжье, хамитский берберский в Африке. Такая предварительная схема наметилась уже в 1925 г. в статье «К происхождению языков». В этой же работе дается и краткая историческая перспектива вообще развития речи в новом уже ее освещении по новым выводам палеонтологического анализа. Н. Я. Марр утверждает, что «язык не создан, а создавался. Создавался же он не тысячелетиями, а десятками, сотнями тысячелетий. Много десятков тысяч лет одному звуковому языку. Достаточно сказать, что современная палеонтология языка нам дает возможность дойти в его исследовании до эпохи, когда в распоряжении племени было только одно слово для применения во всех значениях, какие тогда осознавало человечество. Звуковому языку, однако, предшествовал длительностью многих тысячелетий линейный или изобразительный язык, язык жестов и мимики. Самый древний письменный язык, возраст которого исчисляется обычно несколькими тысячелетиями, лишь молокосос по сравнению с действительной древностью бесписьменных языков».

Проблема стадиального развития языка естественным образом тесно сомкнулась с основами единства глоттогонического процесса. Но и сам монизм языкового развития получал свое освещение только с учетом диалектического хода развития, ставящего непременно условием работы прослеживание резких в языке трансформацион-

ных скачкообразных сдвигов с новым качественным образованием, ставящим в свою очередь свои генетические вопросы. С другой стороны, диалектический ход развития речи приводит к языковым группировкам параллельно периодам стадияльных перестроек. В итоге к проблеме стадияльного деления прибавляется еще и задание языковых группировок по системам. Такая установка исследовательской работы уже окончательно порвала все связи с индо-европейскою праязыковою методикою исследования, построенною на формально-сравнительном методе. Для яфетидологии, в этом новом ее состоянии, оставалось углублять выдвинутую тематику и изживать еще тяготеющие остатки основ старого языкознания.

Переходный период сказался непосредственно и на самой работе. Пришлось перестраивать незаконченные труды. В этом отношении весьма показательна судьба составлявшейся Н. Я. Марром грамматики древнелитературного грузинского языка. Начатая еще в 1918 г., она базировалась на основе грамматических работ той эпохи в пределах заданий формальной фонетической и морфологической грамматики, основанной на построениях сравнительного метода. Затем наступила с 1922 г., после первой поездки к баскам, эпоха бурной перестройки яфетического языкознания с усилением палеонтологического подхода, что потребовало коренного пересмотра в частности и грузинской грамматики. Выпуск издания задержался и последовательно пережил не менее знаменательный для яфетидологии 1924 год, год коренной ломки старого направления и перевода лингвистического учения на новые позиции. В результате, частично уже набранный труд оказался переработанным только в некоторой своей части, отражая в себе отложения ряда пережитых изданием периодов строительства нового о языке учения.

Н. Я. Марр отказывается от составления сравнительных грамматик и кладет в основу историческое истолкование прежде лишь описательно представленных форм. Сравнительный анализ еще в 1920 г. стал заменяться палеонтологическим, но последний преломлялся тогда еще в старой исторической схеме, в значительной степени формальной и статично миграционной. Только с 1924 г. вступает в силу диалектическая палеонтология, опирающаяся на диалектический ход исторического процесса. Тем самым ясною становится неудовлетворенность Н. Я. Марра прежними построениями сравнительных грамматик. Он ищет выхода на историческое объяснение формы и лишь в 1931 г. заканчивает удовлетворяющее новым требованиям изложение строя грузинской речи в парижском издании *La langue georgienne*.

Вместе с тем Н. Я. Марр заново пересматривает выдвинутую им

еще в 1920 г. проблему субстрата. Тогда под субстратом понимался язык расселившегося по Афреватии «третьего этнического элемента», остатки которого, в путях исторического скрещения, сохранились в языках новых пришельцев. Этим объяснялись яфетические слои в индо-европейской речи. Теперь, после 1924 г., смена языковых составов получает свое оправдание в стадильной периодизации. Отпадает понятие субстрата, заменяемое стадильным же, но предшествующим состоянием, на основе которого, ломкою языкового строя, воздвигается качественно новое языковое образование, связанное с предыдущим преемственными нитями перерабатываемых архаизмов. Тем самым лингвистический анализ из статического становится динамическим.

Специально затрагивается и вопрос о миграциях с подведением и под них исторической дифференциации. Переселение яфетидов времен «третьего этнического элемента» заменяется экспансией их, противопоставляемой переселениям исторических эпох. Н. Я. Марр устанавливает резкое различие «миграций» доклассового общества и миграций исторических периодов уже классового состояния государственных образований. В первом случае имеется экспансия, а во втором переселение.

И здесь несомненно имеется уточнение, хотя на первый взгляд и кажется, что новый перелом в вопросе о миграциях свелся в значительной степени лишь к некоторой переработке прежних высказываний 1920 года. Действительно про экспансию яфетидов говорилось и тогда, также как про единовременное в одном и том же месте наличие основных яфетических племен, сейчас уже сведенных к числу четырех. Все же отпала статичность понимания данного термина, рассматриваемого уже с качественным различием по двум резко расходящимся периодам: классовому и доклассовому. Отпал также и единый центр исхода движущихся племен. Он неминуемо должен был быть отвергнут вместе с уже отвергнутым праязыком. Другими словами, стадильность подхода отразилась и в новом понимании переселенческого движения, представляющегося Н. Я. Марру в следующем виде (1926 г.): «постепенно упрочивается и уточняется для подлинно доисторических эпох классово недифференцированная или нераздельная «экспансия», вместо миграции характера переселений исторических эпох. Да и понимание переселений исторических времен начинает меняться: исторические переселения разъясняются в порядке социальных явлений, протекающих не массово без дифференциации, как предполагалось раньше, а с отбором-в путях классовой организации. Экспансия, явление доисторическое, предполагает продвижение совокупности племенных образований зачаточ-

ных форм безразлично и нераздельно. Это расселение хозяйственно-социально недифференцированных зародышей всех, как окончательно выяснилось, четырех в основе примитивов-племен».

Начиная с того же 1924 г., особый упор в работах Н. Я. Марра делается на семантику, привлекаемую в том же стадиальном ее освещении. Отказавшись от описательной констатации стабильной формы, он усилил внимание к наиболее слабо затронутой в лингвистике семасиологии. На этом пути встала задача последующего уточнения в исследовательской работе проблемы изменения формальной стороны в зависимости от изменения ее социальной значимости. Вместе с этим выдвинулось перед новым учением о языке непереносимое условие учета формы и содержания при анализе самой формы. Последняя превалирует в описательных грамматиках, до чрезвычайности ослабляя внимание к ее же функциональному значению. Не лучше обстояло дело и с семантикою корнеслова: лексикологические работы, как общее правило, лишены углубленного анализа собранного запаса терминов в их историческом движении и тем более в генезисе.

В 1924 и следующих годах появляется в печати ряд небольших статей Н. Я. Марра, специально касающихся семантики. Краткие экскурсы на эту тему занимают целую серию «Докладов Академии Наук», посвященную исследованиям стадиального продвижения значимости термина с углубленною палеонтологическою его проработкою. Такие статьи как «'Север' и 'мрак' || 'левый' от Пиренеев до Месопотамии», «'Смерть' — 'преисподняя' в месопотамско-эгейском мире», «О небе, как гнезде назначений», «Из семантических дериватов неба» и т. д., уже теснейшим образом связаны с анализом термина в его социальном использовании и демонстрируют разбор языкового факта, отражающего смену мировоззрений. Тем самым закладывался фундамент для последующего нового и последнего по счету сдвига, обусловившего дальнейшее направление яфетидологических изысканий строящегося нового учения о языке.

В ту же серию работ семантического порядка входит и анализ функциональной семантики, то есть значимости слова по выполняемой функции им обозначаемых предметов и перехода названия от предмета к предмету по роли, выполняемой ими в производственном процессе (собака-олень-лошадь и т. д.). Наиболее показательною работою в этом направлении является выпущенная в 1926 г. отдельным изданием статья «Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в до-истории (к увязке языкознания с историею материальной культуры)». Во всех работах указанного направления упор неизменно делается на историческую периодизацию. В начале прослеживается формальная смена семантической зна-

чимости со значительным использованием сравнительного материала, что все же, благодаря уже применяемому палеонтологическому анализу, не помешало еще и в «Третьем этническом элементе» дать блестящее построение семантических рядов. Позднее задание все более и более углублялось по мере усиления диалектического подхода в палеонтологических исследованиях, давших основание учесть и опереться на стадиальные смены. Это, в свою очередь, привело к накоплению проверенного материала, могущего послужить основой для детального подхода к самой стадиальной проблематике.

Вместе с тем исключительно рос объем привлекаемых к изучению языков. К уже имевшемуся запасу представителей кавказской яфетической речи, языкам вершикскому, этрусскому, баскскому и переднеазиатской клинописи: новозламскому (мидийскому) и халдскому, а также классическим Европы и современным романским и германским, постепенно добавлялись еще: скифский, готский, чувашский, турецкие, бретонский, финские Поволжья, ассирийский, хеттский, шумерский, готтентотский, китайский, палеоазиатские енисейско-остяцкий, юкагирский и т. д.

Росла и проблематика, связанная с разнотипностью изучаемых Н. Я. Марром языков. Сначала яфетическая речь Закавказья с привлечением армянских языков, затем горские языки Кавказа все еще в пределах яфетического круга, еще далее — того же круга языки вне географических границ Кавказа, потом — яфетические элементы в неяфетических языках и, наконец, эти последние с им присущими типологическими координатами.

Все это покрывалось общим термином «яфетидология», дав в результате семантический разнобой внутри его самого. Так, наименование «яфетический» одинаково применяется и к группе языков, объединенных общими типологическими показателями и составляющих одну языковую систему, по старой терминологии «семью», и к языкам, характеризваемым общим стадиальным состоянием, именно тем, к которому примыкают языки яфетической системы, и, наконец, ко всем языкам вообще, изучаемым тем же методом, каким исследуются яфетические. Тем самым яфетидология обратилась в общее языкознание, в новое учение о языке.

Получилась терминологическая неясность, хотя и оправдываемая ходом развития яфетидологии и положением дела вообще, дав на самой себе прекрасную иллюстрацию семантического перехода, обусловленного историческим движением. Нельзя изучать конкретный язык в его узкой изолированности. Чтобы понять каждый яфетический язык, требуется установить его схождения и расхождения внутри языковой системы. Последнюю, в свою очередь, не понять без

стадиального ее определения, также как непонятна сама данная стадия без уточнения ее положения в общем ходе развития речи. Более того, само языковедение, самозамкнутое в своей самоцели, нуждается в выходе за свои границы для своего же более уточненного истолкования. Отсюда-проблема связи языкознания с другими обществоведческими дисциплинами, в том числе и с историей материальной культуры, которая содействует уяснению многосторонних языковых фактов не в большей степени, чем сами языковые факты проливают свет на формально изучаемую археологию, застигаемую в потугах выхода на ту же историческую арену.

Будучи в основе всей своей научной деятельности историком-лингвистом, Н. Я. Марр больше придавал значения последнему моменту, уверенно заявляя, что истории материальной культуры трудно выйти из ею же устроенного тупика, пока среди археологов сохранится безразличное отношение к исключительно показательным выходам историзма, вскрываемым лингвистическим материалом.

В связи с таким выходом лингвистики на обществоведческую арену углубилось понимание самого языкового материала и тем самым потребовался пересмотр всего предыдущего построения, так как, по словам самого же Н. Я. Марра, уже приведенным выше, каждый этап яфетидологии менял постановку, менял тем самым и выводы. «Многие вопросы с тех пор настолько изменились и в освещении, более того — в самой постановке, что объяснения даются диаметрально противоположные». Вместе с тем еще более усиливаются взаимосвязи языковедения с другим равным образом историческим обществоведением. Н. Я. Марр перекидывает семантическую палеонтологию терминов на мифологический фольклор, прослеживая изменение семантики по линии выявления мировоззрения также и в мифе. Он перерабатывает и издает свои заметки об Иштари с построением связной стадиальной схемы от богини матриархальной Афреватии до героини любви феодальной Европы (1927 г.). Привлекает этнографию и фольклор Испании и Кавказа для иллюстрации лингвистических параллелей «Из Пиренейской Гурии» (1928 г.). Выдвигает «Постановку изучения языка в мировом масштабе», устанавливая для того данные в каждом привлекаемом к изучению представителе речи в отдельности (1928 г.). Приступает к исследованию письменного, графического языка как особой формы техники речи, выдвигая новую проблему «Языка и письма» (1930 г.). Он же делает усиленный упор на археологические памятники Турции и Греции в своем отчетном сообщении «О лингвистической поездке в восточное Средиземноморье» (1934 г.).

Везде в этих работах Н. Я. Марр раскрывает широкие горизонты

совместным использованием и языкового материала, и этнографического, и археологического. Но везде же и всегда, в каждой работе, он остается лингвистом по специальности, выдвигая на первое место языкознание, над которым неустанно и столь плодотворно работал он сам на всем протяжении своего сорокапятилетнего научного творчества.

В итоге всей проделанной колоссальной работы Н. Я. Марр взломал свои прежние наследственно ему переданные концепции, взломав тем самым и устой старого формально-описательного языкознания. Действительно, разбираемый Н. Я. Марром словарный запас и строй речи различных языков, уже включенных им в число детально изученных, далеко не ограничивался одним только определением формы. Н. Я. Марр уже не удовлетворяется предложенною им же классификационною схемою языков по чисто формальному признаку фонетических соответствий между группами и ветвями. Семантика слов именно поэтому первую выдвинулась вперед как наиболее наглядно схватываемая в ее историческом движении. Но семантика, сама по себе, уже обуславливала собою внутреннее содержание, вкладываемое в анализируемый термин современным ему мировоззрением. Таким образом, предопределялась необходимость учета того восприятия, каковое вкладывалось в исследуемый термин и в изучаемые семантические ряды нормами действующего человеческого сознания. И если язык рассматривается Н. Я. Марром уже в его стадильном движении, то проблема стадильности должна была выделиться и для периодизации норм сознания. Такую проблему и выдвигает Н. Я. Марр в 1930 г.

В последние годы своего творчества он уточняет новый поворот нового учения о языке. Лингвисту ставится неперменным условием учет норм сознания в тесной увязке языка и мышления в его исследовательской языковедной работе. Вместе с тем перестраивается и сам организованный и руководимый им «Яфетический институт», получающий новое направление в «Институте языка и мышления».

II. Язык и мышление

«Не только языковедам старой школы, но и всем этнографам и археологам, интересующимся генетическими вопросами бытовых народных мировоззрений и верований, представляется, что в языке изначален или первичен ряд обычных ныне в нашей речи слов... Происходит это, поскольку речь об этнографах, от голого эмпиризма, который обосновывается на одном статическом положении дела у так называемых первобытных народов». Такими словами предва-

ряет Н. Я. Марр свою работу «Стадия мышления при возникновении глагола 'быть'».

Построенная по существу на терминологическом анализе, эта работа яснее многих других своих предшественников выдвигает стадиальность мышления в параллель к уже поставленной на очередь стадиальности языка. Такая проблема, рано или поздно, должна была стать на очередь, поскольку весь предыдущий период, начиная с 1920 г., усиливал упор на семантику слов, то есть выдвигал к исследованию не столько формальную сторону, сколько содержание в форме.

Значимость и оформление уже хорошо знакомы лингвистам задолго до концепций нового учения о языке. Решающим с этой стороны новшеством явилась не их взаимосвязь, а подход к тому же материалу с истолкованием его в исторической динамике. Стадиальность формы непосредственно связывается со стадийным же изменением содержания. Тем самым оба они, и форма и ее значимость, уже перестают рассматриваться стабильно. С другой стороны, семантика лексического запаса неминуемо вела к мировоззрению вообще, а не только к конкретному восприятию данного термина. Поэтому такие работы даже 1924 г., как, например, «Яфетические переживания в классических языках и 'вера' в семантическом кругу 'неба'» и другие того же порядка не могли замкнуться в голое констатирование значимости за разбираемым словом. Наоборот, само значение слова продолжало бы оставаться темным и непонятым без восприятия его самого в общем комплексе всего миропонимания изучаемой эпохи. Более того, яфетические пережитки и классические языки, затронутые в упомянутой работе, сами собою ставят вопрос о коренном расхождении не только яфетических корней с их окружением в языках классического мира, но и семантики терминов и их семантических переходов в различных стадийных отрезках исторического процесса развития речи и мышления.

Весь путь исследовательской работы последнего десятилетия жизни акад. Н. Я. Марра, выдвигая одну за другою задачи уточнения социального обоснования привлекаемых к исследованию языковых фактов, ведет к последней поставленной им теме: «Язык и мышление». Она оказывается прямым результатом перевода лингвистического учения на арену обществоведческого историзма, результатом подхода к речи истолкованием ее носителя, что привело к необходимости учета современных изучаемой речи социальных структур с выяснением исторических причин, обусловивших их собственные изменения.

Такая схема с уточненной социально-экономической периодиза-

цией уже имелась налицо в целом ряде работ. «Немецкая идеология», «Капитал», «Диалектика природы», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» укрепляют диалектические позиции в исследовательской работе Н. Я. Марра и ускоряют переход лингвистического учения в материалистическое языкознание. Такой путь был неизбежен, поскольку Н. Я. Марр не только признавал язык за явление социального порядка, что утверждается и индоевропейским языковедением, но и пришел к категорическому выводу о невозможности оторванного от социальной базы изучения языка во всем его историческом разрезе. Вместе с тем все более уточнялось и представление о нормах сознания и об особой роли последнего в истории развития языкового строя.

Если язык определяется как практическое действительное сознание и если последнее воспринимается как особенность человеческого общества, обусловленная в своем происхождении и последующем развитии трудовой деятельностью, то и сам язык в его ступенчатом движении распределяется по стадиям в зависимости от изменения форм сознания и своего взаимоотношения с ними. Такое единство языка и мышления вытекает из того, что человечество, меняя формы производства и социальных отношений, изменяет вместе с тем и нормы своего сознания, влияя тем самым на перемены, происходящие и в практическом сознании, то есть в языке.

Человечество в своей трудовой деятельности выявляет развивающееся благодаря ей мышление. Оно,двигаемое трудом, выражается в результате трудового же акта. Следовательно, не один только язык, но и все продукты человеческого труда носят в себе отпечаток мышления. Стоя на этих позициях, исследователь еще более убеждается в правоте утверждений Н. Я. Марра о взаимной плодотворности для лингвиста и историка-обществоведа предлагаемого стыка обществоведческих дисциплин, сохраняющих каждая свою специализацию и в то же время объединяемых общою конечною целью изучения человека и его истории. В этом намечаемом сближении пока еще разрозненных исторических дисциплин языкознание занимает свое определенное место как наука, изучающая «реальное сознание».

При таком положении ясно, что обществоведы различных специальностей, а не одни только лингвисты, не в праве отстраняться от учета действующих норм мышления, уточняющих понимание самого изучаемого объекта. В противном случае усиливается довлеющее внимание только на внешнюю форму, на ее описание и на сравнение форм друг с другом, откуда и берет свое начало сравнительно-описательный формализм, приведший к вещеведческой археологии, к сюжетоведческому фольклору, к описательной этнографии и к фор-

мальной лингвистике. Между тем, изучение явления общественной жизни только в его внешнем облике, без углубленного учета его содержания, не дает полного анализа и нередко ведет к неправильно-му пониманию самой формы. Другое дело — поставить себе задачей установить тот план, который уже имелся в голове человека, виновника данного общественного явления.

Именно в этих целях Н. Я. Марр выдвигает вперед проблему сознания. Но само сознание вовсе не стабильно. Оно равным образом изменяется резкими скачкообразными переходами, осложняя тем самым исследовательскую проблематику. У ученого нередко происходит именно здесь наиболее показательный разрыв формы с ее содержанием. Форма, легче воспринимаемая в ее внешнем описании, довлеет над поисками ее же социальной значимости. И даже в тех случаях, когда внимание обращается и на внутреннюю сторону изучаемого предмета, архаичная форма зачастую заполняется функциональным содержанием, соответствующим нормам мышления самого исследователя. В этом отношении требуется свой настойчивый корректив. Его и вводит Н. Я. Марр своим указанием на стадиальную палеонтологию, связывающую форму с ее же современным содержанием. В намечаемых заданиях получает более решающую роль лингвистический материал, вскрывающий своим анализом, во всяком случае ярче, чем археологический памятник, пережитое состояние мышления, достигаемое и для эпох, свидетельствуемых ископаемым предметом. Тем самым, вместе с сознанием, выдвигается на первый план и реальное сознание, язык. Н. Я. Марр, углубленнейший языковед по основной тематике своих работ, не допускает более обособленного и самодовлеющего языкознания. Он уже в 1931 г. решительно отстаивает новые языковедческие позиции. «К проблеме о мышлении, — говорит он, — новое учение об языке подходит без колебания, вынуждено подходить к ней без всякой лицемерной осторожности. Вынуждает сила разъяснившихся до своих производственно-общественных корней взаимоотношений языковых фактов. Проблема о мышлении это одна из величайших, если не самая великая теоретическая проблема в мире, именно потому, что его корни находятся не в нем самом и не в природе, а в материальном базисе».

Выдвигая для языкознания новую тематику, Н. Я. Марр поставил вопрос о взаимоотношении формы и содержания на совершенно иную, чем раньше, плоскость. До того форма и содержание фактически ограничивались семантической и формально-лексической сторонами в стабильном сочетании значения и оформления, застигаемыми в исследуемый момент. Затем обе стороны стали проследиваться в их движении, заключающемся в сравнении ряда моментов

в пределах оторванно взятого явления. Теперь же, с выдвиганием внимания на мышление, та же проблема стала не только внутри языка во всем его комплексе, но и в его отношении к сознанию, проявляющегося как в семантике, так и во всем строе речи. От этого выиграла стадияльная характеристика языка и уточнились сложнейшие моменты языкового развития вообще, в том числе вопрос о логических и грамматических категориях речи, об активных и пассивных формах и т. д., то есть не только моменты этимологии лексического запаса, но и изучения морфологического строя и синтаксиса.

Строй речи не случаен в своем образовании, хотя и многогранен в своем выявлении и в генезисе своих форм. Последние обязаны своим появлением не самим себе. Так, например, происхождение местоимений связано с ростом разделения коллективного труда, с выделением индивида в общественном коллективе и с осознанием прав собственности, переходящей от нераздельного общего пользования в частное. Различие восприятия собственности ведет к осознанию владельца, сначала коллектива, а затем лица, что в языковом строе выявляется в личных местоимениях. Лингвистический материал отразил эти положения и дал Н. Я. Марру возможность обосновать их в статье «Право собственности по сигнализации языка в связи с происхождением местоимений». Проведенная тут разработка материала затронула и генетический вопрос о данной грамматической категории, что не входит и не может входить в задание описательных грамматик, дающих внешнее определение формы, вовсе опуская историзм ее содержания и тем самым изымая историзм из весьма показательного языкового материала. Между тем, продолжая исследование по тому же пути, можно проследить процесс местоименного оформления имен и глаголов, то есть генезис и этих грамматических видов, также как и последующее развитие форм склонения, спряжения и т. д.

Здесь языковой материал, в своих уцелевших пережитках, вскрывает экономическое состояние и формы общественного строя в достаточной степени определенности, что остается недостижимым для археологических памятников. Стоит только отказаться от формально-описательных построений сравнительного языкознания, как языковые факты начинают разворачиваться в руках исследователя в детализированную историческую перспективу. Такой лингвист, в то же время и археолог, как Н. Я. Марр ясно представлял себе, не воспринятую его же археологическим окружением, сложность путей историка материальной культуры, загнавшего себя в тупик, не находящего выхода из вещеведческих оков и тем не менее совершенно не оценивающего доступной ему помощи со стороны лингвистических

исследований, остающихся попрежнему чуждыми ему и непонятными. Н. Я. Марр был безусловно прав, указывая на богатство исторических сведений, скрытых в языковом материале. Эти сведения проливают свет на отжившее прошлое. Кроме того анализ языка в его движении в тесной связи с движением мышления приблизил лингвистику и к актуальному заданию текущего момента языкового строительства, к моменту стройки речи при массово меняющемся мировоззрении нашего времени.

Почва для лингвистического анализа укрепились на новых основах, давая возможность подведения фактического обоснования под исследуемую форму, что бессильно было сделать формальное языкознание. Последнее само, упирая на форму в ущерб содержанию и прослеживая их в формальном же сочетании статичного момента, дает чередующийся статичный историзм без установления причин движения формы. Тем самым утрачивается спецификум языка как реального сознания, и сам языковой материал остается столь же формально бесплодным, как и остальные лишь формально изучаемые отрасли социологии.

Н. Я. Марр в корне изменил основную постановку самодовлеющего языкознания, выдвинув новую концепцию, характеризуемую им следующими словами: «новое учение об языке по яфетической теории основано в первую голову на закономерности возникновения и развития сначала речи, потом слов, как социальных стоимостей, порождаемых производственными отношениями в процессе их диалектического развития и оформляемых мышлением соответственных стадий и в том же порядке возникших их взаимоотношений, увязок, служебных частиц. Благодаря палеонтологии речи, — продолжает Н. Я. Марр, — вскрывшей смену значений слов, этих надстроечных социальных стоимостей, на различных ступенях стадийального развития, новое учение об языке не выделяет вопроса о происхождении мышления из глоттогонии (языкотворчества) и, ставя проблему о происхождении языка, как основную, тем самым считает первоочередной и проблему мышления, отводя служебное место технике речи, звуковая она или ручная».

Речь изначальна в истории человечества, также как и сознание, связанное со скачком в человеческое общество из животной орды. Но речь, как и сознание, изменяются в зависимости от хода развития хозяйственных форм и социального строя. «...Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с данной действительностью также свое мышление и продукты своего мышления». Изначальна и членораздельная речь, являвшаяся вслед за трудом и вместе с ним главным стимулом раз-

вития человеческого мозга. Все же первоначальная речь, по утверждениям Н. Я. Марра, была не звуковая, а кинетическая (линейная ручная, речь жестов, мимики и телодвижения вообще).

Звук, как таковой, наличен и в начальном периоде речи, подчиненный всему речевому комплексу и не превалирующий в нем. Но сама членораздельность звука является уже социальным явлением, достижением человеческой истории, так как «...неразвитая глотка обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно, путем постепенно усиливаемых модуляций, и органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за другим». Участвуя в своем еще нечленораздельном состоянии в уже членораздельной кинетической речи, и сам звук, противоречивый этим своим состоянием всему речевому комплексу, шел к членораздельности. Таким путем постепенно развивались основные звуковые комплексы, устанавливаемые Н. Я. Марром в числе четырех. Их последующее разветвление по разновидностям четырех элементов, идущим не сами собою, и конечно, не биологическим путем продвижения, а социально вызванною в них потребностью, обогащали звуковые возможности до степени последующего переключения на звуковую речь, как ведущую, хотя бы первое время и сосуществующую сохраняющейся еще речи жестов. Вместе с тем, оказываясь результатом социальной переработки биологической основы (голосового аппарата), они, эти четыре основных звуковых комплекса-элемента, первично оказались повсеместными во всех языках мира. Все же оформляясь как ведущая система речи, звуковой язык имел за собою уже длительную, десятки тысячелетий существовавшую ручную речь, выработавшую свою технику. На наследии этой речи строился уже звуковой язык.

На всем протяжении развития речи, следовательно и развития мышления, устанавливается ряд коренных стадийальных смен. Новое учение о языке делает упор именно на них, признавая невозможность изучения «мышления-языка» с отвлеченным к нему подходом без конкретизации присущих особенностей изучаемого стадийального периода. Так, прежде всего вызывает сомнение обычное в литературе деление мышления на «логическое» и «до-логическое», невольно ведущее к значительной стабилизации наличного в каждом из них движения. Между тем и в этих больших отрезках, намечаемых главным образом по материалам этнографических наблюдений, шел тот же поступательный диалектический процесс, обуславливающий резкие внутри их смены. «Новое учение об языке в первую голову ставит вопрос об этих стадийальных сменах техники мышления и разрешает положительным разъяснением мышление, предшествовавшее логическому, так называемое до-логическое, как ряд ступеней со

сменной закономерностей и техники». Н. Я. Марр различает два больших стадияльных отрезка для звуковой речи: один с тотемистическим мышлением, космическим и микрокосмическим, второй с формально-логическим мышлением, когда оно стало воспринимать мир аналитически. Языковой материал обосновывает это деление, вводя последующие уточнения и подкрепляя основную его характеристику семантическими примерами и анализом строя морфологии. На доступном изучению языковом материале иллюстрируется даже миропредставление, еще весьма отдаленное от последующего многим позднее логического сознания.

«Сознание, конечно, есть прежде всего осознание *ближайшей* чувственной среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида; в то же время оно — осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и перед которой они беспомощны, как скот; следовательно, это — чисто животное осознание природы (естественная религия). Здесь сразу видно, что эта естественная религия или это определенное отношение к природе обуславливается общественной формой, и обратно. Здесь, как и повсюду, тождество природы и человека обнаруживается также и в том, что ограниченное отношение людей к природе обуславливает их ограниченное отношение друг к другу, а их ограниченное отношение друг к другу — их ограниченное отношение к природе, как раз благодаря тому, что природа еще почти не преобразована ходом истории, а с другой стороны, появляется сознание необходимости вступить в сношения с окружающими индивидами, начало осознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени; это — чисто стадное сознание...». «Немецкая идеология», откуда взят приведенный отрывок, дает и определение и наименование древнейшего периода мышления. Это — «стадное сознание», отличающееся от животного состояния тем, «что сознание заменяет ему [человеку — И. М.] инстинкт, или же, — что его инстинкт осознан». Такое стадное сознание «...получает свое дальнейшее развитие благодаря увеличению производительности, росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту населения».

Речь, в таком положении человека и его сознания, обусловлена общим состоянием общественной жизни и должна была находиться в узких возможностях осознанного инстинкта или заменившего его сознания в рамках ближайшей чувственной среды и ограниченных

связей с другими лицами, ведущих к представлению о том, что человек вообще живет в обществе. О развитой речи этого периода, само собою разумеется, говорить еще не приходится.

Все же, осознание своего общественного окружения и противопоставляемой ему природы, хотя бы и не понятой еще в ее естественных свойствах, вело к противопоставлению природы человеческому коллективу. Тем самым оформлялось новое миропонимание, связанное со степенью восприятия природного окружения и отношение к нему общественной ячейки, тогда как само представление о природе, в узких границах осязуемого мира, соединялось с восприятием сил природы в пределах потребностей крайне неразвитого производства. Природа же противопоставлялась людскому обществу в пределах доступных средств воздействия на нее. Сознание, при таких условиях, не могло идти дальше тех отдельных практически-полезных действий, которые, направлялись на природу, естественные законы какой, обуславливающие эти действия, оставались еще вне досягаемости человеческого сознания. Природа, осознаваемый космос, продолжала противостоять человеческому коллективу, воспринимаемая им как ему чуждая всемогущая и непреступная сила.

Однако, вся деятельность человека, начиная с искусственного изготовления орудия, уже направлена на изменение той же окружающей его природы. Тем самым ускорялся процесс развития мышления и речи, «...существеннейшей и первой основой человеческого мышления является как раз *изменение природы человеком*, а не одна природа, как таковая, и разум человека развивался пропорционально тому, как он научался изменять природу».

И если представление о природе связано с изменением природы человеком, незнающим ее законов, то само оформлявшееся миропредставление соединялось с пониманием всемогущества и чуждости той самой природы, на которую направлялось действие человека, осознающего в то же время свою беспомощность перед нею же. Отсюда можно прийти к выводу, что следующий за стадным сознанием период мышления покоился на осознании противостоящей природы в узких рамках «космоса», воспринимаемого с его ирреальными свойствами. Отсюда же следует заключение о том, что и позднее оформившееся космическое мышление было в то же время и мифологическим, во всяком случае «до-логическим», как обычно его называют в научной, преимущественно этнографической литературе, посвященной описаниям отсталых народностей.

Материал для более точной характеристики этих стадий мышления имеется, казалось бы, в достаточном количестве в целом ряде палеолитических находок археологии. Но немые свидетели пережи-

тых человечеством эпох не дают в руках исследователей определенного ответа на выдвинутую проблематику. В более выигрышном положении оказывается тот же лингвистический материал, вовсе оставляемый без внимания историком. Наличные пережитки форм и значимости лексики и даже морфологического строя уходят в колоссальную глубину человеческой истории, что и констатируется новым языковедным подходом к стадияльно разрабатываемым языкам в пределах их досягаемости в исследовательских исканиях. «Палеонтология речи, — по выводам Н. Я. Марра, — вскрывает состояние языка, а, следовательно, мышления, когда не было еще полноты выражения мысли, не выражалось действие, т. е. не было глагола, сказуемого, более того — не было субъекта, по схоластической грамматике так называемого подлежащего... Действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве, и субъект был, но не во фразе, а в обществе, но ни это действие, ни этот субъект не выявлялись в речении самостоятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и производственных отношений... А что же выражалось в речении, тогда лишь в ручном? Объект, но не по четкому представлению нашего мышления, как «дополнение», а как комплекс цели, задачи и продукции. Цель — обслуживание «производительных» сил природы, задача — обработка потребного материала и продукция — полученный продукт, объект, он же и следствие».

Действие, конечно, было и воспринималось мышлением человека, но еще слитно с действующим лицом, детализирующим само действие так же, как детализирует его и объект. Получается слитный комплекс, пережиточное состояние которого не трудно усмотреть хотя бы в многочисленных примерах инкорпорирования, в частности и в приводимых ниже, в соответствующих главах, слитных комплексах слов-фраз палеоазиатских языков, — например, алеутского и юкагирского. В таких «однословных» комплексных фразах нет ни сказуемого, ни подлежащего в их определении действующих грамматик. Объект слит в них же как определитель действия, необходимый при его конкретизации по нормам конкретного мышления. Субъект же, как и указывает Н. Я. Марр, все же наличествует, если не в формальном его выражении в речи, то в самом осознании его общественным коллективом.

Это будет субъект, далеко не во всем совпадающий с нашим логическим о нем представлением. Этого и не могло быть, поскольку само представление о субъекте, как действующем лице, отражает в первую очередь восприятие человеком окружающей чувственной среды и своего действия, направленного на изменение природы. «Производство идей, представлений, сознания первоначально не-

посредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей — язык реальной жизни. Представление, мышление, духовное общение людей еще являются здесь непосредственно вытекающими из материального соотношения людей... Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д. ...Сознание ... никогда не может быть чем-либо иным, как сознанным бытием ..., а бытие людей есть реальный процесс их жизни».

Но изменения природы, являющейся реальным объектом человеческой деятельности, получают встречное истолкование в сохраняющемся еще неприступном ее для человека состоянии в ее же восприятии как всемогущей, неприступной силы. Тем самым объект, становится субъектом. Не зная еще законов природы, используемых человечеством для достижения определенных результатов его трудовой деятельности, мышление общественного коллектива ставит само человеческое общество в подчиненное природе положение, и в результате получается осмысление еще не постигнутых сил природы как действующих самостоятельно от воздействующего на них человека, еще не осознанного в этом его значении. Вырабатывается тем самым ирреальное, мифологическое представление о действующем лице, каковое и можно было бы назвать «мифологическим субъектом» в отличие от «логического субъекта» норм уже нашего мышления. «... Зарождалось сознание сперва отдельных практических, полезных действий, а впоследствии на основе этого у народов, находившихся в более благоприятных условиях, понимание обуславливающих эти полезные действия законов природы. А вместе с быстро растущим познанием законов природы росли и средства воздействия на природу; при помощи одной руки люди не создали бы паровой машины, если бы наряду с рукой и отчасти благодаря ей не развился соответственным образом и мозг».

Потребовался длительный процесс изменения производительной деятельности, изменения орудий труда и самих производственных отношений внутри человеческого общества для того, чтобы человечество вывело себя из этого пассивного понимания своего отношения к природе. И «...чем больше они [люди — И. М.] удаляются от животных в тесном смысле слова, тем более начинают делать сами сознательно свою историю, тем меньше становится влияние на эту историю непредвиденных факторов, неконтролируемых сил, и тем более соответствует результат исторического действия установленной заранее цели». «Чем более... люди отдаляются от животных, тем более их процесс воздействия на природу принимает характер преднамеренных, планомерных, направленных к определенным, заранее намеченным целям, действий».

Осознание человечеством плановости действий и их целеустремленности вносит свою долю активизации реального лица и обращает тем самым в пассивный прежний строй мышления и речи, основанной на старом восприятии мифологического субъекта. Но все же десятками тысячелетий исчисляется период еще господствующего мифологического (магического) представления, хотя и обостряемого заложенным в нем взрывчатым элементом противоречащей ему активности реально действующего лица. В частности, такое еще активное понимание мифологического субъекта улавливается в пережиточно сохраняющихся нормах мышления многих отсталых народностей, о чем кратко, но все же подробнее чем здесь, придется сказать в особой главе, посвященной языку и мышлению по данным лингвистических, этнографических и фольклорных материалов в конкретных примерах к анализу языков палеоазиатских народов севера Азии.

Сложившееся активное мифологическое мышление, как увидим ниже, ярко выявляется и в языковом строе, равным образом активном в своем построении, но с передачей мифологического субъекта вместо ожидаемого нами логически действующего лица. И здесь, равным образом, активность субъекта «магического» восприятия уже нарушается частичной активизацией лица, выявляясь в стыке противоположных норм и создавая тем самым сложность построения конкретизирующих языков.

Этот мифологический субъект, по терминологии Н. Я. Марра — «тотем», обуславливает собою «тотемистическое мышление», какое и застигается, по его словам, звуковой речью на первой, древнейшей ее стадии в космическом, а затем микрокосмическом его выражении, развернутом в пределах возможностей еще ручной речи.

Тем самым намечается Н. Я. Марром последующий за стадным сознанием период мышления, связанный с осознанием природы без знания ее законов, с осознанием действующего лица, находящегося вне реального исполнителя деяния, и с противоречащим ему восприятием активности самого реального деятеля все же в рамках «магического» представления. Это и будет мышление «тотемное», или «магическое», или же мифологическое, иначе — «до— или пра—логическое», по номенклатуре Леви-Брюля, делящееся на периоды в зависимости от степени понимания «космоса и микрокосмоса». В таком состоянии мышления улавливаются нами языки уже родового строя.

Застигаемый здесь ход развития общества с идущим процессом разделения труда и выделения индивида на общем коллективном фоне еще коллективного производства с коллективным же потребле-

нием его продуктов вводит новый момент противоречия в производстве и общественном строе. Появляется представление о собственности, сначала коллективной, а затем индивидуальной-частной. Вместе с этим и в зависимости от него вырабатываются в языке местоимения. «Однако эта категория слов, впоследствии-часть речи, первая по времени появления часть речи, замещала не имя существительное (тогда никакого существительного не было), а имя-тотем, надстройку социально-экономического образования, его производства и производственных отношений, сначала категорию производственно-социальную: пока не было этой категории, не было и строя речи, не было синтаксиса».

Все же и тут, при идущем уже коренном сдвиге в мышлении и речи, сохраняется еще мифологическое восприятие субъекта, стоящего в явном и обостряющемся противоречии с растущим осознанием лица сначала общественного коллектива, а затем и его составляемых частей. С одной стороны, и коллектив и лицо не различимы. Сам коллектив оказывается лицом-единицей по отношению к природе и другим таким же единицам-коллективам. Но, в то же время, сам коллектив есть множество, чем и обуславливается слитное единственномножественное представление, ведущее затем к расщеплению этих двух антиподов, когда-то слитных, а потом обособленных и даже противоположных друг другу в зависимости от того или иного восприятия хода разделения труда и выдвижения понятия о собственности. Вместе с тем и сам коллектив активизируется в представлении человечества и получает активность того же «мифологического субъекта», что и выражается, с одной стороны, в перенесении на него представления о действующем лице, с другой — в его же противопоставлении лицу-индивиду. В первом случае получается уже этнографический тотемизм с расширенным представлением о клане, тождественным тотему, его родоначальнику и покровителю, созданному нормами мышления уже родового строя. Во втором — обособившееся восприятие лица-индивида продолжает оставаться все же в понимании пассивного исполнителя действий тотема, уже перенесенного с природы на общественное объединение. В этом своем состоянии сам коллектив становится тем же «тотемом». В итоге — оформляется в речи 3-е лицо, противопоставляемое другим, преимущественно первым двум уже индивидуального восприятия.

Третье лицо, в связи с этим, еще не получает свойств личной индивидуальности и противопоставляется другим личным, не имея присущих им свойств лично-индивидуальной значимости. Формально 3-го лица еще нет, поскольку в нем сосредоточен «мифологический субъект», попрежнему не требующий своего особого оформления в

речи. «Третьего лица, — говорит Н. Я. Марр, — нет, третье лицо это тотем-действие».

Все сказанное выше можно резюмировать словами Н. Я. Марра: «Субъект выходит из своей противоположности не только качественной-объекта, но и количественной, ибо субъект в современном представлении классового общества индивидуален. Итак, субъект-индивидуум выходит из коллектива, коллективного объекта, и оба они — и субъект и объект — из коллективного действия, нами называвшегося трудмагическим. В первобытном обществе магия и труд неделимы, они лишь изменчивы, неразлучимы, как мышление и язык. Магия одновременно и мышление и мировоззрение, как его продукт — миф... Магия лишь качественность мышления, диффузного диалектического первобытного мышления. У этого первобытного мышления были стадии...».

Весь трудовой процесс данного периода обусловил определенные нормы мышления и сам обусловлен ими же. Люди, развивая свое, материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с данной действительностью также и свое мышление и его продукты. Поэтому каждый производственный акт развивается в планомерность и целеустремленность действия в пределах растущего миропонимания. В связи с этим, созданные человечеством нормы «магического мышления» проникают в каждый трудовой акт, становящийся тем самым «труд-магическим» по его нормам существующего коллективного сознания еще до-логического, то есть магического или мифологического. Сам действующий человек, воспринимаемый под углом зрения данного миропредставления, оказывается объектом в противоположность мифическому действующему лицу, как пассивный исполнитель его действия. Освободившись лишь позднее, с проникновением элементов уже строящегося логического сознания, реальный исполнитель деяния сам обращается в субъект.

Такое раздвоение субъекта ясно выражается в целом ряде языков этнографически и лингвистически прослеживаемых народов родового строя. С одной стороны — подчинение человека природе, с другой-его же подчинение своему общественному коллективу как высшей силе, данной тою же природою. И в том и в другом случаях человек оказывается подвластным «тотему». «Тотем» действует за него и через него как активная сила, перед которой он сам остается пассивным при всем внешнем выявлении роста индивидуализации. «Родовой строй в его высшей форме, как мы наблюдали его в Америке, предполагал крайне неразвитое производство, следовательно крайне редкое население на обширном пространстве, следовательно

почти полное подчинение человека чуждой, противостоящей ему, непонятной внешней природе, что и отражается в младенческих религиозных представлениях. Племя оставалось границей человека как по отношению к чужаку из другого племени, так и в отношении самого себя: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, являлись высшей силой, данной от природы, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках».

Такое состояние мышления народов родового строя в приведенной его характеристике находит себе полное подтверждение на языковом материале. Из затрагиваемых нами в пределах настоящего курса языков ближе всего стоят к этому состоянию палеоазиатские. Наличный у них строй местоимений и местоименного спряжения указывает на длительность существования индивидуального восприятия, но в то же время структура речи нередко еще передает предыдущее невыявленное состояние субъекта. Так в юкагирском, чукотском и др. языках мы увидим ниже случаи инкорпорирования без выявления действующего лица, встретим глагольные формы, отмечающие принадлежность лицу, а не лицо в его действии, и особое положение 3-го лица, безличного по своему оформлению в противоположность двум другим и т. д. Мы найдем в примерах американского языка немепу коллективность восприятия и первых двух лиц с объединением в одно целое всего социального их окружения и пр. На этом придется подробнее остановиться ниже при разборе самого лингвистического материала.

Но для этого придется в первую очередь отказаться от старой схемы формально-сравнительного анализа описываемых форм и перейти на новый путь исследовательской работы, прослеживая преемственную цепь стадийных переходов. В ней свое высшее место в перспективе исторического развития займут языки уже логического строя мышления, когда человечество оказалось уже в более благоприятных условиях, постигнув законы природы, обуславливающие его практические действия. «Мифологический субъект» в мышлении человека уступил свое место реальному деятелю, логическому субъекту. Происходит ломка всей языковой структуры.

Путь к этому уже готовился и раньше. Логическое мышление вовсе не является каким-то даром природы. Оно имело свои элементы еще и в предшествующей стадии, развивая растущие внутри ее противоречия. Так, между прочим, индивид свидетельствуется языковым материалом еще в границах «до-логического» мышления, и весь предыдущий период как бы представляет собою борьбу растущего осознания лица-индивида с его «мифологическим» еще окру-

жением. В этом отношении исключительно богатые материальные выявления дают палеоазиатские языки, индейские Америки и стадияльно сходные с ними языки Африки и Австралии. Но, также как «из-за римского рода ясно выглядывает ирокез», и в наиболее развитых языках Европы просвечивают пережитки, дошедшие от весьма отдаленных стадияльных предшественников.

III. Проблема классификации языков

Весь колоссальный по объему языковой материал, уже ставший доступным изучению и тем более ожидающий своего исследователя, не выявит единства процесса и его закономерностей, если мы будем механически перекидывать из одного языка в другой устанавливаемые в одном из них законы развития. Эти «законы» сами находятся в движении и диалектическом развитии. Соответствуя одному строю речи, они уже видоизменяются в другом. Оставление без учета предлагаемого тем самым историзма в языковом развитии ведет лишь к укреплению стабильности подхода к исторически обусловленной области изучения и усиливает формально-сравнительные сопоставления. Оторванно взятые из любого языка обнаруживаемые им факты, в части ли корнеслова или морфологических и синтаксических деталей, не понятны без их лингвистического же окружения в пределах данного, их же языка. И поскольку единый процесс разнообразится в деталях своего исторического выявления в отдельных периодах строительства речи, постольку же, без углубленного изучения каждого отрезка времени и каждого отрезка в общем языковом массиве, оторванно взятые соответствия могут только смутить научного работника, приводя к поверхностным и нередко рискованным выводам. Поэтому вопрос о языковых группировках является и для нового учения о языке актуальнейшим заданием.

Отвергнув старую классификационную схему деления языков по семьям на праязыковой основе и отказываясь, равным образом, от прослеживания их характеризующих признаков по культурным кругам, Н. Я. Марр остановился перед задачей дать свою собственную группировку прослеживаемого языкового материала во всем многообразном выявлении его единого процесса развития. Такое задание выдвинулось впервые после решительного поворота яфетидологии, проведенного в 1924 году. В течение всего следующего десятилетия Н. Я. Марр неуклонно шел по пути объединения изучаемых им языков, устанавливая общие элементы развития, в то же время и разъединяя их прослеживанием резких стадияльных смен и не менее резких расхождений в формальном выявлении хотя бы и

сходных стадиальных координатов. Единство процесса исторично и потому все же не означает стабильного единства языковой типологий.

Вовсе не отрицая всей сложности вставшей перед лингвистом проблемы, новое учение об языке приходит к выводу о том, что прежняя, внешне, казалось бы, стройная система распределения на-личных языков по семьям оказывается на самом деле слишком упрощенною. Имея за собою столетнюю традицию и крупнейшие для своего времени достижения, индоевропейская школа лишь дополняет созданную ею группировку новыми, входящими в орбиту научного исследования языками, отнюдь не меняя основного принципа классификации. В итоге многолетних работ старая система праязыков с установлением носящих их пранародов сохранила незыблемость своей схемы. Даже индо-европейская лингвистика в своем социологическом направлении нашего времени не вышла из рамок формально-описательных грамматик и не расширила границ своих научных изысканий глубже письменных источников того же языка или устанавливаемого его предшественника, с построением исторической схемы по хронологической датировке привлекаемых источников.

Язык обычно рассматривается как органическое целое со своим словарным запасом и со своими нормами морфологии и синтаксиса. В нем отмечаются особо отступления от норм общего правила, но без их исторического обоснования и без их истолкования, ограничиваясь в большинстве случаев только формальною фиксациею. При таких условиях посторонние элементы нередко прослеживаются в каждом языке как заимствования из других хорошо известных языков, собственностью которых они считаются, обрекаясь на вечное состояние в этом их положении. Начало же языка не идет глубже древнейшего обнаруженного письменного источника или, в крайнем случае, искусственно восстанавливаемого праязыка, уже носящего в себе характеризующие основы последующего эволюционно-го развития речи данной узко взятой группировки.

Естественно в связи с этим, что в трудах представителей индоевропейской школы не наблюдается развернутой исторической картины и, конечно, нет в них никаких реальных попыток к прослеживанию единого процесса развития речи. Напротив, каждая языковая семья берется обособленно, в связи с чем и вопроса о ее происхождении не ставится вовсе за исключением традиционного низведения ее к мнимому праязыку. Равным образом оставляется без внимания и определение ее места в общем течении глоттогонии. Взаимоотношения языков ограничиваются прослеживанием влияний и заим-

ствований, что никоим образом не разрушает воздвигаемых изолирующих рамок между отдельными языковыми семьями. Поэтому и отстаиваемая ученым миром старой школы классификационная схема страдает отсутствием перспективы в общем охвате жизни человеческого общества и создаваемых им языков. Социальная история самого человечества никак не отразилась на этой схеме, самодовлеющей и замкнутой в интересах одного только языкознания. В результате получилась самостоятельная языковая история, к тому же далеко не всегда убедительно обоснованная на материале.

При таком положении, ныне действующая группировка языков по семьям оказывается не выдерживающей критики в самой своей постановке. Но одним только таким утверждением удовлетвориться нельзя. Если действующая схема неверна, то взамен ее должна быть предложена другая схема, построенная на иных началах с устранением явных ошибок, каковые и должны быть выявлены с определенной ясностью.

Одною из коренных ошибок индо-европейской школы придется признать мнимый ее историзм, заключающийся в стабильном по существу подходе к языку изучаемого периода и в сравнении его с письменно зафиксированным строем речи других периодов, равным образом изучаемых стабильно. Поэтому, с одной стороны, исследование не идет глубже письменных источников, игнорируя к тому же несомненное сосуществование им бесписьменной речи, находившейся во взаимоотношении с письменною, и в то же время не проводится исторического различия в самом носителе речи, в общественной среде, каковая будет отличаться даже для литературного языка, феодального и буржуазного. В связи с этим язык рассматривается как единое целое во всем своем развитии каждого конкретно взятого языка, различаемое лишь календарною хронологическою периодизациею. В итоге получается отмеченное выше впечатление о цельности языка, выявившегося притом лишь в литературном его представителе при оставляемом в значительной степени в тени наличии народной речи. По этой же причине естественно, что и письменный источник древности рассматривается как основной и поэтому вполне достаточный для построения научных выводов представитель речи ему современного, уже пережитого периода.

Берется древнеписьменная речь и современная. Сопоставляются две формы различного времени и из таких сопоставлений делается вывод об изменении формы, одной непосредственно из другой, безо всякого внимания к причинам наблюдаемых расхождений, к возможности проникновения другого речевого слоя, диалекта и т. д. Между тем, чем глубже уходит история языка, тем сильнее его диа-

лектное дробление и даже местная обособленность строя. Кроме того, развитие языка феодального окружения и языка города идет вовсе не безукоризненно сходными путями, в особенности в связи с обострением противоречия между городом и деревней, когда город может экономически господствовать над деревней, как это было в древности, или же деревня над городом, как это было в средние века. При таких условиях взаимные влияния языков, в выработке даже литературного языка, различны в различные периоды истории. В частности, в письменную речь могут проникнуть не только слова, но и морфологические и синтаксические особенности речи, письменно не зафиксированной. Поэтому математически точного, независимо-го (самодовлеющего) перехода формы в форму быть не может. Несмотря на это, только путем формального сопоставления языковой структуры привлекаемых к исследованию периодов и строится индоевропейскою школою языкознания та схема, каковая по изложенной ее характеристике и названа мною мнимоисторическою.

В том же положении мнимого историзма находится и праязыковая проблематика. Как единая речь всего населения праязык, естественно, должен был бы относиться к еще классово не расчлененному обществу. Следовательно, или это язык доклассового состояния (для Европы — «доисторический»), а в таком случае нарушается основное положение индоевропеистики не уходить глубже реально-осязуемых материалов письменной речи, каковая, конечно, относится, судя по наличным памятникам, уже к классовым формациям, или же это язык тех же «исторических» периодов классового общества, строяемый в своей единой схеме именно потому, что и в самом классовом обществе индоевропейская школа лингвистов в значительной степени рассматривает язык не расчлененно. Очевидно, последнее и сказалось во всем облике данного искусственно воздвигнутого праязыка, оказавшегося, благодаря этому, витающим над другими языками без всякой опоры на социальную основу.

Казалось бы, что при распределении языков по семьям, каждая со своим праязыком в основе, выдвигается и задание сличения их между собою с размещением по шкалам хронологической периодизации по признаку не времени существования языков, а степени архаизма их структур. Такая хронологическая систематизация выдвинула бы и периодизацию моментов перестроек и виды их выявления в конкретно взятых языках.

Этого не смогла достигнуть сравнительная грамматика, этого не достигла и школа младограмматиков, хотя она и включила результаты сравнения в историческую перспективу. По словам Ф. де-Соссюра, благодаря неограмматикам «язык перестал рассматриваться

как саморазвивающийся организм и был признан продуктом коллективного духа языковых групп. Тем самым была осознана ошибочность и недостаточность воззрений на него сравнительной грамматики и филологии». Однако, при всей столь благоприятной оценке, данной новому течению в лингвистике еще XIX века, тот же де-Соссюр решительно оговаривается, признавая, что «сколь бы ни были велики услуги, оказанные этой школой, нельзя все же полагать, будто она пролила полный свет на всю проблему в целом, — основные вопросы общей лингвистики донныне ожидают своего разрешения».

И как бы ни признавал даже де-Соссюр констатируемый им сдвиг в языковедных исследованиях с переходом на историзм еще младограмматиков, все же историзм этот оказался крайне односторонним даже и в руках новейшей западноевропейской теоретической лингвистики, не исключая и самого де-Соссюра.

Де-Соссюр сделал исключительный для индо-европеистики упор на движение формы и, несмотря на это, остался все же в границах старой концепции. По его словам: «не трудно убедиться, что ни один из [характеризующих индо-европейские языки] признаков полностью не сохранился в отдельных индо-европейских языках, что даже кое-какие из этих признаков не встречаются ни в одном; некоторые из индо-европейских языков даже до такой степени изменили первоначальный индо-европейский характер, что кажутся представителями совершенно иного лингвистического типа».

Действительно, если взять такие языки, как английский, русский, армянский и др., то говорить об одном лингвистическом строе не приходится, и отсюда, конечно, можно притти к выводу, что «ни одна языковая семья не принадлежит по праву и раз навсегда к определенному лингвистическому типу». Более того, при таких условиях можно притти к полному отказу от самого типологического распределения языков по семьям, так как «спрашивать, к какому типу относится данная группа языков, — это значит забывать, что языки эволюционируют, подразумевать, что в их эволюции есть какой-то элемент постоянства». Но дело в том, что языки переживают трансформационные сдвиги вовсе не плавного эволюционного течения, и уже одно это дает основание к постановке вопроса о классификационном распределении наличных представителей речи во всяком случае по стадиям, с неперменным признанием возможности не только перехода из стадии в стадию, но и перегруппировок между системами.

Вся ошибка западной школы, не исключая де-Соссюра, заключается в том, что историзм у них все же упирается в праязык в виде ли

того «первоначального индо-европейского характера», о котором упоминалось в только что приведенной цитате, или же в более конкретизированном образе, данном тем же автором несколькими строками выше, где он говорит, что лингвистам «известны характерные признаки того языка, от которого произошла эта семья».

При таком положении весь историзм свелся к последующему запутыванию характеризующих признаков, ясных и точных только в том первоначальном языке, от которого пошло дальнейшее разветвление, приведшее к изменению, смешению и исчезновению первичных признаков. Выходит, таким образом, что в начале мы имеем один язык, лежавший в основе будущей семьи, или, вернее, целый ряд таких первичных языков по числу выделившихся семей. От этих первоисточников идет все деление, связывающее языки по семьям. Но сами языки в пределах семьи, как оказывается, изменяют и растеривают свои объединяющие признаки настолько, что типологическая классификация оказывается уже затрудненной. Все же они сохраняются в семье по признаку праязыка, каковой на самом деле отсутствует, во всяком случае до нас не дошел, и характерные признаки которого «известны» лингвистам лишь в результате их теоретических выкладок, построенных на языках, неподдающихся типологии. Получается заколдованный круг, или тупик, как именует его Н. Я. Марр.

Если праязык — лишь теоретическое построение, то и первоначальные его признаки тоже являются только плодом тех же теоретических построений. Отсюда неизбежно следует вывод о крайней условности ныне действующей классификации языков, в первую очередь самой индо-европейской семьи, объединяющей такие языки, как английский, армянский, ирландский и др., которые «даже до такой степени изменили первоначальный индо-европейский характер, что кажутся представителями совершенно иного лингвистического типа».

Приходится констатировать, что многообразие речи отвлекло внимание лингвистов от монизма глоттогонического процесса, не только допускающего, но и обуславливающего широту языкового охвата, устанавливающего как схождения, так и расхождения языковых структур и в лексике, и в синтаксисе, и в морфологическом строе. Этому воспрепятствовала в первую очередь обособленность подхода к каждой языковой семье в отдельности с полным замыканием только внутри ее, что привело к изоляции исследовательской мысли и к утрате исторического горизонта. В итоге получился «типологически чистый» праязык, историческое движение которого выявилось в его языковом разветвлении, утрачивающем таковую чистоту.

Такая историческая схема и оказалась неверною. Она неправильна уже потому, что как бы язык ни был своеобразен в своем развитии надстроечной категории, все же он увязывается с основной периодизацией своего общественного базиса. Так, прежде всего, национальные языки не могли появиться раньше оформления наций, народные языковые массивы не могли образоваться прежде оформления народностей в путях их схождения хотя бы на грани формирования государственного строя, также как племенные языки не имели места до образования племен. И если народы, предположим, рабовладельческого или феодального общества сложились в путях коренной социальной перестройки из прежде разрозненных племен, то и речь первых образовывалась в путях трансформации предшествующих племенных языков, которые могут в этом отношении служить как бы «праязыками», но ни в коем случае не «праязыком», единым для всего состава языковой семьи. Кроме того, резкая ломка языкового строя создавала в языках государственных образований свою типологию, отличную от предыдущей, каковая вовсе не отличалась «чистотою» своих признаков по сравнению с показателями позднее сложившейся речи.

Правда, пути схождения языков различны в различные периоды, и благодаря экономически обусловленному общению может идти и сближение разрозненных языков еще в доклассовом обществе. Образовывались племена. Разобшаемые друг с другом, они вновь сплачиваются в длительные союзы и, таким образом, делают первый шаг к образованию наций. Тем самым перестраиваются и языки. Мощным фактором в том же направлении могли служить также растущий товарообмен и экзогамия, но все же государственный язык невозможен до становления государства. И если русский язык есть наследие уже русской государственности, то до образования России на территории Восточной Европы не было и русской речи, тем более не было и ее праязыка, поскольку до оформления государства в границах Восточной Европы население ее переживало еще родовой строй с раздробленными племенными союзами, носителями разрозненной племенной речи. Равным образом и североазиатские языки объединены в одну группу «палеоазиатских» только на том основании, что они не могут быть подведены под другие лингвистические известные группировки. Установление же и для них единого праязыка встретило непреодолимые препятствия, все усиливающиеся по мере углубления в изучение самого языкового материала, и т. д.

Образование каждого языка в начальном периоде его существования является следствием ломки предшествующего состояния другого языка или ряда других языков, в результате чего появляется

качественно новый язык, сигнализирующий свое прошлое сохраняющимися пережитками в виде наличных в нем архаизмов. Но и эти архаизмы находятся уже под воздействием чуждых им норм нового состояния, в силу чего могут измениться в своем прежнем облике, чем и затрудняется автоматически точное восстановление прошлого по наличным в языке пережиткам. Этим осложняется палеонтологический анализ речи и спуск в более древние периоды, не сохранившие цельных языковых структур. Оказывается, таким образом, что одним формальным анализом ограничиваться и в данном случае не приходится.

Единство глоттогонического процесса вовсе не представляет собою плавного, ровно идущего развития речи с плавным же переходом наличных в ней форм. Напротив, ход исторического продвижения ведет к резким трансформационным сдвигам, к целому ряду ступеней в языковом развитии, как утверждает Н. Я. Марр.

На этом пути, в случае отхода от непосредственного материала и увлечения общими выводами, легко впасть в односторонние уклоны. Так, между прочим, неправильными представляются также и некоторые высказываемые предположения последователей уже не индо-европейской школы о том, что всякая языковая группа, по яфетической терминологии система, переживает все стадиальные переходы. Наоборот, если учесть всю обстановку исторического хода развития и вызываемую ею смену языковых образований с качественно иными языковыми составами, образующимися в процессе языковых перестроек и получающими облик новых групповых оформлений, то придется признать, что каждая языковая группа переживает лишь те стадиальные смены, каковые застигаются ею самою на путях ее развития. Предшествующие же стадиальные состояния переживаются другими языками, хотя бы и легшими в основу изучаемого, уже нового языкового состава. На самом деле, пережитое состояние скачка может дать новый язык или новую языковую группу, оставляя позади себя предшествующие стадиальные смены, пережитые качественно иными языками, следовательно иными языковыми группировками.

В частности, русский язык, являющийся равным образом продуктом истории, мог в путях схождения других языков, значит еще в период своего собственного образования, уже изначально носить в себе признаки, например, флективности. И потому утверждать, что и он, наравне со всеми другими языками всего мира, должен был когда-то пережить аморфно-синтетический строй — едва ли возможно. Для подобного рода утверждения достаточно учесть хотя бы то, что в то время, когда в Восточной Европе существовавшие в ней

языки могли характеризоваться аморфным синтетизмом, в этот самый период русского языка, вероятно, вовсе и не было.

При таких условиях возможно, что O. Jespersen все же не так далек был от истины в своем утверждении о том, что индо-европейские языки искони флективны. Действительно, конгломерат племен, обитавших на территории Франции и именуемых галлами в римских источниках, не говорил на французской речи, поскольку в то время не было еще французов в Западной Европе.

Каков был строй речи того периода — сказать трудно, но все-таки некоторые указания на то имеются, причем данные этого порядка в западной части Европы небезынтересны для историка-лингвиста. Языки могли перестраиваться на индоевропейскую структуру, могли и подпадать под воздействие уже сложившейся по соседству индоевропейской речи, например латинского языка. Во всяком случае характерно уже и то, что одни из наиболее древних языков из числа доступных изучению на данной территории — кельтские, с их наличным живым представителем бретонским, представляют собою, в результате проведенного Н. Я. Марром анализа, еще не индоевропейское образование в полном смысле этого слова, а только переходную ступень стадияльного развития звуковой речи между языками древнейшего населения Европы и языками индоевропейской системы. Таким образом, кельтские языки выявляют собою ту же ступень, как и армянские Кавказа, переживающие ее, во всяком случае, независимо от кельтских

В данном случае вопрос о том, каким образом получалось отмеченное переходное состояние речи, т. е. путем ли внутренней трансформации или же в результате скрещения местных языков с уже сложившимся индоевропейским по соседству, хотя бы с латинским, имеет значение скорее для исследователя поводов проявляющейся языковой перестройки, чем для анализа наблюдаемого процесса самого по себе. И в том и в другом случае факт переходного состояния окажется налицо, также как налицо окажется и факт идущей трансформации. И если он улавливается по отношению к будущим романским, то его же надлежало бы установить и для прошлого самого латинского языка, хотя бы он в своих элементах индоевропеизации шел иными путями.

Во всяком случае, мы можем признать в достаточной степени устанавливаемым только одно, а именно, что в Европе мы все же наблюдаем момент становления индоевропейских систем в хронологических границах весьма не отдаленного от нас времени лишь нескольких тысячелетий уже развитой культурной жизни. А из всего сказанного не так уж трудно притти к выводу о том, что не только не

устранена постановка задания прослеживания моментов становления индо-европейских языков, но не устраняется и возможность того, что даже в период своего становления эти языки уже носили в себе развитые признаки речевой структуры. Значит, они и изначально могли быть уже флективными.

Отсюда само собою напрашивается заключение о том, что для более полной характеристики любой языковой группировки, вовсе не исключая и индо-европейской, требуется детальная проработка материала не одним только типологическим анализом. Так, если каждая языковая группировка является продуктом исторического процесса, то для определения ее необходимо выяснить как движущие причины данного исторического явления, так и пути самого исторического хода развития, приведшие к определенному виду схождения языков. Как раз этого рода работа и не была проведена при установлении круга индо-европейской семьи языков, искусственно включенных в одну группу в значительной степени по расово-географическому признаку, т. е. по той же самой схеме, по которой проводит свои построения этнолого-лингвистическая школа культурных кругов. К тому же, отнесение в одну семью языков таких разнотипных представителей, как французский, немецкий и русский (романская, германская и славянская группы), противоречит даже и формально-типологическому признаку.

Не меньше затруднений в вопросе о классификация языков представляет и словарный запас, на каковой в проблеме группировки обращается чуть ли не преимущественное внимание. Работа по распределению языков по семьям в значительной степени проводится по общности корнеслова. Между тем, вопрос о том, как установить основной состав слов для данного языка — далеко еще неясен.

Неправильная постановка исторического подхода с вечным стремлением к выискиванию чистоты языковой структуры приводит к отделению основного корнеслова от заимствованного с тенденцией признания за последним незыблемости иноземного его происхождения, также как и незыблемости своего собственного коренного состава. Из опыта работ даже последнего времени мы видим чрезвычайную стойкость лингвиста в стремлении к тщательной выборке иностранных слов из языка его специальности. Это стремление налицо у тюркологов в части иранских и арабских корней, у германистов в особенности по отношению к корням романской речи и т. д. Налицо оно и у руссистов. Лингвист и здесь в подавляющем большинстве случаев утрачивает историческую перспективу жизни самого слова, хотя бы и явно заимствованного. Между тем, попав в новое для него окружение, такое слово поддается взаимодействию с прежде чуждой

ему средой и в результате входит в общий остов языка. Но в этом отношении вовсе не все иноземные когда-то слова оказываются в одинаковом положении. И тогда как одни из них уже являются равноправными сочленами данного языка, другие не изжили своего иноземного содержания.

Исследователь-лингвист здесь оказывается слишком формальным, базируясь на подлинном, а иногда и мнимом факте заимствования и отмечая его в своей словарной работе без всякого учета социального воздействия того или иного общественного слоя на взятое им извне слово. Такое слово, попавшее из иной языковой среды, получает мнимый ярлык отчуждения и сохраняется с ним без каких-либо попыток постановки вопроса о том, может ли чужое слово стать своим и освоиться языком как свое собственное.

Так, например, в русской разговорной речи чувствуется различие в иноземном происхождении даже таких слов, как «оккупация», с одной стороны, и «курс», «канал», «чай», с другой. Все они заимствованы, и даже устанавливается дата их появления в русской речи, но языковое осознание носителя речи утрачивает уже восприятие последних трех слов как иностранных. Они становятся в осознании говорящего своими словами, и, наоборот, чуждыми, как бы иностранными скорее окажутся такие слова, как «град» (город), «изгой», «смерд» и т. д. Эти слова вышли из обихода или претерпели фонетические изменения и становятся благодаря этому уже чуждыми современному состоянию речи, во всяком случае более чуждыми, чем отмеченные выше явно иностранные по своему происхождению слова, чему ярким подтверждением служит пример с «калошами» и «мокроступами».

Все же исследователь продолжает делать основной упор именно на заимствования, хотя и тут он нередко сбивается с им же намеченного пути. Так, когда «иноземное» происхождение отдельных слов не улавливается не только речью, но и научным работником, то слова такого типа, как «море», «мать» и др. не отмечаются вовсе в их иноязычных параллелях (см. словари Даля и академический) и воспринимаются как русские с эквивалентом из церковно-славянского и редкими ссылками на эквиваленты из других индо-европейских языков. Именно поэтому такие слова легко попадают в общий слой индо-европейского корнеслова и истолковываются как свои коренные слова в каждом языке, в котором данные основы находят себе место, т. е. как коренные слова целого ряда языков. Это и ложится в основу классификации.

Идя по такому пути, исследователь нередко или искусственно устанавливает заимствования, опираясь только на формальный при-

знак, или же вовсе обходит вопрос о заимствовании, в особенности в тех случаях, когда анализируемое слово уже налично в древнейшем письменном памятнике изучаемого языка.

Такая постановка явно неправильна, и если мы учтем количественную сторону наблюдаемого факта (широту распространения слова в языке, частое его употребление в обыденной речи и т. д.) и в связи с этим качественную его перестройку, то мы неизбежно придем к выводу о возможности внедрения заимствованного когда-то слова в основной слой речи, лишь условно носящий наименование «коренного», т. е. имеющего корни в своем языке. Такие внедренные слова дают свои семантические продвижения («калоша» в разных ее смыслах) и ответвления. Они морфологически оформляются по правилам воспринявшей их речи («чай», «чайничать», «чайный» и т. д.) и кажутся вовсе не странными произносящей их социальной среде, также как не странным представляется немецким колонистам Закавказья слово «закусирен», произносимое в комплексе немецкой речи (Kommen Sie sakussieren в значении «пойдемте завтракать»).

Как на пример подобного рода постановки можно сослаться хотя бы на то, что тюркское *su* «вода» находит себе тождественный фонетический эквивалент с тем же самым значением в халдском (*su* «вода», «озеро»), что отнюдь не устраняет за означенным тюркским соответствием признания закономерного основного тюркского же слова. Наоборот, если мы продолжим до бесконечности выключение из изучаемого языка сначала явно заимствованных слов, затем слов, утративших дату заимствования, но имеющих в других языковых системах, затем вообще слов, наличных своими эквивалентами в иных группировках и т.д., то в каждом языке останется весьма ограниченный запас, но и его легко будет признать за преемственно доставшийся корнеслов от исчезнувших языков, на почве которых создан данный объект исследования. Таким путем, в конечном итоге, окажется, что ни один язык не является собственником своего самостоятельного запаса слов, и что весь его корнеслов состоит из чуждых элементов.

Очевидно, что указанный путь исследования, равным образом, не стоит на безукоризненно прочной почве и что мы, признавая присутствие в каждом языке характеризующего его словарного состава, должны подойти к его определению на новых основаниях с учетом его движения.

Известного рода текучесть корнеслова обуславливается в свою очередь не одною только внутреннею трансформацией, когда, при расщеплении, одинаковые основы оказываются в различных уже выделяющихся языках, но и в схождении языков и в диспансии тер-

минов, разносимых действующею в данном случае общественною средою. Такая действенная среда в разные периоды развития общества будет различною. Так, например, в классовом обществе такая активная среда оказывается уже классом, ведущим к распространению воспринятого им корнеслова, хотя бы в путях распространения литературного языка и его взаимной связи с существующею народною речью. Но и в доклассовом еще обществе роль общественного слоя (очевидно уже не класса), как разносителя общей терминологии, вовсе не устраняется. Общественный слой и тут выступает мощным фактором, воздействуя на такой же ход исторического в языке процесса, хотя бы и на иных основаниях.

В экспансии корнеслова еще в «доисторических» языках могли сыграть свою роль, например, торговые пути, рабство, дружины военачальников, державшиеся постоянными войнами и набегами. Так, дружины германцев оказывались подвижными и в центре своих племен и вне их, даже в составе римских войск. Это только один пример, но и его достаточно для утверждения текучести корнеслова, следовательно и необходимости учета этой текучести при разрешении общих вопросов глоттогонии. Здесь объединение словарного запаса идет не только путем слияния племен в союзы, но и путями усиления активной роли определенного общественного слоя, входящего отчасти и в роль такого объединителя и в роль активного участника в установлении взаимоотношений с иноязычным народом.

Такой общественный слой, с одной стороны, ускорял процесс объединения разрозненной племенной речи, непосредственно участвуя тем самым в установлении общего корнеслова, им же разносимого; с другой стороны, он же легко мог оказаться и разносителем чуждого корнеслова через иноплеменных рабов, торговцев, через военную дружину с ее вождем в особенности тогда, когда ему «нечего было делать в ближайших окрестностях» и когда он в силу этого «направлялся со своим отрядом к другим народам». Тем самым воспринимались «иностранные» слова, содействуя в частности, внедрению в создающуюся германскую речь и латинского корнеслова.

Индо-европейская школа обходит всю эту сложную обстановку и вовсе не ставит вопроса о происхождении изучаемого языка или же разрешает его тем же формально-типологическим методом, возводя языки к праязыковым ячейкам. Лишь в отдельных случаях имеются намеки на миграцию, там же, где переселенческий момент не улавливается или где имеется более данных об автохтонной перестройке, вопрос генетического порядка вовсе обходится молчанием. В таком положении лингвист оказывается нередко. Возьмем любой из язы-

ков Передней Азии. Так, например, трудно объяснить появление языка ахеменидской Персии VI века до нашей эры переселением народа, засвидетельствованного в своем имени Парсуа на том же месте, во всяком случае еще в VIII веке (см. клинообразные надписи Вана и Ассирии), ссылая же на мидийский язык темна и непонятна, так как сами же ахеменидские надписи различали оба языка своими переводами (язык второй категории ахеменидских текстов). При таких условиях, подходя формально к древнему языку Ирана, придется признать необходимым или провести его палеонтологический анализ, прослеживая пути диалектического его развития в результате коренной ломки социального строя Передней Азии именно в указанное время, или же признать его неожиданное появление и на этом успокоить исследовательскую мысль.

По последнему пути идет основная линия работ старой лингвистической школы, чем и объясняется ее тенденция брать любой язык в целом, сложившемся его состоянии без постановки вопроса о его происхождении и в лишь кажущейся его цельности, а этим в свою очередь обуславливается только формальное его описание без возможности уточненного усвоения его содержания.

Историческая схема нового языкознания обращается в другую сторону с резким противоречием той, каковая построена и поддерживается старым направлением в лингвистике. В противоположность ей обостряется у лингвиста также внимание и на исторический процесс общественных перестроек, разнообразно отражающихся в идущих сменах языковых структур. Отпадает в первую очередь искусственное праязыковое деление, несоответствующее общественному историзму, с которым связан язык, как всеми признаваемое явление социального порядка. В связи с этим коренным образом должен перестроиться и сам подход к классификации языков.

Прежде всего не подлежит сомнению, что ныне существующие языковые группировки вовсе не изначальны. Они оформляются в процессе исторического развития, и выяснение места их в этом процессе вовсе не уточняется традиционными поисками праязыка. Именно поэтому индо-европеистические построения, несмотря на проведенные сложные и кропотливые работы, оказались крайне упрощенными и далеко недостаточно обоснованными на чрезвычайно осложненном ходе истории.

С другой стороны, перестраиваясь в лингвиста-историка, языковед нашего времени неминуемо выходит за узкие рамки привлекаемого индо-европеистикой материала не только в ширину, с более усиленным привлечением диалектов и говоров, но и в глубину в пределах достигаемого материала, хотя бы по сохраняющимся в нем

пережиткам предшествующего иного состояния. Такое расширение представляется необходимым, во-первых, потому, что история языка вовсе не ограничивается периодами одной только письменной речи и кроме того вовсе не полностью в ней представлена. Письменная речь, к какой бы древности она ни относилась, не создает вполне выраженного в ней языка, а лишь передает уже наличные его нормы, создавшиеся задолго до работы писца. Ввиду этого исследователь, приступая к анализу речи письменного памятника, как к единственному неоспоримому и цельному историческому документу, не сможет понять структуры речи его источников без установления корней изучаемого периода самого исследуемого памятника. Историческая его характеристика останется неуловленной без постановки вопроса о содержании предшествовавшей ему бесписьменной речи и самой качественно иной письменности предыдущей ступени, давших и строй исторически зафиксированного языка и схему исторически начертанного письма. Следовательно, история развития речи, необходимая в своем уяснении для правильной постановки проблемы классификации, должна браться во всем охвате всего достигаемого исторического процесса.

Именно это и отметил Н. Я. Марр в своей речи на ноябрьской сессии Академии Наук 1932 года. По его словам: «наш метод исторического изыскания ведет всегда от близкого к дальнему, от родного к чужому, от известного к неизвестному, в языках — от новых к старым, от устных живых к так называемым мертвым письменным-классовым (в классовых же переделках иногда они и ныне бытовые — первобытного общества), в области материального производства — от памятников материальной культуры позднейших и современных бытовых к древним и древнейшим».

Такой расширенный диапазон исторического размаха лишь уточняет конкретный анализ конкретно взятого языка. Только при нем возможно прослеживание смен языковых структур, их периодизация и образование новых в процессе коренной ломки прежних. Историческая перспектива развития речи вскрывается лишь при широком охвате языков и современных, и древних, и письменных, и бесписьменных. Так, например, одно лишь сопоставление колониальных языков отсталых народностей с речью современной Европы уже само по себе выдвигает перспективу архаизма и продвижения. Языки отсталых народностей выявляют сложнейшую конкретизацию с нанизыванием характеризующих частиц одна на другую, тогда как европейские языки вносят значительную долю абстрагирования. Так, в последних приводятся общие формы иногда без их уточнения специальным указанием действующего лица, предмета дей-

ствия, направления, цели и т. д., тогда как языки родового строя отличаются именно этой особенностью. Причина данного явления, равным образом, оставляется нередко без объяснения, несмотря на то, что смена мышления сама напрашивается здесь на учет.

Мышление индейца Америки, негра Африки, австралийца и т. д. отделяется этнографами от мышления европейца. Но и у самого последнего нормы действующего у него логического сознания вовсе не изначальны. Человечество достигает их длительным путем внутренней своей собственной перестройки. Отсюда придется признать, что ту же стадию, в какой находятся языки родового строя с его нормами мировоззрений, переживали когда-то и языки населения Европы. Эти языки исчезли, но не бесследно. На их месте в процессе их же трансформации образовалась речь последующей стадии. Появились уже новые языки, заменившие в процессе взрыва предыдущее состояние с резкою сменой и норм действующего сознания.

Казалось бы, что взаимоотношение языка с мышлением уже по одному этому получает свое законное право на исследование. Но мышлением в его связи с языком лингвисты вообще почти не занимаются. Даже де-Соссюр ограничивается лишь заявлением о том, что язык непосредственно не подчиняется мышлению говорящих. Вопрос в этом направлении с достаточною глубиною еще не прорабатывался, и это вполне понятно, поскольку для лингвистики старого направления единственным и истинным объектом изучения являлся все же только язык, «рассматриваемый в самом себе и для себя». Заново с возможною полнотою проблему взаимосвязи языка и мышления в ее конкретном выявлении на языковом материале дает Н. Я. Марр, ставя данную тематику на последнем этапе своих работ, начиная с 1930 года.

Весь ход языкового развития и состояние каждого языка в отдельности многим сложнее той упрощенной схемы, каковая обычно предлагается в общих курсах языкознания и в отдельных описательных грамматиках. Языковая структура подвергается коренным сдвигам, свидетельствуя трансформационный процесс своего движения, переходя с одной ступени на другую. Такие переходы выявляются в изменениях семантического продвижения корнеслова и в изменении принципов структурного оформления в целом (стадии). Параллельно этому стадийному делению общего хода развития речи по доступным изучению языковым материалам устанавливается новым учением о языке и распределение языков по системам согласно выявляемым ими сближениям и расхождениям между собою как в общности корнеслова, так и в грамматической морфологии. Оба эти деления по стадиям и системам не перекрывают одна другую, они

могут не совпадать, в частности одна стадия, то есть один определенный взятый период развития речи, включает в себе несколько систем, тогда как одна система может оказаться разностадиальной. В таком именно состоянии и оказались, по утверждению Н. Я. Марра, языки яфетической группы (систем), в том числе и кавказские.

Наиболее ясное различие существа систем и стадий будет, при таких условиях, заключаться в том, что стадии представляют собою ступени в историческом ходе развития единого языкового процесса и потому прослеживаются на всем языковом материале в его целом. Именно здесь наиболее ясно выражается периодизация по связи языка с мышлением. Изменение мышления, зависящее от развития материального производства и материального общения людей с их развивающеюся идеологиею, отражается в языковом строе, передавая также и отношение человека к изменяемой им природе. Таким образом, подчиненное последней самопонимание в стадии мифологического или «магического» мышления не могло не отразиться и на языковом строе. Таковой, в своей формальной части, не мог по изложенным причинам опережать вкладываемое в него содержание. Другими словами, активный строй логического мышления не был в состоянии выявиться в языках, выражающих миропонимание еще мифологического состояния до выработки норм логического сознания. Пока не было этих норм, и язык не мог их передавать ни в семантике корнеслова, ни в своем структурном оформлении. Тем самым стадиальное языковое деление обусловлено периодизациею мышления и через него связано с социальной основой общественного развития. Но все-таки это языковое деление по стадиальным переходам не совпадает механически с делением мышления по периодам. Связанная с ними языковая структура все же характеризуется и своею формальною частью. Последняя, в процессе своей перестройки под воздействием нового содержания, дает свои соответствия между формой и действующим ее восприятием. В результате формальная часть, еще не взломанная новым содержанием языкового строя, отделяется от предыдущего своего же состояния новым содержанием, но тяготеет попрежнему к нему по формальной передаче норм изменившегося сознания. И поскольку языковой строй рассматривается во всей совокупности формы и содержания, постольку же подобный вид внутреннего противоречия образует отдельную языковую ступень, то есть отдельную стадию. В таковом положении оказываются, например, эргативные языки (см. кавказские яфетические), в которых пассивный строй речи воспринимается нормами логического сознания. Но все же и тут мышление, как фактор классификации, вовсе не отстраняется, наоборот, именно оно, в его расхождении с

общим строем речи, лежит в основе стадиального выделения. Таким образом, несмотря на обязательный учет формальной стороны и именно благодаря ему, все же стадиальная периодизация во всем ее объеме проводится в своей основе по взаимоотношению языкового строя с историческим ходом продвижения мышления.

При дальнейшей более детальной проработке явится возможность построения цельной схемы стадиальных чередований в языке, что и вполне оправдывается моментами монизма в языковом развитии. Получится своего рода «языковая стадиальная стратиграфия». Но все же намечаемые стадии, ввиду частичного налегания характеризующих признаков в преемственном процессе исторического движения и сохранения пережиточных элементов предшествующего стадиального состояния, окажутся безукоризненно выдержанными только в теоретических построениях, на практике же «чистых» стадиальных представителей не окажется вовсе. Следовательно, отнесение той или иной группировки языков к определенному стадиальному состоянию проводится с учетом решающих, ведущих стадиальных признаков. Это придется иметь в виду по отношению к каждой рассматриваемой ниже стадии. Все они определяются лишь общей основой структурного оформления, еще содержащего в себе сосуществующие пережиточные нормы и уже выявляющего в той или иной степени закладываемые элементы движения вплоть до элементов продвижения в последующую стадию. В таком положении оказываются все языки. Именно поэтому взаимоотношение всех слагаемых, то есть и пережитков, и зарождающихся новых норм, и разнотипности действующих стадиальных признаков, все это служит в свою очередь основой для группировок, но уже не стадиальных, а внутристадиальных, следовательно группировок иного характера (системы).

Чередование стадий проходит весь период существования речи целиком, хотя и улавливается по наличному материалу только с известного периода уже до известной степени развитого общественного состояния и развитого состояния речи. Все же, при таких условиях, допустима и постановка, хотя бы в теоретическом порядке, вопроса о древнейших стадиях речи, включая и первичную, то есть стадию, характеризующую речь на первых этапах становления человека. Для этого Н. Я. Марру послужили основанием, с одной стороны, палеонтологический анализ позднейших речевых систем со спуском в предшествующие им периоды, а с другой стороны, такой же анализ не языкового материала, выясняющего социальный строй человека и его мышления периодов, лишь отраженных в непосредственных языковых фактах.

Другое дело с системами. Понимая под ними обособившуюся

языковую группировку, мы и в них уже заранее предопределяем временный характер. Прежде всего, каждая система складывается в определенном историческом периоде и может исчезнуть в процессе переживаемых трансформаций.

Мы знаем ряд исчезнувших языковых систем, и отрицать их наличие в далеком прошлом едва ли придется, если признать правильность нашего подхода к истолкованию процесса развития речи. Языковые группировки существовали и в древности. Они равным образом слагались под социальным воздействием, но они же и исчезали с исчезновением их носителей по мере трансформации последних в иные социальные образования, иногда искусственно сохраняясь в культовой речи и т. д. В связи с этим гибли и целые языковые системы, равным образом перестраивавшиеся в другое состояние под воздействием пережитого сдвига. Все же в процессе перестройки отдельные элементы погибших систем могли или оказаться пережитками в последующих, или же совпасть со сходными им в других системах тоже последующих периодов, давая, тем самым соблазнительные основания для сравнения и даже отождествления различных систем речи, нередко с крайне шаткими выводами в тенденциозных поисках извечных языковых семей. Так обычно обстоит дело с вновь изучаемыми языками, так было, например, с шумерским, который Ауган отнес к числу индо-европейских по отдельно взятым, выхваченным признакам, так было с халдским, на тех же основаниях отнесенным Сандаджаном к тем же индо-европейским, и т. д.

Системы, таким образом, определяются по формальному в них выявлению стадияльных особенностей. В последних имеются схождения и расхождения. По принципу схождения строятся системы, имеющие в свою очередь свои схождения и расхождения, обуславливающие деление по языкам, а внутри их, на тех же основаниях, по диалектам и т. д. Каждая система имеет свою типологию, то есть, относясь к определенной стадии, вырабатывает свои специфические формальные показатели. Поэтому индо-европейские языки разбиваются на группы по типологическим их особенностям, не образуя типологического между собою тождества и даже близости. И если де-Соссюр утверждает, что «некоторые из индо-европейских языков даже до такой степени изменили первоначальный индо-европейский характер, что кажутся представителями совершенно иного лингвистического типа», то отсюда сам собою напрашивается вывод о том, что эти языки разнотипны и генетически не общи или же, во всяком случае, стали разнотипными, если когда-нибудь и принадлежали к одной группе. Другими словами, индо-европейские языки в настоящем их состоянии не образуют одной единой системы, тогда как

тюркские и семитические признаются самим же Н. Я. Марром правильно уловленными в своих группирующих рамках. Во всяком случае нельзя отрицать того, что типологические показатели, меняются, поэтому и системы могут распадаться и составляться затем по иному типологическому признаку.

Только таким путем можно с доступною полнотою проследить и идущий процесс трансформации языковых систем и движущие его силы. Но в ходе этого процесса выявляются не одни только внутренние языковые перестройки, но и языковые схождения, установить каковые невозможно без более широкого привлечения различных языков в горизонтальном разрезе синхронического их сосуществования. При таких условиях сам принцип группировки по языковым семьям должен коренным образом измениться с неперменным учетом того, что само распределение языков не может быть стабильным и неизменным для всех их периодов, и тем более не может быть изначальным. Языки изменяются как в процессе движения своих внутренних противоречий, так и в идущем ходе сближения языков и частичного даже слияния их. Поэтому подлежат уточнению и пути схождения языков, различные в различные периоды и при различных условиях одного и того же периода. Например, схождение монгольских языков может идти другими путями, чем схождение тюркских, и на иных условиях, чем шло схождение романских. Все это затрудняет проблему группировки языков и в то же время требует уточнения самих признаков отнесения данного языка к той или иной группе.

В задачу настоящего моего курса вовсе не входит проведение полной классификационной схемы. Я ограничиваюсь лишь заданием провести на конкретном материале основную постановку Н. Я. Марра, кратко и сжато изложенную в трех вводных главах. Более того, я делаю пока исключительный упор на стадиальность, избегая углубления в тематику деления языков по системам.

Языковые стадии, по намеченному Н. Я. Марром пути, требуют выявления их на самом материале. Но, опираясь на лингвистический материал, приходится излагать и его формальную сторону и его динамику, прослеживаемую в той же формальной стороне. При этом анализ формы, в заданиях выявления ее историзма, нуждается в неоднократных сравнительных параллелях. Яфетидология, оспаривая правильность формально-сравнительного метода, вовсе не отказывается ни от изучения формы, ни от сравнительного подхода, перестраивая его на сравнительную палеонтологию, то есть на сравнительное изучение формы в ее историческом движении, во взаимоотношении формы с ее социальною значимостью, и восприятия ее

(содержания), что в свою очередь ведет к уяснению данного содержания сосуществующими нормами сознания.

Вместе с тем в языковом строе вырабатываются свои типологические показатели в стадиальном разрезе. Эти показатели находятся в том же движении и в коренных типологических сменах. Резкие языковые сдвиги дают новые языковые образования, кажущиеся новыми и действительно новые, но все же в преемственном трансформационном ходе развития речи. Понять такой процесс движения и ход изменения языковых показателей можно только путем сравнительной палеонтологии. Этим путем устанавливается преемственность меняющихся языковых форм, грамматического строя и т. д. из стадии в стадию с новым качественным состоянием и в то же время с глубокими корнями в качественно иное прошлое. Тем самым устанавливается и преемственность стадиальной типологии.

(1936)

О. М. Фрейденберг

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ НАД СЮЖЕТОМ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ

1

При выборе коллективной темы группа* остановилась на анализе сюжета Тристана и Исольты. Выбор именно этой темы не был случаен: Н. Я. Марр давно интересовался генезисом сюжета «Тристана и Исольты» и в очень многих работах касался его и возвращался к нему. Положив в основу своих работ именно данную проблему, группа встала на путь коллективности еще и в том отношении, что централизовала свои работы вокруг актуальных запросов яфетидологии. Уже давно Н. Я. Марр говорил о том, что в «Тристане и Исольте» мы имеем дело с так называемым яфетическим эпосом,

* Имеется ввиду группа палеонтологической семантики мифа и фольклора Яфетического института Академии Наук. В оригинале данная статья называется весьма своеобразно: «Тристан и Исольта. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афреватии: коллективный труд сектора семантики мифа и фольклора. Далее в скобках упомянут автор «коллективного труда» — О. М. Фрейденберг. — *Прим. изд.*

т. е. с созданием — в терминологии Н. Я. тех лет — доисторической общественностью Афревразии сказаний о космических стихиях, о солнце-Тристане и воде-Исольде, причем то, что мы сейчас называем поэмой или романом двух любовников, представляет собой кельтское (мы бы сказали теперь: стадиальное) оформление этих доисторических сказаний, оформление средневекового западного феодализма. Задача, которую предстояло группе выполнить, обрисовывалась из положений, выдвинутых Н. Я. Марром еще в 1923 г., в статье «Из поездки к европейским яфетидам». «Занятия по кельтским языкам — писал Н. Я. Марр, — ...осветили невиданным светом ряд культурно-исторических важных западно-европейских терминов и раскрыли происхождение, яфетическую природу имен известных героев средневекового европейского эпоса, что заставило вплотную подойти к вопросу о знаменитом романе “Тристан и Исольда”, его связях и его генезисе. Помимо средневекового персидского романа “Виса и Рамин”, с “Тристаном и Исольдой” в родстве оказался обрывок армянского эпоса о Сартенике... и т. д. ... У нас источником общим для творений иранского, кавказского и бретанского, единственным на этих столь отдаленных друг от друга пунктах намечился яфетический эпос, народное сказание о стихиях доисторического или космического содержания, составляющее единый фонд первоначального населения Европы и Передней Азии. Блестяще оправдалось предположение G. Paris, что в Тристане имеем солнце, преobraженное в героя любви; разъяснились равным образом не только в своем значении, но и морфологически имена других героев и героинь романа; в беспримерном во всей Европе, как G. Paris предполагал, во всем мире, любовном романе французского или английского феодального средневековья оказались пережитки эпических рассказов далекой доисторической общности космической эпохи». Далее Н. Я. Марр говорит о доисторических первосоздателях «космической фабулы, связей, расхождений, любви и вражды солнца, месяца, моря-воды, Тристана, Марка и Исольды» и заканчивает так: «Тристан и Исольда... имеет свои генетические сродные параллели и на востоке в Иране и на Кавказе, и в эгейском отрезке Средиземноморья ... и... все они в совокупности, да каждый в отдельности, вместе с Илиадой и Шах-Намэ... принадлежат творчеству одного и того же мира, в архетипе творчеству до-индоевропейского яфетического населения соответственных районов старых частей света; более того, там же, в работах у меня еще на западе намечилось также, какое из семи или пяти яфетических племен было последним передатчиком этой поразительной мировой поэмы любви позднейшим поколением человечества: это были галлы или кельты, они же колтаны или

колхи, они же околоты или скифы, одинаково как на западе, так и на востоке; никто ни у кого, ни запад у востока, ни восток у запада не брал в этом культурном творчестве ничего, все бралось в каждом районе из своих недр, своих этнических залежей общего субстрата всего населения Европы и Передней Азии». Помимо этих высказываний, для группы еще имели первостепенное значение и слова Н. Я. Марра в «Иштари» (ЯС V 113): «Начав с Тристана и Исольды, в частности я незаметно для себя докопался до Иштари, оказавшейся ее (Исольды) прародительницей, ее тезкой». Подзаголовком к этой статье Н. Я. Марр поставил: «От богини матриархальной Афревразии до героини любви феодальной Европы», где под этой героиней любви понималась именно Исольда, одно из завершений (мы теперь сказали бы — стадиальных эквивалентов) Иштари. Так как группе предстояло проделать обратный путь, от Исольды к Иштари, она приняла подзаголовок своей коллективной работы: «От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афревразии».

Как уже было сказано, основные руководящие высказывания Н. Я. Марра о сюжете «Тристана и Исольды» относились к 1923 г. Между 1923 г. и 1931 г. лег период времени, имевший решающее значение для яфетидологии: период уточнения теоретических предпосылок на основе марксистской методологии и стремления как можно планомерней проводить их на конкретном «яфетическом» материале, т. е. на материале «забытой истории» современных народов. Этот новый этап в развитии яфетидологии выдвинул на первый план проблему стадиальности. Правда, и в 1923 г. Н. Я. Марр уже в приведенных его высказываниях давал установку на стадиальность: основная мысль Н. Я. о сюжете «Тристана и Исольды» заключалась в том, что сюжет не рождается из ничего, но что его история есть история его развития, т. е. что он построен на семантическом пучке, отражающем мышление «космической» стадии, обусловленное производственным процессом первобытного общества. Наличный в оформлении средневекового феодализма сюжет является лишь последним звеном в длинной цепи трансформаций, обусловленных сменой форм общественного уклада. Когда группа приступила к работе, проблема стадиальности была уже сформулирована. Приведенные выше высказывания Н. Я. Марра, оставаясь в силе в основном, потребовали некоторых уточнений. Палеонтология сюжета, показывая возникновение этого сюжета на почве определенного миросозерцания, раскрывает не одну эпоху первобытной общественности, но последовательные стадии развития мышления и миросозерцания в зависимости от смены форм общественного уклада. Термин «яфетический», в применении к до-индоевропейским творцам

этого мирозерцания, совершенно утратил свое этническое значение и является просто указанием на ранние стадии первобытной общности. Термин «космическая фабула» принимается яфетидологами условно для обозначения мирозерцания до-тотемистического общества, говоря о том, что на этой стадии в коллективном сознании уже закреплён целый ряд явлений внешнего мира, воспринимаемых впоследствии как элементы космоса. Следовательно, отводя генезис сюжета «Тристана и Исольты» к «эпохе космического мировоззрения», Н. Я. Марр указывал только на начальную стадию сюжета; группе предстояло воссоздать его стадийный процесс. Это значило, что группа должна была проследить весь путь сюжетных трансформаций, отражающих отдельные этапы развития мышления, в зависимости от смены социально-экономических укладов.

2

Формальный метод в литературоведении заключался в том, что литература рассматривалась им в качестве готового, самостоятельного и изолированного явления. Литература, с точки зрения формалистов, не представляет собой надстроечной категории, а потому не связана с историей общественного мировоззрения. Существует — учили формалисты — вечная жизнь форм, вечные законы литературного сюжетосложения; каждое литературное произведение индивидуально создано (даже, верней, сделано) отдельным автором по этим вечным законам. Отсюда, художественность произведения — результат сознательной монтровки. До них, до формалистов, исследователи впадали в другую крайность: они сводили всю сложность вопроса о происхождении сюжета к индивидуальной психологии автора. Там и тут литературное произведение изучалось вне связи с общественным мировоззрением и порождающей его базой. Кроме того, обе школы создавали водораздел между литературой и не литературой, т. е. фольклором. Литература, по их мнению, представляла собою жизнь форм или была продуктом личной авторской психики. А фольклор — это безымянное, бесписьменное творчество, лежащее вне художественного критерия. Конечно, отдельный автор мог взять тот или иной элемент фольклора и придать ему художественный характер; фольклор мог, при помощи того же индивидуального автора, очутиться в литературе. Но как очутиться? — В качестве все того же самого фольклора, механически взятого в своем цельном «фольклорном» виде и перенесенного в художественное литературное произведение. Это называлось (и посейчас еще называется!) «фольклорным элементом в литературе» и «использованием фольклора в

литературе». Палеонтологический анализ, выдвинутый яфетидологией, поставил вопрос совершенно иначе. Он показал, что литература, как и фольклор, — идеологическая надстройка, т. е. что они имеют путь исторического развития, соответствующего путям развития общественного сознания, развития общественных отношений и форм хозяйства. Разница между литературой и фольклором — разница стадияльно-историческая. Литература — продукт классового общества; но прежде, чем стать собой, она проходила ту стадию, которая нам близко знакома в форме фольклора. Но и сам фольклор имел длинный путь исторического развития; ему предшествовала стадия в до-классовом обществе, когда существовало одно мифотворчество, и фольклора, как такового, еще не было. В эпоху феодализма литературный сюжет получает уже литературное оформление, но все еще стоит на стыке с фольклором; именно на сюжете мы видим особенно четко весь путь развития от зачаточного мировоззрения первобытного общества к мифу, от мифа к простейшей литературной ячейке.

Таким образом, палеонтологический анализ (анализ генетико-социологический) идет от «готового» явления вглубь и вскрывает, этап за этапом, многостадияльность развития этого явления. Вопреки формализму, он показывает, что «раз навсегда данные художественные формы» исторически-подвижны и что их качественная изменчивость вызвана общественным мировоззрением, обусловленным базой; с другой стороны, то, что формалист приписывает индивидуальному автору, то палеонтолог может найти в фольклоре или в мифологии. Дело, следовательно, не в том, чтоб откапывать «элементы фольклора в литературе», пересаженные автором из одного произведения в другое, свое, а в том, чтоб подходить к фольклору, как к исторической стадии, предшествующей литературе. И дело не в том, чтоб устанавливать классификацию на основании формальных признаков устного или письменного творчества, безымянного или авторизованного, а в том, чтобы подвести фундамент под самое творчество и показать его исторический характер, как надстройки.

3

Ясно, что постановка вопроса, данная еще в 1923 г. Н. Я. Марром, порывала не только с формализмом, но с теорией заимствования («никто ни у кого не брал ничего») и с теорией самозарождения («все бралось в каждом районе из своих недр»). Ясно и то, что такой подход подводил мировую базу для каждого отдельного фольклорно-литературного явления («единый фонд первоначального населения Европы и Передней Азии»). Стадияльный подход еще больше разме-

жевал яфетидологию с предшествовавшими ей теориями: там, где видели заимствование, палеонтологический анализ обнаруживал одинаковую идеологическую продукцию, вызванную одинаковым этапом общественного развития; где факт считался упавшим с неба или впервые самостоятельно рожденным, палеонтология вскрывала его долгое пребывание в неоформленном или совершенно измененном виде. Отсюда — и тот разрыв с современной западной наукой, который вытекает с полной неизбежностью из формулировок Н. Я. Марра. Из сборника будет видно, как западная буржуазная наука подходит сейчас к тем самым вопросам, которые встали перед группой. Европейская наука, работая над «Тристаном и Исольдой», приходит к мысли об его чисто-литературном «прототипе» (который никогда до нас не доходит!); этот прототип затерян; но все существующие версии «Тристана и Исольды» — это все заимствования из этого одного, кем-то когда-то где-то написанного произведения. Когда группа познакомилась с такой постановкой вопроса на Западе, она увидела, что ей нужно подойти к этому же материалу с совершенно иной методологической позиции. На готовое литературное явление следовало реагировать вопросом о происхождении самой литературы, и отвести ей, как надстройке определенных исторических стадий, надлежащее место; творчеству отдельных авторов предстояло противопоставить общественную идеологию, их приемам заимствования — одинаковую стадию развития, которая создала десятки вариантов, аналогий, параллелей одного и того же сюжета.

Так началась работа группы. Из ее установок вытекало и сознательно-инное отношение к материалу. Варианты сюжета, которые она собиралась привлекать, должны были стоять вовсе не на той самой стадии, что сюжет «Тристана и Исольды»: каждый вариант должен был обозначать определенный этап смены развития мышления, обусловленной сменой общественных формаций. Отсюда должно выясниться, что группа могла брать в качестве сравнительного материала для своего сюжета и как она относилась к самому приему сравнения. При статическом подходе к сюжету, «сравнительный метод» заключался в том, чтобы к наличному неподвижному сюжету подбирать целую грудку аналогий и параллелей. Для чего? — Для доказательства типичности данного сюжета, для доказательства его родства или тождества с сюжетами подобными, для доказательства заимствования или странствования сюжетов, — для доказательства и для сугубого подчеркивания наличных форм сюжета. И выходило топтание на месте, головокружительное нанизывание материала. При динамическом отношении к сюжету, которым руководствовалась группа, привлекался материал для уяснения каждой отдельной ста-

дии сюжета; она брала варианты не к кельтской поэме (называя так для краткости поэму западного средневекового феодализма), но к той или иной стадии развития сюжета, легшего в основу, между прочим, и кельтской поэмы. Группа искала не аналогий к «Тристану и Исольде», но стадиальных эквивалентов. Это прием не сравнения, а отличия. Кажущаяся при этом разнохарактерность привлекаемых материалов, их, якобы, неоправданность и хаос, проистекают из привычки к статическому изучению сюжета. При статическом подходе, имеющем в виду один определенный сюжет в наличии только одной неподвижной стадии, подвижное разнообразие вариантов одного и того же сюжета кажется группой сюжетов, не имеющих ничего общего между собою. Напротив, при подходе динамическом, то, что с первого взгляда кажется различным, оказывается исторически-единым, но принадлежащим другой стадии развития. К тому же группа не ставила искусственных преград между материалом мифологическим, фольклорным и литературным, извлекая его отсюда и показывая, каким он был или оставался на другой стадии своего развития. В результате таких установок и такого понимания сюжета, материал, который группа собиралась привлекать для своей работы, мог быть внешне очень различен, но зато объединен единством своего развития.

Из сказанного ясно, что не наличный готовый сюжет, не сюжет о «Тристане и Исольде», как таковой, интересовал группу, а путь его становления. Группа не видела в «Тристане и Исольде» той необыкновенной, изумительной, являющейся исключением, мировой поэмы, какую в ней видел французский исследователь Gaston Paris; именно на ней группа остановилась лишь потому, что она была как раз очень типологична, да еще сверх того, удобна своей многовековой историей становления, своей многостадийностью и богатством наглядных увязок. Здесь следует сказать еще о том, как группа понимала актуальность работы: она считала, что дело не в тематике сюжета (история феодальной любви какой-то дамы к какому-то рыцарю, действительно, никого из нас не интересует), но дело в методе работы и в современности самих ее проблем. Правда, генезисом когда-то занимались, но занимались им из классового тяготения к старине и, главное, к статике. Нужно отличать функциональную сущность вещей, а не цепляться за формальное сходство. Группа понимала, что генезис, изучаемый в плане историко-динамического процесса, с выходом в широкую историческую современность вовсе не есть тот старинный генезис, который брался сам по себе, статически, как таковой, чтоб замыкаться в нем, сожалеть об его исчезновении, уходить в него от современности. Точно так же группа не сму-

щалась и тем, что ей приходилось в будущем иметь дело с мифом и, следовательно, давать повод для формального сближения ее работ с работами так наз. «мифологической школы» Буслаева, Макса Мюллера и пр. Дело в том, что эта школа понимала под мифом фикцию, продукт «поэтического творчества», поэтическую выдумку, созданную пра-арийцами на их пра-родине. Н. Я. Марр давно покончил с никогда не существовавшей пра-родиной и с никогда не существовавшими пра-арийцами. С точки зрения яфетидологии, миф представляет собой надстроечную категорию, одну из форм идеологии и специфического мышления, порожденного обществом на строго определенной стадии его развития; миф — это временная историческая категория, имеющая социальную обусловленность, а потому, с изменением этих условий, исчезающая и переходящая, в качестве одного из этапов, в следующий этап развития идеологии; в период своей актуальности миф так же единственно возможен и реален, как и всякая идеология.

Все указанные принципы и приемы, а также характер выдержанной коллективности, группа проводила на ядре своих активистов. Среди работников группы материал распределялся таким образом: 3 по кавказскому фольклору, 2 по мордовскому, 1 по русской сказке, 1 по западному эпосу, 2 по Востоку, 1 по району Эгейского Средиземноморья и 1 по Греции. Особо стоит статья А. А. Смирнова, давшего группе осведомительный материал о кельтских вариантах сюжета «Тристана и Исольты». Подбор именно такого материала зависел от участия в работе именно таких специалистов. Этот материал носит условный характер; он мог бы быть сколько угодно расширен. Однако, привлечение разнообразного материала, подведение под одну из эпических поэм мировой базы, вовлечение в орбиту международных связей речевого творчества народов Кавказа и Поволжья и его доминирование среди материала, увязка «высокой» литературы с фольклором, письменных художественных памятников с бесписьменными — это все, конечно, является следствием не данного наличия специалистов, работников группы, а следствием, вытекающим из основных методологических установок группы, как части Яфетического института.

4

Сюжет «Тристана и Исольты» в оформлении западно-европейского средневекового феодализма звучит так. Тристан сын Ривалена и Бланшфлэры. Мать родила его в день скорби, только что узнав о смерти мужа, и с горя умерла сама немедленно по рождении Трис-

тана. Мальчик растет сиротой на попечении верного вассала. Он еще молод, когда однажды его похищают норвежские купцы и уплывают с ним на корабле. По пути разыгрывается буря, корабль с купцами погибает, а Тристан спасается на каком-то чужом берегу. Оказывается, это земля его дяди, короля Марка, брата его покойной матери Бланшфлэры. Тристан живет у дяди, не зная об их родстве, и выдает себя за купца. Но воспитатель Тристана ищет его и, наконец, находит при дворе короля Марка. Он разъясняет королю и Тристану, кто они друг для друга. Тогда Тристан навсегда остается с Марком. Но прежде он едет в свою страну, отвоевывает ее у овладевших ею врагов, передает ее своему воспитателю, а потом возвращается к Марку.

Когда он сюда приезжает, страна охвачена горем. Дело в том, что король Марк должен выплачивать ежегодную дань королю Ирландии, и как раз в этом году он должен отправить 300 лучших юношей и девушек. Король Ирландии женат на сестре великана Морольта; и вот великан Морольт приехал к королю Марку с тем, чтоб побиться с кем-нибудь в поединке, и чтоб либо ему дали дань для короля Ирландии, либо победили его. Все боятся принять вызов, и только один Тристан соглашается вступить в единоборство. При траурном звоне колоколов, под всеобщий плач Тристан отъезжает с Морольтом на одинокий остров. Здесь он одолевает великана; но, убивая Морольта, Тристан ломает меч о его череп и оставляет там острие. Затем он победно возвращается, при всеобщем ликовании, к Марку. Но его раны не заживают и издают такой острый запах, что никто не может при нем оставаться. Тогда Тристан просит положить его на корабль и пустить по морю, дав ему одну арфу. Итак, Тристан плутает по морю, пока его не прибывает к берегам Ирландии. Здесь его находят в полумертвом состоянии и берут к королеве и к ее дочери, Исольде, знающим тайну врачевания. Исольда излечивает его, и Тристан, поняв, что он в Ирландии, убегает обратно к Марку.

Тем временем три врага Тристана требуют, чтоб Марк женился и назначил наследником не Тристана, а своего будущего сына. Из клюва двух ласточек падает на Марка золотой волос, и Марк хочет жениться на обладательнице такого волоса. Тристан вспоминает златокудрую Исольду и едет ее добывать для дяди. В Ирландии он застаёт горе: там опустошает страну дракон, и король Ирландии обещает тому, кто победит дракона, отдать свою дочь Исольду. Тристан убивает дракона, но злой и безобразный сенешаль короля прибегает первым, выдает себя за победителя и требует Исольду в жены. Однако, Исольда открывает, что победитель — Тристан; она снова излечивает его от ран, но узнает по острию меча, что это убийца ее дяди, великана Морольта. Тогда она хватает меч и хочет в поединке убить

Тристана. В эту минуту Тристан объясняет ей, что хочет взять ее в жены для Марка, и они приходят к согласию. Вслед затем идет помолвка и отъезд к Марку.

На прощанье мать Исольды дает волшебный напиток любви и просит верную служанку, по имени Бранжиену, чтобы та дала выпить этот напиток Исольде и Марку перед брачной ночью. Но на корабле, по ошибке, выпивают его Исольда и Тристан, загораются пламенной любовью и отдаются друг другу. В первую брачную ночь Исольду заменяет Бранжиена, и Исольда начинает бояться, как бы Марк не узнал обмана. Поэтому, она поручает наемным злодеям убить Бранжиену в лесу. Злодеи не убивают ее из жалости, а когда Исольда начинает раскаиваться, они приводят Бранжиену невредимой.

Тем временем Исольда и Тристан тайно отдаются любви. Местом свиданья является сосна и протекающий здесь же ручей, причем этот ручей приносит Исольде знаки, которые условленно бросает Тристан. Но злой горбун, подкупленный врагами Тристана, доносит об этом королю; тот следит за ними и, наконец, приказывает их связать и сжечь на костре. Тристану удается, путем прыжка с огромной высоты, убежать; а Исольду уже ждет пламя. Но тут приходят прокаженные и просят, чтоб Марк отдал им Исольду в общие жены. Марк ее отдает, прокаженные ее берут с собой, но по дороге появляется Тристан, отбивает ее и уводит.

Исольда и Тристан живут в глухом лесу, в шалаше, среди зелени. Тристан умеет петь, как птица, и развлекает Исольду. Они переносят голод и нищету, дрожат зимой от холода. Но вот их находит верная собака Тристана, а там — и сам король. Он нарочно оставляет свои перчатки, меняет свое кольцо на кольцо Исольды и кладет между спящими Исольдой и Тристаном свой меч. Тогда они решают расстаться. На прощанье Тристан дарит Исольде собаку, а Исольда Тристану кольцо с драгоценным камнем. После этого Исольда, при всеобщем ликовании, возвращается к Марку. Но предстоит суд божий, в котором она должна доказать свою непорочность. Тристан, в виде старого нищего, переносит ее через реку, и она клянется, что никто, кроме этого нищего и Марка, не держал ее в объятиях. Раскаленное железо не вредит Исольде, и она выходит победительницей. Но ее свидания с Тристаном продолжают, и условным знаком служит пение Тристана, как птицы.

Наконец, ему приходится уехать. Он служит властителю Галлии, у которого есть чудесно сделанная волшебная собака, помогающая забывать все печали. Тристан борется с великаном, чтоб добыть в награду эту собаку, и отправляет ее Исольде. Затем он странствует,

отвоевывает одну страну и в награду получает Исольд с белыми руками, на которой женится. Однако, он не живет с нею. И вот однажды все едут на охоту, Исольда с белыми руками нечаянно попадает в воду и громко смеется; на вопрос брата она отвечает, что вода, замочившая высоко ее ноги, смелее, чем Тристан. Тогда ее брат чувствует себя оскорбленным за сестру и хочет биться с Тристаном, но тот просит позволения повидаться со златокудрой Исольдой, и узнать, верна ли она ему. Под видом нищего Тристан встречается с Исольдой, но та, считая, что он ей изменил, велит слугам прогнать его, Тристан с горя сходит с ума, изменяет вид и голос и снова пробирается к Исольде, но в этом безобразном нищем она уже не может его узнать. Старая собака Тристана узнает его, а Исольда тогда верит, что это Тристан, когда он показывает ей кольцо с драгоценным камнем.

Вслед за этим их свидания снова продолжают, но вот Тристан возвращается к Исольде с белыми руками и медленно умирает. Перед смертью он посылает за златокудрой Исольдой и та едет к нему, бросая Марка; Тристан ждет условленного белого паруса. Но вторая Исольда, из мести и ревности, говорит Тристану, что парус черный, и Тристан, думая, что его возлюбленная ему изменила, умирает. Умирает от горя и приехавшая Исольда. Их обоих Марк велит похоронить рядом, и из могилы Тристана вырастает зеленый, ярко цветущий терновник, который перекидывается на могилу Исольды. Триды его обрывают и трижды он вырастает и обвивает ту же могилу, пока Марк не запрещает его трогать.

5

Этот сюжет приведен в систему трудами Бедье и представляет собой «сюжет сюжетов» о Тристане и Исольде. Отдельные его мотивы семантически объединены и только по иному оформлены. Прежде, чем отойти от этого сюжета к стадияльным эквивалентам и воссоздать процесс становления всего сюжета в целом нужно дать показ самого сюжета, его семантических увязок и его основной значимости: работе группы должно быть предпослано выделение палеонтологической семантики именно кельтского сюжета.

Прежде всего, Тристан сын Бланшфлэры. Это — знаменитое женское имя западного средневекового эпоса. С именем Бланшфлэры связан сюжет об оклеветанной жене, временно брошенной своим мужем. Это с одной стороны. С другой, Бланшфлэра (Белый Цветок) — не менее знаменитая сказочная царевна, невеста принца Мая, такого же, в архетипе, олицетворения весенней растительности, что

и она. Итак, имя Бланшфлэры сразу же уводит нас к эпическим сказаниям о богине производительности, к широко растространенным сюжетам о женщине, брошенной своим возлюбленным, временно живущим с другой женщиной, похожей на первую, и возвращающимся к первой. Таковы эпические сказания у немцев о Берте, у французов о Женевиёве у итальянцев об Уливе и т. д. То, что мать Тристана остается одна в скорби, а муж ее находится где-то вдали, то, что эта мать зачинает сына в траурный период и его рождение совпадает со смертью родителей — мотив не случайный, а типичный для этого цикла сказаний, одна из версий которого оформлена в египетской мифологии, в рассказе о богине Исиде, зачавшей сына на трупе мужа. Похищение Тристана, кораблекрушение, спасение в неведомой стране — это все такие же типичные черты эпоса, целиком вошедшие в Одиссею. Мотив дани ирландскому королю и роль великана Морольта, будучи сказочным «общим местом», существовал в эпосе критского периода. В траурном отъезде Тристана на верную смерть и в радостном возврате мы, несомненно, имеем фрагмент, более нам знакомый на почве Вавилона и Египта, но присутствующий всюду, где действующим лицом является не только умирающее и воскресающее божество плодородия, но и «богоявленное» световое. Таков же увод Исольты в обстановке плача и привод ее среди всеобщего ликования. Битва Тристана с Морольтом — основной мотив всего данного эпоса. Сперва Тристан бьется с врагом, захватившим его родную землю, дальше он бьется с Морольтом, еще дальше с драконом ирландским, потом снова с врагом в земле второй Исольты и т. д. Ирландский дракон или Морольт, великан ирландский, вообще, одно и то же лицо. Здесь архаичный мотив борьбы солнечного героя с олицетворенным мраком-смертью. Тем любопытней, что один из эпизодов нашего сюжета дает поединок между Тристаном и Исольтой, когда она хочет его убить. Это убийство заменяется помолвкой и дает, таким образом, архаическую концепцию любви || поединка, любви || борьбы и боя, концепцию, приводящую нас к божеству из разряда Иштари (любовь || война в одном лице) или Афродиты (она — любовь, ее муж Арес — война). Но так как мы знаем из яфетидологии, что Исольт — вода, а Тристан — Солнце, resp. огонь, то в сцене этого поединка мы можем ожидать в других стадияльных оформлениях мотив борьбы огня и воды или мотив взаимодействия между водой и солнцем, что и дают мифологемы эгейского мира и Переднего Востока. Целый ряд черт в нашем сюжете показывает доантропоморфный характер таких образов. Так, золотой волос, падающий из клюва птиц, семантически увязывает металл, resp. 'золото', с 'птицей', дериватом 'неба' и вариантом 'солнца'; золотые волосы

Исольды архаичнее самой Исольды. Далее, роль воды, тоже еще до роли Исольды; сосна и ручей, как олицетворения космических сил, становятся местом свидания тех, кто сменил в виде персонажа эти космические силы. Вода, которая смелее Тристана, уже прямо дается в виде живого производящего начала. В свете этой семантики кораблекрушение Тристана или скитания Тристана по морю на одиноком корабле, или любовное соединение Тристана и Исольды на корабле — имеют параллели в многочисленных мифах о плавании солнца, о солнечном корабле или бочке, или сосуде, вообще, о связи воды и солнца, вариантно выраженной в мотиве поединка или любви. Исольда, умеющая исцелять, и волшебный напиток — это два одинаковых мотива. Если Исольда, первоначально, околдовывала Тристана и держала его у себя насильно, как Одиссея Каллипсо, то этим она повторяла Иштарь и богинь смерти — преисподней. Но это не мешает тому, что Тристан добывает Исольду, как он добывает и вторую Исольду, как он добывает собаку в Галлии. Для этого он бьется с драконом, с великаном или с прокаженными — словом, с чудовищем, со смертью. Таким образом, либо перед нами мотив борьбы со смертью в метафоре 'помолвки', либо в метафоре 'любви' (resp. Исольда не отпускает Тристана), либо в метафоре 'битвы' и 'поединка'. Тристан-солнце, схватывается с чудовищем, или с Исольдой, которая есть то 'вода', то 'преисподняя'. Мотив, в котором злой безобразный сенешаль выдает себя за победителя дракона и претендует на руку Исольды, тоже является эпическим мотивом все того же цикла. В лице этого сенешаля мы имеем тип так наз. самозванного претендента; это лицо, врывающееся в ход действия и всегда мешающее, которое портит начатое дело, чванится и приписывает себе то, что принадлежит не ему, а божеству, желает получить то, чего не заслужило. Конец такого персонажа печален: его изобличают, бьют, ослепляют, убивают и т. д. К числу таких дублеров-антагонистов относятся все псевдо-победители эпоса и мифа, которые ложно приписывают себе победу над чудовищем, одержанную только что не ими, а героем. Обычно, это явные репрезентанты смерти, «черные» — мавр, негр, или вообще безобразный злодей, который является, однако, тем же самым солнечным божеством в его втором аспекте. Для Исольды дублером служит ее верная прислужница Бранжиена, а еще дальше — вторая Исольда. Когда Исольда отправляет Бранжиену в лес, желая ее убить, а потом возвращает ее живой и еще более любимой, то она делает со своей служанкой то, что сюжет делает с ней самой. Здесь нам приходится вспомнить с полной неизбежностью, что Тристан сделан сыном Бланшфлэры, и что эта увязка здесь недаром. Эпические сказания, основанные на мифах о 'солнце || во-

де || преисподней', разворачивают этот пучковый образ в мотивы с такой структурой: 1) муж или возлюбленный забывает свою жену или возлюбленную, изгоняет ее и на ее место ставит другую такую же женщину, с таким же именем и такой же наружности; 2) муж или жена вместо себя посылают на ложе своих заместителей, по большей части — слуг; 3) из-за дяди, деверя, мачехи, отца и т. д. герой или героиня убегают далеко в чужую страну, становятся прислугой, рабом или нищим, и возвращаются, когда воскресает их муж или жена. Именно такой сюжет (казалось бы, типично-средневековый) мы имеем в мифе об Исиде: из-за деверя, Сета, она бежит на чужбину, становится там нянькой, и возвращается, когда ее муж Осирис воскресает. Но здесь эта реалистическая структура сюжета создана мифом. В средневековом эпосе типичной формулой этого же сюжета служит история германской Берты, которую бросает муж и сходится с другой Бертой, похожей на первую. В двух Исольдах мы имеем то же явление, и нетрудно видеть, что Тристан сознательно забывает свою первую жену, чтоб сойтись со второй. Однако, именно Берта, божество земли, в ее аспектах плодородия и смерти, указывает, что схожая с нею заместительница, с ее именем, есть она же сама. Мы видим, что златовласая Исольда и Исольда белорукая похожи друг на друга и носят одинаковые имена. т. е. имеют одинаковую сущность, но что с первой Тристан соединен в производительном акте, а с другой нет; у одной, следовательно, функции воспроизведения, у другой только загробные. Бранжиена, которую Исольда посылает вместо себя на ложе, является таким же дублером, а тот и другой мотивы семантически одинаковы. Когда Тристан и Исольда удаляются в лес и нищенствуют там, они повторяют всех этих оклеветанных жен и мужей, временно усылаемых в далекую глушь. Мотив 'удаления', 'жизни в глухом лесу', 'нищенства' в разных метафорах передает один и тот же образ смерти. Тристан трижды появляется в виде нищего, и в одной из сцен Исольда изображена гневной, неумолимой, изгоняющей Тристана, упорно не узнающей его, — т. е. той самой, какой в соседних эпосах является роль мужа по отношению к временно забытой им жене. Огонь, который не касается Исольды на божьем суде, и пламя костра, проходящее для нее безвредно, показывают, что Исольда была соединена с огнем и солнцем столь же в космическом виде, сколько и в очеловеченном, в форме Тристана. Когда она обменивается с ним подарками, она дает ему кольцо с драгоценным камнем, а он ей собаку. В 'кольце' и в 'камне' мы видим тот же образ 'неба' и 'солнца', в частности, 'руки', которая остается атрибутом второй Исольды. Что до собаки, то в ней звериный прообраз Тристана; собака — его верный друг, собаку он дает Исольде взамен себя,

из-за собаки бьется на поединке, собаку дарит Исольте, собака его узнает. Но если в 'собаке' вообще, особенно в той волшебной, которая заставляет забыть все печали, мы узнаем образ 'преисподней', то в 'птице', голосом которой поет Тристан, и в птицах, приносящих волос Исольты, мы видим образ 'неба'. В эпилоге Тристан и Исольт — 'растительность'.

Итак, если говорить о стадиях, то даже один и тот же средневековый сюжет «Тристана и Исольты» дает оформления космические, зооморфные и вегетативные. В нем есть и до-антропоморфный персонаж, неодушевленный, и персонаж богов-героев, и просто людей.

Подводя схематический итог мотивам, можно сказать, что в средневековом сюжете «Тристана и Исольты» мы имеем следующую метафоризацию основного образа 'солнца' и 'воды || преисподней'.

Похищение героя. Кораблекрушение, странствия по морю, любовное соединение при посредстве ручья, любовный напиток. Дань и жертвоприношения чудовищу. Отъезд среди слез и возврат при ликовании. Бой: с великаном, с чудовищем, с драконом, с женщиной. Отвоевывание женщины и отвоевывание собаки. Золото, камень, кольцо, меч в виде атрибутов. Рука (resp. белая рука), как атрибут. Неизлечимая рана и женщина-целительница. Волшебные травы, волшебный напиток, волшебная собака, заставляющая забыть горе. Самозванный претендент, ложно приписывающий себе победу над чудовищем и ложно требующий невесту. Служанка, заменяющая госпожу на брачном ложе. Удаление в лес, мнимая смерть и благополучное возвращение. Герой забывает героиню, герой временно сходит с ума. Нищета, безобразие, неузнанность, перемена имени и наружности. Двойник героини с той же наружностью и с тем же именем, без момента любовного соединения. Рассерженная героиня прогоняет героя, ненавидит его и бранит. Разлука и встречи, свидания, уловки жены и измены мужу. Герои, обращенные в растительность.

По этим основным филиациям мотивов предстояло пойти работе группы. Ей следовало на материале сюжетов иных стадий, нежели «Тристан и Исольта», выделить палеонтологическую семантику подобных же мотивов, чтоб показать их стадийное тождество со всем сюжетом в целом и наметить процесс изменения, путем которого сюжет «космического характера», восходящий, быть может, к дородовому строю, получил форму сюжета средневекового западного феодализма.

И. Г. Франк-Каменецкий

ИТОГИ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ НАД СЮЖЕТОМ ТРИСТАНА И ИСОЛЬДЫ

Помещенные в настоящем сборнике статьи построены на анализе памятников словесного творчества, возникших в разное время у весьма многочисленных народов. Все статьи объединены общностью методологической установки и единством задания: выяснить социогенез мифологического сюжета, представленного в религиозных верованиях и фольклорных материалах весьма обширного района и нашедшего также отражение в поэзии, в частности, в средневековом романе о Тристане и Исольде, — в целях разработки проблемы стадиальности в пределах палеонтологической семантики мифа и фольклора.

Итоги коллективной работы могут быть подведены лишь предварительно. Рассмотренный группой материал, при всем его многообразии, все же ограничен наличным подбором специалистов. Оставлен без надлежащего освещения параллельными вариантами ряд мотивов и деталей, представляющих существенный теоретический интерес. Еще важнее то, что приемы палеонтологического анализа в применении к словесному творчеству, включая данные мифа и фольклора, нуждаются в углублении и уточнении. В частности, вопрос о стадиальных переоформлениях сюжетных построений и лежащих в их основе элементов миросозерцания встречает серьезное препятствие в отсутствии четкой формулировки последовательных этапов развития мышления, обусловленных соответствующим развитием материальной базы. Для ранних стадий осознания мира дело существенно затрудняется отсутствием на сегодняшний день развернутой истории первобытного до-классового общества, построенной на основе диалектического материализма. Вследствие указанных обстоятельств мы вынуждены были строить наше исследование регрессивным путем, пытаясь посредством анализа литературных и фольклорных материалов найти «земное ядро» отразившихся в них «причудливых религиозных представлений». Только дальнейшая разработка проблемы стадиальности в языке и мышлении даст нам возможность поднять изучение мифа и фольклора на более высокую ступень, выводя «из данных отношений реальной жизни соответствующие им религиозные формы».

История сюжета, как такового, независимо от своеобразного

оформления его в поэзии или фольклоре данного народа, ничего общего не имеет с литературной историей письменных памятников, расположенных для каждого района в хронологический ряд по времени их созидания. Литературное произведение в целом отражает идеологию, свойственную данной социальной среде в период его возникновения. Но для оформления этой идеологии в сюжетном построении могут быть использованы мотивы и детали, генетически восходящие к весьма различным стадиям социального развития. Новое сменяет старое, отнюдь не устранив его целиком. Чаще наблюдается переоформление элементов мирозерцания предшествующих эпох на почве приспособления их к идеологическим воззрениям данной стадии. Задача палеонтологического анализа — выявить в данном воззрении или сюжетном построении элементы, унаследованные от прежних времен в целях выяснения процесса становления сюжета и реконструкции тех ранних стадий развития мышления и мирозерцания, о которых мы не имеем прямых литературных свидетельств за отсутствием в те эпохи письменных памятников. При построении ряда трансформаций, пройденных сюжетом в зависимости от последовательной смены форм общественного уклада, для каждой отдельной стадии могут быть использованы мотивы и детали, заимствованные из памятников, возникших на различных этапах исторического развития. Лишь бы только палеонтологическим анализом было установлено, что сопоставимые друг с другом черты восходят генетически к одной и той же стадии. Весьма плодотворным является также использование данных мифологии и фольклора для освещения литературного памятника и обратно, поскольку исследование направлено на выяснение элементов мирозерцания, предшествующего раздельному существованию религии и поэтического творчества, как самостоятельных идеологических надстроек.

2

Исходным пунктом исследования послужил средневековый роман, содержащий ряд черт, характерных для феодального общества. В качестве действующих лиц выступают представители господствующего класса на фоне типических взаимоотношений данной социальной среды. Содержание сводится к изображению романтической любви, переплетающейся с военными подвигами и приключениями. Драматической осью повествования служит конфликт между влечением сердца и велением долга, как идеологическим отражением социальных отношений. В ряде ситуаций подчеркнута преданность

героев традиционным устоям быта. Нарушение требований, диктуемых общественными и семейными отношениями, обусловлено чарами волшебного напитка. Роковое сцепление обстоятельств вызывает сочувствие к трагической участи героев, обреченных на бедствия, скитания и смерть.

Таково в самых общих чертах идеологическое содержание романа, как продукт поэтического творчества определенной социальной среды. Но для оформления этого идеологического содержания использован целый ряд мотивов и деталей, характеризующих мифологическое содержание сюжета на предшествующей стадии словесного творчества. Сюда относится прежде всего: борьба Тристана с драконом за обладание женщиной; мотив чудесной собаки, равным образом добытой героем в борьбе; ласточки, доставившие королю Марку золотой волос Исольты, и т. д. Историко-культурная школа литературоведения характеризует подобные черты как «обрастание» бытового сюжета фольклором, но причины этого «обрастания» остаются невыясненными. Привлеченный сравнительный материал дает основание видеть в них элементы, органически связанные с структурой сюжета, и дающие точку опоры для выяснения его происхождения. Палеонтологический анализ намечает обратный путь становления сюжета — от начатков миросозерцания через посредство мифологической традиции к бытовому роману.

Наряду с звериными образами явно мифологического происхождения в том же направлении указывают черты, ставящие центральных героев в тесную связь с теми или иными явлениями природы. Сюда относится мнимая смерть Тристана на море, любовное соединение героев во время плавания, уподобление производительного акта брызгам воды, — все вместе отражает связь героев любви с водной стихией, как мифологическим эквивалентом плодородия. Далее — золотые волосы Исольты, белые руки второй Исольты, свет, исходящий от волшебной собаки Тристана, отражают связь героев со светом, мифологическим дериватом 'неба+воды' или «ха-оса», в котором зарождается солнце. Со светом и водой мифологически связан огонь, оставивший глухой, едва различимый след в мотиве костра, приготовленного для Тристана и Исольты. Гораздо отчетливее выступает связь любви с растительностью в мотиве шиповника, выросшего на могиле героев. И в том же мотиве исконная связь любви и смерти, этот центральный мотив всего сюжетного построения, естественно завуалированный в реалистической трактовке бытового романа. Исходя из перечисленных мотивов, палеонтологический анализ, на основе сравнительного материала, отложившегося в статьях настоящего сборника, выявляет в органических эле-

ментах сюжета ряд смысловых тождеств, параллельных данным лингвистической семантики, установившей деривацию космических явлений, связь 'света', 'воды', 'огня' и 'растительности' с 'небом+водой', куда семантически восходят амбивалентные понятия 'любви+плодородия' и 'смерти'. Таким путем намечается палеонтологическая семантика сюжета, отражая наряду с лингвистической семантикой ранние стадии развития мышления.

Между архаическим мирозерцанием, как источником указанных семантологических связей, и литературной продукцией европейского средневековья лежит длинная цепь трансформаций, отражая свойственное развитие мышления в зависимости от развития материальной базы. При восстановлении последовательных звеньев этой цепи мы, как указано выше, вынуждены идти регрессивным путем, постепенно удаляясь в глубь эпох, недостаточно освещенных исторически. Ценность романа о Тристане и Исольде в качестве материала для палеонтологического анализа усугубляется тем, что при богатстве мотивов и деталей мы нередко находим один и тот же мотив в ряде вариантов, генетически восходящих к разным стадиям социального развития. Так, борьба Тристана с Морольдом, борьба его с драконом за Исольду и борьба его с великаном за собаку, несомненно, параллельны друг другу. Но в то время, как первый вариант может быть целиком понят из отношений феодальной эпохи, второй, выявляя мифологическую природу мотива, типичен для сказочных сюжетов, возникших на грани патриархально-родового строя, а третий, по-видимому, указывает на отношения, свойственные охотничьему быту. Вместе с тем, на основе привлеченного сравнительного материала выясняется органическая увязанность борьбы, как таковой, с центральным мотивом сюжета несмотря на то, что поединок с Морольдом лишь окольным путем приводит к соединению Тристана с Исольдой.

Аналогичным путем выясняется палеонтология сюжетного построения в целом. Отвлекаясь от черт, специфически свойственных феодальному строю, мы находим в романе о Тристане и Исольде совокупность мотивов, органически слагающихся в сюжет, наличный в сравнительных материалах сборника в ряде народных сказок, кавказских и русских, отражающих по своему идеологическому содержанию типические черты патриархально-родовых отношений. И если трактовка того же сюжета в греческой мифологии до известной степени приближается к идеологии феодальной эпохи, то в библейской книге Товит, как и в грузинских сказках («Сын купца» и др.), мы находим его осложненным чертами, возникшими на почве городского быта и развития денежного хозяйства. Все перечисленные сю-

жеты построены на борьбе героя с драконом, змеем или другим фантастическим зверем в тесной связи с мотивом брака и чудесного исцеления, повторяя в основном сюжетную схему романа о Тристане и Исольде. Из анализа сопоставленных материалов выясняется не только смысловое тождество образующих сюжетное построение мотивов между собой, но также метафорическая увязанность их с производительными силами природы, с чередованием расцвета и увядания растительности, с борьбой света и тьмы, — выявляя космическую природу героев, воплощенных в человеческом, частью в зверином образе.

Ту же совокупность воззрений мы находим в мифологических преданиях, получивших литературное оформление в эпоху феодализма, но восходящих генетически к более ранней стадии до-классового общества, характеризующейся матриархатом. О воззрениях этой стадии нас осведомляют данные вавилонской мифологии. В центре предания стоит богиня Иштарь, олицетворение любви и земного плодородия, но также смерти и преисподней. В ее многочисленных любовниках можно видеть отражение полиандрии, свойственной общественным отношениям данной стадии. Идеологически, господствующее положение женщины находит отражение в подчиненной, второстепенной роли мужского образа перед женским. Но характерно, что и на данной стадии любовное соединение нередко выступает в тесной связи то с мотивом исцеления, то с мотивом борьбы. Иштарь, сойдя в преисподнюю, подвергается многочисленным болезням и исцеляется живой водой, которой она воскрешает и Таммуза. Здесь отчетливо выступает смысловое тождество 'исцеления' и 'воскресения'. В параллельном мифе, идеологически стоящем на грани матриархата и патриархата, богиня подземного царства Эрешкигал, наличная также в зверином образе, подвергается нападению сошедшего в преисподнюю солнечного божества, но борьба неожиданно заканчивается браком между обоими божествами, наглядно иллюстрируя смысловое тождество 'борьбы' и 'брачного соединения'. В разобранных мифах находим в зачаточном состоянии сюжетную схему «Тристана и Исольды» в части, построенной на семантическом тождестве 'любовного соединения', 'борьбы с драконом' и 'исцеления'.

В пределах перечисленных стадий (матриархата, патриархата и феодальных отношений) нетрудно наметить характерные для каждой из них черты сюжетного построения и закономерное переоформление последнего с переходом от одной стадии к другой. На стадии матриархата поэтическое творчество, неотделимое от общего процесса осознания мира, не выходит за пределы мифических образов,

их сочетаний и взаимоотношений. При развитом патриархально-родовом строе, на почве наличного уже социального расслоения общества, наблюдается перенесение мифологической концепции на реального носителя власти, родоначальника, затем племенного вождя. Процесс завершается возникновением в феодальном обществе псевдо-бытового сюжета с сохранением основной схемы мифологической концепции, но с заменой богов реальными лицами, представителями господствующего класса. Промежуточное положение занимает эпос, совмещающий в персонаже богов и людей, допуская отношение родства между теми и другими. Поскольку в поэтическом изображении судьбы земных героев использованы черты, восходящие к космической природе их мифических праобразов, здесь с особой наглядностью выступает зависимость художественного творчества от смежной, но уходящей далеко в глубь времен области мифотворчества. В отношении к греческому эпосу подчеркнутая нами связь отмечена Марксом: «Предпосылкой греческого искусства является греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже получившие бессознательную художественную обработку в народной фантазии».

Обобщая приведенное положение мы пытаемся проследить его на конкретной истории изучаемого сюжета. Центральным мотивом мифологемы является половое соединение, как метафора производительных сил природы. Но конкретные взаимоотношения действующих лиц на той или иной стадии литературного оформления сюжета отражают реальную смену последовательных форм развития семьи. Наряду с этим последовательно меняется идеологическая установка, выдвигая то господствующее положение женщины, то власть главы семьи или рода, то иерархию феодальных отношений. И это безразлично, являются ли действующими лицами боги или смертные. На стадии матриархата антитеза жизни и смерти природы дана в образе умирающего и воскресающего божества в параллельных аспектах, мужском и женском, с преобладающей ролью последнего. Форма индивидуального брака отсутствует; мужской и женский образ находятся в отношениях любви и вражды; женский образ нередко совпадает с драконом, как олицетворением злого начала. Преодоление смерти дано в мотиве магического исцеления. С переходом к патриархально-родовым отношениям любовное соединение принимает форму брака. Исида, не в пример вавилонской Иштари, является примерной супругой. Злое начало уже отделилось от женского образа, выступая в роли самостоятельного божества в зверином облике. Осирис умирает благодаря козням Сета, но сын его Гор, дублируя отца, одерживает победу над злым началом. А Исида своими

чарами исцеляет умершего Осириса. Схема сюжета остается неизменной, объединяя семантически тождественные мотивы брака, борьбы, исцеления. Она остается все той же, когда — на грани патриархально-родовых отношений и феодализма — мифологическая концепция переносится на реального носителя власти. Но на почве реалистической трактовки, мотивы приурочиваются к действующим лицам сообразно их полу и возрасту. Юный герой убивает змея, который держит в своей власти женщину, обладающую живой водой, необходимой для исцеления больного отца. Попутно герой претерпевает мнимую смерть, сходит в преисподнюю, где снова борется с чудовищем, и сам исцеляется живой водой, прежде чем доставить ее отцу. Для художественного воплощения героя использован образ умирающего и воскресающего бога, но он принял уже облик смертного, как и остальные лица повествования, за исключением змея. Переход от мифа к эпосу и сказке облегчается наличием на мифологической почве промежуточной концепции в схеме любовного соединения божества с смертной женщиной, столь богато представленной в греческой мифологии, но наличной также в мордовском фольклоре. Здесь находим предание о браке Пургине-паса, громового бога и змееборца, со смертной девушкой в ряде параллельных вариантов, частью вскрывающих связь сюжета с воззрениями матриархальной стадии, частью стоящих на грани патриархально-родовых и феодальных отношений.

Поэтическое творчество феодальной эпохи, развившись через посредство эпоса до уровня бытового романа, осложнило традиционный сюжет драматическим конфликтом, построенным на мотиве запретной любви. Для художественного оформления реалистического повествования о нарушении супружеской верности, обрекающем возлюбленных на смерть, использован миф об умирающем и воскресающем боге. Мотив брака дан в тесной связи с исцелением Тристана и с победой его над драконом, воспроизводя основную схему традиционного сюжета. Мотивы и детали предшествующих стадий сохранились постольку, поскольку они оказались пригодными для художественного воплощения идеологического содержания романа. Устойчивость традиции является характерной чертой всякой идеологии. «Во всех вообще областях идеологии предание является великой консервативной силой. Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, т. е. экономическими отношениями людей, делающих эти изменения. Творцы средневекового романа о Тристане и Исольде внесли в унаследованный «запас представлений» ряд изменений, характеризующих социальные отношения феодального общества. Реалистический тип сво-

енравной Исольды, предпочитающей законному супругу Тристана, обрекая его на преследования и смерть за нарушение долга, коренится в реальных отношениях европейского средневековья. Но для художественного оформления этого типа использован восходящий к матриархальной стадии образ богини любви и смерти, свободной от уз индивидуального брака и обрекающей своих «возлюбленных» на смерть. Равным образом, для изображения рыцарской храбрости Тристана, его смертельной болезни и исцеления, использован традиционный мотив змееборства, характеризующий страдающего бога в его солярно-хтонической сущности. Отдельные перипетии романа, необходимые для художественного оформления его идеологического содержания, заложены в предшествующей истории сюжета. Речь идет не о случайном наборе «бродячих мотивов», неизвестно почему прилипшихся к бытовому сюжету, а об определенной совокупности унаследованных представлений, образующих одно органическое целое и претерпевших существенные изменения в зависимости от социально-экономических отношений феодальной эпохи. То, что на мифологической почве было содержанием, стало формой художественного произведения.

3

На мифологической почве образы, воспринимаемые впоследствии как поэтические, не носят нарочито художественного характера, являясь единственным доступным средством осознания мира за отсутствием еще не сформировавшихся в мышлении логических понятий. В основе мифических образов лежит познание конкретного через конкретное, как подготовительная ступень к познанию конкретного через абстрактное. Вместо логических понятий, основанных на более четком осознании связи явлений, мы находим в мифе, как и на ранних стадиях речевого творчества, особый способ сочетания представлений, отложившийся в палеонтологической семантике как смысловое тождество наличных в сознании значимостей. Отсюда специфические черты образного мышления, стоящие в резком противоречии с понятиями формальной логики. Для последней характерно противопоставление части и целого, единичного и общего индивида и коллектива, человека и окружающего мира, в котором четко разграничиваются отдельные области мертвой природы, растительного и животного мира. Палеонтологией речи установлено, что свойственные развитому логическому мышлению разграничения отсутствуют на ранних стадиях осознания мира и этот вывод подтверждается

многочисленными данными этнологии и сравнительной мифологии. В языке, как и в мифе, часть и целое, единичное и общее, индивидуум и коллектив первоначально объединены общностью наименования, сигнализирующего недифференцированное состояние мышления. Равным образом, человеческое общество неотделимо от окружающего мира в сознании, не делающем различия между живой и мертвой природой.

Только на этой почве могло возникнуть восприятие космического явления в зверином и человеческом образе, характеризующее мифическое мышление и ставшее через посредство мифологической традиции весьма устойчивым элементом поэтического творчества. Черты, лишь рудиментарно сохранившиеся в средневековом романе, широко разворачиваются на предшествующих стадиях развития сюжета в многочисленных параллелях и вариантах. Исходя из всей совокупности наблюдений и сопоставлений, отложившихся в статьях настоящего сборника, мы имеем достаточные основания для утверждения, что связь Тристана с собакой или с птицей (в его способности петь по-птичьи), как и связь Исольты с ласточкой, воспроизводят звериные образы, первоначально присущие самим героям наравне с многочисленными звериными образами, характеризующими параллельные повествования. Равным образом, едва намеченная в романе связь героев с стихийными силами отражает присущую самим героям космическую природу, первоначально неотделимую от звериных образов.

Натуралистическая школа мифологии, возводя эпос и народное творчество к мифу, подходит к основным образам мифологии статически, принимая их как неразложимый факт, характеризующий «поэтические задатки» той или иной этнической среды. С точки зрения яфетической теории этнос является результатом, а не исходным пунктом исторического развития. Отсюда задача палеонтологии — выяснить процесс становления мифологической концепции, лежащей в основе изучаемого литературного сюжета. Содержание мифологического сюжета, данного в форме повествования, определяется его палеонтологической семантикой, т. е. смысловым тождеством определенного круга значений, образующих тот или иной семантический пучок. В данном случае мы имеем дело с смысловым тождеством 'брака', 'борьбы', 'исцеления' или 'любви', 'смерти' и 'возрождения' в их семантической увязке с определенным кругом космических явлений ('небо+вода', 'свет', 'огонь', 'растительность'), а также с рядом звериных образов ('дракон', 'собака', 'птица' и т. д.). Очерченный семантический пучок, с присущими отдельным звеньям его дериватами, охватывает всю совокупность мотивов, характеризую-

щих изучаемый нами сюжет на всем протяжении его истории, во всем многообразии его разностадиальных эквивалентов. Указанные семантологические связи наличны не только в мифе и фольклоре весьма различных народов. Они параллельно установлены лингвистической семантикой как результат последовательной смены значений одного и того же звукового комплекса в процессе становления его смыслового содержания.

Попытаемся наметить генезис семантического пучка, легшего в основу изучаемого нами сюжета. Один из основных выводов лингвистической семантики заключается в том, что предметы и явления окружающего мира первоначально воспринимались не в различии свойственных им внешних признаков, а в присущей им социальной значимости. Отсюда понятно, что интересующие нас явления природы, свет, огонь, вода, небо, а также растительность закреплены были сознанием прежде всего в одинаковой для всех их хозяйственно-общественной сущности. На этой почве становится понятным смысловое тождество указанных явлений между собой, а также с явлениями социального порядка и далее с звериными образами. Дело в том, что «реализация семантической потребности... сводилась к созданию нового слова из старого без его аннуляции». Расчленение шло по линии противоположности полезного и вредного: тепла и холода, света и тьмы, наличия и отсутствия влаги. «Разбивая тем самым единство матери-слова между двумя возникшими из него видами, новое слово не оставляет, следовательно, свою материальную “родительницу” (звуковой комплекс) с прежней семантической функцией». На почве недифференцированности мышления с противопоставляемыми значениями ассоциируются их потенциальные семантические дериваты, развертываясь постепенно в два амбивалентных ряда, суммирующиеся как противоположность лета и зимы, но также — жизни и смерти природы. Лингвистическая палеонтология дает основание ставить вопрос: “Что явилось у человека первопричиной возникновения представления о смерти, соответственно и появления выражающего ее слова, конечно, не своя смерть, но хотя бы соплеменника, или коллективная всеобщая смерть природы?”. При такой постановке вопроса сразу уясняется смысловое тождество ‘смерти’, а стало быть и ее антипода ‘рождения’, гесп. ‘любви’, не только с космическими явлениями, но и с звериным образом. В охвате круга значений ‘мрак’ и ‘смерть’ — семантически увязанных с ‘небом-водой’ и ‘небом-огнем’ — в первую голову надо помнить, если не считать основной, одновременно и зримую и ощущаемую и, конечно, хозяйственно переживаемую ‘зиму’, ‘смерть’... При нераздельности же мифических представлений в мышлении первобытного человека с реаль-

ными, при не одухотворении (анимизм) мертвой природы, а материальном или образном воплощении стихийного явления, в тот же тесный семантический круг, в то же гнездо значений неизбежно должен войти и змей.

Яркой иллюстрацией вскрытых лингвистической палеонтологией семантологических связей в мифе и фольклоре является вся совокупность отложившихся в настоящем сборнике материалов, группирующихся вокруг мотива змеборства в его увязанности с солярно-хтоническим божеством и с антитезой смерти и возрождения природы, первоначально неотделимой от человеческого общества. Но для создания подобной концепции мышление должно было предварительно пройти через тотемистическую стадию, базирующуюся на коллективно организованной охоте, обусловившей образование новых общественных форм. К этой стадии относится идеологическое оформление борьбы трудового коллектива со зверем, как объектом охоты, или же с другим коллективом, воплощенным в тотемном звере. Враждебные, как и мирные столкновения и встречи на почве хозяйственных взаимоотношений приводят к объединению первоначально разрозненных ячеек на почве экзогамии и распределения объектов охоты, что связано с общественной нормировкой еды и полового общения, которые таким путем вовлекаются в круг создаваемых надстроечных представлений. С появлением заботы о больных, с развитием магических церемоний, также в отношении мертвеца, миросозерцание осложняется новыми элементами. Но смерть человека остается увязанной с предварительно выявленной в сознании смертью природы. И на почве все еще непреодоленной недифференцированности мышления, вся совокупность выдвигаемых новых элементов миросозерцания сохраняет тесную связь с осознанными на предшествующей стадии явлениями природы, выдвигая лишь более расчлененное оформление космической антитезы. Стоящий в центре миросозерцания нового общества тотем, оказывается семантически связанным с тем или иным кругом явлений природы. Противоречия социального порядка, мифологически оформляемые как борьба тотемов в наличных звериных образах, идеологически воспринимаются как борьба космических сил. 'Брак', 'любовное соединение' 'рождение' неотделимы от семантического пучка 'лета' с его дериватами 'обилие', 'тепло', 'свет' в их увязанности с космическими явлениями, с 'небом', 'солнцем', 'огнем', 'растительностью'. С теми же космическими явлениями в противоположном аспекте увязан семантический пучок 'зима', с его дериватами 'скудость', 'холод', 'мрак', неотделимый также от 'смерти'.

Мы попытались наметить социогенез изучаемого сюжета, выявить его как естественный и закономерный продукт общественного развития. Мы проследили генезис лежащего в его основе семантического пучка и дальнейшие оформления сюжета в зависимости от смены форм общественного уклада. Остается выяснить процесс превращения семантического пучка в сюжетное построение, данное в форме повествования. Мы принимаем, как нечто само собой разумеющееся, что погружение божества в воду или рождение его от дерева выявляет космическую природу божества, как водной стихии или дерева. Но чем отличается миф, как смысловое тожество, от мифа в повествовательной форме? Различие несомненно стадияльного порядка, корнящееся в процессе развития мышления, обусловленного в конечном счете развитием материальной базы. Изучение вопроса выходит за пределы коллективной работы группы, сосредоточенной на проблеме стадияльности в пределах палеонтологической семантики мифа и фольклора. Но вопрос естественно напрашивается в итоге проделанной работы, и мы попытаемся вкратце наметить основные линии предстоящих исследований в указанном направлении. Вопрос относится к области, которую мы охотно назвали бы палеонтологической «морфологией» мифа и сюжета в дополнение к палеонтологической семантике. Путь исследования и здесь предугапан лингвистикой в палеонтологии строя речи.

Переход от семантического пучка, как совокупности смысловых тожеств, к сюжетному построению в форме повествования связан с процессами мышления, нашедшими выражение в преодолении первоначальной аморфности звуковой речи, в постепенном выявлении грамматических категорий, в частности, в отделении глагола от имени при помощи уже образовавшихся местоимений. Стадияльный сдвиг определяется соответственным изменением в материальной базе, именно, усложнение производственного процесса. На почве активного воздействия на природу постепенно выявляется противоречие субъекта и объекта действия, с чем связано также различение активного и пассивного. В первых стабилизовавшихся производственных отношениях, где взаимодействия орудия, продукта и материала навязываются коллективу, организующему производительный труд, деля его среду на активных работников (творец || орудие, надстроечно в мышлении — субъект) и на пассивных работников (продукт в целом без дифференциации оформления и материала, надстроечно в мышлении — объект), это дотоле, пока само действие, противоположное стоянию движение, не получает в языке выражения в особой

части речи, так наз. глаголе. Несколько выше подчеркнуто первоначальное тождество субъекта и производимого им действия. В производстве камень-орудие, преобразуясь в форму своей функции 'рубить', берет на себя роль орудия-производителя, оставляя за камнем роль камня-вещества (материала) или оно же (орудие)... удерживает за собой функцию целого и, обращая новой техникой материал, имевший единую нераздельную функцию в хозяйственном обиходе, и физического предмета (орудия) и производимого им эффекта (функции), двух семантических видов, дает (чему?) продукции (что?) функцию обозначения эффекта.

Установившееся в трудовом процессе различие субъекта и производимого им действия, равно и различие субъекта и объекта, не упраздняет первоначального тождества выявленных категорий в образном мышлении. Это положение наглядно обнаруживается в сюжетных построениях мифологии, когда, напр., смысловое тождество Адониса и кабана (то же божества в зверином образе), а также каждого из них со смертью воспринимаемой уже не как состояние, а как действие, получает выражение в мифе об убийстве Адониса кабаном, претворяя наличное в мирозерцании смысловое тождество в соответствующий мифологический сюжет, данный в форме повествования. Точно так же связь Адониса с деревом и смысловое тождество обоих с 'плодородием' в аспекте 'рождения' выражено в мифе о рождении Адониса от дерева. И не даром, по одной из версии мифа, тот же кабан, повинный в смерти Адониса, разгрызает кору дерева, содействуя рождению Адониса, чем иллюстрируется смысловое тождество 'рождения' и 'смерти'.

Переход от семантического пучка, как потенциального сюжета, к развернутому в пространстве и во времени повествованию, с определенной локализацией и мотивировкой действия, стимулируется углубившейся на почве усложнения производственного процесса дифференциацией сознания, оказывающегося в противоречии с унаследованным от предшествующих стадий смысловым тождеством значений. Преодоление аморфности языка отражает процессы мышления, приводящие к установлению основных демаркационных линий в восприятии отдельных категорий явлений. Противопоставление субъекта и объекта приводит впоследствии к постепенному разграничению живой и мертвой природы. В повествовательной форме сюжета находит выражение отделение космических явлений от их олицетворений в звериных или человеческих образах путем низведения космических явлений на степень сценария, арены, на которой действуют живые лица повествования. Размежевание отдельных лиц, первоначально тождественных по своей мифологической сущности

идет рука об руку с осознанием трех грамматических лиц, что совершается лишь постепенно. Первоначально все три лица совмещены в одном, грамматически выраженном в местоимении 3-го лица, восходящем к названию тотема. В этом кроется палеонтологический источник троичности божества: отец, сын и мать (впоследствии замененная «святым духом») первоначально тождественны. В развернутом виде сюжет расчленяется на мотивы, в структуре которых отражается осознание всех трех грамматических лиц, как например в мотиве борьбы героя с драконом за обладание женщиной или в мотиве соединения с женщиной ради исцеления отца или в мотиве супружеской измены, требующем также сочетания из трех лиц. Но наличие трех лиц в сюжете — явление стадиального порядка, как и наличие трех лиц в языке. На промежуточной стадии тот же сюжет дан в менее сложных мотивах, не выходящих за пределы взаимодействия между двумя лицами. Борьба с драконом дана отдельно от любовного соединения или же оба мотива наложены один на другой. Нергал борется с Эрешкигал, но борьба приводит к брачному соединению. Сюжет исчерпан двумя лицами, женский образ не отделен от дракона.

Ступенью ниже мы находим лишь одно действующее лицо; функция его выражена не в действии, а в смене состояний. Мы находимся на грани семантического тождества и сюжетного построения. Таково чередование жизни и смерти в мифе об умирающем и воскресающем божестве. Оно олицетворено в женском образе, который впоследствии сменяется мужским без упразднения первого. Тогда рядом с Иштарью стоит ее возлюбленный, Таммуз. Наличие двух лиц создает новую мотивировку: Иштарь сходит в преисподнюю ради оживления Таммуза. На стадии трех лиц находим дальнейшее осложнение сюжета: Иштарь в преисподней поражена болезнью, на сцену является Азушунaмир, двойник Таммуза, который избавляет богиню вместе с ее возлюбленным. Но ясно, что взаимоотношения действующих лиц — результат позднейшего оформления. Перед нами три параллельных образа в совершенно одинаковой функции. Первоначально сюжет исчерпан чередованием жизни и смерти.

В истории осознания грамматических категорий отразились этапы развития мышления, имеющие кардинальное значение для динамики сюжета. Здесь коренятся предпосылки для отделения поэтического творчества от мифологии, обусловленные в конечном счете развитием материальной базы. Сюжетному построению присуща тенденция к рационализации унаследованных воззрений в целях переоформления и согласования их с изменившейся структурой мыш-

ления в зависимости от смены форм общественного уклада. Отмеченное выше отделение мифических лиц от олицетворяемых ими космических явлений, путем низведения последних на ступень арены действия, способствует перенесению сюжета с мифических лиц на реальных, приобретающих характер литературных типов. Таков путь развития сюжета от семантических рядов, как элементов зачаточного мирозерцания к мифологическим концепциям, а через посредство мифологической традиции — к эпосу и другим формам поэтического творчества.

Поскольку весь процесс в конечном счете обусловлен развитием производительных сил и производственных отношений, палеонтология сюжета — семантическая и «морфологическая» — выявляет социогенез сюжета, как одного из основных элементов поэтического творчества, в его закономерном становлении и развитии на почве последовательной смены форм общественного уклада.

(1932)

М. Г. Долобо

РУССКОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ «МОЙ»

1. «Притяжательная [местоимения] суть: **мой, твой, свой, наш, ваш, его**; *сия притяжание вещи знаменуют*», писал М. Смотрицкий в своей Грамматике. В черновых бумагах М. В. Ломоносова отмечено: «Притяжательные местоимения: **мой, твой, свой, наш, ваш, ево, притяжение или присвоение какой-либо вещи значат (знаменуют)**».

Через Н. Греча, Г. Павского, — чтобы ограничиться лишь некоторыми авторами русских грамматик, — это учение об обозначении притяжательными местоимениями принадлежности вещи лицу дошло до наших дней. Так, Н. Греч писал: «Сии [притяжательные] местоимения, обозначающие обладание, принадлежность личному предмету, суть следующие: а) Первого лица: **я, мой; мы, наш**. — Второго лица: **ты, твой; вы, ваш**. — Всех лиц: возвратное **свой**». Г. Павский был лишь неудовлетворен термином «притяжательные» (для прилагательных и местоимений) и вместо него вводил новый: «я буду

называть их усвоительными, потому что слово притяжательный, происходящее от устарелого **стяжать, притяжать** (*possideo*), ныне сделалось не внятным».

Термин «притяжательный», как известно, есть перевод термина греческих грамматиков *χτήτιχός*, находящегося в связи с глаголом *χτίζωμαι* 'приобретаю, владею', передаваемым в древнейшем славянском (южнославянском) переводе евангелия IX века посредством *griteza*, откуда и термин наших грамматик.

Любая буквенная письменность в своем начале есть письменность общества классового. Не удивительно, что и для греческих грамматиков и для М. Смотрицкого и для всех последующих русских грамматиков «притяжательные» местоимения обозначали принадлежность чего-либо какому-либо из трех лиц обоих чисел; но удивительно, что и мы продолжаем оставаться при том же их толковании и называем **мой** притяжательным местоимением 1-го лица единственного числа, показывающим принадлежность чего-либо этому лицу.

2. А priori ясно, что местоимение **мой** должно быть доклассового происхождения. Что же значило **мой** в доклассовом обществе, с его коллективной собственностью? И если оно значило не то, 'что принадлежит мне', а нечто иное, то не должно ли было это *иное* значение в качестве пережиточного уклада сохраниться и в обществе классовом и дожить до эпохи нового бесклассового общества?

Если у автора книги *«Моя жизнь и мои достижения»* известного Генри Форда спросить, — заставив его говорить по-русски, как заставляют его говорить переводчики, — что в его словоупотреблении значит местоимение **мой**, то, всего вероятнее, он, в согласии со всеми грамматиками, ответит: 'мне принадлежащий'. Разве, называя завод в Детройте, *«мой завод»*, Г. Форд не подчеркивает своего права собственника на этот завод. Однако *«Мой родной дом и теперь еще цел и вместе с фермой входит в состав моих владений»*. — Существует легенда, что *мои* родители были очень бедны». — *«Мой город»*. — *«Моя страна»*. Уступим Г. Форду и признаем его родителей принадлежащими ему, Форду (а не наоборот); дом его родителей вошел в состав его владений: принадлежа его родителям, — опять уступим Г. Форду, — дом потенциально был уже его домом. Но едва ли Г. Форду принадлежит тот город, который он называет *«мой город»*, едва ли ему принадлежат Соединенные Штаты. Наоборот, — это он, Г. Форд, принадлежит городу, стране.

Стало быть, для Г. Форда **мой** будет значить не только 'мне принадлежащий' (предметы его индивидуального пользования, скажем, его зубная щетка, с полной несомненностью принадлежат ему и

только ему), но и 'к чему я (на ряду с другими) принадлежу': мой город, моя страна, моя нация и т. д., — словом, любой *коллектив*. Г. Форд эпохи империалистического капитализма — не только субъект «усвоения», но и объект «усвоения».

Как могло получиться, что в обществе, основным устоем которого считается священность и неприкосновенность *частной* собственности, объектом которой являются и орудия производства, собственническое, «притяжательное» *мой* оказывается имеющим два прямо противоположных значения, одно при названии вещей неколлективных, другое — коллективных? — Лишь так, что *второе* значение занесено в качестве пережиточного уклада из эпохи, знавшей это значение.

3. Л. Г. Морган в книге «Дома и домашняя жизнь американских туземцев» в числе других своих источников, раскрывающих закон гостеприимства, как результат «коллективного землевладения, распределения земледельческих продуктов по домашним хозяйствам, состоящим из известного числа семейств, и коммунистического строя домашней жизни, осуществляемого в этих домашних хозяйствах», приводит из History of the Amerikan Indians Джемса Эдера такое место, касающееся южных индейских племен Соединенных Штатов (чироки, чокта, чиказа и племена конфедерации криков). «...Хотя они не имеют общих запасов, но на деле, благодаря усвоенному ими образу жизни, получается именно такая общность. У каждого есть своя семья и свое племя. *Когда индеец говорит о ком-нибудь из своих единоплеменников или об их жилищах, он всегда выражается так: "это человек из моего дома" или "это мой дом"...* Когда индейцы путешествуют по собственной стране, они всегда спрашивают, нет ли где дома, принадлежащего к их племени [роду]. Если такой дом окажется, они свободно идут туда и встречают самый радушный прием, хотя видятся с хозяевами первый раз. Они едят, пьют и угощаются так свободно, как делали бы это за своим столом, представляющим простую землю, покрытую медвежьей шкурой». «*Мой дом*» для индейца в переводе на язык эпохи личной собственности будет значить 'наш, общий', где «мы» = 'данный коллектив', 'родной коллектив', племя, род и где «я», входящее в состав этого «мы», — неразрывная часть последнего.

В языке Г. Форда — а последний для нас только представитель — осталось и то значение, которое употреблял его предок эпохи первобытного коммунизма, и то же слово приобрело затем для эпохи частной собственности, как основы классового общества, новое значение. Старое значение *мой* осталось при именах коллективных, новое значение *мой* получилось при именах неколлективных. И если бы

Г. Форд стал отрицать тот факт, что он говорит на языке, восходящем к языку, выражавшему отношения первобытного коммунизма, достаточно было бы указать ему на двоякое значение употребляемого им местоимения **мой**.

4. Общинная земля племени есть **моя** земля для каждого члена племени; племя, к которому я принадлежу, есть **мое** племя; наречие (племени), на котором я говорю, есть **мое** наречие; старейшина моего племени есть **мой** старейшина; воевода моего племени есть **мой** воевода. Фратрия, к которой я принадлежу, есть **моя** фратрия. Род, к которому я принадлежу, есть **мой** род. Вече, членом которого я являюсь, есть **мое** вече. Деревня, в которой я живу, есть **моя** деревня. Дом, в котором я живу (общинный дом), есть **мой** дом. И т. д., и т. д.

При пуналуальной семье **моя** жена будет **моей** женой не только для меня, но и для моих пуналуа; но **моей** женой будут и все ее пуналуа, каждая ее пуналуа. Равно, каждая из моих жен будет называть **мой** муж не только меня, но и моих пуналуа, каждого из моих пуналуа. И так *mutatis mutandis* во всех степенях свойства и родства пуналуального строя.

Но групповой брак сменился парным браком, но пало затем материнское право и было введено право отцовское. Парный брак сменился моногамией. «"Дикий" воин и охотник довольствовался в доме вторым местом после жены, "более мягкий" пастух, гордясь своим богатством, выдвинулся на первое место, а женщину оттеснил на второе» (Ф. Энгельс). Жена или жены этого «более мягкого» пастуха суть *его* жены; **моя** жена есть для него «индивидуально **моя** жена».

«Обработанная земля оставалась еще собственностью племени, передаваемой в пользование сначала рода, позднее — крупных семейных общин, наконец, отдельных лиц; они могли иметь известное право владения, но не больше» (Ф. Энгельс). Но далее — торжествует полная частная собственность. «Переход к полной частной собственности совершается постепенно и параллельно с переходом парного брака в моногамию. Одиночная семья становится основной хозяйственной единицей общества» (Ф. Энгельс). Здесь **моя** земля есть 'принадлежащая мне на праве личной собственности земля', **мой** двор есть 'принадлежащий мне на праве личной собственности двор'; но **моя** деревня есть 'деревня, в которой я (вместе с другими) живу', **мой** выгон есть 'выгон, используемый моим (лично моим) скотом совместно со скотом моих односельчан (мне, конечно, не принадлежащим)'.

Постепенно и параллельно с развитием частной собственности,

сменяющей собственность коллективную, содержание местоимения **мой** все более суживается, до индивидуальности включительно, но, в то же время, не теряет, однако, и своего первоначального значения там, где дело идет о коллективе.

5. Языковой формой местоимения принадлежности 1-го лица единственного числа в русском языке является **мой, моя, мое, моего** и т. д. В склонении этого местоимения четко выделяется основа **мо-**, за которой следует окончание *совпадающее* по всем падежам всех чисел и всех родов с т. наз. «личным» местоимением 3-го лица: **мо-его, мой, мо-ему, мо-им, мо-ей, мо-ею** и т. д. Основа **мо-** эпохи коммунизма имеет значение 'наш, общий' и более, конечно, связана с личным местоимением 1-го лица *множественного* числа, нежели с таким же местоимением числа единственного.

Украинский, сербо-хорватский и словенский языки имеют **-мо** в качестве окончания 1-го лица множественного числа глаголов (**несемо, несемо, nesemo**). Отношение этого **-мо** к **-мъ** (ст.-славянск., болгарск., чешск.), **-ме** (болгарск., чешск.) и **-мы** (ст.-славянск., польск., сербо-лужицк.), равно к окончаниям 1-го лица множественного числа других индо-европейских языков остается неясным до конца, но их взаимная связь несомненна, как несомненно тождество **-мы** и личного местоимения **мы**, причем считать первое результатом аналогии второго, как это обычно делается, решительно необязательно.

Наконец можно указать и на полное совпадение и по содержанию и по форме славянского **мо** с грузинским глагольным префиксом **mo-** (при котором, отметим, имеется имерское **me-**) со значением 'сюда, в нашу или мою сторону, к нам или ко мне': **mo-vida** (имерск. **me-vida**) 'он пришел к нам || ко мне || сюда'. В этом грузинском **mo-** единство коллективности и индивидуальности, живое по сегодняшний день, должно остаться показательным даже для того, кто склонен был бы скептически отнестись к сопоставлению с ним славянского **мо-** и **-мо**.

Я высказываюсь поэтому за единство происхождения и местоименной основы **мо-й** и глагольного окончания **-мо**, точнее — за использование основы **мо**, обозначавшей 'наш (мой) коллектив, со всем, что к нему относится' в качестве окончания 1-го лица множественного числа глаголов.

Но если, в результате развития общества на непосредственно следующих за первобытным коммунизмом стадиях, единство содержания местоимения принадлежности **мой** раздваивается на противоположности: 'мне принадлежащий' и 'тот, к которому я принадлежу', в силу того, что **мой** есть определяющее слово, дающее единство со

словом определяемым, но с последним в одно слово не сливающимся, — *-мо*, дав в эпоху первобытного коммунизма полное единство с глагольной основой, составив с ней *одно* слово, и впредь сохраняет свое исконное значение 'коллектива, членом которого я являюсь'.

6. Первобытный коммунизм есть естественная организация для общества со слабым развитием производительных сил. Общественные формации, непосредственно следовавшие за первобытным коммунизмом, выросли на основе дальнейшего развития производительных сил и дальше развивали производительные силы до момента, когда капитализм в бессилии остановился перед задачей организации единого мирового хозяйства, настойчиво требуемого выросшими производительными силами. Частная собственность, в рамках которой происходило развитие феодализма и капитализма, оказывается в дальнейшем тормозом развития производительных сил. Для нового расцвета их общество возвращается к общему владению средствами производства и тем самым, но теперь на базе колоссального развития производительных сил, воскрешает в качестве ведущего старое, доклассовое значение местоимения *мой* 'общий, наш', где каждое я, существующее во всех сторонах своего раскрытия, сливается в единое всего коллектива.

Это так рельефно, ярко, напоминающе и воскрешающе '*мой дом*' индейцев из цитированного наблюдения Дж. Эдера высказано было в предсъездовском обращении к «Рабочим, работницам, колхозникам, колхозницам, инженерам, ученым от пролетариев передовых заводов и фабрик Москвы и Московской области» (Изв. ЦИК. № 289 (5220). 28.XI.1933): «Великая честь рапортовать съезду нашей великой партии о новых победах. Великая честь для каждого рабочего, работницы, специалиста, колхозника и колхозницы стать активным участником съезда партии и сказать себе: "Я сделаю все необходимое, чтобы *моя* фабрика, *мой* завод, *моя* шахта, *моя* железная дорога, *мой* паровоз, *мой* совхоз, *мой* колхоз, *мой* кооператив пришли к партийному съезду с новыми достижениями"».

(1935)

Л. В. Щерба

О «ДИФФУЗНЫХ ЗВУКАХ»

В последнее время Николай Яковлевич Марр ввел в обиход понятие «диффузного звука», заимствовав его, очевидно, из физиологии центральной нервной системы, где говорится о диффузном центральном раздражении, т. е. недостаточно локализованном и дифференцированном, распространяющимся на другие участки нервной системы. В этом смысле можно, очевидно, говорить о диффузном раздражении того или другого двигательного аппарата вообще, и далее, по-видимому, о диффузной речевой артикуляции, т. е. такой артикуляции, в которой в силу недостаточной дифференцированности раздражения с абсолютной необходимостью участвуют ненужные с точки зрения ожидаемого полезного действия группы мускулов. Однако, остается совершенно неясным, в применении к речи, какое действие в каждом отдельном случае следует считать бесполезным. Совершенно очевидно, что в произношении, например, русского *п* мягкого (*нь*) участвует, кроме губной мускулатуры обуславливающей самый шум этого согласного, также и мускулатура языка, поднимающегося в своей средней части к твердому нёбу и обуславливающего этим его «мягким» (высокий) тембр. Однако, это действие никак нельзя считать бесполезным, а еще менее неотделимым, так как именно благодаря его наличию или отсутствию мы различаем слово *цепь* от слова *цеп*.

Итак, сложность артикуляции, по-видимому, не дает еще никакого права называть ее диффузной, а поэтому возникает совершенно законный вопрос, какие же именно реальные звуки следует называть «диффузными», а если таких реальных примеров нельзя указать, то нужно ли самое понятие «диффузного звука». Я полагаю все же, что оно отвечает чему-то реальному, ибо необходимость этого понятия всегда ощущалась. Только раньше говорилось о «нечленораздельных звуках», причем, однако, что такое «нечленораздельные звуки», было неясно и в прежние времена. Бодуэн пытался определить «членораздельность», как строгую количественную соотношение членов звукового ряда, считая, очевидно, отсутствие такой соотносительности за «нечленораздельность». В этом, конечно, есть доля истины, которая, однако, далеко не разрешает вопроса, и мне кажется, что он получит большую определенность, если мы рассмотрим некоторые словечки русского языка, зачисленные в ту недифференцированную кучу слов, которая называется «меж-

дометиями», так например: *тфу*, *тьфу*, *фу*, *тпру*, *брр* и т. п., и сравним их с теми внеязыковыми звуками, от которых они, очевидно, произошли.

Прежде всего совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с двумя рядами совершенно разных произношений: «слова» произносятся более или менее так, как пишутся (за исключением, может быть, слова *тпру*, о котором ниже); произношением же соответственных внеязыковых звуков мы сейчас займемся.

Жест, звуковое следствие которого соответствует слову *тфу*, употребляется для удаления изо рта постороннего тела. Например, швея так сплевывает откушенную ниточку, грудной ребенок створожившееся молоко и т. п. Так как удаляемый предмет находится на языке, то кончик языка смыкается с верхней губой, затем за затвором накапливается воздух, и посторонний предмет в момент взрыва выносятся усиленной струей воздуха. При этом получается сначала своего рода губное *t*, а затем нечто вроде губно-губного *f*. Все это, конечно, имеет некоторый тембр, который ввиду небольшого губного отверстия, необходимого для получения сосредоточенной струи воздуха, может отдаленно напоминать гласный *и* (русское *у*). Вот этот-то «диффузный», «нечленораздельный» звуковой комплекс и транспонируется в русские языковые членораздельные *тфу*, *тьфу* (и дальше *фу*), немецкое *pfui* и т. п. Этот внеязыковый комплекс неразложим, ибо он ничему не противопоставляется, не входит ни в какую звуковую систему — в этом его «нечленораздельность», или «диффузность» в случае его лингвистического употребления обществом, не имеющим выработанной звуковой системы, а употребляющим в виде знаков несколько таких неразложимых комплексов: отдельные части не имеют повода выделяться, а потому и не выделяются. Но, входя в уже существующую языковую систему, этот комплекс к ней приспосабливается и расчленяется, противопоставляясь другим словам, частично схожим, частично различным с ним по звукам.

Не могу указать происхождение внеязыкового звукового жеста, отвечающего русскому *тпру*; ясно только, что он произносится не так, как соответственное «слово». Начинается он с переднеязычного глухого затвора, одновременного с губным. Затворы эти необходимы, очевидно, для накопления воздуха (раскатистые звуки требуют много воздуха), и без взрыва разрешаются губным звонким *г*. Все это, конечно, получает ту или другую тембровую окраску, которая, естественно, может иметь отдаленно губной характер. И этот действительно неразложимый «нечленораздельный», «диффузный» комплекс транспонируется в русское языковое *тпру*, в котором, однако,

р бывает и губное и языковое, очевидно, в зависимости от того, чем является для говорящего в данную минуту это звукосочетание — «словом» или «профессиональным жестом» (понятно, что это в свою очередь находится в связи с принадлежностью говорящего к той или иной профессиональной группировке).

Наконец, слову *брр* отвечает жест общего сотрясения всего организма от холода или от отвращения, который ведет при достаточной энергичности аффекта к произнесению звонкого губного *р*, являющегося несоизмеримым с нашей языковой системой и транспонирующегося в два звука «слова».

Все эти примеры — а их можно подобрать много — показывают, что «нечленораздельность» звуков или, смею думать, то, что Николай Яковлевич Марр называет их «диффузностью», состоит в отсутствии их соотнесенности не в потоке речи, как думал Бодуэн, а друг ко другу в звуковой системе данного языка. Совершенно естественно думать, что на заре человеческой речи несколько внеязыковых звуковых жестов человека, начинавших употребляться с речевыми намерениями, были сложными артикуляциями (комплексами артикуляций — одновременных и последовательных) и при своей малочисленности не образовывали системы по своим сходствам и различиям друг с другом, а потому, не разлагаясь на звуковые элементы, противопоставались друг другу целиком и являлись таким образом «словозвуками», если можно так выразиться. Это были «диффузные» или «нечленораздельные» звуки, которые были диффузными с биологической точки зрения только в том смысле, что говорящие не умели их дифференцировать, не имея к тому поводы.

Я полагаю, что фонематический анализ китайской звуковой системы, сделанный не с точки зрения фонетики европейских языков, а с точки зрения китайского языка, в котором «слова» никогда не делятся морфологическими границами на отдельные звуки, обнаружит для нас некоторую «диффузность» китайских «словозвуков».

(1935)

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

РАБОТА ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА ЗА 1946 ГОД

I. Общие сведения

1946 год был годом восстановления работы Института языка и мышления в Ленинграде, а также годом укрепления работы Отделения Института в Москве.

По вновь установленной структуре в составе Института имеются следующие отделы: Сектор яфетических языков, Сектор тюрко-монгольских языков, Сектор финно-угорских языков, Сектор языков народов Севера, Сектор иранских языков, Сектор романо-германских языков, Кабинет классических языков, Кабинет сравнительного языкознания.

В Институте языка и мышления ведут работу три академика, пять членов-корреспондентов Академии Наук, семнадцать докторов и профессоров, двадцать четыре кандидата наук.

В кандидатской и докторской аспирантуре при Институте обучается сорок пять человек, избравших своей специальностью различные языки народов Советского Союза и языки народов зарубежных стран.

В Институте языка и мышления имени Н. Я. Марра вновь сосредоточены основные кадры высококвалифицированных лингвистов. Крепнут и развиваются научно-деловые связи Института с другими лингвистическими учреждениями Москвы и Ленинграда, с лингвистическими учреждениями союзных и автономных республик, краев, областей, национальных округов и районов.

Основанный 25 лет тому назад гениальным советским лингвистом академиком Н. Я. Марром и возглавляемый ныне его ближайшим учеником и последователем академиком И. И. Мещаниновым Институт языка и мышления еще в довоенные годы стал общепризнанным центром лингвистической мысли в нашей стране.

В дни юбилейной научной сессии (январь—февраль 1947 г.) Институт языка и мышления получил многочисленные приветствия, содержащие весьма высокую оценку научной деятельности Института со стороны руководящих, научных и учебных учреждений нашей страны.

По обстоятельствам, не зависящим от Института, в истекшем году

не удалось возобновить в довоенных размерах издание периодических сборников и монографических исследований. Большое количество законченных еще в предыдущие годы работ (около 1000 авторских листов) ждет своего опубликования. Этот факт существенным образом отражается на деятельности Института.

В настоящем кратком обзоре мы познакомим читателей с некоторыми итогами работы Института за истекший год.

II. Об основных работах, законченных в 1946 г.

В соответствии с утвержденным пятилетним планом научно-исследовательских работ, сотрудники Института вели работу по 15 темам, включенным в общеакадемический план, и по 20 темам внутриинститутского плана.

Из числа работ, выполненных по общеакадемическому плану, отметим следующие, важнейшие:

Досрочно выполнена тема «Инкорпорация и ее разложение в чукотском языке» (руководитель — акад. И. И. Мещанинов, исполнитель — П. Я. Скорик).

Инкорпорация (словослияние) как своеобразная языковая структура давно уже привлекала внимание исследователей.

По-новому был поставлен вопрос об инкорпорации в свете нового учения о языке, в связи с разработкой проблемы единства языков-творческого процесса в его стадияльно-типологических переходах. В отличие от взгляда ряда русских и зарубежных исследователей, считавших инкорпорацию одним из обычных способов словообразования, акад. И. И. Мещанинов еще в предыдущих своих работах определил это своеобразное явление, свойственное некоторым архаичным языкам, как явление лексико-синтаксическое, характеризующее один из ранних этапов развития языка.

Материалы чукотского языка, тщательно и всесторонне проанализированные П. Я. Скориком, подтвердили теорию Мещанинова, внося в нее одновременно ряд очень важных дополнений и уточнений.

П. Я. Скорик удалось выявить закономерности регулярного и нерегулярного (факультативного) употребления инкорпорации в чукотском языке, а также установить те случаи, когда инкорпорация совершенно неприменима и когда предложение строится из отдельных неинкорпорированных членов — слов.

П. Я. Скорик подробно освещает в своей работе различные типы инкорпорированных комплексов и показывает роль инкорпорации в общей системе современного чукотского языка. Автор предпринимает также попытку вскрыть генезис инкорпорации, основываясь на

чукотском материале, исследуемом им в свете общей теории советского языкознания. Автор приходит к заключению, что инкорпорации в чукотском языке предшествовал иной строй, характеризующийся морфологически недифференцированными (аморфными) словами, синтаксическая связь между которыми носила весьма неустойчивый и малоопределенный характер (соположение).

Работа П. Я. Скорики, выполненная под руководством акад. И. И. Мещанинова, и названная в окончательной редакции «Инкорпорация в чукотском языке» (270 страниц машинописи), наряду с большим теоретическим значением имеет также большое практическое значение для развития литературного чукотского языка. Она кладет начало научной разработке чукотского синтаксиса.

Работа П. Я. Скорики была представлена автором в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Оппоненты — член-корр. АН СССР Д. В. Бубрих, проф. С. Д. Кацнельсон, канд. истор. наук И. С. Вдовин и др. — дали весьма высокую оценку работе П. Я. Скорики. Степень кандидата наук была присуждена ему единогласно. Было высказано также единодушное пожелание о скорейшем опубликовании этой интересной работы.

По теме «Сравнительная грамматика финно-угорских языков» (исполнитель — член-корр. АН СССР Д. В. Бубрих) закончена первая часть работы — «Сравнительная фонетика финно-угорских языков» (280 страниц машинописи).

Работа Д. В. Бубриха, крупнейшего специалиста по финно-угорским языкам, представляет собой первый опыт глубокого научного анализа и обобщения всех явлений из области фонетики многочисленных языков финно-угорских народов. Крупных вводных работ в этой области до сего времени не было. Считаясь с этим, автор должен был начать свое исследование с фонетики, хотя центр тяжести советского сравнительно-исторического изучения языков он находит в области их строя (синтаксиса и морфологии). Этим вопросам будут посвящены другие части книги.

Первые главы работы Д. В. Бубриха вводят читателя в проблемы советского финно-угроведения и освещают ряд актуальных вопросов (система финно-угорских языков, древняя финно-угорская речь и др.) с позиций нового советского языкознания.

Фонемы и их варианты исследуются автором не изолированно, а взятые в живой ткани языка, в словах и словосочетаниях. Особенно следует подчеркнуть научные достижения автора в области исследования вокализма и в частности — вокализм не-первых слогов слова.

К исследованию привлечены материалы всех основных финно-

угорских языков. Учитываются не только факты из литературных языков, но также факты из диалектов.

Книга Д. В. Бубриха, когда она будет напечатана, явится настольной для всякого специалиста по финно-угорским языкам. Она явится необходимым пособием для подрастающей научной смены — студентов и аспирантов, для учителей и работников в области культуры финно-угорских народов нашей страны.

Остается лишь пожелать, чтобы работа Д. В. Бубриха была издана в самом непродолжительном времени.

По теме «Материалы к сравнительной грамматике иранских языков» закончена работа, посвященная характеристике говоров курдов СССР — «Материалы для грамматики говора курдов Армянской ССР» (исполнитель — канд. филолог. наук И. И. Цукерман).

В вводных главах автор обстоятельно освещает историю изучения курдской грамматики, начиная с XVIII в. и до наших дней. Основное внимание уделено детальному рассмотрению и систематизации форм склонения. И. И. Цукерман подверг специальному анализу способы выражения падежных отношений — флективные формы падежей, изафетные формы. Отдельная глава посвящена синтаксической функции падежных форм.

Автор приводит в своем исследовании много фактов, ранее не описанных в опубликованной научной литературе.

К исследованию приложен текст с переводом и комментированным глоссарием, а также список имен существительных.

Высказанные ранее пожелания относительно скорейшего издания законченных в 1946 г. работ в равной мере относятся и к этой ценной работе, изложенной на 350 страницах машинописи.

По теме «Научные грамматики отдельных литературных яфетических языков Кавказа» закончено три работы: «Грамматика кабардино-черкесского литературного языка» (исполнитель — проф. Н. Ф. Яковлев), «Грамматика табасаранского языка» (исполнитель — проф. Л. И. Жирков), «Грамматика абазинского литературного языка, часть I-я» (исполнитель — проф. Г. П. Сердюченко).

Научные грамматики указанных языков разработаны и подготовлены к печати впервые. Отдельные, часто весьма отрывочные и неточные сведения о строе этих языков, опубликованные как у нас, так и за рубежом, не могли и не могут удовлетворить растущие научные и практические потребности.

Подготовленные к печати грамматики явятся по их опубликованию не только ценным пособием для педагогов, студентов, аспиран-

тов, но дадут также богатейший новый материал для общего языкознания.

Из числа законченных в 1946 г. работ следует также отметить исследование проф. М. М. Гухман «Развитие номинативного строя предложения в германских языках и генезис страдального залога». Работа эта входит в серию работ, объединенных общим тематическим названием «Очерки по сравнительно-исторической грамматике германских языков» (руководитель — член-корр. В. М. Жирмунский). Срок окончания переходит на последующие годы.

По теме «Маньчжурский язык» (исполнитель проф. Б. К. Пашков) закончена 1-я часть работы, содержащая материалы для грамматики маньчжурского литературного языка — «Сто глав» (текст, транскрипция, перевод и грамматический очерк, общим объемом в 30 авторских листов).

В соответствии с планом, в течение года велась интенсивная работа по темам: «Проблема общего языкознания за рубежом и в советской науке», «Теория субстрата и проблема стадиальности в развитии языков», «Сравнительная грамматика тюркских языков», «История осетинского языка» и др. Сроки завершения этих работ запланированы на последующие годы пятилетия.

Из числа работ, законченных в 1946 г. по внутриинститутскому плану, особого внимания заслуживает исследование ст. научного сотрудника А. В. Десницкой — «Развитие категории прямого дополнения в индо-европейских языках».

Заглавие, может быть, не дает достаточно ясного представления о содержании этого глубокого и обширного исследования (680 страниц машинописи).

Работа А. В. Десницкой посвящена проблеме генезиса строя индо-европейских языков. Как устанавливает автор, вопрос о развитии категории прямого дополнения оказывается одним из центральных в общем кругу проблем, связанных с номинативным строением предложения в индо-европейских языках. Осветить пути, по которым шло развитие субъектно-объектной схемы предложения в указанных языках — такова основная цель исследования. В общем плане работы существенную роль играет вопрос о первичном единстве именных и глагольных основ, о первичной залоговой нейтральности «первообразных» имен действия, послуживших впоследствии основой для образования глагольных предикатов. Анализ древнейшего типа сложных слов (сопоставляемых автором с инкорпорированными комплексами палеоазиатских языков) приводит к выводу о существовании в прошлом древнейшего типа определительных отношений, исторически предшествовавших объектным отноше-

ям и падежной дифференциации имен. Проблема так называемого неопределенного падежа освещается автором в этой связи с исключительной глубиной и полнотой. Таков круг основных проблем исследования. Между прочим, А. В. Десницкая приходит к выводам, ставящим под сомнение получившую в последние годы широкое распространение теорию «эргативного прошлого» индо-европейских языков. Трудно пока сказать, ввиду исключительной сложности этого вопроса, удалось ли автору действительно опровергнуть эту теорию, развиваемую видными лингвистами зарубежных стран и Советского Союза. Бесспорно одно: исследовательница обнаружила недостаточность аргументов, выдвинутых в пользу теории «эргативного прошлого» индо-европейских языков.

Автор привлек к исследованию богатейшие материалы, засвидетельствованные памятниками и живыми языками индо-европейской системы. Критически использована обширная литература, как наша советская, так и дореволюционная. Исследования западноевропейских лингвистов старого и нового времени получили в книге Десницкой также надлежащую оценку и всесторонний учет.

Свой труд А. В. Десницкая представила на соискание ученой степени доктора филологических наук. На состоявшемся 20 декабря диспуте диссертация Десницкой получила весьма высокую оценку со стороны оппонентов — акад. И. И. Толстого, действ. члена Академии Наук Грузинской ССР Г. С. Ахвледзани, члена-корр. Академии Наук СССР В. М. Жирмунского, проф. И. М. Тронского и др. Ученый совет ИЯМ и ЛО ИРЯЗ единогласно присудил А. В. Десницкой ученую степень доктора филологических наук.

Мы полностью присоединяемся к горячему пожеланию оппонентов, — чтобы работа эта была как можно скорее продвинута к печатному станку.

III. Доклады, сообщения, рецензии

В течение года в Институте языка и мышления и его Отделений состоялось в общей сложности свыше шестидесяти пленарных, групповых и секционных научных заседаний.

Акад. И. И. Мещанинов выступил в Ленинграде и Москве с докладом «Задачи научно-исследовательской работы лингвистических институтов в текущем пятилетии».

В свете постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» акад. И. И. Мещанинов анализировал планы научно-исследовательских работ Института русского языка и Института языка и мышления, выдвинув в качестве важнейшей задачи дальнейшую

разработку и уточнение методологии лингвистических работ, направленных на удовлетворение растущих практических нужд нашей многонациональной страны. Создание научных грамматик ряда языков и сравнительных грамматик различных языковых групп, участие в языковом строительстве страны, подготовка кадров языковедов — таковы неотложные задачи, стоящие перед учеными-языковедами. И. И. Мещанинов призвал сотрудников к критическому и самокритическому изучению изданных работ и работ, подготовленных к изданию.

Краткий отчет о докладе И. И. Мещанинова и о широко развернувшихся прениях по докладу опубликован в Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т. V, вып. 6, 1946 г.

По инициативе акад. И. И. Мещанинова Институт языка и мышления провел серию докладов, посвященных одной из центральных теоретических проблем советского языкознания — проблеме стадийности в развитии языка. Краткий отчет об этих заседаниях публикуется ниже. Предлагается опубликовать все доклады, посвященные указанной проблеме и прочитанные в стенах ИЯМ в декабре 1946 г. — феврале 1947 г.

Ряд других докладов и сообщений также подготовлен к печати; часть из них составила два очередных тома (XI и XII) периодического сборника «Язык и мышление», другая часть опубликована или представлена для опубликования в Известиях АН СССР, Отделение литературы и языка, и других изданиях. В надежде на то, что эти работы в скором времени увидят свет, мы ограничимся здесь одним перечнем докладов и сообщений, читанных в ИЯМ в 1946 г., не касаясь их содержания.

Акад. *И. И. Мещанинов*: Задачи научно-исследовательской работы языковедческих институтов в текущем пятилетии. Эргативная конструкция предложения в сравнении с другими языковыми структурами. Учение Н. Я. Марра о стадийности. Проблема стадийности в развитии языка.

Чл.-корр. АН СССР *Д. В. Бубрих*: О порядке слов в финно-угорском предложении и о порядке морфем в финно-угорском слове. Удмуртские образования на «ку». К вопросу о происхождении германских языков. Происхождение подлежащно-сказуемого предложения. Классификация форм существительного в мордовском языке. Глагол в финно-угорских языках.

Канд. филол. наук *Э. А. Якубинская*: Мордовские элементы в русской речи Пензенской области. Отзыв о работе К. М. Баушева «Мышление и строение речи» (рукопись, 1944).

Доц. Восточного фак-та ЛГУ *А. Н. Баландин*: Семантика падежей

в ваховском диалекте хантыйского языка. Важнейшие фонетические и морфологические особенности ваховского диалекта хантыйского языка.

Д-р филолог. наук, ИРЯЗ *Ф. П. Филин*: О синонимах в древнерусском языке.

Проф. *К. Д. Дондуа*: Ф. Бопп и кавказские языки.

Проф. *Н. Ф. Яковлев*: О плане работ Сектора яфетических языков в связи с задачей повышения идейно-теоретического уровня научных работ.

Проф. *Л. И. Жирков*: О работе над составлением грамматики дагестанских языков. О месте ударения в аварском языке.

Ст. научн. сотр. *И. К. Кусикьян*: О работе над грамматикой армянского языка.

Чл.-корр. АН СССР *В. М. Жирмунский*: О задачах сравнительно-исторического языкознания. Вандриес о сравнительно-грамматическом методе.

Проф. *И. М. Тронский*: Семантика множественного числа в греческом и латинском языках. К вопросу о латинском ударении.

Д-р филолог. наук *А. В. Десницкая*: Значение винительного падежа в «Илиаде» Гомера. Об именных основах древнейшего типа в индоевропейских языках. Атрибут приобретенного признака в японском языке.

Проф. *С. Д. Кацнельсон*: Эргативное предложение и эргативная конструкция.

Канд. филолог. наук *Л. Р. Зиндер*: К вопросу о звуковых изменениях.

Проф. *В. Н. Ярцева*: Сводное и связанное дополнение в английском языке.

Д-р филолог. наук *Р. А. Будагов*: Доклад-рецензия на книгу *Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова* «Введение в языкознание», М., 1945. Проблема гипотетической модальности в итальянском языке.

Канд. филолог. наук *И. П. Иванова*: Историческое развитие английского глагольного префикса и его роль в системе современного глагола.

Проф. *А. И. Смирницкий*: К вопросу об *-in-*, *-an-* в окончаниях скандинавских языков и англо-саксонского.

Проф. *Н. С. Чемоданов*: Лингвистическая система школы структуралистов.

Проф. *М. М. Гухман*: Конструкция с возвратным местоимением в готском. Проблема стадийности и развитие строя предложения индо-европейских языков.

Проф. *Б. В. Миллер*: Методологические сдвиги в зарубежной иранистике.

Канд. филолог. наук *В. И. Абаев*: Отчет о лингвистической работе за годы Великой отечественной войны. История слова «олутон».

Канд. филолог. наук *В. С. Соколова*: Фонетика таджикского языка. Система гласных одного диалекта Ирана.

Канд. филолог. наук *И. И. Цукерман*: О некоторых свойствах вторичной флексии в курдском.

Ст. научн. сотр. ИВ АН *А. З. Розенфельд*: Расхождения между персидским и таджикским языками. Культурная жизнь Ирана.

Ассистент Вост. фак-та ЛГУ *В. И. Завьялова*: О некоторых особенностях иранского произношения.

Канд. филолог. наук *Н. М. Терещенко*: Деепричастие в ненецком языке.

Канд. филолог. наук *П. Я. Скорик*: Типы инкорпорации в чукотском языке.

Канд. педагог. наук (Акад. пед. наук) *Ф. Ф. Кронгауз*: Вопросы работы школы народов крайнего Севера.

Доц. *Ф. Г. Исхаков*: Орфография хакасского литературного языка.

Проф. *М. А. Ширалиев*: Азербайджанская диалектология и основные этапы ее развития.

Доц. *Л. Н. Харитонов*: Глагольная система в якутском языке.

Докторанты и аспиранты Института выступали с докладами и сообщениями, посвященными отдельным вопросам их диссертаций. Докторантами и аспирантами на заседании секторов ИЯМ прочитано 15 докладов и сообщений.

Как указано выше, большая часть докладов и сообщений, читанных в ИЯМ в 1946 г., подготовлена для печати и частично опубликована.

Из статей, подготовленных для печати или опубликованных в 1946 г., укажем дополнительно те, которые не вошли в приведенный выше перечень докладов и сообщений, так как статьи эти в заседаниях Института 1946 г. не зачитывались. Объем каждой статьи — от 0,5 до 2 авторских листов.

Акад. *И. И. Мещанинов*: 25 лет Института языка и мышления имени Н. Я. Марра. Новое учение о языке на современном этапе.

Акад. *И. И. Толстой*: О содержании античных терминов «ареталог» и «ареталогия».

Чл.-корр. АН СССР *С. Е. Малов*: Тюркизмы в языке «Слово о полку Игореве» (Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т. V, вып. 2, 1946 г.).

Чл.-корр. АН СССР *Н. К. Дмитриев*: Академик Ф. Е. Корш (опыт научной характеристики).

Чл.-корр. АН СССР *Д. Е. Бубрих*: К вопросу о происхождении спряжения (финно-угорские данные) (см. Изв. АН СССР, Отд. лит.

и яз., т. V, вып. 1, 1946 г.). К вопросу о стадиальности и развитии глагольного предложения (Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т. V, вып. 3, 1946 г.).

Акад. А. А. Шахматов как финно-угровед: Происхождение древнейших числовых и падежных образований в финно-угорских языках.

Проф. К. Д. Дондуа: Категория отрицания.

Проф. С. Д. Кацнельсон: К теории лингвистических элементов.

Проф. М. М. Гухман: Грамматические понятия и грамматические категории.

Проф. А. И. Смирницкий: Взаимоотношение между редукцией гласных и перестройкой имени в германских языках. О применении филологического анализа к истории английского языка.

Проф. Б. В. Миллер: Функции, семантика и генезис приименного суффикса в талышском языке. О проблемах фонетики курдского языка.

Канд. филолог. наук В. И. Абаев: Понятие идеосемантики.

Канд. филолог. наук В. С. Соколова: Устойчивые и неустойчивые гласные. О вариантах фонемы.

Проф. Л. И. Жирков: О строе предложения в полисинтетических языках.

Проф. Г. П. Сердюченко: Переходные и непереходные глаголы в абазинском языке.

Канд. филолог. наук Е. А. Бокарев: О локативных падежах в дагестанских языках.

Проф. Б. К. Пашков: К генезису деепричастия в монгольских языках.

Канд. филолог. наук Е. И. Убрятова: Парные слова в якутском языке. Якутские слова в произведениях В. Г. Короленко.

Канд. филолог. наук В. А. Аврорин: К истории склоняемых оборотов в нанайском языке (Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т. V, вып. 5, 1946). О категории времени и вида в нанайском языке.

Канд. филолог. наук О. П. Суник: О possessивных аффиксах и родительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках.

Канд. филолог. наук Э. А. Якубинская: Заметки о русско-финских языковых связях. Л. П. Якубинский (некролог).

Из рецензий, прочитанных и обсужденных в 1946 г. в Институте, укажем рецензию доктора филологических наук Р. А. Будагова на книгу Р. О. Шор и Н. С. Чемоданова «Введение в языкознание», Учпедгиз, 1945.

Давая в общем положительную оценку этому первому советскому учебнику, построенному в соответствии с программой курса «Введение в языкознание», утвержденной ВКВШ в 1941 г., рецензент

указал на ряд методических недочетов, фактических ошибок и неудачных формулировок учебника (рецензия Р. А. Будагова опубликована в Вестнике ЛГУ, № 1, 1946). Выступления других сотрудников значительно дополнили рецензента указанием на целый ряд других недостатков книги. Отмечая острую нужду в учебнике по введению в языкознание, языковеды требовали основательной переработки книги в ее следующем издании.

Рецензия канд. филолог. наук Э. А. Якубинской была посвящена представленной в Институт на рассмотрение рукописи К. М. Баушева «Мышление и строение речи» (1944, 10 авт. л.). Рецензентом отмечено недопустимое упрощение и вульгаризация ряда положений Н. Я. Марра, допущенное автором указанной работы. Опираясь «четырьмя лингвистическими элементами», К. М. Баушев пытается объяснить все явления и особенности современного русского и некоторых других языков. Идея Марра о палеонтологическом анализе доводится Баушевым в этой работе до чистейшего абсурда.

Доклад член-корр. АН СССР В. М. Жирмунского был посвящен критическому разбору новой статьи о сравнительно-грамматическом методе крупнейшего французского лингвиста Вандриеса.

В своем сообщении В. М. Жирмунский познакомил слушателей с выводами Вандриеса, сводящимися к признанию необходимости известной перестройки сравнительно-грамматического метода с точки зрения установленных некоторых общих моментов психологического порядка, находящих себе выражение в языках различных, материально не родственных групп.

Сделав целый ряд критических замечаний о рецензируемой работе в целом, рецензент и выступившие в прениях сотрудники отметили то обстоятельство, что отдельные наиболее ценные положения Вандриеса оказались повторяющимися выводы советских языковедов (опубликованные еще задолго до появления работы французского ученого).

Члены-корреспонденты АН СССР Е. С. Истрина, Д. В. Бубрих, проф. Н. Ф. Яковлев и др. выступили на заседаниях Института и в печати с рецензиями на книгу акад. И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи», АН, 1945. Ряд научных заседаний Московского отделения ИЯМ был специально посвящен обсуждению этой фундаментальной работы, получившей весьма высокую оценку как со стороны рецензентов-докладчиков, так и со стороны других сотрудников Института, принявших участие в обсуждении труда акад. И. И. Мещанинова.

В текущем году работа по рецензированию лингвистических работ будет продолжена и усилена.

IV. Подготовка кадров, участие в языковом строительстве

Сотрудники Института языка и мышления вели в течение года педагогическую работу, руководя научными занятиями аспирантов Института, читая специальные курсы по общему языкознанию и отдельным языкам.

Большая часть сотрудников вела также педагогическую работу в высших учебных заведениях — на филологических факультетах Московского и Ленинградского университетов, в педагогических институтах иностранных языков, в Военном институте иностранных языков и других учебных заведениях, где преподается языкознание и изучаются языки Советского Союза и зарубежных стран.

Сотрудники ИЯМ принимали деятельное участие в ряде научных и методических конференций, проведенных теми учреждениями, в которых готовятся кадры лингвистов или разрабатываются проблемы языкознания.

В подготовке аспирантов участвовало 20 научных сотрудников, в подготовке студентов — 46 сотрудников. Официальными оппонентами на защитах кандидатских и докторских диссертаций выступило в течение года 17 научных сотрудников.

В 1946 г. защитили диссертации на степень доктора филологических наук следующие сотрудники:

Проф. *Н. Ф. Яковлев* — тема диссертации: «Грамматика кабардино-черкесского языка».

Проф. *Г. П. Сердюченко* — тема диссертации: «Язык абазин».

Ст. научн. сотрудник *А. В. Десницкая* — тема диссертации: «Развитие категории прямого дополнения в индо-европейских языках».

Диссертации на степень кандидата филологических наук защитили:

Ст. научный сотрудник *В. А. Аврорин* — тема диссертации: «Категория прямого дополнения в нанайском языке».

Мл. научный сотрудник *П. Я. Скорик* — тема диссертации: «Инкорпорация в чукотском языке».

В 1946 г. защитили кандидатские диссертации аспиранты ИЯМ:

М. А. Бородина — тема диссертации: «Семантико-синтаксические группы в глаголе современного французского языка».

Н. С. Григорьев — тема диссертации: «Прилагательные в якутском языке».

Г. Ш. Шарипов — тема диссертации: «Глагольные виды в узбекском литературном языке».

Б. Х. Тодаева — тема диссертации: «Семантика и синтаксис падежей в монголо-ойратских наречиях».

Ю. Дешериев — тема диссертации: «Активная (эргативная) конструкция предложения в бацбийском языке».

Сотрудники Института языка и мышления (особенно сотрудники Московского отделения Института) оказывали большую и систематическую помощь языковедам союзных и автономных республик — Казахской, Азербайджанской, Узбекской, Туркменской, Карело-Финской ССР, Чувашской, Татарской, Якутской, Абхазской, Коми, Дагестанской, Удмуртской, Башкирской АССР.

Помощь эта выразилась в научных консультациях приезжавшим в Москву и Ленинград местным работникам, в научной переписке, в рецензировании печатных и рукописных работ, в отзывах на диссертации местных языковедов, в выездах сотрудников ИЯМ в республики для участия в научных конференциях и т. д.

Сотрудники Института деятельно участвовали в составлении, редактировании и рецензировании учебников для национальных школ. Так, например, в 1946 г. силами сотрудников Северного сектора Института было составлено на языке нанайском — 3 учебника, чукотском — 3 учебника, эскимосском — 2 учебника, ненецком — 2 учебника.

Институт языка и мышления принимал участие в разработке и уточнении орфографических правил для ряда младописьменных языков народов Советского Союза, участвуя в терминологической и переводческой работе, оказывая научно-консультационную помощь кадрам местных языковедов.

Таковы вкратце итоги научно-исследовательской деятельности Института языка и мышления имени Н. Я. Марра за 1946 г.

Основной задачей Института является углубленная разработка проблем общего языкознания на основах марксистско-ленинской методологии и на материалах многочисленных национальных языков Советского Союза и языков зарубежных стран.

Новое материалистическое учение о языке, основы которого были заложены великим языковедом Н. Я. Марром, находит свое дальнейшее развитие в трудах сотрудников языковедческого Института, носящего имя своего основателя.

Сплоченный коллектив восстановленного и укрепленного Института языка и мышления приложит все свои силы для того, чтобы с честью выполнить возложенные на советских языковедов задачи.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Ученого совета Института русского языка и Московского отделения Института языка и мышления им. Я. Я. Марра Академии Наук СССР от 27 и 28 мая 1949 г., посвященного обсуждению статьи «За передовое советское языкознание» в газете «Культура и жизнь» от 11 мая 1949 г.

Ученый совет отмечает, что статья «За передовое советское языкознание», опубликованная в газете «Культура и жизнь» 11.V.1949 г., вполне своевременно и правильно характеризует положение на языковедческом фронте и является новым доказательством большевистского внимания со стороны центральной партийной печати и всей советской общественности к советскому языкознанию.

В статье справедливо указывается на серьезное отставание у нас теоретической работы по языковедению от практических задач по развитию языков и письменностей народов СССР. Наши языковеды еще не извлекли необходимых уроков из решений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, а также из итогов философской и биологической дискуссии. В статье дается совершенно правильная оценка ошибок, содержащихся в работах акад. В. В. Виноградова, профессоров М. Н. Петерсона, А. А. Фреймана, П. С. Кузнецова, Д. В. Бубриха, Л. А. Булаховского, в учебнике А. А. Реформатского.

Статья совершенно правильно отмечает, что в Советском Союзе и сейчас еще существуют два направления: одно — прогрессивное материалистическое, основателем которого является акад. Н. Я. Марр, и второе — реакционно-идеалистическое, представители которого являются противниками нового учения о языке и ведут свою научную деятельность, исходя из положений буржуазного языкознания. Ученый совет констатирует, что ряд языковедов (профессора А. А. Чикобава, Ачарян, Капанцян, А. А. Реформатский, А. А. Фрейман и др.), в прошлом активно выступавших против нового учения о языке, до сих пор продолжают оставаться на старых, буржуазно-идеалистических позициях.

Ученый совет с удовлетворением отмечает, что акад. В. В. Виноградов и проф. Р. И. Аванесов в последнее время неоднократно выступали с развернутой критикой допущенных ими ошибок и решительно перестраивают свою научно-исследовательскую и педагогическую работу на основе нового учения о языке. В то же время Ученый совет указывает, что проф. М. Н. Петерсон, проф. Н. С. Кузнецов и ст. н. сотр. В. Н. Сидоров не выступали еще с принципиальной критикой своих ошибок и не дали работ, свиде-

тельствующих о коренном пересмотре ими своих методологических позиций.

Ученый совет обращает особое внимание на наличие серьезных ошибок космополитического характера в учебнике по истории немецкого языка и в других работах проф. В. М. Жирмунского, пытающегося доказать превосходство языков аналитического строя над языками флективной системы и, в частности, над русским языком, умаляющего величие и достоинства русского языка.

Ученый совет считает также совершенно нетерпимым космополитическое отрицание ценности для изучения русского народного языка всех памятников древне-русской письменности и низкопоклонническое, некритическое отношение к сомнительным свидетельствам иностранцев о русской языковой культуре, которое имеет место в трудах проф. Ларина.

Такое недопустимое положение в советском языкознании объясняется прежде всего примиренческим, объективистским отношением к реакционно-идеалистическим буржуазным теориям в языковедении со стороны учеников и последователей Н. Я. Марра. В статье совершенно правильно указывается на беспринципность каких бы то ни было попыток «перекинуть мост» между теорией Н. Я. Марра и буржуазным языкознанием, которые имеют место в работах некоторых учеников и последователей Н. Я. Марра. Это в частности наблюдается в работах профессоров А. В. Десницкой, М. М. Гухман и Л. И. Жиркова. Ученый совет принимает к сведению выступления профессоров М. М. Гухман и Л. И. Жиркова с признанием допущенных ими ошибок и обещания их выступить в печати с развернутой критикой своих работ.

Успешное развитие советского языкознания возможно лишь на основах марксизма-ленинизма по намеченному Н. Я. Марром пути, в непримиримой борьбе со всякими реакционно-идеалистическими влияниями в науке о языке. В этой связи Ученый совет отмечает, что отдельные положения в последних работах акад. И. И. Мещанинова (проблема стадийности, учение о «понятийных категориях»), являющегося виднейшим учеником Н. Я. Марра и имеющего большие заслуги в дальнейшем развитии нового учения о языке, вызывают справедливую критику и нуждаются в уточнении и пересмотре. Ученый совет приветствует самокритичное выступление акад. И. И. Мещанинова и надеется, что он в своей научно-исследовательской работе продолжит углубленную материалистическую разработку проблем советского языкознания.

Ученый совет, констатируя, что критика и самокритика, развернувшаяся в последнее время в институтах, привела к известным по-

ложительным результатам, считает, однако, что перестройка всей научно-исследовательской деятельности обоих институтов, вытекающая из решений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, а также из философской и биологической дискуссий, еще только начата. Не ликвидирован еще отрыв теории от практики и недостаточна связь с национальными республиками и областями. В обоих институтах систематически не проводится критический просмотр выпускаемой продукции, редко организуются творческие дискуссии по отдельным ее не разрешенным языковедческим проблемам.

Ученый совет постановляет:

1. Всю научно-теоретическую и практическую работу обоих институтов вести на основе дальнейшего и систематического развертывания критики и самокритики в неуклонной борьбе за коммунистическую партийность в советском языкознании.

2. В основу практической деятельности Ученого совета положить обсуждение важнейших проблем советского языкознания, разрабатываемых коллективами обоих институтов [проблема метода в языкознании, вопрос о стадийном (историческом) развитии языков, проблема единства языка и мышления, вопросы развития национальных языков и письменностей в СССР и др.].

3. Обратить внимание дирекции Института языка и мышления им. Н. Я. Марра на необходимость довести до конца издание избранных работ Н. Я. Марра и в течение 1949—1950 гг. издать двухтомник произведений Н. Я. Марра по важнейшим проблемам языкознания.

4. Просить дирекцию ИЯМ им. Н. Я. Марра подготовить и издать в научно-популярной серии Академии наук СССР работу, посвященную основным положениям классиков марксизма-ленинизма о языке.

5. Просить дирекции обоих институтов разработать и включить в план научно-исследовательской работы институтов тематику, связанную с решением насущных вопросов практики языковой работы и усилением и расширением связей с национальными республиками и областями Союза.

6. Рекомендовать дирекциям обоих институтов ежемесячно проводить открытые заседания Ученого совета, посвященные обсуждению важнейших вопросов языкознания.

7. Обратить внимание дирекций и заведующих секторами институтов на то, что они не выполняют постановления Президиума Академии Наук СССР о систематическом обсуждении в институтах как изданных, так и подготовляемых к печати трудов институтов. Предложить заведующим секторами в ближайшее время подвергнуть широкому критическому обсуждению работы, изданные в 1948—

1949 гг., и в дальнейшем систематически обсуждать в секторах научную продукцию, подготавливаемую к печати. Важнейшие работы Института ставить на обсуждение Ученого совета.

8. Обязать заведующих секторами институтов и руководителей групп не реже одного раза в месяц проводить открытые научные заседания секторов.

Поручить Президиуму Ученого совета составить календарный план открытых заседаний Ученого совета. Предложить дирекциям институтов, чтобы они потребовали от заведующих секторами и группами составления аналогичных планов проведения открытых научных заседаний секторов и групп.

9. Обсудить на очередном заседании Ученого совета вопрос об улучшении научно-теоретической подготовки аспирантов и докторантов и о мерах по усилению руководства и контроля за работой аспирантов и докторантов.

10. Поставить вопрос перед Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР о необходимости организации коллективов из видных специалистов-языковедов для составления вузовских учебников по языковедческим дисциплинам.

Рекомендовать крупнейшим специалистам институтов принять участие в важнейшей работе по составлению вузовских учебников.

(Публ. по изд.: Известия АН СССР. ОЛЯ. 1949. Т. VIII. Вып. 4. С. 396—398)

РЕЗОЛЮЦИЯ

Ученого совета Института языка и мышления им. Н. Я. Марра и Ленинградского отделения Института русского языка Академии Наук Союза ССР, принятая на открытом заседании Ученого совета 28—29 июня 1949 г., посвященном обсуждению статьи «За передовое советское языкознание», опубликованной газетой «Культура и жизнь» № 13 (105) от 11 мая 1949 г.

1. Ученый совет, всесторонне обсудив статью «За передовое советское языкознание», считает, что газета Отдела пропаганды и агитации Центрального Комитета ВКП(б) опубликованием названной статьи дает правильную характеристику общего положения на

советском языковедном фронте и по ряду принципиальных вопросов языкознания подводит итог многим научным дискуссиям, развернувшимся среди языковедов Советского Союза в последние годы.

2. Как справедливо указано в статье, наши языковеды еще не извлекли всех необходимых уроков из решений ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы, а также из итогов философской и биологической дискуссий. Языковедческая работа нетерпимо отстает от практических задач культурного строительства многонационального Советского Союза.

3. Как совершенно правильно указано в статье, советские лингвисты, имея на своем вооружении важнейшие принципиальные положения классиков марксизма по вопросам языка, ценнейшее наследие акад. Н. Я. Марра и богатейший фактический материал многонациональной речи народов Советского Союза, при правильной организации работы могут успешно развивать марксистско-ленинское языкознание.

4. Однако в Советском Союзе еще до сего времени существуют два различных направления в языкознании: *материалистическое*, основы которого, исходя из общих положений марксизма-ленинизма, разработал Н. Я. Марр, и *идеалистическое*, представленное противниками нового учения о языке Н. Я. Марра, ориентирующимися в своей научной деятельности на дореволюционную буржуазно-либеральную лингвистику России и современные реакционные теории буржуазной науки Запада.

5. Основными формами, в которых проявляется влияние реакционной буржуазной теории на некоторых лингвистов Советского Союза, выступают:

а) Пресловутая «теория» мнимого превосходства языков так называемого аналитического строя, объявляющая английский язык «венцом творения» и пытающаяся принизить языки других народов, в частности, — язык великого русского народа.

Пропагандистами этой «теории» в нашей стране выступали профессор Жирмунский, Ильиш, объявлявшие себя неоднократно сторонниками нового учения о языке, акад. Виноградов и некоторые другие.

б) Новая и новейшая соссюрианская лингвистика, под именем «структуральной» культивирующая реакционный идеализм и космополитизм, рассматривающая язык в себе самом и для себя самого, в отрыве его от конкретно-исторических и национальных особенностей, вне связи с историей общества и классовой борьбы, вне связи с мировоззрением и мышлением.

«Идеи» структуральной лингвистики получили некритическое отражение в работах акад. Виноградова, профессоров Аванесова, Сидорова, Кузнецова, Реформатского и другие.

в) Старая буржуазная компаративистика, исходящая из антинаучной расистской теории праязыка.

К числу сторонников этой давно уже разоблаченной Н. Я. Марром реакционной «теории» принадлежат профессора Петерсон, Булаховский, Кузнецов, Фрейман, Чикобава и другие.

6. До последнего времени среди части учеников и последователей Марра имело место либерально-примиренческое отношение к реакционно-идеалистическим построениям буржуазной лингвистики, вольные или невольные попытки «перекинуть мост» между советским языкознанием и буржуазной наукой: объективистское отношение к буржуазным теориям и построения в духе праязыковой схемы (профессора Бубрих, Жирков); попытки реабилитации сравнительно-исторического метода буржуазной компаративистики (проф. Гухман); неумение до конца преодолеть в своих работах пороки буржуазной компаративистики (проф. Десницкая). Ряд грубых ошибок формалистического и вульгарно-социологического порядка допустил в представленной для печати работе проф. Кацнельсон (сведение стадильной периодизации языка непосредственно к развитию техники, внеклассовая и вненациональная трактовка научного языка); грубые методологические ошибки вульгарно-социологического характера содержат также работы проф. Яковлева. В ряде работ доц. Холодовича отмечается некритическое отношение к структурализму, отдельные ошибки идеалистического и вульгарно-социологического толка.

7. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра в последние годы ослабил разработку коренных вопросов советского языкознания, успешно разрабатывавшихся в течение ряда лет основателем Института Н. Я. Марром и его последователями. Институт не вел в достаточной мере широкой пропаганды идей нового учения о языке, не возобновил до сих пор прерванного еще до войны издания сочинений Марра, не подготовил учебных пособий по новому учению о языке для вузов. В научных планах Института до недавнего времени преобладали темы формально-описательного характера: сравнительные грамматики, публикации текстов и материалов, описание частных фактов языковой формы.

Многие представители нового учения о языке отошли от разработки вопросов истории языка и мышления в их стадильном развитии. Отодвинутыми на второй план оказались эти вопросы и в последних капитальных работах акад. И. И. Мещанино-

ва, крупнейшего советского лингвиста и виднейшего ученика Н. Я. Марра.

Разрабатывая вопрос о единстве языка и мышления, И. И. Мещанинов выдвинул положение о понятийных категориях. Однако это положение, вследствие его недоработанности, дало некоторым языковедам (доц. Ошанин) повод искусственно выделить и противопоставить так называемое «языковое» и «внеязыковое» мышление, для чего имеются основания, как это признал акад. Мещанинов, и в его (акад. Мещанинова) работах.

Институт языка и мышления все еще недостаточно помогает языковедам Советского Союза в их практической работе по языковому строительству, не обобщает и не освещает их опыта. Только в последнее время Институт приступил к подготовке учебных пособий по общему языкознанию и другим языковедным дисциплинам, преподающимся в наших вузах.

8. Институт русского языка неудовлетворительно занимается разрешением теоретических проблем: проблемы советского общего языкознания на материалах русского языка не разрабатываются, вследствие чего ряд работ по русскому языку изобилует грубейшими ошибками методологического характера (праязыковая теория, формализм, структурализм, некритическое использование буржуазной лингвистической географии).

Антипатриотический характер носит допущенная проф. Лариным ошибка в оценке сомнительных в научном отношении свидетельств иностранцев о русском языке в его прошлом. Апологетика дореволюционной буржуазно-либеральной науки о русском языке характерна для большинства работ по русскому языку, изданных в последние годы (акад. Виноградов, профессора Булаховский, Истрина и др.). История русского литературного языка до сих пор разрабатывается с чуждых нам формалистических позиций, не изучается язык писателей советской эпохи, крайне слабо изучается язык современной колхозной деревни.

Те большие темы, над которыми уже много лет работает Институт русского языка (нормативная грамматика, исторический словарь, диалектологический атлас), ведутся недопустимо медленными темпами. Нельзя также мириться и с темпами выхода в свет Словаря современного русского языка (издан всего один том).

Велико отставание науки о русском языке — этого важнейшего участка советского языкознания — от практических задач и потребностей страны. Ни по одной из дисциплин в области русского языка высшая школа не имеет учебного пособия, построенного на основах нового учения о языке. Языковеды-русисты самоустранились не толь-

ко от теоретической работы в области советского языкознания, но и от таких практически важных дел, как разработка и упорядочение научно-технической терминологии; ничем не может быть оправдана орфографическая неразбериха, все еще наблюдающаяся в русском письме.

Решительно осуждая антипатриотическую научную деятельность языковедов, стремящихся сохранить основные положения буржуазного языкознания и ведущих открытую или скрытую борьбу с материалистическим учением о языке Н. Я. Марра, Ученый совет осуждает также какое бы то ни было проявление примиренчества, попыток «перекинуть мост» между Марром и буржуазной наукой и призывает всех советских языковедов к упорной борьбе за методологическую чистоту научных исследований, за действительную связь науки с практикой, зовет их к беспощадной борьбе с пережитками и влияниями «идей» растленной буржуазной науки.

Ученый совет постановляет:

1. В целях обеспечения высокого методологического уровня научно-исследовательских работ всемерно развивать в рядах советских языковедов большевистскую критику и самокритику, подвергая обсуждению все труды институтов, как изданные, так и подготовленные к печати.

2. В целях повышения общетеоретического марксистско-ленинского уровня сотрудников ИЯМ и ЛО ИРЯЗ рекомендовать дирекции и общественным организациям институтов организовать систематическое изучение диалектического и исторического материализма.

3. Организовать творческое изучение работ основоположника советского языкознания Н. Я. Марра (как опубликованных работ, так и не опубликованных, имея в виду, в частности, подготовку их к изданию и переизданию).

4. Считать важнейшей задачей специалистов русского языка усиление темпов подготовки к печати капитальных работ по русскому языку, постановку и решение коренных вопросов советского общего языкознания на материале русского языка.

5. Считать важнейшей задачей дальнейшее укрепление научных связей с языковедами национальных республик, деятельное участие в языковом строительстве, в подготовке учебных пособий для высшей школы, в издании и переиздании трудов Н. Я. Марра по языкознанию.

6. Рекомендовать дирекциям институтов восстановить творческую связь с родственными по специальности учреждениями: Институтом истории материальной культуры им. Н. Я. Марра, Институ-

том этнографии им. Миклухо-Маклая, Институтами литературы, истории и философии Академии Наук СССР.

7. Пересмотреть тематику диссертационных работ научных сотрудников и аспирантов институтов, добиваясь сближения ее с недавно пересмотренными планами научно-исследовательских работ, с запросами и потребностями широкой советской общественности.

1949

(Публ. по изд.: *Известия АН СССР. ОЛЯ. Т. VIII. Вып. 4. С. 398—400*)

Раздел 5

Марксизм и вопросы языкознания ***(1950-1953)***

И. В. Сталин

ОТНОСИТЕЛЬНО МАРКСИЗМА В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Ко мне обратилась группа товарищей из молодежи с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании. Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами.

Вопрос. Верно ли, что язык есть надстройка над базисом?

Ответ. Нет, неверно.

Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития. Надстройка — это политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения.

Всякий базис имеет свою, соответствующую ему надстройку. Базис феодального строя имеет свою надстройку, свои политические, правовые и иные взгляды и соответствующие им учреждения, капиталистический базис имеет свою надстройку, социалистический — свою. Если изменяется и ликвидируется базис, то вслед за ним изменяется и ликвидируется его надстройка, если рождается новый базис, то вслед за ним рождается соответствующая ему надстройка.

Язык в этом отношении коренным образом отличается от надстройки. Взять, например, русское общество и русский язык. На протяжении последних 30 лет в России был ликвидирован старый, капиталистический базис и построен новый, социалистический базис. Соответственно с этим была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответ-

ствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и иные учреждения новыми, социалистическими. Но, несмотря на это, русский язык остался в основном таким же, каким он был до Октябрьского переворота.

Что изменилось за этот период в русском языке? Изменился в известной мере словарный состав русского языка, изменился в том смысле, что пополнился значительным количеством новых слов и выражений, возникших в связи с возникновением нового социалистического производства, появлением нового государства, новой социалистической культуры, новой общественности, морали, наконец, в связи с ростом техники и науки; изменился смысл ряда слов и выражений, получивших новое смысловое значение; выпало из словаря некоторое количество устаревших слов. Что же касается основного словарного фонда и грамматического строя русского языка, составляющих основу языка, то они после ликвидации капиталистического базиса не только не были ликвидированы и заменены новым основным словарным фондом и новым грамматическим строем языка, а, наоборот, сохранились в целостности и остались без каких-либо серьезных изменений, — сохранились именно как основа современного русского языка.

Далее. Надстройка порождается базисом, но это вовсе не значит, что она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, безразлично относится к судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись на свет, она становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю dokonать и ликвидировать старый базис и старые классы.

Иначе и не может быть. Надстройка для того и создается базисом, чтобы она служила ему, чтобы она активно помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, отживающего свой век базиса с его старой надстройкой. Стоит только отказаться от этой ее служебной роли, стоит только перейти надстройке от позиции активной защиты своего базиса на позицию безразличного отношения к нему, на позицию одинакового отношения к классам, чтобы она потеряла свое качество и перестала быть надстройкой.

Язык в этом отношении коренным образом отличается от надстройки. Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым базисом внутри данного общества, а всем ходом истории общества и истории базисов в течение веков. Он создан не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями

сотен поколений. Он создан для удовлетворения нужд не одного какого-либо класса, а всего общества, всех классов общества. Именно поэтому он создан как единый для общества и общий для всех членов общества общенародный язык. Ввиду этого служебная роль языка как средства общения людей состоит не в том, чтобы обслуживать один класс в ущерб другим классам, а в том, чтобы одинаково обслуживать все общество, все классы общества. Этим собственно и объясняется, что язык может одинаково обслуживать как старый, умирающий строй, так и новый, поднимающийся строй; как старый базис, так и новый, как эксплуататоров, так и эксплуатируемых.

Ни для кого не составляет тайну тот факт, что русский язык так же хорошо обслуживал русский капитализм и русскую буржуазную культуру до Октябрьского переворота, как он обслуживает ныне социалистический строй и социалистическую культуру русского общества.

То же самое нужно сказать об украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, армянском, эстонском, латвийском, литовском, молдавском, татарском, азербайджанском, башкирском, туркменском и других языках советских наций, которые так же хорошо обслуживали старый, буржуазный строй этих наций, как обслуживают они новый, социалистический строй.

Иначе и не может быть. Язык для того и существует, он для того и создан, чтобы служить обществу как целому в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим для членов общества и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от их классового положения. Стоит только сойти языку с этой общенародной позиции, стоит только стать языку на позицию предпочтения и поддержки какой-либо социальной группы в ущерб другим социальным группам общества, чтобы он потерял свое качество, чтобы он перестал быть средством общения людей в обществе, чтобы он превратился в жаргон какой-либо социальной группы, деградировал и обрек себя на исчезновение.

В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем, от машин, которые так же одинаково могут обслуживать и капиталистический строй и социалистический.

Дальше. Надстройка есть продукт одной эпохи, в течение которой живет и действует данный экономический базис. Поэтому надстройка живет недолго, она ликвидируется и исчезает с ликвидацией и исчезновением данного базиса.

Язык же, наоборот, является продуктом целого ряда эпох, на протяжении которых он оформляется, обогащается, развивается,

шлифуется. Поэтому язык живет несравненно дольше, чем любой базис и любая надстройка. Этим собственно и объясняется, что рождение и ликвидация не только одного базиса и его надстройки, но и нескольких базисов и соответствующих надстроек не ведет в истории к ликвидации данного языка, к ликвидации его структуры и рождению нового языка с новым словарным фондом и новым грамматическим строем.

Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет. За то время были ликвидированы в России феодальный строй, капиталистический строй и возник третий, социалистический строй. Стало быть, были ликвидированы два базиса с их надстройками и возник новый, социалистический базис с его новой надстройкой. Однако если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина.

Что изменилось за это время в русском языке? Seriously пополнился за это время словарный состав русского языка: выпало из словарного состава большое количество устаревших слов; изменилось смысловое значение значительного количества слов; улучшился грамматический строй языка. Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась во всем существенном как основа современного русского языка.

И это вполне понятно. В самом деле, для чего это нужно, чтобы после каждого переворота существующая структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд уничтожались и заменялись новыми, как это бывает обычно с надстройкой? Кому это нужно, чтобы «вода», «земля», «гора», «лес», «рыба», «человек», «ходить», «делать», «производить», «торговать» и т. д. назывались не водой, землей, горой и т. д., а как-то иначе? Кому нужно, чтобы изменения слов в языке и сочетание слов в предложении происходили не по существующей грамматике, а по совершенно другой? Какая польза для революции от такого переворота в языке? История вообще не делает чего-либо существенного без особой на то необходимости. Спрашивается, какая необходимость в таком языковом перевороте, если доказано, что существующий язык с его структурой в основном вполне пригоден для удовлетворения нужд нового строя? Уничтожить старую надстройку и заменить ее новой можно и нужно в течение нескольких лет, чтобы дать простор развитию производительных сил общества, но как уничтожить существующий язык и построить вместо него новый язык в течение нескольких лет, не внося анархию в общественную жизнь, не создавая угрозы распада обще-

ства? Кто же, кроме донкихотов, могут ставить себе такую задачу?

Наконец, еще одно коренное отличие между надстройкой и языком. Надстройка не связана непосредственно с производством, с производственной деятельностью человека. Она связана с производством лишь косвенно, через посредство экономики, через посредство базиса. Поэтому надстройка отражает изменения в уровне развития производительных сил не сразу и не прямо, а после изменений в базисе, через преломление изменений в производстве в изменениях в базисе. Это значит, что сфера действия надстройки узка и ограничена.

Язык же, наоборот, связан с производственной деятельностью человека непосредственно, и не только с производственной деятельностью, но и со всякой иной деятельностью человека во всех сферах его работы — от производства до базиса, от базиса до надстройки. Поэтому язык отражает изменения в производстве сразу и непосредственно, не дожидаясь изменений в базисе. Поэтому сфера действия языка, охватывающего все области деятельности человека, гораздо шире и разностороннее, чем сфера действия надстройки. Более того, она почти безгранична.

Этим прежде всего и объясняется, что язык, собственно его словарный состав, находится в состоянии почти непрерывного изменения. Непрерывный рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его словаря новыми словами и выражениями, необходимыми для их работы. И язык, непосредственно отражая эти нужды, пополняет свой словарь новыми словами, совершенствует свой грамматический строй.

Итак:

- а) марксист не может считать язык надстройкой над базисом;
- б) смешивать язык с надстройкой — значит допустить серьезную ошибку.

Вопрос. Верно ли, что язык был всегда и остается классовым, что общего и единого для общества неклассового, общенародного языка не существует?

Ответ. Нет, неверно.

Нетрудно понять, что в обществе, где нет классов, не может быть и речи о классовом языке. Первобытно-общинный родовой строй не знал классов, следовательно, не могло быть там и классового языка, — язык был там общий, единый для всего коллектива. Возражение о том, что под классом надо понимать всякий человеческий коллектив, в том числе и первобытно-общинный коллектив, представля-

ет не возражение, а игру слов, которая не заслуживает опровержения.

Что касается дальнейшего развития от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным, то везде на всех этапах развития язык как средство общения людей в обществе был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения.

Я имею здесь в виду не империи рабского и средневекового периодов, скажем, империю Кира и Александра Великого или империю Цезаря и Карла Великого, которые не имели своей экономической базы и представляли временные и непрочные военно-административные объединения. Эти империи не только не имели, но и не могли иметь единого для империи и понятного для всех членов империи языка. Они представляли конгломерат племен и народностей, живших своей жизнью и имевших свои языки. Следовательно, я имею в виду не эти и подобные им империи, а те племена и народности, которые входили в состав империи, имели свою экономическую базу и имели свои издавна сложившиеся языки. История говорит, что языки у этих племен и народностей были не классовые, а общенародные, общие для племен и народностей и понятные для них.

Конечно, были наряду с этим диалекты, местные говоры, но над ними превалировал и их подчинял себе единый и общий язык племени или народности.

В дальнейшем, с появлением капитализма, с ликвидацией феодальной раздробленности и образованием национального рынка народности развились в нации, а языки народностей — в национальные языки. История говорит, что национальные языки являются не классовыми, а общенародными языками, общими для членов наций и едиными для нации.

Выше говорилось, что язык как средство общения людей в обществе одинаково обслуживает все классы общества и проявляет в этом отношении своего рода безразличие к классам. Но люди, отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к языку. Они стараются использовать язык в своих интересах, навязать ему свой особый лексикон, свои особые термины, свои особые выражения. Особенно отличаются в этом отношении верхушечные слои имущих классов, оторвавшиеся от народа и ненавидящие его: дворянская аристократия, верхние слои буржуазии. Создаются «классовые» диалекты, жаргоны, салонные «языки». В литературе нередко эти диалекты и жаргоны неправильно квалифицируются как языки: «дворянский язык», «буржуазный язык», — в противоположность «про-

летарскому языку», «крестьянскому языку». На этом основании, как это ни странно, некоторые наши товарищи пришли к выводу, что национальный язык есть фикция, что реально существуют лишь классовые языки.

Я думаю, что нет ничего ошибочнее такого вывода. Можно ли считать эти диалекты и жаргоны языками? Безусловно нельзя. Нельзя, во-первых, потому, что у этих диалектов и жаргонов нет своего грамматического строя и основного словарного фонда, — они заимствуют их из национального языка. Нельзя, во-вторых, потому, что диалекты и жаргоны имеют узкую сферу обращения среди членов верхушки того или иного класса и совершенно не годятся как средство общения людей для общества в целом. Что же у них имеется? У них есть: набор некоторых специфических слов, отражающих специфические вкусы аристократии или верхних слоев буржуазии; некоторое количество выражений и оборотов речи, отличающихся изысканностью, галантностью и свободных от «грубых» выражений и оборотов национального языка; наконец, некоторое количество иностранных слов. Все же основное, то есть подавляющее большинство слов и грамматический строй, взято из общенародного, национального языка. Следовательно, диалекты и жаргоны представляют ответвления от общенародного национального языка, лишенные какой-либо языковой самостоятельности и обреченные на прозябание. Думать, что диалекты и жаргоны могут развиваться в самостоятельные языки, способные вытеснить и заменить национальный язык, значит потерять историческую перспективу и сойти с позиции марксизма.

Ссылаются на Маркса, цитируют одно место из его статьи «Святой Макс», где сказано, что у буржуа есть «свой язык», что этот язык «есть продукт буржуазии», что он проникнут духом меркантилизма и купли-продажи. Этой цитатой некоторые товарищи хотят доказать, что Маркс стоял будто бы за «классовость» языка, что он отрицал существование единого национального языка. Если бы эти товарищи отнеслись к делу объективно, они должны были бы привести и другую цитату из той же статьи «Святой Макс», где Маркс, касаясь вопроса о путях образования единого национального языка, говорит о «концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленный экономической и политической концентрацией».

Следовательно, Маркс признавал необходимость единого национального языка как высшей формы, которой подчинены диалекты как низшие формы.

Что же в таком случае может представлять язык буржуа, который, по словам Маркса, «есть продукт буржуазии». Считал ли его Маркс

таким же языком, как национальный язык, со своей особой языковой структурой? Мог ли он считать его таким языком? Конечно, нет! Маркс просто хотел сказать, что буржуа загадили единый национальный язык своим торгашеским лексиконом, что буржуа, стало быть, имеют свой торгашеский жаргон.

Выходит, что эти товарищи искажали позицию Маркса. А исказили ее потому, что цитировали Маркса не как марксисты, а как начетки, не вникая в существо дела.

Ссылаются на Энгельса, цитируют из его брошюры «Положение рабочего класса в Англии» слова Энгельса о том, что «английский рабочий класс с течением времени стал совсем другим народом, чем английская буржуазия», что «рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем буржуазия». На основании этой цитаты некоторые товарищи делают вывод, что Энгельс отрицал необходимость общенародного, национального языка, что он стоял, стало быть, за «классовость» языка. Правда, Энгельс говорит здесь не об языке, а о диалекте, вполне понимая, что диалект как ответвление от национального языка не может заменить национального языка. Но эти товарищи, видимо, не очень сочувствуют наличию разницы между языком и диалектом...

Очевидно, что цитата приведена не к месту, так как Энгельс говорит здесь не о «классовых языках», а главным образом о классовых идеях, представлениях, нравах, нравственных принципах, религии, политике. Совершенно правильно, что идеи, представления, нравы, нравственные принципы, религия, политика у буржуа и пролетариев прямо противоположны. Но причем здесь национальный язык или «классовость» языка? Разве наличие классовых противоречий в обществе может служить доводом в пользу «классовости» языка или против необходимости единого национального языка? Марксизм говорит, что общность языка является одним из важнейших признаков нации, хорошо зная при этом, что внутри нации имеются классовые противоречия. Признают ли упомянутые товарищи этот марксистский тезис?

Ссылаются на Лафарга, указывая на то, что Лафарг в своей брошюре «Язык и революция» признает «классовость» языка, что он отрицает будто бы необходимость общенародного, национального языка. Это неверно. Лафарг действительно говорит о «дворянском» или «аристократическом языке» и о «жаргонах» различных слоев общества. Но эти товарищи забывают о том, что Лафарг, не интересуясь вопросом о разнице между языком и жаргоном и называя диалекты то «искусственной речью», то «жаргоном», определенно

заявляет в своей брошюре, что «искусственная речь, отличающая аристократию... выделилась из языка общенародного, на котором говорили и буржуа, и ремесленники, город и деревня».

Следовательно, Лафарг признает наличие и необходимость общенародного языка, вполне понимая подчиненный характер и зависимость «аристократического языка» и других диалектов и жаргонов от общенародного языка.

Выходит, что ссылка на Лафарга бьет мимо цели.

Ссылаются на то, что в одно время в Англии английские феодалы «в течение столетий» говорили на французском языке, тогда как английский народ говорил на английском языке, что это обстоятельство является будто бы доводом в пользу «классовости» языка и против необходимости общенародного языка. Но это не довод, а анекдот какой-то. Во-первых, на французском языке говорили тогда не все феодалы, а незначительная верхушка английских феодалов при королевском дворе и в графствах. Во-вторых, они говорили не на каком-то «классовом языке», а на обыкновенном общенародном французском языке. В-третьих, как известно, это баловство французским языком исчезло потом бесследно, уступив место общенародному английскому языку. Думают ли эти товарищи, что английские феодалы «в течение столетий» объяснялись с английским народом через переводчиков, что они не пользовались английским языком, что общенародного английского языка не существовало тогда, что французский язык представлял тогда в Англии что-нибудь более серьезное, чем салонный язык, имеющий хождение лишь в узком кругу верхушки английской аристократии? Как можно на основании таких анекдотических «доводов» отрицать наличие и необходимость общенародного языка?

Русские аристократы одно время тоже баловались французским языком при царском дворе и в салонах. Они кичились тем, что, говоря по-русски, заикаются по-французски, что они умеют говорить по-русски лишь с французским акцентом. Значит ли это, что в России не было тогда общенародного русского языка, что общенародный язык был тогда фикцией, а «классовые языки» — реальностью?

Наши товарищи допускают здесь по крайней мере две ошибки.

Первая ошибка состоит в том, что они смешивают язык с надстройкой. Они думают, что если надстройка имеет классовый характер, то и язык должен быть не общенародным, а классовым. Но я уже говорил выше, что язык и надстройка представляют два различных понятия, что марксист не может допускать их смешения.

Вторая ошибка состоит в том, что эти товарищи воспринимают противоположность интересов буржуазии и пролетариата, их оже-

сточенную классовую борьбу как распад общества, как разрыв всяких связей между враждебными классами. Они считают, что поскольку общество распалось и нет больше единого общества, а есть только классы, то не нужно и единого для общества языка, не нужно национального языка. Что же остается, если общество распалось и нет больше общенародного, национального языка? Остаются классы и «классовые языки». Понятно, что у каждого «классового языка» будет своя «классовая» грамматика — «пролетарская» грамматика, «буржуазная» грамматика. Правда, таких грамматик не существует в природе, но это не смущает этих товарищей: они верят, что такие грамматики появятся.

У нас были одно время «марксисты», которые утверждали, что железные дороги, оставшиеся в нашей стране после Октябрьского переворота, являются буржуазными, что не пристало нам, марксистам, пользоваться ими, что нужно их скрыть и построить новые, «пролетарские» дороги. Они получили за это прозвище «троглодитов»...

Понятно, что такой примитивно-анархический взгляд на общество, классы, язык не имеет ничего общего с марксизмом. Но он безусловно существует и продолжает жить в головах некоторых наших запутавшихся товарищей.

Конечно, неверно, что ввиду наличия ожесточенной классовой борьбы общество якобы распалось на классы, не связанные больше друг с другом экономически в одном обществе. Наоборот. Пока существует капитализм, буржуа и пролетарии будут связаны между собой всеми нитями экономики как части единого капиталистического общества. Буржуа не могут жить и обогащаться, не имея в своем распоряжении наемных рабочих, — пролетарии не могут продолжать свое существование, не нанимаясь к капиталистам. Прекращение всяких экономических связей между ними означает прекращение всякого производства, прекращение же всякого производства ведет к гибели общества, к гибели самих классов. Понятно, что ни один класс не захочет подвергнуть себя уничтожению. Поэтому классовая борьба, какая бы она ни была острая, не может привести к распаду общества. Только невежество в вопросах марксизма и полное непонимание природы языка могли подсказать некоторым нашим товарищам сказку о распаде общества, о «классовых» языках, о «классовых» грамматиках.

Ссылаются, далее, на Ленина и напоминают о том, что Ленин признавал наличие двух культур при капитализме — буржуазной и пролетарской, что лозунг национальной культуры при капитализме есть националистический лозунг. Все это верно, и Ленин здесь абсо-

лютно прав. Но причем тут «классовость» языка? Ссылаясь на слова Ленина о двух культурах при капитализме, эти товарищи, как видно, хотят внушить читателю, что наличие двух культур в обществе — буржуазной и пролетарской — означает, что языков тоже должно быть два, так как язык связан с культурой, — следовательно, Ленин отрицает необходимость единого национального языка, следовательно, Ленин стоит за «классовые» языки. Ошибка этих товарищей состоит здесь в том, что они отождествляют и смешивают язык с культурой. Между тем культура и язык — две разные вещи. Культура может быть и буржуазной и социалистической, язык же как средство общения является всегда общенародным языком, и он может обслуживать и буржуазную и социалистическую культуру. Разве это не факт, что русский, украинский, узбекский языки обслуживают ныне социалистическую культуру этих наций так же неплохо, как обслуживали они перед Октябрьским переворотом их буржуазные культуры? Значит глубоко ошибаются эти товарищи, утверждая, что наличие двух разных культур ведет к образованию двух разных языков и к отрицанию необходимости единого языка.

Говоря о двух культурах, Ленин исходил из того именно положения, что наличие двух культур не может вести к отрицанию единого языка и образованию двух языков, что язык должен быть единый. Когда бундовцы стали обвинять Ленина в том, что он отрицает необходимость национального языка и трактует культуру как «безнациональную», Ленин, как известно, резко протестовал против этого, заявив, что он воюет против буржуазной культуры, а не против национального языка, необходимость которого он считает бесспорной. Странно, что некоторые наши товарищи поплелись по стопам бундовцев.

Что касается единого языка, необходимость которого будто бы отрицает Ленин, то следовало бы заслушать следующие слова Ленина:

«Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единство языка и беспрепятственное его развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классами».

Выходит, что уважаемые товарищи исказили взгляды Ленина.

Ссылаются, наконец, на Сталина. Приводят цитату из Сталина о том, что «буржуазия и ее националистические партии были и остаются в этот период главной руководящей силой таких наций». Это все правильно. Буржуазия и ее националистическая партия действительно руководят буржуазной культурой, так же как пролетариат и его интернационалистическая партия руководят пролетарской куль-

турой. Но причем тут «классовость» языка? Разве этим товарищам не известно, что национальный язык есть форма национальной культуры, что национальный язык может обслуживать и буржуазную и социалистическую культуру? Неужели наши товарищи не знакомы с известной формулой марксистов о том, что нынешняя русская, украинская, белорусская и другие культуры являются социалистическими по содержанию и национальными по форме, то есть по языку? Согласны ли они с этой марксистской формулой?

Ошибка наших товарищей состоит здесь в том, что они не видят разницы между культурой и языком и не понимают, что культура по своему содержанию меняется с каждым новым периодом развития общества, тогда как язык остается в основном тем же языком в течение нескольких периодов, одинаково обслуживая как новую культуру, так и старую.

Итак:

а) язык как средство общения всегда был и остается единым для общества и общим для его членов языком;

б) наличие диалектов и жаргонов не отрицает, а подтверждает наличие общенародного языка, ответвлениями которого они являются и которому они подчинены;

в) формула о «классовости» языка есть ошибочная, немарксистская формула.

Вопрос. Каковы характерные признаки языка?

Ответ. Язык относится к числу общественных явлений, действующих за все время существования общества. Он рождается и развивается с рождением и развитием общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка. Поэтому язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка.

Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе.

Обмен мыслями является постоянной и жизненной необходимостью, так как без него невозможно наладить совместные действия людей в борьбе с силами природы, в борьбе за производство необходимых материальных благ, невозможно добиться успехов в про-

изводственной деятельности общества, следовательно, невозможно само существование общественного производства. Следовательно, без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство, распадается и перестает существовать как общество. В этом смысле язык, будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества.

Как известно, все слова, имеющиеся в языке, составляют вместе так называемый словарный состав языка. Главное в словарном составе языка — основной словарный фонд, куда входят и все корневые слова как его ядро. Он гораздо менее обширен, чем словарный состав языка, но он живет очень долго, в продолжение веков и дает языку базу для образования новых слов. Словарный состав отражает картину состояния языка: чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык.

Однако словарный состав, взятый сам по себе, не составляет еще языка, — он скорее всего является строительным материалом для языка. Подобно тому, как строительные материалы в строительном деле не составляют здания, хотя без них и невозможно построить здание, так же и словарный состав языка не составляет самого языка, хотя без него и немыслим никакой язык. Но словарный состав языка получает величайшее значение, когда он поступает в распоряжение грамматики языка, которая определяет правила изменения слова, правила соединения слов в предложения и, таким образом, придает языку стройный, осмысленный характер. Грамматика (морфология, синтаксис) является собранием правил о изменении слов и сочетании слов в предложении. Следовательно, именно благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку.

Отличительная черта грамматики состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности; она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного как в словах, так и в предложениях, грамматика берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы. Грамматика есть результат длительной абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления.

В этом отношении грамматика напоминает геометрию, которая

дает свои законы, абстрагируясь от конкретных примеров, рассматривая предметы как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишенные всякой конкретности.

В отличие от надстройки, которая связана с производством не прямо, а через посредство экономики, язык непосредственно связан с производственной деятельностью человека так же, как и со всякой иной деятельностью во всех без исключения сферах его работы. Поэтому словарный состав языка как наиболее чувствительный к изменениям находится в состоянии почти непрерывного изменения, при этом языку в отличие от надстройки не приходится дожидаться ликвидации базиса, он вносит изменения в свой словарный состав до ликвидации базиса и безотносительно к состоянию базиса.

Однако словарный состав языка изменяется не как надстройка, не путем отмены старого и постройки нового, а путем пополнения существующего словаря новыми словами, возникшими в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и т. п. При этом, несмотря на то, что из словарного состава языка выпадает обычно некоторое количество устаревших слов, к нему прибавляется гораздо большее количество новых слов. Что же касается основного словарного фонда, то он сохраняется во всем основном и используется как основа словарного состава языка.

Это и понятно. Нет никакой необходимости уничтожать основной словарный фонд, если он может быть с успехом использован в течение ряда исторических периодов, не говоря уже о том, что уничтожение основного словарного фонда, накопленного в течение веков, при невозможности создать новый основной словарный фонд в течение короткого срока привело бы к параличу языка, к полному расстройству дела общения людей между собой.

Грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд. Выработанный в течение эпох и вошедший в плоть и кровь языка, грамматический строй изменяется еще медленнее, чем основной словарный фонд. Он, конечно, претерпевает с течением времени изменения, он совершенствуется, улучшает и уточняет свои правила, обогащается новыми правилами, но основы грамматического строя сохраняются в течение очень долгого времени, так как они, как показывает история, могут с успехом обслуживать общество в течение ряда эпох.

Таким образом, грамматический строй языка и его основной словарный фонд составляют основу языка, сущность его специфики.

История отмечает большую устойчивость и колоссальную сопротивляемость языка насильственной ассимиляции. Некоторые историки вместо того, чтобы объяснить это явление, ограничиваются удивлением. Но для удивления нет здесь каких-либо оснований. Устойчивость языка объясняется устойчивостью его грамматического строя и основного словарного фонда. Сотни лет турецкие ассимиляторы старались искалечить, разрушить и уничтожить языки балканских народов. За этот период словарный состав балканских языков претерпел серьезные изменения, было воспринято немало турецких слов и выражений, были и «схождения» и «расхождения», однако балканские языки выстояли и выжили. Почему? Потому, что грамматический строй и основной словарный фонд этих языков в основном сохранились.

Из всего этого следует, что язык, его структуру нельзя рассматривать как продукт одной какой-либо эпохи. Структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд есть продукт ряда эпох.

Надо полагать, что элементы современного языка были заложены еще в глубокой древности, до эпохи рабства. Это был язык несложный, с очень скудным словарным фондом, но со своим грамматическим строем, правда, примитивным, но все же грамматическим строем.

Дальнейшее развитие производства, появление классов, появление письменности, зарождение государства, нуждающегося для управления в более или менее упорядоченной переписке, развитие торговли, еще более нуждавшейся в упорядоченной переписке, появление печатного станка, развитие литературы — все это внесло большие изменения в развитие языка. За это время племена и народности дробились и расходились, смешивались и скрещивались, а в дальнейшем появились национальные языки и государства, произошли революционные перевороты, сменились старые общественные строи новыми. Все это внесло еще больше изменений в язык и его развитие.

Однако было бы глубоко ошибочно думать, что развитие языка происходило так же, как развитие надстройки: путем уничтожения существующего и построения нового. На самом деле развитие языка происходило не путем уничтожения существующего языка и построения нового, а путем развертывания и совершенствования основных элементов существующего языка. При этом переход от одного качества языка к другому качеству происходил не путем взрыва, не путем разового уничтожения старого и построения нового, а путем постепенного и длительного накопления элементов нового качества,

новой структуры языка, путем постепенного отмирания элементов старого качества.

Говорят, что теория стадияльного развития языка является марксистской теорией, так как она признает необходимость внезапных взрывов как условия перехода языка от старого качества к новому. Это, конечно, неверно, ибо трудно найти что-либо марксистское в этой теории. И если теория стадияльности действительно признает внезапные взрывы в истории развития языка, то тем хуже для нее. Марксизм не признает внезапных взрывов в развитии языка, внезапной смерти существующего языка и внезапного построения нового языка. Лафарг был не прав, когда он говорил о «внезапной языковой революции, совершившейся между 1789 и 1794 годами» во Франции (см. брошюру Лафарга «Язык и революция»). Никакой языковой революции, да еще внезапной, не было тогда во Франции. Конечно, за этот период словарный состав французского языка пополнился новыми словами и выражениями, выпало некоторое количество устаревших слов, изменилось смысловое значение некоторых слов — и только. Но такие изменения ни в какой мере не решают судьбу языка. Главное в языке — его грамматический строй и основной словарный фонд. Но грамматический строй и основной словарный фонд французского языка не только не исчезли в период Французской революции, а сохранились без существенных изменений, и не только сохранились, а продолжают жить и поныне в современном французском языке. Я уже не говорю о том, что для ликвидации существующего языка и построения нового национального языка («внезапная языковая революция»!) до смешного мал пяти-шестилетний срок, — для этого нужны столетия.

Марксизм считает, что переход языка от старого качества к новому происходит не путем взрыва, не путем уничтожения существующего языка и создания нового, а путем постепенного накопления элементов нового качества, следовательно, путем постепенного отмирания элементов старого качества.

Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому путем взрыва неприменим не только к истории развития языка, — он не всегда применим также и к другим общественным явлениям базисного или надстроечного порядка. Он обязателен для общества, разделенного на враждебные классы. Но он вовсе не обязателен для общества, не имеющего враждебных классов. В течение 8—10 лет мы осуществили в сельском хозяйстве нашей страны переход от буржуазного индивидуально-крестьянского строя к социалистическому, колхозному строю. Это была революция, ликвидировавшая старый

буржуазный хозяйственный строй в деревне и создавая новый, социалистический строй. Однако этот переворот совершился не путем взрыва, то есть не путем свержения существующей власти и создания новой власти, а путем постепенного перехода от старого, буржуазного строя в деревне к новому. А удалось это сделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершен по инициативе существующей власти при поддержке основных масс крестьянства.

Говорят, что многочисленные факты скрещивания языков, имевшие место в истории, дают основание предполагать, что при скрещивании происходит образование нового языка путем взрыва, путем внезапного перехода от старого качества к новому качеству. Это совершенно неверно.

Скрещивание языков нельзя рассматривать как единичный акт решающего удара, дающий свои результаты в течение нескольких лет. Скрещивание языков есть длительный процесс, продолжающийся сотни лет. Поэтому ни о каких взрывах не может быть здесь речи.

Далее. Совершенно неправильно было бы думать, что в результате скрещивания, скажем, двух языков получается новый, третий язык, не похожий ни на один из скрещенных языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает.

Следовательно, скрещивание дает не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития.

Правда, при этом происходит некоторое обогащение словарного состава победившего языка за счет побежденного языка, но это не ослабляет, а, наоборот, усиливает его.

Так было, например, с русским языком, с которым скрещивались в ходе исторического развития языки ряда других народов и который выходил всегда победителем.

Конечно, словарный состав русского языка пополнялся при этом за счет словарного состава других языков, но это не только не ослабило, а, наоборот, обогатило и усилило русский язык.

Что касается национальной самобытности русского языка, то она не испытала ни малейшего ущерба, ибо, сохранив свой грамматический строй и основной словарный фонд, русский язык продолжал

продвигаться вперед и совершенствоваться по внутренним законам своего развития.

Не может быть сомнения, что теория скрещивания не может дать чего-либо серьезного советскому языкознанию. Если верно, что главной задачей языкознания является изучение внутренних законов развития языка, то нужно признать, что теория скрещивания не только не решает этой задачи, но даже не ставит ее, — она просто не замечает или не понимает ее.

Вопрос. Правильно ли поступила «Правда», открыв свободную дискуссию по вопросам языкознания?

Ответ. Правильно поступила.

В каком направлении будут решены вопросы языкознания, — это станет ясно в конце дискуссии. Но уже теперь можно сказать, что дискуссия принесла большую пользу.

Дискуссия выяснила прежде всего, что в органах языкознания как в центре, так и в республиках господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого «нового учения» в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение к наследству Н. Я. Марра, за малейшее неодобрение учения Н. Я. Марра снимались с должностей или снижались по должности ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели языкознания выдвигались на ответственные должности не по деловому признаку, а по признаку безоговорочного признания учения Н. Я. Марра.

Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общепризнанное правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом. Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать.

Один из примеров: так называемый «Бакинский курс» (лекции Н. Я. Марра, читанные в Баку), забракованный и запрещенный к переизданию самим автором, был, однако, по распоряжению касты руководителей (товарищ Мещанинов называет их «учениками» Н. Я. Марра) переиздан и включен в число рекомендуемых студентам пособий без всяких оговорок. Это значит, что студентов обманули, выдав им забракованный «Курс» за полноценное пособие. Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству.

Как могло это случиться? А случилось это потому, что аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безответственность и поощряет такие бесчинства.

Дискуссия оказалась весьма полезной прежде всего потому, что она выставила на свет божий этот аракчеевский режим и разбила его вдребезги.

Но польза дискуссии этим не исчерпывается. Дискуссия не только разбила старый режим в языкознании, но она выявила еще ту невероятную путаницу взглядов по самым важным вопросам языкознания, которая царит среди руководящих кругов этой отрасли науки. До начала дискуссии они молчали и замалчивали неблагоприятное положение в языкознании. Но после начала дискуссии стало уже невозможным молчать, — они были вынуждены выступить на страницах печати. И что же? Оказалось, что в учении Н. Я. Марра имеется целый ряд прорех, ошибок, неуточненных проблем, неразработанных положений. Спрашивается, почему об этом заговорили «ученики» Н. Я. Марра только теперь, после открытия дискуссии? Почему они не позаботились об этом раньше? Почему они в свое время не сказали об этом открыто и честно, как это подобает деятелям науки?

Признав «некоторые» ошибки Н. Я. Марра, «ученики» Н. Я. Марра, оказывается, думают, что развивать дальше языкознание можно лишь на базе «уточненной» теории Н. Я. Марра, которую они считают марксистской. Нет уж, избавьте нас от «марксизма» Н. Я. Марра. Н. Я. Марр действительно хотел быть и старался быть марксистом, но он не сумел стать марксистом. Он был всего лишь упростиателем и вульгаризатором марксизма, вроде «пролеткультовцев» или «рапповцев».

Н. Я. Марр внес в языкознание неправильную, немарксистскую формулу насчет языка как надстройки и запутал себя, запутал языкознание. Невозможно на базе неправильной формулы развивать советское языкознание.

Н. Я. Марр внес в языкознание другую, тоже неправильную и немарксистскую формулу насчет «классовости» языка и запутал себя, запутал языкознание. Невозможно на базе неправильной формулы, противоречащей всему ходу истории народов и языков, развивать советское языкознание.

Н. Я. Марр внес в языкознание не свойственный марксизму нескромный, кичливый, высокомерный тон, ведущий к голому и легкомысленному отрицанию всего того, что было в языкознании до Н. Я. Марра.

Н. Я. Марр крикливо шельмует сравнительно-исторический ме-

тод как «идеалистический». А между тем нужно сказать, что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, все же лучше, чем действительно идеалистический четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, ибо первый толкает к работе, к изучению языков, а второй толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов.

Н. Я. Марр высокомерно третирует всякую попытку изучения групп (семей) языков как проявление теории «праязыка». А между тем нельзя отрицать, что языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подлежит сомнению, что изучение языкового родства этих наций могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка. Понятно, что теория «праязыка» не имеет к этому делу никакого отношения.

Послушать Н. Я. Марра и особенно его «учеников» — можно подумать, что до Н. Я. Марра не было никакого языкознания, что языкознание началось с появлением «нового учения» Н. Я. Марра. Маркс и Энгельс были куда скромнее: они считали, что их диалектический материализм является продуктом развития наук, в том числе философии, за предыдущие периоды.

Таким образом, дискуссия помогла делу также и в том отношении, что она вскрыла идеологические прорехи в советском языкознании.

Я думаю, что чем скорее освободится наше языкознание от ошибок Н. Я. Марра, тем скорее можно вывести его из кризиса, который оно переживает теперь.

Ликвидация аракчеевского режима в языкознании, отказ от ошибок Н. Я. Марра, внедрение марксизма в языкознание — таков, по моему, путь, на котором можно было бы оздоровить советское языкознание.

И. В. Сталин

К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Ответ товарищу *Е. Крашенинниковой*

Товарищ Крашенинникова!

Отвечаю на Ваши вопросы.

1. Вопрос. В Вашей статье убедительно показано, что язык не есть ни базис, ни надстройка. Правоммерно ли было бы считать, что язык

есть явление, свойственное и базису и надстройке, или же правильнее было бы считать язык явлением промежуточным?

Ответ. Конечно, языку как общественному явлению свойственно то общее, что присуще всем общественным явлениям, в том числе базису и надстройке, а именно: он обслуживает общество так же, как обслуживают его все другие общественные явления, в том числе базис и надстройка. Но этим собственно и исчерпывается то общее, что присуще всем общественным явлениям. Дальше начинаются серьезные различия между общественными явлениями.

Дело в том, что у общественных явлений, кроме этого общего, имеются свои специфические особенности, которые отличают их друг от друга и которые более всего важны для науки. Специфические особенности базиса состоят в том, что он обслуживает общество экономически. Специфические особенности надстройки состоят в том, что она обслуживает общество политическими, юридическими, эстетическими и другими идеями и создает для общества соответствующие политические, юридические и другие учреждения. В чем же состоят специфические особенности языка, отличающие его от других общественных явлений? Они состоят в том, что язык обслуживает общество как средство общения людей, как средство обмена мыслями в обществе, как средство, дающее людям возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности — как в области производства, так и в области экономических отношений, как в области политики, так и в области культуры, как в общественной жизни, так и в быту. Эти особенности свойственны только языку, и именно потому, что они свойственны только языку, язык является объектом изучения самостоятельной науки — языкознания. Без этих особенностей языка языкознание потеряло бы право на самостоятельное существование.

Короче: язык нельзя причислить ни к разряду базисов, ни к разряду надстроек.

Его нельзя также причислить к разряду «промежуточных» явлений между базисом и надстройкой, так как таких «промежуточных» явлений не существует.

Но, может быть, язык можно было бы причислить к разряду производительных сил общества, к разряду, скажем, орудий производства? Действительно, между языком и орудиями производства существует некоторая аналогия: орудия производства, так же как и язык, проявляют своего рода безразличие к классам и могут одинаково обслуживать различные классы общества — как старые, так и новые. Дает ли это обстоятельство основание для

того, чтобы причислить язык к разряду орудий производства? Нет, не дает.

Одно время Н. Я. Марр, видя, что его формула «язык есть надстройка над базисом» встречает возражения, решил «перестроиться» и объявил, что «язык есть орудие производства». Был ли прав Н. Я. Марр, причислив язык к разряду орудий производства? Нет, он был безусловно не прав.

Дело в том, что сходство между языком и орудиями производства исчерпывается той аналогией, о которой я говорил только что. Но зато между языком и орудиями производства существует коренная разница. Разница эта состоит в том, что орудия производства производят материальные блага, а язык ничего не производит или «производит» всего лишь слова. Точнее говоря, люди, имеющие орудия производства, могут производить материальные блага, но те же люди, имея язык, но не имея орудий производства, не могут производить материальных благ. Нетрудно понять, что если бы язык мог производить материальные блага, болтуны были бы самыми богатыми людьми в мире.

2. Вопрос. Маркс и Энгельс определяют язык как «непосредственную действительность мысли», как «практическое... действительное сознание». «Идеи — говорит Маркс, — не существуют оторванно от языка». В какой мере, по Вашему мнению, языкознание должно заниматься смысловой стороной языка, семантикой и исторической семасиологией и стилистикой, или предметом языкознания должна быть только форма?

Ответ. Семантика (семасиология) является одной из важных частей языкознания. Смысловая сторона слов и выражений имеет серьезное значение в деле изучения языка. Поэтому семантике (семасиологии) должно быть обеспечено в языкознании подобающее ей место.

Однако, разрабатывая вопросы семантики и используя ее данные, никоим образом нельзя переоценивать ее значение, и тем более — нельзя злоупотреблять ею. Я имею в виду некоторых языковедов, которые, чрезмерно увлекаясь семантикой, пренебрегают языком как «непосредственной действительностью мысли», неразрывно связанной с мышлением, отрывают мышление от языка и утверждают, что язык отживает свой век, что можно обойтись и без языка.

Обратите внимание на следующие слова Н. Я. Марра:

«Язык существует, лишь поскольку он выявляется в звуках; действие мышления происходит и без выявления... Язык (звуковой) стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим безоговорочно пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом и новых стяжаний и имеет сместить и заменить полностью язык. Будущий язык — мышле-

ние, растущее в свободной от природной материи технике. Перед ним не устоять никакому языку, даже звуковому, все-таки связанному с нормами природы» (См. «Избранные работы» Н. Я. Марра).

Если эту «труд-магическую» тарабарщину перевести на простой человеческий язык, то можно прийти к выводу, что:

а) Н. Я. Марр отрывает мышление от языка;

б) Н. Я. Марр считает, что общение людей можно осуществить и без языка, при помощи самого мышления, свободного от «природной материи» языка, свободного от «норм природы»;

в) отрывая мышление от языка и «освободив» его от языковой «природной материи», Н. Я. Марр попадает в болото идеализма.

Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи», не существует. «Язык есть непосредственная действительность мысли» (Маркс). Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка.

Короче: переоценка семантики и злоупотребление последней привели Н. Я. Марра к идеализму.

Следовательно, если уберечь семантику (семасиологию) от преувеличений и злоупотреблений, вроде тех, которые допускают Н. Я. Марр и некоторые его «ученики», то она может принести языкознанию большую пользу.

3. Вопрос. Вы совершенно справедливо говорите о том, что идеи, представления, нравы и нравственные принципы у буржуа и у пролетариев прямо противоположны. Классовый характер этих явлений безусловно отразился на семантической стороне языка (а иногда и на его форме — на словарном составе, как правильно указывается в Вашей статье). Можно ли, анализируя конкретный языковой материал, и в первую очередь смысловую сторону языка, говорить о классовой сущности выраженных им понятий, особенно в тех случаях, когда речь идет о языковом выражении не только мысли человека, но и его отношения к действительности, где особенно ярко проявляется его классовая принадлежность?

Ответ. Короче говоря, Вы хотите знать, влияют ли классы на язык, вносят ли они в язык свои специфические слова и выражения, бывают ли случаи, чтобы люди придавали одним и тем же словам и

выражениям различное смысловое значение в зависимости от классовой принадлежности?

Да, классы влияют на язык, вносят в язык свои специфические слова и выражения и иногда по-разному понимают одни и те же слова и выражения. Это не подлежит сомнению.

Из этого, однако, не следует, что специфические слова и выражения, равно как различие в семантике, могут иметь серьезное значение для развития единого общенародного языка, что они способны ослабить его значение или изменить его характер.

Во-первых, таких специфических слов и выражений, как и случаев различия в семантике, до того мало в языке, что они едва ли составляют один процент всего языкового материала. Следовательно, вся остальная подавляющая масса слов и выражений, как и их семантика, являются *общими* для всех классов общества.

Во-вторых, специфические слова и выражения, имеющие классовый оттенок, используются в речи не по правилам какой-либо «классовой» грамматики, которой не существует в природе, а по правилам грамматики существующего общенародного языка.

Стало быть, наличие специфических слов и выражений и факты различия в семантике языка не опровергают, а, наоборот, подтверждают наличие и необходимость единого общенародного языка.

4. Вопрос. В своей статье Вы совершенно правильно оцениваете Марра как вульгаризатора марксизма. Значит ли это, что лингвисты, в том числе и мы, молодежь, должны отбросить *все* лингвистическое наследие Марра, у которого все же имеется ряд ценных языковых исследований (о них писали в дискуссии товарищи Чикобава, Санжеев и другие)? Можем ли мы, подходя к Марру критически, все же брать у него полезное и ценное?

Ответ. Конечно, произведения Н. Я. Марра состоят не только из ошибок. Н. Я. Марр допускал грубейшие ошибки, когда он вносил в языкознание элементы марксизма в искаженном виде, когда он пытался создать самостоятельную теорию языка. Но у Н. Я. Марра есть отдельные хорошие, талантливо написанные произведения, где он, забыв о своих теоретических претензиях, добросовестно и, нужно сказать, умело исследует отдельные языки. В таких произведениях можно найти немало ценного и поучительного. Понятно, что это ценное и поучительное должно быть взято у Н. Я. Марра и использовано.

5. Вопрос. Одной из основных причин застоя в советском языкознании многие лингвисты считают *формализм*. Очень хотелось бы знать Ваше мнение о том, в чем заключается формализм в языкознании и как его преодолеть?

Ответ. Н. Я. Марр и его «ученики» обвиняют в «формализме»

всех языковедов, не разделяющих «новое учение» Н. Я. Марра. Это, конечно, несерьезно и неумно.

Н. Я. Марр считал грамматику пустой «формальностью», а людей, считающих грамматический строй основой языка, — формалистами. Это и вовсе глупо.

Я думаю, что «формализм» выдуман авторами «нового учения» для облегчения борьбы со своими противниками в языкознании.

Причиной застоя в советском языкознании является не «формализм», изобретенный Н. Я. Марром и его «учениками», а аракчеевский режим и теоретические прорехи в языкознании. Аракчеевский режим создали «ученики» Н. Я. Марра. Теоретическую неразбериху внесли в языкознание Н. Я. Марр и его ближайшие соратники. Чтобы не было застоя, надо ликвидировать и то и другое. Ликвидация этих язв оздоровит советское языкознание, выведет его на широкую дорогу и даст возможность советскому языкознанию занять первое место в мировом языкознании.

И. В. Сталин

ОТВЕТ ТОВАРИЩАМ

Товарищу Санжееву

Уважаемый товарищ Санжеев!

Отвечаю на Ваше письмо с большим опозданием, так как только вчера передали мне Ваше письмо из аппарата ЦК.

Вы безусловно правильно толкуете мою позицию в вопросе о диалектах.

«Классовые» диалекты, которые правильнее было бы назвать жаргонами, обслуживают не народные массы, а узкую социальную верхушку. К тому же они не имеют своего собственного грамматического строя и основного словарного фонда. Ввиду этого они никак не могут развиваться в самостоятельные языки.

Диалекты местные («территориальные»), наоборот, обслуживают народные массы и имеют свой грамматический строй и основной словарный фонд. Ввиду этого некоторые местные диалекты в процессе образования наций могут лечь в основу национальных языков и развиваться в самостоятельные национальные языки. Так было, например, с курско-орловским диалектом (курско-орловская «речь»)

русского языка, который лег в основу русского национального языка. То же самое нужно сказать о полтавско-киевском диалекте украинского языка, который лег в основу украинского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них.

Бывают и обратные процессы, когда единый язык народности, не ставшей еще нацией в силу отсутствия экономических условий развития, терпит крах вследствие государственного распада этой народности, а местные диалекты, не успевшие еще перемолотиться в едином языке, оживают и дают начало образованию отдельных самостоятельных языков. Возможно, что так именно обстояло дело, например, с единым монгольским языком.

Товарищам Д. Белкину и С. Фуреру

Ваши письма получил.

Ваша ошибка состоит в том, что вы смешали две разные вещи и подменили предмет, рассматриваемый в моем ответе товарищу Крашенинниковой, другим предметом.

1. Я критикую в этом ответе Н. Я. Марра, который говоря об языке (звуковом) и мышлении, отрывает язык от мышления и впадает таким образом в идеализм. Стало быть, речь идет в моем ответе о нормальных людях, владеющих языком. Я утверждаю при этом, что мысли могут возникнуть у таких людей на базе языкового материала, что оголенных мыслей, не связанных с языковым материалом, не существует у людей, владеющих языком.

Вместо того, чтобы принять или отвергнуть это положение, вы подставляете аномальных, безязычных людей, глухонемых, у которых нет языка и мысли которых, конечно, не могут возникнуть на базе языкового материала. Как видите, это совершенно другая тема, которой я не касался и не мог коснуться, так как языкознание занимается нормальными людьми, владеющими языком, а не аномальными, глухонемыми, не имеющими языка.

Вы подменили обсуждаемую тему другой темой, которая не обсуждалась.

2. Из письма товарища Белкина видно, что он ставит на одну доску «язык слов» (звуковой язык) и «язык жестов» (по Н. Я. Марру, «ручной язык»). Он думает, по-видимому, что язык жестов и язык слов равнозначны, что одно время человеческое общество не имело языка слов, что «ручной» язык заменял тогда появившийся потом язык слов.

Но если действительно так думает товарищ Белкин, то он допускает серьезную ошибку. Звуковой язык, или язык слов, был всегда

единственным языком человеческого общества, способным служить полноценным средством общения людей. История не знает ни одного человеческого общества, будь оно самое отсталое, которое не имело бы своего звукового языка. Этнография не знает ни одного отсталого народа, будь он таким же или еще более первобытным, чем, скажем, австралийцы или огнеземельцы прошлого века, который не имел бы своего звукового языка. Звуковой язык в истории человечества является одной из тех сил, которые помогли людям выделиться из животного мира, объединиться в общества, развить свое мышление, организовать общественное производство, вести успешную борьбу с силами природы и дойти до того прогресса, который мы имеем в настоящее время.

В этом отношении значение так называемого языка жестов ввиду его крайней бедности и ограниченности ничтожно. Это, собственно, не язык и даже не суррогат языка, могущий так или иначе заменить звуковой язык, а вспомогательное средство с крайне ограниченными средствами, которым пользуется иногда человек для подчеркивания тех или иных моментов в его речи. Язык жестов так же нельзя приравнять к звуковому языку, как нельзя приравнять первобытную деревянную мотыгу к современному гусеничному трактору с пятикорпусным плугом и рядовой тракторной сеялкой.

3. Как видно, вы интересуетесь прежде всего глухонемыми, а потом уж проблемами языкознания. Видимо, это именно обстоятельство и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что же, если вы настаиваете, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоит дело с глухонемыми? Работает ли у них мышление, возникают ли мысли? Да, работает у них мышление, возникают мысли. Ясно, что коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникать на базе языкового материала. Не значит ли это, что мысли глухонемых являются оголенными, не связанными с «нормами природы» (выражение Н. Я. Марра)? Нет, не значит. Мысли глухонемых возникают и могут существовать лишь на базе тех образов, восприятий, представлений, которые складываются у них в быту о предметах внешнего мира и их отношениях между собой благодаря чувствам зрения, осязания, вкуса, обоняния. Вне этих образов, восприятий, представлений мысль пуста, лишена какого бы то ни было содержания, то есть она не существует.

Товарищу А. Холопову

Ваше письмо получил.

Опоздал немного с ответом ввиду перегруженности работой.

Ваше письмо молчаливо исходит из двух предположений: из

предположения о том, что допустимо цитировать произведения того или иного автора *в отрыве* от того исторического периода, о котором трактует цитата, и, во-вторых, из того предположения, что те или иные выводы и формулы марксизма, полученные в результате изучения одного из периодов исторического развития, являются правильными для всех периодов развития и потому должны остаться неизменными.

Должен сказать, что оба эти предположения глубоко ошибочны. Несколько примеров.

1. В сороковых годах прошлого века, когда не было еще монополистического капитализма, когда капитализм развивался более или менее плавно по восходящей линии, распространяясь на новые, еще не занятые им территории, а закон неравномерности развития не мог еще действовать с полной силой, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что социалистическая революция не может победить в одной какой-либо стране, что она может победить лишь в результате общего удара во всех или в большинстве цивилизованных стран. Этот вывод стал потом руководящим положением для всех марксистов.

Однако в начале XX века, особенно в период первой мировой войны, когда для всех стало ясно, что капитализм домонополистический явным образом перерос в капитализм монополистический, когда капитализм восходящий превратился в капитализм умирающий, когда война вскрыла неизлечимые слабости мирового империалистического фронта, а закон неравномерности развития предопределил разновременность созревания пролетарской революции в разных странах, Ленин, исходя из марксистской теории, пришел к выводу, что в новых условиях развития социалистическая революция вполне может победить в одной, отдельно взятой стране, что одновременная победа социалистической революции во всех странах или в большинстве цивилизованных стран невозможна ввиду неравномерности вызревания революции в этих странах, что старая формула Маркса и Энгельса уже не соответствует новым историческим условиям.

Как видно, мы имеем здесь два различных вывода по вопросу о победе социализма, которые не только противоречат друг другу, но и исключают друг друга.

Какие-нибудь начетчики и талмудисты, которые, не вникая в существо дела, цитируют формально, в отрыве от исторических условий, могут сказать, что один из этих выводов как безусловно неправильный должен быть отброшен, а другой вывод как безусловно правильный должен быть распространен на все периоды развития. Но марксисты не могут не знать, что начетчики и талмудисты оши-

баются, они не могут не знать, что оба эти вывода правильны, но не безусловно, а каждый для своего времени: вывод Маркса и Энгельса — для периода домонополистического капитализма, а вывод Ленина — для периода монополистического капитализма.

2. Энгельс в своем «Анти-Дюринге» говорил, что после победы социалистической революции государство должно отмереть. На этом основании после победы социалистической революции в нашей стране начетчики и талмудисты из нашей партии стали требовать, чтобы партия приняла меры к скорейшему отмиранию нашего государства, к роспуску государственных органов, к отказу от постоянной армии.

Однако советские марксисты на основании изучения мировой обстановки в наше время пришли к выводу, что при наличии капиталистического окружения, когда победа социалистической революции имеет место только в одной стране, а во всех других странах господствует капитализм, страна победившей революции должна не ослаблять, а всемерно усиливать свое государство, органы государства, органы разведки, армию, если эта страна не хочет быть разгромленной капиталистическим окружением. Русские марксисты пришли к выводу, что формула Энгельса имеет в виду победу социализма во всех странах или в большинстве стран, что она неприменима к тому случаю, когда социализм побеждает в одной, отдельно взятой стране, а во всех других странах господствует капитализм.

Как видно, мы имеем здесь две различные формулы по вопросу о судьбах социалистического государства, исключаящие друг друга.

Начетчики и талмудисты могут сказать, что это обстоятельство создает невыносимое положение, что нужно одну из формул отбросить как безусловно ошибочную, а другую как безусловно правильную — распространить на все периоды развития социалистического государства. Но марксисты не могут не знать, что начетчики и талмудисты ошибаются, ибо обе эти формулы правильны, но не абсолютно, а каждая для своего времени: формула советских марксистов — для периода победы социализма в одной или нескольких странах, а формула Энгельса — для того периода, когда последовательная победа социализма в отдельных странах приведет к победе социализма в большинстве стран и когда создадутся, таким образом, необходимые условия для применения формулы Энгельса.

Число таких примеров можно было бы увеличить.

То же самое нужно сказать о двух различных формулах по вопросу об языке, взятых из разных произведений Сталина и приведенных товарищем Холоповым в его письме.

Товарищ Холопов ссылается на произведение Сталина «Относи-

тельно марксизма в языкознании», где делается вывод, что в результате скрещивания, скажем, двух языков один из языков обычно выходит победителем, а другой отмирает, что, следовательно, скрещивание дает не какой-либо новый, третий язык, а сохраняет один из языков. Далее он ссылается на другой вывод, взятый из доклада Сталина на XVI съезде ВКП(б), где говорится, что в период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым. Сличив эти две формулы и видя, что они не только не совпадают друг с другом, а исключают друг друга, товарищ Холопов приходит в отчаяние. «Из статьи Вашей, — пишет он в письме, — я понял, что от скрещивания языков *никогда* не может получиться новый какой-то язык, а до статьи твердо был уверен, согласно Вашему выступлению на XVI съезде ВКП(б), что при *коммунизме* языки сольются в один общий».

Очевидно, что товарищ Холопов, открыв противоречие между этими двумя формулами и глубоко веря, что противоречие должно быть ликвидировано, считает нужным избавиться от одной из формул как неправильной и уцепиться за другую формулу как правильную для всех времен и стран, но за какую именно формулу уцепиться, он не знает. Получается нечто вроде безвыходного положения. Товарищ Холопов и не догадывается, что обе формулы могут быть правильными, — каждая для своего времени.

Так бывает всегда с начетчиками и талмудистами, которые, не вникая в существо дела и цитируя формально, безотносительно к тем историческим условиям, о которых трактуют цитаты, неизменно попадают в безвыходное положение.

А между тем, если разобраться в вопросе по существу, нет никаких оснований для безвыходного положения. Дело в том, что брошюра Сталина «Относительно марксизма в языкознании» и выступление Сталина на XVI съезде партии имеют в виду две совершенно различные эпохи, вследствие чего и формулы получаются различные.

Формула Сталина в его брошюре в части, касающейся скрещивания языков, имеет в виду эпоху *до победы социализма* в мировом масштабе, когда эксплуататорские классы являются господствующей силой в мире, когда национальный и колониальный гнет остается в силе, когда национальная обособленность и взаимное недоверие наций закреплены государственными различиями, когда нет еще национального равноправия, когда скрещивание языков происходит в порядке борьбы за господство одного из языков, когда нет еще

условий для мирного и дружественного сотрудничества наций и языков, когда на очереди стоит не сотрудничество и взаимное обогащение языков, а ассимиляция одних и победа других языков. Понятно, что в таких условиях могут быть лишь победившие и побежденные языки. Именно эти условия имеет в виду формула Сталина, когда она говорит, что скрещивание, скажем, двух языков дает в результате не образование нового языка, а победу одного из языков и поражение другого.

Что же касается другой формулы Сталина, взятой из выступления на XVI съезде партии, в части, касающейся слияния языков в один общий язык, то здесь имеется в виду другая эпоха, а именно эпоха *после победы социализма* во всемирном масштабе, когда мирового империализма не будет уже в наличии, эксплуататорские классы будут низвергнуты, национальный и колониальный гнет будет ликвидирован, национальная обособленность и взаимное недоверие наций будут заменены взаимным доверием и сближением наций, национальное равноправие будет претворено в жизнь, политика подавления и ассимиляции языков будет ликвидирована, сотрудничество наций будет налажено, а национальные языки будут иметь возможность свободно обогащать друг друга в порядке сотрудничества. Понятно, что в этих условиях не может быть и речи о подавлении и поражении одних и победе других языков. Здесь мы будем иметь дело не с двумя языками, из которых один терпит поражение, а другой выходит из борьбы победителем, а с сотнями национальных языков, из которых в результате длительного экономического, политического и культурного сотрудничества наций будут выделяться сначала наиболее обогащенные единые зональные языки, а потом зональные языки сольются в один общий международный язык, который, конечно, не будет ни немецким, ни русским, ни английским, а новым языком, вобравшим в себя лучшие элементы национальных и зональных языков.

Следовательно, две различные формулы соответствуют двум различным эпохам развития общества, и именно потому, что они соответствуют им, обе формулы правильны, — каждая для своей эпохи.

Требовать, чтобы эти формулы не находились в противоречии друг с другом, чтобы они не исключали друг друга, так же нелепо, как было бы нелепо требовать, чтобы эпоха господства капитализма не находилась в противоречии с эпохой господства социализма, чтобы социализм и капитализм не исключали друг друга.

Начетчики и талмудисты рассматривают марксизм, отдельные выводы и формулы марксизма как собрание догматов, которые «никогда» не изменяются, несмотря на изменение условий развития

общества. Они думают, что если они заучат наизусть эти выводы и формулы и начнут их цитировать вкривь и вкось, то они будут в состоянии решать любые вопросы в расчете, что заученные выводы и формулы пригодятся им для всех времен и стран, для всех случаев в жизни. Но так могут думать лишь такие люди, которые видят букву марксизма, но не видят его существа, заучивают тексты выводов и формул марксизма, но не понимают их содержания.

Марксизм есть наука о законах развития природы и общества, наука о революции угнетенных и эксплуатируемых масс, наука о победе социализма во всех странах, наука о строительстве коммунистического общества. Марксизм как наука не может стоять на одном месте, — он развивается и совершенствуется. В своем развитии марксизм не может не обогащаться новым опытом, новыми знаниями, — следовательно, отдельные его формулы и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами, соответствующими новым историческим задачам. Марксизм не признает неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма.

(1950)

Б. А. Серебрянников

НОВЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

Появление гениальных работ И. В. Сталина по вопросам языкознания ознаменовало не только начало новой эпохи в развитии советской науки о языке, но вместе с тем явилось поворотным пунктом в деле постановки изучения языков многонационального Советского Союза.

Во времена господства аракчеевского режима в языкознании, культивировавшегося сторонниками Н. Я. Марра, подлинно научное изучение языков всячески тормозилось. Кропотливая, черновая исследовательская работа, которая должна была быть направлена на тщательное и детальное изучение истории языков и их грамматического строя, развивалась главным образом в направлении поисков отложений стадий, различных коренных сдвигов, доказательств классовости языка, языкового смешения и т. п. В результате засилья

марровщины советское языкознание получило тяжелое наследство. Целый ряд языков оказался мало изученным.

До сих пор советское языкознание не располагает сравнительными и историческими грамматиками таких богато представленных на территории СССР семей языков, как тюркская и угро-финская. Недостаточно изучена лексика отдельных территориальных диалектов, национальных языков, очень мало работ, посвященных систематическому описанию этих диалектов, особенно диалектов языков Севера.

Отсутствие свободы обмена научными мнениями в области лингвистической науки во времена аракчеевского режима марристов пагубно сказалось на развитии теории. Марристы создали «режим, не свойственный науке и людям науки». Путаница, типичная для так называемого «нового» учения о языке, отпугивала учащуюся молодежь, вызывая отвращение к лингвистическим дисциплинам.

Гениальные труды И. В. Сталина освободили советское языкознание от тяжелых оков учения Марра и открыли широкие возможности для исследовательской работы советских языковедов.

Языковеды национальных республик уже достигли известных успехов в этой области. Институт языкознания Грузинской Академии Наук превратился в подлинный центр изучения иберийско-кавказских языков. Значительных успехов достиг Институт языкознания Армянской Академии Наук. Коренная перестройка научно-исследовательской работы институтов языкознания академий наук национальных республик в плане разработки актуальных проблем уже начинает давать свои положительные результаты.

Огромную работу по изучению русского языка и языков народов СССР проводит Институт языкознания Академии Наук СССР, за короткий период своего существования успевший превратиться в руководящий центр советского языкознания.

Однако успешная и плодотворная работа в области изучения языков наталкивается на ряд трудностей. Теоретическая неразбериха, созданная «новым учением» о языке, в некоторых национальных республиках пустила довольно глубокие корни. Резко ощущается в национальных республиках недостаток подготовленных лингвистических кадров, что препятствует успешному развертыванию исследовательской работы.

Правильное применение основных принципов сравнительно-исторического метода все еще не стало достоянием языковедов. Нередко наблюдаются противоречия в вопросах теории; так, например, не выработано единого мнения в области определения частей речи. Не поднята на должную высоту разработка широких теоретических

проблем. Во многих национальных республиках недостаточно развернуты критика и самокритика.

Для оказания помощи национальным республикам Институт языкознания Академии Наук СССР в конце 1951 г. и начале 1952 г. провел ряд научных сессий и совещаний в Кишиневе, Дзауджикау, Сыктывкаре и Риге. На этих сессиях силами научных работников национальных республик и сотрудников Института языкознания Академии Наук СССР были прочитаны доклады по актуальным вопросам теории и дальнейшего развития национальных языков. Проведение этих мероприятий, несомненно, помогло развертыванию теоретической работы на местах, ликвидации пережитков марксизма и планомерной организации систематической научной работы по изучению национальных языков.

Задачи, стоящие перед языковедами национальных республик, огромны. Они заключаются прежде всего в подготовке кадров языковедов, в исследовании специфики отдельных языков, создании монографий, пособий и т. п., куда должны войти нормативные грамматики, словари, курсы сравнительных грамматик родственных языков, исследования по лексике, а также работы, связанные с дальнейшей разработкой проблем, выдвинутых И. В. Сталиным. Нужно отметить, что языковеды Советского Союза находятся в особо благоприятных условиях по сравнению с языковедами капиталистических стран. Они окружены повседневной заботой партии и правительства, вооружены передовой марксистско-ленинской теорией, имеют в своем распоряжении множество объектов изучения — многочисленные языки многонационального Советского Союза.

Широкие перспективы для плодотворной работы открываются перед исследователями в области тюркских, угро-финских и тунгусо-маньчжурских языков. Огромный интерес представляет исследование в свете сталинского учения кавказских и палеоазиатских языков, выявление их происхождения и генетических связей, языков, являвшихся на протяжении многих лет главным объектом всевозможных вульгаризаторских упражнений марристов. Не менее важно изучение памирских языков, имеющее большое значение для создания сравнительной грамматики иранских языков.

Созданию капитальных работ по языкознанию должны предшествовать: огромная научно-исследовательская работа по изучению семантики употребления отдельных падежей и глагольных форм, детальный анализ условий употребления отдельных синтаксических конструкций, кропотливое изучение словарного состава, исследование лексических слоев, составляющих основной словарный фонд языков, прослеживание исторического развития отдельных форм и

синтаксических конструкций. Все это в настоящее время приобретает особенно важное значение.

Одним из средств усовершенствования сравнительно-исторического метода является привлечение нового материала. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки оживить такое важное, пришедшее за годы марровского засилья в упадок дело, как составление этимологических словарей. Составление словарей территориальных говоров, описание их грамматического строя, выяснение происхождения отдельных форм и синтаксических конструкций внесут новый вклад в сравнительную и историческую грамматику, сделают более научно обоснованными результаты применения сравнительно-исторического метода.

Во время своего господства марровцы препятствовали изучению отдельных деталей грамматического строя языков, что нанесло огромный вред развитию советского языкознания. Как известно, все, что шло вразрез с марровской интерпретацией семантики слов, рассматривалось марристами как проявление формализма.

Ясно поэтому, какое огромное значение приобретает оживление подлинно научной, кропотливой и скрупулезной работы по изучению деталей грамматического строя языков. Действительно, научная грамматика любого языка может быть создана только при том условии, если она опирается на многочисленные конкретные исследования отдельных деталей и частных грамматического строя как изучаемого языка, так и родственных ему языков. Только наука, опирающаяся на опыт конкретных исследований, ежедневно проверяемых практикой, может быть подлинной наукой. Конкретные исследования грамматического строя отдельных языков — это та живительная сила, которая обеспечивает непрерывный и неуклонный рост лингвистической науки оберегает ее от застоя и прозябания.

Появление гениальных работ И. В. Сталина по вопросам языкознания освободило советскую науку о языке от пут марризма, открыло новый период интенсивной научно-исследовательской работы. Этот период характеризуется необычайным творческим подъемом советских языковедов, усилением интереса к лингвистическим проблемам, к конкретным исследованиям.

Советские языковеды в центре и на периферии убедились в том, что витание в заоблачных высях и стадиальных эмпириях, априоризм и пренебрежение к черновой исследовательской работе вызывают застой и топтание на месте, ведут к вырождению и измельчанию лингвистической науки.

Мы, советские языковеды, должны всегда помнить замечательные

слова И. В. Сталина, произнесенные им 17 ноября 1935 г. на Первом Всесоюзном совещании стахановцев: «Данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи с практикой, с опытом, — какая же это наука? Если бы наука была такой, какой ее изображают некоторые наши консервативные товарищи, то она давно погибла бы для человечества. Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики».

(1952)

Л. И. Жирков

О МОИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОШИБКАХ В НАУЧНЫХ РАБОТАХ ДО 1950 ГОДА

Когда я начинал свою научную работу в области исследования горских языков Дагестана, я воспринял порочные взгляды Н. Я. Марра на процесс развития языка. Окончательно преодолеть мои ошибочные взгляды мне помогло только появление в 1950 году основополагающей работы И. В. Сталина.

В настоящее время я твердо убежден, что даже первая работа Н. Я. Марра «Предварительное сообщение о родстве грузинского языка с семитическими» (1908) не заключала в себе никакого бесспорного доказательства родства названных Н. Я. Марром языков потому, что ее утверждения не были проверены (кстати сказать, не проверены они и до сих пор) единственно правильным при установлении языкового родства сравнительно-историческим методом.

Как известно, фанатическое отрицание сравнительно-исторического метода, которое в развитии взглядов Н. Я. Марра получило начало именно в эти годы, и было той первой его теоретической ошибкой, которая поставила его в оппозицию ко всей серьезной лингвистической науке. В дальнейшем Н. Я. Марр, резко отвергая сравнительно-исторический метод, пришел и к отрицанию тех языковых групп, которые были на основании применения этого метода установлены наукой.

Моя научная деятельность протекала как в области исследования иберийско-кавказских языков (именно их ветви, представленной

горскими языками Дагестана), так и в области теоретического языкознания.

Мои интересы как исследователя всегда сосредоточивались на изучении грамматического строя горских языков Дагестана и отчасти лексики этих языков. Изучая грамматический строй этих языков и публикуя работы, посвященные грамматическому строю, я при разъяснении отдельных вопросов стоял на теоретических позициях марровского учения. Не умаляя роли грамматики, в частности морфологии, я подчас разъяснял происхождение изучавшихся мною грамматических форм по линии, которую ныне надо назвать не исторической, а «палеонтологической», в том «дурном» смысле этого термина, который он приобрел у последователей Марра.

Это приводило меня в ряде моих работ к ошибкам и неверным утверждениям. В начале 20-х годов, когда я выступал с первой грамматикой одного из дагестанских языков, в изучении этих языков существовали еще значительные пробелы. Вследствие неверного теоретического подхода ряд грамматических фактов в моих двух первых работах, в аварской и даргинской грамматиках, оказался описанным неверно.

В числе тех моих работ, о которых я здесь говорю, были выпущены в свет: «Грамматика аварского языка» (1924); «Грамматика даргинского языка» (1926); «Грамматика аварского языка» (изд. при моем аварско-русском словаре 1936); «Грамматика лезгинского языка» (1941) и, наконец, «Грамматика табасаранского языка» (1943).

Надо также указать на мой очерк «Язык аула Кубачи» (1930), который явился вообще первым, хотя и очень несовершенным, грамматическим описанием этого диалекта даргинского языка. К этим грамматическим работам примыкают мои статьи: «О строе глагола в языках Дагестана» (Доклады АН СССР, 1931) и «Части речи в аварском языке» (Сб. «Языки Северного Кавказа и Дагестана», 1936).

Неопубликованными остаются собранные мною за эти годы рукописные материалы по аварскому языку, по лезгинскому языку, по языку Кубачи, по хиналугскому языку и из языков андо-дидойской группы — по языкам дидойскому и ботлихскому. Впрочем, эти рукописные материалы не содержат никаких теоретических выводов, и поэтому их установки (в области методики описания языков) могут здесь быть оставлены в стороне.

Я упомянул о наличии фактических ошибок в моих грамматических работах, а также о том, что наряду с ними были и ошибки теоретического характера. О грамматиках, написанных мною, ска-

жу следующее. В аварской грамматике 1924 г. строй аварского глагола я трактовал как пассивный, в чем некритично следовал за старой классической работой Услара. Это вело (хотя в тексте моей работы это и не было выражено) как бы к признанию особого, своеобразного типа мышления тех народов, которые говорят на подобных языках (в частности, аварцев), Текст моей работы мог дать повод к такому вульгаризаторскому выводу. Между тем грамматический строй языка может быть очень разнообразным и своеобразным для каждого языка, так как он вытекает из условий исторического развития языка. Вульгаризаторским упрощением было бы искание причин того или иного грамматического правила, существующего в языке, в особом типе мышления того или иного народа.

В моей даргинской грамматике 1926 г. главной и основной теоретической ошибкой является учение о спряжении, которое я тогда изложил слишком формально. Как известно, смысловая сторона слов и выражений чрезвычайно важна в изучении языка, но вместе с тем переоценка семантики недопустима. Я же допустил недооценку семантики, что тоже является серьезной ошибкой. Я изложил в моей работе соответствующие разделы спряжения, игнорируя семантику глагольных форм, трактуя связку 3-го лица при глаголе непосредственно как местоимение, кстати, на той же странице я определил даргинскую глагольную конструкцию как страдательную. Эти ошибки в данной грамматике, можно сказать, сложились в целую систему и повели к тому, что я развил здесь теорию о «единственном» глаголе, причем привлек для доказательства моих утверждений факты из языков других языковых (не родственных дагестанским языкам) групп (тюркских, финского, венгерского, даже индоевропейских — литовского и латышского).

В более поздних работах я уже не говорил о теории «единственного» глагола, и, например, в моей грамматике табасаранского языка соответствующие табасаранские грамматические факты толковались мною уже совершенно по-другому, без этой вульгаризации.

Грамматика лезгинского языка 1941 г. является единственной из моих работ, куда я включил целую главу, излагающую теоретические взгляды, явно восходящие к ошибочным и претенциозным теориям Н. Я. Марра. Именно, в этой работе имеется после изложения собственно грамматики особый раздел, озаглавленный «Стадиальный тип лезгинского языка» (стр. 120 и след.). Самое заглавие ясно говорит, что я признавал здесь ложную марровскую теорию «стадий», а следовательно, тем самым признавал и единство глоттогонического процесса, в недрах которого язык развивается, переходя из одного «стадиального» типа в другой, его сменяющий. Многопа-

дежное склонение горских языков Дагестана я сопоставлял и сближал с полисинтетическим строем языков Америки и дальнего Севера, чего не следовало делать, поскольку все эти разнообразные языки относятся к различным группам родственных языков, в пределах которых только и возможно видеть некоторую общность путем языкового развития в грамматической области. Между тем я неосновательно говорил о двух линиях развития этих языков: одна линия — усложнение системы спряжения (полисинтетические языки) и другая — усложнение системы склонения имен (горские языки Дагестана).

Теперь я работаю над грамматиками лакского и даргинского языков, стараясь не повторять тех ошибок, на которые указано выше.

Другой круг моих научных интересов представлен в печати только одной книжкой (все остальные работы, которые сюда могли бы относиться, не опубликованы). Это «Лингвистический словарь», изданный на правах рукописи в 1946 г. Книжка эта элементарна по содержанию, но и в ней я делал ошибки, которые следует выявить. Прежде всего надо остановиться на вопросе о том, есть или нет в моей книжке неумеренное прославление или «переоценка» (в смысле чрезмерной оценки) самого Н. Я. Марра или его ближайшего ученика акад. И. И. Мещанинова. Я могу ответить: есть; укажу на стр. 53—54, где я, говоря о деятельности Н. Я. Марра, сформулировал неправильное утверждение, что Н. Я. Марр «нашел то звено, которое связывает развитие звуковых форм языка с развитием общественного строя, отражающегося в сознании». Я добавил к этому: «Это и есть тот основной завет, который Н. Я. Марр оставил нам, “советским лингвистам”». Теперь ясно, что сконструированная Н. Я. Марром связь «звуковых форм языка с развитием общественного строя, отражающегося в сознании», механистична и вульгаризирует те отношения между историей языка и историей общества, которые установлены марксистским языкознанием на основе обобщения конкретных фактов.

В словарной статье моей книжки «Палеонтология речи» я разъяснял этот термин: «вслед за акад. Н. Я. Марром», т. е. я утверждал, что «вскрыть подлинный, первоначально реальный смысл грамматических (ныне вполне формальных) элементов языка» возможно и не на путях сравнительно-исторического метода, при помощи которого лингвист может восстанавливать действительную историю возникновения слова и входящих в его состав формантов.

В словарной статье «Понятийные категории» я цитировал акад. И. И. Мещанинова и далее подробно старался объяснить это не-

обоснованное языковой действительностью надуманное понятие, которым увлекались лингвисты марровского толка.

Ныне я присоединяюсь к той критике «понятийных категорий», которая дана в статьях по этому вопросу, появившихся после 1950 г.

И в других словарных статьях моей книжки установки и мнения Н. Я. Марра в различных местах выплывают на поверхность. Так, например, я нахожу теперь, что мною неправильно написаны статьи: «Язык в первобытном обществе», «Язык в родовом обществе», «Язык в феодальном обществе». В последней из названных статей в особенности бросаются в глаза мои неправильные утверждения о роли языка «феодалов высшего общества, церкви и науки», т. е. о языке ненародном. Между тем марксистское языкознание совершенно иначе устанавливает различие между общенародным языком, диалектами и жаргонами «высшего общества». Говоря о языке феодального общества, нельзя было отводить живший и развивавшийся народный язык на задний план, выводя на первый план те явления, которые носят все признаки ограниченного в смысле общественного значения жаргона.

В словарной статье той же книжки о языке жестов я приписывал этому языку преувеличенное значение, допуская даже возможность того, что первобытная речь «была наполовину звуковой, наполовину кинетической речью». Общеизвестно марксистское положение, сформулированное И. В. Сталиным, о том, что звуковой язык, или язык слов, был всегда единственным языком человеческого общества, способным служить полноценным средством общения людей.

В словарной статье «Типологическая классификация языков» я писал: «Н. Я. Марр принял классификацию В. Гумбольдта, но истолковал ее гораздо глубже, чем это мог сделать ее первоначальный автор. Именно Н. Я. Марру принадлежит современная точка зрения на типы языков, как на стадии того единого глоттогонического (языкотворческого) процесса, в который вовлечены языки всего мира». В этой неправильной формулировке я сконцентрировал мои тогдашние убеждения о существовании стадияльных типов языка, о существовании единого глоттогонического процесса.

Мне остается сожалеть о том, что «не может бывшее небывшим быть и сотворенное — несотворенным». Исправить в какой-то мере мои ошибки может только моя дальнейшая научная работа.

(1953)

Раздел 6

Как это было: воспоминания

О. М. Фрейденберг

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. Я. МАРРЕ

1

Смерть Марра не произвела на меня никакого впечатления. Все, что можно было пережить после утраты большого и бесценного человека, я пережила во время его удара.

В последние годы я избегала бывшего Яфетического Института. Но нужно же было случиться так, что именно тот день, оказался долго, чересчур долго откладывавшимся днем, когда я должна была по делам общественности лингвистического факультета ЛИФЛИ присутствовать на заседании Кафедры общего языкознания, — а оно происходило именно в Институте Языка и Мышления. Я стояла у дверей кабинета директора, где обычно заседала Кафедра, но не решалась зайти; мне трудно открывать академические двери; без усилия я не могу зайти ни в одно ученое собрание. Вдруг меня увидел знакомый аспирант. Он рассказал, что на заседании присутствует сам Марр. Это сразу придало мне противоречивую решимость и непременно зайти — и отложить посещение. И, так как мимо проходила моя приятельница, душевно мне родственная, временно работающая в ИЯМ'е, — я за нее уцепилась и пошла предаваться решению. Как вдруг входит в ту комнату один из сотрудников и говорит, что заседание пришлось на время прервать, так как Н. Я. почувствовал себя что-то не совсем хорошо. Я, как это всегда бывает, и пораздовалась тому, что не зашла, и пожалела об этом. Можно было уходить. На лестнице мимо меня пробежала одна сотрудница, успевшая сказать, что бежит навстречу вызванной карете скорой помощи, которая должна отвезти Марра на квартиру. Я живо представила себе суету, которая сейчас поднимается в Институте, и кучку лиц,

понимающую все событие как свое собственное. Мне казалось бестактным и в отношении их и в отношении себя присутствовать при посадке Марра в карету скорой помощи. И я, не придавая случаю никакого значения, убежала.

2

Вечером мне позвонили, что с Марром удар. Жизнь вздрогнула и перекосилась; я помню в детстве южные землетрясения, когда комната внезапно меняла линии и геометрия летала к черту. Все в корне изменилось. И теперь только делалось видно, что подпруга упала. Марр — это была наша мысль, наша общественная и научная жизнь; это была наша биография. Мы работали, не думая о нем, для него, и он жил, не зная этого, для нас. Происходило непоправимое: с Маром удар! Нужно было искать путей как-то жить и ходить дальше, навеки без Марра.

Все теряло интерес и значенье. Мы с матерью целыми днями ждали вестей. Звонили нам по кусочкам; и хотя все, что сообщали, говорило об улучшении, нагнетались и уже не уходили предчувствия. Когда же первая спазма прошла и Марр возвращался к жизни, почувствовалось, что произошла катастрофа.

В который раз нужно было учиться продолжать жить! За несколько дней было растеряно нажитое годами. Я была не то что удручена, но опустошена до основания.

3

Я о Марре ничего не знала. Это было в начале двадцатых годов. Иногда на семинаре Жебелева Генко говорил о каком-то Николае Яковлевиче, а Жебелев с ним спорил. Выплывали какие-то корни слов, имена-отчества, частности, что-то хорошо известное только им обоим. Почему-то это вызывало стереотипные эмоции у Жебелева, ехидную улыбку у Генки. Все это относилось к частным разговорам.

Я кончала университет, и вся академическая жизнь, всегда для меня невнятная, отходила как уже забытое. Весь мой пафос лежал в «Происхождении греческого романа», над которым я с 1919 г. работала, и теперь его писала с захватом дыхания, пораженная и увлеченная тем, что у меня неожиданно получилось вразрез со всем, чему меня учили старые люди и книги. В Публичной Библиотеке, где я зимовала, одна служащая стала мне твердить: «Вам нужно познакомиться с Марром!»

— А кто это такой? — я спрашивала.

Наконец диссертация готова и переписана. Нужно поехать к Марру, так как он стоит во главе коллегии ИЛЯЗВ'а. Говорят, он поможет ее провести: 1923 г., — это первая советская диссертация, и никто не знает, можно ли до нее дотрагиваться руками. Степени отменены, аспирантуры еще нет.

Вот день и час назначены. Мне трудно. За плечами много, много вынесено с этой работой. Находить дом и квартиру я не умею. Хожу по казенному двору, плутаю, спотыкаюсь. У самого входа большая черная кошка выгибается мостом и перебегает. Звоню. Маленькая в темном, старушка приветливо-строга; Марра дома нет; ждать не стоит — раз он ей ничего не сказал о моем приходе, значит, забыл — и тогда все бесполезно.

Но я загадала. И на меня находит решимость предельного отчаяния; я загадала, что «примет — пройдет работа, не примет — пропала».

Я сажусь на стул и собираюсь не уходить. «Ну, как хотите, только я вам не советую».

Комната простая. Стол рабочий, по стенам простые стулья. Вдруг вся обстановка преобразается и пропадает: входит Марр.

Я вижу его впервые, но этого не замечаю. С разговором посредине, с живыми и живущими глазами, с полнотой жизни в разгаре, входит в комнату Марр, продолжает подавать руку, садиться, говорить, улыбаться.

— Вот хорошо, что вы не ушли! Забыл. Пошел только побриться. Сижу — и вспомнил: а я жене забыл сказать. Ну, думаю, скандал, вы приехали и уйдете!

Мы сидим и прекрасно рассказываем, перебивая друг друга. Моя жизнь озарена! Прорезалась страшная плотина, и легко, с улыбкой, я спешу рассказать о самом существе своей работы; все позади и оправдано. И Марр все сразу говорит о себе — и что пережил, и что открыл, и что хотел, и о чем думает. Тут же он встает, звонит директору и моментально проводит диссертацию и назначает день рассмотрения на факультете. Сложнейшее дело, которое можно было волочить десятки месяцев, он разрубает в пять минут, абсолютно без малейшей процедурности. Он возвращается весело, делает реплики по адресу директора — и снова прыжок с головой в глубочайшие проблемы.

Я ухожу, неся в руках свое сердце и новую жизнь. Рухнуло жестокосердие и темный бюрократизм виц-мундирной науки. Человечьим, гретым, милым подуло в лицо, и он сказал: «Вы должны во всех подробностях рассказать мне вашу работу, потому что все, что я от вас услышал, то самое, что и я делаю в лингвистике».

4

Дома долго обсуждается, похож ли он на дядю и какая у него борода. Мы решаем, что он, наверное, очень похож — иначе не было бы столько любви и простоты в обращении. О том, что я незнакомая ему вчерашняя студентка (другой титулатуры у меня не было), а он академик, не приходило в голову.

После этой встречи дни устремляются к цели. Балласт сброшен и лёт ускорен. Я прихожу к Марру в Публичную Библиотеку. Реальность смещена. Каким образом этот директор и крупнейший администратор часами принимает житейски-неведомого ему человека без социального положения и забрасывает его мыслями, планами, жалобами, впечатлениями? Он всегда открыт и достигаем; его жизнь для всех.

Но вот настает день моего диспута. Марр проводит диссертацию по какой-то фантастической секции, и только потому, что он там председатель и может мне активно помочь. Диспут проходит скандально; академическая среда враждебно и саркастически относится к защите анти-формальной работы неизвестного ей человека. Никакой «формы» не соблюдает и Марр: он, в роли председателя, активнее всех, и то задает вопросы оппонентам, то неожиданно бросает ответные реплики, то заговаривает со мной, подмигивает, поощрительно жестикулирует, шлет мне драгоценнейшую записочку: «Пожалуйста, не волнуйтесь: ясно, что ваша трактовка чересчур нова и свежа. Н. М.». Он старается использовать власть председателя, чтоб укоротить речь одного, не дать слова другому, оттенить с особым подчеркиванием выступление доброжелателя. Марр не объективен; он весь — пристрастие и страсть, и отдается порыву, бурно бросаясь с головой и без остатка в стихию борьбы. После диспута на него накидывается одна ученая дома, жена академика, и он едва не колотит ее. Резюме он пишет сам и читает сам, пуская в ход и ласковую дипломатию, и горячее бое-напряжение, чтоб только добиться квалификации. Атмосфера возбужденная, и по рукам ходит лист с подписями против присуждения.

Я ухожу одинокая, с записочкой Марра в руках. Но он остается там — продолжает кричать, спорить, возмущаться, резко жестикулируя и крича во весь, что у него есть, голос, со всей, что у него есть, силой души.

5

На другой день я поджидаю Марра в вестибюле одного Института. Вчерашний день разделил жизнь на две части. Марр дал оценку молодой научной работе. Марр видел, что мое существование среди

этих людей невозможно. Нас многое соединило — не одна мысль, но и борьба. Я была беспризорна и беспомощна. Следовал какой-то простой и реальный вывод.

Показался Марр. Он подошел ко мне, что-то сказал задумчиво — и прошел. Никаких впечатлений от вчера в нем уже не было. Он жил в чем-то ином.

Я люблю человеческий портрет и узнавала Марра с восторгом. Я поняла в этот день, что ум у него отвлеченный и дальнзоркий и что очень близко лежащих перед ним предметов он без очков не видит.

6

С тех пор я виделась с Марром очень часто. Он принимал меня дома и в Публичке, иногда в ГАИМК'е. Однажды меня долго не допускали к нему в Публичной Библиотеке; когда я ему рассказала, он страшно рассвирепел и стал жаловаться, что чиновники хотят сделать чиновником и его.

— Приходите ко мне в Академию Материальной Культуры, — сказал он, — здесь вокруг меня создается бюрократическая атмосфера, и я случайно узнаю, что меня ограждают стеной.

Сказав это, он позвонил по какому-то номеру и спросил кого-то, когда будет Марр и можно ли его видеть. Каковы были ответы, я не знаю; но Марр начал кричать и ругаться в трубку, называя себя, — и тогда я поняла, что он звонил сюда же, в Библиотеку, одному из своих «охранителей».

Во время встреч Марр делился всеми мыслями и впечатлениями; дома он всегда читал свои последние работы. Его умственная щедрость была изумительна; его интимная откровенность и передача решительно всего прожитого им за последние дни текста жизни, со всеми ремарками и примечаниями, околдовывала. В один ряд, залпом и без оттенков, шел курсив рядом с петитом, события в разрядку и в скобках. Известно, что искренность — это талант; Марр был сделан из стекла и экспонировал себя сам как образец благороднейшей открытости, как редкий случай осуществлявшейся нормы, задуманной для подлинного человека. Ему можно было говорить все, что угодно, и держаться с ним максимально просто, потому что естественнее, чем Марр, уже не было человека. Но это естество Марра отдавало еще и колоритом, чем-то в корне анти-буржуазным; он был прям почти тропически, и что-то изнутри протягивалось от Грузии и Гурии, от лермонтовского Кавказа и Пиренеев, от Африки с готтентотами и от первого американского человека к этому пламенно-му и неровному стилю, к своеобразнейшему синтаксису мысли и

чувства. Даже дипломатия, даже хитрость Марра, его насмешливый обиняк и сарказм носили характер чего-то красочного; а если приходилось Марру прибегать к неискренности, то она так и выглядела, как что-то неподлинное, вроде музыки к «Аиде», писанной Верди в кабинете; эта партитура лежала среди его лингвистических трудов на случай надобности, и он пользовался ею с обычной для него прямо-той и открытостью. Что-то наивное и простое было в Марре; его можно было надуть и надували, морочить — и морочили; но наивность была в его гигантском творческом уме, отмечавшая его особой отметкой среди людей его среды, которые казались умнее и ничтожнее.

Он сам рассказывал мне, что почему-то некоторые люди позволяют себе говорить ему всякие пакости и даже кричать на него. Он считал для меня полезным, что я прошла суровую школу жизни еще в университете. «Это очень хорошо, — говорил он. — Очень жалею, что избаловал и распустил своих учеников. Вчера такой-то (следовала фамилия) кричал на меня и стучал кулаком по моему письменному столу...»

7

Марр предложил мне слушать его лекции. Я несколько лет посещала палеонтологию речи, слушала историю армянской литературы, занималась у него грузинским языком. Курс палеонтологии речи привлекал наибольшее количество слушателей, хотя это и было сперва человек десять, максимум двенадцать. Читал Марр с 9 часов утра в «ректорском флигеле» и ни за что не хотел читать в самом здании университета: он страшно выходил из себя и кричал, что с этим зданием у него связаны воспоминания его гонений и обид. Нам было тяжело вставать так рано; мы приходили заспанные, темные, почти спящие, с полузакрытым вниманием. Печи ленились гореть, издавая сонное мокрое шипение; уборщица пряталась, кутаясь в какую-то неизвестность; грифельная доска стояла спиной и спала стоя, как лошадь. С убийственной аккуратностью появлялся сердитый Марр. С 6 часов ночи он уже был на ногах, успел за это время поработать и поволноваться; сонная атмосфера выводила его из себя, и он приходил черной тучей. Минут пять шло чтение лекции по аккуратно записанным листкам; вдруг лавина скатывалась, и Марр начинал делиться всем переживаемым за нынешнее утро или за вчерашний день. Свежесть и доверчивость его восприятий была захватывающей; он рождался заново в мир каждый день и каждый час, реагируя на жизнь безотлагательно и в полной мере.

В аудитории он чувствовал себя в наибольшей близости к самому себе; как большой ученый, он умственно творил во время лекций; отстранял свою запись, возвращался к ней, держал в руках и не видел. Пафос записи говорит у Марра о том, как он объективирует жизнь и науку в слово; он записывал все свои выступления, все будущие экспромты, не позволяя себе импровизировать даже в самых незначительных случаях. Рядом с этим высоким академическим пафосом всю жизнь шествовала взволнованная речь как отклик на все и мельчайшие впечатления. В аудитории Марр раскрывался полностью. Ему особенно было присуще негодование; он негодовал на буржуазную лингвистику и на своих современников-формалистов, перескакивал зачастую на поведение отдельных лиц, сидевших у него на лекции, и всегда можно было опасаться, что он заденет кого-нибудь из присутствующих, называя его по имени. Во время устной речи Марр сыпал блестящими мыслями и сам не замечал, как эти мысли отлагались в парадоксы и афоризмы. После лекций его обступали и задавали ему вопросы; однако в этой части Марр был менее интересен, так как его умственная душа лучше всего раскрывалась в общественных формах, в аудитории во время лекций.

8

Мои занятия древнегрузинским языком были очень и очень своеобразны. Этот язык меня мало интересовал, если не считать иллюзии ознакомления с Шотой Руставели. Но Марр настаивал. Этот древнегрузинский язык был горнилом, через которое должен был пройти каждый его adept. Пришлось погрузинить и мне, — к тому же отдававшей в то время все силы санскриту. Я поняла свою задачу так: не в данном языке была для меня сила, а в лингвистической подаче Марра. И так как уже тогда я делалась близорукой, то, ничтоже сумняшеся, записывала примеры Марра в русской транскрипции. Учеников было трое, из них один — проф. Обнорский, к которому Марр был очень внимателен. Мои цели при слушании этого курса были непонятны ортодоксальной части этой группы; эта русская проклятая транскрипция легла первым камнем в фундаменте преисподней, воздвигнутой против моего яфетического легкомыслия последующими догматистами. А пока что, после урока, Марр ругал именно их за «преданность без научных работ». Эти выстрелы в лицо практиковались очень часто. Марр, подобно античной сатире, не стеснялся саркастически бичевать своих близких, как и дальних, в глаза и за глаза, по имени и прозрачными намеками.

Лингвистический комментарий Марра и его подача языка были единственными, какие я встречала и тогда и после. Это был исключительный пример не филологического, а лингвистического анализа. Все языковые формы получали объяснение; не было ни единого слова, ни единой части слова, которое не было бы рассмотрено аналитически, под углом зрения больших принципиальных установок; грузинский язык приносил выводы для всех мировых языков.

Марр вызывал нас всякий раз по очереди и заставлял читать, переводить и объяснять языковые формы. Он был прекрасным методистом и мастером обучения; говорил он в семинаре мало, много требовал, занятия вел уверенно и с большим деловым увлечением. Снижение учебного пафоса встречало у него суровый отпор; ничего «домашнего» не терпел этот профессор, такой добродушный и доступный в обиходе.

Разговоры начинались после занятий. Однажды как и всегда, он жаловался на одиночество. Мы приводили имена его новых последователей.

— Да, да, — говорил Марр. — Все это хорошо. Ученики. Знаю этих учеников. Идут до известного пути. А потом изменяют.

9

Наименее ярко проходили лекции по армянской литературе, чтение которых было вполне ordinarily. Я их слушала, потому что все, что читал Марр, я готова была слушать. Теория и личность Марра находили во мне страстное признание. Я почитала и поклонялась этому пламенному уму, готовая отдать для него все свои научные силы. Я восхищалась его прямоотой, его творческой мощью, свежестью его гения, его диапазоном. Все, что говорил Марр, получило для меня особо высокое и глубинное значение. Я его понимала. Все мне было близко и находило научный отзвук; даже его слог казался мне достаточно простым и вполне понятным; его поведение и образ мыслей — единственно правильными. В этом понимании, в этом почитании, в этом безудержном восхищении самой высокой пробы был для самой меня, однако, опасный момент.

Еще в самом начале двадцатых годов я пришла совершенно самостоятельно к такой же постановке проблемы о генетической значимости сюжета, как и яфетидология; но проблемы, которые меня интересовали, уводили к поэтике, а материал мне давали жанр, композиция, сюжет. Можно себе, поэтому, представить, какое значение имело для меня учение Марра: это была родная стихия, и никаким колебаниям и неверию тем более, «изменам» и «отреченью» никогда

не могло быть места. Кроме того, и выводы мои, и метод работы, и все, вообще, то, что считалось моей чистейшей фантазией и доброй волей, получило научное оправдание и нужность. Теперь я с особой страстной жадностью набрасывалась на теорию Марра; я не могла нарадоваться своей судьбе, которая мне позволила жить и работать рядом с Марром. Естественно, что я рассказывала Марру обо всем, чем научно жила; он не выносил формального литературоведения, но охотно выслушивал, когда я фантазировала перед ним о своих работах и перспективах, которые открывает новое понимание сюжета и генезиса литературы. Марр знал, что я никогда не откажусь ни от самостоятельности, ни от желания следовать своим интересам. Но был момент, когда он упорно настаивал на моих занятиях грузинским языком и интересовался ими больше, чем я того хотела. Беда заключалась для меня в том, что я и сама не могла устоять против воздействия на меня Марра и готова была совершенно добровольно заглушить в себе все интересы и отказаться от самостоятельного взгляда на вещи.

В течение некоторого времени я стояла на распутье. Но все больше и больше меня затягивала работа над «Поэтикой», к которой я перешла сейчас же после защиты «Романа». Я не могла обманывать ученого, перед которым преклонялась. Он должен был признать, что занятия грузинским языком для меня несерьезны и что у меня есть другая область работы, более значительная, которую я не собиралась предпочитать грузинскому языку — увы! — в русской транскрипции...

10

В жизни Марра была одна большая трагическая линия, которую он сам так выделял, что нельзя о ней не сказать. Марр плохо видел людей! Как очень чистый человек, он был слишком доверчив. Марр часто отдавал предпочтение каким-то случайным людям, явно шедшим не по пути с ним; он привязывался по непонятным поводам, обрекая свое чувство на совершенно неминуемое разочарование. И драма Марра заключалась в том, что его страсть была пропорциональна его уму: не видя человека в начале, он неизменно и горестно распознавал его в конце. Вкладывая бездну чувства в явно несостоятельного человека, Марр спешил провозгласить его своим учеником, своим научным наследником, творцом новых научных ценностей, цитировал его, возносил его посредственное подражательство, привлекал к нему общественное внимание. Но наступал день, и этот человек либо отрекался от него, либо предавал за спиной; Марр

прозревал, ужасно мучился, громко всем рассказывал. Это была одна из его постоянных тем. Еще хуже, что он не замечал, как такая щедрость чувства смыкала вокруг него кольцо, и этого человека, исключительного по широте взглядов и по огромному общественному пафосу, замыкала в атмосферу кружка и мелкого фанатизма. Погоду делал не Марр. И он узнавал о людях и о работах не из прямого источника, а через живой транспарант, почти всегда ненадежный. Разочарованный в любимейших людях, доверчивый к выражениям преданности, на которые не каждый решался, Марр громил равнодушных, жаловался на одиночество и упрекал тех, кого он считал своими учениками.

11

Однажды Марр подошел ко мне и предложил войти в состав открывающейся секции сюжета и мифа в Яфетическом Институте. Председателем был приглашен В. Ф. Шишмарев. Незадолго до этого Марр устроил меня в пресловутый ИЛЯЗВ (Институт языков и литератур при Университете). Произошло это так. Я оказалась после защиты на улице. Никакой работы мне не давали: одно время в Университете преподавали все ленинградские классики, большинство из них — без научной квалификации (степени). Процедуры на Бирже Труда были очень тяжелы. Первым человеком из академической среды, подавшим мне руку помощи, был В. В. Струве. Он познакомился со мной и рассказал, что в Париже вышла книга Сентива, показавшая правоту моего «Греческого романа». Это меня разволновало. Я пошла поделиться чувствами с Марром, как делала это всегда. Он слушал вдумчиво и душевно. У меня нарастало большое возмущение против Наркомпроса, который отдаст молодых ученых на растерзание. Я сказала, что напишу Наркомпросу Луначарскому ругательное письмо. Марр горячо поддержал. Письмо я отослала. Прошло много времени. Однажды вечером, ко мне приходит на дом один из учеников Марра и заявляет, что его прислал Марр сказать мне, чтоб я шла за жалованием в ИЛЯЗВ, куда зачислена месяц тому назад... Я звоню Марру, он вызывает меня в 12 часов вечера к себе домой. Оказывается, Луначарский передал письмо в Главнауку, а Главнаука запросила о хулигане Марра, Марр же дал обо мне наилучший отзыв.

— Тогда мне предложили дать вам службу, — сказал, улыбаясь, Марр. — Я же рассмеялся и ответил: «Если бы нужно было устраивать на службе, я давно устроил бы ее в Публичной Библиотеке. Но ей нужен исследовательский Институт». Главнаука предложила мне

вести вас в ИЛЯЗВ. Там не было штата. Я поехал в Москву и привез штат. Но не хотел сообщать вам.

А сообщать Марр не хотел из деликатности и трогательной дипломатии: он знал, что я не хочу работать с тамошними людьми, и потому зачислил меня тайно, месяц назад; по прошествии месяца считал он, я уже не откажусь «за давностью».

Однако я колебалась. С кем я смогу там работать, спрашивала я Марра, если его сотрудники плохо ко мне относятся без всякого, как мне кажется, повода с моей стороны?

— Не обращайтесь на них никакого внимания, — отвечал он, — это из ревности и от сумасшествия.

Мне казалось бестактным отказываться дальше. Я искренно поблагодарила Марра и обещала работать с ним и для него.

Не узнал никогда Марр, что за его спиной штатное место в ИЛЯЗВ'е было поделено на двоих и что мне платили 24 р. 50 к. в месяц...

Зато и я не знала, но узнал от моих друзей Марр, что в 1927 году, как только я закончила «Поэтику», ИЛЯЗВ меня выставил за отсутствие продукции. Марр немедленно отправился в ИЛЯЗВ и в страстной форме обрушился на заправил; дебош был такой, что к вечеру я была восстановлена, и особа, съедавшая мою ставку, продолжала за спиной Марра благополучно служить науке.

12

Во вновь открытой секции Яфетического Института было прекрасно работать. Там было несколько человек различных специальностей, но серьезно работающих. Направление работ в этой секции далеко не было яфетидологическим; но атмосфера научная, культурная и спокойная. Марр не посещал заседаний и мало ими интересовался. Мы ставили много докладов, и научный пульс бился живо. Я работала, как изголодавшийся человек, с огромным подъемом и любовью. Встречи с Марром продолжались. Я следила за его работой по-прежнему и посещала лекции по палеонтологии речи. Однажды под влиянием его рассказов о гонении я сказала после лекции:

— Николай Яковлевич, вы должны непременно написать автобиографию!

Марр сильно разволновался и со смехом погрозил мне пальцем:

— А! Вы играете на самой слабой моей струнке!

В Марре, действительно, автобиографический поток был очень силен. Как крупного человека, его характеризует эта высокая лирика, эта потребность всюду и везде рассказывать о себе, вычерпывать

себя, объективировать все личные переживания в научном и просто лирическом рассказе. Он наполняет собой все свои научные труды по лингвистике, все свои академические лекции, все и по всякому поводу выступления. Это не мания, не тщеславие, не себялюбие: это непреодолимый позыв к самораскрытию, совершенно аналогичный тому, который делает из людей поэтов.

13

Ученые потомки, которые будут интересоваться Марром, и будущие создатели исторического романа, пожелавшие вывести крупного ученого одним из действующих лиц современной нам эпохи, обратятся ко всем нашим воспоминаниям и по ним станут восстанавливать Марра-человека. То, что его выделяло, — это его общая необычность, отсутствие условностей в его личностной компоновке. Он не был заказан. Неожиданность его облика сказывалась в нарушении масштабности: он был прозорливей, мощней в смысле творчества и работоспособности, чем другие люди, наделен более сильными страстями, был честолубивей и кротче, с могущественной тягой к властности, с гораздо более кривой линией, чем это полагается для ординара, благородства и тщеславия, преклонения перед величайшими ценностями науки и общественности рядом с любовью к мишуре и сусальной позолоте. Он был доверчив, наивен и свеж, как дитя бедняка; любил новизну и новых людей, как легкомысленная женщина; ему импонировали имена и титулы, которые он презирал. Богатство и неорганизованность сил делало Марра непредвиденным в обращении и заставляло многих людей его бояться. Никогда нельзя было угадать, как он отнесется к тому или иному факту. В то же время он был добр, и кроток, и доверчив, и благожелателен. Его ум не был дискурсивным; Марр был очень похож на самого себя, и его творчество, его характер, ежедневное поведение и стиль статей были совершенно одинаковы. В его теории огромную роль играла практика; но он шел не от эмпирики к умозрению, а его умозрение было насквозь материально, и научный пафос Марра был конкретен, подавался ошупи, лежал в материале. Марр мыслил не в процессе думанья, а в процессе материальной работы, мыслил материалом, а не отвлеченными и схематическими построениями. Он не был мыслителем; обнаженная идея была ему чужда. Он не был «интересным человеком» или глубокой личностью, и едва ли с ним можно было говорить на общие и широкие темы.

Но это был человек великой умственной страсти. Он весь, с совершенно исчерпывающей силой, был отдан единой творческой мыс-

ли — только одной своей теории. Бодрствование — была стихия Марра. Он умственно работал весь день и почти всю ночь; сон едва его касался, забвение ему не было знакомо. Он почти не спал и на заседания приходил вялый, сонный — по виду; он садился за стол и засыпал, но потом вдруг начинал говорить, и оказывалось, что он все слышал и бодрствовал.

Где бы Марр ни находился — на улице, на заседании, на общественном собрании, за столом, — он всюду работал мыслью над своим учением. Его голова всегда была полна языковыми материалами, и он ошарашивал встречного знакомого, вываливая ему прямо и без подготовки пригоршню слов и только за секунду перед тем их вскрытых значений. Он ехал на извозчике — и умственно работал; он слушал чужой доклад и тут же на бумажке делал свои выкладки. Вечно бодрствующая мысль и вечно бодрствующее внимание: это Марр. Он слушал с глубочайшим вниманием и вникал во все, что слушал; утомление его не касалось: его глаза жили, внимали, вникали, отражая вечно бодрствующее сознание. Что видел во сне Марр? Неужели на несколько часов в сутки он перестал работать мыслью? Ему снились, наверное, слова, и едва ли он и во сне не работал над своим учением.

При встрече в антракте заседания он подходил, слабо пожимал руку, почти не пожимал ее, внимательно смотрел в лицо и спрашивал: Ну, что?

Ему следовало безоговорочно ответить: я работаю над тем-то и выводы такие-то.

Он страшно интересовывался, весь отдаваясь моменту и ласково отходил к следующему знакомому. Забывая все, что было за минуту перед тем, он помнил решительно все существенное. Тех, кто не работал или не мог на ходу делиться животрепещущей мыслью, он презирал, не скрывая презренья; хмурился, проходил мимо, был неучтив.

Огромный масштаб творчески бодрствующего, мощного ума и сильной, яркой эмоциональности должен быть дополнен в портрете Марра революционным восприятием жизни и вещей. Это был большевик подлинный, большевик всей своей личностью, неразрывно в науке, в быту, в общественности. Он был революционер-большевик, потому что его разрушающая сила была той же мощи, что и созидаящая. Ломая старые формы, он воздвигал новые, поражавшие тех, кто их понимал, гениальностью новизны и высоким синтезом научных предшествий. Но таков он был и в обращении с людьми, таков был и в быту.

Традицию Марр ненавидел, своих предшественников и современ-

ников не переносил совершенно. Его непримиримость была бескрайняя.

— Сжечь! — кричал он при беседе. — Ссылаются на авторитеты! На книги! Там, дескать, это не подтверждается! Сжечь все книги! Уничтожить все авторитеты!

В другой раз он жаловался:

— Требуют у меня учебника! Догмы им давай! Катехизис! Им во что бы то ни стало нужен катехизис, иначе они не могут! Если один долой, давай им другой!

Но, рядом с этим, как это ни невероятно, Марр был очень академичен. Правда, в хорошем смысле слова. Он почитал Веселовского; преклонялся перед всеми заслугами всех подлинных ученых. Он оказывал уважение всем видным профессорам. В его лекциях по литературе и в его личном обхождении не было ничего анархического. Ненавидел он лишь империалистическую науку. Своих западных и русских врагов он постоянно видел перед глазами, ругал их, поносил, жаловался на них, словом, был совершенно подчинен страсти. Но не было такого врага, которого он не защитил бы; это был всесоюзный защитник всех без исключения советских ученых, настоящий большой общественник, живший только общественностью и понимавший ее глубокую сущность. Враги эксплуатировали его высокую общественную идейность; он писал десятки отзывов, в которых превозносил до небес посредственность и бездарность, чтоб только помочь человеку.

15

Для меня был большой праздник, когда Марр подарил мне в 1924 г. свой «Первый средиземноморский дом». Это была моя любимейшая статья. Как раз в это время я работала над главой о семантике вещи для своей «Поэтики». Эта глава строилась у меня на материале давно собранном: классическая археология имела ряд интереснейших работ в этой области: и Беттихер, Бенндорф и Узенер меня увлекали еще на студенческой скамье. И здесь, как в проблеме сюжета, яфетидология оказалась тем учением, которое могло оправдать и осмыслить мои давнишние интересы и труды, так как именно она показала место семантики вещи в системе идеологии.

Я не знаю случая, когда бы Марр не реагировал, подобно светочувствительной пластинке, на малейшее к нему научное обращение (как и на общественное, впрочем); как только я ему сказала о своей работе над семантикой вещи, он сейчас же (это было уже в 1926 г.) заставил меня сделать в его присутствии доклад о кукольном театре

в Академии Материальной Культуры. Это придало мне решимость продолжать и углублять начатую работу.

1927 г. был знаменателен: вышла его «Иштарь». Я только что закончила «Поэтику» и на основании «Иштари», уже без всяких колебаний, повезла Марру свою литературоведческую работу и положила ему прямо на стол. Он надел пенсне и стал читать первую страницу.

— Метод, метод какой? Где у вас о методе?

Он страстно искал слово «палеонтологический». Без «палеонтологического метода» работа для него не существовала.

Для этой работы Марр сделал все, что мог: с отзывом, порученным им самим И. Г. Франк-Каменецкому, он представил ее к печатанию в Коммунистическую Академию, туда же командировал и меня, и настолько был к ней благожелателен, что на заседании Совета Яфетического Института протокольно закрепил ее за Институтом, — несмотря на технические трудности, созданные для этого без его ведома...

Когда я читала автореферат «Поэтики» в Москве, Марр был во Франции. Я описала ему все заседание и весь ход прений. На это я получила от него из Бретани письмо такого содержания:

Guingamp 9. VI.29

Дорогая Ольга Михайловна, обстоятельное Ваше письмо в свое время получил и весьма был рад и за Вас, и за дело, которому Вы служите не за страх, а за честь, по сродству идеологии и метода. Трудная это вещь — яфетическая теория. С каждым днем, а тем более с каждой поездкой в том убеждаюсь. Вопросы, Вами затрагиваемые и углубляемые, могли бы и здесь быть освещены. Но особенно тут, в Бретани, важна предварительная лингвистическая часть, ее проработка в увязке с Востоком (античным — эгейским и эллинским миром, древним и средневековым — скифы, финны, русские-славяне), не говоря об яфетических европейцах (басках) и кавказцах (грузинах, армянах), уграх-венграх.

Н. Марр

Последние слова едва можно было разобрать, так как Марру не хватало места: он посылал мне изображение бретонской женщины, в национальном костюме, с розой в руках...

16

Все то многое, что Марр для меня делал, отнюдь не было исключением в мою пользу; но я показываю отношение Марра к людям на примере самой себя. Я же, помимо преклонения перед ним, как перед ученым, крепко его любила.

В конце 1929 г. В. Ф. Шишмарев ушел из Яфетического Институ-

та. Появление некоторых беспокойных лиц — можно было предвидеть — изменит атмосферу в Институте, дотоле мирную. Одновременно И. Г. Франк-Каменецкий ни за что не хотел стать во главе мифической, как мы ее шутливо называли, секции.

Однажды меня вызывают в Яфетический Институт. Пока со мной разговаривал ученый секретарь, вышел из кабинета Марр и стал поручать мне руководство этой секцией. Я отказывалась и называла имена.

— Нет, — сказал Марр, — я хочу, чтоб в этой секции шла работа по литературе, а вы литературовед, — и он прибавил несколько похвал.

Я поблагодарила за внимание и обещала подумать. Это был большой день в моей жизни. Я была горда доверием Марра.

И все же становиться во главе секции я нисколько не собиралась. Но оправдать отношение Марра и помочь в работе я считала своим долгом. Итак, я задумала организовать в этой секции коллективную работу над любимой давнишней темой Марра — литературоведческую работу над сюжетом Триста и Исольты. Сама я считала, что этот сюжет, с теоретической точки зрения, не имеет особых преимуществ перед другими сюжетными темами; в моей «Поэтике» он занимал две или три строчки. Однако разработкой именно этого сюжета я хотела отдать дань благодарности Марру, с именем которого была связана большая полоса моей научной молодости.

Эту тему я выдвигала не впервые. Но в кружке «Гомер и яфетическая теория» мне как-то сказали:

— Да, это очень хорошо, но как взяться и как проводить на литературе?

И теперь мое предложение было встречено довольно скептически. Я предполагала развернуть некоторые части «Поэтики», поставив их лицом к яфетидологии.

Я провела несколько организационных, верней, агитационных бесед, и тема наконец была принята — при условии, что я сделаю конкретное, на материале, введение.

По нашей общей просьбе И. Г. Франк-Каменецкий согласился стать во главе секции. Я зачитала вводную часть с раскрытием палеонтологии основного сюжета и распределила роли участников темы. Однако товарищам еще неясна была методика самой работы на материале, и они просили чтоб я первая зачитала свою часть. Для всей последующей работы это была серьезная и ответственная задача. В обычный день я приезжаю в Институт с тем докладом, который напечатан в сборнике как моя статья, но меня поражает нервозность обстановки: приходят люди из других секций, чего-то ждут, шепчутся по углам. Франк-Каменецкого вызывают к Марру, и он явно

нервничает. Я сижу у стола с раскрытой рукописью, когда возвращается взволнованный Франк-Каменецкий и говорит, не садясь:

— Товарищи, я испытываю большую неловкость, но все же должен заявить, что директор просит всех нештатных сотрудников покинуть здание Института.

Поднимается почти вся секция. На меня обращены взоры. Я впервые соображаю, что работаю даром, то есть не состою в штате, прячу доклад обратно в портфель и встаю. Прощаясь с товарищами, я прохожу мимо оживленных и веселых людей, пришедших на это заседание.

Я привела этот эпизод, так как он прекрасно раскрывает Марра. Возможно ли представить такого директора, академика, ученого, администратора, который пригласил бы человека организовать эту работу и во время проведения этой работы выгнал бы этого человека из здания Института?

Нужно было пережить и этот день.

Потом оказалось, что Академия Наук предложила всем своим Институтам, распределяя работу, делать различие между штатным и нештатными сотрудниками, планируя только оплачиваемый труд; был опубликован список даровых работников, которых предлагалось отчислить в целых — и это вполне понятно! — охраны от эксплуатации. Но Марр, оскорбленный этой мерой, решил заострить всю ее отрицательную сторону. Ах, дескать, так? выгнать людей из Института? Ну, так я выгоню их буквально. Пусть Академия полюбуется. И он, мрачный, заперся у себя в кабинете, поручив эту меру официальному руководителю секции. Все его окружающие знали, что предстоит спектакль.

На следующий день ученый секретарь Института позвонил мне по телефону и передал от имени Марра официальное извинение с просьбой продолжать работу.

Можно ли без волнения закончить этот рассказ? — Мы все, из любви и уважения к Марру, не посчитались с формой его поведения и учли только идейное содержание его поступка. Мы знали, что Марр, нанося боль человеку, защищает его высшие права и его научное достоинство.

Я работала год над коллективным проведением «Тристана» и должна была доложить о результатах на пленуме Института в присутствии Марра. Но до этого дело не дошло. За последние годы я все больше переключалась на работу в Институт Речевой Культуры, где

начинала чувствовать себя так же хорошо, как когда-то в Яфетическом Институте; здесь же оказались и все мои идейные друзья. Тема по Тристану и Исьольде целиком перешла к И. Г. Франк-Каменецкому (он уезжал в колхоз и не мог вначале включиться), который стал ею увлекаться и вкладывать тот пыл и усердие, которые были и у меня до известной поры. Через год, к моменту оформления сборника, я почти не работала в Институте. Вскоре я окончательно перенесла основную работу в Институт Речевой Культуры и, проработав в Яфетическом Институте шесть лет, ушла.

19

Я не выпускала ни одной статьи, не проверив ее у Марра. Обычно я к нему приходила и говорила ему о своих выводах; он брал листок бумаги, начинал раскладывать слова на элементы и читал мне их семантику. Не было ни одного случая, когда литературоведческий вывод не совпадал бы с выводом лингвистическим. Но я уже редко видела Марра. И Яфетического Института давно не было — он отделился от квартиры Марра, где был раньше, и стал Институтом Языка и Мышления.

Возобновились лекции Марра в ЛИФЛИ; теперь они уже привлекали огромную аудиторию новой, шедшей нам на смену молодежи — той молодежи, которую Марр так любил и ценил. По-прежнему он работал, не зная передышки, боролся и горел, много ездил в научные разведки и динамизировал науку. На полном ходу, в расцвете творческих сил, он свалился и сразу же предрек, что это его конец.

Я стояла за дверью. Какая сила занесла меня в этот день и час в Институт, из которого я давно ушла, в кабинет, где я ни разу не бывала?

Там, за стеной, умирал великий Марр, ученый, с которым была связана и моя жизнь, и моя работа.

Я колебалась входить и убежала, когда началась суэта. Я еще ничего не понимала.

Словно что-то толкнуло меня еще раз придти к Марру и в безличной форме стать у его порога, чтобы проститься со всем, что наполнило когда-то мою научную жизнь.

Я это поняла вечером.

20

Когда Марр выздоровел и все стали его навещать, я побоялась увидеть его угасшие глаза. У Марра не могло быть удара; мозговая болезнь аннулировала его, потому что его вечно бодрствующее

сознание не знало и не могло знать помрачения. Марр, боявшийся работы, переставший умственно работать, уже не был больше собой. Говорят, у него сделались виноватые глаза; он, несомненно, переживал потрясающую драму. И он стал медленно умирать, уже не зная душевного покоя; его мозг переключался на другую работу, на разрушающую, и подрывал этого необычайного человека. У него появилась боязнь людей и жизни, и он соматически таял, в тоске от мучивших его призраков, — когда в реальности вся страна чтит его и готовилась к празднику его 45-летнего юбилея.

21

Кортеж был длинный. Через решетку мраморного дворца было видно, как с набережной выносят его прах. Вокруг говорили об обыкновенных вещах и даже шутили. Мимо колонн ЛИФЛИ проходил Эрмитаж и какие-то Институты Там, в голове, разыгрывались экспозиции чувств и страстей. Было сыро. Равнодушие оставляло какой-то опустошающий след.

И вдруг налево, под траурными знаменами, показались молодые лица. Это шел Педагогический Институт имени Герцена. Шли молодые пролетарские студенты, шел, если угодно, сам Марр с теми, кого он единственно любил. Они остановились. Я не выдержала волнения. Мне показалось, что планы переместились и что там, за решеткой, несли пустой гроб со всем церемониалом подходящих эмоций, а здесь, рядом, стояли лучшие помыслы и надежды Марра, осуществленные в живой, со знаменами в руках молодежи.

(1937)

И. Е. Аничков

ОЧЕРК СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В советском языкознании положение в буквальном смысле невероятно неблагоприятное. Если описать его, не сказав предварительно о причинах такого неблагоприятия, слушатель или читатель не поверит сообщаемому, заподозрит значительные преувеличения и неточности. Подготовить читателя к тому, чтобы он поверил сообщаемым ему невероятным, хотя и достоверным, фактам, можно,

только предварительно познакомив его с причинами создавшегося положения.

Эти причины начали действовать в ранние годы Советской власти, даже еще в дореволюционное время. Изложение их неизбежно должно принять форму краткого очерка советского языкознания.

Пятидесятилетнее существование советского языкознания удобно рассматривать по периодам и лицам, каждое из которых одно за другим в тот или иной период играло в нем главную роль. Таких лиц и, соответственно, периодов было четыре: Н. Я. Марр, И. И. Мещанинов, В. В. Виноградов и В. М. Жирмунский; последний, впрочем, возглавлял только германороманистику.

Четыре лица этих были друг на друга не похожи. Каждое из них имело ярко выраженную индивидуальность.

Николай Яковлевич МАРР (1864—1934) был сыном англичанина, точнее шотландца, работавшего по найму у богатого грузинского князя садовником, женившегося вторым браком на грузинке. Он получил среднее образование в гимназии г. Кутаиси. Помимо грузинского языка он с детства усвоил армянский язык, и, поступив по окончании гимназии на восточный факультет Петербургского университета, окончил его в 1888 г., специализировавшись по двум названным языкам и истории их.

Еще очень молодым — в год окончания университета — он сделал исключительно важную для церковников всех стран находку. Работая в одном из Тифлиских книгохранилищ, он обнаружил в нем поступивший туда когда-то из древнего грузинского монастыря Шамберти, разрушенного еще при нашествии Тамерлана, перевод на древнегрузинский язык с перевода на древнеармянский не дошедшего до нас в греческом подлиннике творения одного из древнейших «отцов церкви» — церковного писателя III в. н. э. Ипполита Римского «Толкование на Песнь песней Соломона». Он опубликовал древнегрузинский текст своей находки с переводом его на русский язык. За границей очень скоро после того появились переводы с переводов (русского или грузинского) этого памятника на главные европейские языки — итальянский, французский, немецкий, английский. Н. Я. Марр стал знаменитостью, чему способствовали новые, хотя и менее важные, но все же значительные открытия и публикации им древних грузинских и армянских рукописей.

Чтобы понять исключительный интерес, который вызвала во всех христианских странах главная находка Н. Я. Марра, надо знать следующие факты об Ипполите Римском.

Епископ святой Ипполит Римский, претерпевший мученичество в 236 г., признается особенно важным звеном «священного» или «апо-

стольского предания», — второго, вместе со «священным писанием» равнозначительного первому источнику христианского вероучения, так как он был самым продуктивным церковным писателем своего времени, и о нем вместе с тем известно, что он был учеником Иринея Лионского, ученика в свою очередь Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна. Таким образом, Ипполит — представитель, притом *важнейший, второго поколения* «отцов церкви», носителей и выразителей «священного предания», — второго поколения, следовавшего за первым поколением их, самым значительным из представителей которого был его учитель Ириней Лионский, и за «мужами апостольскими» — оставившими писания «самовидцами и собеседниками апостолов», одним из которых был учитель Иринея Поликарп Смирнский.

До нас дошла древнейшая, относящаяся еще к первой половине IV в. н. э. мраморная статуя Ипполита, сидящего на епископском троне. На одной из стенок его массивного трона вырезаны заглавия его «творений», в том числе и того, которое до находки Н. Я. Марра было известно только по заглавию из этого перечня и по небольшим фрагментам у цитировавших Ипполита более поздних церковных писателей.

Ипполит признавался настолько важным писателем, что в Лейпциге в 90-х годах прошлого столетия печаталась особая, посвященная специально ему серия трудов — *Hippolytstudien*.

Марру главная находка его принесла уже в 1900 г. звание профессора Петербургского университета, в 1901 г. — ученую степень доктора филологических наук (тема его докторской диссертации — «Ипполит. Толкование Песни песней») и в 1909 г. — академическое кресло.

Н. Я. Марр был подлинным ученым лингвистом-востоковедом, но не исключительно крупным, а рядовым. Языками древнегрузинским и древнеармянским интересовались и серьезно занимались до него и помимо него у нас, а что касается древнеармянского языка, то и исследователи в ряде других стран. В изучение этих языков он не внес ничего общепризнанного принципиально нового. Он не был тонким лингвистом.

Таково мнение о нем ведущих специалистов по языкам армянскому, грузинскому и урартскому — А. И. Томсона (1860—1935, член.-корр. АН СССР, автора «Исторической грамматики армянского языка»; см. его «Ответ на рецензию Н. Я. Марра» (СПб., 1891)), А. Чикобава и Г. А. Меликишвили. Последний писал: «В 1932 г. Н. Я. Марром был издан текст летописи Сардури II, им же были опубликованы и другие вновь открытые надписи. Но издания Н. Я. Марра пе-

стрят ошибками в транскрипции и отличаются произвольностью перевода надписей <...> Н. Я. Марр к изучению урартского языка подошел с неправильными, ненаучными методологическими установками <...> Он мало внимания обращал на то, что нам говорит сам урартский материал по вопросам о значении той или иной урартской грамматической формы или отдельных слов. Взяв какое-нибудь урартское слово, он его произвольно связывал с каким-нибудь грузинским словом, иногда весьма мало похожим по своему звуковому составу. Таким образом “устанавливались”, с одной стороны, значения урартских слов и форм, а с другой — с изумительной легкостью получались урарто-грузинские лексические и грамматические параллели. Посредством никем не установленных и ничем не засвидетельствованных фонетических соответствий и фонетических изменений он объявлял совершенно не похожие друг на друга слова общими урарто-грузинскими словами. К этому присоединялись еще магические упражнения мистическими “четырьмя элементами” <...> Если не считать положительный сам по себе факт ознакомления научной общественности с новыми надписями, работы Н. Я. Марра по урартскому языку и урартской эпиграфике ничего положительного не дали» (Вестник древней истории. 1953. № 1. С. 243—244).

При необыкновенно развитой фантазии Н. Я. Марр был лишен подлинной творческой научной инициативы. Он был очень честолобивым. Его не без причины беспокоила мысль, что его могут считать обязанным своим званием академика счастливому случаю. Он захотел быть заслуженно признанным крупным ученым, внесшим в лингвистику важный новый вклад, сделавшим в лингвистике переворот.

В последние годы существования царизма он выступил со своею «яфетической теорией».

Дело началось с утверждения родства языков грузинского и баскского в Пиренеях и наименования якобы новооткрытой группы языков «яфетическими языками», — по библейскому персонажу Иафету, брату Сима и Хама, по аналогии с языками, уже называвшимися семитскими и хамитскими, и в угоду церковникам.

Это «открытие» не было принято специалистами ни по кавказским языкам, ни по баскскому языку. Его в лучших случаях объявляли недоказанным и с одинаковым правом могущим утверждаться и отрицаться.

Другими «яфетическими языками» Н. Я. Марр объявил почти все языки народов, оставивших нам нерасшифрованную тогда письменность. Позднее письменность многих из этих языков была расшифрована, и большая их часть — хеттский и другие — оказались индоевропейскими.

Дальнейшее развитие «яфетической теории» выразилось в выдвижении следующих положений.

«Нет групп родственных языков, якобы происходящих, в пределах каждой группы, от одного и того же древнего языка-основы — латинского, общегерманского, общеславянского, общендоевропейского и т. д.», — а есть «единый общечеловеческий языкотворческий процесс», «единый языкотворческий, или глоттогонический, процесс развития всех языков мира».

Все языки берут начало и развиваются не из разных комплексов исходного языкового материала, а из одних и тех же, «четырёх элементов»: сал, бер, йон, рош, разным образом комбинирующихся в процессах развития разных языков на разных стадиях развития человеческого языка.

Генетическая классификация языков по группам якобы родственных языков должна быть заменена «стадиальной классификацией» их; сравнительно-исторический анализ языков должен уступить место «четырёхэлементному анализу» их.

На низкой стадии развития языка стоит моносиллабический китайский язык; высокой стадии достигли языки, неправильно называемые «индоевропейскими» (Марр называл их «прометеидскими»); промежуточную стадию составляют «яфетические языки».

Ни хотя бы сколько-нибудь содержательного, понятного и убедительного объяснения того, что значат «четыре элемента» и как они сочетаются, ни хотя бы одного образца «четырёхэлементного анализа» какого-нибудь конкретного языка, ни ответов на естественно возникающие вопросы, откуда взяты названия «четырёх элементов», Н. Я. Марр не дал. Можно только констатировать, что одно из этих названий — рош — совпадает с другим библейским именем или названием (Иез. 38, 2).

Фактически «новая теория» Н. Я. Марра оказалась перечеркиванием общепринятых положений сравнительно-исторического языкознания и попыткой заменить их другими положениями, либо явно ошибочными, либо — и чаще всего — фантастичными и неуловимыми.

Не своей более поздней «яфетической теории», а своей исключительно счастливой находке Н. Я. Марр обязан был званием академика. Это звание он уже имел, когда он впервые выступил со своей «новой теорией». Несмотря на его старания подкрепить «яфетическую теорию» авторитетом присвоенного ему высокого звания, ему не удалось добиться ее признания ни одним квалифицированным лингвистом ни в России, или, позднее, в Советском Союзе, ни за рубежом.

Психологически допустимо, что Н. Я. Марр в порядке самовну-

шения сам поверил в свою «новую теорию», которая, однако, не вытекает ни из каких лингвистических предпосылок и вполне могла быть подсказана ему одним только желанием произвести сенсацию и быть признанным крупным ученым-новатором.

Накануне первой мировой войны он ездил в Париж и изложил «яфетическую теорию» крупнейшему лингвисту той эпохи французскому академику члену-корреспонденту Российской Академии наук Антуану Мейе. Выслушав его, А. Мейе заявил, что до некоторой точки он за ним следил, но, начиная с этой точки, он перестал его понимать.

После Октябрьской революции Н. Я. Марр, имевший в дореволюционное время контакты с церковниками, прервал эти связи, объявил «новое учение о языке» марксизмом в языкознании и в 1931 г. стал членом ВКП(б).

Надо заметить, что сам он повел линию по сравнению со взятой его сторонниками в годы, последовавшие за его смертью, умеренную и компромиссную: он объявил «старую», или «сравнительно-историческую», или «индоевропейскую» лингвистику подготовительной, неполной формой «яфетического языкознания», более легкой для усвоения, подлежащей и в дальнейшем изучению, даже разработке, на языковых кафедрах высших учебных заведений, пока не будут подготовлены и не появятся специалисты по «яфетическому языкознанию».

Фактически никакой подготовки специалистов по яфетидологии Н. Я. Марр нигде никогда не организовал и сам не повел. В начале реорганизации высшей школы, так как у него не было учеников и сторонников с учеными степенями и званиями, такого рода подготовку некому было вести кроме него. Сам он нигде никаких окончивших вуз и оставляемых при вузе аспирантов никогда не набирал, нигде ни с кем никаких занятий типа аспирантских семинаров вести не стал.

О патологическом честолюбии Н. Я. Марра и об отсутствии у него чувства приличия громко говорят, между прочим, следующие выдержки из прочитанного им в 1930 г. доклада на тему «Яфетидология в Ленинградском университете». Здесь сам он на двух смежных страницах, неэффективно маскируясь напускной скромностью, трижды говорит о своей якобы общепризнанной гениальности:

«По одной легенде, создатель яфетической теории гениален, во всяком случае он обладает исключительной способностью без труда овладевать любым языком, знает их неисчислимое количество, знает особенно хорошо все кавказские языки, лучше чем кто-либо, как никто...».

«В Ленинграде и в Москве выступают с докладами о том, что утверждения гениального ученого очень интересны, но простым смертным недоступны; поэтому нам надо продолжать взращивать свои понятные нормальным умам и способностям положения индоевропейского языкознания и не ломать себе зубы на каменнотвердых для нас орехах».

«В развитии яфетидологии моя личность, пусть действительно гениальная,.. абсолютно не при чем».

Свой «скромный» до самозабвения вывод Н. Я. Марр сформулировал следующими словами: «Яфетическая теория есть учение, вышедшее из лона ленинградской университетской среды в процессе диалектического развития, как антитеза отвлеченной, абстрактной, не увязанной и неспособной увязаться с жизнью индоевропейской лингвистики».

В начале 20-х годов в Советском Союзе была предложена И. Е. Аничковым новая лингвистическая наука — идиоматика, которую автор определял как науку о *сочетаниях слов* в отличие от синтаксиса — *рассмотрения сочетания форм слов* — и которая, по мысли автора, должна занять место в ряду основных лингвистических наук между синтаксисом и семантикой.

Это предложение вызвало интерес в узком кругу ведущих языковедов. Его приветствовали неприменный секретарь АН СССР академик С. Ф. Ольденбург, французский академик член-корреспондент АН СССР А. Мейе, Н. Я. Марр, профессор, будущий академик Л. В. Щерба, профессор Д. Н. Ушаков и другие. Автор его, начинающий ученый, был, по представлению Н. Я. Марра, директора Института языков и литератур Запада и Востока (ИЛЯЗВа — позднее Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра, с 1951 г. Институт языкознания) зачислен в этом институте научным сотрудником второго разряда. Предполагалось основание в Институте идиоматического кабинета и расширение его со временем в идиоматический сектор. Но это дело почти сразу оборвалось по причине ареста Аничкова и лишения его фактически на девять лет права или возможности проживать в Ленинграде.

В беседе с И. Е. Аничковым Н. Я. Марр заявил: «Идиоматика — это яфетидология». В годы отсутствия И. Е. Аничкова в Ленинграде в Большой Советской Энциклопедии появилась статья «Идиоматика», в которой, естественно, инициатор этой науки не упоминался.

Иван Иванович МЕЩАНИНОВ (1883—1967) был сыном Ивана Васильевича Мещанинова, сенатора и члена «Верховного суда» — высшего судебного органа царского правительства. По окончании в 1907 г. курса высшего юридического образования в Петербургском

университете он был принят на службу в Первом департаменте Сената, куда зачислялись исключительно молодые люди, имевшие сильную протекцию в высоких правительственных сферах, преимущественно члены аристократических семей. Вместе с ним там же в те же годы служили князья Оболенский и Голицын, графы Пален и Берг, бароны Криднер и Корф.

Еще в дореволюционные годы у него возник интерес к археологии. Он прослушал организованные Всероссийским археологическим обществом курсы для археологов-любителей и выполнял не оплачиваемые почетные поручения Петербургского археологического института по инвентаризации разделов архивов. После Октябрьской революции и прекращения службы его в Сенате он решил стать археологом по основному роду занятий. На этой почве у него возникли контакты с Марром, который, что составляет его неотъемлемую заслугу, курировал археологические экспедиции и раскопки в Закавказье и успешно выхлопывал на них средства. И. И. Мещанинов принял «яфетическую теорию», приобрел расположение Н. Я. Марра и стал у него секретарем, позднее — правителем дел.

О дальнейшей деятельности и судьбе его имел хождение среди лингвистов старшего поколения следующий рассказ, стилизованный, но едва ли лишенный основания.

Н. Я. Марр, у которого не было сторонников лингвистов и который хотел бы их иметь, как-то неожиданно объявил И. И. Мещанинову: «Будете лингвистом и доктором филологических наук!». И. И. Мещанинов по своей тогдашней скромности ответил: «Что вы, что вы, Николай Яковлевич! Где мне! Я ведь не имею филологического образования». Но Н. Я. Марр настаивал: «Это ничего не значит. Я дам вам тему: вы напишете работу о такой-то ванской клинописной надписи на скале; она короткая: в ней всего несколько десятков слов. Есть небольшая литература по этому вопросу на немецком языке (С. F. Lehmann-Haupt). Вы с нею познакомитесь и изложите достигнутые результаты в свете яфетической теории». И. И. Мещанинов вынужден был согласиться и стал «лингвистом» и «доктором филологических наук», минуя степень кандидата (1927 г.), — «специалистом» по урартскому языку и по «новому учению о языке Н. Я. Марра». В 1932 г. Н. Я. Марр объявил ему: «Будете академиком!». И. И. Мещанинов возражал, но согласился и стал академиком, минуя звание члена-корреспондента Академии наук.

В 1934 г., после смерти Н. Я. Марра, И. И. Мещанинов стал его преемником на постах директора Института языка и мышления и академика-секретаря Отделения литературы и языка АН. Он оста-

вался на этих постах до 1950 г. В этот период, охарактеризованный Сталиным как «аракчеевский режим в языкознании», он номинально возглавлял советскую лингвистику. Все основное делалось его именем, во исполнение программ, планов и документов, подписанных им.

Трудно судить о том, в какой мере он действовал по собственной инициативе и в какой мере он вынужден был соглашаться с окружающими его лицами — подлинными инициаторами репрессий, крайними марристами и ревнивыми монополистами «марксизма в языкознании» и «нового учения о языке Н. Я. Марра», но можно предполагать, что он был умереннее их и часто подчинялся необходимости против воли.

Скромный И. И. Мещанинов, сопротивлявшийся выдвигавшему его насильно Н. Я. Марру, не мог, по человеческой слабости, не поверить скоро в то, что он действительно стал лингвистом и доктором филологических наук и заслужил звание академика. Он захотел внести свой вклад не только в урартоведение и в яфетидологию, но и в общую лингвистику. Но он не был изобретательным, и ему удалось только ввести в русскую лингвистическую терминологию два неправильно образованных термина: «понятийные категории» и «синтаксемы». Первый из этих «терминов» представляет дословный перевод заимствованного им у О. Есперсена без ссылок на него термина «notional categories» (*Мещанинов И.* Понятийные категории в языке//Труды Военного института иностранных языков. М., 1945. Т. 1. С. 5—17). Ненужный термин О. Есперсена мог бы быть передан на русском языке сочетанием «концептуальные (от лат. существительного *conceptus* 'понятие, представление') категории». Прилагательное «понятийный», образованное от существительного среднего рода «понятие» по аналогии с уникальным в языке «орудийный» от «орудие», могло бы без насилия над русским языком быть образовано только от существительного женского рода по аналогии с производными «стихийный», «периферийный», «аварийный», «комедийный», «партийный», «серийный» — от «стихия», «периферия», «авария», «комедия», «партия», «серия». Термин «синтаксема», неправильно образованный И. И. Мещаниновым от слова «синтаксис» по аналогии с терминами «фонема», «морфема» и «семема» — от основ названий наук «фонетика», «морфология», «семантика», мог, по правилам греческого словообразования (от данных словообразовательных элементов: приставки *συν-* 'со-', основы *ταχ-* глагола *ταχσσειν* 'класть, располагать', откуда также *ταξίς* 'ряд, порядок', и суффикса единичности *-μα*), принять только форму «синтаγμα». Эта форма существовала в древнегреческом языке и была предложена как лин-

гвистический термин еще Ф. де Соссюром. Термин «синтаксема» — неправильно образованный дублет термина «синтагма».

Как это ни невероятно, И. И. Мещанинов, вопреки элементарным нормам словообразования, расчленил термин «лексема» и образованный им неправильный термин «синтаксема» следующим образом: «лек-сема», «синтак-сема» (*Мещанинов И. И. Общее языкознание*. Л., 1940. С. 41). Видеть в этих словах компонент «сема», — по-видимому усматривая в нем греческий элемент *σημα* 'знак' — наличный в слове «семантика», — так же безграмотно, как, например, в русских словах «осторожность», «уважительный», «политехнический», расчленяемых следующим образом: «о-сто-рож-ность», «ува-житель-ный», «полит-ехни-ческий», — усматривать компоненты «сто», «житель», «полит-».

В 1945 г. И. И. Мещанинов написал и издал очередную объемистую книгу по общему языкознанию в свете «нового учения о языке Н. Я. Марра» — «Члены предложения и части речи», в которой он фактически дал пересыпанную благоговейными упоминаниями о «яфетической теории» какую сумел сводку мыслей, высказанных в лингвистике на тему, названную в заглавии книги, и не предложил ничего нового. Он пытался обосновать в ней вывод, что надо подняться выше различения частей речи в морфологии, называемой им «лексикой», — и членов предложения в синтаксисе и самого различия морфологии и синтаксиса, что эти понятия могут быть пока сохранены, но представляют только «старое языкознание», которое «преодолевается» в «новом учении о языке».

И. И. Мещанинов был дважды удостоен Сталинской премии; ему были присвоены орден Ленина и звание Героя Социалистического Труда.

В среде старших языковедов-немарристов передавался и другой рассказ, также, может быть, несколько стилизованный, характеризующий период, когда советское языкознание возглавлял уже не Н. Я. Марр, а И. И. Мещанинов.

В конце 30-х годов, за исключением литературоведа В. М. Жирмунского, еще не было ни одного специалиста по германо-романской филологии — сторонника «нового учения о языке», профессора и доктора наук. Облеченные властью марристы решили в духе Н. Я. Марра: «...если таких специалистов нет, то мы их создадим, — и ускоренными темпами». Они потребовали выдвижения на филологическом факультете Ленинградского университета трех студентов, окончивших немецкое, английское и французское отделения, — не обязательно отличников, но обладающих другими необходимыми данными, — и поручили В. М. Жирмунскому и едва терпимым, терроризируемым ими дипломированным специалистам-немарри-

стам, как особо важную задачу, имеющую принципиальное, политическое значение, в максимально сжатые сроки пропустить этих трех лиц через аспирантуру и докторантуру. Университетом были выдвинуты Кацнельсон, Ярцева и Будагов — германист-скандинавист, англистка и романист. Руководителями (за исключением В. М. Жирмунского) немарристами эти поручения не могли не быть и были срочно выполнены. Очень скоро появились три доктора по специальностям западноевропейских языков, три профессора убежденных сторонника «нового учения о языке Н. Я. Марра».

Докторская диссертация В. Н. Ярцевой, написанная на тему об английском глаголе, была в основном пересказом на русском языке в свете «нового учения о языке» работы об английском глаголе датского англиста О. Есперсена. Эта диссертация давно исчезла из библиотек, где она должна была бы храниться и некоторое время хранилась.

Для Будагова характерно, что он умудрился написать и издать объемистую брошюру о выдающемся — ведущем в свое время в общем языкознании — швейцарском лингвисте прошлого столетия Ф. де Соссюре без единого упоминания о его терминах «синтагма» и «синтагматика», выражающих существо его важного вклада в лингвистику. Это то же самое, как если бы кто-нибудь написал научно-популярную брошюру о Менделееве, не упомянув о Периодической таблице.

В 40-х годах Кацнельсон и Ярцева попеременно через год читали на филологическом факультете Ленинградского университета курс «истории лингвистических учений», имевший подзаголовок «введение в языкознание». Содержание этого курса не могло не быть «критикой» истин общего языкознания, как «буржуазной лингвистики», и преподнесением выдаваемых за «марксизм в языкознании» произвольных положений «нового учения о языке», включая фантастический «четырёхэлементный анализ».

В период преобладания марристов без Н. Я. Марра вернулся в Ленинград инициатор идиоматики И. Е. Аничков. Он обратился с предложением о сотрудничестве в Институт языка и мышления, где внешним образом был проявлен интерес к его предложению и где был составлен и подписан следующий документ:

*Отзыв о работе И. Е. Аничкова «О мероприятиях
по развитию идиоматики»*

Настоящая работа уже была на рассмотрении акад. Н. Я. Марра, который дал о ней прилагаемый отзыв.

Равным образом с работой познакомились частично акад. С. Ф. Ольденбург и член-корреспондент АН известный французский лингвист А. Мейе, давший о ней,

правда, суммарный, но положительный отзыв. ИЯМ к этим отзывам вполне присоединяется. Ввиду того, что проблема, выдвинутая И. Е. Аничковым, представляет собой действительно серьезный научно-теоретический интерес (для проблематики общего языкознания) и может быть использована в практических целях (преподавание, составление словарей и т. п.), ИЯМ считал бы целесообразным войти теперь же в контакт с И. Е. Аничковым и, в первую очередь, предложить ему подробно познакомиться с Институтом с существом его работы, а также с его предложениями о ее организации.

Подписи: Директор Института И. Мещанинов. Заведующий кабинетом романогерманских языков В. Шишмарев. 15.VII.1938.

И. И. Мещанинов, зная, что И. Е. Аничков не сторонник «нового учения о языке Н. Я. Марра», не поднял вопроса о его зачислении (или восстановлении) на работу в Институте и не дал хода его предложению. В составленной и напечатанной им два года спустя программной статье «Очередные задачи советского языкознания» (Известия АН СССР. ОЛЯ. 1940. III. С. 3—27) он не упомянул об идиоматике.

В отличие от Н. Я. Марра активные крайние марристы (Е. А. Бокарев, В. Н. Ярцева и др.) открыто приняли предложение И. Е. Аничкова в штыки, усмотрев в нем попытку заменить «новое учение о языке Н. Я. Марра» собственным новым учением о языке. И. Е. Аничков был допущен к преподаванию английского языка в вузах, но ему был прегражден доступ к печати. Вопреки противодействию марристов, благодаря поддержке академиков Л. В. Щерба и В. Ф. Шишмарева и других лингвистов-немарристов, ему удалось защитить в МГУ две диссертации — кандидатскую в 1944 г. на тему об идиоматике, и докторскую в 1947 г. — о частном разделе идиоматики английского языка — сочетаниях с адвербиальными послелогом.

Активная роль И. И. Мещанинова закончилась в 1950 г., когда газетой «Правда» была открыта дискуссия по вопросам языкознания, и Сталин опубликовал статьи, позднее собранные в брошюру «Марксизм и вопросы языкознания», в которых он объявил «новое учение о языке Марра» «вульгаризацией марксизма» и «полностью ошибочным». И. И. Мещанинов признал свои ошибки и вынужден был удалиться от дел. Окружавшие его крайние марристы-активисты, «покаявшиеся», как и он, но громче и демонстративнее, обвиняли его в неполном и недостаточно искреннем «покаянии», и сами остались на своих постах.

В 1953 г. ведущий специалист по урартскому языку Г. А. Меликишвили, высказав мнение, что в дело расшифровки урартских клинообразных надписей Н. Я. Марр не внес никакого вклада, вежливо прибавил в адрес И. И. Мещанинова, который, хотя и перестал осуществлять руководство в советском языкознании, еще здравствовал

и оставался носителем высоких званий и почестей: «Ведя исследование в основном порочными, ненаучными методами Н. Я. Марра, И. И. Мещанинов не мог сколько-нибудь значительно продвинуть вперед изучение урартского языка» (Вестник древней истории. 1953. № 1. С. 244). Хотя эти слова Г. А. Меликишвили, в буквальном понимании их, и содержат допущение, что И. И. Мещанинов в урартологии что-то незначительное сделал, в них, как это ясно в свете других высказываний того же автора, дается понять, что вклад его в деле расшифровки урартских надписей был, как и вклад его «учителя» Н. Я. Марра, нулевым.

Виктор Максимович ЖИРМУНСКИЙ (1891—1971) имел секрет и представляет проблему.

Секрет его состоял в следующем: будучи по национальности евреем, он в ранней молодости, еще в дореволюционные годы, стал православным по убеждениям и до самой смерти оставался в какой-то мере православным, что не мешало ему с самого Октября всегда быть по отношению к Советской власти вполне лояльным.

Проблема, которую он представляет, такая: был ли он литературоведом или языковедом или как тем, так и другим? Эта проблема решается следующим, непредвиденным образом: он был крупным литературоведом, на определенном этапе своего научного поприща поставившим перед собой цель переключиться на языкознание, но, хотя и достигшим этой цели видимым образом, по существу потерпевшим тут неудачу и грамотным языковедом не ставшим.

Избранная им литературоведческая тема и его обращение в православие были взаимосвязаны. Он специализировался по теме «немецкий романтизм», который он трактовал широко и глубоко, с охватом его религиозного характера, его влияния на русское славянофильство в широком смысле, включающее Тютчева и Достоевского, воспринимавшееся им (не строго правильно) как наш русский романтизм, и на более поздний русский символизм, вершиной которого он справедливо признавал Александра Блока.

Как в немецкий романтизм, так и в подвергшиеся с его стороны влиянию русские течения — славянофильство в широком смысле и символизм — В. М. Жирмунский не на шутку поверил. Он отдался этим течениям, ближайшим образом не собственно славянофильству. Он потому стал не протестантом, а православным, что немецкие романтики, которые почти все родились в протестантизме и, за одним только исключением, не перешли в католичество, а остались протестантами, не только отдавали предпочтение католичеству перед протестантизмом, но как католичеству, так и протестантизму предпочитали отвлеченное, теоретическое православие — будущую

религию, предвидимую ими, еще не раскрывшуюся, но, по их прогнозам, имеющую произойти от исторического православия, быть раскрывшимся и проявившимся активно историческим православием. Из немецких романтиков в том широком смысле этого термина, в каком его употреблял Жирмунский. т. е. с охватом не только писателей — авторов художественных произведений и поэтов, но также и философов, чьи мысли писатели и поэты разделяли и вкладывали в свои произведения, — Гамана, Шлейермахера и других, — не протестантом, а католиком был один только баварец философ Франц Баадер, отвлеченно предпочитавший католичеству православие, приезжавший в Россию и затеявший переписку с императором Александром I. Принял католичество из видных немецких романтиков-протестантов только Фридрих Шлегель. Новая религия — пророчествовали немецкие романтики (устаи Новалиса) — будет Церковью Иоанна, которая проявится активно в наступающий период, после Церкви Петра и Павла, — католичества и протестантизма, — проявившихся активно соответственно в средние века и в новое время. Верховные апостолы — Петр, Павел и Иоанн — были апостолами, соответственно, закона, свободы и любви. В новый будущий большой период (говорю я от себя, дополняя немецких романтиков и продолжая линию А. С. Хомякова) закон, или послушание (исполнение чужой воли), и свобода (исполнение своей воли) найдут примирение в любви (исполнение чужой воли как своей).

В излагаемое, составляющее тайну, в значительной мере, хотя и не полностью, был посвящен В. М. Жирмунский.

В дореволюционные годы В. М. Жирмунским была написана и издана книга «Немецкий романтизм и современная мистика» (СПб., 1914, 208 с.) и подготовлена к печати книга «Религиозное отречение в истории романтизма», напечатанная в Саратове в 1918 г. (204+81 с.). Вторая работа была представлена им в качестве магистерской диссертации на филологический факультет Петроградского университета и защищена в 1921 г.

Две названные книги имеют общую тему и могут рассматриваться как первый и второй том одной и той же работы (ниже в ссылках на них они будут обозначаться римскими цифрами I и II).

В. М. Жирмунский писал в них: «Мистическое чувство может показаться понятием сбивчивым и двусмысленным. Мы определяем его как живое чувство присутствия бесконечного в конечном» (I. С. 2). «Глубокое мистическое чувство характерно для немецких романтиков на всем протяжении их творчества» (I. С. 8). «В предельном своем развитии романтическая мистика завершалась мечтой о Царстве Божием» (II. С. 20). «Наступление Царства Божия [на земле]

превращается в подлинное религиозное верование, которое проходит через все философские построения немецких романтиков до Гегеля включительно» (I. С. 18).

Первая из двух названных книг кончается словами: «Верой вершается романтическая мысль и словами молитвы Господней: да придет Царствие Твое» (I. С. 199).

В те же и в ближайшие (20-е) годы В. М. Жирмунский напечатал следующие, прямо или косвенно связанные с его основной темой статьи и книги.

1) Гаман как религиозный мыслитель//Русская мысль. 1913. № 6. С. 31—36. — Гаман, Йоханн Георг (1730—1788) был немецким философом-мистиком, оказавшим влияние на немецких романтиков.

2) Гейне и романтизм//Русская мысль. 1914. № 5. С. 90—116.

3) Генрих фон Клейст (1777—1811)//Русская мысль. 1914. № 9. С. 1—11. — О немецком поэте, выразителе немецкого романтического национализма.

4) Роман о голубом цветке//Русская мысль. 1915. № 3. С. 109—124. — Рецензия на изданный в Москве в 1914 г. стихотворный перевод с немецкого языка на русский Зин. Венгеровой и Вас. Гиппиуса романа в стихах Новалиса «Генрих фон Офтердинген». «Новалис» — псевдоним тончайшего немецкого лирика-романтика, умершего молодым, фон Гарденберга, Георга Фридриха (1772—1801).

5) Преодолевшие символизм//Русская мысль. 1916. № 12. С. 25—56. — Так называет здесь Жирмунский наших поэтов-символистов — Блока и его современников; но других названий для символистов и для символизма, если не считать используемых им несколько раз вскользь терминов «неоромантики» и «неоромантизм», он ни здесь, ни позднее не предложил и позднее продолжал называть этих поэтов символистами, что правильно.

6) О поэзии классической и романтической//Жизнь искусства. 1920. 10 и 11 февраля. № 367 и 368.

7) Поэзия Александра Блока. Пг., 1921. 103 с. — Здесь Жирмунский писал: «В истории русского символизма поэзия Блока обозначает высшую ступень» (с. 81).

8) Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Пг., 1922. 104 с.

9) Проблема Фауста//<предисловие к книге> Гете И. В. Фауст. Ч. 1./Пер. Н. А. Холодковского. М., 1922. С. 7—41.

10) Байронизм Пушкина как историко-литературная проблема//Пушкинский сборник. М.; Пг., 1922. С. 295—326.

11) Жизнь и творчество Байрона <предисловие к книге> Джон Гордон Байрон. Драм. М.; Пг., 1922. С. 8—54.

12) Байрон и Пушкин: Докт. дис. Л., 1924. 334 с.

13) Новейшие течения историко-литературной мысли в Германии//Поэтика. Л., 1927. Т. II. С. 5—28. — В этой статье внимание сосредоточено в первую очередь на изучении в Германии романтизма и «романтического мировоззрения» в их влиянии на современность (с. 6, 7 и сл.; 14 и сл.).

Литературоведческая проблема «романтизма» — одновременно исключительно важная и исключительно трудная. Обозначаемое этим термином литературное направление, определяемое как описание того, что, по мнению художника, лучше действительности, и его противоположность — реализм, понимаемый как описание действительности такой, какая она на самом деле есть, — два основных направления, или метода, во всякой художественной литературе, которые нужно уметь, при диалектическом подходе к ним, охватывать в их единстве как диалектические моменты, первый и второй, теза и антитеза, взаимная исключительность которых снимается в третьем диалектическом моменте, или синтезе, называемом различным образом — «пророчеством» или «символизмом», — синтезе, определяемом как предвидение будущего, как умение в описываемом настоящем усматривать, или вводить в него, «предвосхищая их», элементы будущего.

В немецком романтизме В. М. Жирмунский видел важнейшее и центральное направление в немецкой литературе, отношением к которому определяется место в ней и характер всех других направлений. По его мнению, немецкий романтизм вырос из немецкой литературы так называемого периода «бури и натиска» (*Sturm-und-Drang-Periode*). На романтиков повлиял Гете. В творчестве Гете содержатся элементы романтизма. Но Гете не собственно романтик и не просто романтик. Он больше того. В его творчестве налицо не только разбросанные элементы романтизма и реализма, но уже и предварительный синтез двух противоположных направлений — символизм. Гете был для немцев и в определенном смысле для всех западноевропейцев тем, чем для нас, русских, был Пушкин, о котором правильно сказал Аполлон Григорьев: «Он наше все», имея в виду: «в неразвернутом виде наше все, раскрывшееся позднее».

Гете универсален, что проявилось в полной мере в его главном произведении «Фаусте». Как указывал на то сам Гете в переписке с Шиллером, «Фауст имеет символическое и философское значение» («Проблема Фауста», с. 26). Это значение заключается в следующем: в двух частях «Фауста», в отношениях между Фаустом и католической Гретхен и между Фаустом и воскресшей древней гречанкой Еленой символически изображены исторические судьбы не только всего немецкого народа, но и всего западноевропейского человечества,

всех западноевропейских народов, — в два периода их исторического существования — средние века и новое время, — период увлечения католичеством и период увлечения возродившейся античной культурой.

По мнению В. М. Жирмунского, последнее, пятое, действие второй части «Фауста» — рассказ о том, как Фауст, лишившийся Елены, занялся мыслью об отвоевании пространства у моря путем построения дамб и об организации направленного на эту цель труда миллионов людей, может рассматриваться как первый эпилог (на земле) перед вторым эпилогом (на небе), которым заканчивается трагедия, и как краткая третья часть ее. Здесь символически изображен будущий большой период, который сменит новое время, как оно когда-то сменило средние века. Это будет временем организованного свободного коллективного труда, или социализма. Об этом В. М. Жирмунский высказался следующими словами: «Завершая земной путь Фауста картиной свободной трудовой деятельности миллионов свободных людей, Гете <...> близко подходит к передовым идеям утопического социализма» (Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. С. 476). Гибель в конце первой части трагедии младенца — девочки, рожденной Гретхен от незаконного союза с Фаустом, и самой Гретхен и гибель в конце второй части прекрасного мальчика Эвфориона, рожденного от Фауста Еленой, и исчезновение Елены выражают признание изначальной незаконности и обреченности в судьбах как средневековой Европы, так и Европы периода, начавшегося Возрождением греко-римской классической древности. Новая встреча Фауста на небе с Гретхен, а не с Еленой в эпилоге, использование в нем католической символики и спасение Фауста благодаря заступничеству за него, по молитве Гретхен, Святой Девы Марии — постулирование уже у Гете нового средневековья, по которому позднее воздыхали романтики, в котором должен быть обретен синтез средних веков и нового времени в третьем диалектическом моменте — отрицании отрицания первого момента и новом утверждении как первого момента, так и второго.

По ряду причин частная тема «немецкий (только) романтизм» представляет не меньший интерес для нас русских, чем для немцев.

Во-первых, немецкий романтизм, явившийся в Германии основным литературным течением, повлиял на основное русское литературное течение — славянофильство в широком смысле.

Во-вторых, это немецкое течение, предназначенное Лейбницем, выработало теорию великого назначения и активной роли в мировой истории и будущем России и православия.

Наконец, в-третьих, оно породило немецкий мессианиззм Шел-

лингa и Гегеля, вулгаризацией которых были ницшеанство и две затеянные немцами мировые войны, коснувшиеся в первую очередь и в максимальной мере, после самих немцев, России; и правильно понимать оба общенемецких агрессивных мировых национальных движения — прусский гогенцоллерновской империализм и гитлеризм — можно только при условии правильного понимания немецкого романтического национализма и ницшеанства.

В своих работах, посвященных Байрону и Пушкину, В. М. Жирмунский показал, что байронизм, существо которого сводится к ощущению себя титаном, или великаном, для которого мир мал, которому в мире тесно, был только одной из форм романтизма и не основной формой его, а отклонением от основной формы — поисков утраченной неполной правды католического средневековья, жажды ее нового обретения в восполненном виде, — и что Пушкин, испытавший на себе в ранней молодости влияние байронизма, «преодолеl байронизм» («Байрон и Пушкин», с. 175) и стал для русских тем, чем для немцев был Гете, — выразителем предварительного синтеза основных противоположных направлений, тезы и антитезы, принявших у нас формы славянофильства и западничества.

В. М. Жирмунский солидаризировался со славянофильством в широком смысле — традицией, к которой, помимо собственно славянофилов, или старших славянофилов — А. С. Хомякова, братьев И. В. и П. В. Киреевских, братьев К. С. и И. С. Аксаковых, А. И. Кошелева и Ю. Ф. Самарина, — он правильно относил Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева и А. А. Блока. Эту традицию он называл «своеобразным мистическим преданием, получившим выражение в сочинениях славянофилов, Достоевского и Вл. Соловьева» (I. С. 197), течением, хотя и испытывавшим на себе влияние немецких романтиков, но идущим у нас «чисто национальным путем», питающимся у нас «верой, унаследованной от отцов» (там же); в другом месте «религиозным течением русской общественной мысли, представленным Хомяковым, Тютчевым, Достоевским, Вл. Соловьевым, Блоком» («Поэзия Александра Блока», с. 32). Тютчева он называл «нашим романтиком Тютчевым» (I. С. 33) и «величайшим лириком той поры» (I. С. 197), т. е. не только в России; Достоевского — «величайшим писателем XIX века» (там же), не только в России, и «признанным истолкователем мистической жизни современного человека» («Поэзия Александра Блока», с. 28). Славянофильскую в широком смысле традицию он воспринимал как развивающуюся и обогащающуюся, но остающуюся единой. В частности, он писал: «Достоевский как бы предсказал в своем творчестве появление Блока» (там же, с. 31).

Славянофильство в расширенном понимании было для В. М. Жирмунского, — что было терминологически небезупречно — нашим русским романтизмом; Александра Блока он не во всех отношениях удачно называл «последним поэтом-романтиком» («Поэзия Александра Блока», с. 5).

Без сомнения, В. М. Жирмунский, вместе с интересовавшим его как литературоведа Александром Блоком и с Максимилианом Волошиным, не отказываясь от религии, понимал неизбежность и необходимость Октября и обреченность всякого сопротивления ему.

Он чуть ли не один в России и во всем мире безоговорочно приветствовал поэму Блока «Двенадцать», отказался видеть в ней измену Христу, понял и объяснил ее как продолжение линии, которая шла от Достоевского, как признание того, что Октябрь был нужен и необходим и был попушен Христом Богом, попушен как полное отрицание истин, признававшихся до тех пор только наполовину и только на словах, а не на деле, — каковое признание не могло быть дольше терпимо; что Октябрь был попушен Христом как полное и последовательное отрицание названных истин, по сравнению с отрицанием половинчатым и непоследовательным, при всей парадоксальности такого утверждения, — менее пагубное, создававшее предпосылки для будущих возвращений к ним и всецелого признания их.

Под «максимализмом Блока» В. М. Жирмунский понимал у него «искание безусловного» и «бесконечные требования к жизни» («Поэзия Александра Блока», с. 102).

Он писал: «Поэма “Двенадцать” посвящена Октябрьской революции <...> Но ее проблема не политическая, а религиозно-нравственная <...> Только с религиозной точки зрения можно произнести суд над творческим замыслом поэта. И здесь, как это ни покажется странным на первый взгляд, речь идет прежде всего не о политической системе, а о спасении души, — во-первых, красногвардейца Петрухи, <...> затем — одиннадцати товарищей его, наконец, — многих тысяч им подобных, всей бунтарской России» («Поэзия Александра Блока», с. 34—35).

«Трудно при чтении поэмы “Двенадцать” не вспомнить Достоевского <...> Достоевский первый усмотрел в народной стихии черты религиозного бунта, “с Богом или против Бога”. В известном рассказе “Влас”, почти пятьдесят лет тому назад (“Дневник писателя”, за 1873 г.) он отметил в своем герое эту потребность (цитирует Жирмунский Достоевского) хватить через край, потребность в замирающем ощущении дойти до самой пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее <...> Это потребность отрицания в чело-

веке, иногда самом неотрицающем и благоговееющем, — отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем...»

«Достоевский рассказывает следующий случай. Молодой крестьянин в порыве религиозного иступления, богоборчества, индивидуалистического дерзания (“кто кого дерзостнее сделает?”) направляет ружье на причастье (ср. в “Двенадцати” “пальнем-ка пулей в Святую Русь!”); и в минуту свершения святотатственного деяния, “дерзости небывалой и немыслимой”, ему является “крест, а на нем Распятый”. “Неимоверное видение предстало ему; ...все кончилось <...> Влас пошел по миру и потребовал страдания”. Не такое ли значение имеет образ Христа в религиозной поэме Александра Блока?» («Поэзия Александра Блока», с. 39—40).

«Поэма “Двенадцать”, — писал тогда же Жирмунский, — является лишь наиболее последовательным выражением той романтической стихии в творчестве Блока и его современников, которая сделала из символизма критическую, революционную эпоху в развитии русской поэзии. Романтизм ищет безусловного в жизни; сознавая бесконечность души человеческой, он обращается к жизни с бесконечными требованиями и отрицает ее конечные, ограниченные, несовершенные формы, не удовлетворяющие его “духовного максимализма” <...> какова бы ни была наша личная оценка романтического максимализма, как жизненно-религиозного и как художественного фактора, мы не можем забыть исключительного значения поэзии Блока и его явления среди нас» (там же, с. 102—103).

Сорок лет спустя В. М. Жирмунский в новой книге о Блоке «Драма Александра Блока “Роза и Крест”» по-прежнему употреблял термины «романтики» и «романтизм» в расширенном значении — снова называл Блока «крупнейшим поэтом своего времени» (с. 4) и «поэтом-романтиком» (там же), говорил о «его симпатии к романтическому средневековью» и «его отвращении к безобразию современной буржуазной цивилизации» (с. 12), приводил его слова о романтизме: «...мечта о запредельном, искание невозможного... весь романтизм в этом». Искони на Западе искали Елену — недостижимую, совершенную красоту (с. 14); наконец, он говорил о Блоке — авторе драмы «Роза и Крест» как о будущем авторе поэмы «Двенадцать», в которой поэт в определенном смысле признал и принял Октябрь, «приветствовал Октябрьскую революцию» (с. 10, 86).

В. М. Жирмунский полагал, что можно вместе с Блоком, оставаясь христианином, принимать Октябрь, понимать обреченность

борьбы с Октябрем, быть максималистом, в определенном смысле большевиком.

Тема «немецкий романтизм» имеет обманчивый вид реакционности, и В. М. Жирмунский, продолжавший до конца жизни интересоваться и заниматься как ею, так и своими связанными с нею русскими литературоведческими темами, не сумел и по условиям времени не мог убедительно показать ошибочность ее трактовки как темы просто или по существу реакционной и с достаточной полнотой и убедительностью охватить в диалектическом подходе к своим темам противоположности романтизма и реализма в их единстве, что вынудило его видимым образом отказаться от своих ранних тем и искать себе другого открытого применения.

В первые годы Советской власти он думал найти пристанище в литературоведческом формализме. Такая ориентация определила характер его работ:

- 1) Композиция лирических стихотворений. Пб., 1921. 112 с.
- 2) Задачи поэтики//Начала. 1921. № 1. С. 51-81.
- 3) К вопросу о формальном методе <предисловие к книге>//*Вальс-цель* Оскар. Проблема формы в поэзии/Пер. с нем. Пб., 1923. С. 5—23.
- 4) Рифма, ее история и теория. Пб., 1923. 337 с.
- 5) Введение в метрику. Теория стиха. Л., 1925. 286 с.

Но В. М. Жирмунский очень скоро разочаровался в «формальном методе» и попытался переключиться на лингвистику.

Он не только признал «новое учение о языке Н. Я. Марра», но и стал активным марристом. Марристы приняли и поддержали его.

Главная лингвистическая работа его — «Учебник истории немецкого языка» (М., 1948) — страдает очень существенными недостатками. Лжелингвист И. И. Мещанинов написал на нее положительную рецензию. Другая лингвистическая работа, точнее, серия работ его, посвященная описанию имевших распространение на территории Советского Союза диалектов немецкого языка, по отзывам компетентных специалистов, составлена небрежно, неоригинальна и не является надежным источником по немецкой диалектологии. Хотя В. М. Жирмунскому и удалось видимым образом достигнуть поставленных им перед собой в этих работах непосредственных целей, он в лингвистике не только не сумел послужить науке и принести общественную пользу, но невольно принес прямой и большой вред, впад в дурной историзм («Только историческая лингвистика научна». «Описательная лингвистика может интересоваться только среднюю, но не высшую школу») и способствовал насаждению у нас пассивного и неэффективного грамматико-переводного метода преподавания иностранных языков.

В союзе с марристами и с В. В. Виноградовым он активно выступал против «идиоматики», объявив, что она его не интересует, и отказавшись включить ее в план работ руководимого им германороманского сектора Института языкознания АН СССР.

В 1951 г. преемником И. И. Мещанинова на постах директора Института языка и мышления им. Н. Я. Марра, переименованного в Институт языкознания, и академика-секретаря Отделения литературы и языка АН СССР стал Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969). На первом из этих постов он оставался до 1957 г., на втором — до 1963 г.

Виктор Владимирович ВИНОГРАДОВ был русистом, историком русского литературного языка. Его работы в этой области — из них основная «Очерки по истории русского литературного языка XVI—XIX вв.» (1934), — получили положительную с оговорками оценку компетентных специалистов.

Но он выступил неудачно в ролях открывателя новых частей (и, по его терминологии, «частиц») речи русского языка — «категории состояния», «модальных слов», «частиц в узком смысле» и «связок» — и основателя «русской фразеологии».

В. В. Виноградов был деятелем науки трудоспособным, одаренным воображением и умом восприимчивым, но не по-настоящему пронизательным, творческой, или подлинно научной, инициативной он обладал не в большей мере, чем Н. Я. Марр.

До выступления Сталина против Н. Я. Марра он, хотя и не выдавал себя за марриста, объявлял Марра замечательным лингвистом (Виноградов В. В. Русский язык. М.; Л., 1947. С. 11) и обильно ссылаясь не только на Н. Я. Марра (там же, с. 6, 11, 15, 45, 60, 68, 177, 291, 414, 745) и на И. И. Мещанинова (там же, с. 4, 5, 38, 39, 45, 245, 252, 284, 286, 289, 398, 418, 652, 661, 662, 663, 666, 676, 730, 734, 746, 760), но также на С. Д. Кацнельсона (там же, с. 5, 45, 288, 335, 337, 653, 661, 662) и на Р. А. Будагова (там же, с. 763).

После 1950 г. он очень быстро нашел общий язык с «покаявшимися» бывшими крайними марристами и выступал в печати в соавторстве с Р. А. Будаговым и с В. Н. Ярцевой. Его сближала с бывшими марристами, в частности, общая вражда к идиоматике.

Идиоматика была несовместима с предложенной им «фразеологией», представлявшей вариант раздела науки о языке, условно намеченного под этим названием швейцарским лингвистом Шарлем Балли.

Черты сходства и различия теорий Ш. Балли и В. В. Виноградова такие. Ш. Балли предложил различать «свободные и связанные словосочетания», далее, признавая «свободные словосочетания» не требующие специального рассмотрения, он выдвинул для обозначения

области рассмотрения «несвободных словосочетаний» термин «фразеология» и в качестве метода работы в этой области наметил распределение сочетаний соответственно степени прочности сцепления компонентов фактически по трем разрядам — двум крайним и промежуточному, названным им: первый — «единствами», «неразложимыми единствами», второй, представляющий противоположную крайность, — «обычными словорядами», «обычными словосочетаниями», и третий, промежуточный, — «сочетаниями, переходными между единствами и словорядами».

Но сам Ш. Балли, если и не перечеркнул намеченную им «классификацию», по меньшей мере взял ее под сомнение, заметив, в частности, что «неопределенное множество явлений промежуточных между обоими крайними разрядами не поддается ни описанию, ни классификации».

В. В. Виноградов сохранил различие между словосочетаниями свободными и связанными (названными им «несвободными») и термин «фразеология». Те же три разряда несвободных словосочетаний он назвал в порядке убывающей прочности сцепления компонентов «фразеологическими сращениями», «фразеологическими единствами» и «фразеологическими сочетаниями».

Он почти дословно повторил Ш. Балли, не ссылаясь на него, маскируя заимствование частичным различием в терминологии. Существенное отличие его предложения от сформулированного Ш. Балли составляет только отсутствие у него самой по себе правильной и корректирующей ошибочную общую концепцию оговорки о невозможности классифицировать «неопределенное множество промежуточных явлений».

В. В. Виноградов повторил Ш. Балли в существенном и частично в деталях; он частично воспроизвел у себя дословно терминологию Ш. Балли.

Напрашиваются сопоставления.

У В. В. Виноградова: «сочетания абсолютно неделимые, неразложимые» («Русский язык», с. 22); у Ш. Балли: «единства, в которых прочность сцепления компонентов абсолютная», «неделимые, неразложимые единства».

У В. В. Виноградова: «Фразеологическое сращение <...> не есть ни произведение, ни сумма семантических элементов. Оно — химическое соединение каких-то растворившихся частей» (там же, с. 23). У Ш. Балли: «Значение сочетания является новым и не сводится просто к сумме значений составных частей, что было бы, впрочем, абсурдным. Можно сравнить это изменение с происходящим в результате химического соединения».

У В. В. Виноградова: «Иногда части фразеологического единства отделяются друг от друга вставкой иных слов» (там же, с. 24). У Ш. Балли: «Фразеологическое выражение прекрасно может быть перерезано надвое не относящимися к нему словами того же предложения без какого-либо ущерба для его единства».

У В. В. Виноградова: «Фразеологические единства по внешней звуковой форме могут совпадать с свободными сочетаниями слов. Сравните устно-фамильярные выражения: “вымыть голову” — “намылить голову (кому-нибудь)” и омонимические словосочетания в их прямом значении» (с. 25). У Ш. Балли: «Некоторые словосочетания должны, смотря по контекстам, рассматриваться либо как свободные сочетания, либо как неразложимые единства. Сравните: “принятое (букв. [пред]взятое) решение еще не есть выполненное решение” и “надо судить о людях без предвзятых решений (мнений)”. Мы имеем здесь подлинные омонимические выражения».

У В. В. Виноградова: «Фразеологические сочетания <...> аналитичны. В них слова <...> допускают синонимическую подстановку и замену, идентификацию» (с. 27). У Ш. Балли: «Некоторые выражения могут быть заменены единым словом, которое мы назовем “термином идентификации” <...> Речь идет об операции, которую мы называли “идентификацией языковых явлений”».

У В. В. Виноградова: «Кажется само собой понятным, почему неделимы те фразеологические сращения, в состав которых входят лексические компоненты, не совпадающие с живыми словами русского языка <...> Точно так же грамматический архаизм может быть легко осмыслен <...> Грамматические архаизмы чаще всего лишь поддерживают идиоматичность выражения, но не создают его» (с. 23). У Ш. Балли: «Архаизм не является непременно отдельным словом <...> Имеются также синтаксические архаизмы».

У В. В. Виноградова: «В живом употреблении фразеологические сочетания используются как готовые единицы, воспроизводимые, а не вновь организуемые в процессе речи. Грамматическое расчленение их ведет к познанию лишь этимологической природы их, а не форм и функций в современном языке» (с. 28). У Ш. Балли: «Нужно бороться с этимологическим инстинктом <...> Этимологический инстинкт склонен придавать смысл составным элементам, тогда как они образуют целое, которое одно лишь обладает смыслом».

В одном случае В. В. Виноградов, употребив в смысле «фразеологические ряды слов» как бы от себя заимствованное им у Ш. Балли сочетание «фразеологические серии» (с. 29, — у Ш. Балли «series phraseologiques», р. 66, 68, 71, 73), — допустил чуждый русскому языку галлицизм. <...>

Действительной научной классификации словосочетаний ни Ш. Балли, ни В. В. Виноградов не наметили. Никаких указаний на какую-нибудь классификацию материала в пределах якобы устанавливаемых разрядов — двух крайних («единств» и «словорядов») и промежуточного у Ш. Балли и трех («сращений», «единств» и «сочетаний») у В. В. Виноградова — ни тот ни другой автор не дал. По мнению обоих, вся работа в области «фразеологии» должна выражаться в выявлении и собирании «несвободных словосочетаний» и в распределении их по двум — или трем — разрядам, в соответствии с неуловимыми двумя — или тремя — степенями прочности сцепления в них компонентов.

У нас со времени появления статей В. В. Виноградова 1946 и 1947 гг., претендовавших на обоснование «русской фразеологии», в течение ряда лет говорили с глубоким пиететом о «фразеологии» В. В. Виноградова, и на филологических факультетах университетов и педагогических институтов сотнями задавались и утверждались работы курсовые, дипломные и даже кандидатские на темы о «сращениях, единствах и сочетаниях» в таком-то языке, — не только русском, — в таком-то произведении или произведениях такого-то автора или авторов или периода.

В настоящее время (1973 г.) за отсутствием (или неизвестностью) других предложений продолжают, хотя менее широко и менее уверенно, сопровождая следование тем же установкам оговорками или критическими замечаниями, «разрабатывать» ту же «фразеологию». Но научная несостоятельность и бесперспективность такого рода «работы» с течением времени все больше выясняется.

В отличие от «фразеологии» Балли—Виноградова идиоматика, предложенная автором этих строк, представляет рекомендацию в изучении каждого языка выделять и собирать повторяющиеся и обращающиеся в нем конкретные сочетания слов, как «связанные», так и якобы «не связанные» или «свободные», с распределением их по типам синтаксического строения, в порядке от более простых типов к более сложным, с исчерпанием всех наличных в языке типов и с расположением материала в пределах типов по смысловым группам.

Сам В. В. Виноградов в 50-х годах, по-видимому, усомнился в пригодности заимствованной им у Ш. Балли «фразеологии», про себя понял ее несостоятельность. По трем основным вопросам он согласился с мнениями инициатора идиоматики. Но он поступил по отношению к этому автору как в свое время по отношению к Ш. Балли, повторил его мысли без ссылок на него, как бы излагая собственные взгляды.

Эти три пункта — следующие: 1) использование термина «синтаг-

ма» в значении простейшей единицы — предмета рассмотрения синтаксиса; 2) различение словосочетаний, исполняющих функции частей речи, — глагольных, субстантивных, адъективных и адverbиальных, и 3) классификация конкретных словосочетаний каждого языка по типам их синтаксического строения.

Термин «синтагма» был впервые введен в языкознание Ф. де Соссюром, который предложил обозначать им не составляющие предложения сложные языковые явления, между прочим, конкретные повторяющиеся и обращающиеся в каждом языке сочетания слов, допускаемые этим языком, не противоречащие духу его и в этом смысле наличные в нем, такие, как, например, — если взять иллюстрации из русского языка, — «прочитать лекцию» или «большая ошибка». Эти сочетания слов хотя большей частью и не воспринимаются как своеобразные, или как идиомы, но далеко не всегда совпадают дословно в разных языках: ср. франц. *faire une conference* досл. 'сделать лекцию', англ. *to give, or deliver, a lecture* досл. 'дать, или выдать лекцию', нем. *eine Vorlesung halten* досл. 'держат лекцию', рус. «большая ошибка» и нем. *ein grosser Fehler* 'большая ошибка', франц. *une grosse faute* досл. 'толстая ошибка', англ. *a bad mistake* досл. 'плохая ошибка', наряду с менее употребительным *a big mistake* досл. и по смыслу 'большая ошибка', и т. п.

Ф. де Соссюр высказал мнение, что «синтагмы» должны рассматриваться в особом разделе языкознания, отличном от синтаксиса (с точки зрения которого сочетания «прочитать лекцию» и «выдать лекцию», «большая ошибка» и «толстая ошибка» одинаково правильны, так как во всех них слова правильно согласованы по формам, — здесь по падежу, роду и числу, — и нарушения правил синтаксиса представляли бы, например, сочетания «прочитать лекция» или «толстый ошибка»), и эту новую, отличную от синтаксиса науку очень непоследовательно предложил назвать «синтагматикой».

Хотя мысли Ф. де Соссюра и были прогрессивными, поставленный им большой и трудный вопрос не был им самим исчерпывающим образом и окончательно решен. В частности, ощущалась непригодность терминов Ф. де Соссюра «синтагма» и «синтагматика» в его понимании их. Уже ученик его Ш. Балли предложил вместо этих терминов обозначения «фразеологические выражения» (*locution phraseologiques*) и «фразеология». <...>

В. В. Виноградов в своей теоретической статье «Вопросы изучения словосочетаний» и во Вступлении к «Синтаксису русского языка» уже также рекомендовал структурно-функциональную классификацию словосочетаний, делил типы словосочетаний на «двусловные» без предлогов и на заключающие в себе предлог и под-

разделял типы словосочетаний с предлогом на подтипы по предлогам.

Он писал: «На основе сочетания слов, принадлежащих к разным частям речи, с зависимыми от них словами и на основе семантического обобщения этих связей у однородных смысловых групп слов формируются разнообразие типы словосочетаний» (Грамматика русского языка. Т. II. Ч. I; Синтаксис. М., 1954. С. 17). «Следует различать словосочетания *простые* и *сложные*. Подавляющее большинство простых словосочетаний состоит из двух знаменательных слов, напр.: *простые люди, знаменосец мира, решить задачу, усердно заниматься, движение вперед...*» (там же, с. 19). «Правила образования простых словосочетаний, изучение типов простых словосочетаний в живом историческом развитии, правила образования сложных словосочетаний, изучение развития их основных типов — вот главный предмет теории словосочетания» (там же, с. 21).

Выполненная под руководством В. В. Виноградова бригадой работников первая часть «Синтаксиса русского языка», озаглавленная «Словосочетание» (с. 115—355), построена по плану, очень сходному с обобщенным описанием внутреннего строя идиоматики в цитировавшейся работе «Идиоматика в ряду лингвистических наук». Оглавление этой части «Синтаксиса» почти полностью совпадает по значению основных разделов его с содержанием озаглавленной «Внутренний строй идиоматики» второй главы названной более ранней работы.

В оглавлении «Синтаксиса» фигурируют основные разделы: «Словосочетания с глаголом в роли главного слова», или «Глагольные словосочетания», «беспредложные», «предложные», — по предлогам... «Словосочетания с наречием в роли главного слова» (с. 694—699).

Все эти разделы значились, — как и у В. В. Виноградова, некоторые из них в сопровождении формулы «по предлогам», — в более ранней работе. Перечисленные названия разделов у В. В. Виноградова совпадают по значению с типами сочетаний в более ранней работе: «глагол с существительным — прямым дополнением», «глагол с существительным—дополнением, опосредствованным предлогом, — по предлогам», «глагол с наречием обстоятельством»; «прилагательное—определение с существительным»; «существительное, связанное предлогом с существительным—определением», — по предлогам; «прилагательное с существительным—обстоятельством, связанным с ним предлогом, — по предлогам»; «наречие—обстоятельство с прилагательным». <...>

Статьи В. В. Виноградова 50-х годов о словосочетаниях представляют в научном отношении большой прогресс по сравнению с его статьями 40-х годов о «фразеологии». Если последние не выдержали испытания практикой, то выполненный под руководством В. В. Виноградова бригадой раздел «Синтаксиса русского языка», озаглавленный «Словосочетание» (с. 115—352), является одновременно новым, интересным и в определенной мере практически полезным.

Но структурно-функциональная классификация словосочетаний признана и рекомендована В. В. Виноградовым в нарочито туманных, неудобовразумительных выражениях. Остается неизвестным, как относится эта новая классификация, которая необоснованно дается в пределах синтаксиса, к предложенной тем же автором ранее классификации «фразеологизмов» по степени прочности сцепления компонентов. Читатель наводится на вывод, что новая классификация не должна заменить старую. В. В. Виноградов не хотел открыто отказаться от старой, невыполнимой классификации и от рекомендованной им «фразеологии». Его статья о словосочетаниях и Вступление к «Синтаксису» содержали многочисленные глухие ссылки на нее. Напрашивается вывод, что новой классификации подлежат якобы «свободные» словосочетания в синтаксисе, а старой — «несвободные», или «фразеологизмы», в фразеологии. Если так, то «фразеология» и старая классификация остаются. Этот вывод сулит дальнейшую непроизводительную трату времени и сил.

Принцип, положенный в основу нового «учения о словосочетаниях», — распределение словосочетаний по структурно однородным типам и по смысловым группам в пределах типов, — проведен в первой части «Синтаксиса» не вполне последовательно. «Свободные и несвободные словосочетания», хотя и не упоминаются, но предполагаются, и допущение их принципиального различия затрудняет исследование. Конкретные словосочетания в типах рассматриваются выборочно. Задача охватить наличный в языке материал предполагается невыполнимой и не ставится.

Будучи с 1951 г. до своей смерти (в 1969 г.) главным редактором журнала «Вопросы языкознания», В. В. Виноградов позаботился о том, чтобы из ряда статей, предложенных в журнал автором этих строк, ни одна не была в нем напечатана. В частности, вопреки названию журнала, в нем не была напечатана статья этого автора «О классификации, определения и названия частных языковедческих наук».

Тому же автору, который в 1949 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Английские адвербиальные послелогои» и работал профессором кафедры английского языка в педвузе, был в 1950 г.

Министерством высшего образования предоставлен полуторагодичный творческий отпуск для подготовки его докторской диссертации к печати. Когда уже издан был приказ министра, В. В. Виноградов, по своей инициативе, вмешался в это дело и направил в Методическое управление Министерства высшего образования подробное письмо за своею подписью, в котором он не от своего лица, а излагая якобы мнение Института языкознания, обуславливал напечатание труда Аничкова шестью пунктами: 1) принять языком изложения работы (о разделе английской идиоматики) не английский язык, а русский; 2) заменить в работе и ее заглавии термин «адвербиальные послелогии» термином «приглагольные определители» (в работе рассматриваются определители как прилагательные, так и приименные, последние — примыкающие как к существительным — *a set back, the way out, a day off*, так и к прилагательным — *wet-through, far-off, close-by*), 3) напечатать только вторую часть работы и т. д. Любого из этих пунктов было достаточно, чтобы сделать опубликование этого труда невозможным, так как было очевидно, что ни с одним из них автор не согласится. Автор прекратил подготовку к печати своего труда и использовал предоставленный ему творческий отпуск для оформления практически полезных, как ему представлялось и как это было позднее признано комиссией, материалов по методике преподавания английского языка на филологических факультетах высших учебных заведений.

Единственным принципиально важным, хотя и не отрадным событием, происшедшим в последнее десятилетие в жизни В. В. Виноградова, затронувшим советское языкознание в целом, была состоявшаяся в 1960 г. всецело ошибочная полная реабилитация как ученого-лингвиста И. И. Мещанинова. Вспоминая об этом событии, надо заметить, что активную роль сыграли не В. В. Виноградов, а В. М. Жирмунский и В. А. Аврорин, совместно выступившие как редакторы напечатанного к 75-летию И. И. Мещанинова под заглавием «Вопросы грамматики» сборника статей и как авторы вступительной статьи к этому сборнику.

(1973)

В. А. Звегинцев

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ О ЯЗЫКЕ

У советского языкознания трудная судьба. И если бы была написана его история, это помогло бы извлечь уроки, которые способствовали бы его более целенаправленному развитию. Но история советского языкознания не написана, хотя можно с легкостью подобрать значительное количество публикаций, относящихся к разным этапам развития советского языкознания и далеко не однозначно излагающих его «актуальные задачи». Опыты изложения истории советского языкознания в его основных тенденциях или в различных его разветвлениях принадлежали зарубежным исследователям, которые нередко руководствовались мало приемлемыми для советской науки целями.

В истории советского языкознания много общего с историями других наук, путь которых изобиловал горькими событиями, отвлекавшими их от выполнения своих прямых обязанностей. В этой связи уместно вспомнить о генетике, печальной участи которой в последнее время уделяется много внимания и в публицистических выступлениях и в художественной литературе. В какой мере оправдано это обращение к уже преодоленному прошлому? Нужно ли оно? Отвечая на этот вопрос, директор Института общей генетики АН СССР академик А. А. Созинов сказал: «Наверное, историк более грамотно сформулировал бы мысль о неразрывной связи настоящего с прошлым. Я же как биолог прибегну к такому сравнению: сорняк нельзя удалить с поля, лишь просто его сорвав, необходимо выкорчевать корни, иначе он вновь прорастет. То же, на мой взгляд, и в общественной жизни — степень «прорастания» негативных явлений в будущее прямо зависит от того, насколько полно мы обнажили и как решительно выдернули их корни». Эти слова А. А. Созинова, так же как и его утверждение о том, что «корни остались и они продолжают давать побеги» и что явление, подобное лысенковщине, есть в своей основе не только научное, но и значительно более широкое явление, в полной мере можно приложить и к советскому языкознанию.

Последующее изложение не ставит своей целью воспроизвести историю советского языкознания хотя бы даже в самых общих чертах. Обращение к отдельным этапам прошлого диктуется лишь стремлением понять современное его состояние.

Наука о языке в России всегда была тесно связана с университетским образованием, в рамках которого осуществлялось ее развитие и были достигнуты наиболее впечатляющие ее успехи. В послереволюционные годы гуманитарные факультеты подверглись значительному преобразованию и, в частности, филологические факультеты перестали существовать в качестве самостоятельных учебных единиц. В Московском университете, например, после Октябрьской революции был организован ФОН — факультет общественных наук, который в 1925 году вновь разделился на несколько факультетов, часть которых начала самостоятельное существование. При университете остался историко-этнологический факультет, включающий отделения: 1) истории, 2) литературы, 3) этнографии и 4) искусствоведения. Преподавание языкознания было сосредоточено на этнографическом отделении (и в очень небольшом объеме — на отделении литературы).

В 1931 году все гуманитарные дисциплины были выделены из системы университетов. На их базе в Москве было образовано два института: Историко-философский институт и Литературно-издательский институт (РИИН). В 1934 году в Историко-философском институте открылся литературный факультет, в связи с чем изменилось и его наименование. Он стал именоваться Московским институтом философии, литературы и истории (МИФЛИ). Аналогичный процесс произошел и в Ленинграде, где возникло ЛИФЛИ. В 1941 году оба эти института вливаются в университеты, где на базе литературных факультетов образуются филологические факультеты. Говоря о филологической учебной подготовке, нельзя не упомянуть сравнительно недолго просуществовавший Институт народов Востока и Московский городской педагогический институт, собравший блестящую плеяду выдающихся лингвистов (преимущественно славистов), сыгравших в дальнейшем существенную роль в становлении советского языкознания.

Надо сказать, что бесприютная наука о языке находила себе прибежище в те годы в самых неожиданных организациях. Весьма наглядным в этом отношении является рассказ известного советского лингвиста А. А. Реформатского о годах своего обучения: «Я был членом Московского кружка ОПОЯЗ и членом Московского лингвистического кружка, который возник по инициативе Р. О. Якобсона и считался ведущим лингвистическим центром тех годов. Кстати сказать, я в 1920 году был учеником Р. О. Якобсона, который читал курс «Русский язык» в театральной школе при 1-м Государственном театре РСФСР, где я тогда обучался. Идеи, воспринятые на заседаниях Московского лингвистического кружка и в личном общении с

О. М. Бриком и В. В. Шкловским, толкнули меня к формальному методу в поэтике и к внедрению этого метода в лингвистику (1922).

Большую роль сыграл здесь Г. Г. Шпет, два семинара которого я проработал в 1923—1924 годах (в Институте слова)».

Однако, не следует думать, что в 20-е и в 30-е годы наука о языке находилась в упадке. Совершенно наоборот, пожалуй, никогда в истории советского языкознания не наблюдалось такого оживления и такого разнообразия в теоретических позициях, в формулировании задач и целей науки о языке, в ее проблематике. Густав Шпет, за которым утвердился репутация убежденного гуссерлианца, опубликовал в 1922—1923 годы три выпуска «Эстетических фрагментов», в которых последовательно (и совершенно независимо от зарубежных работ) излагалась теория знаковой природы языка. Позднее в 1927 году он издал книгу «Внутренняя форма слова» (под маркой Государственной Академии художественных наук), в которой рассматривались основные положения учения В. Гумбольта и которая не потеряла интереса и для современного читателя. С. Карцевский, ставший позднее одним из основателей Женевской школы лингвистики, опубликовал в 1928 году «Повторительный курс русского языка». Социологическое направление было представлено книгой Р. Шор «Язык и общество» (1926 г.). А. М. Пешковский, синтезировавший в своем научном творчестве традиции, восходящие к Ф. Фортунатову и А. Потембне, выпустил в свет в 1928 году третье, и значительно переработанное, издание своего «Русского синтаксиса в научном освещении» — одного из самых замечательных трудов русской науки о языке. В 1929 году вышла из печати книга «Марксизм и философия языка» В. Н. Володинова (за фамилией своего ученика скрывался ее действительный автор — М. Бахтин), которая позднее, в 60-х и 70-х годах была переведена на многие иностранные языки. Государственный институт истории искусств издавал сборники «Русская речь», в которых печатались Л. В. Щерба, В. И. Чернышев, тот же А. М. Пешковский и др. Продолжали свою деятельность и такие заслуженные ученые, как В. Богородицкий, А. Соболевский, М. Покровский, Д. Ушаков, И. Толстой и др., печатавшиеся в «Известиях Академии наук СССР». В расцвете творческих сил находилась блестящая плеяда советских востоковедов. Но все, что опиралось на дореволюционную научную традицию, что продолжало и развивало эту традицию (или традиции), объявлялось «буржуазным», неприемлемым для социалистического общества и требующим замены новым, воплощающим в себе положения марксистского учения и философии диалектического материализма. И борьба шла не со всякого рода разновидностями «буржуазных» лингвистических уче-

ний и школ, к которым относились более или менее терпимо, как к пережиткам прошлого, обреченным на неизбежное умирание. Борьба — и при том жестокая и бескомпромиссная борьба — проходила на другом — главном — фронте.

Здесь мы сталкиваемся с явлением, общим для многих общественных наук, поспешивших откликнуться на потребности становления нового общества. Для примера можно привести школу М. Н. Покровского в исторической науке или «платформу» РАПП (позднее с 1925 года ВАПП) — Российской ассоциации пролетарских писателей, возникновение которой, как объясняет «Литературная энциклопедия», «было исторически обусловлено необходимостью для пролетариата завоевать руководящую роль на фронте культурного и литературного строительства».

Эта установка, при которой в расчет принималась главным образом «правильность» взглядов или даже просто анкетные данные, способствовала не объединению культурных сил страны, а их разъединению, расчленению, которое в разных культурных областях принимало различные формы, но при котором неизменно в качестве орудия борьбы не столько с неприемлемыми мировоззренческими категориями, сколько с неугодными личностями использовалось апеллирование к марксистским положениям. Эксплуатация и в своей сущности профанация положений диалектического материализма и марксистского учения послужили основой и для возникновения таких феноменов, как марризм или лысенковщина, в которых наука и идеология выступали как единое целое.

Что касается завоевания руководящего положения в науке о языке, то здесь борьба, как уже было сказано, шла не столько против собственно «буржуазного» языкознания, сколько против потенциальных конкурентов на это положение, которым, собственно, не по существу, а по простой неграмотности присваивалось обобщающее имя индоевропейцев. Вот в каких красочных выражениях изображал эту борьбу один из самых ярких последователей яфетической теории Н. Марра (так первоначально называлась теория Н. Марра, получившая впоследствии официальное наименование «нового учения» о языке) Ф. П. Филин, который после крушения этой теории, раскаявшись на скорую руку в своих марристских грехах, с таким же темпераментом и почти в тех же выражениях стал громить противников (по его словам) «грандиозного здания индоевропейского языкознания»: «Классовая борьба в языкознании в годы после Октябрьской революции главным образом шла именно по линии борьбы двух классово-противоположных направлений: яфетидологии и индоевропейистики. Яфетическая теория представила собой новый этап

в развитии языкознания». Можно подумать, что эта реплика направлена в адрес тех языковедов, которые действительно следовали принципам индоевропейского языкознания. Ничуть не бывало. Она адресовалась группе «Языкофронта», которая в те годы представлялась главным противником в борьбе за руководящее положение и которая в сентябре—октябре 1930 года организовала вызвавшую много шума дискуссию в Коммунистической академии. Оставив поле боя за представителями «нового учения» о языке, эта группа самораспустилась в 1933 году. Но ее представители были награждены соответствующими характеристиками. Так, доклад Т. Ломтева (тогда входившего в группу «Языкофронта») получает следующую оценку: «Через Гумбольдта Ломтев протаскивает кантианство в его самой реакционной части. Лозунг: “Назад, к Гумбольдту!”, которого придерживается Ломтев, равнозначен социал-фашистскому лозунгу: “Назад, к Канту!”. Под флагом марксистской фразеологии Ломтев протаскивает социал-фашистскую контрабанду, совершенно не считаясь с тем, что доклад он делает в стенах Коммунистической академии». Чем грозило тогда несогласие с доктринами «нового учения» о языке, показывает участь замечательного советского лингвиста с международной репутацией — Е. Д. Поливанова, репрессированного и трагически погибшего в 1938 г., или биография «самого образованного советского лингвиста», заложившего основы исторического словаря русского языка, — Б. А. Ларина, вынужденного многие годы преподавать в средних школах провинциальных городов.

В чем же конкретно заключался феномен марризма, порожденный, как это свидетельствуется самим этим термином, Н. Я. Марром? Следует отметить, что Октябрьскую революцию Н. Я. Марр встретил как сложившийся ученый широких научных интересов, признанный и авторитетный специалист по языкам Кавказа, избранный в Академию наук уже в 1909 году. Исследователь такого масштаба не станет бросаться словами впустую и высказывать нелепые суждения. И поэтому, когда после Октябрьской революции все свои научные заслуги он фактически оставил за ее пределами и принялся строить свое «новое учение» чуть ли не с нуля и уж, во всяком случае, на совершенно оригинальных принципах, нельзя было не отнестись с подобающим вниманием к тому, что он писал и делал. И поскольку он с самого начала во всеуслышание заявил, что ставит своей целью пойти навстречу потребностям нового общества и создать науку, воплощающую методологические положения диалектического материализма и марксистско-ленинского учения, очищенную от классово чуждых элементов и дающую возможность преодолеть

сопротивление окопавшихся буржуазных прихвостней, постольку для его работы были созданы потребные условия.

«Вернувшись в 1921 году из заграничной командировки, — писал И. И. Мещанинов, — академик Н. Я. Марр приступил к осуществлению своей заветной мечты о сплочении ряда специалистов, работающих в общем с ним направлении. Предстояла большая работа по перестройке основ научно-исследовательских изысканий в области такой сложной дисциплины, как языкознание». Для осуществления этой работы был создан в сентябре 1921 года академический Институт яфетидологических изысканий (через год он получил новое наименование — Яфетический институт). В обоснование его учреждения Н. Я. Марр писал, что «яфетидология, увлекаемая своеобразием подсудных ей материалов, подошла к ряду теоретических вопросов по палеонтологии языка с поразительно конкретным восприятием глоттогонических явлений, имеющих прямое отношение и к этногонии». Н. Я. Марр сокрушался при этом по поводу отсутствия единомышленников: «Силою вещей... мы брошены давно в одиночестве в бушующее море безлюдное, но отнюдь не бесплодное». Для пропаганды идей Н. Я. Марра и обретения необходимых сотрудников стали выпускаться с 1922 года «Яфетические сборники». Появились и единомышленники и сотрудники, хотя и не всегда из среды языковедов. В их число зачислили на правах консультантов Института и таких крупных ученых, как И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург, Б. Я. Владимирцев, В. В. Струве, В. Г. Богораз, А. А. Фрейман и др., в действительности не принимавших никакого участия в развитии «нового учения» о языке, но само упоминание имен которых придавало Институту соответствующий вес.

Поскольку «новое учение» о языке стало распространяться на широкий круг языков, приобретя глобальные масштабы, и поскольку и его проблематика стала выходить далеко за пределы изучения языка, уделяя много внимания проблемам мышления, постольку потребовались терминологические и организационные преобразования. Термин «яфетидология», ориентированный на изучение яфетических языков, т. е. языков Кавказа, постепенно сменился на обобщающее наименование «новое учение» о языке. Соответственно Яфетический институт превратился в 1932 году в Институт языка и мышления, который с 1933 года стал выпускать сборники «Язык и мышление». К числу более поздних организационных мероприятий следует отнести образование в 1945 году Института русского языка, выделившегося из состава Института языка и мышления и сохраняющего с ним самые близкие связи.

Такова, так сказать, внешняя история становления «нового учения» о языке. Но каково его содержание, которому и было присвоено наименование марризма?

Изложить достаточно полно содержание марризма сложно уже по той причине, что оно никогда не выступало как законченное образование и находилось в постоянном движении. Но о его самых фундаментальных положениях, в которых, по мысли Н. Я. Марра и его последователей, наиболее отчетливо проявлялось «следование по пути марксизма-ленинизма» (как тогда выражались) и которые и должны были обеспечить ему господствующее положение в науке о языке, нельзя не упомянуть в самой общей форме. Следует предупредить при этом, что здесь придется столкнуться с не совсем обычной терминологией.

Собственно в «новом учении» о языке речь шла не о языке как таковом, а если он и упоминался, то помещался в так называемую палеонтологию речи. А «палеонтология речи — это учение о коренных идеологических сдвигах и сменах не только содержания, но и оформления языковых явлений». Но «оформление языковых явлений» играло второстепенную роль и относилось к языковой технике, с которой можно было обращаться весьма вольно. Как писал один из последователей Н. Я. Марра, «новое учение перенесло центр тяжести в исследовательском деле с формального момента языка на его содержание, идеологию».

Все и начиналось с исследования стадиальных смен мышления. Они определялись на разных этапах развития идей Н. Я. Марра по-разному, но в качестве базовых выделялись две: более ранняя, космическая, и более поздняя, технологическая. Стадиальным сменам мышления следовали стадиальные смены языков, которые укладывались в единый глоттогонический (языкотворческий) процесс. В своем развитии языки располагаются на различных стадиях этого процесса (отсюда стадиальная классификация языков), и, в частности, яфетические языки представляют собой не замкнутое семейство или группу языков, а такого рода стадию, прохождение которой обязательно для всех языков. Переход языков из одной стадии в другую происходит скачкообразно, отражая смену социально-экономических формаций и являясь следствием скрещения языков. Этот процесс приобретения «нового качества» (и соответственно возникновение новых языков) при стадиальных переходах оказывается возможным проследить не по формальным признакам, а на основе анализа содержательной стороны языка, вскрывающего смену идеологий, обусловленную в свою очередь изменением социальных формаций.

Особое место в учении Н. Я. Марра занимает проблема происхождения языка, в толковании которой с наибольшей ясностью проявляется его следование «путями марксизма-ленинизма». Н. Я. Марр всячески подчеркивал, что первоначально возник линейный или кинетический язык (т. е. язык жестов), а звуковой язык значительно более позднего происхождения, требовавшего соответствующей производственной, идеологической и социальной базы. При этом первоначально обе эти формы языка удовлетворяли трудмагические потребности (поскольку труд и магия, по мнению Марра, существовали в неразрывном единстве). Как писал Н. Я. Марр, «Язык — магическое средство, орудие производства на первых этапах создания человеком коллективного производства, язык — орудие производства. Потребность и возможность использовать язык как средство общения — дело позднейшее, и это относится одинаково как к ручной, или линейной (и кинетической), речи, так и к язычной, или звуковой, речи (также кинетической)».

Когда же возник звуковой язык, он состоял всего из четырех элементов: А = *сал*, В = *бер*, С = *йон* и D = *рош*. По этому поводу Н. Я. Марр писал: «Звуковая речь возникает тогда, когда человечество имело за собой не только материальную, но и надстроечную культуру, так, между прочим, определенное мировоззрение за время исключительного господства кинетической речи, т. е. почти за весь палеолит. Следовательно, когда четыре звуковые комплекса (А, В, С, D), возникшие в трудмагическом процессе, став лингвистическими элементами, легли в основу вновь складывавшегося звукового языка, то среда была уже социально-дифференцированная, и звуковая речь существовала классовая, являясь орудием классовой борьбы и в руках господствующего слоя, как впоследствии письменность». В другой своей работе Н. Я. Марр уточняет, что поскольку при возникновении звукового языка господствующим классом было жречество, постольку звуковой язык служил жрецам средством порабощения остальных членов первобытных обществ.

Но откуда взялись эти четыре элемента? Н. Я. Марр объясняет, что он извлек их из племенных наименований и их можно (иногда в несколько измененном виде, но это неважно, так как не следует особо считаться с формой) обнаружить и ныне. Так: А или *сал* в «сармат», В или *бер* в «и-бер», С или *йон* в «ионяне» и D или *рош* в «эт-руск». Четырехэлементным анализом современной лексики и занимались впоследствии с большим усердием протогонисты «нового учения» о языке. К сказанному об этих четырех элементах следует только добавить, что на первых порах они были полизначными, т. е. обозначали все, что угодно, но затем в их содержательной

структуре начался процесс дифференциации, основанной на принципе противоположности.

Подобным же образом, ориентируясь не на конкретные факты, а на соответствующим образом интерпретируемые «материалистические», сугубо умозрительные установки, изображается и возникновение грамматических категорий — единообразно для всех языков. Вот как, например, якобы, происходит разграничение между единственным и множественным числом и возникновением местоимений: «При отсутствии частной собственности нет необходимости в сигнализации отдельного сочлена коллектива. Сигнал очевидно прикреплялся ко всему коллективу, а не к входящим в него самого сочленам. Лишь позднее, с выделением частной собственности, выделяется и член соответствующего коллектива, последствием осознания чего в области языка является противопоставление лица всему коллективу. Благодаря этому прежнее наименование коллектива воспринимается уже как множественное отношение к единице. Таким образом, множественное число по внешнему оформлению слова предшествует единственному, хотя по существу оба понятия возникают одновременно по закону единства противоположностей. Выделение личности в коллективе ведет и к осознанию противопоставления одного лица другому, как собственника продуктов производства. Осложняемая тем самым сигнализация ведет к выделению местоимений, первоначально означающих говорящего и постороннего (1-е и 2-е лицо). Позднее постороннее лицо различается и пространственно: близко находящееся (2-е лицо) и находящееся на “расстоянии”».

Таковы в общих чертах основы «нового учения» о языке. А какую оценку получили работы Н. Я. Марра за рубежом? Если его дореволюционные работы, относящиеся к кавказским, древнеписьменным средиземноморским и переднеазиатским языкам и привлекающие внимание узкого круга специалистов, не вызывали особых возражений (хотя и отмечалась необоснованность некоторых утверждений), то когда он занялся проблемами глобального масштаба при построении своего «нового учения» о языке, они получили резко отрицательную оценку. Эта оценка носила не огульный характер, но сопровождалась указанием на прямые противоречия, содержащиеся в рассуждениях Н. Я. Марра, на совершенно анекдотические гипотезы, на прямые противоречия фактам. Именно это последнее обстоятельство и дало повод для замечания одного из самых видных лингвистов того времени — А. Мейе: «Если буржуазная наука состоит в том, чтобы видеть факты такими, как они есть, то я принимаю на себя обвинение в буржуазности».

Весьма основательной критике подверг шведский лингвист — коммунист Х. Шельд — претензии Н. Я. Марра на марксистские основания его учения. Он писал: «Представляются не очень-то марксистскими утверждения Марра, что религиозные представления возникли до образования общества и до создания языка, так как марксизм исходит из того, что религия, как и вся идеологическая надстройка общества, могла возникнуть на экономических, т. е. общественных, основаниях. Очевидным является также, что животные обладают способностью к взаимопониманию: мы разделяем общую с высокоразвитыми животными биологически унаследованную способность к воспроизведению звуков. Отсюда следует, что эти животные, видимо, уже прошли через ступень кинетического языка и у них должны уже быть религиозные представления и должна существовать каста жрецов. Или Марр полагает, что первобытные люди обладали настолько развитым разумом, что предпочли развиваться иным, нежели животные образом? Но это находится в явном противоречии с его прокламируемыми материалистическими, исходящими из марксизма предпосылками». Приведя ряд подобных же противоземных суждений и утверждений Марра, Х. Шельд заключает: «Если отслоить общие формулируемые положения марксизма, образующие внешний научный каркас фантазий Марра, в итоге останется только марризм. Мне кажется, что его лучше называть ма-размом».

А каково же было отношение к «новому учению» о языке советских философов, в первейшую обязанность которых и входит следить за корректным использованием положений диалектического материализма и марксистского учения? С сожалением следует отметить, что они не только не вскрывали прямые несоответствия утверждений Н. Я. Марра этим положениям и даже простому здравому смыслу, но даже активно включались в, так сказать, философское их развитие.

В подтверждение этого можно сослаться на статью ведущего советского философа того времени академика А. М. Деборина. В ней можно обнаружить высказывания такого рода: «Задача преодоления буржуазных **пережитков в сознании**, в результате их преодоления в экономике, теоретически теснейшим образом связана с научной **критикой языка и мышления**, возможной только с точки зрения исторического материализма. Поэтому достижения Н. Я. Марра в области языкознания имеют огромное непосредственное значение для социалистического строительства». Следуя положениям исторического материализма, Н. Я. Марр якобы осуществил периодизацию и классификацию систем мышления, указав на недостатки унас-

ледованного нами буржуазного вида мышления. Формально-логическое аналитическое мышление есть **классовое мышление**, соответствующее **классовому строю социальной организации**. На смену формально-логическому мышлению и создавшему его классовому приходит диалектико-материалистическое мышление пролетариата. В качестве образца этого нового вида мышления, видимо, можно привести «открытый Марром в языке закон единства противоположностей, выражающийся в нераздельном, слитном существовании противоположных значений (стало быть, и понятий) в одном наименовании и в процессе дальнейшего расщепления, раздвоения, поляризации наименований и значений. Выше было указано, что свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть называются одними и теми же словами... Марр довел наше знание языкотворчества, звукового языка до открытия первичных четырех элементов, которые оказываются в то же время и первыми четырьмя категориями мышления».

В самом начале настоящего изложения указывалось, что феномен марризма был далеко не единичным явлением, а одним из составляющих культа **единой** руководящей и господствующей идеологической доктрины, находился в пределах своеобразной круговой поруки. Приведенные цитаты можно рассматривать как иллюстрации к этой констатации. К их числу можно добавить и высказывание уже упоминавшегося в этой связи историка М. Н. Покровского: «Если бы Энгельс жил между нами, — писал он в 1928 году в “Правде”, — теорией Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории человеческой культуры».

Но неужели сам Н. Я. Марр никак не реагировал на критические замечания в адрес его научных теорий? По свидетельству Х. Шельда, из работы которого приводились выше цитаты, Н. Я. Марр в беседе с зарубежными учеными в ответ на их упреки заявил: «С волками жить — по волчьи выть». Однако едва ли есть основания сомневаться в искреннем стремлении Н. Я. Марра создать материалистическое учение о языке, примитивно, неумело, а подчас и просто безграмотно используя положения диалектического материализма. Но столь же несомненно, что с годами его научная деятельность приобретала все более очевидный патологический характер, чего, следуя утвердившейся инерции, старались не замечать или как-то обходить.

Именно этой последней тактики придерживался И. И. Мещанинов, которому после кончины Н. Я. Марра в 1934 году было препоручено пестовать научное наследие своего учителя. В своей книге «Новое учение о языке» (1936 г.) он наскоро и очень поверхностно пересказав самые общие положения учения Марра, погружается в

анализ многообразного языкового материала. В другой своей книге — «Общее языкознание» — он главным образом полемизирует с зарубежными и дореволюционными русскими учеными. Два его капитальных исследования «Члены предложения и части речи» (1945 г.) и «Глагол» (1948 г.), если воспользоваться его собственными словами из «Предисловия» к ним, служат не столько цели «развития идей академика Н. Я. Марра», сколько изложению «значительной доли своих собственных соображений».

Но тем временем «новое учение» о языке в качестве единой господствующей доктрины набирало все больше силы, подавляя все возможности иных научных толкований языковых проблем и обретая форму того, что позднее Сталин назвал «аракчеевским режимом».

Трудно определить, что заставило Сталина вторгнуться в совершенно чуждую для него область науки о языке. Все началось с «дела» Р. Ачаряна — автора фундаментального семитомного «Этимологического корневого словаря армянского языка», составление которого следовало классической компаративистской традиции. Возвратившийся из зарубежья Р. Ачарян был репрессирован, и в защиту его на имя Сталина было направлено ряд писем, отмечавших большие научные заслуги этого крупного ученого. Чтобы разобраться в этом деле был вызван профессор А. С. Чикобава в качестве консультанта, способного дать объективную оценку этому «делу». В результате Р. Ачарян был освобожден, так и не поняв, по словам А. С. Чикобава, за что его посадили и почему выпустили из заключения. Надо отдать должное и научному мужеству А. С. Чикобава, который в разговоре со Сталиным, вступая в прямое противоречие с господствующей в языкознании доктриной, претендующей на положение марксистского учения, дал резко критическую оценку «новому учению» о языке. По-видимому, высказывания А. С. Чикобава были достаточно убедительны и, помимо всего прочего, давали возможность, не обладая специальными знаниями и руководствуясь простым здравым смыслом, разобраться в трудмагической мифологии Н. Я. Марра и предложить заняться науке о языке подобающим ей делом. Во всяком случае, ничего не обещая, Сталин предложил А. С. Чикобава написать статью для «Правды», с которой можно было бы начать дискуссию о «новом учении» о языке, сопроводив свое предложение малоутешительным замечанием: «Посмотрим, что получится».

И А. С. Чикобава написал свою статью, которая была напечатана в «Правде» в День Победы 9 мая 1950 года. Следует еще раз повторить: не просто было решиться на этот поступок в условиях того

времени и, по словам самого А. С. Чикобава, огромная тяжесть спала с его плеч, когда он прочел сопровождавшее его статью вводящее замечание от редакции, что данная свободная дискуссия организуется с тем, «чтобы путем критики и самокритики преодолеть застой в развитии советского языкознания и дать правильное направление дальнейшей научной работе в этой области». Дело шло к тому, чтобы, наконец, в открытую, минуя всяческие руководящие указания и прямые запреты, поговорить о наболевших проблемах науки о языке.

В статье А. С. Чикобава говорилось напрямик: «необходимо разобраться: что собою представляет теория академика Н. Я. Марра? Насколько правомерно замещать марксизм-ленинизм в языкознании теорией Н. Я. Марра? Что требуется для развития советской лингвистики, основанной на подлинно научных принципах марксизма-ленинизма?» Подвергнув основные положения «нового учения» о языке доказательному критическому анализу, А. С. Чикобава заключает свою статью утверждением, что общелингвистическим теоретическим построениям Н. Я. Марра свойственны серьезные ошибки, без преодоления которых невозможно построение системы советской лингвистики.

Собственно со статьи А. С. Чикобава и началось осуществление того переломного процесса, который оказал такое огромное влияние на последующее развитие советского языкознания. Но так как в дискуссии выступил и Сталин, дискуссия 50-го года связывалась с его именем. В изложении выступления Сталина легко обнаружить прямые переклички с тем, что писал в своей статье А. С. Чикобава, и поэтому не следует закрывать глаза на то, что если бы не это выступление, дискуссия едва ли оказала бы столь эффективное воздействие на советское языкознание, оформившись в «сталинское учение о языке», которое повсеместно стало преподаваться в вузах гуманитарного профиля и входило в качестве обязательной дисциплины в кандидатский минимум по филологии. Здесь не следует недооценивать роли А. С. Чикобава и предавать забвению его мужественный поступок.

А. С. Чикобава умер в 1984 году. В советских лингвистических изданиях был помещен один-единственный отмечающий это печальное событие некролог («Известия АН СССР. ОЛЯ»). В нем отмечались его заслуги в области изучения иберийско-кавказских языков. И не было сказано ни слова о той роли, какую он сыграл в истории советского языкознания, начав дискуссии 50-го года. Это ли не знаменательная иллюстрация к утверждению академика А. А. Созинова, что «корни (казалось бы отжившего прошлого) остались, и они продолжают давать побеги», о чем еще придется поговорить ниже.

Начатая А. С. Чикобавой дискуссия продолжалась с 9 мая до 14 июля 1950 года. В ней приняли участие многие советские языковеды. Следует выразить сожаление, что материалы дискуссии никогда не были собраны воедино и изданы отдельной книгой — они весьма поучительны. Думается, было бы весьма уместно сделать это и сейчас, снабдив их соответствующим комментарием и напомнив о некоторых событиях, которые бросают свою тень и на современное состояние советской науки о языке.

Вслед за статьей А. С. Чикобавы была напечатана статья академика И. И. Мещанинова, который, признав нерешенность ряда проблем в «новом учении» о языке, безоговорочно заявил: «Строить подлинно марксистское языкознание без Марра я признаю для нас неприемлемым» (сделав это заявление, он после дискуссии принялся строить это языкознание уже без Марра). Что же касается статьи А. С. Чикобавы, то, по мнению И. И. Мещанинова, в ней «сквозит явное нежелание учесть громадные достижения Н. Я. Марра и стать на путь этих достижений». «Результатом явилось повторение основных положений буржуазной лингвистики, то есть той, которой Марр объявил решительную борьбу, чем и обеспечивается внедрение в языковедение методов материалистической философии». К И. И. Мещанинову присоединились Н. С. Чемоданов (23 мая) и Ф. П. Филин (30 мая).

Пожалуй, наиболее бескомпромиссным образом поддержали выступление А. С. Чикобавы никому не известный тогда кандидат филологических наук Б. Серебренников, голос которого потерялся в хоре заслуженных ученых, и академик Армянской АН Гр. Капанцян (30 мая). Даже главный глашатай «сталинского учения о языке» — академик В. В. Виноградов, посвятивший впоследствии его изложению и популяризации огромное количество своих работ, — с самых первых абзацев своей статьи (6 июня) декларирует: «Советские лингвисты *так или иначе продолжают дело академика Марра, когда они в борьбе с буржуазно-идеалистическим языкознанием строят материалистическую лингвистику*, опирающуюся на марксизм-ленинизм. В истории развития советского языкознания Н. Я. Марр, бесспорно, занимает первое место среди лингвистов нашей страны». Уклончивость позиции В. В. Виноградова характеризуется и тем фактом, что он (за исключением одного мимолетного замечания) полностью обходит выступление А. С. Чикобавы.

Главный упрек, который В. В. Виноградов адресует не столько Н. Я. Марру, сколько его последователям, заключается в том, что они отошли от проблем, связанных с изучением русского и славянских языков, недооценили «достижений предшествующей истории

русской отечественной науки в области языкознания. Значительной частью представителей нового учения о языке почти вся предшествующая русская филологическая наука отрицается». В заключение своей статьи В. В. Виноградов констатирует: «Научное наследие академика Марра должно быть использовано, но марксистское языкознание гораздо глубже, шире и полнее “нового учения о языке” академика Н. Я. Марра».

Здесь представляется не лишним упомянуть об области научных интересов академика В. В. Виноградова, которому в дальнейшем суждено было возглавить советскую науку о языке уже в качестве директора Института языкознания, созданного в 1950 году вместо закрытого Института языка и мышления. Фактически по основной направленности своих предшествующих работ он находился в стороне от принципиальных проблем науки о языке как таковой, и в языкознание он пришел уже после создания таких капитальных работ, относящихся скорее к литературоведению или стилистике, как «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (первое издание в 1934 году), «Язык Пушкина» (1935 год), «Стиль Пушкина» (1941 год), «Язык Гоголя» (1936 год), «Стиль прозы Лермонтова» (1941 год) и др. Этой направленности своих научных интересов он оставался верен и позднее («Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» — 1963 год и множество статей). На фоне этих исследований его собственно языковедческие работы выглядели до известной степени как вторичные. К тому же они во многом носили характер скорее обзорно-исторический, нежели теоретический. Такова, в частности, его известная книга «Современный русский язык» (вып. 1—2, 1938 год), которая в переработанном виде вышла под названием «Русский язык. Грамматическое учение о слове» — 1947 год. (Острый на слово Б. А. Ларин охарактеризовал ее как «пасьянс чужих мнений».) Указанные обстоятельства объясняют заступничество В. В. Виноградова за отечественные филологические традиции, прозвучавшее в его статье, и столь же явственно проступающую в ней отчужденность от тех проблем, которыми занималось «новое учение» о языке.

Последующие выступления на страницах газеты «Правда» (13 июня) не внесли чего-либо нового в дискуссию. Академик Украинской АН Л. Булаховский полемизировал в основном с высказанными в его статье суждениями И. И. Мещанинова. С. Никифоров и В. Кудрявцев обсуждали главным образом проблему классовости языка.

20 июня «Правда» напечатала работу Сталина «Относительно марксизма в языкознании» (одновременно опубликованное выступление профессора П. Черных по своей тональности следует присо-

единить к выступлениям С. Никифорова и В. Кудрявцева). На этом по сути дела дискуссия окончилась. Напечатанные 27 июня статьи Т. Ломтева (кстати, оперативно сменившего свою первоначально направленную в редакцию газеты статью) и профессора Г. Ахвледiani уже следовали тем интерпретациям, которые были даны в работе Сталина. А 4 июля «Правда» поместила еще одно выступление Сталина (один из его ответов на вопросы, обращенные к нему в связи с опубликованной им работой), приветственные выступления академика В. В. Виноградова, академика В. Шишмарева, академика С. Обнорского, Л. Булаховского, академика Г. Церетели, профессора Е. Галкиной-Федорук и др., а также покаянные письма И. И. Мещанинова, Н. С. Чемоданова и Н. Яковлева.

К чему же сводилось содержание выступлений Сталина, которые в своей совокупности (включающей не только его работу «Отноительно марксизма в языкознании», но также и его ответы на направленные ему вопросы) получили общее наименование «Марксизм и вопросы языкознания»? В чем заключалась сущность «сталинского учения о языке»?

Главное и бесспорное значение выступления Сталина состояло в том, что оно покончило с фантазмагориями «нового учения» о языке и освободило советскую науку от упорно навязываемого ей ярма марровских догм. Но ведь работа Сталина содержала не только отрицательные суждения относительно теорий Марра, но и определенную ориентацию, которой рекомендовалось следовать советской науке о языке. Следует при этом учесть и то обстоятельство, что для того, чтобы решиться на рекомендации науке, как следует ей развиваться, необходимо обладать определенными специальными знаниями. Как же справился Сталин с возникающими тут трудностями?

Многочратно в этой связи приходилось сталкиваться с предположениями, что в действительности работы Сталина были якобы написаны не им, а в большей степени А. С. Чикобавой. В пользу этого предположения говорил и тот факт, что в сталинской работе поддерживаются многие положения из выступления А. С. Чикобавы. Однако по уверениям самого А. С. Чикобавы, сделанным им в уже упоминавшихся доверительных беседах, дело обстояло не так.

Сталин сам писал свою работу, эпизодически обращаясь к консультациям А. С. Чикобавы и внося в нее все новые и новые коррективы по мере развертывания дискуссии. Он знакомился и со специальной литературой, отдавая предпочтение при этом книге Д. Н. Кудрявского «Введение в языкознание» (Юрьев, 1912 год). Его задача в известной мере облегчалась тем, что в его работе главный упор делался не на языкознание как таковое, она ставила своей целью изло-

жение марксистских положений (как они ему представлялись) в языкознании. В данном случае язык использовался в качестве некоторой основы, позволяющей наглядно изложить сущность этих положений.

Поскольку же выступление Сталина всячески подчеркивало необходимость в первую очередь проявить заботу относительно марксизма в языкознании (следует думать так же, как и в других науках), постольку в этом отношении оно продолжило (и развило) ту же тенденцию, создание которой ставил себе в заслугу Н. Я. Марр. Марксизму присваивался все тот же статус автономной идеологии, с точки зрения которой и осуществлялась оценка тех или иных явлений независимо от их конкретной сущности. А когда идеология ставится впереди выводов научной теории и исследовательской практики, могут возникнуть самые непредвиденные вещи. В частности, к чему привело выступление Сталина, преподавшее пример того, что для внедрения марксизма в науку отнюдь не обязательно располагать специальными познаниями?

Если внимательно и непредубежденно присмотреться, получится нечто неожиданное и даже удивительное. Положительную оценку в работе Сталина получило в основном все то, что в «новом учении» о языке перечеркивалось как «буржуазное» языкознание. Иными словами материалистическими оказались те принципы, которым следовало традиционное сравнительно-историческое языкознание (компаративистика), а не «новое учение» о языке, на протяжении всех этих лет представлявшее ведущее начало в советском языкознании.

Рассмотрим последовательно основные положения, которые противопоставлялись марровскому учению. Это рассмотрение облегчается тем, что изложение работы Сталина строится как ответы на некоторые вопросы. Итак, верно ли, что язык есть надстройка над базисом? Нет, не верно. Он является продуктом разных эпох, «на протяжении которых он оформляется, обогащается, развивается, шлифуется». Никаких прыжков и скачков при этом язык не совершает, его эволюция не нарушается и тогда, когда он в определенных социально-исторических условиях заимствует некоторые элементы из других языков. Но это отнюдь не скрещение, в результате которого возникает «новое качество» или, по сути дела, новый язык. Язык, впрочем, будучи связан с «деятельностью человека во всех сферах его работы», отражает все изменения, происходящие в этих сферах, поэтому, можно сказать, здесь вполне уместной оказывается формула Я. Гримма: «Наш язык — есть наша история».

Верно ли, что язык был всегда и остается классовым? Нет, не верно. Язык всегда — от первобытно-общинного родового строя до

национальных образований — был общим достоянием, хотя разные социальные образования и профессиональные группы и обладают некоторыми языковыми особенностями, которые, однако, не разрушают цельность национального языка, так как «национальный язык есть форма национальной культуры».

Но обо всем этом (правда, в других формулировках) ранее твердили «буржуазные» ученые.

Даже такие проблемы, как проблема основного словарного фонда и проблема внутренних законов развития языка, которые считались исконно «сталинскими» и которым была посвящена уйма работ и конференций, легко можно соотнести с тем, что по этому поводу писали уже основоположники сравнительно-исторического метода на заре XIX века. Так что, как не основной словарный фонд имел в виду Расмус Раск, когда писал: «Язык, каким бы смешанным он ни был, принадлежит вместе с другими к одной группе языков, если наиболее существенные, материальные, необходимые и первичные слова, составляющие основу языка, являются у них общими». И есть все основания полагать, что еще Ф. Бопп задавался целью выявить внутренние законы языка, говоря о своем намерении «провести исследование физических и механических законов и происхождения форм, выражающих грамматические отношения у ряда индоевропейских языков», законов, кстати говоря, оставшихся столь же загадочными и нерасшифрованными, как и внутренние законы языка Сталина. Сталин доходит до того, что признает и правомерность теории праязыка, указывая на то, что «изучение языкового родства этих наций (речь идет о славянских нациях. — В. З.) могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка». И уж совершенно недвусмысленную оценку он дает сравнительно-историческому методу в целом: «Н. Я. Марр крикливо шельмует сравнительно-исторический метод, как “идеалистический”. А между тем нужно сказать, что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, все же лучше, чем действительно идеалистический четырехэлементный анализ Н. Я. Марра».

Работа Сталина не обошлась без очевидных ляпсусов, когда он касался собственно специальных проблем. Так, он привел в полную растерянность русистов, когда объявил, что в основу русского национального языка лег курско-орловский диалект. Но такого рода частности не изменяли того положения, в каком советское языкознание оказалось после дискуссии 50-го года. В его распоряжении не осталось иного методического оружия, кроме сравнительно-исторического языкознания, да при том еще в явно младограмматической трактовке, поскольку предписывалось осуществлять преимуществен-

но исторический подход к изучению языков и обнаруживать в них внутренние (или иные) законы их развития. Такой подход и обрел статус материалистического. Во всем этом и предстояло теперь разобраться советскому языкознанию. В частности, совладать и с устоявшейся инерцией переводить научные споры в идеологическую плоскость. Определить, как быть с культом единой господствующей доктрины. А последователям марровской доктрины сориентироваться в создавшейся ситуации. Как же были разрешены эти задачи?

Первые годы после дискуссии 50-го года советская наука о языке была занята решением проблем сталинского языкознания и освоением вновь обретенной материалистической компаративистики. Как уже отмечалось, если не считать таких специфически «сталинских» проблем, как проблема внутренних законов развития языка и проблема основного словарного фонда, обе эти задачи фактически были однозначными. И когда в результате исторического развития советского общества Сталина пришлось вычесть, никаких коренных преобразований в советской науке о языке не произошло. Просто сравнительно-исторический подход к изучению языка продолжал укреплять свой статус материалистического языкознания и под него стало подводиться соответствующее идеологическое обоснование. Так как марризму, несмотря на все его усилия, не удалось искоренить традиции русской компаративистики, они теперь были мобилизованы для утверждения позиций советской науки о языке на новом этапе своего развития.

Но обращение к сравнительно-историческому языкознанию по сути дела означало предписание глядеть назад, к тому, что было создано в довольно-таки далеком прошлом и что, отнюдь не изжив себя, подверглось значительному переосмыслению. Кроме того, в то время, когда происходили описанные внутренние события, в международной лингвистике возникло много нового, о чем советские языковеды имели весьма туманные представления или о чем они вовсе ничего не знали. Фактически вся зарубежная лингвистика была представлена всего лишь тремя книгами: «Курсом общей лингвистики» Ф. де Соссюра (1933 год), «Языком» Э. Сепира (1934 год) и «Языком» же Ж. Вандриеса (1937 год). Вокруг этих книг и обращалась вся полемика советского языкознания с буржуазным языкознанием. Прекрасным примером такой ограниченной узкими рамками полемики может служить упоминавшаяся уже книга И. И. Мещанинова «Общее языкознание» (1940 год).

И тут следует помянуть добром деятельность издательства «Иностранная литература». За время своей работы в 50-е и 60-е годы издательство познакомило советских лингвистов не только с трудами

тех ученых, о которых они знали только по наслышке (О. Есперсена, Г. Пауля, Л. Блумфилда, Н. Трубецкого, А. Мартине и пр.), но также с вновь возникшими лингвистическими школами и направлениями (дескриптивной лингвистикой, глоссематикой, Пражским лингвистическим кружком, лингвистикой универсалий, генеративной лингвистикой и пр.). Лингвистическая серия издательства «Иностранная литература» отличалась при этом большой оперативностью, держа советских ученых в курсе всех текущих событий мировой лингвистической науки (что в первую очередь находило свое выражение в сборниках «Новое в лингвистике» и что продолжено в сборниках «Новое в зарубежной лингвистике» издательства «Прогресс»).

Это многообразие научных данных естественным образом должно было получить свою аргументированную оценку. Она как правило и давалась в тех предисловиях и комментариях, которыми сопровождалась все эти издания. С ними можно было соглашаться или не соглашаться и в последнем случае выдвигать иную точку зрения, доказательно ее обосновывая. Однако и тут сработала инерция господства предельно упрощенного идеологического критерия, подавляющего всякую научную доказательность. Именно этот критерий и объединил таких завязтых марровцев, как Ф. П. Филин или В. И. Абаев, с О. С. Ахмановой, Р. А. Будаговым и В. З. Панфиловым, самозванно объявившими себя верными хранителями идеологической чугунной печати. И как раньше Ф. П. Филин прикреплял ярлык социал-фашиста ко всем, кто осмеливался защищать сравнительно-историческое языкознание, так теперь О. С. Ахманова характеризовала Л. Ельмслева не иначе, как агентом американского империализма.

Но, пожалуй, главными жупелами, с которыми в первую очередь воевала названная сугубо ортодоксальная группа языковедов, стремившаяся обеспечить себе господствующее положение, были структурализм и Н. Хомский. Имя этого последнего и ныне не рекомендуется поминать на ночь. Усилиями лингвистических ортодоксов Н. Хомский превратился в почти мистически зловещую фигуру, в которая, сосредоточивается вся буржуазная скверна.

Именно на этих двух феноменах следует остановиться более подробно, так как они наиболее наглядным образом демонстрируют развитие той линии поведения, которая была заложена марризмом и которое хотя и в новых условиях, использует старый критерий идеологической оценки научных явлений. Необходимо при этом со всей определенностью подчеркнуть, что оба эти феномена отнюдь не отражают состояния советского языкознания во всей его полноте в данный период его развития. Творчески и весьма плодотворно ис-

пользуя ту научную информацию, которая широким потоком поступила в распоряжение советских лингвистов, советская наука о языке очень быстро и уверенно освоилась в новой обстановке и во многих случаях не только достигла международного уровня, но и представила немало выдающихся исследовательских работ нередко и в тех направлениях, которые зародились или оформились за рубежом. Обратимся сначала к структурализму. Поскольку его оценка давалась на основе идеологических критериев, постольку имеет смысл сначала познакомиться с тем, как интерпретируется и оценивается структурализм советской философской наукой. Это тем более оправдано, что структурализм отнюдь не собственно лингвистическое явление, а общенаучный принцип, освоенный многими науками.

Здесь мы также не обнаруживаем абсолютной однозначности. И в разные периоды развития советской философской науки структурализм получал различную трактовку. Первоначально он представлялся как явно негативное явление, представляющее одно из неопозитивистских направлений. Но ближе к нашему времени философская интерпретация структурализма стала значительно изменяться. Это можно проследить по тем его толкованиям, которые он получал в «Философских словарях» различных годов изданий. Приведем некоторые из этих толкований. В «Философском словаре» 1972 года можно прочесть: «Структурализм — конкретно-научная методологическая ориентация, выдвигающая в качестве задачи научного исследования выявление структуры объектов. Структурализм возник в начале XX века в ряде гуманитарных дисциплин как реакция на плоский эволюционизм позитивистского толка. Он использует структурные методы исследования, разработанные в математике, физике и др. естественных науках... Применение структурных методов в конкретных науках дало положительные результаты, например, в лингвистике... Идеи структурализма играют определенную методологическую роль и в объединении междисциплинарных исследований явлений культуры, в сближении гуманитарных и естественных наук при сохранении их специфики» (стр. 396). В «Философском словаре» 1980 года повторяются приведенные характеристики, но к ним добавляются еще более категоричные утверждения: «Структура — неотъемлемый атрибут всех реально существующих объектов и систем. В мире не может быть тел без структуры, обладающей способностью к внутренним изменениям». В соответствии с этой методологической установкой строится и научное исследование: «Для структурализма характерно: углубленное внимание к описанию актуального состояния исследуемых объектов, выявлению внутренне присущих им вневременных свойств, стремление к четкому раз-

личению исследуемых объектов и исследовательских средств и соответственно отказ от приоритета изолированных фактов и фиксирование отношений между фактами или элементами изучаемой системы» (стр. 355). Наконец, в «Философском энциклопедическом словаре» 1983 года, в котором содержатся предупреждения, направленные против абсолютизации структурального подхода и придание этому общенаучному принципу статуса философской значимости, отводятся упреки в противостоянии структурального изучения историческому: «В действительности же структурный и исторический подходы не исключают друг друга, поскольку каждый из них ориентируется на исследование особого типа связей. Поэтому, с одной стороны, вполне правомерна постановка вопроса о самостоятельном изучении для определенных целей либо структуры объекта (например, в ряде задач экологии, языкознания, социологии), либо его истории... Структурное и историческое изучение не разделены между собой принципиальным барьером» (стр. 657). Таково философское истолкование структуры и структурализма.

Почти во всех случаях поношения лингвистического структурализма ему противопоставлялось в качестве единственно правомерной материалистической альтернативы сравнительно-историческое языкознание. Так, для примера можно в этой связи привести высказывание Ф. П. Филина: «Структурализм весьма далек от того, чтобы на месте громадного здания сравнительно-исторического языкознания построить нечто другое, ему равноценное, хотя имеют место попытки внедрить в это языкознание кое-что из структуральных приемов исследования». Как видно из этого высказывания, в противоположность тому, что мы находим в приведенных выше философских определениях задач и методов структурных исследований, ставящих перед собой определенный круг задач, и не только не отвергающих возможность применения иных методов (для решения своих задач), но и способствующих установлению связей между ними, защитники сравнительно-исторической доктрины не допускают и мысли о необходимости использования различных методов для решения различных задач, и возникновение новых методов расценивают как преступную попытку ниспровержения «громадного здания сравнительно-исторического языкознания».

Вполне уместен, однако, вопрос о том, на каких философско-методологических основаниях стоит это всячески рекламируемое в качестве правомерно материалистического «громадное здание»? На этот вопрос мы получаем предельно ясный ответ: «Всякое научное познание языка должно отправляться от реально существующих языковых фактов. В противном случае новые методы лингвистиче-

ских исследований не дают положительных результатов». Но ведь и основоположник структурализма — Ф. де Соссюр — писал, что «входящие в состав языка знаки суть не абстракции, но реальные объекты; их именно и их взаимоотношения изучает лингвистика; их можно назвать *конкретными сущностями* этой науки». Все дело, следовательно, заключается в том, как поступать с наблюдаемыми языковыми фактами, как и для чего их изучать. Ограничиваться их выявлением и описанием, как рекомендует Ф. П. Филин, или постараться вскрыть глубинные структуры, лежащие в основе каждого конкретного языка и определяющие качественные особенности их составляющих. Совершенно очевидно, что философские основания упомянутого «громадного здания» аккуратно укладываются в самый очевидный позитивизм с его обожествлением наблюдаемых фактов и отказом от познавательной ценности любых «спекуляций» о природе изучаемых объектов.

Этот позитивизм в равной степени присущ и историчности компаративистики. Многократно отмечался свойственный ей атомизм, т. е. описание изолированно взятых единиц языка, располагающихся на временной плоскости. Подобного рода историзм в действительности сводится к простому хронологизму, фиксирующему последовательные изменения или появления отдельных фонем или грамматических форм. Подобного рода изменения, разумеется, не представляется возможным соотнести с конкретными историческими событиями или связать их с человеческим фактором — по той же простой причине, что человек в своей речевой деятельности имеет дело не с отдельными и изолированными языковыми «фактами», а с языком в целом.

Обратимся, однако, к собственно лингвистическому истолкованию структурализма. Определяя его существо, Л. Ельмслев (его обычно рекомендуют как представителя крайнего крыла структурализма) писал: «Под структурной лингвистикой понимается совокупность исследований, базирующихся на гипотезе, в соответствии с которой научно правомерно описывать язык как единство внутренних зависимостей или, другими словами, как структуру... Анализ этого единства допускает расчленение на части, которые истолковываются как взаимно влияющие друг на друга, зависящие друг от друга, непостижимые и неопределимые вне отношений с другими частями. Такой анализ имеет своей целью раскрыть сеть зависимостей, рассматривая лингвистические явления в системе отношений друг с другом». В этом определении идеология явно не представлена, но она базируется на методологической предпосылке, в соответствии с которой «нет реально существующих объектов без структу-

ры», и оно явно противопоставляется представлению языка как груды изолированных «фактов».

Для В. И. Абаева и его соумышленников подход к языку, как к структуре, и отключение от его исследований идеологических критериев есть не что иное, как выражение крайней формализации и дегуманизации науки о языке, принимающей формы модернистской лингвистики (термин «модернизм» употребляется только в негативном значении и он, как правило, прилагается ко всему, что не укладывается в эти предначертания).

Нельзя отказать В. И. Абаеву в той последовательности и в упорстве, с каким он отстаивает свои позиции. Среди многих прочих его высказываний можно, в качестве примера, привести и такое (относящееся к 1971 году): «Иссушение лингвистики в результате ее формализации и математизации нельзя рассматривать как изолированное явление, в отрыве от общих идеологических процессов. Модернистская лингвистика есть прямое выражение того бегства от идеологии, которое наметилось уже давно. Правда, давно же и замечено, что бегство от идеологии — это тоже идеология и притом далеко не безобидная».

Дело, однако, не в В. И. Абаеве, и он поминается здесь лишь как представитель того направления, которое задано было марризмом, которое представляется отнюдь не этой одинокой фигурой и которое, — что самое печальное и настораживающее, — говоря словами академика А. А. Созинова, «продолжает давать свои побег» и в современном языкознании. Так, если продолжать придерживаться фигуры того же В. И. Абаева, то в напечатанной им статье в 1986 году можно прочесть вариации на все ту же тему: «Формализация языкознания достигла предела в структурализме. Как в истории организмов возникают виды, не способные к дальнейшему развитию, так в истории любой науки могут возникнуть направления, которые ведут в тупик. Таким тупиковым направлением в языкознании являлся структурализм», и такого рода идеи популяризирует на своих страницах ведущий советский лингвистический журнал, словно не ведая об оформившейся к настоящему времени прибегающей к математическому моделированию компьютерной лингвистике (Computational Linguistics), за которой стоят проблемы глобального масштаба.

Заканчивая рассмотрение судьбы структурализма в советской науке, нельзя не отметить того разительного обстоятельства, в соответствии с которым, если под идеологией (о которой так печется тот же В. И. Абаев) разуместь философские обоснования этого исследовательского метода, то они, как это явствует из приведенных выдержек из философских справочников, находятся в резком противоре-

чий со всем тем, что изрекается по этому поводу самозванными ортодоксами. Идеология фактически оборачивается против них.

Если же объявлять войну дегуманизации языкознания, как и делают те же ортодоксы, то в этом случае, очевидно, надо было бы брать в союзники Н. Хомского, который, как известно, поставил своей задачей представить языкознание как раздел познавательной психологии, т. е. придать ему статус самой что ни на есть гуманитарной науки. Однако все получилось наоборот. Н. Хомский был и есть самый завязанный отрицательный персонаж всей советской лингвистической драмы действий. Даже простое упоминание имени Н. Хомского превратилось в своеобразный пароль, на основании которого «чужих» отграничивают от «своих». Этот феномен с трудом поддается разумному объяснению.

Разумеется, генеративная лингвистика Н. Хомского широко использует формальный аппарат и даже прибегает к математическим формулировкам. Но, как известно, формальная строгость методических приемов свойственна отнюдь не одной лишь лингвистической теории Н. Хомского и во многом она уже получила статус научного критерия при определении того или иного теоретического построения.

«Хомскианская революция», о которой написано огромное количество статей, по существу была революцией в лингвистике США. Ко времени появления первых работ Н. Хомского американская лингвистика окончательно запуталась в сложных процедурах описания, которые, однако, не поднимались выше уровня морфемики. Н. Хомский выдвинул на ведущее положение синтаксис, исследованием которого и занялась созданная им лингвистическая теория (теория «автономного синтаксиса»). Но его бесспорная заслуга заключается не столько в создании оригинальной теории, сколько в том, что он способствовал возрождению в американской лингвистике интереса к фундаментальным проблемам науки о языке. Он сам пристальное внимание уделяет связям и взаимоотношениям языка и мышления (функцию выражения мысли он считает первичной у языка, а коммуникативную функцию он ставит на положение вторичной). Позднее Н. Хомский ввел в свою теорию семантический и фонетический компоненты, которые проявляют в поверхностной структуре языка (т. е. в конкретных синтаксических построениях) глубинные структуры (пропозиционные образования). Он провел резкое разграничение между компетенцией языка (конечным набором его единиц и правил) и употреблением языка (создание некоего множества правильных предложений на основе средств компетенции). Пожалуй, наибольшую полемику вызвало положение

Н. Хомского о врожденной языковой способности, обладающей универсальными формами (отсюда его универсальная грамматика, которую он соотносит с философской грамматикой картезианцев). В последние годы гипотеза о врожденной языковой способности переоформилась у Н. Хомского в психобиологический модуль.

В европейских странах лингвистическая теория Н. Хомского встретила весьма сдержанное отношение. Да и в самих США она отнюдь не получила всеобщего признания. Очень скоро от нее отпочковалась порождающая семантика, разрушившая цельность лингвистической концепции Н. Хомского. А в одной из последних своих (многочисленных) книг, составленных из бесед (интервью) с ним, Н. Хомский откровенно признается, что он со своей теорией попал в изоляцию не только в американской лингвистике, но даже в родном Массачусетском технологическом институте, где он руководит отделением (Department) лингвистики и философии.

Теоретические построения Н. Хомского можно принимать или не принимать, но и в том и в другом случае свою позицию надо доказательно обосновывать. Собственно у Н. Хомского и нет последователей среди советских языковедов. И тем примечательней становится тот факт, что даже обычный научный критический анализ его концепции оценивается в советской научной литературе самым отрицательным образом. В соответствии с утвердившимся ритуалом его положено лишь безоговорочно ругать и не возвышать до научного рассмотрения. С сожалением следует отметить, что эта «традиция» восходит к безграмотной и совершенно необоснованной характеристике, которая была дана Н. Хомскому одним из советских газетных международных обозревателей, не имевшим никакого представления о действительной политической позиции Н. Хомского, которая отличается как раз весьма критическим отношением ко многим действиям Белого дома (за что он и подвергался преследованиям).

История с Н. Хомским — еще одна достаточно поучительная иллюстрация наведения порядка в науке с помощью идеологического императива. Как указывалось, эта история наряду с тем, что было выше сказано об интерпретации структурализма, всего лишь отдельные примеры того, каким образом и какими средствами оберегается идеологическая чистота советской науки о языке и к тому же теми ее представителями, которых никто и не уполномочивал «бдеть» и которые, как уже было сказано, сами присвоили себе право вершить идеологический суд.

В 1983 году Б. А. Серебренников (уже будучи академиком) опубликовал книгу «О материалистическом подходе к явлениям языка»,

вызвавшую среди советских языковедов замешательство. Подвергнув рассмотрению ряд фундаментальных проблем лингвистики и проанализировав способы и средства, какими эти проблемы решаются рядом лингвистов, Б. А. Серебренников констатировал, что марризм и не умирал и продолжает давать свои достаточно обильные побеги и ныне. Марризм на нынешнем этапе своего существования принимает форму, которую Б. А. Серебренников назвал неомарризмом. Он при этом предупреждает: «Марризм в деятельности неомарристов принимает более утонченные и завуалированные формы». И при этом поименно указывает, кто входит в когорту неомарристов. Весьма характерно то обстоятельство, что в ней оказываются не только те ученые, научная родословная которых восходит непосредственно к «новому учению» о языке Н. Я. Марра, но также и те, кто в свое время боролся с марризмом, — например, уже упоминавшиеся О. С. Ахманова и Р. А. Будагов. Как же могло случиться, что теперь они оказались в одном ряду?

Следует думать, что все объясняется тем, что был упущен тот аспект, который, как указывалось, объединил марризм с лысенковщиной, пролеткультом, «платформой» Покровского и пр. Тот самый аспект, который любое научное содержание сводит к идеологическому потенциалу. Применительно к языкознанию он словами Ф. П. Филина принимает такую форму: «Освобождая науку от идеалистических фикций, мы тем самым создаем условия для подлинного ее расцвета и ставим преграду для ее использования против прогресса».

Не допускать! Вот лозунг, который объединяет, казалось бы, несоединимые фигуры. Не допускать генетики, кибернетики, теории относительности и многого другого. Не допускать структурализма, формализма, использования математических методов и также много другого, на что Ф. П. Филин, В. И. Абаев, О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, В. З. Панфилов и присные им поставят клеймо «идеалистического», огородив дорогу к научному прогрессу одним и тем же набором авторитетных цитат, которыми они пользовались и тогда, когда воевали друг с другом.

Так что же происходит в советском языкознании в настоящее время? Частично об этом и была речь выше. Но, конечно, феномен неомарризма далеко не покрывает собой всей картины современной советской науки о языке. Естественным образом ее достижения в первую очередь связаны с исследованиями русского языка — описаниями его грамматического строя, работами по исторической и современной лексикографии. Но вне внимания советских лингвистов не остались также языки Востока и Запада, изучению которых посвящено

немало специальных монографий. Активное участие принимают советские ученые и в разработке проблем, связанных с такими исследовательскими направлениями, как социолингвистика, прагмалингвистика, логический анализ естественного языка, коммуникативная грамматика и пр. И все же...

Здесь достаточно упомянуть о чисто внешнем факторе. Советский Союз бесспорно занимает среди развитых стран первое место по наименьшему количеству лингвистических периодических изданий. Фактически в Советском Союзе издается один единственный собственно лингвистический журнал общесоюзного значения. В крайне небольшом количестве других журналов, помещающих на своих страницах статьи по лингвистике, — вроде «Известий АН СССР. ОЛЯ» или «Филологических наук» — лингвистика представлена лишь как одна из частей филологического комплекса наук. И это при том, что колоссальную страну населяют сотни народов, говорящих во многих случаях на совершенно неописанных языках.

Теперь о самом главном. О теоретических основаниях советской науки о языке. Поскольку языкознание традиционно относится к общественным наукам, методологические обоснования его теоретических построений приобретают особую значимость. Как явствует из настоящего изложения, материалистическая и — более конкретно — марксистская ориентация считалась главной и наиболее характерной чертой советского языкознания. Отвлечемся от того, каким истолкованиям подвергалась эта ориентация и какие формы получало ее применение на протяжении всей истории советского языкознания. Об этом много говорилось выше. Обратимся к принципиальной сущности этой установки и предписанию обязательного следования ей.

В 13 номере за 1987 год журнала «Коммунист» помещены выдержки из работы П. Капицы «Наука и общество». Написанная в 1960 году, она во многом совпадает с тем периодом, когда происходило формирование современной советской науки о языке. Итоговое завершение этого процесса предстает перед нами в нынешнем ее состоянии. В этой работе можно прочесть следующее: «Делать из марксистской науки прокрустово ложе, конечно, противоречит духу и смыслу марксизма. Создавшееся у нас положение с общественными науками явно нам вредит». Эти слова вполне допустимо рассматривать как общее заключение к тем событиям в советском языкознании, о которых рассказывалось в настоящем изложении. П. Капица не ограничивается констатацией приведенного печального диагноза, но и дает свои рекомендации к преодолению отрицательных факторов и тенденций: «Отсутствие полемики... есть несомненный объек-

тивный показатель застоя наших общественных наук. Чтобы допустить полемический метод развития наук, надо снять шоры и отказаться от догматики». Но самое главное: «Чтобы обеспечить развитие общественных наук, надо дать свободу исканий, приучить ученых не бояться ошибок. Организационные мероприятия для развития базисной и поисковой общественной науки должны быть примерно те же, что и для естественных наук. Надо изолировать науку от влияния административного аппарата, активизировать участие общественности в организации науки». Создается впечатление, что эти строки были написаны в наши дни.

Но значит ли приведенная констатация и сопровождающие ее рекомендации, что советское языкознание должно проявить полное безразличие к своей методологической основе? Нет, не значит. Но это значит, что между наукой и идеологией нельзя ставить знака равенства. Это утверждение охотно принимается, когда речь идет о таких науках, как математика или химия (впрочем, история с кибернетикой показывает, что идеология способна вторгнуться и в их ряды). Однако применительно к языкознанию оно не принимается в расчет, о чем и свидетельствует настоящее повествование. Это делается на том основании, что языкознание относится к общественным наукам, которые, как сказано, не могут быть равнодушны к идеологии. Как же примирить эту позицию с приведенным высказыванием П. Капицы (имеющим в виду как раз общественные науки) о попытках изобразить марксистскую науку в виде прокрустова ложа?

Во всем этом и следует в первую очередь разобраться советской науке о языке, чтобы преодолеть застой, в котором она оказалась в немалой степени благодаря усилиям неомарристов. К числу немногих честных попыток осуществить эту нелегкую работу и следует отнести упоминавшуюся книгу Б. А. Серебренникова.

Он пишет: «Материальный подход к явлениям языка составляет самую главную и основную особенность марксистского языкознания. “Материалистическое мировоззрение, — говорит Энгельс, — означает просто понимание природы таковой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений”. Применительно к языку это определение может звучать: “Материалистически понимать язык — это значит понимать его таким, каков он есть, без всяких посторонних прибавлений”». Эта простая и ясная формула, однако, не снимает всех сложностей, связанных с языком, так как «Понимать язык таким, каков он есть, — продолжает Б. А. Серебренников, — без всяких посторонних добавлений, необычайно трудно. История мирового языкознания наглядно показывает, что язык либо пытаются уподобить чему-то другому, на что он не похож, либо приписать ему то,

чего в нем нет, или не замечать того, что в нем есть». Все, о чем здесь рассказывалось об истории советского языкознания, можно рассматривать как конкретный пример, иллюстрирующий это утверждение.

Трудности изучения языка («без всяких посторонних добавлений») обуславливаются поразительной сложностью этого феномена, находящегося в многозначных отношениях взаимосвязанности с различными человеческими и общественными образованиями. И стоять на материалистической основе прежде всего значит не следовать его единственно возможному толкованию, изрекаемому самозванными ортодоксами. Такой подход представляет язык как одномерное явление, тем самым совершенно искажая его природу. Собственно как раз заклинания идеологических оракулов, отгораживающих язык от всестороннего его познания, так же как и поддержка этой позиции со стороны административного аппарата (о чем писал П. Капица), и составляют те самые «посторонние прибавления», от которых и надо в первую очередь избавить советское языкознание, предоставив ему возможность научно-доказательного постижения языка «таковым, каков он есть», и испытывая при этом разные пути приближения к этой цели. Рабски следуя же раз и навсегда заданной догме, наука не может развиваться. Точно так же нельзя представлять ее развитие в виде смены одной догмы другой (к чему в сущности сводится теория научных революций Куна).

В связи со сказанным надо отдельно остановиться на проблеме использования в языкознании различных методов. Едва ли надо доказывать, что не существует универсального метода, способного решить все проблемы той или иной науки. Каждый метод нацелен на решение определенной проблемы или совокупности родственных проблем. И если все же ориентировать науку на применение единого метода, это значит сузить возможности науки до тех целей, которые оказываются достижимыми посредством данного метода. Но именно так и поступает тот же Ф. П. Филин, когда в приведенном выше высказывании требует подчинения всего советского языкознания лишь делу построения «громадного здания» сравнительно-исторической науки о языке.

Здесь уместно сделать одну оговорку относительно некорректного употребления научных терминов, смешение содержания которых нередко используется нарочито в целях доказательства правоты своей точки зрения. Так, когда говорят о сравнительно-исторических исследованиях или о том же структурализме в языкознании, совершенно нерасчлененно применяют их и к методам, и к методологической ориентации, и к общенаучным принципам. Между тем это раз-

личные вещи, точно так же как и различно их отношение к исходным философским позициям.

Если иметь в виду сравнительно-исторический *метод*, то его рабочие возможности весьма ограничены. По определению этот метод, опираясь на генетическое отношение языков, служит целям воссоздания (реконструкции) отдельных утерянных фактов истории родственных языков. Сводить всю науку о языке к решению этой задачи фактически означало бы ее обесценение, низведение до положения в одном ряду с геральдикой или с фрагистикой. Если иметь в виду сравнительно-историческое *языкознание* (а именно так оно обычно и упоминается), то его определение обычно довольно туманно и маловероятно, и уж, во всяком случае, не содержит четко выраженной методологической ориентации. Например, в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой можно прочесть: «СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ. Связанный с применением сравнительно-исторического метода, основанный на сравнительно-историческом исследовании». По сути дела в такого рода определениях нет даже простого их соотнесения с предметом исследования — с языком. Они толкуют лишь об общенаучном принципе. А еще Н. В. Крушевский, отмечая, что «науку не называют по ее методу, а по ее объекту», писал, что исторический подход, как и «сравнение не есть метод, принадлежащий единственно науке о языке; он свойствен ей постольку же, поскольку свойствен и другим наукам». Опять же, если замкнуть науку о языке в пределах использования только данного общенаучного принципа, это значит обречь ее на рассмотрение объекта лишь в одном из возможных его аспектов, кстати говоря, мало чего говорящего о природе этого объекта.

Сложнее обстоит дело со структуризмом. Уже на ступени метода нам приходится иметь дело с неоднозначными явлениями. Здесь перед нами по меньшей мере три метода: глоссематика, дескриптивная лингвистика и структуризм (функционализм) Пражского лингвистического кружка, получающие в советском языкознании различную оценку.

Методологическая ориентация структуризма, как уже было сказано выше, характеризуется отказом от приоритета изолированных фактов, углубленным вниманием к выявлению внутренних отношений в данном состоянии языка и истолкованием его элементов как взаимодополняющих друг друга и зависящих друг от друга. Эта методологическая ориентация есть производное от общенаучного принципа, в соответствии с которым структура есть «неотъемлемый атрибут всех реально существующих объектов». Здесь наличествует последовательная зависимость, исходной величиной которой явля-

ется общенаучный принцип, с которого, очевидно, и надо начинать методологическую оценку структурализма. Что же касается структурных методов, то их критическое рассмотрение следует в первую очередь осуществлять с точки зрения того, в какой степени они реализуют свой общенаучный принцип, естественным образом при том неперенном условии, что сам по себе научный принцип не отвергается по тем или иным, но в обязательном порядке (без посторонних добавлений) доказательным обстоятельствам. Судить же о структурных методах независимо от их исходного общенаучного принципа столь же правомерно, сколько толковать о человеческих поступках в отвлечении от самого человека.

Оба общенаучных принципа — сравнительно-исторический и структурный — дают возможность взглянуть на язык с разных точек зрения (и они, конечно, не исчерпывают собой количество возможных аспектов изучения), ставят перед собой разные задачи и используются для решения различных проблем. В соотнесении со всеми этими факторами и следует рассматривать их, отнюдь не обязывая один принцип выполнять работу другого. И самое главное — не противопоставлять друг другу, следуя правилу: или—или. Если они оправдывают себя в исследовательской практике, если они успешно выполняют те «работы», для которых предназначаются, то они в равной мере имеют право на существование и никто из них не имеет оснований на приоритетное положение. Не следует забывать и о способности различных подходов при изучении языка к сотрудничеству друг с другом (о чем также говорилось выше). В этой связи в рассматриваемых случаях уместно упомянуть о методе внутренней реконструкции, в котором сочетаются структурализм со сравнительно-историческим изучением.

В какой же мере оба разобранных (всего лишь в качестве примера) общенаучных принципа укладываются в материалистический подход к изучению языка, как он интерпретируется Б. А. Серебренниковым (с опорой на высказывание Ф. Энгельса)? Ответ напрашивается сам собой. Если отвлечься от всяческих посторонних добавлений, базирующихся лишь на рассмотрении конкретных методов без соотнесения их с исходными величинами и строящихся на принципе противопоставления (или—или), то следует признать, что и тот и другой принципы обладают равными правами. Сам по себе структурализм не менее материалистичен, чем сравнительно-историческое изучение языка.

Заканчивая таким образом рассмотрение вопроса о методологических основаниях советской науки о языке, вполне правомерно прийти к следующей формуле (несколько видоизменяющей ту, кото-

рая предложена Б. А. Серебренниковым): материалистическим следует признать любой общенаучный принцип и любой соотнесенный с ним метод, которые способствуют познанию чрезвычайно сложной природы языка и решению связанных с ним теоретических и практических проблем. Этот вывод полностью согласуется со словами П. Капицы о необходимости отказаться от представления марксистской науки в виде прокрустова ложа и следует тем рекомендациям, которые он предлагает для преодоления этого представления и проистекающих из него негативных последствий.

Готова ли советская наука о языке к реализации этих рекомендаций? К тому, чтобы взять на вооружение эту формулу и следовать ей в своей исследовательской практике? К сожалению, на эти вопросы не представляется возможным дать положительных ответов. Единственный в Советском Союзе лингвистический журнал продолжает публикацию статей, либо пропагандирующих взгляды неомарксистских ортодоксов, либо старательно отгораживающих теоретические пределы, преступать которые возбраняется советским языковедам. Эта политика находит свое отражение и в административных мероприятиях, направленных на организацию научной работы. И осуществляется она учеными-аппаратчиками, занимающими вполне почетные посты. В контексте же настоящего изложения, пожалуй, наиболее наглядным образом малоутешительное положение в советском языкознании характеризует тот прием, который был оказан упоминавшейся книге Б. А. Серебренникова, направленной против того, что он назвал неомарризмом. Было сделано все возможное, чтобы представить ее появление в виде поступка дурного тона, замечать который не принято в великосветском научном обществе.

Застойная ситуация, сложившаяся в современном советском языкознании, находит свое выражение и в тех ее аспектах, которые непосредственно связаны с практическими потребностями страны. Их учет заставляет по-новому взглянуть и на сам статус науки о языке в современном мире.

Науки живут и развиваются не в абсолютной изоляции друг от друга. Классификационные разграничения наук, осуществляемые на основании каких бы то ни было принципов, постоянно нарушаются в результате тех или иных форм их взаимодействия, и даже разделение на гуманитарные (общественные) и естественноведческие науки, имеющее максимально общий характер, получает все более и более условное толкование. Взаимосотрудничество наук, нарушающее классификационную строгость, находит свое выражение и в возникновении так называемых «пограничных» наук, в которых вступают

в союз науки, казалось бы, далеко отстоящие друг от друга (биотехника, инженерная психология, генная инженерия и пр.).

Наука о языке, пожалуй, особенно охотно шла на сотрудничество с другими науками — это во многом обуславливается чрезвычайно сложной и даже загадочной природой изучаемого ею объекта. Разнонаправленность научных исследований, прибегающих к помощи самых различных наук, привела к формированию целого ряда «лингвистик» (постоянно пополняющегося) — прагмалингвистики, социолингвистики, психолингвистики, нейролингвистики и даже... шизолингвистики.

Подобного рода тенденции к сотрудничеству самых различных наук, к развитию контактов между ними ныне подводятся под понятие научных метафор. Именно научные метафоры способствуют заимствованию у одних наук методических принципов (и даже конкретных методических приемов) и распространению их уже в качестве общенаучных принципов на широкий круг других наук. Обращаясь к лингвистике, следует констатировать, что научные метафоры не только обогащали ее методический арсенал, но и способствовали выявлению новых аспектов в предмете ее изучения, нередко по-разному представляя и его сущностный облик. Так, логическая метафора, начала которой восходят к классической древности и которая используется и ныне (логический анализ естественного языка), прилагает к исследовательским лингвистическим операциям логический аппарат, ориентируясь на постулат истинности высказываний. Принцип сравнительного рассмотрения, который (как уже указывалось) лингвистика разделила со многими другими науками, имеющими дело с изменяющимися во времени объектами, содействовал возникновению сравнительно-исторического языкознания. Естествоведческая метафора, использованная А. Шлейхером, представляла язык в виде организма со всеми свойственными ему жизнепроявлениями. Вдохновленный успехами точных наук, младограмматизм поставил перед собой задачу превращения лингвистики в законополагающую науку. Собственно для выявления законов и понадобился младограмматикам исторический подход к рассмотрению языка (хотя в своих декларациях они противопоставляли себя ему). Следуя теориям строения вещества, развиваемым, например, в химии, а также обращаясь к примеру гештальт-психологии, в науке о языке возникла структурная метафора. Семиотическая метафора, трактующая язык как знаковую систему, включила изучение языка в более широкий и, по-видимому, слишком сильный по своим объяснительным потенциям научный контекст. Наконец, трансформационная порождающая грамматика Н. Хомского основывается на математи-

ческой метафоре, хотя и апеллирует к психологическим аргументам.

Что касается советской науки о языке, то, как показывает настоящее изложение, она с самого своего начала основывалась на идеологической метафоре, при которой идеологические аргументы преобладают над научными доказательствами. К сожалению, советское языкознание не освободилось от настоящего воздействия этой метафоры и поныне.

Возникновение научных метафор носит отнюдь не произвольный характер, оно диктуется стремлением идти в ногу с развитием других наук и удовлетворять связанные с этим развитием общественные запросы. В современном мире чрезвычайное и даже решающее значение получило возникновение компьютерной метафоры, обусловленное событиями такого глобального масштаба, каким является компьютерная революция. Компьютерная метафора распространила свое воздействие на широкий круг наук, но, пожалуй, наибольшим преобразованиям она подвергла лингвистику. Поскольку интеллектуальные компьютерные системы (искусственного интеллекта или экспертные системы), служащие основой компьютерной революции, оперируют знаниями, а знания порождаются человеком с обязательным участием языка и фиксируются языком (который и поставляет машинам то «сырье», на котором они работают), постольку по-новому был поставлен вопрос о рабочих возможностях языка и форм его взаимодействия, с одной стороны, с человеком, а, с другой стороны, с машиной.

Компьютерная метафора потребовала от науки о языке в первую очередь тех данных, которые позволили бы понять механизм различных, основывающихся на знании форм деятельности человека — и в том числе, конечно, его коммуникативной деятельности, которая ныне должна включать и общение человека с машиной. Конструкторы интеллектуальных компьютерных систем пришли к твердому убеждению, что ключевая роль здесь принадлежит языку. Как пишет один из ведущих представителей этого, казалось бы, сугубо технологического направления — Р. Шенк, «То, что начиналось как изучение языка, постепенно превратилось в теорию познания и организации знания», в теорию, которая требует формулирования своих положений в соответствующих терминах и должна исходить из процессуальных представлений, поскольку в данном случае имеется в виду механизм исполнения определенных «работ». Иными словами, понадобился ответ на вопрос о том, как человек, используя язык, осуществляет свою мыслительную деятельность, порождающую знания, которые, в свою очередь служат основой его целенаправленного поведения. Едва ли есть надобность подчеркивать «материаль-

ную» значимость результатов подобного рода направленности исследований, присваивающих языку и науке о языке совершенно новый статус.

Множество проблем, связанных с этим направлением исследований, и привлекает сейчас настоятельное внимание мировой лингвистики. Имеется в виду не только собственно компьютерная лингвистика (еще одна из многих «лингвистик»), специалистов по которой ныне готовят 62 университета США (а также, разумеется, и другие страны), но наука о языке в целом.

Не приходится скрывать, что мировая наука о языке, занятая решением множества других проблем, которые она получила в наследство от прошлого и которые были продиктованы иными научными метафорами, оказалась все еще не способной дать ответы, которые поставила перед нею компьютерная метафора. Но она хорошо осознала всю решающую значимость связанных с ней насущных потребностей и делает все возможное, чтобы удовлетворить их.

Совершенно очевидно, что и советская наука о языке обязана повернуться лицом к этим потребностям, если она не хочет отстать от своего времени. К этому ее обязывает весь ход компьютерной революции, оказывающий мощное воздействие на все виды общественной и даже личной жизни. Наука о языке ныне является одним из самых существенных компонентов в реализации тех обещаний, которые сулит компьютерная революция. Именно поэтому советская наука о языке, не забывая своих прежних научных долгов, обязана идти теми же путями, какими идет компьютерная революция, и в современном мире ее место — в одном строю с ней.

(1980)

А. С. Чикобава

КОГДА И КАК ЭТО БЫЛО

Краткий наш доклад (О стадиях развития языка Н. Марра) написан давно, в 1949 г. (в разгар господства в советском языкознании «Нового учения о языке» акад. Н. Я. Марра).

Доклад был написан по предложению тогдашнего руководителя Республики — Чарквиани Кандида Несторовича, куратора 8-томного «Толкового словаря грузинского языка» (I т. — 1950 г., VIII т. — 1964 г.).

В 1949 г. Н. Я. Марра не было в живых (он скончался в 1934 году), но «Новое учение» Н. Я. Марра неограниченной властью пользовалось как воплощение единственной марксистской теории, противостоящей «буржуазной реакционной индоевропеистике».

«Новое учение» Н. Марра создавалось в 1923—1926 гг. на основе четырехэлементного палеонтологического анализа: все языки якобы ведут начало от одного и того же материала (племенных названий: *Sal, Ber, Jon, Ros*, и их многообразных скрещений). Почему именно «четыре элемента», конечно, не уточнялось Н. Марром (вольная гипотеза об «изначальном состоянии»).

Однако Н. Марр считал, что и *теперь* в любом слове можно и должно выявить исходный элемент: без этого сравнение языков недопустимо; если же элемент «выявлен», можно сравнивать без ограничений слова любых языков (китайского, финского, грузинского, еврейского...).

Так насаждался неслыханный произвол в сравнении *слов и языков*.

Никто не стал бы считаться с такими «суждениями», но это заставлял академик Марр, крупнейший востоковед, автор ценнейших исследований по армянской и грузинской филологии, известный исследователь картвельских языков и ряда других языков Кавказа.

С *палеонтологическим элементным* анализом внутренне связана и марровская *теория стадияльного* развития: по *исходному материалу* в языках наблюдается единство, различаются же они по ступеням (*стадиям*) развития.

Н. Марр и его «Новое учение» опиралось не только и не столько на научный авторитет старых работ Н. Марра.

В 1928 году Н. Марр писал: «Теперь некуда уходить: от разлагающих старое учение семян яфетической теории нельзя спастись (!) ни в какой стране, ни в какой научной эмиграции, ни внешней, ни внутренней».

На подобных средствах прежде всего и держалось монопольное положение четырехэлементного палеонтологического анализа Н. Марра.

Н. Марр скончался в 1934 году. Продолжатель Н. Марра — акад. И. И. Мещанинов — элементам (и их фонетическому «обоснованию») посвятил статью «Основные лингвистические элементы (в яфетидологическом их освещении)», но после Н. Марра ни использованием элементов, ни их обоснованием не занимался.

Однако от монопольного положения «Нового учения» не отказывался: *монополия сохранялась* на основе стадияльно-типологических схем.

В 1940 г. на заседании Отделения Литер. и Языка АН СССР, где обсуждался доклад А. С. Чикобава о *сущности языка* в понимании Пауля, Соссюра, Фосслера..., Марра... (с принципиальных установок советского языкознания), руководитель ОЛЯ акад. И. И. Мещанинов заявил, что Институт Языка и Мышления *«не работает по элементам»* и заслушанный доклад *будет опубликован* в «Известиях ОЛЯ АН СССР» (это вызвало возмущение ряда участников заседания).

Доклад с критикой элементной палеонтологии Марра в «Известиях ОЛЯ» не был напечатан, зато была напечатана редакционная статья И. И. Мещанинова, где палеонтологические элементы уже не отклонялись: «Новое учение» без элементов *не получалось*. Диктатура элементов *продолжалась*.

В 1947 г., когда требовалось преодолеть тяжелые последствия военных лет, в Академии наук СССР была проведена дискуссия по вопросам *биологии*. Судьбы биологической науки оказались в руках акад. Т. Лысенко, автора *стадиальной теории развития растений*.

Теория эта якобы могла обеспечить «двойной урожай картофеля», «ветвистую пшеницу» и т. п. блага. Началась тяжелая эра *монополии* акад. Т. Лысенко и его *стадиальной теории*.

В 1948 г. в Ленинграде Институт Языка и Мышления имени Н. Я. Марра провел специальную сессию, посвященную результатам дискуссии по вопросам биологии: если теория *стадиального развития растений* получила официальную санкцию, того же заслуживает теория *стадиального развития* языков Марра.

В 1949 г. Президиум Академии Наук СССР на специальном заседании обсудил «положение на лингвистическом фронте» и постановил: считать «Новое учение» акад. Н. Марра *единственной* материалистической марксистской теорией языка; а все, несогласное с нею, решительно устранить.

Правда, это не было *постановлением директивного органа*, но постановление исходило от самого авторитетного научного учреждения страны; монополия в советском языкознании была признана за «Новым учением» Н. Марра.

Инакомыслящих обвиняли во всех смертных грехах — идеологических, политических.

Ждали оргвыводов. Они уже принимались по местной инициативе (так в Армении из Ереванского гос. университета были отстранены акад. Р. Ачарян, известный лингвист, и академик-секретарь ОЛЯ акад. Гр. Капанцян).

1949 г. был не из легких в советском языкознании.

* * *

В начале статьи было отмечено, что весной 1949 г. мне было поручено написать статью о «стадиях развития языка» Н. Марра.

В начале апреля 1950 г. меня предупредили из директивного органа нашей Республики, что на днях мне предстоит поездка в Москву: «Вопросы языкознания будут там обсуждаться с *секретарями ЦК* и Вам следует подготовиться».

И вот 10 апреля вечером мы (первый секретарь К. Чарквиани, Председатель Совета Министров Республики, два министра и я) оказались в Москве на даче И. Сталина.

Обсудили лишь вопросы языка: замечания Сталина о «Толковом словаре грузинского языка» (первый том которого перед тем вышел) и вопрос о «Новом учении» Н. Марра...

Было решено провести дискуссию: дискуссионную статью поручили написать мне «Напишите, посмотрим. Если подойдет, напечатает. А это ваш доклад, возвращаю», и Сталин положил на стол папку (с докладом о стадиях языка), но тут же добавил: «Впрочем, пока оставляю у себя: посмотрим, как об этих вопросах Вы теперь напишете, а потом доклад верну».

* * *

Дискуссионную статью, написать которую мне поручили 10 апреля 1950 г., И. Сталин читал два раза и делал свои замечания. Для их обсуждения мне пришлось дважды побывать на даче И. Сталина, где обсуждения эти длились по 2-3 часа.

Сталин терпеть не мог неясностей. Вопросами языка он интересовался по существу в связи с национальным вопросом. Вопреки распространенному мнению, спорить с ним можно было. Бывало он и соглашался («В этом Вы, пожалуй, правы!»).

О палеонтологическом элементарном анализе Марра («Гадания на кофейной гуще», как это во время дискуссии называл Сталин) он информации не имел, но ультралевая крикливая фраза Марра его отнюдь не убеждала («Марр много *кричал* о марксизме, но он не был марксистом» — его выражение на встрече 10.IV.1950 г.).

Положительно к Марру И. Сталин, видимо, не относился и до дискуссии.

Так, летом 1930 г. на XVI съезде И. Сталин имел возможность слушать приветственное выступление Н. Марра от имени ВАРНИТ-СО (характерное для Н. Марра не только по стилю):

«С первых же Октябрьских дней я встал по мере своих сил плечом к плечу с товарищами-коммунистами и вместе с беспартийными созвучно закала помогал делу беспримерного по размаху рево-

люционного научно-культурного строительства... Октябрьская революция раскрепостила всех трудящихся, в числе их и ученых, томившихся в плену беспросветного идеализма».

«В условиях полной свободы, которую дает науке Советская власть, помогающая самым смелым, самым дерзким научным исканиям в области подлинного материалистического мировоззрения. Я старался развивать и продолжаю, уже с новыми кадрами научных работников-коммунистов и стойких беспартийных соратников, развивать теоретическое учение о языке, в области которого я веду свою научную работу. Осознав фикцию аполитичности и, естественно, отбросив ее, в переживаемый момент обострившейся классовой борьбы я твердо стою на своем посту бойца научно-культурного фронта — за четкую генеральную линию пролетарской научной теории и за генеральную линию коммунистической партии. Такой беспартийный, я думаю, имеет право быть уполномоченным для высокой части огласить перед вами, товарищи, ответственный документ от имени ВАРНИТСО».

Будучи руководителем делегации ВАРНИТСО, беспартийный Н. Марр выступил на XVI съезде ВКП(б) с речью, которой позавидовал бы старый член партии.

Вскоре Н. Марра приняли в партию, и он решил расправиться с инакомыслящими.

Прежде всего это касалось Тбилисского университета, где в 1933 году ему предлагали быть ректором (работник ЦК КП Грузии К. Орагвелидзе), но Москва не дала согласия (Марр был вице-президентом АН СССР).

Неожиданно возник в Москве вопрос о чествовании 45-летия научной деятельности Н. Марра (дата неюбилейная!), что не могло не насторожить его (Н. Марр не дожил до 45-летия научной деятельности).

* * *

В один из очередных дней обсуждения текста проекта доклада И. Сталин *вне контекста* произнес: «А Лысенко никому жить не дает» (проработки биологов Лысенко, обвинения биологов в «вейсманизме—морганизме» не одобрялись, видимо, И. Сталиным).

В следующий раз он повторил: «Лысенко ведь никому жить не дает».

«Говорят, — сказал я, — двойной урожай картофеля, ветвистая пшеница» (об этом тогда много писалось в газетах!).

«Двойной урожай картофеля! Ветвистая пшеница — это еще воп-

рос: Лысенко же жить никому не дает», и добавил: «Мы будем его критиковать!».

* * *

«*Стадиальное развитие растений*» Тр. Лысенко было основой для того, чтобы требовать монопольного положения для «*стадиального учения о языке*» Н. Марра (со стороны последователей Н. Марра).

Теперь выявилась несостоятельность и того, и другого.

* * *

Характерен эпизод, свидетелем которого мы стали во время первой встречи с И. Сталиным на его даче (10.IV.1950).

Ему стало известно, что в Армении освобождены от работы несогласные с «Новым учением» Н. Марра, академики АН Арм. ССР Грачья Ачарян (из Ереванского университета) и Гр. Капанцян (академик-секретарь АН Арм. ССР). И. Сталин расспросил нас об этих специалистах и затем вызвал тут же по телефону из Еревана секретаря ЦК КП Армении Арутюнова.

Разговор был кратким.

Поздоровавшись, И. Сталин спросил:

«У Вас там снимали профессоров Ачаряна и Капанцяна?»...

«Почему?»...

«Других причин не было?»...

«Неправильно, товарищ Арутюнов, поступили...»

И положил трубку.

Откровенно говоря, мы выслушали разговор с чувством глубокого удовлетворения.

Акад. Ачарян и акад. Капанцян были восстановлены на работе еще до начала дискуссии.

* * *

Наша статья «О некоторых основных вопросах советского языкознания» была напечатана в газете «Правда» 9 мая 1950 года (этим открылась известная дискуссия по вопросам советского языкознания).

(1985)

Ф. П. Филин

МОЙ ПУТЬ В НАУКЕ

Я начинал свой лингвистический путь здесь, в Москве. Было такое учреждение: II Московский государственный университет, отличавшийся от I Московского государственного университета, потом реформированный, уже после того, как я его закончил, на три учреждения: II Медицинский институт, Химико-фармацевтический институт и Педагогический институт имени В. И. Ленина. Главное здание Пединститута известно, на Новодевичьем поле, а наше отделение русского языка и литературы помещалось вот тут недалеко, в Курсовом переулке, за бассейном [имеется в виду бассейн «Москва», напротив которого расположено здание Института русского языка АН СССР и ОЛЯ АН СССР] в старинном трехэтажном здании, где я и приобщился к науке о языке.

Это был конец 20-х годов. В то время зарождалась и формировалась Московская фонологическая школа. В Москве были прекрасные кадры ученых, педагогов. Назову некоторых из них: это А. М. Пешковский, лекции которого мне приходилось слушать, Д. Н. Ушаков, А. М. Селищев, это недавно скончавшийся кавказовед профессор Н. Ф. Яковлев, профессор Л. И. Жирков (тюрколог), это член-корреспондент АН СССР Н. М. Каринский, профессор М. Н. Петерсон, юный в те годы профессор Г. О. Винокур, начинающие Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров и некоторые известные вам фамилии, в те времена — молодые ученые. Мне пришлось учиться прежде всего на этом отделении у Н. М. Каринского, ученика академика А. И. Соболевского, у профессора М. Н. Петерсона. У первого я познавал начатки истории русского языка и диалектологии и сравнительного славянского исторического языкознания. Второму, Михаилу Николаевичу Петерсону, я чрезвычайно признателен тем, что он своим строгим методом и тренировкой обучил меня владеть фонетической транскрипцией, что потом, в дальнейшем, очень пригодилось.

Кроме этих педагогов, были и другие, которые также оказывали на наше поколение серьезное воздействие: литературоведы, такие, как фольклористы братья Соколовы, Н. К. Гудзий, член-корреспондент АН СССР Н. К. Пиксанов и многие другие. А напротив, на Берсеневской набережной, в старинном московском здании помещался Институт народов Востока, куда часто приезжал проводить семинары с аспирантами и сотрудниками академик Н. Я. Марр.

Два года я посещал эти семинары. И после окончания университета Н. Я. Марр дал мне характеристику, рекомендацию для поступления в аспирантуру Яфетического института Академии наук СССР в Ленинграде (само наименование какое: Яфетический институт — так он тогда назывался). Впрочем, иначе я поступить и не мог. В 1931 году положение было такое, что в Москве по лингвистике аспирантуры не существовало. Совсем. Вся аспирантура находилась в Ленинграде. Там был центр, там была Академия наук СССР. И я, естественно, воспользовался рекомендацией академика Н. Я. Марра и поехал в Ленинград, где (об этом я буду говорить) встретился со своими молодыми товарищами и друзьями, из которых уже многих нет в живых (но есть и ныне живущие). Это была первая аспирантура вообще в Академии наук, которая началась в 1929 году.

С. Г. Бархударов, аспирант поступления 1929 года (я немного позже поступил в аспирантуру), В. Н. Ярцева, С. Д. Кацнельсон, М. М. Гухман, Р. А. Будагов, В. И. Абаев... Тогдашние молодые, юное поколение лингвистов. В Ленинграде были сконцентрированы очень большие лингвистические, филологические силы. Прежде всего, сам директор Института — Николай Яковлевич Марр.

Что нас, молодежь того времени, привлекало к этому ученому? Н. Я. Марр был фигурой исключительной. Сын шотландца, переехавшего в Россию в XIX веке, и грузинки, он с юных лет оказался в разноязычной среде. И уже в гимназии проявил исключительные способности к изучению различных языков. Когда я его знал, он владел примерно 60—70-ю языками. И не только теоретически. При нас он свободно переходил (приезжали иностранные ученые) с турецкого на персидский, с персидского на армянский. Не говоря уже о западноевропейских языках, которыми он владел, как русским языком. Но дело не в его полиглотизме. Знаний у нас тогда было очень немного. Нас привлекал гигантский масштаб его идей.

Какую задачу он перед собой поставил? А также и перед нами? Традиционное сравнительно-историческое индоевропейское языкознание ограничивалось, да, впрочем, и теперь ограничивается изучением небольшого в истории человечества среза языкового — 4—5 тысяч лет. Для истории человека это очень немного. Тогда, во времена Марра, считалось, что человек, человеческое общество существует примерно миллион лет. Теперь, по данным современной антропологии, выясняется нечто другое: предки человека, их останки, которые находим в Африке сейчас, насчитывают уже 2,5—3 миллиона лет.

И вот стал вопрос, вечный вопрос лингвистики: когда, с какого времени начинается язык. Н. Я. Марр попробовал дать общую кар-

тину развития языков мира, начиная от самого становления человеческого общества до нашего времени (по тогдашним временам миллион лет). С его точки зрения, все началось с кинетической ручной речи. Затем появились звуковые языки. Их было множество. Они проходили определенные стадии развития, пока не дошли до теперешнего состояния. Это было необычайно увлекательно. Такая идея, кстати говоря, сохраняет свою силу и будет сохранять ее долго, потому что, несмотря на бесконечное разнообразие и специфику каждого языка, между языками всего мира есть нечто общее — какие этапы они проходили.

Чем это все кончилось — вы знаете. Попытка Н. Я. Марра была неудачной, потерпела крах. Средства, которыми он пытался достичь своей цели, оказались непригодными. Но так или иначе воздействие его идей было на нас, молодежь, и на многих немолодых тогда людей очень значительным. Чтобы мы не ограничивались рамками своих языков, нам, тогдашним аспирантам (аспирантура тогда была не три, а пять лет), предлагали изучать и языки неродственных систем. Мне, в частности, достались грузинский язык и суоми [финский]. Когда-то я изучал их, теперь забыл, хотя какие-то представления, элементы остались. Когда я ездил отдыхать в Эстонию несколько лет, то довольно быстро научился понимать [финский, эстонский], обмениваться мнениями, разговаривать. Что-то осталось. Другие аспиранты брали другие языки. Это считалось принципиальным: брать языки других семей или, как тогда называлось, систем.

Кроме Н. Я. Марра, в Ленинграде был чрезвычайно мощный коллектив ученых, академиков. В 1931 году Академия наук по сравнению с теперешней Академией была маленькой. Всего было около 80 действительных членов Академии наук, из них свыше 20 филологов. Вот таково было соотношение. Очень мощной, сильной была группа филологов в широком смысле слова и языковедов-востоков, востоковедов. Я назову некоторые фамилии, но, вероятно, не всех сейчас вспомню. Это академики И. Ю. Крачковский, Б. Я. Владимирцов, П. К. Коковцов; замечательнейший филолог, специалист по буддизму, Ф. И. Щербатский, индолог А. П. Баранников, китаист В. М. Алексеев и ряд других.

Классические языки были представлены академиками С. А. Жебелевым, И. И. Толстым. Романо-германские языки — академиком В. Ф. Шишмаревым, членом-корреспондентом АН СССР В. М. Жирмунским, который впоследствии стал также академиком. Славянская филология была представлена академиками Б. М. Ляпуновым, которому во многом я очень признателен и обязан, С. П. Обнор-

ским, Л. В. Щербой, Н. С. Державиным. Видите, сколько я вам называю фамилий... Это люди, с которыми мы были вместе.

Коллектив небольшой (в Институте было всего человек 60—70), но вот из каких сотрудников он состоял. И мы, небольшая группа аспирантов, — среди них. Кстати говоря, в 1931 году, насколько я помню, в Академии наук СССР по всем специальностям было 180 аспирантов: по естественным, техническим, всем, всем, всем — целиком.

Крупные ученые выступали с докладами, с лекциями, и, таким образом, в очень сложной, я бы сказал, противоречивой обстановке формировалось наше лингвистическое сознание. Я не назвал Ивана Ивановича Мещанинова. Он потом, после Н. Я. Марра, стал директором Института. Тоже оказывал воздействие на формирование нашего мировоззрения.

У меня было два научных руководителя. По общему языкознанию — Н. Я. Марр, по русскому языку — С. П. Обнорский. Ученые не очень соединимые, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Так было. Занятия также проводил И. И. Мещанинов. Специальный семинар, собиравшийся каждую неделю один раз. Причем очень характерным для метода преподавания, скажем, С. П. Обнорского было то, как он к нам подходил. К кому это, к нам? Нас всего было два аспиранта-русиста. Это я и Иван Кириллович Зборовский, фамилия малоизвестная, вам ни о чем не говорящая. С. П. Обнорский не давал нам никаких вступительных лекций, а делал следующее. Он брал шахматовское издание Северодвинских грамот XIV—XV веков и предлагал: «К такому-то сроку вот эту грамоту, пожалуйста, напишите так, как будто она была в XI веке. И объясните, почему Вы так считаете, эта грамота могла бы быть написана в XI веке». Прежде всего, конечно, в фонетико-морфологическом отношении, синтаксис и лексика не затрагивались. Сначала это было чрезвычайно трудно и получалось плохо. А потом стало постепенно получаться. Тут познавалась фактическая сторона истории русского языка и русской диалектологии. Не умозрительно, а вот так: сам должен сделать. Я считаю, что это было очень хорошей школой. И я очень благодарен Сергею Петровичу Обнорскому, основателю нашего Института, его первому директору, моему учителю.

Б. М. Ляпунов вел занятия очень своеобразно. Мы с ним читали два года Остромирово евангелие. Читали, разбирали. Правда, больше он сам делал комментарии, чем мы. И за эти два года мы не продвинулись далее трех страниц, хотя занятия были очень частыми. Борис Михайлович был человеком необычайных, энциклопедических знаний в области славистики. На память — гигантское количе-

ство библиографии, всякого рода изданий, все, что связано с возникновением письменности, с возникновением евангелий, с редакциями разного рода евангелий и т. д. и т. п. Так что если мы проходили с ним 2—3 строки текста в одно занятие, это было очень хорошо.

Были и другие сотрудники, которые оказывали на нас серьезное влияние. Это в те времена совсем еще молодые профессора В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин. Думаю, русистам нечего пояснять эти фамилии, что они собой представляют. Мы были вовлечены непосредственно и тесно в самую жизнь Института, в те проблемы, которые вставали в то время. На наших глазах развернулась, в частности, острая, оживленная дискуссия об историках, происхождении русского литературного языка. С. П. Обнорский свой доклад о языке Русской Правды, который он опубликовал в 1934 году, сначала прочитал на общем собрании Института языка и мышления (так стал называться Яфетический институт). И этот доклад уже тогда выявил все те разногласия, которые по этому вопросу существуют и теперь. Были сторонники Сергея Петровича, прежде всего Л. П. Якубинский, с некоторыми вариациями, правда. Были и противники точки зрения С. П. Обнорского, во главе которых стоял Л. В. Щерба, придерживавшийся шахматовской концепции, считая ее важной и убедительной, а доводы Сергея Петровича убедительными не считал. Дискуссии эти проходили несколько дней. Потом они затухали, вновь вспыхивали. В конечном счете в 1946 году вышла книга С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода», которая получила Государственную премию.

В 1935 году впервые возникла мысль о лингвистическом атласе русского языка. Инициатором этой мысли был ваш покорный слуга, тогда еще аспирант, хотя я уже защитил диссертацию. (Получилась такая вот, очень интересная, вещь. За два с половиной года я написал диссертацию, защитил ее. И еще два с половиной года после этого находился в аспирантуре. Потом уже перешел в разряд старших научных сотрудников.) Сначала эта мысль была очень горячо поддержана: и Л. В. Щербой, и С. П. Обнорским, и Б. М. Ляпуновым, и В. И. Чернышевым, который тоже работал в нашем коллективе, и В. М. Жирмунским, одним из первых наших лингвогеографов, и Д. В. Бубрихом (известным финноугроведом), работавшим у нас. Была подготовлена чрезвычайно обширная программа, анкета. Значительно больше той, которая известна вам, по которой вы работаете. Программа собирания сведений... Она состояла из нескольких тысяч пунктов. Но когда мы ее опробовали на практике, то убедились в том, что если работать по этой обширной программе, то нам нужны, вероятно, многие-многие десятилетия, чтобы завершить эту

работу. Если не больше. Сил вообще не хватило бы. После наступила реакция на это. И был составлен известный вопросник Института языка и мышления, очень сокращенный вариант, по которому предполагалось подготовить атлас в сравнительно короткие сроки. Атлас типа того, который сейчас закончен публикацией в Польше, Малый атлас gwag польских, — по небольшой программе, но он тоже все равно вышел многотомный — 13 томов [1957—1970]. И эта работа по составлению диалектологического атласа русского языка до войны была полностью сосредоточена в Ленинграде. В Москве ее не было.

Военный период. 22 июня 1941 года началась война. В первый же день я как секретарь партийной организации Института языка и мышления АН СССР ушел добровольцем на фронт. И возвратился в Ленинград в сорок шестом году. В 1944-м, как известно, состоялась Вологодская диалектологическая конференция, на которой была подготовлена теперешняя программа, так как программный вопросник Института был сочтен неудовлетворительным, ввиду отрывочности сведений, которые в нем заключались. Я не знаю, если говорить по существу, кто тут прав, кто виноват. Я еще думаю. Вероятно, вопросник был неудовлетворителен, но все же лучше было бы (я тогда выступал с этой позиции; меня с фронта отпустили на Вологодскую конференцию на несколько дней) составить новую анкету, более ясную, более продуманную, более научно квалифицированную, но тоже краткую, с тем, чтобы охватить всю территорию русского языка и сравнительно быстро подготовить атлас. Эта точка зрения принята не была. Каковы итоги — мы с вами все хорошо знаем. Атлас у нас пока не опубликован, когда он будет опубликован, я не знаю. Вся европейская территория была разделена на одиннадцать томов, одиннадцать участков. Все мы тогда были идеалистами, думали, что все пойдет хорошо. На самом деле оказалось гораздо сложнее...

Послевоенный период вам должен быть более известен. В 1947 году я был назначен заместителем директора Института русского языка АН СССР, а также ученым секретарем Президиума Академии наук СССР, по совместительству. Директор С. П. Обнорский был очень тяжело болен, фактически в работе Института принимать ему [участия] не приходилось. Так что я фактически директором этого учреждения являюсь сейчас второй раз. Перед 1950 годом обстановка в советском языкознании была очень напряженной. Происходила острая борьба мнений. Положения «нового учения о языке», правда, трансформированные, без четырехэлементного анализа, главным образом положения школы И. И. Мещанинова, пытались насаж-

дать и административным путем, что вызвало известные события 1950 года.

Как можно расценивать эти события? Я высказываю свою, личную точку зрения. Думаю, что здесь было много положительного, но были и свои отрицательные моменты. Положительными были две вещи. Во-первых, была показана методологическая несостоятельность «нового учения о языке». И оно было, так сказать, выведено из строя действующих теорий и перешло в историю языкознания. Положительным было также то, что было восстановлено в правах сравнительно-историческое языкознание, которое было в то время в загоне. Это очень большое положительное явление.

Что было отрицательного? Это то, что та большая работа, которая проводилась в советском языкознании, пусть со срывами, пусть с ошибками, но получившая международное признание, по социальному изучению языка — социалингвистика, была практически прекращена. Отрицательным было также то, что начались серьезные репрессии по отношению к ряду сотрудников. Многие были вообще лишены работы. Всем нам было (я говорю нам — представителям «нового учения о языке» того времени) категорически запрещено вести педагогическую работу. Мы были лишены аспирантов. Все материалы, ленинградские, по атласу были забракованы и, значит, признаны недействительными...

Я не буду об этом говорить подробно. Не считаю, что это было украшением нашего языкознания, как не считаю, что были украшением языкознания и до того попытки административным путем насаждать «новое учение о языке». Вообще путь администрирования в науке — это путь не наш.

Только лишь позже, примерно с 1953—1954 года, положение начинает более или менее нормализоваться. Начинают развиваться самого разного рода направления. И их было очень много. В этом тоже была положительная сторона, но была и отрицательная. В чем я вижу отрицательные моменты того периода, которые доходят, можно сказать, до нашего времени? Ряд лингвистов, из молодежи, не только стал усваивать методику, методические приемы структурно-математического языкознания, которое должно иметь свое место в нашей науке и должно поощряться, но и пересаживать в очень, я бы сказал, широких объемах сами философские корни различных направлений, существующих на Западе. Эта проблема остается нерешенной и до сих пор, в наше время. Но я думаю, она будет решена.

Несмотря на то, что советское языкознание прошло такой нелегкий, я бы сказал, противоречивый путь — и больших достижений, и

больших ошибок, и взлетов, и падений, срывов, — я лично глубоко верю в то, что наше языкознание достигнет огромных успехов в будущем. На базе единственной прогрессивной методологии — марксистско-ленинской философии, творчески претворяемой в лингвистические исследования, в науку о языке как специфическом, особом явлении в обществе. Но это уже будущая история. И эта будущая история ляжет на плечи, прежде всего и главным образом, вот тех, которые сейчас являются комсомольцами и которые, как я надеюсь, доживут до такого возраста, когда им придется выходить на трибуну и делиться своими воспоминаниями из истории советского языкознания. Я думаю, что вам будет все-таки легче, потому что, я надеюсь, к этому времени будет написана, создана настоящая, научная, теоретически обоснованная история нашего многообразного советского языкознания, где без всякого рода личных, субъективных моментов все будет оценено должным образом. Все течения и направления займут свои места, те, которые заслуживают.

(1975)

Р. А. Будагов

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

До сих пор мы не располагаем историей советского теоретического языкознания. В общих учебных курсах по истории языкознания о советском языкознании сообщается лишь вскользь, как бы под занавес. Правда, имеются полезные хрестоматии по советскому языкознанию, но они, естественно, не могут заменить систематического курса, отсутствие которого давно уже ощущается.

Причин такого печального положения много. Попытаюсь обратить внимание на некоторые из них. За последние тридцать лет среди советских языковедов получило почти всеобщее распространение противопоставление «современная лингвистика — несовременная лингвистика». Оставалось неясным: а где же должна располагаться советская наука о языке, со своим марксистским осмыслением природы языка как «непосредственной действительности мысли», как

«практического действительного сознания». Если отождествить советскую науку о языке с «современной лингвистикой», то с какой именно из «современных лингвистик», так как их много, и они мало похожи друг на друга. Под «современной лингвистикой» понимают то математическую лингвистику, то генеративную грамматику, то дескриптивное описание, то так называемую лингвистику текста, то, наконец, все, что непохоже на «традиционное языкознание» (в бранном значении последнего прилагательного).

Остается до сих пор не вполне ясным, каково же место советского языкознания в лингвистике последних шестидесяти лет? Мною, в частности, уже была сделана попытка в какой-то мере ответить на эти вопросы в специальных работах. В последующих строках я вновь хочу вернуться к историографии, прежде чем обратиться к очеркам о выдающихся отечественных и зарубежных филологах.

У нас лишь в связи с теми или иными юбилейными датами иногда вспоминают об особой позиции советских лингвистов по разным вопросам теории и истории языка. Так, например, в 1967 г., к 50-летию Октября, были опубликованы полезные лингвистические сборники, авторы которых стремились не только заглянуть вперед, но и оглянуться назад, оценить уже сделанное. Но юбилеи, естественно, проходят, и вновь возникает неясное по многим причинам противопоставление: современная лингвистика — несовременная лингвистика, где об особой позиции советских ученых по многим принципиальным вопросам теории и истории языка обычно уже ничего не сообщается. И это, разумеется, и несправедливо, и неправомочно.

Написать историю советского языкознания — задача по многим причинам непростая. История нашей науки — это история развития марксистской науки о языке, а марксизм применительно к теории и истории языка понимается различно. Больше того. Находятся ученые, которые считают, что лингвистика может опираться лишь на специальные теории, тогда как общие марксистские положения о природе языка, по словам одного из авторов, «никакого теоретического оружия» специалистам не дают. «Стоит вспомнить, в каком теоретическом вакууме оказались советские лингвисты, когда у них из-под ног было выбито “новое учение о языке” Н. Я. Марра — у них в распоряжении не оказалось никакого теоретического оружия». Поэтому и неудивительно, что тот же автор, перечисляя выдающихся лингвистов нашего столетия (начиная от Соссюра), не находит нужным вспомнить хотя бы какого-нибудь из советских ученых. Как будто бы и не существовали в XX столетии до и после Н. Я. Марра такие выдающиеся лингвисты и филологи, как А. А. Шахматов,

Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, И. И. Мещанинов, И. Ю. Крачковский, Б. А. Ларин, В. И. Аббаев, Г. О. Винокур, Ф. П. Филин и многие другие. Знаменательно, что Р. О. Якобсон, тоже вспоминая «предшественников современной лингвистики» и называя восемь имен, нашел нужным выделить три русских имени (одно из них — русско-польское) — Николая Крушевского, Николая Трубецкого и Ивана Бодуэна де Куртенэ, хотя совсем короткая жизнь первого из них завершилась еще в прошлом столетии. Зарубежный ученый оказался гораздо внимательнее к нашей отечественной науке (из восьми имен три относятся к ней), чем советский историограф.

Серьезность положения я вижу в том, что нежелание знать историю советского языкознания свойственно не одному, а многим авторам. «Современное состояние разработки проблемы (речь идет о проблеме языка и мышления. — Р. Б.) абсолютно несопоставимо с прошлым» (имеется в виду период до лингвистической дискуссии 1950 г. — Р. Б.). Если же не забывать, что данная проблема, наряду с проблемой языка и общества, является одной из основных в советском теоретическом языкознании, то станет ясно, что, по убеждению автора приведенного тезиса, недопустимо говорить о преемственности в развитии советского языкознания.

Получается так: все, что делалось раньше для изучения взаимодействия языка и мышления, «абсолютно несопоставимо» с тем, что должно делаться теперь. История советского языкознания разрывается на несовместимые, не имеющие ничего общего периоды. Это, разумеется, неверно и фактически, и теоретически.

Вместе с тем установить убедительную периодизацию истории советского языкознания нелегко, подобно тому как нелегко установить периодизацию истории и других гуманитарных наук послеоктябрьской эпохи. Процесс интенсивного развития всех наук после Октября самой своей интенсивностью вызывает трудности в проведении периодизации. То же следует сказать и о художественной литературе, которая до сих пор не имеет общепринятой периодизации. Между тем известно, что история изучения языка и языков непосредственно взаимодействует не только с изучением художественной литературы, но и с особенностями ее развития. Мы все помним завет Максима Горького о языке как «первоэлементе литературы».

В последующих строках я все же попытаюсь наметить вехи, которыми, быть может, воспользуются будущие исследователи истории советского языкознания. А такая история должна быть создана.

2

Лингвистическое наследие, которое перешло от дореволюционной отечественной науки к науке после Октября, было богатым и интересным, но не однородным. Если говорить о непосредственных предшественниках, то, с одной стороны, — это такой глубокий и яркий филолог, как А. А. Потебня (1835—1891), с его важнейшим общетеоретическим принципом — взаимодействие формы и значения на всех уровнях языка, во всех формах художественной литературы, а с другой — Ф. Ф. Фортунатов (1848—1914) с его чисто формальным принципом изучения грамматики. Потебня и Фортунатов — ученые во многом противоположных научных устремлений, противоположных методологических ориентаций. Вместе с тем оба они были крупными исследователями, оставившими глубокий след в истории не только нашей, но и мировой науки.

Объединить эти два методологически противоположных направления в лингвистике в какой-то мере стремился И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845—1929), хотя это оказалось очень трудно: слишком несходными были теоретические позиции Потебни и Фортунатова. Различия в этих позициях дают о себе знать вплоть до нашего времени: в 20-е годы преобладал чисто формальный подход к языковому материалу (его типичный образец — книга М. Н. Петерсона «Очерк синтаксиса русского языка». М., 1923), в 30-е и 40-е годы на новой основе стали развиваться идеи Потебни, основанные на стремлении понять не только формальные, но и содержательные категории языка.

К тому же в 20-е годы чисто формальное направление в языкознании поддерживалось «Обществом изучения поэтического языка» (ОПОЯЗ), в которое либо входили, либо ему сочувствовали в то время и многие лингвисты, впоследствии от него отошедшие и его же резко критиковавшие (Л. П. Якубинский, В. М. Жирмунский и др.).

Все это в известной степени объясняет, почему советские языковеды еще не могли сказать своего веского слова в 20-е годы. В 1927 г. В. А. Десницкий в предисловии к книге А. Г. Горнфельда «Муки слова» имел основание заявить: «Лингвисты-марксисты — это музыка завтрашнего дня, и наша высшая школа должна дать их стране». А в 1931 г. А. В. Луначарский, предвывая брошюру профессора МГУ Р. О. Шор, заметил: «В области языкознания мы не так хорошо вооружены, как в области философии». Однако сама попытка автора названной брошюры как-то осмыслить принципы марксистской лингвистики вызвала у А. В. Луначарского горячую поддержку. Но, к сожалению, в ту пору эти принципы представлялись еще в самой

общей форме. В 1931 г. Е. Д. Поливанов публикует книгу с весьма ответственным названием — «За марксистское языкознание», которая начинается с утверждения, что «пока его не существует». А немного раньше В. Н. Волошинов издает монографию с еще более ответственным названием, хотя посвящает ее весьма частному, хотя и интересному вопросу об особенностях употребления форм «несобственно-прямой речи».

Особо следует сказать о Е. Д. Поливанове (1891—1938). Будучи полиглотом, он занимался самыми разнообразными языками и очень интересовался общими вопросами теории языка. Вместе с тем, по словам его биографа, «Поливанов не только не опровергал мифы, создававшиеся о нем, но... даже сам их выдумывал. Вообще он любил мистификации разного рода». Все это накладывало своеобразный отпечаток и на его научные публикации. То он выступал как яростный противник идей Н. Я. Марра, то он в общем справедливо утверждал, что «за вычетом яфетической теории остается очень много материала, который делает Марра великим ученым». То Поливанов ратовал за сближение лингвистики с математикой, то он же заявлял, что математика его не интересует.

В 1931 г. Поливанов писал, что математика — «неинтересная для него наука... ввиду отсутствия в ней конкретных объектов исследования: задача о двух курьерах и вычисление объема усеченной пирамиды — это задачи, которыми... можно заинтересоваться точно так же, как и решением шахматных задач. Но поскольку фактически существующих двух курьеров, которые ехали бы друг другу навстречу,... не существует и поскольку я не видел ту усеченную пирамиду, объем которой вычисляется, я ни за что не соглашусь сравнить эти задачи с теми задачами, которые приходится решать лингвисту или историку древнерусской литературы».

Эти суждения Поливанова не утратили своей актуальности и в наше время, в эпоху гораздо более интенсивного взаимодействия разных наук. Вместе с тем мы не имеем никакого права забывать специфику каждой отдельной науки, специфику метода, которым она оперирует, и объекта, который она изучает, в отличие и от метода, и от объекта другой или других наук. Только в этом случае взаимодействие наук будет плодотворным.

Однако позиция Поливанова не была здесь достаточно ясной. Вот что пишет по этому поводу его современник, хорошо лично его знавший: «Поливанов мечтал о создании общей грамматики всех языков, в которой явления не только бы сравнивались, но и взаимно объясняли свою сущность». Но что это за «грамматика всех языков, так и оказалось неразъясненным. Как это ни странно, исключитель-

ные способности лингвиста-полиглота и помогали, и одновременно мешали Поливанову: в совсем разных языках он видел прежде всего то, что их сближало, и порою проходил мимо того, что их разделяло. Этим были вызваны и размышления талантливого исследователя о «грамматике всех языков».

И все же именно к началу 30-х годов относятся первые «подступы» к созданию марксистской науки о языке у нас в стране. В 1932 г. выходит книга А. Иванова и Л. Якубинского «Очерки по языку» (идейным руководителем которой был Л. П. Якубинский), а в 1936 г. — монография В. Жирмунского «Национальный язык и социальные диалекты». С 1933 г. Институт языка и мышления в Ленинграде начинает выпускать теоретические сборники «Язык и мышление» (всего было опубликовано одиннадцать томов). В 30-е же годы появляются различные собрания научных статей с характерными названиями: «Советское языкознание» (три выпуска, «Языкознание и материализм» (два выпуска) и т. д. Наука о языке выходит у нас в стране на большую дорогу лингвосоциологических исследований.

Перечитывая сейчас эти книги и статьи, обнаруживаешь в них еще много неясного. Слишком прямолинейно осмыслялись тогда связи между языком и обществом, языком и мышлением. И все же само стремление установить и обосновать подобные связи имело огромное методологическое значение. Как правило, авторы тогда были охвачены единым желанием — создать советское языкознание, т. е. такую науку о языке, которая прочно бы опиралась на марксистское осмысление природы языка, его функций и его развития.

Совсем по другому поводу, давая интервью корреспонденту газеты «Комсомольская правда», М. А. Шолохов совершенно справедливо оценил значение 30-х годов в истории нашей культуры: «Тридцатые годы останутся в истории как великие годы. Великие по размаху, нови своей, грандиозности задач и по тому, что было сделано». Все это, несмотря на общую сложную обстановку в стране, относится и к советскому языкознанию не только 30-х, но и 40-х годов.

Чем же был вызван перелом в истории нашей науки в 30-е годы? Помимо общих причин, о которых прекрасно сказал М. А. Шолохов, перелом был обусловлен непосредственно тем, что мысли и суждения о языке К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина стали не только широко обсуждаться в теории, но и применяться в практике «языкового строительства», при изучении многочисленных языков народов СССР и других языков мира. Характеризуя науку о языке первого десятилетия после Октября (1917—1927 гг.), Поливанов мог еще утверждать, что «выбрать в те годы своей специальностью лин-

гвистику — это было почти то же, что постричься в монахи». С начала же 30-х годов ситуация довольно резко изменилась: широкие общественные функции языка и науки о языке становились все более и более очевидными. И, разумеется, не случайно, что ролью языка в обществе, в развитии мышления пристально интересовались не только классики марксизма-ленинизма, но и такие талантливые пропагандисты марксизма, как Г. Плеханов, П. Лафарг, Ф. Меринг, А. Луначарский и другие.

В 1933 г. впервые на русском языке полностью было опубликовано совместное неоконченное произведение К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология», в котором широко обсуждаются вопросы языка. Эта книга оказала огромное влияние на дальнейшее развитие марксистской науки о языке и у нас в стране, и за ее пределами. В 1930 г. отдельным изданием вышла брошюра Поля Лафарга о языке и революции. Стали известны и другие исследования марксистов, посвященные языку и стилю.

Именно в 30-е, как и позднее, в 40-е годы, у нас публикуются значительные исследования по общим вопросам теории и истории языка, по лингвистической социологии Л. В. Щербы, Л. П. Якубинского, В. В. Виноградова, И. И. Мещанинова, В. М. Жирмунского, В. И. Абаева, Б. А. Ларина, Г. О. Винокура, Р. И. Аванесова, А. И. Смирницкого, Ф. П. Филина и других. Эти ученые, как и их последователи, создавали в те годы советскую науку о языке.

3

Говоря о тридцатых годах, нельзя не вспомнить и того, что было сделано академиком Н. Я. Марром (1864—1934). Сын грузинки и шотландца, рано переселившегося в Грузию, Н. Я. Марр уже в начале нашего века стал ученым широкого диапазона — лингвистом, историком, этнографом и археологом. В 1912 г. он становится академиком, главным образом за свои капитальные работы в области грузино-армянской филологии и истории. Н. Я. Марр был энтузиастом науки. Он сумел сплотить вокруг себя большую группу ученых, много сделавших для развития советского востоковедения, в особенности после Октября 1917 г. После смерти Марра о его выдающейся роли в науке о Востоке хорошо написал академик-китаист В. М. Алексеев.

Вместе с тем в лингвистических построениях Н. Я. Марра оказалось много фантастического, что стало противоречить фактам, давно установленным в науке. В поисках «всеобщего родства языков» Марра, в частности, стал неправомерно отрицать генетическое род-

ство языков и сравнительно-исторический метод их изучения, до сих пор имеющий первостепенное значение для лингвистики. Созданное, как ему казалось, «новое учение о языке» оказалось научно несостоятельным. Вместе с тем разыскания ученого в области грузино-армянской филологии до сих пор сохраняют все свое значение. В 1950 г. на страницах газеты «Правда» возникла дискуссия о судьбах науки о языке, в целом сыгравшая известную роль в дальнейшем развитии наших знаний о языке.

Но справедливая критика «классового характера языка» и так называемых четырех звуковых элементов Н. Я. Марра, к сожалению, создала у ряда лингвистов убеждение, будто бы следует подальше держаться от общественных функций языка, чтобы не допустить «вульгарно-социологических ошибок». На некоторое время в стороне оказались такие важнейшие проблемы, как язык и общество, язык и мышление. Возникла нелепая «теория», согласно которой языки будто бы только изменяются, но не развиваются.

Между тем проблема развития, как теоретическая проблема, всегда была в центре внимания не только филологов, но прежде всего философов, в том числе и таких, как Кант и Гегель, не говоря уже о философах-марксистах. К счастью, однако, теории, противоречащие элементарным фактам, оказываются недолговечными и захватывают лишь определенную группу лингвистов, стремящихся к ложным сенсациям.

Следует более серьезно понимать возникновение новых проблем в лингвистике. Здесь подобные проблемы должны приводить не к отмене старых проблем, как часто считают, а к их более глубокому пониманию и исследованию наряду, разумеется, и с подлинно новыми проблемами. Советские лингвисты хорошо знают такие вечные проблемы своей науки, как язык и общество, язык и мышление, язык и культура, взаимодействие формы и значения на всех уровнях языка, историческое развитие родственных и неродственных языков, теоретические вопросы грамматики, лексики и фонологии. В 30-е и 40-е годы успешно велись новые для того времени и мало известные зарубежным ученым исследования в области истории и теории национальных языков. Заново была поставлена и проблема литературных языков.

Как проникновенно заметил в свое время А. А. Потебня, то, что считалось старым в языке, становится новым не только в результате развития языка, но и от самого присутствия нового. Рядом с новым и старое в языке должно осмысливаться по-новому.

Как я уже отметил, положение в нашей науке существенно изменилось после лингвистической дискуссии 1950 г. Справедливая кри-

тика доктрины Н. Я. Марра, согласно которой в любом обществе будто бы существует столько языков, сколько имеется социальных классов, создала у ряда лингвистов убеждение, что следует заниматься не социологией языка, а внутренними законами его существования. Возникла несостоятельная концепция, противопоставляющая внешнее и внутреннее в языке, социальное и имманентное, без учета многообразных форм взаимодействия между ними. Любая попытка понять общественную сущность языка не декларативно, а на практике, обосновать ее на конкретном языковом материале встречалась в штыки и объявлялась вульгарно-социологической.

Когда мы говорим об основных характерных особенностях советского языкознания, то речь должна идти не только об его особых проблемах (например, о проблеме национальных языков), но прежде всего о том, с каких теоретических и методологических позиций осмысляются и освещаются, казалось бы, общепризнанные проблемы. Широкие общественные функции языка интересуют теперь лингвистов разных направлений. Весь вопрос, однако, в том, как истолковываются подобные общественные функции языка, как понимается его природа и природа общества. Проблема оказывается и той же («язык и общество»), и совсем не той же одновременно («язык и общество» при разном понимании и языка, и общества).

Все это тем более важно, что в наше время во многих странах разрабатывается особая наука, которая так и называется «наукой о языке и обществе» («the science of language and society»). Нетрудно понять, что истолкование общественных функций языка здесь оказывается в прямой зависимости от истолкования самого понятия об обществе. У марксистов же, как известно, подобное истолкование оказывается во многом иным, чем у их философских противников. Вот почему проблема «языка и общества» в теоретически разных направлениях языкознания нашей эпохи является и той же, и совсем не той же проблемой.

Аналогичные расхождения дают о себе знать и при анализе других вопросов теоретического языкознания: языка и мышления, формы и ее значения, синхронии и диахронии и т. д. Разумеется, такая проблема, как «языковое строительство», типична прежде всего для СССР, где уже сделано немало для развития национальных языков народов, населяющих нашу страну. Она становится типичной и для науки других социалистических стран, в которых наблюдается многоязычие.

Хронология возникновения той или иной проблемы тоже существенна. В американской лингвистике, например, специальный раздел о социолингвистике возник только в 1952 г., как об этом писал,

в частности, В. Брайт, тогда как у нас в стране социальная лингвистика интенсивно стала разрабатываться, как мы только что видели, уже с начала 30-х годов. Но и здесь важна не только общность проблемы (сама по себе подобная общность тоже знаменательна), но и методология ее исследования, нередко приводящая ученых разной теоретической ориентации к противоположным выводам и заключениям.

Вместе с тем мы, разумеется, обязаны пристально следить и за успехами зарубежной, в том числе американской, социолингвистики, уже имеющей определенные успехи и достижения. И недаром зарубежные публикации в этой области исчисляются теперь многими сотнями.

В наши дни часто приходится слышать рассуждения такого характера: язык многоаспектен и многогранен, поэтому к нему применимы не только все подходы и все методы изучения, но и все методологические и все теоретические концепции. Поэтому долой конфронтацию, да здравствует плюрализм взглядов! По этому поводу уже было совершенно справедливо замечено: «Перенесение плюралистических представлений о свободе в сферу... философии разрушает фундамент познания». Как это ни парадоксально с первого взгляда, именно многоаспектность и многогранность языка настоятельно требуют монистического к нему подхода, подхода со строго определенной методологической позиции. В противном случае невозможно понять, что же такое язык и какова его природа.

И в самом деле. Если осмыслять природу языка с диаметрально противоположных позиций — материалистической и идеалистической, то и все остальные теоретические проблемы науки о языке предстанут в совершенно различном виде: сущность слова, назначение грамматики, особенности языковой системы, причины развития языка, соотношение национальных и интернациональных особенностей в языках мира и т. д.

Если язык, как считают марксисты, это — «непосредственная действительность мысли, практическое действительное сознание», а его знаковые функции вторичны, то все основные теоретические проблемы языка получают совсем иное осмысление сравнительно с методологически противоположной концепцией, согласно которой язык — прежде всего знаковая система, а его способность отражать действительность равняется нулю (Блумфилд и его многочисленные последователи).

Язык действительно сложен и действительно многоаспектен. Но эти особенности языка лишь увеличивают важность монистического осмысления его природы и его функций. При всей своей сложности

и многоаспектности язык, в особенности язык, на котором говорят миллионы людей, сохраняет свое единство, единство своего назначения. К тому же недопустимо смешивать разнообразие возможных методов изучения языка и единство и целостность методологической позиции исследователя. Если вполне допустимо и даже желательно применять разные методы при освоении тех или иных языков, то недопустимо так же поступать с методологией, ибо в этом случае меняется и объект изучения: одно дело усваивать язык прежде всего как знаковую систему, совсем другое дело — осмыслять язык прежде всего как «непосредственную действительность мысли».

Вот почему разнообразие методов и разнообразие методологий — это понятия принципиально различные.

Очень часто считают, что своеобразие позиции советских лингвистов, в отличие от позиции ученых, разделяющих идеалистические взгляды, сводится лишь к конкретным, более или менее частным вопросам: у нас в стране, например, структура языка обычно понимается как структура нежесткая, а у лингвистов ФРГ или у лингвистов США — обычно как структура более жесткая или даже совсем жесткая. Но проблема методологических расхождений не сводится только к такого рода более или менее частным расхождениям (хотя и они, разумеется, существенны). Еще важнее расхождения в истолковании самой природы языка и его общественных функций.

4

Проблема взаимодействия наук — одна из центральных проблем нашего века. К сожалению, однако, ее часто неправомерно сводят к подчинению одной науки другой науке. Между тем речь должна идти о взаимодействии наук, а не об их смешении. Возникают различные классификации наук по степени их «точности», причем менее «точные» науки будто бы следует подчинить более «точным» наукам. Но при этом совсем не учитывается, что само понятие «точности» в разных науках имеет разный смысл и находится в прямой зависимости от специфики того объекта, которым занимается данная наука.

Уже в 1830 г. Шопенгауэр рассказывал об одном знаменитом французском математике, который, прочитав «Ифигению» Расина, спросил: «А что это доказывает?». Для такого математика существовала только одна точность — математическая. А вот создатель теории относительности Альберт Эйнштейн писал своему другу-физику: «С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ее сам больше не понимаю». Автору теории относительности

было очевидно, что физик оперирует другими категориями точности сравнительно с категориями и понятиями математика. Об этом же писал и создатель кибернетики Норберт Винер, решительно возражавший против перенесения математических методов исследований на область общественных наук.

Количество подобных свидетельств можно было легко увеличить. Они говорят о том, что взаимодействие наук нельзя понимать как их всеобщую одностороннюю математизацию, без учета особенностей каждой науки, особенностей того объекта, который призвана изучать данная наука в отличие от объектов, составляющих предмет исследования других наук. Между тем до сих пор находятся защитники тезиса, согласно которому «лингвистика — это часть математики». Только это и делает ее наукой. Поэтому лингвисты обязаны следовать за «точными методами» математики.

Нетрудно понять, что авторы подобных утверждений недалеко ушли от шопенгауэрского математика, для которого и сто пятьдесят лет тому назад существовала только одна мерка, только одно измерение и только одна оценка — математическая.

Между тем вопрос о взаимодействии между лингвистикой (и — шире — филологией в целом) и математикой отнюдь не нов. Больше того. Это очень старый вопрос.

Еще Галилей предлагал математическую формулу содержания первой песни «Божественной комедии» Данте. Позднее, «в XVII веке вообще было велико стремление превратить математический метод во всеобщий метод научного познания». Под влиянием успехов естествознания (в широком смысле), под воздействием работ и публикаций Галилея, Декарта, Паскаля, позднее Ньютона, Лейбница и других это стремление ко «всеобщей математизации» становится понятным. Пройдет еще примерно три столетия, и формулу Галилея, будто бы определяющую содержание первой песни «Божественной комедии» Данте, повторит у нас с некоторыми изменениями Андрей Белый. Он с вполне серьезным видом будет утверждать, что пушкинское:

Люблю тебя, Петра творенье

«это $5,2/2$ или $x/2$ » с пояснением, где x (икс) — «это люблю тебя».

Как уже было совершенно справедливо замечено, «в универсальность математических построений верят больше всего не математики, а профаны», поэтому филологу «следует остерегаться математических побрякушек».

И все же сказанное, разумеется, не означает, что взаимодействие

между лингвистикой и математикой невозможно. Оно не только возможно, оно и существует. Весь вопрос, однако, в том, что подобное взаимодействие, во-первых, должно быть серьезно обосновано и, во-вторых, должно действительно продвигать вперед обе науки — и лингвистику, и математику. Что же касается формул типа ранее приведенных формул Белого, то они могут означать что угодно, а поэтому никакого научного значения не имеют.

В конце своей жизни Гете справедливо говорил: «Я уважаю математику как самую возвышенную, полезную науку, поскольку ее применяют там, где она уместна. Но не могу одобрить, чтобы ею злоупотребляли, применяя ее к вещам, которые совсем не входят в ее область и которые превращают благородную науку в бессмыслицу». Эти слова, сказанные свыше ста пятидесяти лет назад, сохраняют все свое значение и в наше время. Никто не имеет никаких оснований сомневаться в благородстве, величии и огромной полезности математики, как и новой науки, тесно с нею связанной, — кибернетики. Вместе с тем само величие математики обязывает всякого, кто к ней обращается, глубоко понимать ее возможности и ресурсы. Без такого понимания благородная наука, как говорил Гете, может превратиться в бессмыслицу, образцы которой, в частности, легко обнаружить, например, в только что цитированной книге А. Белого.

Само словосочетание «математическое языкознание» тоже не ново. О нем заговорил уже в 1860 г. известный немецкий ученый Г. Штайнталь в специальной заметке, которая так и называлась «Математическое языкознание». Ее автор стремился обратить внимание специалистов на роль статистики: что типично и что менее типично для тех или иных языковых конструкций, для тех или иных слов. Сама по себе подобная статистика, как показали последующие исследования, оказалась весьма полезной, но она еще не позволяла говорить о создании особого «математического языкознания». Гораздо позднее стало ясно: одно дело уметь применять определенные разделы математики к определенным разделам языкознания, совсем другое — создать особую «математическую лингвистику», будто бы порывающую связи с наукой о языке, как наукой человеческой, гуманитарной, как наукой о духовных возможностях и богатствах человека.

Я думаю, что советские лингвисты, как это показывает и опыт прошлого, должно строго различать желательную помощь со стороны математики при освещении определенных разделов науки о языке (подобная помощь вполне возможна) и «математизацию всего языкознания», что может привести к искажению объекта, подлежащего исследованию в той же науке о языке. У Н. С. Трубецкого,

в частности, были все основания заявить, что «язык лежит вне меры и числа».

Еще более глубокие основания были у В. И. Ленина, когда он заметил в своих «Философских тетрадах», конспектируя книгу Гегеля «Наука логики» и выделяя вслед за Гегелем такой тезис: «Метод философии должен быть ее собственный (не математики...)». Перефразируя этот тезис, можно сказать, что и у лингвистики должен быть свой метод, а не метод математики: первая наука оперирует прежде всего качественными категориями, вторая наука — прежде всего количественными категориями.

Когда в 1928 г. известный советский лингвист Н. Ф. Яковлев опубликовал «Математическую формулу построения алфавита», то, несмотря на ее оригинальность и продуманность, ею все-таки не смогли воспользоваться ученые при создании алфавитов для ранее бесписьменных языков народов СССР ввиду крайней абстрактности самой этой формулы. Позднее лингвисты добились успехов в создании необходимых алфавитов, уже независимо от математической формулы, предложенной Н. Ф. Яковлевым.

Вместе с тем применение математических методов к изучению общественных явлений вполне возможно, а в некоторых случаях в наше время даже необходимо, при условии, если оно совершается специалистами весьма высокой квалификации с обеих сторон. Со всем недавно академик-историк С. Л. Тихвинский, приветствуя обращение математиков к исследованию исторических процессов, вместе с тем совершенно справедливо писал: «Однако при этом нужно подчеркнуть, что такое обращение может быть плодотворным лишь при совместной работе с историками. К сожалению, имеют место попытки самостоятельного обращения математиков к историческим сюжетам, что иной раз приводит к некорректным построениям и даже ошибкам». В статье приводятся примеры подобных некорректных построений и ошибок.

Коснусь еще в нескольких словах педагогической стороны истории советского языкознания. Когда начиная с 1960 г. у нас стали выходить в русском переводе сборники зарубежных лингвистов, то само по себе это было полезное и нужное издание: общение между учеными разных стран обычно обогащает каждую национальную науку. Но сборники на протяжении свыше десяти лет неправомерно назывались «Новое в лингвистике» (изд-во «Прогресс»). Из уже вышедших девятнадцати томов только начиная с восьмого тома сборники, наконец, стали называться справедливо — «Новое в зарубежной лингвистике». Казалось бы, «мелочь». Нет, не мелочь. У начинающих ученых складывалось впечатление, что все новое созда-

ется не отечественными, а зарубежными лингвистами. Это и фактически неверно, и педагогически безответственно. Разумеется, среди зарубежных филологов и лингвистов имеется немало выдающихся ученых, с работами которых необходимо знакомиться. Но, во-первых, в упомянутых сборниках публикуются не только исследования подобных ученых, но и работы рядовых авторов и, во-вторых, у нас не выходят аналогичные сборники («Новое в советской лингвистике») для сравнения и сопоставления. Между тем по многим вопросам филологии теоретическое первенство принадлежит отечественным исследователям.

Мы плохо защищаем авторитет нашей советской лингвистики. Приведу здесь еще один пример. В 1977 г. в Гааге вышел большой интернациональный сборник в честь 80-летия Р. О. Якобсона (он родился в 1896 г.). В одной из статей этого сборника утверждается, что до 1917 г. Якобсон учился у русских филологов дооктябрьского периода, а после 1917 г. уже он, Якобсон, стал воздействовать на советскую филологическую науку, в особенности после 1956 г., когда ученый побывал в СССР и внушил некоторым советским ученым, какими научными проблемами им следует заниматься в дальнейшем. Р. О. Якобсон был, как известно, видным и разносторонним филологом. Это бесспорно. Все же остальное в подобных рассуждениях неверно. Если отдельные советские филологи стали заниматься «филологической тематикой Якобсона», то это ни в коей мере не относится к советскому языкознанию в целом. Я, в частности, убежден в методологической несостоятельности одного из центральных тезисов Якобсона, согласно которому язык большого писателя тождествен его мировоззрению. Говорить о тождестве разных категорий (языка и мировоззрения) нельзя. А понятие тождества и понятие взаимодействия — это совсем разные понятия. Что же касается популярной доктрины Якобсона о бинарности всех категорий в языке и в искусстве, то и эта доктрина у нас неоднократно критиковалась. К сожалению, мы не всегда умеем отстаивать свою собственную методологическую концепцию.

Говоря о значении истории советского языкознания, необходимо прежде всего хорошо ее знать.

Вся история советского языкознания всегда была тесно связана с практикой, прежде всего с практикой изучения русского и других языков народов, населяющих нашу страну. Многие национальные языки СССР не только впервые получили возможность успешно развиваться после Октября, но и предоставили лингвистам ценнейший материал для дальнейшей разработки их теории. И это весьма важно. Лингвистическая теория, не опирающаяся на конкретный

материал разных языков, обычно оказывается мертворожденной теорией. История мировой лингвистической науки за последние тридцать лет еще раз подтвердила эту истину. Советская лингвистика была и остается сильной своей методологией, своей связью с практикой, с языковым строительством. При этом практику следует понимать широко, как помощь в развитии культуры советского общества.

Существует специальное исследование, автор которого убедительно показал, как боролся В. И. Ленин с пониманием искусства как простой служанки производства. Задачи искусства гораздо шире и гораздо сложнее. То же следует сказать и о языкознании. Работая над созданием кодовых искусственных построений, лингвисты прямо помогают (точнее, должны помогать) технике и производству, но, исследуя и анализируя естественные языки человечества, те же лингвисты ставят перед собой уже не столько чисто технические, сколько прежде всего общекультурные задачи.

Советские лингвисты должны пристально следить за развитием мировой науки о языке, не отгораживаться от нее, изучать ее. Особенно интересно и поучительно следить за успехами науки в развивающихся странах.

Вместе с тем мы не имеем права забывать о нашей методологии, о принципиальной важности нашей теории, которая вырабатывалась на протяжении всей (именно всей) истории советского языкознания.

История советского языкознания, несмотря на отдельные трудности и отступления отдельных лингвистов, — это история развития марксистско-ленинской концепции языка как «непосредственной действительной мысли», как «действительного практического сознания».

(1988)

С. Б. Бернштейн

ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ (30-е ГОДЫ XX века)

В середине августа 1943 г. академик Н. С. Державин и я были приглашены на прием к министру С. В. Кафтанову. Помню, пришлось долго ждать в приемной. Наконец мы в кабинете министра. С. В. Кафтанов говорит: «Должен вас, товарищи, обрадовать. При-

нято решение об открытии на филологическом факультете Московского университета отделения южных и западных славян. Еще до войны об этом усиленно хлопотал профессор Селищев. К сожалению, полгода назад он скончался. Теперь всю организационную работу по созданию нового отделения Министерство поручает Вам, Николай Севастьянович. Конечно, Вам нужен будет помощник. Эту работу мы поручаем Бернштейну. Теперь у вас есть полная возможность начать в широком масштабе подготовку славистов, в которых так остро нуждается наша страна. Мы ежедневно сталкиваемся с трудными случаями, когда некому поручить переводы текстов с зарубежных славянских языков. Мы вынуждены часто обращаться за помощью к представителям славянской политической эмиграции в нашей стране, но они, как правило, очень плохо знают русский язык. Большие трудности языкового характера возникают при организации различных политических и общественных мероприятий. Вчера я поручил ректору университета организовать прием на славянское отделение уже в этом году. Нужно провести прием студентов не только на первый курс, но и на второй из второкурсников русского отделения. На первый курс мы утвердили прием в сто человек (четыре группы). Мы рекомендуем начать с подготовки прежде всего специалистов по сербскому и чешскому языкам, так как именно по этим языкам нет специалистов, а потребность в них особенно велика. Желаю успеха».

Вероятно министр полагал, что на этом завершится наша встреча, что мы выразим благодарность и начнем работать. Однако все сложилось иначе. Мы грустно молчали. Наша реакция для министра оказалась совершенно неожиданной. «В чем дело?» — раздраженно спросил Кафтанов. Державин сидел молча, низко опустив голову. Кафтанов повторил вопрос, адресуя его уже непосредственно мне. Я ответил кратко. В Москве нет преподавателей сербского и чешского языков, нет специалистов по истории сербского и чешского языков, по истории сербской и чешской литератур. Нет учебников по этим языкам, нет текстов, нет и словарей. Недавно опубликованный учебник проф. Селищева понадобится студентам лишь на третьем курсе, когда они будут изучать историю чешского или польского языков. С большим трудом мы сможем организовать преподавание чешского языка на втором курсе. На первый курс сможем принять максимум 20 человек (две группы по десять человек сербистов и богемистов). Я заметил, что Кафтанов начинает терять самообладание. На высоких нотах он резко спросил: «Что вы делали все эти годы? Как Вы, Николай Севастьянович, могли допустить, чтобы в Московском и Ленинградском университетах в довоенные годы прекрати-

лось преподавание славянских языков, подготовка славистов? Ведь это же настоящее преступление!» Последние слова Кафтанова неожиданно вывели Державина из состояния апатии. Больше того, академик просто пришел в ярость. Я никогда не видел Николая Севастьяновича в таком состоянии. «Да! — почти кричал Державин. — Уже давно прекращена подготовка славистов в нашей стране. Кто прекратил эту подготовку? Кто объявил, что славянская филология льет воду на мельницу фашистам? В свое время мне с большим трудом в составе Академии наук удалось организовать Институт славяноведения, который просуществовал всего лишь три года. Мой главный помощник по институту В. Н. Кораблев в 1934 г. был арестован и погиб в Средней Азии. Вы упомянули Селищева, а ведь он несколько лет провел в лагерях». Дальше Державин говорить не мог. Он закатил глаза, изо рта пошла пена. Срочно была вызвана медицинская сестра, которая сделала Державину укол, дала таблетки. Кафтанов понял, что переборщил. Это видно было по его лицу. Вскоре два дюжих молодца под руки увели Державина. Кафтанов дал знак, чтобы я остался. «Расскажите подробнее о ваших славянских делах», — сказал министр. Мой рассказ он слушал внимательно, но с бесстрастным лицом. В заключение Кафтанов сказал: «Что было — то было. Теперь положение изменилось. Слависты теперь нам нужны позарез. Работайте! Обещаю поддержку!»

А что же было? Почему одна из важнейших областей гуманитарной науки за одно десятилетие была ликвидирована? За все 30-е годы в нашей стране не было опубликовано ни одной монографии, посвященной зарубежным славянским языками, сравнительной грамматике славянских языков, старославянскому языку. Эту цепь молчания в начале десятилетия удалось разорвать лишь Н. И. Кравцову своей публикацией «Сербский эпос» (1933).

Первый международный конгресс славистов состоялся в Праге в 1929 г. Наша страна была представлена на нем, хотя сам состав делегации вызывал недоумение. В 1934 г. в Польше состоялся второй Международный конгресс славистов. Вопрос о нашем участии в конгрессе долго висел в воздухе. В самый последний момент было принято решение послать на конгресс только одного Л. П. Якубинского. Однако Лев Петрович отказался, мотивируя отказ тем, что он уже давно не работает в области славянского языкознания. Таким образом, на конгрессе советской делегации не было. Все это было связано с событиями 30-х годов, когда славяноведение во всех его разделах было объявлено лженаукой, глубоко враждебной советскому строю. На этой основе решались вопросы административного и юридического характера. В эти годы резкие выпады против славя-

новедения можно было встретить в самых различных изданиях, услышать на различного рода собраниях.

Для уяснения событий 30-х годов полезно хотя бы в самой общей форме охарактеризовать состояние славянской филологии в первое десятилетие после Октябрьской революции. Несмотря на трудности гражданской войны, перегибы в области организации академической жизни, отъезда за границу некоторых русских славистов, исследования в области славянской филологии успешно продолжались. Достаточно назвать имена П. А. Лаврова, Б. М. Ляпунова, М. Н. Сперанского, А. И. Соболевского, Г. А. Ильинского, Н. К. Грунского, Н. С. Державина, Н. Н. Дурново и др. Необходимо вспомнить имена славистов, вошедших в науку перед самой революцией: А. М. Селищев, М. Г. Долобко, Л. А. Булаховский, П. А. Бузук.

С полным основанием можно говорить о расцвете в 20-х годах славянской филологии в Московском университете. В этом велика роль А. М. Селищева, который в 1922 г. переехал из Казани в Москву. Он был не только выдающимся ученым в области славянского и балканского языкознания, но одновременно и крупным организатором. В первой половине 20-х годов в Московском университете под руководством В. П. Волгина шла активная перестройка университета. К 1925 г. была проделана большая работа, которая подготовила постановление Совета Народных Комиссаров от 17 мая 1925 г. Факультет общественных наук (ФОН) был реорганизован. На его основе были созданы два факультета: этнологический (позже он стал именоваться историко-этнологическим) и советского права. А. М. Селищев был инициатором организации на этнологическом факультете самостоятельного цикла западных и южных славян. Впервые в истории русского университетского славяноведения в одном месте была сконцентрирована подготовка славистов разных специальностей: лингвистов, этнографов и историков. С помощью Волгина Селищеву удалось привлечь к работе на цикле западных и южных славян лингвистов Г. А. Ильинского, Д. Н. Ушакова, М. Н. Петерсона, И. Г. Голанова, П. А. Расторгуева, П. П. Свешникова, Н. Л. Туницкого, историков Ю. В. Готье, М. К. Любавского, С. Д. Сказкина, Д. Н. Егорова. Студенты-лингвисты обязаны были сдавать экзамены по истории и этнографии зарубежных славян, студенты-историки и этнографы в свою очередь сдавали экзамены по предметам лингвистического цикла. Впервые в истории обучения славистов были организованы практические занятия по изучению чешского, польского, сербохорватского и болгарского языков.

Известное оживление в подготовке славистов наблюдалось и в Ленинградском университете. Однако одно обстоятельство самым

отрицательным образом сказывалось здесь на подготовке лингвистов. Речь идет о насаждении в Ленинградском университете принципов яфетической теории акад. Марра, нанесшей большой ущерб подготовке славистов-лингвистов.

Подготовка славистов в Московском университете шла успешно очень короткий срок. Первые трудности начались уже в конце 1926 г. С ректором Волгиным у Селищева установились простые и дружеские отношения. Они вместе обсуждали разные вопросы не только во время официальных приемов в ректорате, но и в профессорской во время перерывов между лекциями, даже при случайной встрече за пределами университета. Волгин был всегда внимателен и корректен. В начале 1925 г. ректором университета был назначен юрист А. Я. Вышинский. С этого времени коренным образом изменился весь стиль работы администрации университета. Вместе с Вышинским пришли новые люди, деятельность которых носила отнюдь не академический характер. Селищев позже как-то сказал: «Ректора сменил генерал-губернатор». Две попытки Селищева встретиться с новым ректором окончились неудачей. Во второй половине 1927 г. сам Вышинский приказал Селищеву и Ушакову срочно явиться к нему в ректорат. На встрече обсуждались два вопроса: почему на занятиях старославянским языком студенты читают евангельские тексты и почему на факультете игнорируются теории акад. Марра. Ответы, особенно на второй вопрос, не очень убедили ректора, знавшего, что в Ленинградском университете яфетическая теория пользуется признанием. «По вопросу о теории Марра я имел беседу с М. Н. Покровским. Он мне сказал, что яфетическая теория — это первый серьезный опыт применения марксистской теории в языковедении. Возможно именно это вас и не устраивает?» — ехидно спросил ректор.

Новый ректор откровенно повел линию на свертывание славистического образования. Вскоре резко сократился прием на славянский цикл, а затем в 1931 г. факультет был вообще ликвидирован.

На рубеже 20—30-х годов резко увеличилось число отрицательных оценок славяноведения и его конкретных носителей. В самом начале 30-х годов была арестована большая группа историков-славистов: М. К. Любавский, В. И. Пичета, Д. Н. Егоров, Ю. В. Готье, а кроме того, ряд известных историков России. Примечательно, что историки-слависты понесли более тяжелое наказание, нежели историки России.

В конце 1933 г. начались массовые аресты славистов-филологов (специалистов по истории древнеславянской письменности, по кирилло-мефодиевскому вопросу, по славянскому фольклору, по срав-

нительной грамматике славянских языков, по истории зарубежных славянских языков и т. д.). Наиболее интенсивными аресты были в Москве. Здесь были арестованы М. Н. Сперанский, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, В. В. Виноградов, В. Ф. Ржига, И. Г. Голанов, П. А. Расторгуев, В. Н. Сидоров, Ю. М. Соколов, А. И. Павлович, только что закончивший университет Н. И. Кравцов и ряд других ученых.

Вскоре неожиданно несколько человек оказались на свободе — акад. М. Н. Сперанский, проф. Ю. М. Соколов. Их освобождение толковали так. Брат акад. М. Н. Сперанского Г. Н. Сперанский был известным в стране педиатром, лечил детей крупных политических и государственных деятелей страны, что помогло ему добиться освобождения брата. Однако обвинение с М. Н. Сперанского снято не было. Он был лишен звания академика, находился до самой своей смерти под домашним арестом.

В первой половине 1934 г. шла интенсивная подготовка к съезду советских писателей. Для написания доклада Горькому нужен был консультант по разделу фольклора. Выяснилось, что им может быть только Ю. М. Соколов. По ходатайству Горького Соколов был освобожден.

До возвращения из лагерей арестованных славистов (оно началось в 1937 г.) никто не знал ничего о содержании обвинения, о самом процессе. Был лишь один эпизод в 1934 г. немного приоткрывший завесу. После завершения процесса один из обвиняемых, известный специалист в области древней славянской письменности, оказался на свободе. На другой же день после возвращения домой он покончил с собой.

Первую информацию о содержании обвинения, о ходе самого процесса, о поведении обвиняемых на допросах и на очных ставках я получил в 1939 г. от В. Н. Сидорова. Кратко обвинения сводились к следующему. На рубеже 20-х и 30-х годов в Москве под руководством акад. М. Н. Сперанского группа славистов якобы начала активно действовать в антисоветском направлении. Члены организации поставили перед собою задачу свержения Советской власти и восстановления монархии в России. На квартире Сперанского систематически устраивались сборища, на которых обсуждались как общие, так и частные вопросы борьбы. Еще до завершения процесса было обращено внимание на то, что среди арестованных не было лиц с нерусскими фамилиями (поскольку маловероятно, чтобы носители «инородческих» фамилий могли желать восстановления в России монархии) — следствие стремилось хотя бы к внешней достоверности.

Следственным органам необходима была помощь в организации процесса. Не все арестованные вели себя на допросах и очных ставках достойно. Некоторые помогали следствию, полагая, что при вынесении приговора это будет учтено.

В результате коллективных усилий было сфабриковано так называемое «дело Сперанского». Суть его состояла в следующем: организационно группа Сперанского была подчинена венскому центру, во главе которого стоял белоэмигрант князь Н. С. Трубецкой. Функцию координатора московского и венского центров по разработанной схеме выполнял Н. Н. Дурново, который в середине 20-х годов находился в длительной заграничной командировке. Была учтена одна важная деталь — сын Дурново был женат на племяннице Трубецкого. В ходе следствия не только ковались новые факты, но и сочинялись биографии. Н. Н. Дурново был объявлен сыном известного реакционного государственного деятеля эпохи Александра II и Александра III. От этого, однако, в дальнейшем пришлось отказаться, так как старые москвичи хорошо знали, что отец Н. Н. Дурново был скромным преподавателем гимназии.

В апреле 1934 г. неожиданно для всех арестованных произошло резкое изменение направления основного удара. Следователи одновременно прекратили вопросы, имеющие отношение к реставрации монархии к Трубецкому и Сперанскому. Они стали резко прерывать арестованных, если они вспоминали прежние обвинения. Обвинение с этого времени получило другое направление: славянская филология — реакционная наука, которая получила широкое распространение в фашистской Германии; читая лекции в университете, обвиняемые толкали молодежь в объятия религии; публикуя книги и статьи в буржуазных странах, они наносили большой вред нашей идеологии. Об этом новом повороте следствия мне подробно рассказывали А. М. Селищев и Н. И. Кравцов.

Николай Иванович Кравцов учился со мной на историко-этнологическом факультете Московского университета (на два курса старше). Среди студентов того времени он был самым ярким и талантливым. Всех нас поражало его необыкновенное трудолюбие. Он был студентом отделения русского языка и литературы, одновременно сдавал все экзамены по славянскому циклу (по сербохорватскому разряду), под руководством проф. М. В. Сергиевского основательно изучал средневековый романский эпос. Еще в студенческие годы Н. И. Кравцов опубликовал монографию по истории русской литературы, несколько статей. Профессора и студенты видели в нем будущего крупного филолога. Нам было известно, что Кравцов готовит капитальный труд, посвященный сербскому эпосу. После завер-

шения университета он работал в издательстве «Academia», где опубликовал свою книгу «Сербский эпос». Ее первая часть была посвящена исследованию сербского эпоса, вторая содержала тексты песен в переводе на русский язык. Многие из переводов были выполнены самим Н. И. Кравцовым. Мы искренне радовались успеху нашего товарища. Никто из нас не мог представить себе, что «Сербский эпос» превратит жизнь молодого слависта в тяжкую муку. Вот что через много лет рассказал мне Николай Иванович.

В апреле 1934 г. Кравцов был арестован. На первом допросе следователь четко определил вину молодого слависта. В пересказе Кравцова допрос носил определенно антиславянский характер.

Следователь: Ну, рассказывайте о своих преступлениях.

Кравцов: Преступными действиями никогда не занимался.

Следователь: А вы вспомните!

Кравцов повторил свой ответ.

Следователь: Хорошо. Тогда скажите мне, почему в фашистской Германии теперь усиленно развивается изучение филологии, не только германской, но и славянской. Белоэмигрант Фасмер имеет возможность в Берлине издавать «Вестник славянской филологии». Неужели не понимаете, что ваша книга «Сербский эпос» — это орудие в борьбе против нас, нашей идеологии?

Кравцов был осужден. В лагере Кравцову пришлось пережить еще одно тяжелое испытание. Вместе с группой неизвестных ему лиц он был объявлен участником одной террористической организации, которая готовила покушение на Сталина. Лишь в самый последний момент один высокопоставленный член специальной коллегии вычеркнул фамилию Кравцова из списка лиц, приговоренных к высшей мере наказания.

После организации на филологическом факультете МГУ славянского отделения в 1943 г. я узнал, что Кравцов отбыл срок наказания и теперь работает в Тамбове. С помощью ректора удалось организовать временные приезды Кравцова в Москву, а затем он получил право жить в Москве. 7 июня 1947 г. на заседании ученого совета Института мировой литературы им. Горького Н. И. Кравцов получил за книгу «Сербский эпос» ученую степень доктора филологических наук. Оппонентами выступали профессора Н. К. Гудзий, П. Г. Богатырев и И. Н. Розанов. Так замкнулся круг: арест — лагерь — ссылка — докторская степень. И все за одно и то же произведение. Во все это теперь трудно поверить, но так было. Для подтверждения сошлюсь не на воспоминания, а на публикацию.

Ленинград. Тот же злобещий 1934 г. Самое авторитетное в Ленинграде лингвистическое учреждение — Институт языка и мышления

АН СССР. Неожиданно из президиума Академии приходит распоряжение провести широкое обсуждение состояния славянского языкознания в нашей стране. Желających выступить с докладом на эту тему не находилось. Наконец выразил желание выступить с докладом доцент Областного педагогического института Д. Димитров. Доклад под названием «Славянская филология на путях фашизации» был оглашен и обсужден в самом конце декабря. Уже в середине 1935 г. доклад был опубликован в трудах Института «Язык и мышление» (т. V, с. 125—133). В опубликованном докладе было сделано много фактических ошибок. Однако не это теперь заставляет нас вспоминать это сочинение. Оно давно и заслуженно забыто. В данном случае речь идет не о науке, а об общественно-политической ситуации в стране, об отношении самых высоких инстанций к славяноведению, к славянской филологии, к славянскому языкознанию.

Уже в самом начале доклада, не приведя никаких убедительных доказательств, Димитров утверждает: «Славянская филология... была всегда наукой заведомо и насквозь пропитанной зоологическим национализмом». Но этого Димитрову показалось мало. Перед докладчиком была поставлена другая задача, сформулированная в самом названии доклада — славянская филология на путях фашизации. «Какими философскими источниками питается современная славянская филология? — спрашивает Димитров. — Ответим на поставленный вопрос прямо: славянская филология в качестве своей теоретической базы имеет в настоящее время идеализм фашистского толка. Отрицательное и презрительное отношение к разуму, утверждение ведущей роли души, противопоставление иррационализма, интуитивизма рационализму, культ духа и открытой поповщины, идея расы, восторженное прославление Гердера, Ницше, Шпенглера» (с. 130). Завершил свой доклад Димитров следующими словами: «славянская филология на Западе плотно врастает в фашизм и этим самым теряет право на науку». В случае с Кравцовым данный тезис защищал право на науку. В случае с Кравцовым данный тезис защищал следователь, здесь его защищал сам славист. Результат, однако, был тождественным: судьбу Кравцова в худшем варианте разделил и автор доклада.

Жестокий каток прошел в 30-е годы по славяноведению в нашей стране. В равной степени это коснулось всех его разделов и всех его научных центров. В Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Минске на длительный срок прекратилось преподавание славяноведческих дисциплин. Это самым отрицательным образом сказалось и на подготовке специалистов по русской филологии. Печальные последствия

всего этого сказались быстро. Потребовалось не менее десяти лет, чтобы не только восстановить нормальный процесс обучения, но и подготовить серьезных молодых ученых. В 1958 г. в Москве состоялся IV Международный конгресс славистов. Советские слависты послевоенной формации достойно представляли на конгрессе славяноведение во всех его основных разделах.

(1989)

Р. А. Медведев

СТАЛИН И ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Репрессии ученых, гибель важных научных школ, выдвижение карьеристов, фанатичных догматиков или шарлатанов — этим обычно завершалось вмешательство Сталина в научные дискуссии. Но нет правил без исключений. Таким исключением стало учение о языке.

Языкознание (или лингвистика) не считалось у нас ведущей наукой — оно преподавалось на немногих факультетах, и число ученых-языковедов никогда не было особенно велико. Тем не менее и в этой отрасли с конца 20-х годов кипели страсти и шла борьба, которую трудно назвать джентльменской. Утверждалась губительная для науки иерархия власти и влияния, при которой каждая дисциплина должна была иметь лишь одного бесспорного лидера. В языкознании на эту роль претендовал Николай Яковлевич Марр со своим «новым учением о языке».

Наполовину шотландец, наполовину грузин, Н. Марр вырос в Кутаиси. Уже в юности он обнаружил исключительные лингвистические способности — владел двумя десятками языков и еще студентом выступил с рядом статей об особенностях грузинского и армянского языков. Позднее руководил раскопками на Кавказе, его считали ведущим российским археологом — кавказоведом и востоковедом. С 1912 г. Марр — академик. Его идеи в области языкознания были весьма парадоксальны, но именно это принесло ему известность. Он утверждал, например, что грузинский и армянский языки являются родственными, что русский язык ближе к грузинскому, чем к украинскому, что язык сванов породил немецкий язык, что языки с разным происхождением могут скрещиваться, давая жизнь новому языку, и т. п. Читать работы Марра трудно, они переполнены при-

мерами из малоизвестных или уже исчезнувших языков, непонятными рассуждениями. Многие из тех, кто упорно пытался овладеть «новым учением о языке», вскоре бросили это занятие со словами «интересно, но непонятно». Основную рекламу Марру в 20-е годы создавали отнюдь не лингвисты. Народный комиссар просвещения А. Луначарский публично называл его «величайшим филологом нашего Союза» и даже «самым великим из ныне живущих в мире филологов». Марр был одним из немногих ученых, поддержавших большевиков в октябре 1917 г. Он стал тогда даже членом Петроградского Совета и председателем Центрального совета научных работников.

До конца 20-х годов авторитет Марра не слишком сильно мешал развитию других направлений в языкознании. Только в 1928 г. в статьях Марра появились цитаты из работ Маркса и Энгельса, а также термины «буржуазный» и «пролетарский» применительно к языкознанию. Он заявил, что приступает к углубленному изучению трудов Маркса, Энгельса и Ленина. Как и следовало ожидать, соединение языкознания с марксизмом позволило Марру делать одно научное открытие за другим. Он объявил, например, что язык есть не что иное, как надстройка над экономическим базисом и, следовательно, имеет классовый характер. Социальные революции ведут к скачкам в развитии языка, новые социальные формы жизни создают и новый язык. Влиятельные тогда партийные идеологи охотно принимали учение Марра в «железный инвентарь материалистического понимания истории» (М. Н. Покровский), ибо на «диалектических построениях Марра лежит явный отблеск коммунистического идеала» (В. М. Фриче). На XVI съезде ВКП(б) именно Марр выступил с приветствием от имени советских ученых. «В условиях полной свободы которую дает науке советская власть, — говорил он, — я веду свою научную работу, развивая теоретически учение о языке. Осознав фикцию аполитичности и отбросив ее в момент обострившейся классовой борьбы, я твердо стою в меру своих омоложенных революционным творчеством сил на посту бойца научного фронта за четкую генеральную линию пролетарской научной теории и за генеральную линию коммунистической партии». Академик закончил свою речь здравицей не в честь Сталина, а в честь мировой революции. Добрую половину речи Марр произнес на грузинском языке, вызвав овацию всего зала. Сразу же после съезда Марр был принят в члены партии, а через год стал членом ВЦИК.

Объявление «нового учения о языке» марксизмом в языкознании делало оппонентов Марра уже не критиками марризма, который они называли между собой маразмом, а противниками марксизма-

ленинизма, что даже в начале 30-х годов было небезопасно. Награждение Марра самым почетным в то время орденом Ленина означало официальное признание его теорий единственно правильным учением в области лингвистики. Книги и статьи представителей других научных школ объявлялись в печати не только «идеализмом», но и «научной контрабандой», «враждебными построениями», «вредительством в науке», «социал-фашизмом» или даже троцкизмом в языкознании». В 1934 г. в самый разгар этой погромной кампании академик Марр умер.

Репрессии 1937—1938 гг. привели к аресту и гибели многих противников Марра. Но погибли и некоторые из его влиятельных сторонников, были дискредитированы и некоторые из его высоких покровителей. Возглавивший яфетическую школу (по имени одного из сыновей библейского Ноя — Яфета) в языкознании ленинградский ученый Иван Иванович Мещанинов не имел ни авторитета, ни связей, ни амбиций своего учителя. Новый лидер советской лингвистики только в 1932 г. стал академиком, и ему приходилось соблюдать умеренность и осторожность. В течение 1939—1948 гг. лингвисты могли работать относительно спокойно, хотя от них требовалось все же формальное признание постулатов «великого» Марра. Печально известная сессия ВАСХНИЛ в 1948 г. положила начало погромной кампании не только в биологии, но и в других науках. В это же время проводилась решительная борьба против «космополитизма», а также против «преклонения» перед иностранными авторитетами. В Ленинграде, где я тогда учился в университете, добавилось еще «ленинградское дело», затронувшее не одни лишь партийные, но и научные кадры. Ученых изгоняли и арестовывали, исключали из партии, лишали научных званий. Опустили кафедры и деканаты. Преподавателями становились студенты старших курсов, пришедшие в университет из армии. Мой друг Саша Андреев, оставаясь студентом, был назначен заместителем декана философского факультета. Сам я начал вести семинары по философии на физическом факультете. В таких условиях в языкознании вновь разгорелась борьба между «материалистами» и «идеалистами». В руках Мещанинова оказались все руководящие посты в этой области. Он стал директором Института языка и мышления им. Н. Я. Марра и возглавил Отделение языка и литературы Академии наук СССР. Его ученики и соратники постепенно занимали все кафедры языкознания в стране, требуя преподавать только «по Марру и Мещанинову». В Ленинграде эта экспансия не встретила заметного сопротивления; здесь находился центр «нового учения о языке», противники которого давно перебрались в другие города или союзные республики. Сопротивление возникло в

Москве, где наиболее авторитетным лингвистом являлся академик Виктор Владимирович Виноградов, автор блестящих работ о языке и стиле русских писателей, по истории языка. Виноградов не разделял откровений «нового учения о языке»; он был учеником знаменитого русского языковеда и историка Александра Александровича Шахматова, умершего в 1920 г.

Самое сильное сопротивление наступлению марровцев возникло, однако, на Кавказе, где сложились группы талантливых лингвистов, не разделявших примитивные теории Марра. В Армении, например, ведущим языковедом был Рачия Ачарян, которого считали основоположником армянского языкознания. Он получил образование в двух европейских университетах и был академиком не только Армянской, но и Чехословацкой академий. Уникальны работы Р. Ачаряна «Армянский этимологический словарь», «Армянский словарь диалектов», «Армянский словарь собственных имен». «История армянской литературы». Не имела аналогов и его «Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками». Эту четырехтомную работу пришлось издавать литографическим способом, поскольку Ачарян использовал слова и выражения и из таких языков, для которых не было шрифтов ни в одной типографии Кавказа. Ачарян пользовался большим авторитетом среди лингвистов, но был уже болен и стар. Среди его учеников выделялся член-корреспондент Армянской АН Григорий Капанцян. Наступление марристов в Армении было относительно успешным, их претензии поддерживали идеологические службы ЦК ВКП(б). Это обстоятельство оказалось решающим для первого секретаря ЦК КП(б) Армении Георгия Арутюнова. Ачарян и Капанцян были сняты со своих постов, началось изгнание их сторонников из Ереванского университета и Института языка Армянской ССР.

Иначе сложились дела в Грузии, где ведущим языковедом считался академик Грузинской АН Арнольд Чикобава, автор ряда словарей грузинского языка и крупный специалист по истории и структуре кавказских языков. Он также не был последователем Марра. Это энергичный и талантливый 52-летний ученый, успешно преподававший в Тбилисском университете, имел много друзей не только среди своих коллег, но и среди партийного актива республики. Добрые отношения связывали Арнольда Степановича с первым секретарем ЦК КП(б) Грузии Кандидом Несторовичем Чарквиани. Когда ученики Марра в Грузии начали при поддержке Москвы оказывать давление на Чикобаву, Чарквиани не только взял его под защиту, но и убедил написать доклад-жалобу Сталину. Конечно, к Сталину шли сотни тысяч жалоб по всем вопросам; почти все они оседали в

аппарате ЦК. Но Чарквиани сумел добиться, чтобы письмо Чикобава легло на стол вождя.

Чикобава просто и убедительно обрисовал ситуацию в языкознании, и Сталин внимательно прочел полученный доклад. Уже давно «величайший теоретик» и «корифей марксизма» не выступал публично как теоретик. Новых и старых проблем возникло немало в экономике, в мировом коммунистическом движении, в общественной жизни социалистических стран, в мировой политике. По этим проблемам выступали члены политбюро А. Жданов, Г. Маленков, А. Вознесенский, их речи и доклады стали цитировать наряду со старыми работами Сталина. Все знали, конечно, что Сталин лично одобрил доклад Трофима Лысенко на сессии ВАСХНИЛ. Но это была биология, и Сталин воздержался от открытых высказываний в столь специальной области. Языкознание было ближе к кругу интересов Сталина, что создавало возможность публичного выступления и могло укрепить его репутацию как «классика марксизма-ленинизма». Он попросил своих секретарей подобрать ему несколько книг по языкознанию; некоторые из них он просмотрел, другие прочел до конца. По пометке и значкам, которые Сталин имел обыкновение делать в книгах, видно, что больше всего ему понравился популярный курс «Введение в языкознание» Д. Н. Кудрявского, изданный в 1912 г. в г. Юрьеве (Тарту). Сталин редко встречался с новыми для него людьми без предварительной подготовки, удивляя их потом короткими, но неожиданно точными замечаниями или вопросами.

В начале апреля 1950 г. Чикобаву предупредили о поездке в Москву для встречи с секретарями ЦК. Встречу назначили на 10 апреля. Вечером этого дня Чикобаву, Чарквиани и еще трех руководителей Грузии привезли в загородный дом генсека в Кунцево, где их встретили не секретари ЦК, а сам Сталин. Беседа началась в 9 часов вечера. Сталин высказал вначале несколько замечаний и пожеланий по поводу «Толкового словаря грузинского языка», первый том, которого только что вышел в свет под редакцией Чикобава. Книга лежала на столе у Сталина и было видно, что он внимательно изучал словарь. После этого перешли к «новому учению о языке». Чикобава рассчитывал уложиться в 20—30 минут, но Сталин прервал его и сказал, что не нужно торопиться. Сталин слушал внимательно, делая пометки в своей тетради и задавая вопросы. Он спросил, например, кто из ученых в Москве и Ленинграде является противником Марра. Чикобава рассказал об академике В. В. Виноградове.

Время от времени в кабинет приносили чай и еду. Услышав, что

в Армении сняты со своих постов Ачарян и Капанцян, Сталин прервал Чикобаву и попросил связать его с Ереваном. Министры и секретари обкомов и ЦК знали, что Сталин работает по ночам, и также не уходили спать раньше 4 часов утра. Состоялся следующий диалог.

Сталин: Товарищ Арутюнов, работают у вас в республике такие люди — Ачарян и Капанцян?

Арутюнов: Да, товарищ Сталин, у нас есть такие люди, но сейчас они не работают, их сняли с постов.

Сталин: А кто они такие?

Арутюнов: Они ученые, академики...

Сталин: А я думал бухгалтера, в одном месте снимут, в другом устроятся. Поторопились, товарищ Арутюнов, поторопились...

И Сталин повесил трубку. Смертельно напуганный Арутюнов вызвал своих помощников и заведующего отделом науки. Больного Ачаряна решили не беспокоить, а за Капанцяном послали машину. Ученого разбудили, успокоили (он мог подумать, что это арест) и повезли в ЦК Армении. Арутюнов объявил опальному профессору, что он назначается директором Института языка Армянской ССР. «Неужели вы не могли подождать с этой новостью до утра», — ответил невыспавшийся Капанцян.

Между тем беседа Сталина с Чикобавой, продолжавшаяся семь часов, подходила к концу. Неожиданно Сталин предложил собеседнику написать статью в газету «Правда» по проблемам языкознания. «А газета напечатает?» — спросил еще не вполне понимавший ситуацию ученый. «Вы напишите, посмотрим. Если подойдет, то напечатает», — ответил Сталин.

Статья была готова через неделю, и текст ее снова попал на стол Сталина. Чикобава еще дважды беседовал с «корифеем всех наук», и это также были продолжительные беседы — по два-три часа. Сталин продолжал знакомиться с литературой по языкознанию, встречался и с академиком Виноградовым, содержание этих бесед не разглашалось.

9 мая 1950 г. в «Правде» была опубликована большая статья Чикобавы с примечаниями редакции — «публикуется в порядке обсуждения». Поскольку в статье имелась резкая критика «нового учения о языке» и лично Мещанинова, тот получил предложение ответить. Ровно через неделю в «Правде» появилась большая статья И. Мещанинова с защитой идеи и учения Н. Я. Марра. Началась

дискуссия по языкознанию, продолжавшаяся, правда, не особенно долго. Все статьи печатались только в «Правде», другие газеты не получили разрешения участвовать в обсуждении. Один из моих друзей заметил в эти дни, что Чикобава — очень смелый человек, коль решился бросить вызов учению Марра. Другой, более осторожный собеседник, заметил, что подлинную смелость проявил как раз Мещанинов, открыто оспаривая критику Чикобавы. Между тем Сталин готовил свою статью, в чем ему помогали Виноградов и Чикобава. Сталин писал сам, это видно по лексике и стилю. Но как и в других случаях, он негласно консультировался с избранными им самим специалистами.

Статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании» появилась в «Правде» 20 июня 1950 г. Я хорошо помню этот день. В ЛГУ шла экзаменационная сессия. Неожиданно все экзамены были прерваны; преподаватели и студенты нашего учебного корпуса спустились в вестибюль, где имелись громкоговорители. Статью Сталина читал лучший диктор, страны Юрий Левитан. Студенты — философы, историки и экономисты — слушали чтение в полном молчании. Мы насторожились, когда Сталин заявил, что язык не является и не может быть надстройкой над базисом, что язык не может жить, не слишком сильно меняясь, при разных надстройках и базисах. Мы усмехнулись, когда Сталин, оспаривая мнение о «классовости» языка, заметил: «Думают ли эти товарищи, что английские феодалы объяснялись с английским народом через переводчиков, что они не пользовались английским языком?» Мы вздрогнули, когда Сталин упомянул о «касте руководителей, которых Мещанинов называет “учениками» Марра”, что если бы он, Сталин, «не был убежден в честности тов. Мещанинова и других деятелей языкознания, то сказал бы, что подобное поведение равносильно вредительству». Мы хорошо запомнили слова Сталина о том, что Марр «не сумел стать марксистом, а был всего лишь упростиателем и вульгаризатором марксизма». Мы радостно переглянулись, когда Сталин сказал, что «наука не может существовать без дискуссий», что «в языкознании был установлен аракчеевский режим, который культивирует безответственность и поощряет бесчинства». Этот режим надо ликвидировать.

На этом дискуссия закончилась, хотя Сталин еще четыре раза давал через «Правду» ответы на некоторые из полученных им писем. Мещанинов потерял все свои посты, а его ученики, дружно покаявшись, начали срочно переучиваться «в свете трудов товарища Сталина». Массовых репрессий в науке удалось избежать, хотя попытки сведения счетов предпринимались еще долго. Директором Институ-

та языка и мышления стал академик В. В. Виноградов. Он же возглавил Отделение языка и литературы АН СССР и журнал «Вопросы языкознания». Во всех высших учебных заведениях страны было включено в программу общественных дисциплин «Сталинское учение о языке», оно вошло и в программы всех систем партийного просвещения. Его изучали даже в самых дальних сельских райкомах. Узнали о языкознании и рядовые колхозники. В одном из романов Федора Абрамова можно прочесть такой диалог:

— Иван Дмитриевич, — сказал Филя, — говорят, у нас опять вредители завелись?

— Какие вредители?

— Академики какие-то. Русский язык, говорят, хотели изничтожить...

— Язык? — страшно удивился Аркадий Яковлев. — Это как язык?

— Да, да, — живо подтвердил Игнатий Баев, — я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправил. В газете «Правда».

— Ну вот, — вздохнул старый караульщик, — заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, а в этом году академики. Не знаю, куда у нас смотря-то. Как их, сволочей, извести не могут... («Пути-перепутья»).

ГУЛАГовский фольклор обогатила новая песня, в которой была и такая строфа.

Товарищ Сталин, вы большой ученый.
В языкознании познавший толк.
А я простой советский заключенный.
И мне товарищ — серый брянский волк...

Лишь много позднее стал известен автор этой песни — Юз Алешковский. Надо признать все же, что выступление Сталина по вопросам языкознания имело в целом положительное значение. К тому же скромная, казалось бы, наука обрела небывалый авторитет среди других общественных наук.

Р. М. Фрумкина

О ЛИНГВИСТИКЕ — ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

...Вспоминая позже это время, я утвердилась в следующей мысли: невозможно стать лингвистом, не испытав страстной любви к языку как к эстетическому, волшебному феномену. Незабываемо чувство, что только на испанском подлинно вырази́ма прозрачно-зеленая красота апреля и фиолетовость теней лунной ночью.

Однако, если любовь к языку возникла как бы в силу естественно-го хода вещей, то мой интерес к языкознанию как к науке о языке много лет оставался, как я теперь понимаю, весьма поверхностным и как бы заемным. Я с удовольствием учила латынь, староиспанский и старофранцузский. Я даже написала дельный по тогдашним меркам диплом по сравнительной романистике. При этом я совершенно ничего не знала из общей теории языка. Точнее было бы сказать, что я долго не знала, что быть лингвистом — как раз и значит размышлять на такие общие темы. В известной мере это неудивительно, за все университетские годы (1949—1955) я не слушала ни одного разумного теоретического курса по общему языкознанию.

О ситуации в лингвистике тех лет подробно и беспристрастно написал известный востоковед и историк науки В. М. Алпатов в книге «История одного мифа (Марр и марризм)» (Москва, 1991). Здесь я ставлю перед собой иную цель. Описывая свои «годы учения», я хочу передать ощущения молодого человека обычных способностей, который, решив стать филологом, оказался в гуще событий в самые важные для формирования своих взглядов годы.

Сегодняшний читатель едва ли может представить себе филологическую среду тех лет. Рядовой филолог — это преподаватель университета или педвуза. Вначале он пережил серию проработочных кампаний конца 40-х годов, требовавших признать Марра пророком и постоянно поливать грязью замечательных ученых, работы которых в действительности и составляли тогдашнюю — а во многом и сегодняшнюю — лингвистику и филологию.

Затем, после выхода в 1950 году работ Сталина по языкознанию, следовало публично отречься от одного кумира и с особым усердием начать поклоняться другому. Н. С. Пospelов, известный русист, к которому мы в июне 1950-го явились сдавать зачет, встретил нас с газетой «Правда» в руке и сказал, вздыхая: «Идите-ка вы все домой голубушки. Я не знаю, о чем вас теперь спрашивать». Добавьте к сказанному полавальные аресты среди московской и ленинградской

интеллигенции, которые в близком мне кругу начались около 1948 года. Кстати, не следует думать, что после 5 марта 1953 года все вдруг переменялось.

Так или иначе, должно было пройти очень много времени, чтобы языковеды в массе, а не в лице отдельных «хранителей огня» просто опомнились от бесконечных проработок и обнаружили, что у них когда-то вообще были научные позиции. Поэтому фактически более свободными и независимыми могли оставаться те, кто просто учил студентов языкам.

Французский язык нам преподавала Эдда Ароновна Халифман. Именно Э. И. Левинтовой и Эдде Ароновне я обязана своими представлениями о лингвистике и филологии как о ремесле.

Характерологически это были совершенно разные люди. Левинтова была моложава, подтянута, быстра в движениях, насмешлива до язвительности. До войны она жила в Ленинграде и училась в Ленинградском университете. Именно ее товарищи по курсу уходили добровольцами на войну в Испании. Один из них — Георгий Владимирович Степанов — в будущем стал директором Института языкознания АН СССР. Левинтова была потомственной интеллигенткой. Ее отчимом, с которым я еще успела познакомиться, был известный математик Вениамин Федорович Каган. В той же семье рос Яша Синай, в будущем — математик с мировым именем (я помню его ребенком).

Когда я впервые, еще первокурсницей, пришла к Эрнестине Иосифовне домой, в квартиру на Полянке, то первое, что мне бросилось в глаза, был рояль. Письменным столом служил круглый стол, покрытый куском плотной узорчатой ткани. Карандаши и ручки стояли в керамическом кувшинчике. На стенах висели небольшие рисунки и акварели. Оставшееся место заполняли книги. Скромная в целом комната чем-то неуловимо отличалась от всего, что я до тех пор видела.

Э. А. Халифман до войны жила в Харькове. Она с детства страдала жестоким искривлением позвоночника и была так больна, что часто не могла добраться до Моховой иначе, чем на такси. Казалось, что она говорила немного, а скорее слушала нас. У нее был мягкий юмор и способность понимать другого человека почти без слов.

Если Левинтова была пронзительно умна, то Эдда Ароновна была мудра. Естественно, что уроки их были столь же непохожи, как они сами. Тем не менее главное, что мне удалось из этих занятий почерпнуть, имело много общего.

Во-первых, я как-то сразу поверила в то, что языком можно до-

вольно быстро овладеть, если научиться понимать структуру фразы, даже не зная смысла каждого слова. Отсюда вытекало, что прежде всего надо хорошо знать грамматику — точнее, главное в грамматике. А поскольку это главное умещалось в небольшом справочнике, то грамматика в целом выглядела как постижимая.

Во-вторых, очевидно было, что с лексикой все обстояло как раз наоборот. В этом убеждало, например, обращение к знаменитому «Толковому словарю французского языка» Литтре, с помощью которого требовалось готовить домашние задания. Ясно было, что если значение одного сравнительно «простого» слова типа франц. *mettre* у Литтре описано на нескольких страницах, то это едва ли тот материал, который можно запомнить, в него можно лишь вжиться.

В итоге получилось, что познание языка требует много терпения, умноженного на любовь к материалу. Это и есть, на мой взгляд, чувство ремесла филолога. Ремесло нельзя создать, но его можно унаследовать. Законы ремесла трудно объяснить, но их можно передать подмастерью. В этом отношении мне бесконечно повезло с моими университетскими учителями.

...Так мы прожили первые три курса. Явившись 1 сентября 1952 года на факультет, я обнаружила, что нас как отделения больше не существует. Какое-то очень высокое начальство пришло к выводу, что для испанистов не найдется работы. Поэтому нас решили переучить на «французов», для чего добавили лишний год. Хотя кафедра испанского языка сохранилась, что-то очень важное из нашей жизни ушло.

Впрочем, к зиме 1952 года мое самоощущение как студентки филфака, да и вообще отношение к жизни в университете и без того сильно изменилось.

...Почти одновременно я стала ходить еще на один семинар, более многочисленный и с широкой тематикой. Его с 1956 года вели на филфаке МГУ математик, специалист по математической логике В. А. Успенский и лингвисты — Вяч. Вс. Иванов и П. С. Кузнецов. (Историю этого семинара см. в работе В. А. Успенского «Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР и В. Ю. Розенцвейг». — *Wiener Slavistischer Almanach, Sonderbd 33*, Wien, 1992).

По существу для многих из нас именно с этого семинара и началась новая лингвистика...

Было бы интересно точно описать, как все это было — когда затеялся еще один семинар, на этот раз — в МГПИИЯ; как из него потом образовалось знаменитое «Объединение по машинному переводу» под руководством В. Ю. Розенцвейга и И. И. Ревзина; как

возникло столь важное для того времени издание «Машинный перевод и прикладная лингвистика», кто, когда и почему приходил и уходил, кто на кого влиял и т. д. Мои очерки, однако, никак не претендуют на то, чтобы внести вклад в историю становления структурной лингвистики. К тому же в упомянутом выше историографическом очерке В. А. Успенского этот начальный период описан с документальной точностью. Поэтому я буду говорить далее не вообще о лингвистике этого времени, а о *своей* лингвистике.

Описывая университетские годы, я упоминала о смятении, связанном с появлением работ Сталина по языкознанию в 1950 году. Сейчас только специалисты помнят, что Марр умер еще в 1934 году. В свое время Марр и его сторонники были достаточно агрессивны, но к концу 30-х годов противостояние марристов и антимарристов уже не было столь актуальным. А масштабный «крестовый поход» против антимарристов почему-то начался в конце 40-х годов. (Я была на первом курсе, когда у нас на факультете преследовали будущего академика Б. А. Серебренникова, тогда еще молодого ученого, за то, что он открыто не разделял марристские воззрения). Лишь много позже стало ясно, что эта кампания стояла в одном ряду с другими политическими преследованиями интеллигенции. Марристская фразеология была намеренно возрождена с целью учинить расправу над еще уцелевшими нормальными учеными. Что касается мотивов, побудивших Сталина в 1950 году царственным жестом заклеить созданный по его же указаниям «каракчеевский режим» в языкознании, то о них мы можем только догадываться. (Некоторые версии см. в книге В. М. Алпатова «История одного мифа», Москва, 1991.)

Нельзя представить себе дело так, что после 1950 года в языкознании немедленно началось возрождение. Прежде всего потому, что в течение нескольких лет все публикации были заполнены толкованиями гениальных произведений вождя. Тем не менее, несомненно начался важный процесс — те, кто выстоял, кто сохранил свои убеждения и себя как личность, смогли наконец вернуться к рабочим столам. Уже в 1958 году академик В. В. Виноградов сумел собрать в Институте русского языка АН СССР лучших лингвистов разных поколений. В кадровом отношении, разумеется, за определенными исключениями, Институт русского языка оказался гораздо более ярким, чем Институт языкознания. Собственно говоря, именно выделение этого нового института из Института языкознания позволило произвести разные перестановки. В Институте языкознания появился Сектор структурной и прикладной лингвистики, которым стал руководить А. А. Реформатский, а в «Русском» (несколько поз-

же) — параллельный ему сектор, которым заведовал С. К. Шаумян. И хотя в 1958 году еще в ходу были цитаты из Сталина и термины, введенные в его работах, силу набирали иные тенденции.

Ориентация лингвистики на математику, кибернетику и, шире говоря, на методологию точных наук окончательно обозначалась именно в конце 50-х годов. Впервые явилась возможность избавления лингвистики от всякой причастности к «идеологическому фронту». Ученые уже могли не думать о том, не сказали ли по данному поводу что-нибудь классики марксизма. Аргументация, согласно принципам которой идейный ревнитель — невидимый, но вечно присутствующий цензор — всегда мог усмотреть в твоей работе какие-то «анти-» и употребить это «в дело» с вытекающими оргвыводами, перестала приниматься всерьез. Внутренний редактор наконец отключился. И вот тогда только и явилась подлинная возможность просто забыть о «трудах» Сталина по языкознанию.

Казалось бы, от такого поворота дел прежде всего должна была выиграть наиболее «гуманитарная» сторона лингвистики — все то, что связано с историей культуры, с функционированием языка как средства общения. Реальность, однако, была много сложнее. Вначале — примерно в течение восьми или десяти лет — доминировала не только ориентация на перспективы машинного перевода, но прежде всего желание «устроить» лингвистику наподобие математики. Это придало сугубо ценностный характер стремлению к формальному описанию феноменов языка. Паролем новой лингвистики надолго стало слово «строгость».

Я помню, как огорчился Э. А. Макаев, когда я рассказала ему о своих планах работать у Реформатского. Для Макаева идея чего-то «машинного» тогда звучала как угроза подлинно гуманитарному началу. И то сказать — Гумбольдта я впервые открыла в 1962 году, и вовсе не по внутренней потребности, а по долгу службы. У меня уже лежала готовая монография, и пора было сдавать кандидатские экзамены, чтобы защитить ее как диссертацию.

Математика была для нас образцом науки, и естественно, что у нас возникали дружеские связи с математиками. Их — математиков, физиков, специалистов по кибернетике, — в свою очередь, привлекала возможность сказать и сделать что-то новое и красивое, применяя свои методы в новой и непривычной области. Это в большой мере определило дух тогдашних семинаров и многому меня научило. Именно благодаря язвительным замечаниям В. А. Успенского, мягкой настойчивости физика М. К. Поливанова, посещавшего тот же семинар, недоуменным репликам Алексея Андреевича Ляпунова я научилась рассказывать в принятом у математиков и физиков стиле.

Отныне в любой аудитории меня можно было перебивать, задавать вопросы по ходу дела. Я научилась не теряться и продолжать свою линию изложения, даже когда меня спрашивали о вещах, имеющих лишь отдаленное отношение к теме моего доклада.

Критика на наших сборищах могла быть разностной, но это не мешало неизменно дружелюбному общему духу. Особую важность для становления лингвистов моего поколения имели этические нормы, установившиеся в том новом сообществе. В огромной степени мы обязаны этим нашим учителям — таким людям, как А. А. Ляпунов, П. С. Кузнецов, А. А. Холодович, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, М. М. Бонгард...

Лучшими временами в жизни двух наших институтов — Института языкознания и Института русского языка — были годы между 1958-м и 1965-м. Структурная лингвистика расцветала. Правильнее, впрочем, было бы сказать, что любая настоящая лингвистика тогда склонна была объединиться под эгидой «структурализма», понимаемого скорее как опознавательный знак. Настоящее внимание к структурализму *sensu stricto*, т. е. к тому, как соответствующие темы обсуждались в 30-е годы, пришло несколько позже и было связано со следующим этапом эволюции нашей гуманитарной науки — с выходом на авансцену семиотики.

В конце 50-х и начале 60-х годов лингвистика стремилась обрести черты зрелой науки — с определенными требованиями к описанию, с четким различием между фактами и гипотетическими построениями, с жесткостью формулировок. Структурная лингвистика именно в силу своей подчеркнутой научности, в отличие от идеологически препарированной гуманитарии, была вне вкусов, вне партий, вне идеологии. Было много конференций, где при некотором сумбуре, характерном для эпохи «бури и натиска», видно было биение живой мысли и желание успеть узнать и понять как можно больше. Хотя я и мои ровесники и были очень молоды и не слишком умудрены, но все же осознавали, что, помимо разрушения стереотипов, мы участвуем в создании не просто новой науки, но способствуем построению обобщенной модели для новой науки, свободной от идеологических догматов. Почти все мы друг друга близко знали, охотно читали работы еще в рукописях, делились мыслями и ценили критические замечания.

В особняке на Волхонке, где в большой тесноте, но в достойной атмосфере жили оба академических института, постоянно что-то происходило. Эта жизнь (во всяком случае, моя) несколько не походила на популярные в нашей литературе описания будней типичного НИИ. Слоняющиеся без дела сотрудники, перекуры у мужчин и

обсуждения тряпок у женщин, несчастные эмэнэсы, глупые и вальяжные доктора наук — все это было не про нас.

Работали мы действительно много. Игорь Мельчук обдумывал свои статьи, бегая из угла в угол и корча зверские рожи. Потом он садился и писал сразу начисто чеканные тексты, которые мы по очереди читали и сопровождали пометками на полях. К А. А. Реформатскому в присутственный день с утра выстраивалась очередь из многочисленных учеников, аспирантов и особенно привечаемых им «русских девок» — молодежи из Института русского языка...

(1997)

КОММЕНТАРИИ

При подготовке антологии мы оказались перед необходимостью решить важную задачу: история языкознания — это не только официально дошедшие до печати теоретические рукописи, выверенные автором и издательством. Это и настроение в обществе, и споры, а порой — и сплетни-слухи. Такая история пока трудно дается исследователю, она принадлежит к тем граням истории науки, которые на миг вспыхивают и тут же исчезают, почти не оставляя следов. Помещая в антологию в качестве дополнения к каждому разделу «Хронику» — отчеты о работе, протоколы заседаний, обзоры конференций, резолюции и пр., — мы не стремились к строго научной реконструкции этого пласта интеллектуальной истории нашей страны. Цель «Хроник» в том, чтобы помочь читателю представить себе контекст, в котором жили люди и их книги.

Источники биографических сведений: издания, указанные в списке литературы; а также БСЭ. Изд. 1, 2 и 3-е; *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды. Библиографический справочник. Т. 1—3. М., 1976—1978; Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990; Русский язык. Энциклопедия. М., 1997.

Раздел 1. Перед заходом солнца

Временные рамки раздела определяются особенностями пути развития языкознания в нашей стране после Октября: отправная хронологическая точка — год 1917. Во введении к «Библиографическому указателю литературы по языкознанию», который охватывает период с 1918 по 1957 год, об этом времени говорится: «Пути развития языкознания в нашей стране определялись следующими факторами: а) утверждением и развитием в нашей стране социалистического общественного строя и марксистской теории, б) многонациональным составом Советского государства и коренными изменениями в нем положения народов и отношений между ними, открытием новых путей для политического и культурного развития этих народов и формированием социалистических наций, в) особой культурной ролью русского языка как языка мировой по значению русской литературы, культуры и науки, дальнейшим повышением его международного и межнационального значения, фактом, что его изучение стало кровным делом всех народов Советского Союза. Развитие языкознания, определяемое этими

факторами, протекало также в условиях воздействия научного наследия прошлого в связи с развивавшейся по своим путям зарубежной наукой о языке» (с. 3—4).

Вторым хронологическим рубежом, ограничивающим первый раздел, стал год 1929. «В 1928 году состоялось открытие нашей советской общественностью и признание ею нового материалистического учения о языке академика Н. Я. Марра. Переломным моментом в этом отношении явился 1929 год, когда началось общее развернутое социалистическое наступление по всему фронту строительства, не исключая науки» (цит. по: В. М. Алпатов. История одного мифа. М., 1991. С. 84).

Терентьев И. Г. 17 ерундовых орудий. Печ. по изд.: Терентьев И. Г. 17 ерундовых орудий. Тифлис, 1919. 12 с.

Терентьев Игорь Герасимович (1892—1941) — член группы 41^я наряду с А. Крученых и И. Зданевичем, театральный деятель, заумник; его творчество располагалось между первым поколением футуристов и концом русского авангарда. Первый арест в 1931 г. (пять лет на стройках Беломорканала и Канала Москва — Волга), второй арест в 1939 г.

Лит.: Терентьев И. Собр. соч. Bologna, 1988; Сигов С. Игорь Терентьев // Russian Literature. 1987. Vol. 22/1. P. 75—84.

Туфанов А. В. К зауми. Стихи и исследования согласных фонем. Печ. по изд.: Туфанов А. В. К зауми. Стихи и исследование согласных фонем. Петербург, 1924. 48 с.

Туфанов Александр Васильевич (1978—194?) — один из виднейших представителей русского поэтического авангарда (наряду с А. Крученых и В. Хлебниковым). Большая часть творческого наследия не издана. Рукописи хранятся в ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН. Ф. 172.

Лит.: Никольская Т. Орден заумников // Russian Literature. 1988. Vol. 22/1. P. 85—95; Бахтерев И. Последний из ОБЭРИУ // Родник. 1987. № 12; Гумилевский Л. Судьба и Жизнь // Волга. 1988. № 7. С. 138—166; Ж.-Ф. Жаккар. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995.

Шор Р. О. Кризис современной лингвистики. Печ. по изд.: Яфетический сборник. 1926. Вып. 5. С. 32—71

Шор Розалия Осиповна (Иосифовна) (1893/4—1939) — сов. языковед и историк средневековой литературы; проф. Института философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского (1934—1939). Работы Шор посвящены вопросам общего языкознания, истории лингвистических учений и сравнительной грамматике и.-е. языков. В основанной по инициативе Шор серии «Языковеды Запада» в 1933–38 гг. изданы труды Ф. де Соссюра, Э. Сепира, Ж. Вандриеса, А. Мейе. Специальные работы Ш. посвящены санскриту, германским языкам, фольклору. Подготовила хрестоматию по истории лингвистических учений 18—20 вв. (не издана).

Лоя Я. В. Основные направления языковедения. Печ. по изд.: На литературном посту. Двухнедельный журнал марксистской критики. 1929. № 20. С. 55—57.

Лоя Ян Вилюмович (1896—1969) — латышский и русский советский

языковед и педагог. Участник Октябрьской революции. Член КПСС с 1915 г. Профессор, филолог. Трудовую деятельность начал в 14 лет рабочим. Участвовал в вооружённом восстании в Москве в октябре 1917 г. В 1918 г. служил в 9-м латышском стрелковом полку, участвовал в подавлении мятежа левых эсеров. В 1918-22 гг. — член редколлегии ряда большевистских газет («Социал-демократ» (Москва), «Коммунист» (Петроград)). С 1925 г. после окончания филологического ф-та МГУ — на педагогич. и научн. работе в Ленинграде, Горьком, Москве, Риге и др. городах. Автор свыше 130 научных трудов. Персональный пенсионер. Основные работы: «Против субъективного идеализма в языкознании» (1929); «Латышско-русский словарь» (1938-42). Работал преподавателем Коммунистического ун-та национальных меньшинств Запада (1923-26). Окончил ф-т общественных наук ЛГУ (1922-25), аспирантуру (1925-28); работал ст. ассистентом (1926-31), доцентом (1931) Ленинградского пед. ин-та и ЛГУ, сотрудником Научно-исслед. ин-та языкознания в Москве (1931-32), зав. каф. иностр. языков МГУ (1932—1934), проф. и зав. каф. языкознания Моск. обл. пед. ин-та (1934-41), зав. каф. славянской филол. Латвийского ун-та в Риге (1941), проф. Горьковского пед. ин-та (1941-43), проф. Моск. обл. пед. ин-та (1943), зав. каф. русского языка Латвийского ун-та, зав. каф. латышского языка Рижского пед. ин-та (1944-54). После выхода на пенсию (1954) занимался научно-исследовательской работой в области общего языкознания, латышского и русского языков.

Ушаков Д. Н. Краткий очерк деятельности лингвистической секции Научно-исследовательского Института языка и литературы (1921 - 1927). Печ. по изд.: Учёные записки Института языка и литературы РАНИОН. 1927. Т. 1. С. 128—133

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873—1942) профессор МГУ, с 1939 г. член-корреспондент АН СССР. Ученик Ф.Ф.Фортунатова. Оsn. работы — «Краткое введение в науку о языке», «Русский язык», «Русская орфография». Главный труд — редактированный им «Толковый словарь русского языка» (1934-1940) в 4 томах.

Раздел 2. На «языковедном фронте»

Название раздела восходит к появившемуся 15 сентября 1930 г. обращению группы языковедов, в основном молодых, назвавшей себя «Языкофронт». Незадолго до того в составе РАППА появилась группировка «Литфронт», сходная по программе с «Языкофронтом»; близость названий, видимо, не случайна. Дальнейшая судьба этих формирований тоже оказалась похожей. Организатором и лидером «Языкофронта» стал член партии с 1917 г., работник Коммунистического университета трудящихся Востока Г. К. Данилов, идейным же вождем был Т. П. Ломтев, поступивший осенью 1930 г. в аспирантуру РАНИОН по лингвистике. Важную роль играл также Я.В.Лоя, еще в 1929 г. выступивший в журнале РАППа «На литературном посту» с программной статьей, предвосхищавшей положения «Языкофронта». В первоначальном составе группы были также К. А. Алавердов, М. С. Гус, Э. К. Дрезен, С. Белевицкий и др. Вскоре к

«Языкофронт» присоединилось еще 25 человек, в основном из аспирантов и студентов, среди них были известные впоследствии лингвисты П. С. Кузнецов, Н. С. Чемоданов, С. Б. Бернштейн. 1928-29 годы — переломные для советского языкознания: «в годы выполнения первого пятилетнего плана яфетидология как особая отрасль языкознания перестала существовать, превратившись в марксистско-ленинскую науку о языке, тем самым советская наука и на этом участке соревнования победила науку буржуазного мира» (В. Б. Аптекарь). На эти годы приходится две организованные дискуссии по вопросам языкознания, в т.ч. об отношении к «новому учению о языке»: февраль 1929 г. т. н. «поливановская дискуссия» в Комакадемии и в октябре—декабре 1930 г. «языкофронтонская дискуссия» в той же Комакадемии.

В антологию мы не включали тексты «поливановской дискуссии», т. к. она хорошо и подробно представлена в общедоступных публикациях 80—90-х годов, а также тексты самого Е. Д. Поливанова по тем же причинам. (см. Ларцев В. Евгений Дмитриевич Поливанов: Страницы жизни и деятельности. М., 1988; Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968; Поливанов Е. Д. Избранные работы. М., 1991; А. А. Леонтьев. Евгений Дмитриевич Поливанов и его вклад в общее языкознание. М., 1983).

Ломтев Т. П. За марксистскую лингвистику. Печ. по изд.: Литература и искусство. 1931. № 1. С. 115—125

Ломтев Тимофей Петрович (1906—1972) — крупный русский и белорусский языковед и педагог. Окончил Новохоперский педагог. техникум (1925), филол. ф-т Воронежского ун-та (1929) и аспирантуру при Ин-те красной профессуры (1931). Доцент МГПИ им. В.И.Ленина, проф. Коммунистич. ин-та журналистики, старший научн. сотрудник Научно-исслед. ин-та языкознания (НИИЯЗ) (1931-33). С 1933 — зам. директора Ин-та языкознания АН БССР (Минск), с 1937 — проф. БГУ, с 1939 г. — декан филол. ф-та и зав. каф. русского языка и литературы БГУ; во время войны — проф. и зав. каф. Свердловского ун-та. С 1943 г. работал в Москве. Доктор наук (1944). 1944-46 — зав. отд. школ ЦК КПБ в Минске. С 1946 г. — жил и работал в Москве, проф. каф. русского языка, зам. декана филол. ф-та МГУ, ст. научный сотрудник Ин-та русского языка АН СССР. Член КПСС с 1939. Основные работы: «Фонология современного русского языка» (1972); «Сравнительно-историческая грамматика восточнославянских языков» (1961); «Предложение и его грамматические категории» (1972); «Основы синтаксиса современного русского языка» (1958); «Ленинская хрестоматия о языке» (1932).

Лит.: Т. П. Ломтев. *Общее и русское языкознание. Избранные работы* (библ.). М., 1976.

Данилов Г. К. Яфетидология в наши дни. Печ. по изд.: Революция и язык. 1931. № 1. С. 21—27

Данилов Георгий Константинович (1896—1937) — советский лингвист; член партии с 1917 г.; работал в Коммунистическом университете трудящихся Востока; затем — зам. директора Научно-исследовательского ин-та языкознания (НИИЯЗ). Расстрелян в 1937 г.

Гранде Б. М. К вопросу об алфавитном строительстве СССР. Печ. по изд.: Просвещение национальностей. 1931. № 10. С. 72—77

Гранде Бенцион Меерович (1891—1974) — советский арабист. В 1926 г. участвовал в I-м Всесоюзном Тюркологическом съезде (Баку), посвященном вопросам латинизации письменности тюркоязычных народов; член Центрального комитета нового тюркского алфавита (поздн. преобраз. во ВЦКНА); работал в Институте востоковедения АН СССР (Москва), занимался вопросами семитского языкознания; создатель советской школы арабистов.

Раздел 3. Против буржуазной контрабанды в языкознании

Название раздела восходит к титулу книги «Против буржуазной контрабанды в языкознании» под ред. С. Н. Быковского. Она стала пиком промарровской кампании в советском языкознании. В 1932 году был ликвидирован «Языкофронт» и началась «проработка» его членов. К этому периоду единственным академическим центром, в котором занимаются языкознанием, остается Институт языка и мышления (Ленингр. и Моск. отд.). Материалы раздела — это статьи из названного сборника.

Филин Ф. П. Борьба за марксистско-ленинское языкознание и группа 'Языкофронт'. Печ. по изд.: Против буржуазной контрабанды в языкознании. Л., 1932. С. 28—46.

Якубинский Л. П. Против «даниловщины». Печ. по изд.: Против буржуазной контрабанды в языкознании. Л., 1932. С. 47—65.

Горбаченко Г. И., Синельникова Н. П., Шуб Т. А. Вылазка буржуазной агентуры в языкознании. Печ. по изд.: Против буржуазной контрабанды в языкознании. Л., 1932. С. 129—140.

Филин Федот Петрович (1908—1982) — сов. языковед, член-корр. АН СССР с 1962 г.; окончил 2-й МГУ (1931); директор Института языкознания (1964-68), Ин-та русского языка (1968-82). Осн. труды в области истории русского языка, лексикологии и лексикографии. Исследовал проблемы этногенезиса славян, русской диалектологии и лингвистической географии, проблемы общего языкознания и социолингвистики, развития, структур и функций, стилевых разновидностей литературных языков, их историко-сопоставительного изучения. Один из составителей и председатель редколлегий «Словаря современного русского литературного языка» (в 17 т. 1950-65, Ленинская премия 1970); руководитель работ по составлению «Словаря русских народных говоров» (прод. изд.); с 1971 г. гл. ред. журнала «Вопросы языкознания». Осн. работы: «Очерк истории русского языка до XIV столетия» (1940); «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи» (1949); «Образование языка восточных славян» (1962); «Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк» (1972).

Якубинский Лев Петрович (1892—1945) — сов. лингвист и литературовед, в 1913 г. окончил Петербургский ун-т, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы. Как теоретик поэтической речи примыкал к ОПОЯЗу

(работа «О звуках стихотворного языка», 1916). С начала 30-х годов отошел от литературоведческой проблематики. Лингвистические труды посвящены проблемам сравнительно-исторического языкознания, истории русского литературного языка, теоретическим проблемам. Осн. работы: «О диалогической речи» (1923), «История древнерусского языка» (изд. 1953).

Лит.: Якубинская-Лемберг Э. Проф. Л. П. Якубинский. Некролог // Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1949. № 94, в. 14; Якубинский Л. П. Язык и его функционирование: Изб. работы / Отв. ред. А. А. Леонтьев. М., 1986.

Горбаченко Г. И., Синельникова Н. П., Шуб Т. А. — биографические данные не обнаружены.

Раздел 4. Яфетические зори

В данный раздел антологии мы включили основные работы Н. Я. Марра, дающие представление о «яфетической теории», новом учении о языке», «четырёхэлементном анализе» и стадильности; а также работы его учеников, соратников и последователей.

Марр Н. Я. Язык. Печ. по изд.: Марр Н. Я. Избранные работы: В 5 тт. Т. 2. М.—Л., 1936. С. 127—135.

Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком. Печ. по изд.: Марр Н. Я. Избранные работы: В 5 тт. Т. 2. М.—Л., 1936. С. 399—426.

Марр Н. Я. Яфетические зори на украинском хуторе. Печ. по изд.: Марр Н. Я. Избранные работы: В 5 тт. Т. 5. М.—Л., 1935. С. 224—271.

Марр Николай Яковлевич (1864—1934) — советский ученый — филолог и археолог. Академик с 1909 г. Окончил восточный ф-т Петербургского ун-та (1888). С 1900 — профессор Петербургского (Ленинградского) ун-та. Н. Я. Марр было директором Яфетического ин-та (позже Институт языка и мышления (после смерти Марра ин-ту было присвоено его имя), директором ГАИМК, директором Публичной библиотеки (до 1930 г.), директором Института национальностей СССР, председателем Центрального совета научных работников (до 1931 г.), членом Ленсовета, с 1928 г. возглавлял секцию материалистической лингвистики Коммунистической академии общественных наук, с 1930 г. — вице-президент и председатель организационно-плановой комиссии АН СССР, в 1931 г. — член ВЦИК и ВЦСПС. Начав с изучения генетич. связей грузинского языка, Марр сформулировал «яфетическую теорию», которая первоначально представляла собой доказательство родства грузинского (и в целом иберийско-кавказских языков) с семитскими языками. Разрабатывая далее свою «яфетическую теорию», Марр постепенно придавал ей характер общелингвистического, т.н. «нового учения о языке», согласно которому язык есть надстроечная категория и классовое явление; Марр выдвинул концепцию единого языкотворческого (глоттогонического) процесса развития всех языков мира и их стадильную классификацию. Безусловную научную ценность представляют филологические работы Марра (серия «Тексты и разыскания по армяно-грузинской

филологии)), а также его исследования, посвященные языкам Кавказа.

Лит.: Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. М., 1949; Н. Я. Марр. Избранные труды: в 5 т. М.—Л., 1933—1937 (библ.).

Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Стадиальная типология. Печ. по изд.: Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936. С. 7—61, 279—342

Мещанинов Иван Иванович (1883—1967) — советский языковед и археолог; академик с 1932 г.; Герой социалистического труда (1945). Специалист в области урартского языка и письменности Древней Передней Азии. Ученик и последователь Н.Я.Марра. В 1907 г. окончил юридич. ф-т Петербургского ун-та. В 1905 г. занимался в Гейдельбергском ун-те. В 1910 г. окончил Археологический ин-т в Петербурге. С 1912 по 1914 гг. был членом правления и зав. историч. архивом. В 1919 г. стал вольнослушателем Восточного ф-та Петроградского ун-та. 1919-34 гг. — ассистент, действ. член и ученый секретарь Ин-та материальной культуры. 1927 — докторская диссертация. 1928-30 гг. — доцент, проф. Ин-та живых восточных языков (позже Ленинградский восточный ин-т). 1928 г. — действ. член ГАИМК, 1932 — АН СССР, 1933 г. — директор Ин-та антропологии и этнографии АН СССР, 1935 г. — Ин-та языка и мышления АН СССР, декан лингвистического ф-та ЛИФЛИ. С 1934 по 50 г. руководил Отд. лит-ры и языка АН СССР, член президиума АН СССР. Основные работы «Эламские древности» (1918), «Халдоведение» (1927), «Язык ванской клинописи» (1935), «Члены предложения и части речи» (1945), «Глагол» (1948).

Тристан и Исоolda. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афреватии: коллективный труд Сектора семантики мифа и фольклора. Целевая установка; Итоги коллективной работы. Печ. по изд.: Труды Института языка и мышления АН СССР. Т. II / Под ред. акад. Н. Я. Марра. Л., 1932. С. 1—16; 261—276.

В состав коллектива авторов вошли: О. М. Фрейденберг, А. А. Смирнов, В. А. Брим, В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий, Б. В. Казанский, М. Г. Тихая-Церетели, К. Д. Дондуа, Н. М. Дрягин, Т. С. Пассек, Б. А. Латынин, А. Г. Эндюковский.

Долобко М. Г. Русское местоимение принадлежности «мой». Печ. по изд.: Советское языкознание. М.—Л., 1935. Т. I. С. 163—168

Долобко Милий Герасимович (1884—1935) — советский языковед, специалист по славянским языкам, профессор Ленинградского ун-та, ученик акад. А.А.Шахматова. Известен трудами по истории сербского языка и по славянской акцентологии: «О языке некоторых боснийских грамот XIV в.» (1915), «Ночь — ночесь, осень — осенесь, зима — зимусь, лето — летось» (1927).

Щерба Л. В. О «диффузных звуках». Печ. по изд.: Академия наук СССР — академику Н. Я. Марру. Юбилейный сборник. М.—Л., 1935. С. 451—453

Щерба Лев Владимирович (1880—1944) — советский языковед, ученик и последователь И. А. Бодуэна де Куртенэ, профессор ЛГУ, МГУ, с

1943 г. академик. Школа Щербы (М. И. Матусевич, Л. Р. Зиндер, А. А. Драгунов, И. П. Сунцов, А. Абеле, Ю. Плакис, Я. Лоя и др.) оказала значительное влияние на формирование советской науки о языке. Научные интересы: общие вопросы языкознания, фонетика и орфоэпия, грамматика, письменность (орфография, транслитерация и транскрипция), методика преподавания иностранных языков, лексикография, французский язык и язык поэзии Пушкина.

Лит.: Зиндер Л. Р., Маслов Ю. С. Л. В. Щерба — лингвист-теоретик и педагог (библ.). Л., 1982.

Раздел 5. Марксизм и вопросы языкознания

Настоящий раздел посвящен воспроизведению атмосферы начала 50-х годов, дискуссии по проблемам языкознания, инициированной И. В. Сталиным. Дискуссия шла с 9 мая по 4 июля 1950 г. Каждый вторник две страницы газеты «Правда» отводились языкознанию. Сама работа И. В. Сталина состояла из ответов на четыре вопроса «группы товарищей из молодежи» и дополняющих ее четырех ответов на письма читателей.

Эпоха сороковых — первой половины 50-х годов — это период безвременья в филологической науке и в филологическом образовании (см. воспоминания Р. М. Фрумкиной): марксизм подвергался критике, но ничего кроме «сталинского учения о языке» пока не было. Этот период заканчивается к середине 50-х годов, а затем начинается коренное изменение ситуации, когда в советское языкознание стали активно проникать идеи западного структурализма. К этому времени со страниц лингвистических изданий исчезает полемика с «новым учением о языке». Перед советской лингвистикой встали новые темы, которые уже выходят за рамки нашей антологии.

Хроника дискуссии

9 мая. От редакции: «В связи с неудовлетворительным состоянием советского языкознания редакция считает необходимым организовать свободную дискуссию с тем, чтобы путем критики и самокритики преодолеть застой в развитии советского языкознания и дать правильное направление дальнейшей научной работе...»

А. Чикобава. О некоторых вопросах советского языкознания.

16 мая.

И. Мещанинов. За творческое развитие наследия академика Марра.

23 мая.

Н. Чемоданов. Пути развития советского языкознания.

Б. Серебрянников. Об исследовательских приемах Н. Я. Марра.

Г. Санжеев. Либо вперед, либо назад.

30 мая.

Ф. Филин. Против застоя, за развитие советского языкознания.

Гр. Капанцян. О некоторых общелингвистических положениях Н. Марра.

А. Попов. Назревшие вопросы советского языкознания.

6 июня.

В. Виноградов. Развивать советское языкознание на основе марксистско-ленинской теории.

13 июня.

Л. Булаховский. На путях материалистического языковедения.

С. Никифоров. История русского языка и теория Н. Я. Марра.

В. Кудрявцев. К вопросу о классовости языка.

20 июня.

И. Сталин. Относительно марксизма в языкознании.

П. Черных. К критике некоторых положений «нового учения о языке».

27 июня.

Т. Ломтев. Боевая программа построения марксистского языкознания.

Г. Ахведиани. За ленинско-сталинский путь развития советского языкознания.

4 июля.

И. Сталин. К некоторым вопросам языкознания (ответ тов. Е. Крашенинниковой).

Н. Сауранбаев. Ясная перспектива.

В. Виноградов. Программа марксистского языкознания.

С. Толстов. Пример творческого марксизма.

С. Обнорский. За творческий путь в советской науке.

Н. Яковлев. Преодолеем ошибки в своей работе.

И. Мещанинов. Письмо в редакцию газеты «Правда».

Н. Чемоданов. Письмо в редакцию.

Л. Булаховский. Новый этап.

В. Шишмарев. За науку, достойную нашей эпохи.

Е. Галкина-Федорук. Только вперед.

Г. Церетели. Путь к расцвету.

А. Гарибян. Вдохновляющий труд.

20 июля

И. Г. Петровский. Долг советского ученого.

2 августа

И. В. Сталин. Ответ товарищам.

Товарищу Санжееву

Товарищам Д. Белкину и С. Фуреру.

Товарищу А. Холопову.

Работы И. В. Сталина печатаются по газетному оригиналу.

Серебренников Б. А. Новые задачи в области изучения языков народов СССР. Печ. по изд.: Труды Института языкознания АН СССР. 1952. Т. 1. С. 3—6

Серебренников Борис Александрович (1915—1989) — советский языковед, окончил ИФЛИ (1940), профессор (с 1969), член-корр. АН СССР (с 1953), академик АН СССР (с 1984). Зам. директора (1950-55), директор (1960-64), зав. сектором общего языкознания (с 1964) Института языкознания АН СССР. Специалист в области общего и сравнительно-историческо-

го языкознания, уральских, алтайских, и.-е. языков. Разрабатывал общую проблематику форм существования, функций и исторических закономерностей развития языка, вопросы функционирования языковых категорий в отд. языках и языковых семьях в диахроническом и синхронно-типологическом планах. Осн. работы: «Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп» (1960); «Историческая морфология пермских языков» (1963); «Историческая морфология мордовских языков» (1967); «Общее языкознание» (кн. 1—3) (1970-73) (отв. ред.); «Вероятностные обоснования в компаративистике» (1974), «О материалистическом подходе к явлениям языка» Отв. ред. В. П. Нерознак. М., 1983. Последняя монография полемически заостряет тему возрождения марризма в конце 70-х – начале 80-х годов. После выхода в свет книги, она подверглась резким нападкам со стороны задетых в ней ученых, результатом которых стало изъятие ее из продажи.

Лит.: Феоктистов А. П. 60-летие Б. А. Серебренникова // Сов. финно-угроведение. 1975. № 1; Академик Б. А. Серебренников (некролог) // В Я. 1989. № 4.

Жирков Л. И. О моих теоретических ошибках в научных работах до 1950 г. Печ. по изд.: Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 1953. № 5. С. 132—135

Жирков Лев Иванович (1885—1963) — советский языковед; занимался кавказскими (преим. дагестанскими) и иранскими языками. Исследовал вопросы общего, а также прикладного языкознания: создание алфавитов, орфографий, грамматик и словарей для языков народов СССР, интерлингвистика. Осн. работы: «Грамматика аварского языка» (1924); «Грамматика даргинского языка» (1926); «Персидский язык» (1927); «Аварско-русский словарь» (1936); «Грамматика лезгинского языка» (1941); «Табасаранский язык» (1948); «Лакский язык» (1955).

Раздел 6. Как это было: воспоминания

Фрейденберг О. М. Воспоминания о Марре. Печ. по изд.: Восток-запад. Исследования, переводы, публикации. Вып. 3. М., 1988. С. 181—198

Фрейденберг Ольга Михайловна (1890—1955) — советский филолог-классик, литературовед и лингвист. Окончила Петроградский ун-т (1923 г.) по классическому отд., имея руководителями акад. С. А. Жебелева и акад. Н. Я. Марра. Ученик и верный последователь Н. Я. Марра. С 1926-32 сотрудник секции семантики мифа и фольклора при Институте языка и мышления. С 1932 — зав. каф. (первая в СССР) классической филологии ЛИФЛИ (в посл. фил. ф-т ЛГУ), сотрудник ИЛАЗВ, ИРК, ЛНИЯ. В 1935 г. защищает докторскую диссертацию («Поэтика сюжета и жанра»). В 1936 г. под ее и И. М. Троицкого (Тронского) редакцией выходит хрестоматия «Античные теории языка и стиля». В 1939 г. она открывает при кафедре первое отд. византистики. Профессор с 1949 г. При жизни опубликована одна монография и ок. двадцати статей. В архиве хранится восемь монографий.

Лит.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности (вкл. биогр. и библиограф. коммент.) / Сост., коммент. Н. В. Брагинской. М., 1998.

Аничков И. Е. Очерк советского языкознания. Печ. по изд.: Аничков И. Е. Труды по языкознанию. СПб., 1997. С. 410—438.

Аничков Игорь Евгеньевич (1897-1978) — сов. языковед. В 1915 г. окончил историко-филологич. ф-т Петербургского ун-та. В 1920-22 гг. преподавал в Красноярске (Политехнич. ин-т), 1923-28 — в Фонетическом ин-те практич. изучения новых языков (в посл. Фонетич. школе ин. яз. при ЛГУ). В 1928 г. начал работу в Институте языков и литератур Запада и Востока под рук. акад. Н. Я. Марра. 1928-31 (Соловки), 1931-38 (ссылка). С 1938 по 1941 преподавал в I Ленингр. пед ин-те ин.яз. 1944 г. — защита канд. диссерт. «Идиоматика в ряду лингвистических наук». 1947 г. — защита докторской диссертации. 1947 г. — проф. каф. романо-герм. филологии ЛГУ; 1948 — проф. каф. западноевропейских языков АН СССР и проф. каф. англ. яз. Ленинградского гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. 1949—1953 — проф. каф. английской филологии Ставропольского пед. ин-та ин. яз. 1953—1978 — проф. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Сфера интересов: методика преподавания иностранных языков, общее языкознание, английская грамматика, философия и религия. Большая часть научного наследия осталась неопубликованной.

Лит.: Аничков И. Е. Труды по языкознанию / Сост. и отв. ред. В. П. Недялков. СПб., 1997.

Звегинцев В. А. Что происходит в советской науке о языке. Печ.: по изд.: Вестник АН СССР. 1989. № 12. С. 11—28

Звегинцев Владимир Андреевич (1910—1988) — советский лингвист. Учился и начал преподавать в Ташкенте, его учитель — видный лингвист и этнограф (иранист) чл.-корр. АН СССР М.С.Андреев. В 1950 г. после известной лингвистической дискуссии переезжает в Москву и начинает работать на филологическом ф-те МГУ — доцент, затем профессор и зав. кафедрой общего и сравнительного языкознания. В 1960 г. организует новую кафедру структурной и прикладной лингвистики, которой руководит до 1982 г. Осн. работы: «Семасиология», «Язык и лингвистическая теория», «Предложение и его отношение к языку и речи». Наибольшую известность он получает как составитель хрестоматий «История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях» (три издания), в которой собраны по-настоящему представительные отрывки из работ большого числа крупных лингвистов, многие из которых были переведены на русский язык впервые. В.А.Звегинцев основывает серию «Новое в лингвистике», включившую в себя переводы многих значительных работ современных зарубежных языковедов (с 1960 по 1989 вышло 25 томов). По словам В. М. Алпатова, «никто в 50—70-е гг. у нас не сделал столько для знакомства наших читателей с мировой наукой о языке, как Вл. Андр.; с его деятельностью может быть сопоставлена лишь деятельность Р. О. Шор в 30-е гг.».

Лит.: Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. М., 1996.

Чикобава А. С. Когда и как это было. Печ. по изд.: Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. 1985. Т. 12. С. 9—14

Чикобава Арнольд Степанович (р. 1898) — грузинский советский языковед; акад. АН Груз. ССР (с 1941 г.). В 1922 г. окончил Тбилисский ун-т. С 1933 г. профессор там же. Основные труды посвящены вопросам общего языкознания, истории и структуры кавказских (иберийско-кавказских) языков, проблеме эргативной конструкции предложения. Сост. «Чанско-мигрельско-грузинского словаря» (1938); ред. «Толкового словаря грузинского языка» (т. 1—8, 1950-64). На русск. яз. изд.: Введение в языкознание. М., 1953; Проблема языка как предмета языкознания. М., 1959.

Филин Ф. П. Мой путь в науке. Печ. по изд.: Русская речь. 1988. № 2. С. 71—79

Филин Ф. П. см. прим. к разделу третьему.

Будагов Р. А. Из истории советского языкознания. Печ. по изд.: Будагов Р. А. Портреты языковедов XIX—XX вв. Из истории лингвистических учений. М., 1988. С. 16—34

Будагов Рубен Александрович (р. 1910) — советский российский языковед, специалист в области общего и романского языкознания и филологии. Член-корр. АН СССР (1970). Окончил Ростовский пед. ин-т (1933). Профессор ЛГУ (1947-52) и МГУ (с 1952). Основные работы: «Этюды по синтаксису румынского языка» (1958); «Введение в науку о языке» (1965); «Проблемы изучения романских литературных языков» (1961); «Сравнительно-семасиологические исследования» (1963); «Литературные языки и языковые стили» (1967); «Проблемы развития языка» (1965).

Бернштейн С. Б. Трагическая страница из истории славянской филологии. Печ. по изд.: Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 77—82

Бернштейн Самуил Борисович (р. 1911) — советский российский языковед, славяновед. Ученик А.М.Селищева. Окончил Московский университет. Много и успешно занимался историей и диалектологией болгарского и других славянских языков, проблемами сравнительной грамматики славянских языков, вопросами индоевропейского языкознания, балканистикой. В сфере его интересов находились вопросы румынского языка, проблемы субстрата и языковых взаимовлияний, проблемы лингвистической географии и лексикографии.

В 1928 году он поступил на историко-этнологический ф-т Московского университета. В 1931 году был принят в аспирантуру Института языкознания при Наркомпросе РСФСР, затем в 1933 году в связи с закрытием этого института переведён в аспирантуру Института речевой культуры в Ленинграде. 1934 г. — кандидатская диссертация. С 1934 по 1938 гг. руководил кафедрой болгарского языка и литературы в Одесском пед. ин-те. В 1938 г. — зав. каф. языкознания в Одесском университете. В 1939 г. переведён на работу в Московский ин-т истории, философии и литературы им. Чернышевского. 1946 г. — докторская диссертация. С 1946 г. — зав. сектором славянской филологии Института славяноведения АН СССР. С 1947 г. — зав. каф. славянских языков МГУ.

Основные труды: Болгарско-русский словарь (1-е изд. — 1947 г.); Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. М.—Л., 1948; Атлас болгарских говоров в СССР. М., 1958; Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.

Лит.: Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994; Аванесов Р. И. Сорок лет в славистике // Исследования по славянскому языкознанию. Сб. в честь 60-летия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971. С. 18—27.

Медведев Р. Сталин и языкознание. Печ. по изд.: Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 11. С. 1034—1038

Медведев Рой Александрович (р. 1925) — российский историк.

Фрумкина Р. М. О лингвистике от первого лица. Печ. по изд.: Фрумкина Р. М. О нас — наискосок. М., 1997. С. 97—107.

Фрумкина Ревекка Марковна (р. 1931) — советский российский лингвист. В 1955 г. окончила МГУ (филологический ф-т). С 1956 г. работала в Институте языкознания АН СССР (поздн. РАН). Автобиографическая книга: О нас — наискосок. М., 1997. Основные работы: «Прогноз в речевой деятельности» (1974); «Статистические методы изучения лексики» (1964); «Цвет, смысл, сходство» (1984).

ЛИТЕРАТУРА

- Алпатов В. М.* История одного мифа. М., 1991.
- Алпатов В. М.* История лингвистических учений. М., 1998.
- Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М.* Дело славистов: 30-е годы. М., 1994.
- Березин Ф. М.* История советского языкознания. Хрестоматия. М., 1981.
- Березин Ф. М.* История советского языкознания. Хрестоматия. М., 1988.
- Библиографический указатель литературы по языкознанию, изданной в СССР с 1918 по 1957 год. М., 1958.
- Брагинская Н. В.* Фундаменты и этажи // Знание-сила. 1989. № 6.
- Гаспаров Б. М.* Ламарк, Шеллинг, Марр // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1993. С. 187—212.
- Горбаневский М. В.* В начале было слово... Малоизвестные страницы истории советской лингвистики. М., 1991.
- Дешериев Ю. Д.* Жизнь во мгле и в борьбе. М., 1995.
- Десницкая А. В.* Глава из истории советского языкознания // Десницкая А. В. Сравнительное языкознание и история языков. Л., 1984. С. 7—56.
- Жаккар Ж.-Ф. Д.* Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995.
- Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях: В 2 ч. Часть II. М., 1960.
- Зубкова Л. Г.* Из истории языкознания. М., 1992.
- Из истории отечественной филологической науки 20—50-е годы: Тезисы докладов конференции (Институт языкознания РАН). М., 1994.
- Иванов Вяч. Вс.* Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
- Иванов Вяч. Вс.* Голубой зверь. Воспоминания // Звезда. 1995. №№ 1, 2, 3.
- Климов Г. А.* Типологические исследования в СССР: 20—40-е годы. М., 1981.
- Лоя Я. В.* Языкознание советской эпохи // История лингвистических учений. М., 1968. С. 240—258.
- Московский-тартуская семиотическая школа. История. Воспоминания. Размышления. М., 1998.
- Наумова Т. Н.* Психологически ориентированные синтаксические теории в русской и советской лингвистике. Саратов, 1990.
- Постовалова В. М.* Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука в конце 20 века. М., 1995. С. 342—420.
- Почепцов Г. Г.* История русской семиотики (до и после 1917 года). М., 1998.

Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.
Слюсарева Н. А., Страхова В. С. История языкознания. Вып. 7 (Советское языкознание. 20—30-е годы). М., 1976.

Шеулин В. В. Хрестоматия по истории грамматических учений в Советском Союзе. Ростов-на-Дону, 1972.

L'Hermitte R. Marr, Marrisme, Marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. P., 1987.

Rubenstein H. The Recent Conflict in Soviet Linguistics // *Language*, 1951. Vol. 27. № 3.

Sauvageot A. Linguistique et marxisme // *A la limite du marxisme*. Vol. 1. P., 1935.

Seriot P. Linguistique et ideologie, quelques remarques a propos du dictionnaire d'Ozhegov // *L'Enseignement du russe*, 1977. № 1. P. 69—79.

Seriot P. La sociolinguistique sovietique est-elle «neo-marriste»? // *Archives et documents de la Societe d'Histoire et d'epistemologie des sciences du langage*. 1982. № 2. P. 63—84.

Seriot P. La question de la langue dans l' URSS des annees trente // *Étude de lettres*. Université de Lausanne. Oct.-Dec. 1990. P. 91—112.

Seriot P. L'histoire de la linguistique sovietique comme voie d'accès a l'histoire de l'Union Sovietique // *Russistika*. 1991. P.24-35.

Seriot P. Changements de paradigmes dans la linguistique sovietique des annees 1920—1930 // *Histoire Epistemologie Langage*. 1995. T. 17. Fasc. 2. P. 235—251.

Seriot P. Россия и Запад: языкознание в 20—30-е годы // *Вестник МГУ. Серия 9 (филология)*. 1996. № 4. С. 73—83.

Thomas L. L. The Linguistic Theories of N. Ja. Marr. Berkeley — Los Angeles, 1957.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Базылев В. Н., Нерознак В. П. Традиция, мерцающая в толще истории</i>	3
--	---

Раздел 1. Перед заходом солнца

<i>Терентьев И. Г. 17 ерундовых орудий</i>	21
<i>Туфанов А. В. К зауми. Стихи и исследования согласных фонем</i>	26
<i>Шор Р. О. Кризис современной лингвистики</i>	41
<i>Лоя Я. В. Основные направления языковедения</i>	66
<i>Хроника научной лингвистической жизни</i>	71

Раздел 2. На «языковедном фронте»

<i>Ломтев Т. П. За марксистскую лингвистику</i>	78
<i>Данилов Г. К. Яфетидология в наши дни</i>	92
<i>Гранде Б. М. К вопросу об алфавитном строительстве СССР</i>	103
<i>Хроника научной лингвистической жизни</i>	112

Раздел 3. Против буржуазной контрабанды в языкознании

<i>Филин Ф. П. Борьба за марксистско-ленинское языкознание и группа «Языкфронт»</i>	115
<i>Якубинский Л. П. Против «даниловщины»</i>	134
<i>Горбаченко Г. И., Синельникова Н. П., Шуб Т. А. Вылазка буржуазной агентуры в языкознании</i>	155
<i>Хроника научной лингвистической жизни</i>	167

Раздел 4. Яфетические зори

<i>Март Н. Я. Язык</i>	177
<i>Март Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком</i>	188
<i>Март Н. Я. Яфетические зори на украинском хуторе</i>	220
<i>Мещанинов И. И. Новое учение о языке. Стадиальная типология</i>	273
<i>Фрейдентберг О. М. Целевая установка коллективной работы над сюжетом о Тристане и Изольде</i>	325

<i>Франк-Каменецкий И. Г.</i> Итоги коллективной работы над сюжетом Тристана и Исольты	340
<i>Долобоко М. Г.</i> Русское местоимение принадлежности «мой»	354
<i>Щерба Л. В.</i> О «диффузных звуках»	360
<i>Хроника научной лингвистической жизни</i>	363

Раздел 5. Марксизм и вопросы языкознания

<i>Сталин И. В.</i> Относительно марксизма в языкознании	385
<i>Сталин И. В.</i> К некоторым вопросам языкознания. Ответ тов. Е. Крашенинниковой	404
<i>Сталин И. В.</i> Ответ товарищам. Тов. Санжееву. Тов-м. Д. Белкину и С.Фуреру. Тов. А. Холопову	409
<i>Серебренников Б. А.</i> Новые задачи в области изучения языков народов СССР	416
<i>Жирков Л. И.</i> О моих теоретических ошибках в научных работах до 1950 г.	420

Раздел 6. Как это было: воспоминания

<i>Фрейденберг О. М.</i> Воспоминания о Марре	425
<i>Аничков И. Е.</i> Очерк советского языкознания	443
<i>Звегинцев В. А.</i> Что происходит в советской науке о языке	472
<i>Чикобава А. С.</i> Когда и как это было	507
<i>Филин Ф. П.</i> Мой путь в науке	513
<i>Будагов Р. А.</i> Из истории советского языкознания	520
<i>Бернштейн С. Б.</i> Трагическая страница из истории славянской филологии	535
<i>Медведев Р. А.</i> Сталин и языкознание	544
<i>Фрумкина Р. М.</i> О лингвистике от первого лица	552
<i>Комментарии</i>	559

Научное издание

Сумерки лингвистики
АНТОЛОГИЯ

ЛР № 040103 от 18.02.97.
Издательство «Academia»
при участии редакции журнала «Вестник РАН».
117810, Москва, Мароновский пер., 26.
Тел. 238-21-23, 238-21-44; тел./факс 238-25-10,
E-mail: apriori@oss.ru

Главный редактор издательства
В. А. Попов

Редактор
Н. И. Карпенко

Редактор-организатор
Е. Ю. Салтыкова

Верстка
А. А. Иванова

Корректор
Л. В. Черепанникова

Подписано в печать 26.10.2000
Формат 60×90¹/₁₆ Печать офсетная
Бумага офс. № 1 Печ. л. 36,0
Тираж 1500 экз. Заказ 6837

Отпечатано в Производственно-издательском
комбинате ВИНТИ.
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86

⇒ ТРОШИН В. В. Взрывная волна. Стихи и проза. 2000. 166 с.
 ⇒ КАЙДАЛОВА Е. В. Дело кролика. Рассказы. 2000. 174 с.
 ⇒ ВАЙЦЗЕККЕР Э. и др. Фактор «четыре». Доклад Римскому клубу. 2000. 400 с. Илл.
 ⇒ Российская наука: день нынешний и день грядущий. Сборник статей. 2000. 416 с.
 ⇒ Кто есть кто в кавказоведении? Биобиблиографический справочник. 2000. 194 с.
 ⇒ КРАСИНЕЦ Е. С. и др. Нелегальная миграция в Россию. 2000. 96 с.
 ⇒ СНАКИН В. В. Экология и охрана природы. Словарь-справочник. 2000. 384 с.
 ⇒ АГЕЕВА Р. А. Какого мы роду племени? Народы России: имена и судьбы. Этнолингвистический словарь-справочник. 2000. 424 с. Илл.
 ⇒ ЗАЙЦЕВ А. К. Социальный конфликт. 2000. 464 с.
 ⇒ АРИНШТЕЙН Л. М. Преображение Дон-Жуана. Лирический дневник Пушкина. 2000. 200 с. Илл.
 ⇒ ХОХЛЕНКО Ю. И. Сказания о предках Пушкина. 2000. 432 с. Табл.
 ⇒ Res Linguistica. Сборник статей. 2000. 448 с.
 ⇒ БЕКЕТОВ Н. В. Управление наукой в регионе: инновационная политика и особенности финансирования. 2000. 96 с.
 ⇒ МОРДОВСКАЯ А. В. Теория и практика жизненного и профессионального самоопределения старшеклассников. 2000. 176 с.
 ⇒ ПОПОВ Б. Н. Культурология. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. 2000. 128 с.
 ⇒ ПОПОВ Б. Н. Культурология. Персоналии. Лекции для студентов высших учебных заведений. 2000. 104 с.
 ⇒ PORTNYGIN I., PLATONOV D. The intellectual development of the

schoolpupil-sportsman. 2000. 96 p. (на англ. яз.).
 ⇒ ШАМАЕВ Н. К. Нравственное развитие школьников в процессе традиционного физического воспитания. 2000. 208 с.
 ⇒ ЛАРИН А. Г. Два президента, или путь Тайваня к демократии. 2000. 200 с. Илл.
 ⇒ Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогнозистики. 2000. 480 с.
 ⇒ Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопедия. Серия: Письменные языки мира. 2000. 600 с.
 ⇒ ЗАДОРОВНИК Э. Г. Социал-демократия в Центральной Европе. 2000. 312 с.
 ⇒ Новая парадигма развития России в XXI веке. 2001. 680 с. Табл., рис.
 ⇒ Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология. 2001. 576 с.
 ⇒ Российское общество о радикальных реформах. Мониторинг социальных и политических индикаторов. 2001. 896 с. Табл., рис.
 ⇒ ПАТРУШЕВ В. Д. Жизнь горожанина (1965–1998). 2001. 192 с.
 ⇒ Теоретическое наследие аграрников-экономистов 50-80 годов и современная реформа в сельском хозяйстве. Люди. Идеи. Факты. 2001. 416 с.
 ⇒ ЛЕВАШОВ В. К. Устойчивое развитие общества: парадигма, модели, стратегия. 2001. 178 с.
 ⇒ Социально-экономическая мысль в России. 1920–1930. Антология. 2001. 800 с.
 ⇒ БЕНДИКОВ М. А. Стратегическое планирование. 2001. 144 с.
 ⇒ МАЛЫШЕВА М. М. Патриархат в постмодернистских одеждах. 2001. 224 с.

197.10

Официальным распространителем книг
 издательства «Academia» за пределами СНГ
 является НПО «Информ-система»
 Тел. 129-57-48, факс 124-99-38

Наши книги можно приобрести непосредственно
 в издательстве.

Звоните по телефонам 238-21-44 или 238-21-23,
 т/ф 238-25-10 и 554-41-51.
 E-mail: apriori@oss.ru

СУМЕРКИ ЛИНГВИСТИКИ. Из истории отечественного языкознания. Антология. Составление и комментарии В. Н. Базылева и В. П. Нерознака. Под общей редакцией проф. В. П. Нерознака. М.: Academia, 2000. 576 с.

Антология представляет собой совокупность работ, отражающих один из самых сложных, противоречивых, но одновременно плодотворных периодов отечественного языковедения. Она составлена по хронологическому принципу, что позволяет проследить историю языкознания в СССР с 1917 по 1960 г. Здесь отображен целый пласт интеллектуальной жизни, для многих наверняка неизвестный.

Книга адресована лингвистам, философам, историкам науки и культуры, просто любознательным читателям.





сүмерки лингвистики

антология